Мой XX век
Десять десятилетий
Борис Ефимов

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Наверное, далеко не все читатели узнают в лицо этого человека с мягкой улыбкой и мудрым, слегка ироничным взглядом из-под очков. Зато, увидев его рисунки, сразу скажут: это Борис Ефимов! Потому что с самого раннего детства, еще не умея читать, все узнавали этот уверенный, тонкий штрих и эту четкую линию. Годы шли, времена менялись… Только почерк Мастера, невзирая ни на что, остается неизменным. И совершенно в своем стиле написал художник эту книгу. Такими же тонкими, уверенными, лаконичными штрихами создает он выразительные портреты тех, кто встречался ему на жизненном пути. А список этот длинен и впечатляющ: Сталин и Троцкий, Маяковский и Луначарский, Кукрыниксы и Херлуф Бидструп… И самый близкий и дорогой автору человек — его брат, замечательный журналист Михаил Кольцов, сгинувший в сталинских застенках… В книге Бориса Ефимова переплетаются смешное и трагическое, светлое и мрачное, и разделить их невозможно, потому что все это вместе и есть жизнь.

Борис Ефимович Ефимов — ровесник века. Он родился в 1900 году и пережил вместе со своей страной все, что выпало ей на долю: войны и революции, нэп и военный коммунизм, страшные 30-е и грозные 40-е, «холодную войну» и «оттепель», «застой» и «перестройку» и, наконец, наши времена, которым еще предстоит подобрать название… И все это он не просто видел, слышал и запоминал, а еще и рисовал.

С 1922 года Борис Ефимов — один из ведущих карикатуристов «Правды», «Известий», «Крокодила». Его карикатуры на злободневные политические темы всегда имели широкий резонанс и за рубежом (изображенный на одной из них английский премьер сэр Остин Чемберлен даже прислал советскому правительству ноту). Но гораздо важнее другое: в годы Великой Отечественной войны газеты с рисунками Бориса Ефимова бойцы не пускали на самокрутки, а бережно хранили в вещмешках и полевых сумках…

Борис Ефимович по-прежнему бодр, энергичен и полон юмора. И смело глядит с нами в новый век!

- Борис Ефимов
  - Несколько слов от автора этой книги
  - Глава первая
  - Глава вторая

- Глава третья
- Глава четвертая
- Глава пятая
- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая
- Глава девятая
- Глава десятая
- Глава одиннадцатая
- Глава двенадцатая
- Глава тринадцатая
- Глава четырнадцатая
- Глава пятнадцатая
- Глава шестнадцатая
- Глава семнадцатая
- Глава восемнадцатая
- Глава девятнадцатая
- Глава двадцатая
- Глава двадцать первая
- Глава двадцать вторая
- Глава двадцать третья
- Глава двадцать четвертая
- Глава двадцать пятая
- Глава двадцать шестая
- Глава двадцать седьмая
- Глава двадцать восьмая
- Глава двадцать девятая
- Глава тридцатая
- Глава тридцать первая
- Глава тридцать вторая
- Иллюстрации

- notes
  - 1
  - 2

Борис Ефимов

ДЕСЯТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

(О том, что видел, пережил, запомнил)

Несколько слов от автора этой книги

Меня нередко именуют «ровесником века». Но если придерживаться точных фактов, то я старше двадцатого столетия, поскольку родился в прошлом, девятнадцатом веке и прожил в нем целых три месяца. Потом, вместе со всем остальным населением планеты, вступил в нынешний, двадцатый век, не подозревая, что он окажется одним из самых беспокойных, тревожных и жестоких в истории человечества. Природа и, если хотите, Бог наградили меня долголетием и неплохой памятью. И за эти быстро промчавшиеся 99 лет мне довелось быть очевидцем и в определенной степени участником многих и многих событий, удивительных и незабываемых, великих и страшных, радостных и трагических. Довелось узнать многих и разных людей, хороших и не очень, благородных и не очень, порядочных и не очень.

Говорят, что у каждого возраста есть свои преимущества. Думаю, что у каждого возраста есть также свои права и обязанности. Есть, на мой взгляд, свои обязанности и у «ровесников века» — свои воспоминания, впечатления и наблюдения они не вправе уносить в «мир иной», а обязаны поделиться ими с более молодыми поколениями.

В этом, собственно, содержание и смысл настоящей книги.

Глава первая

Город моего рождения — красавец Киев, овеянный славой «Матери городов русских». Вспомним о древнерусской Киево-Печерской лавре, о знаменитом Софийском соборе, о крестителе Руси князе Владимире, об объединителе русских земель киевском князе Владимире Мономахе, том самом, чья шапка впоследствии бывала «тяжелой» для иных русских царей…

Центральная часть того красавца города больше не существует — она была полностью разрушена в годы Великой Отечественной войны. Нынешний, не менее красивый Киев — теперь столица независимой, суверенной Украинской державы.

…Молодость моего отца прошла на Кавказе среди малочисленной народности — татов. Переехав впоследствии в Киев уже взрослым человеком, он встретился там с красивой «дивчиной» с Черниговщины. Они поженились. И родились у них два сына. Сначала — Михаил, который впоследствии стал известнейшим журналистом и избрал себе псевдоним — Кольцов, и спустя два с половиной года — Борис, то есть — я. Родители наши были простые люди, трудолюбивые и хозяйственные. Маленькая семья жила скромно, но безбедно. Отец не получил никакого образования, но обладал, что называется, золотыми руками. Он отлично тачал сапоги, портняжил и столярничал, переплетал книги, мастерил чемоданы и портфели, чинил замки и часы.

У меня сохранился внушительный документ, украшенный двуглавым орлом и возвещающий о том, что Киевское упрощенное ремесленное управление на основании соответствующих статей Устава ремесел предоставляет отцу право «производить обувное мастерство». Внизу стояли затейливая подпись ремесленного старшины и почти торжественное: «Дано в городе Киеве, января 9-го дня 1901 года».

Вскоре после моего рождения по соображениям, о которых я так и не удосужился узнать, родители переехали из красавца Киева в невзрачный, но бойкий городок Белосток, расположенный вблизи русско-германской границы. (Ныне он входит в состав Польши.)

Пыльные улицы со щербатыми мостовыми, вдоль тротуаров — грязные, никогда не просыхающие канавы, заменяющие отсутствующую в городе канализацию, чахлая зелень и убого провинциальные дома — таковы были белостокские виды и «пейзажи». Ни музеев, ни картинных галерей, ни театров, ни интересных архитектурных памятников. Самое значительное

здание в городе — стандартный католический костел красного кирпича, угрюмо воткнувший в небо колючий готический шпиль.

С какого возраста я себя помню? Кому-то может показаться неправдоподобным, но тем не менее — с двух лет. У меня сохранилась фотография, на которой сняты мой брат и я, как раз двух лет от роду. На этой фотографии у меня крайне недовольная, надутая физиономия. И я отчетливо помню причину своего неудовольствия: мне очень хотелось сняться с ружьем в руках. Но ружье фотограф отдал Мише, а на мою долю досталась сетка с мячом. Таково было первое, но далеко не последнее огорчение в продолжительной моей жизни.

Дальнейшие воспоминания связаны с таким, далеко не шуточным событием, как русско-японская война 1904–1905 годов. Отлично помню чуждо звучащие, пугающие детское воображение слова: Порт-Артур, Мукден, хунхузы, шимоза, Цусима. Помню солдат в огромных маньчжурских папахах, помню фамилии царских генералов, проигрывавших одно сражение за другим, — Куропаткина, Гриппенберга, Ренненкампфа, а также «прославившегося» позорной сдачей крепости Порт-Артур генерала Стесселя, отданного за это под суд.

Были на слуху также имена японских военачальников — маршала Ойяма, генерала Ноги, адмирала Того. С именем последнего была связана трагическая гибель броненосца «Петропавловск», на борту которого нашли смерть русский адмирал Макаров и знаменитый художник Верещагин. Разговоры взрослых об этих страшных событиях будоражили и пугали детское воображение. Однако впереди были события не менее страшные, но более близкие — революция 1905 года. Конечно, я, пятилетний мальчик, не мог уразуметь сути потрясавших страну событий, которые врывались в нашу жизнь днями беспорядков, уличной стрельбы, погромов и грабежей. Но помню, как однажды отец, пытаясь понять, что происходит на улице, стоял у окна со мною на руках и успел, к счастью, пригнуться, когда револьверная пуля пробила стекло точно в том месте, где за секунду до того находилась моя голова.

…Застряли в памяти и уличные частушки той поры. Например, о военных делах:

Куропаткин горделиво
Прямо в Токио спешил.
Что ты ржешь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустил?

А вот и о революционных событиях:

Казачья нагайка, нагаечка моя,
Гуляла ты по спиночкам
Девятого января!

Не проходили мимо моего детского восприятия и дальнейшие события, волновавшие страну. Прежде всего это было подписание мира с Японией, которое произошло в американском городе Портсмуте при посредничестве президента США Теодора Рузвельта. Представителем России на мирных переговорах был известный тогда государственный деятель Сергей Витте, о котором я, слушая разговоры взрослых, узнал, что он проявил большое дипломатическое искусство: несмотря на явное военное поражение России, условия мира были относительно легкими для нашей страны — уступка Японии половины острова Сахалин. По возвращении из Портсмута указом царя Витте был возведен в графское достоинство, что, между прочим, послужило поводом для присвоения ему иронического прозвища — Граф Полусахалинский. А глава японской делегации по возвращении в Токио совершил над собой акт харакири.

…Страна постепенно успокаивалась. Революция была подавлена. Царем была «дарована» конституция, возник первый российский парламент — Государственная дума.

…А мне с братом вскоре пришла пора поступать в школу. И наши родители ценой немалых усилий определили сперва моего старшего брата Мишу, а спустя два года и меня в местное реальное училище.

Реальным училищем называлось в дореволюционное время среднее учебное заведение, в котором в отличие от гимназии не преподавали древних, то есть латинского и греческого, языков (вместо них — немецкий и французский). Предполагалось, что гимназия готовит будущих медиков, педагогов и юристов, в то время как реальное училище выпускало будущих инженеров, строителей, технологов. Впрочем, для нас, учеников, гораздо более существенным и наглядным различием было то, что гимназисты носили форму мышино-серого цвета с синим кантом на фуражке, мы же, реалисты, были одеты в черное сукно с ярко-желтыми кантами. Само собой разумеется, что разницы в обмундировании было вполне достаточно для глубокого и традиционного антагонизма, сопровождавшегося взаимным задиранием и проверенными временем оскорблениями: гимназистов дразнили Синей Говядиной, в то время как реалистам была присвоена кличка — Карандаши. Не обходилось, естественно, и без драк.

Кстати, о нашей ученической форме с ее желтыми кантами и золотыми пуговицами. Пользуясь близостью германской границы, мы ездили с мамой в летнее время на немецкий балтийский курорт Кранц (ныне он входит в состав Калининградской области). При этом требовался, естественно, заграничный паспорт, который отец, уплатив три рубля, получал в полицейском управлении Белостока. Наша полувоенная ученическая форма вызывала у немцев удивление, но буквально изводили местные мальчишки, всячески нас дразня и задирая. Для меня истым мучением было проходить сквозь строй этих озорников, однако Миша был посмелее, и помню, как однажды он, схватив одного из этих мальчишек «за грудки», стал его трясти с криком: «Komm in Amt! Komm in Amt!» («Пойдем в Управу!») После этого мальчишки надолго оставили нас в покое.

Наша белостокская «реалка» была типичным учебным заведением своего времени, насквозь пропитанная мертвящим духом казенщины, бессмысленной муштры и тупой зубрежки. Казарменные нравы, подлинный паноптикум педагогов, представлявших собой, по сути дела, одетых в синие вицмундиры чиновников, маньяков и садистов, среди которых редкими светлыми исключениями были живые люди с умом и сердцем, любящие свое дело и честно старавшиеся передать ученикам свои знания. Таким человеком в нашем училище был словесник — преподаватель русского языка Виктор Иванович Чистяков, которого мы и долгие годы спустя поминали добрым словом. Свою нелюбовь к учителям-мракобесам и скрытый протест против гнетущей казенщины строптивая и озорная ученическая вольница выражала прежде всего присвоением учителям различных обидных кличек. Уже в самом начальном, так называемом приготовительном, классе мы, новички-приготовишки, твердо усвоили, что грозного старика — директора Александра Ефимовича, львиным рыком своим оглашающего коридоры училища, называют Лысый. Долговязый инспектор с черными нафабренными усами на костлявом лице носит кличку Дронг. Развинченный, дергающийся, разговаривающий визгливым фальцетом учитель истории — Паламанец. Плешивый старичок математик в обсыпанном перхотью мундире — Бунька. Преподавательница французского языка — Итка. Далее шли — Прыщ, Буцефал, Гришка и всякие прочие…

Под стать казарменному духу училища были так называемые «потешные», то есть учащиеся, обучаемые маршировке, шагистике, другим премудростям военного строя. На сей предмет в «реалке» появился щеголеватый штабс-капитан Симинский, а при нем его помощник фельдфебель Стеблов, которому

немедленно была присвоена кличка Мастибан. С ним связана весьма неприятная история, приключившаяся с моим братом. На перемене ко мне подбежал мой одноклассник Лазаркевич, сын полицейского пристава, и с нескрываемым злорадством сообщил:

— А твоего братца сейчас повели к Лысому. Офицера ударил, с-сука!

Я ужаснулся, не веря своим ушам. Что же оказалось? Во время «потешных» занятий Мастибан побежал к директору с воплем, что Миша его ударил. Достаточно было взглянуть на хрупкую фигуру Миши и на здоровенную тушу Мастибана, чтобы понять всю нелепость этого. Тем не менее Лысый немедленно вызвал к себе Мишу и объявил ему об исключении из училища, что в ту пору было для учеников самым крайним наказанием. Дома я спросил брата, как это вышло, что он ударил Мастибана.

— Ничего я его не ударял, — сказал Миша. — А вышло так: Мастибан подошел ко мне и стал орать, что если я не соблюдаю строя, то нечего носить на носу «пиньсне»! При этом от него так разило сивухой, что я не выдержал и оттолкнул его от себя. Видимо, я попал ему под дых, потому что он вдруг взревел и побежал к Лысому.

Помню, как мама, надев праздничное платье, ходила к Лысому просить за сына, но Лысый был неумолим.

— Извольте знать, сударыня! — орал он. — Что позволил себе ваш сын: он ударил своего учителя, педагога, воспитателя, поставленного государством. Он оскорбил государство. Мнение мое и педагогического совета едино: исключить!

Только после длительных мытарств и хлопот брату была дана возможность держать экзамен экстерном и получить аттестат об окончании среднего образования.

В ту пору я еще, конечно, не понимал подлинной сути этого происшествия, а она была вовсе не в том, что Миша толкнул «педагога» Мастибана. Брат мой принадлежал к бунтарски настроенной в своем большинстве молодежи старших классов, был одним из заводил озорной ученической фронды. Начальство на него давно косилось, подозревая, видимо, что он имеет отношение к ходившим по рукам в старших классах крамольным листовкам. Между прочим, когда, бывало, я спрашивал, что за листки он читает, Миша их поспешно прятал со словами:

— Не суй свой нос. Это тебя не касается.

Моими одноклассниками были главным образом сыновья (тогда было раздельное обучение мальчиков и девочек) людей состоятельных — фабрикантов, купцов, адвокатов и др. И я, откровенно говоря, немного стеснялся скромного социального положения своих родителей. Иногда я ощущал это довольно

болезненно. Как-то в городском саду было праздничное гулянье. Родители отпустили меня туда, и мама дала мне на карманные расходы пять копеек. На них можно было тогда купить порцию мороженого или пирожное и стакан газированной воды с сиропом. Мне встретился там мой одноклассник Боря Аш, сын известного в городе врача.

— Тебе дали деньги на расходы? — спросил он. — Сколько?

— Пятнадцать копеек, — подумав, соврал я. — А тебе?

Аш молча показал мне рублевую бумажку. Мы разошлись.

Гулянье в саду продолжалось. Через некоторое время мы снова встретились с Ашем.

— Ну что? Ты уже разменял свой пятак? — не без ехидства спросил он.

Не знаю, каким чудом он догадался о размерах моего капитала, но я почувствовал болезненный укол самолюбия.

Несмотря на скромные достатки нашей семьи, отец покупал нам книги, чаще всего привозил их из Киева, куда ездил по своим делам. Это была преимущественно переводная приключенческая литература — Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер, Конан Дойл, Луи Буссенар, Генрик Сенкевич. Надо признаться, что этих писателей я читал запоем и знал их гораздо лучше, чем Толстого, Тургенева, Чехова, Лескова.

А однажды Миша сказал мне с довольным видом:

— Угадай, что у нас скоро появится в доме на букву Э?

Я посмотрел на него с недоумением и пожал плечами.

— Ну хорошо, — продолжал Миша. — Прибавлю еще одну букву — Н. Теперь понятно?

Я отрицательно покачал головой. Миша начал сердиться.

— Ну, еще одна буква — Ц. ЭНЦ…

— Не знаю, — мрачно сказал я.

— Боже, как ты туп! Неужели не понял? Э-Н-Ц-иклопедия!

И вскоре в нашем книжном шкафу стали выстраиваться тисненные золотом тома популярной тогда энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

Меня, ныне действительного члена Академии художеств, народного художника СССР, лауреата высоких премий, нередко спрашивают, когда у меня впервые проявились тяга и способности к рисованию. Рисовать я начал рано — с пяти-шести лет, и «художественное творчество» мое носило весьма своеобразный характер. Мне было неинтересно рисовать с натуры, как это обычно делают дети, я не любил изображать домики, деревья, кошек, лошадок. Я предпочитал покрывать бумагу фигурами и персонажами, созданными собственной фантазией, питавшейся обрывками разговоров взрослых, рассказами старшего брата и,

больше всего, содержанием прочитанных исторических книг. Хорошо помню свои первые «произведения», нарисованные чернилами в разлинованной в клетку школьной тетради, — «портреты» Гарибальди, Дмитрия Донского и почему-то… Бога в образе бородатого мужчины в камилавке. Я стал все больше увлекаться такого рода рисованием и завел себе толстую тетрадь, в которой густо заполнял страницу за страницей: я смело изображал Куликовскую битву, Варфоломеевскую ночь, кардинала Ришелье и трех мушкетеров, султана Саладина и Ричарда Львиное Сердце, убийство Авраама Линкольна — черт знает какая дикая каша творилась в этой тетради! О художественном качестве этих «произведений» не приходится и говорить… Никакого руководства или образцов для рисования у меня не было. К цвету и краскам я был совершенно равнодушен, о перспективе, объеме, пространстве имел самое смутное представление. В рисунке интересовал только сюжет.

Учился я, в общем, неплохо. По большинству предметов имел четверки, по некоторым (русский язык, история) — пятерки. И единственным предметом, по которому я еле-еле вылезал на тройку, служившим для меня постоянным источником беспокойства и неприятностей, было, увы, рисование. Дело доходило до того, что преподавателя рисования, злого старикашку по прозвищу Гришка, приходилось периодически «подмазывать», чтобы добиться для меня удовлетворительной отметки. Достигалось это путем частных уроков, которые лихоимствующий Гришка давал у себя на квартире для неуспевающих учеников.

Для моих домашних, чрезвычайно высоко ценивших мои «художественные таланты», отставание по рисованию в училище являлось совершенно необъяснимым и загадочным. Между тем в этом не было ровно ничего удивительного, но я никак не мог объяснить им, что между преподаваемым в училище и моим домашним рисованием лежит глубокая пропасть. Что общего могло быть между храбрыми сарацинами или жестокими крестоносцами, которых я азартно и с истинным удовольствием вырисовывал дома, и скучнейшими горшками или яблоками, которые противный Гришка ставил перед нами в классе? К тому же я еще страдал от близорукости. Сидя довольно далеко от выставленных Гришкой предметов для рисования, я очень приблизительно представлял себе форму очередного горшка или яблока, которые надо было изобразить на бумаге. И, подойдя после урока к модели вплотную, с горестным удивлением обнаруживал детали, о которых и не подозревал и за отсутствие которых на рисунке Гришка неистово ругался и больно стучал

карандашом мне по темени. И обычно, с облегчением вздохнув после окончания очередного урока рисования, на уроке истории, следовавшем непосредственно за ним, я с наслаждением изображал на полях учебника или в общей тетради — Наполеона в треугольной шляпе, Карла Пятого в гофрированном воротнике или адмирала Колиньи, пронзенного шпагой герцога Гиза. Это вам не эмалированная кастрюлька или восковое яблоко на блюдечке!..

Не могу сейчас припомнить, когда в моем домашнем рисовании проявился «сатирический уклон». Но к третьему-четвертому классу за мной уже устанавилась репутация «карикатуриста». Я делал рисунки для рукописного школьного журнала, «редактором» которого являлся мой старший брат Миша.

Он был живой и смелый мальчик с богатой фантазией, неистощимый выдумщик и охотник до всяких интересных затей, в которые всегда старался втянуть и меня, несравненно более флегматичного и ленивого. Со стороны мы, наверно, немного напоминали братьев из повести Марка Твена: Миша — предприимчивого, озорного Тома Сойера, я — благонравного, послушного Сида. Впрочем, ябедничать, подобно Сиду, на старшего брата мне не приходило в голову: я слишком любил Мишу, считал его для себя непререкаемым авторитетом и даже немного побаивался.

Уже на школьной скамье обращала на себя внимание литературная одаренность Миши: он не только отлично писал классные работы по русскому языку, но легко сочинял всевозможные сатирические стишки, лихие пародии и заметки, которые подписывал Михаил Синдетиконов. Меня он заставлял рисовать для школьного журнала иллюстрации и карикатуры. Среди них был и дружеский шарж на самого Михаила Синдетиконова — физиономия брата, к которой вместо туловища я пририсовал тюбик «Синдетикона» — популярного тогда универсального клея.

В одну из своих поездок в Киев отец взял меня с собой. Это случилось в конце лета 1911 года, когда мне, ровеснику века, было, естественно, одиннадцать лет. С восхищением я разглядывал огромный красивый город, с которым расстался, будучи четырех месяцев от роду. И так произошло, что одновременно с нами в Киев пожаловал не кто иной, как Государь-император, самодержец Всероссийский, царь Николай II. В отличие от нас он приехал со всей своей августейшей семьей и большой придворной свитой на открытие памятника своему деду Александру II.

Мне очень хотелось увидеть царя, хотя особых симпатий к нему я не мог питать — еще свежи были в моей памяти разговоры взрослых о событиях 1905 года, о «кровавом воскресенье» 9 января и о знаменитой Ходынке. Особое возмущение, помню, вызывал рассказ о том, что царь, когда еще не были убраны сотни трупов людей, и в том числе детей, погибших в чудовищной давке на Ходынском поле, где раздавали подарки по случаю коронации, поддался настояниям своих дядей, великих князей, и отправился на бал во французское посольство, где танцевал с супругой французского посла.

Пробившись с отцом в первый ряд многолюдной толпы, я отлично разглядел царя, ехавшего с семьей в большой открытой карете. К моему наивному удивлению, он был не в золотой короне и горностаевой мантии, а в скромном военном кителе. Снимая фуражку, он кланялся на обе стороны. За экипажем царя следовал пышный кортеж придворных, дам, сановников, генералов и прочей знати, сопровождаемый отрядом казаков и конной полиции. Киев торжественно и, что называется, верноподданнически встречал монарха. В городе царило приподнятое, праздничное настроение. Но прошло всего три дня, и Киев был потрясен страшным известием: в Городском оперном театре на представлении оперы «Сказка о царе Салтане» в присутствии царя был смертельно ранен председатель Совета министров Петр Аркадьевич Столыпин. Стали известны и подробности: в антракте, когда Столыпин с кем-то беседовал, стоя у барьера, отделявшего партер от оркестра, к нему не спеша подошел какой-то молодой человек и, вынув из кармана браунинг, выстрелил Столыпину два раза в грудь.

Столыпин скончался в госпитале дня через два. И смерть его сразу была окутана множеством загадочных фактов, толков и пересудов. Прежде всего, представлялось непонятным, каким образом в строжайше охраняемый зал театра мог проникнуть убийца — некто Богров, оказавшийся одновременно членом партии эсэров (социалистов-революционеров) и агентом полицейской охранки. Из уст в уста передавались странные факты подчеркнутого неуважения к председателю Совета министров со стороны придворных кругов и даже самого царя. Рассказывали, что Столыпин все отлично замечал, болезненно воспринимал и поэтому все эти киевские дни находился в угнетенном, мрачном настроении. Передавали и такой факт: когда царь приехал в госпиталь, где скончался Столыпин, чтобы выразить соболезнование его супруге, то Ольга Борисовна, низко склонив голову и как бы не замечая протянутой ей царской руки, сказала ледяным голосом:

— Господь всех рассудит, Ваше Величество.

Столыпин был, несомненно, выдающимся политиком, человеком умным и властным. И это отрицательно воспринималось нерешительным и слабовольным царем, чем пользовались придворные недоброжелатели и завистники всемогущего министра. Отношение к нему было неоднозначным: прогрессивные, а тем более революционные круги видели в нем реакционера, железной рукой беспощадно подавлявшего всякое неповиновение государственной власти. Не случайно тогда вошли в обиход такие выражения, как «столыпинские вагоны» (имелись в виду товарные вагоны с решетками, в которых осужденных отправляли на каторгу) и «столыпинский галстук» (имелась в виду виселица).

Года три спустя в центре Киева на площади перед городской Думой уже стоял памятник Столыпину. Моя память сохранила начертанные на нем слова — с лицевой стороны: «Петру Аркадьевичу Столыпину — русские люди». С боковых сторон — «Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия» и «Твердо верю, что затеплившийся на Юго-Западе России свет русской национальной идеи не погаснет, а вскоре озарит всю Россию».

История, как известно, распорядилась по-иному — Киев стал очагом не «русской национальной идеи», а центром украинского «самостийно-незалежного» движения. Недолго простоял и памятник Столыпину. Прекрасный город на Днепре оказался столь же роковым для бронзового Столыпина, как до того — для живого. В первые же дни Февральской революции семнадцатого года статуя Петра Аркадьевича была сброшена, а постамент с запомнившимися мне изречениями Столыпина разрушен.

Несколько слов о Богрове. Этот загадочный субъект вел себя совершенно спокойно и при аресте, и на суде. Возможно, его заверили, что при любом приговоре он будет подведен под амнистию и помилован. Рассказывали, будто, выслушав приговор к смертной казни через повешение, он небрежно сказал:

— Что ж… Значит, я скушаю на тысячу котлет меньше…

Богров был повешен.

Сменивший Столыпина на посту председателя Совета министров В. Н. Коковцов в своей книге «Из моего прошлого» рассказывает, что в связи с убийством Столыпина полиция и черносотенцы замышляли кровавую расправу над ни в чем не повинным еврейским населением Киева. Но Коковцов принял меры к предотвращению погрома. По его словам, он об этих мерах доложил царю, и тот их целиком и полностью одобрил.

В этой связи нельзя не вспомнить, что примерно аналогичная

ситуация сложилась там же в Киеве два года спустя, когда слушалось так называемое дело Бейлиса — подлинно средневековый ритуальный процесс об «употреблении крови христианских младенцев» при изготовлении еврейской пасхальной мацы — пресных лепешек, заменяющих хлеб. Дело Бейлиса прошумело на весь мир. В Киев съехались корреспонденты десятков иностранных газет, отводивших ему целые полосы. А по существу это дело было довольно заурядным уголовным происшествием: шайка жуликов, во главе которой стояла матерая воровка, некая Чеберякова по кличке Верка Чеберяк, заподозрила, что живший с ними в одном дворе одиннадцатилетний мальчишка Андрюша Ющинский донес или собирается донести в полицию об их темных делишках. Они решили его убрать, что и привели в исполнение. По этому убийству началось обычное уголовное расследование. И тут кого-то осенила «грандиозная идея» — не использовать ли это происшествие для великолепного антисемитского процесса? Эту идею с увлечением подхватил сам министр юстиции царского правительства Щегловитов, и «ритуальное дело» закипело со страшной силой. «Преступником» был избран некий Мендель Бейлис, приказчик находящегося по соседству кирпичного завода, пожилой и безобидный отец семейства. И в Киеве столкнулись две непримиримые силы. С одной стороны — реакционное черносотенство, вооруженное мощным аппаратом министерства юстиции, поддерживаемое продажными «экспертами», «богословами», «специалистами» по истории религии всех времен, фальсификаторами всех мастей. С другой стороны — известнейшие ученые, профессора, составляющие гордость русской науки, передовые люди русской интеллигенции — писатели, публицисты, юристы, депутаты Государственной думы и даже высшие иерархи православной церкви — все, что было в стране честного и благородного, выступило на защиту доброго имени и достоинства России в глазах всего цивилизованного мира. Помню, с какой жадностью читались отчеты о деле Бейлиса в белостокских газетах. Интересно, что даже известный своим антисемитизмом депутат Государственной думы В. В. Шульгин с негодованием отозвался об этой «ритуальной» затее. А другой известный депутат Государственной думы А. Ф. Керенский (тот самый), организовавший коллективный протест против дела 25 виднейших адвокатов, поплатился за это восьмимесячным тюремным заключением. Остальные адвокаты, подписавшие воззвание, «отделались» шестимесячным. 28 октября 1913 года был вынесен приговор. И оказалось, что присяжные заседатели, заботливо набранные из зажиточных сельских хозяев, не

оправдали возложенных на них надежд и признали Менделя Бейлиса невиновным… Память подсказывает мне некоторые детали. Обвиняли Бейлиса правый депутат, черносотенец Замысловский и чрезвычайно активный помощник прокурора Виппер. Запомнилась даже такая не очень приличная частушка:

Чтобы рассеять «Дела» мрак,
Помощник прокурора Виппер
Сошелся с Веркой Чеберяк
И получил от нее триппер.

Защищали Бейлиса самые знаменитые адвокаты — славившийся своим красноречием Карабчевский, Зарудный и Грузенберг. И, помню, говорили:

— Присяжные заседатели Карабчевского не поняли, Грузенбергу не поверили, а Зарудный им до самого сердца дошел.

Повинуясь незыблемым законам природы, после весны четырнадцатого года наступило лето — теплое, яркое, солнечное, не предвещавшее ничего плохого. Мы с Мишей, побывавшие в прошлом году в Германии, уже предвкушали очередную приятную поездку в знакомый Кранц с его чудесным песчаным пляжем, вкуснейшей копченой рыбой-камбалой, веселым эстрадным театром, который мы охотно посещали, укрепляя тем, кстати, знание немецкого языка. Мы уже привыкли к двум уютным комнаткам в скромном отеле «Вилла Минна» на окраине Кранца и даже к неизменному нашему соседу, музыканту-флейтисту по фамилии Вагнер, курившему нестерпимо вонючие сигары и оглушительно кричавшему «Хальт!» («Стой!»), когда кто-нибудь пытался открыть дверь туалета, если в это время он его занимал. Перестали мы бояться и озорных рыбацких мальчишек, которые, впрочем, тоже прекратили к нам приставать, видимо, привыкнув к нашей ученической форме с золотыми пуговицами и кожаным поясом, на золотой пряжке которого выгравированы буквы БРУ — Белостокское реальное училище.

Олицетворением надменной, самодовольной, воинствующей кайзеровской Германии начала века стоит перед моими глазами шикарный немецкий жандарм, на которого мы с Мишей в изумлении уставились, когда вышли из поезда на пограничной немецкой станции Простken. В сверкающей каске с золотым одноглавым орлом и остроконечным шишаком, с белоснежными аксельбантами через правое плечо и в столь же белоснежных, идеально отутюженных брюках он стоял на перроне, как памятник самому себе. Немного скосив глаза в нашу сторону, он посмотрел на двух остолбеневших школьников из России так же,

как посмотрел бы на двух кружащихся вокруг него мошек. Точно так же поразили нас в Берлине надраенные, чисто вымытые фасады домов и тротуары и отполированные, сверкающие, словно крышка рояля, мостовые, в которых, как в зеркале, отражались огни автомобилей, переливающиеся всеми цветами радуги электрические рекламы и вывески магазинов. И таков был весь Берлин, с его угрюмыми, однообразными, как казармы, дворцами и казармами, пышными и внушительными, как дворцы.

Мы заехали и в Лейпциг. Огромное впечатление на меня и брата произвело суровое и мощное, подлинно циклопическое сооружение — гигантский памятник Битвы Народов. Он построен в ознаменование исторической битвы под Лейпцигом, где Наполеон проиграл сражение против союзных армий России, Австрии и Пруссии.

Памятник Битвы Народов… Эти три слова в русском языке соответствуют только одному слову в немецком, которому, как известно, свойственно соединение нескольких слов в одно. Помню, как это создавало трудности для нас, школьников, на уроках немецкого языка. Вспоминается забавлявший нас анекдотический пример — Готтентотенпотентатентантентейтер — одно слово, которое в переводе на русский язык требует четырех слов: Убийца тетки повелителя готтентотов. Впрочем, и мы в первые годы советской власти были большие мастера на анекдотические аббревиатуры. Классический пример: замкомпоморде, что означало — заместитель комиссара по морским делам.

Но… человек, как известно, только предполагает… И совсем-совсем другим оказалось достопамятное лето четырнадцатого года… Прежде всего, в Германию мы не поехали, и тем судьба избавила нас от очень больших неприятностей. Дело в том, что когда Германия первого августа объявила России войну, то оказавшиеся на германской территории русские — посетители курортов, туристы, персонал российского посольства и другие — подверглись унизительному обращению.

Нашей поездке помешало весьма прискорбное обстоятельство — в Киеве скоропостижно скончался младший брат нашего отца, наш дядя Овсей, оставив вдову с четырьмя детьми — две девочки и два мальчика. И наша семья немедленно помчалась в Киев, чтобы поддержать их в этом несчастье. Надо сказать, что мне впервые в жизни довелось непосредственно столкнуться с фактом смерти близкого человека и это произвело на меня страшное впечатление. С подлинным ужасом слушал я надгробную речь, проникновенно звучащие слова:

— Коварно, злодейски пробралась смерть через окно в дом

раба Божия Овсея и унесла его с собой.

И на все лето мы остались в Киеве с осиротевшей семьей.

Снова любовался я красавцем городом, снова производили на меня огромное впечатление его и древние и недавние исторические достопримечательности — и Владимир Святой с крестом в руках, взирающий на широкий Днепр, и гетман Богдан Хмельницкий, указующий булавой на Север, на Русь, и даже на здание Судебных установлений, где так недавно слушалось дело Бейлиса. На меня производили впечатление такие названия улиц на Подоле, как Щековицкая, Хоривая, Лыбедской район, напоминающие о легендарных братьях и сестре основателя города Кия — Щеке, Хориве и Лыбеди. Несказанно красиво сверкала своей белизной возвышающаяся над Подолом Андреевская церковь, великолепное создание гениального Растрелли. (Ныне этот достопримечательный Андреевский спуск знаменит также и домом, где жил и работал Михаил Булгаков.)

Я, как всегда, следил за событиями, читал газеты и в один «прекрасный» день прочел, что в городе Сараево, в далекой Сербии, гимназист с курьезной фамилией Принцип застрелил на улице проезжавшего в экипаже престолонаследника Австро-Венгрии Франца Фердинанда и заодно его супругу. И с того дня в газетах ежедневно стали появляться тревожные сообщения, связанные с этим событием. Австрия возложила ответственность за убийство на сербское правительство и предъявила ультиматум, требуя ввода в Белград австрийских войск. Правительство Сербии, разумеется, в этом отказало. После чего в течение месяца происходил обмен все более и более резкими нотами между Австро-Венгрией и Сербией, Россией и Австро-Венгрией, Германией и Россией. Все более тревожной и зловещей становилась атмосфера в Европе. Прибывший в Петербург с официальным визитом президент Франции Пуанкаре срочно вернулся в Париж. Мир вползал в Первую мировую войну… И она началась фактически в тот роковой день, когда Австро-Венгрия, не дожидаясь разрешения конфликта дипломатическим путем, бомбардировала столицу Сербии Белград.

Под впечатлением этих зловещих сообщений мы срочно вернулись домой в Белосток. Не забуду те грозные летние дни, опрокинувшие всю нашу мирную жизнь. Небывалые, ошеломляющие события следуют одно за другим. В России объявлена всеобщая мобилизация. Германия в ультимативной форме требует ее отменить. Россия отказывается. Германия, союзница Австро-Венгрии, объявляет войну России, затем Франции. Все взоры обращены на Англию — как поведет себя «коварный Альбион»? Не пожелает ли он остаться вне схватки,

нейтральным? Но нет. Англия остается верной союзническим обязательствам и объявляет войну Германии. В эти дни бурная волна подлинного патриотического подъема катится по всей нашей стране, достигает и Белостока. В актовом зале нашей «реалки» выстраиваются все классы, и мы дружно поем «Боже, царя храни» вместе с синклитом учителей во главе с Лысым. Все они в парадных мундирах и при шпагах. И вскоре мы, преисполненные воинственно-патриотических чувств, обзаводимся картами Европы, в которые втыкаем булавки с разноцветными флажками Тройственного согласия (Россия, Франция, Англия), окружая ими страны Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия). Мы восхищаемся «доблестными союзниками», популярными становятся у нас седоусый маршал Жоффр, главнокомандующий французской армией, и черноусый английский фельдмаршал Китченер. Герой дня — бельгийский король Альберт, воспротивившийся нарушению нейтралитета Бельгии германскими войсками, прорвавшимися через бельгийскую территорию во Францию. Бельгийский государственный гимн, мелодичная «Брабансона», то и дело звучит у нас непосредственно после «Боже, царя храни» и «Марсельезы». Война как будто для России начинается успешно. Русские войска вторглись в австрийскую Галицию, взяты города Львов и Галич. В победном ореоле проносятся по стране имена генералов Рузского и Брусилова. Одновременно войска генералов Самсонова и Ренненкампфа вторгаются в Восточную Пруссию, движутся на Кенигсберг. Наша печать полна ликующих корреспонденций и статей, а в любимом мною журнале «Новый Сатирикон» из номера в номер высмеивают кайзера Вильгельма, кронпринца и выжившего из ума австрийского императора Франца-Иосифа. Достается и союзникам Германии — турецкому султану Махмудке и длинноносому болгарскому царю, немцу Фердинанду Кобургскому.

Но эта эйфория вскоре угасает… Германские войска подошли к Парижу. Столице Франции угрожает непосредственная опасность. Войска генералов Самсонова и Ренненкампфа в Восточной Пруссии попали в ловушку, они окружены, тысячи солдат убиты, другие попали в плен. Генерал Самсонов застрелился. Уже никого не смешат залихватские карикатуры на кайзера, они уже приелись, так же как и стишки, где неизменно рифмуется — «Вильгельма» и «шельма».

…Идет десятый месяц небывалой, неслыханной по масштабам кровопролития и упорству войны. Русские армии, полубезоружные по вине бездарной царской администрации, продолжают тяжелое, мучительное отступление. Военный пожар

все ближе и ближе к нашему дому. По мокрому булыжнику белостокских улиц грохочут колеса полевых орудий, походных кухонь, тянутся бесконечные вереницы каких-то военных повозок. Обозначенная пожарной каланчой центральная Базарная площадь города густо покрыта конским навозом. Куда ни взглянешь — промокшие серые шинели, усталые, угрюмые лица солдат. То ли это наши отступающие от Варшавы корпуса, то ли — подкрепление, прибывшее на фронт из Сибири. Моросит дождь. Сумрачно, беспокойно, на душе тоскливо. Всем ясно, что Белосток обречен. Как сейчас помню сухие, маловразумительные строчки очередной военной сводки: «Противник, приблизившись с севера к Осовцу, начал артиллерийский бой с крепостью». В переводе на обычный язык это означало, что немцы перешли границу в районе крепости Осовец и находятся в считанных километрах от Белостока. Уже отчетливо слышен в городе грохот орудий, а вскоре население испытывает и новинку войны в Европе — первый воздушный налет. Хотя техника воздушного бомбометания в ту пору была еще довольно примитивной — летчик просто-напросто брал бомбу руками и швырял ее вниз, — прямое попадание от этого не было менее опасным для жизни. Немецкие бомбы полетели на улицы Белостока в утренний час, когда дети шли в школу. Миша в тот день едва не погиб. Он успел забежать в подворотню, когда разорвавшаяся бомба убила одного и ранила трех его товарищей. А вскоре к нам пожаловал немецкий воздушный мастодонт — дирижабль «Цеппелин», сбросивший два чудовищных по тому времени авиационных снаряда. Со дня на день можно было ожидать прихода немцев. Оставаться в Белостоке мы не захотели, и наша маленькая семья, покинув город, в котором прожила почти пятнадцать лет, рассеялась в разные стороны. Миша уехал в Петроград и поступил в известный Психоневрологический институт, родители вернулись в Киев, а я очутился в Харькове, где в качестве «беженца из временно захваченных противником местностей» (таков был отныне мой статус) меня приняли в пятый класс Харьковского 2-го реального училища, поскольку в Киевском реальном училище не оказалось вакансий.

В Харькове, предоставленный сам себе, я прожил два года совершенно самостоятельной жизнью. Должен прежде всего сказать, что Харьковское реальное училище разительно отличалось от оголтелой, бурсацкой белостокской «реалки». Здесь царили образцовый порядок, культурные и вежливые взаимоотношения учителей с учениками. Было чисто, спокойно, благовоспитанно. Мне нравилось и то, что каждому ученику отводилась отдельная удобная парта, а не двойные, грязные и

облупленные, как в Белостоке. От этого и училось как-то легче. У меня были только четверки и пятерки (в том числе и по рисованию…). И педагоги тут не носили никаких издевательских кличек — их вежливо именовали только по имени-отчеству.

В Харькове я, между прочим, сделался завзятым театралом. Чуть ли не ежевечерне ходил я на спектакли местного Драматического театра и обязательно на все премьеры. Регулярно посещал и городскую библиотеку, где охотнее всего выписывал комплекты журнала «Новый Сатирикон», но брал и какие-то умные философские книги, в которых, однако, с трудом разбирался. Как ни странно, беллетристика меня мало интересовала. А знакомство с «Новым Сатириконом» подтолкнуло к тому, чтобы вернуться к рисованию карикатур. Пользуясь фотографиями в журналах, я смастерил несколько шаржей на популярных депутатов Государственной думы — Милюкова, Гучкова, Хомякова и других, а также и на председателя думы — Родзянко. И рисунки эти отослал в Петроград брату, который весьма успешно делал первые шаги в журналистике. Из номера в номер в довольно распространенном журнале «Путь студенчества» публиковались статьи, заметки и интервью, написанные семнадцатилетним юношей, который к тому же принимал активное участие в редактировании журнала. А вскоре Миша становится сотрудником новой, сразу обратившей на себя внимание газеты «Русская воля» под редакцией широко известного писателя Леонида Андреева.

Можно себе представить мое потрясение, когда недели через три я, развернув свежий номер роскошного литературно-художественного журнала «Солнце России», обнаружил занимавшее целые полстраницы свое произведение — шарж на Родзянко. Под рисунком был напечатан юмористический текст. Первый раз в жизни я увидел воспроизведенным в печати свой рисунок. Без конца разглядывал каждый штрих своего шаржа, дивясь происшедшему чуду. А в душе уже шевелился червячок авторского тщеславия, требовавший для себя новой пищи.

Однако надвинулись события более значительные, заставившие многие личные интересы отступить на задний план. В Харькове начались уличные беспорядки, связанные со студенческими волнениями. Я видел, как у здания Харьковского университета казаки разгоняли студенческую демонстрацию, проходившую под лозунгом «Полицию и жандармов — на фронт!». Явно накаляется общественная атмосфера. Из уст в уста передаются крамольные анекдоты, остроты, частушки по адресу придворной камарильи. Ходят по рукам сатирические стишки о ставленнике Григория Распутина — министре внутренних дел

Протопопове. Мне запомнились такие куплеты:

…Царю и родине служитель
На новый, собственный манер.
Дворянства бодрый предводитель
И бывший конногренадер.
Да будет с ним святой Егорий,
Но интереснее всего —
Какую сумму взял Григорий
За назначение его….

Политическая атмосфера такова, что этот переписанный мною стишок я приношу в училище и смело вручаю нашему классному наставнику, преподавателю истории Вадиму Алексеевичу Фесенко. Он молча его прочитывает и возвращает обратно, произнеся многозначительное: «М-да…»

В Харькове все началось со странного и тревожного отсутствия вестей из Петрограда. Перестают выходить газеты. На улицах и площадях кучками толпится народ, взволнованно переговариваясь и делясь неведомо откуда поступающими слухами. Все чего-то ждут. Воздух как бы насыщен электричеством.

В те дни в Харькове с большим успехом гастролировал знаменитый комедийный актер Александринского театра В. Н. Давыдов. Я, естественно, был на вечернем спектакле. Шел «Ревизор» с Давыдовым в роли Городничего. И вдруг, во время второго действия, на сцену неожиданно вышел кто-то из администрации театра с листком бумаги в руках. Извинившись перед Давыдовым, он обратился к публике:

— Господа! Попрошу соблюдать полную тишину! Получено исключительной важности сообщение из Петрограда!

Зал затаил дыхание. Давыдов приложил руку к уху, чтобы лучше слышать.

— … «В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание…»

Сердце сжалось. Стало страшно. Что это? Что случилось?

И вдруг:

— «В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных… Признали мы за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с себя верховную власть…»

Дальше уже ничего не было слышно — зал взорвался бурей восторженных криков и аплодисментов, продолжавшихся

несколько минут. Давыдов несколько раз поднимает руку и наконец устанавливает тишину. Потом он слабым, но хорошо слышным голосом запевает «Марсельезу». Но это не та знаменитая, запрещенная рабочая «Марсельеза», с хорошо известными словами: «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног» и сопровождающаяся припевом: «Вставай, подымайся, рабочий народ!» Слова, которые поет Давыдов, звучат гораздо более мирно и безобидно:

Вперед, без страха и сомненья,
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого обновленья
Уж в небесах завидел я!
Друзья! Дадим друг другу руки
И смело двинемся вперед,
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет!

Зал дружно подхватывает пламенную мелодию, сочиненную 125 лет тому назад, в годы Великой французской революции Руже де Лилем. Увы, самые ближайшие дни показали, что далеко не все склонны «давать друг другу руки» и вовсе не все согласны двигаться вместе в одном направлении. Даже для меня, ученика-подростка, было очевидно, что если отречение царя и крушение династии Романовых вызвали всеобщее удовлетворение в обществе, то во многих других отношениях оставались решительные разногласия и непримиримые противоречия. И в них нетрудно было разглядеть ростки близких острых столкновений, политической борьбы и грядущей братоубийственной Гражданской войны.

С утра до вечера бродил я по харьковским улицам и площадям, с интересом слушая выступления ораторов на бесчисленных летучих митингах. Помню вызвавшие бурные аплодисменты страстные выступления немолодой работницы в платочке, а вслед за ней пожилого рабочего, призывавших покончить с войной: «Она только буржуазии нужна! Хватит проливать кровь!» Но немедленно вслед за ними на самодельную трибуну взобрался плотный усатый мужчина в котелке и стал довольно складно доказывать, что войну заканчивать нельзя, поскольку «тысячи наших братьев уже погибли на фронте, так неужели мы допустим, чтобы их кровь пролилась зря!» Завершил он свою речь зычным возгласом: «Да здравствует война!» Человеку в котелке хлопали точно так же. Нетрудно себе представить, что люди, аплодировавшие одной или другой

стороне, впоследствии отстаивали свои взгляды уже не словами, а с оружием в руках.

Я, конечно, еще слабо разбирался в основе этих разногласий, но все мое существо было против войны, которая разорила и раскидала нашу семью, и я решил выразить свои чувства в карикатуре. Я изобразил «демона войны» в образе мефистофелеобразного субъекта на груде черепов, которого закалывает штыком солдат, наступивший сапогом на царскую корону. Чрезвычайно довольный своим произведением, я отнес его прямо в редакцию харьковской газеты «Южный край» и смело вручил секретарю. Тот посмотрел на рисунок, потом на меня с плохо скрытым отвращением и возвратил мне карикатуру со словами:

— Что это вы, молодой человек? Предлагаете предать союзников и заключить с Германией сепаратный мир?

Глава вторая

В последние дни марта того же семнадцатого года я расстался с Харьковом, унося самые добрые воспоминания о прожитых в нем двух годах. И с большим удовольствием ожидал встречи с родным Киевом, где жили родители, куда вскоре приехал и браг Миша. Киев, как и вся страна, бурлил революционными событиями, митингами, острыми политическими спорами. Как и в Харькове, я с интересом слушал эти словесные баталии. Между прочим, одним из самых популярных мест для них была наскоро сколоченная деревянная трибуна там, где еще недавно стоял памятник Столыпину. Горячо и с прямо противоположными комментариями обсуждались события в Петрограде, создавшееся там двоевластие Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов. А между тем в самом Киеве уже назрело настоящее троевластие. Одновременно нарастали активность и влияние украинского национального движения, воплощенного в Центральной Раде (своего рода украинском парламенте) и Всеукраинской Раде вийсковых депутатов. В это же время я прочел в газете «Киевская мысль», что в Петроград приехал из-за границы некто Ленин, которого на Финляндском вокзале встречала огромная толпа рабочих во главе с председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов Чхеидзе. Взобравшись на оказавшийся на площади броневик, этот Ленин произнес речь, в которой призывал к свержению Временного правительства и «превращению буржуазной революции в социалистическую». Я ничего не понял. Я не знал, кто такой Ленин, никогда не слышал этой фамилии. И не мог понять, почему его не устраивает прекрасная, светлая революция, свергнувшая прогнивший царский режим и сделавшая Россию свободной республикой. Какая ему еще нужна «социалистическая революция»?

С огромным интересом слушал я живые рассказы брата о революционных событиях в Петрограде. Между прочим, у него была почти артистическая способность, рассказывая о встречах с людьми, очень точно показывать их облик, манеру разговаривать, характерные черты. Так, он очень убедительно показывал, как брал интервью у А. Ф. Керенского для журнала «Путь студенчества» еще за год до революции. Керенский тогда возглавлял в Государственной думе крохотную группу левых депутатов (4 человека), именовавшихся «трудовиками». И вот новая встреча с ним в февральские дни революции. Это — знаменитый Екатерининский зал Таврического дворца, который,

по описанию брата, тогда стал «казармой, военным плацем, митинговой аудиторией, больницей, спальней, театром, колыбелью новой страны». Брат рассказывал, как вступил сюда целый гвардейский полк с офицерами, знаменами и оркестром. Вот перед пришедшими возникает грузная фигура председателя думы Родзянко, который, должно быть, уже видел себя президентом Российской республики. Раздается его зычный голос: «Здо-рова, ма-ладцы-преображенцы!» Полк отвечает грохочущим рыком, оркестр играет «Марсельезу». Родзянко уходит в усталом величии, сморкаясь в большой платок. После Родзянко на трибуне появляется один из лидеров кадетской партии (так называли партию конституционных демократов) Милюков. Его профессорский сюртук тщательно вычищен, крахмальный воротничок подпирает гладко выбритые щеки, топорщатся пышные седые усы. Его обращение несколько иное: «Граждане, приветствую вас в этом зале!» И третьей возникает быстрая сухощавая фигура Керенского. Напрягая усталое горло, он выкрикивает: «Товарищи!» — и это звучит здесь более уместно и демократично, чем «маладцы-преображенцы» и «граждане».

Мне довелось увидеть Керенского своими глазами, когда его восторженно встречали в Киеве. Помню, как в стихах, напечатанных по случаю его прибытия, штатный поэт газеты «Киевская мысль» Гарольд писал: «…В скромном френче юный бог».

События стремительно нарастали. Уже миновали так называемые «июльские дни» в Петрограде — беспорядки, учиненные солдатами, поддавшимися на агитацию большевиков против Временного правительства. Уже отшумело Государственное заседание в Москве, на котором самой эффектной фигурой оказался незадолго до того бежавший из германского плена генерал Лавр Георгиевич Корнилов. Став Верховным главнокомандующим, он явился подлинным героем дня. Помню рисунок на обложке одного из журналов: изображен Керенский, опирающийся на плечо Корнилова, который ему говорит: «Вы устали, Александр Федорович, отдохните на лавре». Вскоре разразился корниловский мятеж. Корнилов неожиданно потребовал от Керенского сложить полномочия с явным желанием установить в России свою военную диктатуру. Но Керенский оказался сильнее: Корнилов был смещен со своей должности и арестован. Корниловский мятеж сыграл на руку большевикам, которые с этого момента активно устремились к свержению Временного правительства и захвату власти.

Далеко не восторженно встречает Кольцов Октябрьский переворот. Не по душе ему приходятся яростные призывы к

«диктатуре пролетариата», призывы все «разрушить до основанья, а затем…» и другие громокипящие лозунги. Он не примыкает к большевикам, а вступает в более умеренную демократическую группировку так называемых межрайонцев.

С естественным интересом и любопытством начинающего, но уже определившего свое признание журналиста Кольцов наблюдает события Октября. Ему, по-видимому, трудно сразу определить свое отношение к новой власти. Он далек от враждебной книги «Окаянные дни» Ивана Бунина, но не разделяет и решительного «Моя революция» Владимира Маяковского. Ближе всего ему, пожалуй, восприятие американского журналиста Джона Рида, не проявившего глубокого понимания учения Маркса — Энгельса, но просто захваченного бунтарской романтикой переворота. Как и Рид, Кольцов был увлечен революционной дерзостью немногочисленной партии, смело взявшей в свои руки власть в огромной взбудораженной, бушующей стране. Думаю, если бы Кольцов тогда же написал о своих впечатлениях, они бы во многом перекликались с книгой Рида «10 дней, которые потрясли мир». Но Кольцов, забыв на время журналистику, с головой ушел в другое дело. Он работает в так называемом Скобелевском комитете, в области документальной кинохроники. Снимает эпизоды гражданской войны в Финляндии, потом братание русских солдат с немецкими на фронте.

А меня бурные события наступающего восемнадцатого года застали в родном Киеве учеником седьмого класса Киевского реального училища святой Екатерины. Об этом учебном заведении у меня остались самые смутные воспоминания. Не до учебы было в те тревожные месяцы. С каждым днем обострялась конфронтация между тремя противоборствующими силами — сторонниками Временного правительства, большевиками, оплотом которых был завод «Арсенал», и украинскими националистами. Последние уже представляли собой подлинное государство в государстве — я упоминал о Центральной Раде, вокруг которой организовались многочисленные вооруженные отряды, называвшиеся по старой запорожской традиции «куренями». Они объединяли «гайдамаков», «вильных козаков», «сичовых стрильцев» и «синежупанников», одетых в яркие, почти театральные одеяния и мундиры. Уже приобрело широкую известность имя их главаря Симона Петлюры, по фамилии которого ко всему этому воинству прочно пристало название «петлюровцы».

Петлюровцы выпускали несколько крикливых газеток и даже сатирический журнальчик «Гедз», страницы которого пестрели

грубыми издевательским карикатурами, сеявшими национальную рознь и вражду к «московсько-монгольским хамам». Город лихорадило: постоянные уличные столкновения, почти не прекращавшаяся по вечерам стрельба неизвестно с чьей стороны и неизвестно в кого… Было тревожно, неуютно, страшновато. Поддерживавшие Временное правительство юнкера были вскоре разгромлены петлюровцами, но большевистский «Арсенал», осажденный гайдамаками и «сичовыми стрильцами», продолжал упорно держаться, надеясь на выручку, — к Киеву приближались отряды большевиков под командованием некоего полковника Муравьева.

Политический календарь не всегда совпадает с календарем общегражданским: Октябрь наступил в Киеве только в январе. Три месяца прошло с того дня, как в актовом зале Смольного Ленин провозгласил советскую власть. Первое боевое крещение киевлян!..

Всякое движение в городе замерло. Артиллерийские снаряды с воем и грохотом ударяют в дома. Трудно понять, кто откуда наступает, куда бьют пушки. Но вот все стихло. Сражение окончилось. Жители выглядывают из ворот. Тяжелый пороховой дым оседает на окровавленный снег. По крутой улице заиндевевшие лошади тянут пушки-трехдюймовки, нестройной толпой идут солдаты.

Советская власть, провозглашенная Лениным в Петрограде, простояла, как известно, семьдесят четыре года, пока не была денонсирована в Беловежской пуще руководителями России, Белоруссии и Украины Ельциным, Шушкевичем и Кравчуком. Советская власть, установленная в Киеве, продержалась значительно меньше. Петлюровцы вернулись ровно через три недели, ведя за собой германскую армию, оккупировавшую Киев и заодно всю Украину на основе «Мирного договора о дружбе и взаимопомощи», заключенного в Бресте. Кайзер Вильгельм протянул руку помощи Симону Петлюре.

…Я стоял в толпе у городского оперного театра, перед которым на площади живописным каре выстроились гайдамаки, «сичовы стрильцы» и «синие жупаны», и своими глазами лицезрел самого Симона Васильевича в распахнутой солдатской шинели и гайдамацкой папахе с длиннющим алым шлыком. Под крики «Слава!» он стремительно перебегал от одного куреня к другому, выкрикивая какие-то приветственные слова. Я внимательно разглядывал его остроносую физиономию, как бы предвидя, что мне не раз предстоит изображать ее на карикатурах и сатирических плакатах. Петлюра был, несомненно, незаурядный и чрезвычайно энергичный политический деятель. Дальнейшая

судьба его такова: через несколько лет он был застрелен в Париже неким часовщиком Шварцбардом, мстившим за своих родителей, зверски убитых во время погрома, учиненного петлюровцами в Проскурове.

Парад на площади еще продолжался, когда ко мне, стоявшему в первом ряду толпы, подошел гайдамак. Я был в студенческой фуражке и в форменном студенческом пальто с золотыми пуговицами. Внимательно меня оглядев, он перевел взгляд на стоявшего рядом со мной моего соседа по дому, скромного продавца одного из магазинов, в потертой куртке. И, взяв его за плечо, отвел куда-то в сторону. Возвращаясь после парада домой, я увидел, как вели по мостовой большую группу людей, окруженную конвоем с ружьями наперевес, и услышал, как прохожие говорили: «Ведут коммунистов…» Я понял, что моего соседа ждет незавидная судьба. Домой он больше не вернулся.

Уход большевиков из Киева и возвращение петлюровцев оказались началом более чем двухлетней непрерывной смены властей в многострадальном городе, первым оборотом драматической и далеко не бескровной карусели переворотов и, как острили киевляне, «недоворотов». Киевляне подсчитали, что смена властей в столице Украины произошла ровно двенадцать раз. Неоднократно чередовались большевики, деникинцы, петлюровцы. Надо ли повторять, что эта жуткая «карусель» сопровождалась уличными боями, разрушениями и кровавыми расправами. Не забуду, как после ухода из Киева отряда Муравьева мы с отцом с ужасом смотрели в помещении анатомического театра на бесчисленные трупы расстрелянных большевиками юнкеров, офицеров, «буржуев». Помню, с каким тяжелым сердцем хоронили мы группу школьников-старшеклассников, расстрелянных петлюровцами в предместье Киева Борщаговке. Помню, как в августе девятнадцатого года, после ухода советской власти и вступления в город деникинской армии генерала Бредова, я в числе других киевлян с ужасом смотрел на покрытые засохшей человеческой кровью и мозгами стены огромного каменного сарая во дворе ВУЧК (Всеукраинской чрезвычайной комиссии).

То были страшные времена. Но, должен засвидетельствовать, жизнь в Киеве продолжалась. Люди не перестали встречаться, смеяться, влюбляться, ревновать, вступать в браки, разводиться, петь песни, сочинять стихи, ходить в театры, одним словом, жить.

Между тем события следовали одно за другим непрекращающейся чередой. Несмотря на договор о дружбе и взаимопомощи, немцы проявили по отношению к Петлюре

«черную неблагодарность»: не прошло и месяца, как он был отстранен от власти, Центральная Рада разогнана, куда-то исчезли гайдамаки и «сичовы стрильцы». Украинская народная республика была переименована в Украинскую державу, во главе которой немцами был поставлен генерал-лейтенант Павел Петрович Скоропадский в ранге «Гетмана всея Украины».

Гетманский период в Киеве заслуживает особого описания. Как относилось население Киева к немецкой оккупации? С одной стороны, она не могла не ущемлять патриотические чувства у нас, российских граждан. С другой — стальная щетина германских штыков прочно охраняла нас от большевиков, которых все боялись, помня их жестокости в Киеве. Нельзя не сказать и то, что немцы той поры отнюдь не были заражены гитлеровским расизмом и мракобесием, их отношение к населению было вполне цивилизованным и культурным.

Киев в этот период представлял собой прелюбопытное зрелище: это был своего рода Кобленц. Подобно тому, как в эпоху Великой французской революции тот прирейнский город служил убежищем аристократов и роялистов, жаждавших иностранной интервенции против якобинцев, так сейчас Киев спасал бежавших от большевиков под крылом «ясновельможного Гетмана всея Украины» Павла Скоропадского, а по сути дела — под защитой германских штыков. В Киев хлынула из Петрограда и Москвы разношерстная толпа бывших министров и депутатов Государственной думы, генералов и биржевиков, редакторов и спекулянтов, светских дам и искательниц приключений, литераторов и артистов, других оставшихся не у дел осколков рухнувшего мира. Густая атмосфера слухов, сплетен, фантастических вымыслов, спекулятивных афер и всяческой коррупции. Пестрая лихорадочная сутолока будущих именитых эмигрантов, от Милюкова до Аверченко, уповающих на свержение Советов силой оружия — безразлично чьего: кайзера или Антанты. Доморощенные политиканы до хрипоты спорят главным образом о преимуществах той или другой ориентации — германской или союзнической. Ориентация! Самое модное словечко в Киеве восемнадцатого года… В кабаре «Кривой Джимми» бежавшие из столиц комедийные артисты распевают лихие куплеты:

Кто не менял средь наших дней
О-ри-ен-та-ции своей?
Да-а при всяческом режиме?
— Джимми!

Возникают и лопаются всевозможные бульварные газетки, театральные и юмористические журнальчики, бесчисленные кабаре, замысловато оформленные кабачки и подвальчики для литературно-театральной богемы, всякого рода студии и театры миниатюр. Процветает полуклуб-полукабак под бойким названием «ХЛАМ»: Художники, Литераторы, Актеры, Музыканты. Там всегда шумно и весело, выступают с чтением стихов поэты, поют артисты. Желающих тут же зарисовывают художники. Там, в «ХЛАМе», я впервые увидел Илью Эренбурга, привлекавшего всеобщее внимание не только огромной лохматой шевелюрой, но и громкой репутацией бежавшего от преследований царской полиции во Францию еще до Февральской революции. В Париже он занимался переводами старых и современных французских поэтов, а также изданием своих собственных стихов. Теперь он каким-то образом появился в Киеве и здесь, в «ХЛАМе», выступал с чтением своих «Стихов о России», из которых мне запомнился только рефрен: «Барабан! Барабан! Барабан!»

В Киев щедро доставляются немецкие газеты и иллюстрированные издания, среди которых известный мюнхенский сатирический еженедельник «Симплициссимус». Я рассматриваю его с большим интересом, изучаю рисунки мюнхенских корифеев Гульбрансона, Гейне, Тэнни, Шиллинга и других. Мастерство немецких сатириков производит на меня сильное впечатление, но издевательски-грубый, ультрашовинистический характер карикатур «Симплициссимуса» весьма неприятен. В стиле Тэнни я делаю для себя рисунки, в которых наблюдаемые мной в действительности типы немецких солдат и петлюровских вояк пытаюсь запечатлеть в обобщенных сатирических образах. Одновременно простым гульбрансоновским штрихом рисую дружеские шаржи на артистов и литераторов. Поддавшись искушению увидеть свою работу в печати, отдаю их в театральный журнальчик «Зритель». Там появляются мои дружеские шаржи на актрису Веру Юреневу, поэта Александра Вознесенского, известного театрального критика и режиссера Александра Кугеля и других лиц.

Невозможно разорвать культурные и литературные связи страны, подавить живой интерес киевской интеллигенции к художественной жизни Петрограда и Москвы. Преодолевая колючую проволоку русско-германского фронта, в Киев прилетают на крыльях поэзии две гениальные поэмы. Они переписываются и передаются из уст в уста. Название одной из них «Облако в штанах», другой — «Двенадцать». Вряд ли в ту пору можно было назвать поэтов более популярных и притягательных, чем Владимир Маяковский и Александр Блок.

Ими зачитывались, их заучивали наизусть. Мы не уставали повторять кованые, чеканные строки:

Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!

Это было целиком в стиле Маяковского, гармонировало с уже устоявшимся представлением о дерзкой, самобытной поэзии поэта-футуриста, скандалиста, бунтаря.

Но это:

Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила —
С солдатьем теперь пошла?

Неужели эти строчки написал утонченный задумчивый Блок, вдохновенный поэт изысканных лирических образов? Рыцарь Прекрасной Дамы? Мы помнили:

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

Мы были ошеломлены и озадачены. И все же новая поэма побеждала, убеждала, завоевывала умы и души своей могучей силой:

Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Восхищаясь мастерством поэта, свежестью и смелостью «Двенадцати», издатели киевского литературно-художественного журнала «Куранты» все же увидели в образе Блока-красногвардейца сюжет для шаржа. С предложением нарисовать его редактор «Курантов» Александр Дейч обратился ко мне.

Александр Иосифович Дейч был своего рода вундеркиндом. В самом деле, разве не назовешь «чудо-ребенком» 15-летнего школьника, стихи которого публикуются в печати? Могут сказать:

«Ну, не такое уж это диво». Возможно. Но после этого в печати публикуются его же серьезные, глубокие, совершенно по-взрослому написанные и блестяще аргументированные статьи, такие, как «Тип Дон Жуана в мировой литературе», «Миф о Прометее», «Джованни Боккаччо», «История доктора Фауста», «Карнавал на Западе», «Два сказочника» (Г.-Х. Андерсен и Оскар Уайльд), «Очерки о футуризме», историко-литературный очерк «Сказание о Тангейзере», статьи о Блоке и Ф. Сологубе, Пушкине и Карло Гоцци и многие-многие другие. Просто поражают горизонты и интересы юного литературоведа и критика. И это были его первые шаги. Впереди — многолетняя, неутомимая и непрестанная деятельность Александра Иосифовича Дейча — поэта, беллетриста, публициста, драматурга, переводчика, критика, литературоведа, историка…

Я познакомился с Дейчем в памятном восемнадцатом году в родном для нас обоих Киеве. Как я уже писал, одним из самых модных понятий того времени было слово «ориентация». Действительно, при гетмане ориентация была на кайзеровскую Германию. При деникинцах — на Антанту. Но самой надежной считалась ориентация на Америку. Предполагалось, что президент Вудро Вильсон — самая надежная защита от большевиков, и с нетерпением ждали его приезда в Европу. Но Вильсон к нам не спешил. Вспоминаю грустный стишок: «Когда мы мыслим мудро, пригрезится любви ль сон? О нас не помнит Вильсон. В Париж уехал Вудро…» Этот немудреный стишок подписан псевдонимом Деколье, что наподобие Кукрыниксы является соединением трех фамилий — Дейч, Кольцов, Ефимов. За этой подписью в ту пору в разных газетках часто появлялись юмористические частушки, эпиграммы и другая мелочь.

На фоне этой, в общем, чепуховой печатной продукции резко выделяется высокой культурой содержания изящно, со вкусом оформленный литературно-художественный журнал под названием «Куранты». Его создатель и редактор — двадцатитрехлетний Александр Дейч, собравший в журнале таких же, как он, талантливых «поклонников изящного», любителей литературы и искусства. «Куранты» стали подлинным очагом культуры для киевской интеллигенции, приобщающейся через этот журнал к последним литературным событиям и новинкам. Именно в редакции «Курантов» Дейч прочел нам вслух поэму Александра Блока «Двенадцать». И тут же предложил мне нарисовать дружеский шарж ка Блока-красногвардейца. Я постарался в своем рисунке обыграть юмористический контраст между изящной поэтической лирой и тяжелыми солдатскими сапогами, винтовкой на черном ремне. Шарж понравился Дейчу и

был напечатан в «Курантах».

Секретарем редакции журнала был Александр Розовский, писавший под псевдонимом С. Грей. Человек с характером настойчивым и упрямым, то есть с качествами, которых как раз не хватало мягкому и уступчивому Дейчу. И Кольцов как-то сочинил такую эпиграмму:

Пьет ли Дейч, ест ли,
Полощется ли борною
Или даже если
Он идет в уборную, —
Всюду Грей рачительно
Прет его коленцем.
Вот уже действительно
Связался черт с младенцем!

Шли годы. И наступило время, когда закончился киевский период биографии Дейча, Кольцова, Розовского и мой тоже. Все мы стали москвичами. Дейч переехал в Москву, когда Кольцов уже был редактором «Огонька», руководителем крупнейшего Журнально-газетного объединения (ЖУРГАЗ), и часто потом с улыбкой рассказывал:

— Приехал я в Москву и твердо решил там остаться. Но так как я уже не раз являлся к Кольцову, приезжая из Киева, и говорил о своем решении переселиться в Москву, а потом уезжал обратно на Украину, то мне было неловко заходить к нему в «Огонек». Помог случай. На углу переулка меня встретил Зозуля и радостно затащил в редакцию… На одной из дверей была строгая черная надпись «Редактор». Дверь приоткрылась, и через мгновение меня уже стиснул, обнимая, Кольцов. Он усадил меня в кресло у окна и со свойственной ему лаконичностью сказал: «Если теперь не обманете, садитесь за этот стол и работайте. Вы с этой минуты — заведующий иностранным отделом».

Но роль Дейча в ЖУРГАЗе далеко не ограничилась иностранным отделом. Он стал незаменимым компетентным и авторитетным консультантом по всем литературным изданиям Журнально-газетного объединения. Перед его близорукими глазами, прикрытыми толстыми стеклами очков, и через его руки проходили многотомные серии зарубежных романов, «История молодого человека 19-го столетия», первое при советской власти собрание сочинений Чехова, отдельные специальные номера «Огонька», другие сложные и ответственные жургазовские издания.

Рассказывая о Дейче, я прежде всего вспоминаю никогда не

покидавшее его чувство юмора, которым было неизменно окрашено его общение с людьми, и столь же присущие ему уравновешенность и олимпийское спокойствие — качества, которые так помогали ему в трудные периоды жизни.

Именно так, спокойно и мужественно, встретил он постигшую его в расцвете лет беду — полную потерю зрения. Опираясь на бесценную помощь Евгении Кузьминичны, его верной подруги и жены, Александр Иосифович продолжал увлеченно, вдохновенно и плодотворно работать до самых своих последних дней.

Известно, что первой книгой в задуманной Горьким и осуществленной Кольцовым широко популярной серии «Жизнь замечательных людей» была биография Генриха Гейне, написанная А. И. Дейчем.

Не символично ли, что серию повестей о замечательных людях всех времен и народов начал своим произведением писатель, ученый, историк, которого самого нельзя не причислить к людям замечательным.

Но вернемся в Киев. Появление в нем брата в ту пору было связано с его работой в Скобелевском кинокомитете, а в частности — с командировкой для съемок мирных переговоров между Советской Россией и Украинской державой, проходивших в Киеве. Но политические и военные события развиваются настолько стремительно, непредсказуемо и не всегда благоприятно, что брат «застревает» в Киеве. И надолго.

С детства знакомый родной Киев предстает в глазах Кольцова по-новому. Красавец город совсем недавно перестал быть ареной ожесточенных уличных боев, кровавых расправ, сопровождавших смену враждующих властей. Теперь, после вступления в город немецкой армии под командованием фельдмаршала фон Эйхгорна, здесь воцарилось полное спокойствие. Трудно себе представить в ту пору больший контраст, чем между суровой, голодной и холодной Москвой и сытым, благодушествующим, развлекающимся в бесчисленных кабачках и кабаре, клубах и театриках Киевом.

Неугомонную журналистскую натуру Кольцова интересуют и порядки германской оккупации, и скрытое, но упорное ей сопротивление, и премьеры обосновавшихся в Киеве московских театров, и возглавляемые Симоном Петлюрой украинские гайдамаки, затаившиеся где-то под Киевом, и многое другое. И конечно, немалое значение имеют возникшие близкие отношения с Верой Леонидовной Юреневой, известной всей стране актрисой, ставшей здесь, в Киеве, его женой.

А из «Совдепии» идут мрачные вести: большевики с трудом подавляют левоэсеровский мятеж в Ярославле, убит германский

посол граф Мирбах, и немцы требуют ввода контингента своих войск в Москву, в Петрограде убит председатель ЧК Урицкий, Ленин тяжело ранен пулями террористки Каплан, на Волге вспыхнул мятеж чехословацкий военных частей. И еще, и еще, и еще… Похоже, что большевикам приходит конец… Что же это? Может быть, Советское государство (Совдепия) оказалось призрачно-недолговечным явлением, подобным легендарному граду Китежу, скрывшемуся под водой вместе с теми, кто его построил? Большевистский Китеж? Красный Китеж?

Под этим названием в журнале «Куранты» Кольцов печатает свои размышления. Пожалуй, наиболее яркая и эффектная фигура большевистского «Красного Китежа» — Лев Троцкий, один из главных организаторов и руководителей Октябрьского переворота. Кольцов вдосталь насмотрелся в Октябрьские дни на Троцкого, и его, как и Джона Рида, поражал несравненный ораторский дар этого человека, подлинного митингового трибуна, способного наэлектризовать и увлечь за собой тысячи людей. Но здесь, в Киеве, Кольцову открывается другая, доселе ему не известная ипостась Троцкого. Это — Троцкий, рьяно выступающий за «войну до победного конца» в своих корреспонденциях из Франции на страницах газеты «Киевская мысль» под псевдонимом Антид Ото. Так Кольцов, к немалому своему удивлению, обнаружил, что политические воззрения Троцкого-журналиста существенно отличались от идей, провозглашавшихся Троцким — вождем Октябрьской революции. И в своей статье «Красный Китеж» высказал убеждение, что Троцкий по самой природе своей был и остается *журналистом,* для которого главное — сенсационные события и остросюжетные ситуации, дающие возможность развернуть во всю силу литературные, ораторские, организаторские и агитаторские таланты. В сложной, противоречивой фигуре Троцкого Кольцов увидел своего рода олицетворение «Красного Китежа».

Киевский период восемнадцатого года был для Кольцова своего рода Рубиконом, который надо было перейти в ту или другую сторону. Некоторые лозунги Октябрьского переворота, как, скажем, «Мир народам», другие возвышенные революционные призывы находили у него живой отклик, хотя далеко не все нравилось ему в действиях и нравах большевистской власти. Но для Кольцова были совершенно чужды и неприемлемы идеи и лозунги Белого движения, конечной целью которого являлось, несомненно, восстановление монархии. Он не смог бы, как некоторые другие писатели, годами жить в Париже или Берлине, со стороны наблюдая за тем, что творится в Совдепии. Он был патриотом своей страны на деле, а

не на громких словах. И решил, что его долг служить ей своим пером журналиста, бороться в этой своей стране с засоряющими и омрачающими ее жизнь безобразиями, уродствами. И он это сделал.

В своем рассказе я упомянул об убийстве посла Германии. Мог ли я в то время подумать, что мне предстоит личное знакомство с его убийцей?

Есть люди, которые входят в историю не благодаря своим заслугам, а потому, что их имя связано с каким-нибудь скандальным, безнравственным или даже злодейским поступком. Древнейший тому пример — человек, который поджег одно из «семи чудес света» — храм Артемиды в античной Элладе. Звали его Герострат, и целью такого варварского поступка было безумное желание прославить свое имя. Шутили, что древние греки решили достойно наказать Герострата, предав его имя полному забвению. И можно было любого грека разбудить ночью и спросить:

— Кого ты должен забыть?

Он прямо со сна отвечал:

— Безумного Герострата.

Нечто подобное произошло и с Яковом Блюмкиным. На протяжении многих лет на вопрос «Кто такой Блюмкин?» следовал немедленный ответ: «Тот, кто убил графа Мирбаха».

Блюмкин был сотрудником ВЧК, членом партии левых эсеров (социалистов-революционеров). А целью убийства было желание сорвать так называемый похабный Брестский мир с Германией. Дальнейшая судьба Блюмкина такова: сначала он бежал на Украину, потом явился с повинной, был амнистирован и даже принят обратно на работу в ЧК.

Я увидел его впервые в 1923 году в редакции только что возникшего журнала «Огонек». Смотрел на него, конечно, с любопытством — у него как будто на лбу было написано: «Я — тот самый Блюмкин, который убил Мирбаха!» Он был весьма словоохотлив и подробно рассказывал, что недавно вернулся с Кавказа, где принимал участие в подавлении каких-то мятежей против советской власти. При этом высказался с каким-то смаком: «Мы их там шлепнули, тысячи две».

(Я впервые тогда услышал этот залихватский термин «шлепнули», означавший «расстреляли».)

Вернувшись в Москву, Блюмкин начал работать в секретариате Троцкого, тогда председателя Реввоенсовета республики. Блюмкина, видимо, потянуло на литературную деятельность, и он пришел в редакцию «Огонька» предложить очерк о работе этого секретариата. Как раз при мне редактор

нового журнала Кольцов прочел очерк и сказал:

— Ну, что ж, мы это напечатаем. А как подписать? Вашей фамилией?

Блюмкин подумал.

— Нет, — сказал он, — пожалуй, как-нибудь иначе.

Кольцов оглянулся вокруг, и взгляд его упал на стоявший в углу несгораемый шкаф, на дверце которого была надпись «Сущевский завод».

— Вас устроит подпись «Я. Сущевский», товарищ Блюмкин?

Тот согласился, и очерк под названием «День Троцкого» за подписью «Я. Сущевский» появился на страницах «Огонька». Надо отдать справедливость автору — написан он бойко, образно, хорошим литературным языком.

Я не раз потом встречал Блюмкина в редакциях, в творческих клубах, в обществе журналистов, писателей, и повсюду он любил находиться в центре внимания, всячески давая понять, что он — личность историческая, разглагольствуя о былях и небылицах своей биографии. Помню, в какой-то компании Блюмкин патетически рассказывал, как, схваченный белогвардейцами и поставленный ими к стенке, он в ожидании расстрела гордо запел «Интернационал».

— Что же было дальше? — с интересом спросил писатель Лев Никулин.

— Меня спасли прискакавшие в этот момент буденновцы, — не задумываясь, ответил Блюмкин.

Потом он куда-то надолго исчез. Мы узнаем из воспоминаний бежавшего на Запад сотрудника ОГПУ — НКВД Александра Орлова, что Блюмкин был в это время назначен нелегальным резидентом советской разведки в Стамбуле. Свое пребывание в Турции он использовал для тайных контактов с высланным туда из Советского Союза Троцким. Это немедленно стало известно в Москве от внедренных в окружение Троцкого агентов ГПУ, и было решено срочно вернуть Блюмкина в СССР. Для этого использовали привлекательную даму, агента ГПУ Елизавету Горскую. Она с успехом выполнила поручение. Блюмкин вместе с Горской вернулся в Москву, не подозревая, что в ГПУ уже известно о его контактах с Троцким. Впрочем, по каким-то соображениям, арестовали его не сразу. Он оставался на свободе, вместе с Лизой Горской бывал в гостях, и, в частности, я как-то встретил эту парочку у своего приятеля писателя Бориса Левина. Там собралась довольно большая компания, шла оживленная дружеская беседа, и тут Блюмкин, одержимый присущей ему страстью повсюду выпячивать свою персону, стал разглагольствовать о своих турецких впечатлениях и не смог

удержаться от того, чтобы не упомянуть встречу с Троцким. Подтвердилась старая истина «язык мой — враг мой»: видимо, кто-то из присутствовавших «стукнул» куда следует, что по тем временам было, увы, нормой советского общества. По всей вероятности, усердие «стукача» ускорило предполагавшийся арест Блюмкина.

…О дальнейшей его судьбе нетрудно догадаться. По тем же воспоминаниям Александра Орлова: «Он мужественно шел на казнь и перед тем, как должен был прозвучать смертельный выстрел, воскликнул: «Да здравствует Троцкий!»

Было ли так действительно или нет — мы не знаем, но это похоже на Блюмкина, человека, может быть, склонного к дешевым эффектам, но, бесспорно, смелого и мужественного.

…Яков Блюмкин вошел в историю как человек, который убил графа Мирбаха. Но, как нередко бывает в истории, то, что считается достоверным, вдруг становится сомнительным — есть свидетельства сотрудников германского посольства, очевидцев покушения на посла, что Блюмкин, трижды стрелявший в Мирбаха, промахнулся, а посла застрелил пришедший вместе с Блюмкиным другой левый эсер — Андреев. Однако не Николай Андреев, а Яков Блюмкин увековечил свое имя.

Что ж, так бывает в истории…

Глава третья

Рассказывая о киевском периоде жизни, нельзя не вспомнить и нашего общего с братом коллегу и хорошего приятеля Ефима Зозулю.

— Кто такой? — может спросить иной читатель нового поколения. — Что-то я не знаю такого писателя.

Охотно этому верю. И поэтому позволю себе сразу же привести коротенький рассказ-новеллу этого несправедливо забытого писателя.

«Был один медник, очень недовольный жизнью. Ему ничего не нравилось. Лицо у него было косое, злое и испуганное. В будни он работал, а в праздники бродил по городу, изливался желчью и все критиковал. Но никому о критике своей не говорил. Боялся.

Так прошло тридцать лет.

К косому и испуганному лицу его прибавилась седая, косая, ехидная борода. А он все злился и все критиковал.

Наконец решил излить злобу. Придумал пакость.

Сам изобрел и выстроил огромную медную трубу, которая, если завести в ней особую пружинку, могла прорычать на весь город самое неприличное ругательство.

Десять лет он строил эту трубу. И вот ночью собрал трубу, высунул в окно, завел пружину на семь часов утра, затем быстро уложил свои вещи, побежал на вокзал и — уехал.

В заведенный час труба прорычала свое ругательство. Но был уже рассвет. Пели петухи. Звенел трамвай. Грохотали телеги. Оглушительно свистели поезда.

И рев медниковой трубы потерялся в звуках жизни. При синем небе и восходящем солнце, в свежей радости утра неприличное слово прозвучало, как благословение.

А отсутствия старого медника никто не заметил».

Эта на первый взгляд простенькая, забавная притча пронизана светлым жизнеутверждающим мировоззрением, лежащим в основе всего творчества Зозули.

Нелегкими были молодые годы писателя. Он познал и изнурительный труд чернорабочего, и издевательскую муштру царской казармы, и неволю тюремной камеры за участие в революционном движении. Но это не помешало ему серьезно заниматься самообразованием, изучать философию, увлекаться учением Спинозы, писать о нем статьи, которых, впрочем, никто не печатал.

Однако никакие жизненные испытания не лишают его оптимизма, добродушного лукавого юмора, тяги к писательству.

И он добивается своего — его рассказы, очерки, новеллы начинают появляться в печати.

Я познакомился с Зозулей в бурном восемнадцатом году в Киеве и как-то сразу с ним подружился. Уже тогда он мне понравился своим спокойным юмором, мудрой рассудительностью.

Именно Зозуля познакомил меня и моего брата со своими друзьями, приехавшими из Москвы, — поэтом Александром Вознесенским и его женой актрисой Верой Юреневой. И, как я уже упоминал, так случилось, что между Михаилом и Юреневой возникли близкие отношения. Зозуля был этим крайне недоволен.

— Зачем это? — говорил он мне, слегка потряхивая головой (у него был легкий тик). — Не будет из этого ничего хорошего. — И, как положено писателю, мысля образами, продолжал: — Застанет их Вознесенский вдвоем, ударит Кольцова палкой, выбьет глаз. Что тут хорошего?

— Зозулечка, — засомневался я. — Ну почему обязательно выбьет глаз? Может быть, обойдется серьезным разговором?

— Не знаю, не знаю, Боречка. Мне представляется именно такая картина. Палкой в глаз.

Подобное предположение, не скрою, весьма меня напугало, и я даже решился заговорить на эту тему с братом, но тот от меня только отмахнулся. Действительно, никаких трагедий не произошло — Вознесенский примирился с фактом и вскоре нашел утешение в лице одной из слушательниц созданной им Студии экранного искусства.

— Ну вот, Зозулечка, все и обошлось, — сказал я.

— Жизнь — это сложная штука, Боречка, — наставительно и с легкой улыбкой ответил он. — Одна семья распалась, другая образовалась. Глаз остался, но осталась и палка.

Начавшаяся в Киеве дружба с Зозулей, крепкая, искренняя, душевная, продолжалась и в Москве.

Зозуля был в числе маленькой группы писателей и журналистов, по инициативе которых возник в 1923 году журнал «Огонек». Он с увлечением и жаром окунулся с первого же номера в работу по редактированию и выпуску журнала, с радостью вдыхая в себя, как он сам выражался, «воздух типографии — нежную и суровую смесь краски, скипидара, свинца и пыли…» Пятнадцать лет Зозуля бессменно проработал одним аз руководителей «Огонька». С его именем связано также создание популярной «Библиотечки «Огонька».

Редакционная работа сочеталась с писательской. Из-под его пера выходит целый ряд рассказов и новелл. Для литературной манеры Зозули характерны какая-то особая присущая ему острая

наблюдательность, вдумчивый и зоркий интерес ко всем бесконечно большим и бесконечно малым явлениям окружающего его мира. С неиссякаемой писательской любознательностью Зозуля подходит к сложной путанице человеческого общества. Он смотрит на жизнь не через натуралистические очки, а прибегает к социальной фантастике, образно говоря, чередует в своих руках микроскоп и телескоп, рассматривая то обобщенные социально-философские схемы («Гибель Главного города», «Рассказ об Аке и человечестве», «Студия любви к человеку»), то ничтожные происшествия серенькой жизни маленьких людей («Прислуга», «Хлеб», «Тиф» и др.).

Много и плодотворно трудясь как писатель и редактор, Зозуля одновременно вел большую общественную работу как воспитатель литературной молодежи. Он организовал при «Огоньке» известные литературные декадники, на которых для чтения и обсуждения новых стихов собирались за круглым столом молодые поэты и поэтессы. При отеческой помощи и внимании Зозули многие из его воспитанников именно на страницах библиотечки «Огонька» увидели свои произведения впервые напечатанными. Некоторые имена впоследствии стали широко известными в нашей стране (С. Михалков, К. Симонов, Е. Долматовский, М. Алигер, С. Васильев, Я. Смеляков и другие).

В середине 20-х годов после долгого перерыва стали возможными для советских граждан зарубежные поездки, и мы задумали с Зозулей поехать в Берлин. А пробыв в нем несколько дней, ощутили непреодолимое желание увидеть и Париж. То была нелегкая затея — получить французскую визу в советский паспорт представлялось невозможным. Но сравнительно небольшая мзда, врученная через кого надо и кому надо, устранила все препятствия. Курьезно при этом, что при пересечении нами германско-французской границы никто не поинтересовался ни нашими паспортами, ни нашими визами. Мы просто перешли с одной вокзальной платформы на другую и сели в поезд, который через несколько часов доставил нас на Гар дю Нор (Северный вокзал) Парижа. И вот мы без устали бродим по улицам, площадям и бульварам знаменитого города, подымаемся на Эйфелеву башню, не без волнения подходим к импозантному мемориалу Наполеона, гуляем вдоль бурлящих Елисейских полей, по узкой каменной лестнице взбираемся на вершину собора Парижской богоматери, почтительно стоим у стены Коммунаров на кладбище Пер-Лашез. Короче говоря, совершаем классическое знакомство с достопримечательностями Парижа.

…Промчались годы. И все они были отмечены неизменной, «нержавеющей» дружбой Зозули с Кольцовым и со мной. Но

пришли тяжелые времена. Безвременная гибель Кольцова стала тяжелым ударом как для меня, его родного брата, так и для Зозули, его ближайшего друга. Само собой, он был не только отстранен от работы в «Огоньке», но перед ним закрылись двери издательств. Его произведений больше не печатали.

…Четвертого июля 1941 года пятидесятилетний Зозуля ушел в ряды московского ополчения, чтобы драться за свою страну, за свою Москву, в которой он родился, за все то, что он любил и чем дорожил в жизни. Он ушел, чтобы больше не вернуться в свою маленькую семью, к своим любимым незаконченным рукописям… Писатель Ефим Давыдович Зозуля погиб на фронте суровой военной осенью 1941 года.

…Мы снова в Киеве восемнадцатого года. Чудовищной силы взрывы сотрясают город: что-то неописуемое, похожее на землетрясение. Улицы покрыты щебнем и битым стеклом. Женщины и дети с кроватями, со всяким домашним скарбом располагаются по скверам и бульварам, со страхом ожидая новых ударов. Это взлетели на воздух немецкие пороховые склады. Еще не улеглось волнение от взрывов, как Киев снова потрясен: средь бела дня на улице, у входа в свой штаб главнокомандующий оккупационной армией фельдмаршал фон Эйхгорн убит террористом Борисом Донским.

При свете факелов медленно и тяжело движется по улицам вечернего Киева похоронная процессия, спускается по Фундуклеевской, поворачивает на Крещатик. Флейты и трубы огромного оркестра заунывно выводят мелодию похоронного марша. Впервые в жизни я слышу эту гениальную, пронизывающую до глубины души мелодию Шопена — и она производит на меня неизгладимое впечатление. В свинцовом гробу возвращается фельдмаршал к себе на родину, которая стоит на пороге больших драматических событий. На Западе идут решающие сражения Первой мировой войны. Вначале победные, реляции германского штаба сменяются минорными сообщениями о большом контрнаступлении Антанты. Впервые немцы увидели движущиеся на них непонятные страшные машины — танки. Они так же ошеломили немцев, как примененный ими год назад горчичный газ ошеломил союзников. Западный фронт немцев рухнул. Четырехлетнюю ожесточенную войну Германия проиграла. И как естественный результат — Ноябрьская революция, свержение монархии и бегство кайзера Вильгельма в Голландию. На Украине, очевидно, немцам уже делать больше нечего. Правда, на улицах Киева еще кое-где стоят немецкие патрули из трех угрюмых солдат, но дни оккупантов явно сочтены. Немцы покидают город, гуманно прихватив с собою

незадачливого, полностью оправдавшего свою фамилию гетмана Скоропадского. Его выносят из гетманской резиденции на носилках, забинтованным, под видом раненого германского офицера (этот эпизод очень ярко показан в пьесе Булгакова «Дни Турбиных»).

Что же происходит в самом Киеве? Трудно описать царящие в городе смятение, страх, безысходность. Оплот порядка и безопасности — германская армия — уходит, бросая население на произвол судьбы. А ведь всем известно, что Киев окружен плотным кольцом многочисленных и хорошо вооруженных петлюровских войск. Какое серьезное сопротивление могут им оказать слабые, разрозненные отряды гетманской вахты, по сути дела — остатки некогда поддерживавших Временное правительство юнкеров. Не предстоит ли Киеву небывалая «кровавая баня»? Однако эти зловещие опасения, благодарение Богу, не сбываются.

Чинно, в образцовом порядке вступает в Киев петлюровское воинство. И это уже не опереточные курени в синих жупанах и шапках с красными хвостами-шлыками, а настоящая регулярная армия. В авангарде ее не спеша выступают конные эскадроны галичан — части австрийских войск, примкнувшие к Петлюре. Сам Петлюра — на вершине власти и авторитета. Его титул сегодня: Головный Отаман Украинской Народной Республики (чем не Гетман всея Украины?). Правда, при Головном Отамане имелась некая Директория в составе четырех серых и не запомнившихся мне личностей. Но главой ее довольно неожиданно становится известный русский писатель украинского происхождения Владимир Винниченко. Еще до революции на всю страну прошумела посвященная острым семейно-половым проблемам его пьеса «Черная пантера».

Как ни странно, но эта, столь внушительная на вид военнодержавная власть недолго удерживается в столице Украины. Видимо, подчиняясь уже отмеченному мною неписаному закону «карусели властей», она почти без боя отдает Киев смело наступающим на город украинским партизанам под предводительством ставших вскоре легендарными Щорса и Боженко. Я видел, как они входили в город с Подола. Помню, как Щорс, взглянув на нас, молча стоявших вдоль тротуара, не без иронии сказал: «Слабо, слабо встречаете Красную армию, товарищи». Но скоро партизанский период советской власти закончился, обойдясь без кровавых расправ над сторонниками власти ушедшей и мирным населением. Начался период так называемой Второй Советской республики, деятели которой ничем не напоминали разнузданную солдатню, пришедшую в

Киев год назад под командованием Муравьева.

Краснозвездными флагами, яркими красками плакатов и революционных лозунгов запестрели улицы Киева. Необычные для уха названия советских учреждений звучат ново и несколько загадочно: Поарм, Агитпроп, Реввоенсовет, Политпросвет… Руководящие деятели установившейся советской власти, как киевляне, так и приехавшие из Москвы, были, как правило, людьми интеллигентными и культурными. Возглавивший советское правительство Украины председатель Совнаркома (тоже красиво звучащее слово, означавшее Совет Народных Комиссаров) Христиан Георгиевич Раковский, впоследствии посол Советского Союза в Париже и Лондоне, был высокообразованным человеком, владевшим несколькими европейскими языками (между прочим, именно он возглавлял советскую делегацию на мирных переговорах с гетманской Украиной). Под стать ему были и другие члены Совнаркома: Пятаков, Затонский, Скрыпник, Подвойский, Любченко и другие. Для характеристики их, почти всех расстрелянных в пору сталинских репрессий, я позволю себе вспомнить отрывок из написанного тогда же в Киеве стихотворения поэта-любителя Валентина Стенича:

Наркомвоен отрывисто чеканит
Главе правительства сухой вопрос,
А у широкого окна очками
Поблескивает строгий Наркомпрос.
Наркомфинансов с Наркоминоделом
Беседуют о пониженьи цен.
И странно чужд в дворцовом зале белом
Нерусский председателя акцент.
О, эти люди, твердые, как камень,
Зажженные сигнальные огни!
Их будут чтить веками и веками
И говорить о них страницы книг.
И летописец пламенной свободы
Восстановит восторженным пером
Закуривающего Наркомпрода
И на столе у Наркомзема бром.

Эти стихи, конечно, напыщенны и наивны, но, как мне кажется, являются верной приметой того странного, неправдоподобного и патетического времени.

…На углу Крещатика и Прорезной улицы высится многоэтажный дом. На торцовой стене здания — огромная фигура красноармейца, нарисованная в условной, кубистической

манере. Вдоль фасада протянут ярко-красный транспарант:

Мир хижинам — война дворцам!
Народный комиссариат по военным делам.

В бесчисленных комнатах и коридорах Наркомвоена УССР постоянное оживление, шум, деловая суета. Целых два этажа занимает Политуправление. В Политуправлении — Редакционно-издательский отдел (Редиздат), а в Редиздате — Редакционная часть. Перед кабинетом главного редактора просторная угловая комната с большими окнами на обе улицы. Здесь сидят старший секретарь, два «просто секретаря» и два младших секретаря. Один из младших секретарей только что принят на работу, он полон усердия и священного уважения к своим обязанностям. Старательно выполняет поручения «просто секретарей», а изредка — и старшего, почтительно поглядывает на главного редактора В. Ю. Мордвинкина и испытывает самое искреннее удовольствие, если случается увидеть высокую беспокойную фигуру самого наркомвоена Николая Ильича Подвойского. Этот младший секретарь — я. Мои обязанности в Редиздате довольно разнообразны и в основном связаны с выпуском всевозможных агитационных изданий: листовок, воззваний, брошюр. А в стенной печатной газете Наркомвоена «Молот и плуг» я одновременно являюсь выпускающим, корректором и даже одним из авторов.

Некоторые поручения мне особенно интересны. Помню, например, как выпускалось воззвание Съезда сельских комитетов бедноты, названное «Голос земли украинской». Было решено под воззванием напечатать подлинные подписи делегатов съезда, и меня с папкой в руках направляют прямо на съезд, где я в течение всего дня собираю подписи, в том числе, конечно, и в президиуме съезда, среди членов ЦК и Совнаркома, что дает мне возможность вплотную видеть и слышать руководителей Советской Украины того времени. Как раз при мне с трибуны выступал Раковский: «От имени Совета рабоче-крестьянской обороны приветствую вас и в вашем лице все крестьянство Украины!» Когда он закончил выступление и спустился с трибуны, я подошел к нему, попросил его расписаться на листке с воззванием.

— Это для кого, молодой человек? — спросил он.

— Для военного издательства, Христиан Георгиевич, — ответил я.

Тогда мы оба не знали, что следующая наша встреча состоится через девятнадцать лет. В зале, где будет происходить процесс «троцкистско-бухаринских врагов народа» и где я буду сидеть на местах для публики, а он, председатель Совета рабоче-

крестьянской обороны, будет на скамье подсудимых рядом с Бухариным, Рыковым, Ягодой и другими «врагами народа».

Помню, как он со своим «нерусским акцентом» восклицал в своем последнем слове: «Я целиком разделяю сожаление гражданина прокурора (он имел в виду небезызвестного Вышинского), что тут на скамье подсудимых нет нашего атамана — Троцкого!» Но до этого было ох как далеко…

Мне очень нравилась работа в Редиздате, но вскоре произошло то, что определило мою профессию на всю остальную жизнь. Брат Миша работал в это время фельетонистом и корреспондентом газеты «Красная Армия», органа Поарма 12, то есть Политуправления 12-й армии, воевавшей на Украине. Однажды он мне сказал:

— Послушай, ты ведь умеешь рисовать. Сделал бы карикатуру для нашей газеты. Как раз вчера был в редакции разговор, что в газете нужна карикатура.

— Карикатуру? Н-не знаю… — нерешительно сказал я. — У нас теперь в секретариате столько работы. Два секретаря в командировках, я фактически остался один.

— Секретари… Секретари… — сердито отозвался Миша. — Все это канцелярщина и бумагомарание. А тут — газета. Живое дело! Твой рисунок увидят тысячи людей. Разве можно сравнивать?

Я, как всегда, послушался брата. Нарисовал карикатуру на генерала Деникина, прижатого красноармейскими штыками и жалобно взывающего к Антанте о помощи. Сочинил даже бойкие стишки:

Врагам республики на горе
Разбиты белые полки.
Деникина загнали к морю
Красноармейские штыки.
Хотя он ноги и уносит,
Но дело битое — шалишь!
Напрасно новых танков просит —
Антанта кажет ему шиш!

Между прочим, неважным оказался я пророком: «разбитые белые полки» Деникина месяца через два вошли в Киев. И все же ярким, кипучим, насыщенным событиями общественными и личными осталось в памяти лето девятнадцатого в Киеве.

Многочисленных зрителей привлекали спектакли Соловцовского театра, где с успехом выступала Вера Юренева в таких ролях, как, скажем, Лауренсия в пьесе испанского

драматурга Лопе де Вега «Фуэнте Овехуна». Лауренсия — девушка-крестьянка, поднимающая народ против угнетателей. Замечательно играла Юренева и в пьесе Ибсена «Привидения», и в пьесе Пшибышевского «Снег». Сближение Юреневой с моим братом, надо сказать, пришлось не по вкусу нашим родителям: Вера Леонидовна была лет на пятнадцать старше Миши. Но это нисколько не повлияло на их отношения.

…Между тем над Киевом сгущаются тяжелые тучи. С юго-востока надвигается «прижатый к морю» Деникин, с запада угрожает старый знакомец Петлюра, отдохнувший под крылышком польских панов. Вокруг столицы кишат свирепые банды, предводительствуемые «батьками», носящими лихие клички: Тютюник, Струк, Шакира, Ангел, Закусило… Они прячутся в приднепровских камышах, врываются на станции и в местечки, останавливают поезда, предают мучительной смерти коммунистов, офицеров и мирных жителей, заподозренных в сочувствии советской власти. Весь Киев потрясен трипольской трагедией — зверской расправой банды Зеленого с группой комсомольской молодежи в селе Триполье. Одна из самых крупных банд, батьки Григорьева, представляет собой реальную угрозу для самого Киева. И в эти дни в Киеве появляется собственной персоной Лев Троцкий. Весь город взбудоражен приездом этого легендарного человека. Теперь он был председателем Реввоенсовета, народным комиссаром по военным делам Советской России. Многотысячная толпа собирается на площади у Киевского оперного театра, где идет встреча местных властей с высоким гостем. Я тоже в этой толпе. Мы дружно скандируем:

— Просим товарища Троцкого! Товарища Троцкого!

Время от времени нестройным хором запеваем «Интернационал». Так проходит часа два. Наконец на выходящей на площадь большой лоджии театра появляются какие-то военные люди, потом наркомвоен Украины Подвойский. Он поднимает руку, призывая к порядку, и кричит:

— Товарищи! Прошу соблюдать тишину! У товарища Троцкого болит горло, ему трудно говорить.

Площадь притихла. У барьера лоджии появился Троцкий. Приложив руку к козырьку фуражки с красной звездой, переждав приветственные крики и аплодисменты, он заговорил металлическим голосом опытного митингового оратора, отчетливо слышным по всей огромной площади. И, между прочим, стало непонятно, о какой болезни горла шла речь.

— Товарищи! Я приехал к вам, чтобы помочь ликвидировать мятеж жалкого, ничтожного атамана Григорьева, агента агентов,

лакея лакеев, наемника наемников западной буржуазии…

С огромным любопытством я смотрел на этого необыкновенного человека и, конечно, не мог себе вообразить, что мне предстоит личное знакомство с ним и даже дружеское его ко мне расположение. Но именно так и произошло.

Мне было очень интересно посещать всевозможные кипящие страстями и громовыми речами митинги, такие частые в то время в Киеве. И вот на одном из них у меня произошла довольно забавная встреча с весьма характерной и любопытной личностью.

Рассказывать о знаменитых женщинах нашего века нельзя, не назвав Александру Коллонтай. В ней все было эффектно и незаурядно, начиная от звонкой фамилии. Я помню даже такой анекдот: с кем-то знакомясь, Александра Михайловна энергичным жестом протянула руку и отчеканила:

— Коллонтай!

— А как это делается? — последовал растерянный вопрос.

— Пора бы знать! — с уничтожающим презрением заметила Александра Михайловна. — Не маленький…

Происходя из обеспеченной генеральской семьи, Александра Михайловна тем не менее влилась в революционное движение, направляемая своим бунтарским, авантюрным нравом, подверглась полицейским преследованиям и вскоре эмигрировала за границу. Примыкала и к меньшевикам и к большевикам, но в основном больше руководствовалась личными настроениями и симпатиями. Интересная, привлекательная женщина, она была неизменно окружена мужским вниманием, которого отнюдь не отвергала. Рассказывали, что однажды, когда расходились после очередного собрания, кто-то из партийных товарищей спросил ее:

— А куда вас проводить, Александра Михайловна?

Коллонтай, игриво на него взглянув, просто ответила:

— Как куда? К себе.

Вернувшись после революции в Петроград в одно время с Лениным, Коллонтай стала активным участником подготовки большевиками захвата власти, энергично выступала на митингах и собраниях с зажигательными агитационными речами, призывавшими к свержению Временного правительства. Подвергалась аресту наряду с Троцким, Луначарским и другими большевистскими лидерами. После Октябрьского переворота она входит в советское правительство в качестве народного комиссара общественного призрения, иными словами, социального обеспечения. А вскоре сенсационные взгляды на проблемы семьи, брака, отношения между мужчиной и женщиной произвели поистине ошеломляющее впечатление, породив немало пересудов

и даже сатирических частушек, вроде такой:

…Постановила Шура Коллонтай:
Пусть рожают также и мужчины.
Хочешь, не хочешь — лопни, а рожай!
Или уважительные предъяви причины!

Даже Ленин был несколько ошарашен столь радикальной реформой отношения полов, когда удовлетворить половые стремления и любовную потребность так же просто и незначительно, как выпить стакан воды… Молодежь от этой теории «стакана воды» взбесилась, считал Ленин.

Действительно, в нашумевшей книге Коллонтай «Любовь пчел трудовых» такие человеческие ценности, как любовь, брак, супружеская верность, семья, объявлялись устаревшими буржуазными предрассудками. И человеческое общество, по ее мысли, уподоблялось огромному пчелиному улью, в котором размножение происходит стихийно, неуправляемо, по случайному хотению.

…Отголоски этих сексуально-социальных баталий доходили и до моего родного Киева, вызывая определенную сумятицу в умах. Неудивительно, что, когда летом девятнадцатого года в Киев вместе с Троцким приехала и Коллонтай, я постарался пробиться на митинг в помещении киевского цирка «Гиппо палас», где должны были выступать знаменитые московские гости. И хотя она говорила после такого сильного оратора, как Троцкий, ее подвижная изящная фигура, звучный голос, красивая выразительная речь произвели на слушавших ее затаив дыхание киевлян — солдат, курсантов, студентов — неизгладимое впечатление. Между прочим, на митинг в цирке я пробрался вместе с девушкой, в которую был влюблен и с которой мы спустя год поженились. И так случилось, что, когда расходились из цирка, мы очутились в непосредственной близости от Коллонтай. Не знаю, что меня подтолкнуло, но, набравшись храбрости, я обратился к ней:

— Товарищ Коллонтай, Александра Михайловна! Я знаю ваши взгляды на брак и семью, но вот мы любим друг друга и хотим пожениться. Надо ли это делать?

Коллонтай посмотрела на нас довольно доброжелательно и сказала:

— По-моему, достаточно любить друг друга, а скреплять ли эту любовь официально — решайте сами.

Не сомневаюсь, что, следуя этому принципу, Александра Михайловна не вздумала официально оформлять свои

супружеские отношения с Павлом Дыбенко, личностью почти легендарной. Он был вожаком кронштадтских матросов, участником Октябрьского переворота и вплоть до тридцать седьмого года занимал высокие посты в Красной армии. Но больше всего известен тот эпизод его биографии, когда 23 февраля 1918 года он командовал отрядом красногвардейцев, вступивших под Псковом в бой с передовыми частями германской армии. Немцы, как официально сообщалось, были отброшены, и день 23 февраля на многие годы вошел в советский праздничный календарь как день Красной армии. Кстати, этот день отмечается поныне и именуется — день Защитников Отечества. Трудно сказать, что тогда на самом деле произошло под Псковом, но наводит на некоторые размышления тот факт, что после этой «победы» Дыбенко был отдан под суд военного трибунала…

Близкие отношения Коллонтай с Дыбенко были широко известны и даже послужили сюжетом для довольно озорной карикатуры в одной из петроградских газет той поры. Карикатура называлась «Междуведомственные трения», а изображена была на ней… двуспальная кровать, возле которой рядышком на коврике стояли грубые матросские сапоги и изящные дамские туфли.

Между прочим, так случилось, что мне довелось, как ни странно, присутствовать при возникновении этого «междуведомственного романа». Дело в том, что сестра Веры Леонидовны Юреневой Зоя Леонидовна дружила с Коллонтай. И однажды, будучи вместе с братом и Верой Леонидовной на дне рождения ее сестры, я с интересом наблюдал там легендарного Дыбенко. От меня не ускользнуло, что с не меньшим интересом на него смотрела Коллонтай. Внешность Дыбенко была действительно весьма импозантна. Статный, широкоплечий, с хорошо знакомой по фотографиям бородкой, в ладно сидящей на нем военной форме.

И я своими ушами слышал, как Александра Михайловна, наклонясь к уху хозяйки дома, восторженно прошептала:

— Орёл! Настоящий орел!..

Коллойтай и Дыбенко соединили свои судьбы, но как долго продолжалась их близость, мне неведомо. Скорее всего она оборвалась в те годы, когда разошлись пути их служебной деятельности, когда Дыбенко занимал командные должности в разных областях в Советском Союзе, а Коллонтай в это самое время служила советским послом то в Норвегии, то в Мексике, то в Швеции.

Кстати, я не берусь объяснить, почему Александра Коллонтай, принадлежавшая к дореволюционным соратникам Ленина и участникам Октябрьского переворота, почти поголовно

уничтоженным Сталиным в 30-х годах, не стала жертвой сталинских репрессий. Но факт остается фактом. Правда, она лишилась своего высокого положения в партийной иерархии, но осталась на свободе. Больше того, была направлена Сталиным на ответственную дипломатическую работу и в течение почти четверти века с достоинством представляла Советский Союз в качестве чрезвычайного и полномочного посла в ряде стран. Между прочим, ее назначение советским послом в Швецию было связано с довольно забавным обстоятельством. Дело в том, что в свое время, задолго до Октября, Коллонтай была выслана из Швеции и объявлена там «персоной нон грата» как участница социал-демократического движения. И надо же было случиться, что спустя много лет советское правительство запросило, как положено, агреман (то есть согласие) принять нового посла. И этим послом была не кто иная, как та самая «персона нон грата». Вот как она сама об этом рассказывала: «…То ли не запомнили они моей фамилии, то ли не разобрались — подумали, что это какая-то другая особа, то ли все прекрасно понимали и просто не захотели портить из-за моей персоны отношений с Советским Союзом — не знаю. Агреман был дан».

…И снова — Киев. Мятеж Григорьева подавлен, причем сам Григорьев застрелен не кем иным, как Нестором Махно во время их встречи, на которой оба батьки должны были договориться о совместных действиях против большевиков.

А Киев обречен. От днепровских пристаней отходят последние пароходы: водный путь на север — пока еще единственный не перерезанный врагами. Но, увы, берут далеко не всех: каждое место на счету. Я не теряю надежды. На одном из пароходов в числе работников Политуправления 12-й армии уезжает брат. Где он? В суматохе и горячке последних часов кого-нибудь найти или что-нибудь узнать практически невозможно. Пропуска у меня нет. Попытка протиснуться между двумя вооруженными моряками успеха не имеет. Я уныло смотрю, как под винтами отчаливающих пароходов, переливаясь отблесками немногочисленных фонарей, бурлит черная вода.

Впоследствии оказалось, что в то время, как я был на пристани, у подъезда нашего дома остановилась двухколесная тележка с несколькими чемоданами и узлами. То был нехитрый театральный багаж Веры Юреневой и другой актрисы фронтового красноармейского театра Ирины Деевой. Тележку толкал Кольцов, обе дамы помогали. Брат заехал домой, чтобы захватить меня с собой, не застал и, не имея права задерживаться, двинулся на пристань. Мы глупейшим образом разминулись. С пристани я возвращался по неосвещенным и уже опустевшим улицам.

Впервые после шестимесячного затишья над городом раскатился орудийный гром — это Днепровская военная флотилия под командой знаменитого матроса Полупанова, прикрывая отступление красных войск, била по врагу. Мы слышим эту канонаду одновременно с братом, но уже разделенные с ним огненной чертой фронта.

Утром в город одновременно вошли со стороны Печерска деникинцы группы генерала Бредова, со стороны Демиевки — галицийские части Петлюры. Однако в тот же день к вечеру петлюровцы были вытеснены из города деникинцами. Киев полностью занят Добровольческой армией. Для меня настало тревожное, беспокойное время. Все четыре месяца деникинской власти в Киеве надо мной висел дамоклов меч разоблачения моей работы в Наркомвоене Украины под сенью благородного лозунга «Мир хижинам — война дворцам». Четыре месяца, выходя из дома, я внимательно оглядывался, чтобы не попасться на глаза какому-нибудь свидетелю той поры. И однажды, когда я читал наклеенную на стене газету с очередной военной сводкой, кто-то схватил меня за плечо. Обернувшись, я невольно вздрогнул: передо мной стоял деникинский офицер с трехцветным «добровольческим» шевроном на левом рукаве, с шашкой на боку и револьвером у пояса. В первую секунду я решил, что меня арестовали, но сразу же узнал в офицерике своего сверстника по белостокской «реалке», взбалмошного и чудаковатого Сережку Бабкина. Он, видимо, страшно довольный, что предстал передо мной в столь эффектном обличье, всячески рисовался и изображал воинственный пыл.

— До Москвы дойдем! — лопотал он. — Ты знаешь, Борька, какой у нас в армии дух!

— Дух? — осторожно сказал я. — Да, дух чувствуется. Но объясни мне, пожалуйста, Сережка, зачем ты, собственно, пошел в добровольцы? Ты, значит, за то, чтобы снова были царь, полиция, старый режим?

— При чем тут царь? — поморщился Сережка. — Все это чепуха и болтовня. Дело в принципе: я — за частную собственность. Моя фабрика, что хочу, то и делаю. Хочу — держу рабочих, не хочу — выгоняю!

Я посмотрел на Бабкина с некоторым удивлением.

— Подожди, Сережа, — сказал я. — Что ты мелешь? Какая фабрика? Насколько я помню, твой папаша служил в городской больнице, и никакой фабрики я у вас что-то не заметил.

— Это не важно, — ответил он с легким раздражением. — Я ведь объясняю тебе, что тут дело принципа. А ты что? Сочувствуешь большевикам?

Я промолчал, мы расстались довольно холодно и, как я думал, навсегда. Однако мне еще раз довелось примерно месяца через полтора увидеть Сережку Бабкина. Боже, как он слинял… Хотя на его погонах прибавилась намалеванная химическим карандашом звездочка, обозначавшая производство Сережки в прапорщики Якутского полка Добровольческой армии, но прежнего лихого «принципиального» вояку трудно было узнать! Угрюмо, вполголоса рассказывал он об омерзительных нравах белогвардейщины, о грабежах и расстрелах, о том, сколько натерпелся он от матерых деникинцев-монархистов, третировавших его как «плебея», и о прочих прелестях, на которые у него открылись глаза. Он как-то ухитрился выхлопотать себе отпуск и уехал на юг, в Ростов, с твердым намерением смыться из разлагающейся Доброармии. Сообразительная «крыса» покидала деникинский корабль, хотя он еще не производил впечатления тонущего. Напротив! Огромным пузырем вздувается линия фронта на карте России. Деникинская печать полна торжества. Курск взят. В оперативных сводках белого штаба горделиво появилось Орловское направление. Деникин идет на Москву, а Юденич под стенами Петрограда, падение которого предвкушается белогвардейцами с часу на час. Одна киевская газетка, не утерпев и желая выскочить первой, печатает соответствующие такому событию стишки, заканчивающиеся восторженными строчками:

Под пушек гром и клич победный
Могучий зазвенел металл —
И у сената Всадник Медный
Вторично змия растоптал!

Киев — глубокий тыл Деникина. И вдруг… Хорошо знакомые картинки перехода власти из рук в руки: бледные офицеры с чемоданами бешено подгоняют испуганных извозчиков, куда-то со страшным топотом мчатся верховые, с лязгом закрываются железные ворота домов, неуклонно нарастая и приближаясь, трещат винтовочные залпы и пулеметные очереди. Что сие означает?

Долго тянется тревожная ночь, а к утру на улицах появляются бойцы с красными звездами на фуражках. Но бой не утихает. Он продолжается второй день и вторую ночь, третий день и третью ночь. Наконец все смолкает. Рано утром по мостовой осторожное цоканье копыт. Выглядываем из ворот: деникинцы…

Что же произошло? Каким образом у Киева очутились красные войска? Как удалось деникинцам так быстро вернуть себе

город? Позже выяснилось, что отряд Красной армии под командованием И. Якира и Я. Гамарника, окруженный белыми в районе Одессы, пробивался на север, на соединение с основными силами Красной армии. Совершая этот поистине эпический поход с непрерывными боями, опрокидывая и расшвыривая отряды деникинцев и петлюровцев, южная группа в первых числах октября приблизилась к Киеву и ворвалась в город.

Сидя в домах и прислушиваясь к раскатам боя, мы понимали одно: красные снова ушли, а белые снова вернулись. Причем вернулись злые и свирепые, как дьяволы. Их нынешнюю ярость, которая равнялась их недавней панике, они немедленно стали вымещать на мирном населении. Киев, словно завоеванный дикой ордой, подвергся погрому и разграблению.

Если до октябрьского рейда Якира в городе поддерживался хотя бы внешний показной порядок, то теперь стало просто небезопасно появляться на улице. Особенно свирепствовали белогвардейцы конной дивизии Шкуро, спешно переброшенные в Киев из-под Курска. Киевские ночи стали страшны: в разных частях города стоял несмолкаемый крик, непрекращающийся истошный вопль сотен человеческих голосов. Это кричали жители домов, куда ломились шкуровские головорезы. Крик подхватывали соседние дома, потом более отдаленные — целые кварталы, переулки, улицы… В большинстве случаев нервы бандитов не выдерживали и они отступали. Видимо, этот массовый крик в ночи производил действительно страшное впечатление, если белогвардейские власти несколько смутились и приняли меры к прекращению погромов. В этом, по всей вероятности, сыграла ведущую роль и нашумевшая тогда статья «Пытка страхом», напечатанная в газете «Киевлянин» известным монархистом и идеологом Белого движения В. Шульгиным.

Смысл этой статьи был примерно таков: то, что определенная часть населения Киева, несомненно симпатизирующая Советам, подвергается своеобразной пытке страхом, — вполне естественно и закономерно. Так им и надо! Пусть не мечтают о возвращении большевиков! Но то, что подобный массовый вопль режет уши интеллигентным людям, в какой-то степени компрометирует власть и просто неприличен в большом культурном городе, — это тоже факт. Выступив в таком духе против пытки страхом, Шульгин вместе с тем отнюдь не прекращал печатать в «Киевлянине» истерически кровожадные, подстрекающие к расправам и мести статьи, подписанные некой «Вендеттой».

Власть деникинцев в Киеве полностью восстановлена. Доброармией взят Орел, причем определенная часть населения города встречала белые войска восторженно, колокольным

звоном и криками «Ура!». Деникин идет на Тулу, а там и Москва…

И нельзя отделаться от размышлений о том, что же последует за взятием Москвы и свержением советской власти. Суровая военная диктатура? Реставрация монархии? Столыпинские порядки? В любом случае это означает беспощадную расправу с теми, кто советской власти служил. В том числе с братом и со мной. Невеселая перспектива…

Однако со взятием Москвы происходит явная заминка. В деникинских сводках появляются минорные ноты. Сообщается, что «противник оказывает ожесточенное сопротивление», а в одной из сводок даже говорится, что «на центральном участке фронта красные курсанты с пением революционных песен пытались перейти в наступление». Это уже было провалом наступления Деникина на Москву. Под натиском частей Красной армии Доброармия начала откатываться обратно на юг. «“Откатились!” — писал Михаил Кольцов в «Правде», — самое замечательное словечко наших дней!»

Юденич откатился от Петрограда. Деникин откатился от Москвы. Колчак откатился от Волги. И вот Красная армия уже под Киевом. И вот уже Василий Шульгин, автор недавней «Пытки страхом», пишет в «Киевлянине»: «Подумать только, что я пишу эти строки в то время, как большевики находятся на расстоянии меньше чем одной версты от редакции «Киевлянина». Как мы пришли к этому? Мало того, видно, за грехи наши Бог послал тридцатиградусные морозы, которые сковали Днепр».

Дело шло к развязке. В середине декабря, в бодрый трескучий морозец передовые части Красной армии перешли по льду Днепр и вступили в Киев. Деморализованные белогвардейцы группы Бредова почти без боя очистили город. В первом же номере газеты «Большевик» напечатана моя карикатура, изображающая утекающих из украинской столицы главнокомандующего генерала Драгомирова, вступившего четыре месяца тому назад в Киев генерала Бредова, пресловутую «Вендетту» и самого Василия Витальевича Шульгина (напомню, что именно ему Николай II не так давно вручил свое отречение от престола).

Итак, третий раз устанавливается в Киеве советская власть, но ее приход нисколько не похож на жизнерадостную, приподнятую, романтическую атмосферу второй советской республики девятнадцатого года. Я почему-то думал, достаточно наивно, что возвращение советской власти будет означать немедленное восстановление всего того, что было нарушено деникинским нашествием: возобновится интересная работа в Редиздате, сразу же появятся знакомые товарищи и друзья, а

одним из первых приедет брат с ворохом интересных рассказов и впечатлений. Ничего этого не происходит. А Киев первых месяцев двадцатого года — мрачный, изуродованный, затемненный, голодный город. Но вот где-то в конце марта появился Миша. Именно такой, каким я хотел его видеть, — веселый, жизнерадостный, энергичный.

После эвакуации из Киева брат с Верой Леонидовной некоторое время прожили в Москве, а потом переехали в Петроград. Там очерки и фельетоны за подписью «Михаил Кольцов» (Миша выбрал себе этот псевдоним, которому суждено было стать его настоящим именем) начали систематически появляться в популярной «Красной газете», а Юренева выступала в одном из театров. И хотя корреспондентские командировки Кольцова, главным образом на фронты, и гастрольные поездки Юреневой, неизбежные в их профессиях другие жизненные обстоятельства практически их разводят, но подлинно сердечные дружеские отношения сохраняются.

Мне вспоминается такая деталь: много лет спустя, уже после того, как Кольцов был репрессирован, я встретился в Москве с Верой Леонидовной. Теплой была эта встреча, сердечной, с воспоминаниями, конечно, о Киеве, о Соловцовском театре. И тут Вера Леонидовна вдруг воскликнула:

— Подождите, Боря, я вам сейчас покажу что-то очень интересное!

И принесла почтовую открытку с видом знаменитого севильского собора. На обороте легким стремительным почерком брата, так хорошо мне знакомым, несколько строчек: «Кутя! Можете себе представить? Еду по дорогам Испании. Гренада, Кордова и тому подобные Толедо. Чуть ли не в каждой деревушке — кабачок, куда Дон Кихот вместе с Санчо Пансой заходил выпить стаканчик вина, чуть ли не за каждым поворотом — та самая мельница, с которой Дон Кихот сражался… Но сегодня я потрясен: мы остановили наш автомобиль, чтобы долить в радиатор воды, и на придорожном столбе прочел название поселка: «Фуэнте Овехуна»… Хотел что-то кому-то объяснять, о чем-то кричать, но не знал, кому говорить и что кричать…»

Вернемся, однако, в двадцатый год. Миша приехал в Киев проездом в Одессу, только что освобожденную отрядом Котовского от белых войск генерала Шиллинга, которые большей частью перебрались в Крым, где прочно окопался генерал барон Врангель. Миша уговорил меня поехать с ним в Одессу. По его рекомендации (что, конечно, было связано с риском обвинения в семейственности) меня включили в выездную бригаду в качестве заведующего Изагитом Юг РОСТА (отдел изобразительной

агитации Южного отделения Российского Телеграфного агентства). И вот я еду в Одессу в особом вагоне, битком набитом тюками с литературой, бумагой, пишущими машинками и сопровождаемом красноармейцами караульной роты Наркоминдела.

Глава четвертая

…Одесса того периода несколько субъективно, но весьма эмоционально описана в небезызвестной книге В. Шульгина «1920». Читая впоследствии эти колоритные воспоминания и, в частности, прочувствованные описания Шульгиным его переживаний в одесском подполье, когда, скрываясь от советских властей, он испытывал смертельный страх за свою шкуру и за участь своих близких, я невольно думал: «Что, господин Шульгин? Оказывается, «пытка страхом», которую вы считали такой естественной по отношению к тысячам жителей Киева, гораздо меньше пришлась вам по вкусу в Одессе, когда дело коснулось вас! Где же логика, уважаемый Василий Витальевич?»

Обстановка в Одессе была сложной и неспокойной. Город кишел еще не выловленными бандитами, уголовниками из шайки знаменитого Мишки-Япончика, послужившего И. Бабелю прообразом Бени Крика, врангелевскими агентами, спекулянтами и прочей нечистью. Но большевистский порядок наводился в городе твердой рукой одесской ЧК, советские учреждения и организации оперативно разворачивали работу. Приступило к практической деятельности и Юг РОСТА, в том числе, естественно, и возглавляемый мною Изагит, в задачи которого входил выпуск сатирических агитплакатов типа московских «Окон РОСТА».

Процедура приема художников в мастерскую изобразительной агитации Одесского отделения Юг РОСТА несколько напоминала по своей лаконичности знаменитую церемонию принятия в Запорожскую Сечь, описанную Гоголем в повести «Тарас Бульба». Очередной посетитель открывал дверь в огороженный фанерой кабинет начальника Изагита — и происходил примерно следующий диалог:

— Я художник такой-то. Хотел бы работать в Юг РОСТА.

— А плакаты рисовать сможете?

— Смогу.

— И сатирические?

— И сатирические.

— Гм… Попробуем.

Начальник брал клочок бумаги и, написав на нем «Аргоша, дай тему», направлял новичка к заведующему литературной частью поэту Арго. Надо сказать, что среди художников, желавших принять участие в выпуске агитплакатов, было немало приверженцев кубистического стиля. Я питал искреннее уважение к такому искусству, считая его чрезвычайно революционным. Но

здравый смысл подсказывал, что сатирический плакат должен прежде всего быть понятным массовому зрителю и поэтому неестественные угловато-загадочные рисунки одесских футуристов вряд ли смогут успешно выполнять агитационные функции. Поэтому я вежливо, но твердо отклонял подобного рода работы. Среди части художников пошел ропот. Стали говорить, что приехавший из Киева самонадеянный молодой человек, начальник Изагита, сам рисовать не умеет, а зажимает при этом подлинные произведения сатирического искусства. Я почувствовал, что мне необходимо срочно поддержать свой авторитет. Только что было получено сообщение о выходе частей Красной армии к Новороссийску. Разгромленное деникинское воинство было прижато к морю. Я распорядился установить в мастерской большой фанерный лист и на глазах у всех, без эскиза, сразу красками быстро нарисовал плакат, изображавший Деникина, в панике умоляющего Антанту о помощи. Арго немедленно написал соответствующий стишок, плакат тотчас же выставили у входа в Юг РОСТА, вокруг него мигом собралась хохочущая толпа. Злопыхатели были посрамлены. Я торжествовал и несколько раз в течение дня выглядывал на улицу, чтобы насладиться успехом своей карикатуры. Очень запомнился мне при этом мрачный небритый субъект в короткой английской шинельке защитного цвета. Это, несомненно, был отставший от своих белогвардеец, хотя, надо сказать, в английских шинельках и френчах щеголяло пол-Одессы, так как деникинцы, удирая, оставили в городе огромные запасы обмундирования. Субъект долго исподлобья смотрел на плакат и наконец сказал, осклабившись и ни к кому не обращаясь: «С-сукин сын (это явно относилось не к Деникину)… Тут и не хочешь, а засмеешься…»

…В Одессе мы встретились с писателями, широко известными впоследствии. Одни из них уроженцы Одессы, другие приехали сюда из Москвы и Петрограда, спасаясь от голода и большевиков, и застряли здесь при белой власти. Некоторые из них были приглашены Кольцовым работать в Юг РОСТА. Среди них Валентин Катаев, Юрий Олеша, Эдуард Багрицкий, журналист Василий Регинин и другие. Не помню, тогда или позже познакомился я с Исааком Бабелем, хотя уже читал его первые рассказы, напечатанные в петроградском журнале «Летопись» под редакцией М. Горького. Прославившие Бабеля «Одесские рассказы» и «Конармия» еще не были написаны. Не раз потом я встречался с ним в Москве. Он дружил тогда с Кольцовым и с нашим общим приятелем писателем Ефимом Зозулей. Дружил, увы, также и с Евгенией Ежовой, редактировавшей в ту пору еженедельное иллюстрированное приложение к газете «Правда».

Мужем Жени Ежовой был не кто иной, как сам Николай Иванович Ежов, сталинский нарком, генеральный комиссар Государственной безопасности.

И тут пошли какие-то странные, зловещие дела. Была вдруг арестована сестра Жени Ежовой. Все удивлялись — как это? При таком родстве? Прошло немного времени, и Женя Ежова застрелилась. Между прочим, забыл рассказать, что незадолго до этого Женя пригласила Бабеля и Кольцова в воскресный день к себе на дачу. И в тот же вечер брат очень живо, как он это умел, рассказывал о своих впечатлениях.

До обеда играли в городки. Ежов, в полной форме генерального комиссара Государственной безопасности, при орденах и медалях, играл с большим азартом, сопровождая каждый удар битой крепким матерком. За столом сидели и ближайшие помощники Ежова, шел веселый разговор, перемежаемый обильным возлиянием и плотной закуской. Говорили главным образом, не стесняясь присутствием гостей, о делах служебных, иными словами, о производимых в их ведомстве арестах соратников Генриха Ягоды — предшественника Ежова на его посту. Особенно дружный хохот у Ежова и его команды вызвал рассказ о небезызвестном начальнике оперода (оперативного отдела НКВД) Карле Паукере, который, как говаривали, любил собственноручно «приводить в исполнение».

— Как надели на него тюремную робу… — смеялся один из них. — Ну совсем — бравый солдат Швейк. Чистый Швейк…

«Ты знаешь, — рассказывал мне брат потом, — я сидел за столом с ощущением, что эти люди могут, не моргнув глазом, любого гостя прямо из-за стола отправить за решетку. И мы только переглядывались изредка с Бабелем…»

Надо ли объяснять, какая судьба постигла всех присутствовавших на этом кошмарном застолье — все без исключения были в недалеком будущем расстреляны, за исключением Жени Ежовой, которая, как я уже говорил, сама наложила на себя руки. При этом Бабеля арестовал еще сам Ежов, а Кольцов, уже после ареста Ежова, был репрессирован преемником Ежова — Лаврентием Берией.

Теперь о Катаеве, с которым мы познакомились и подружились тоже в те далекие годы в Одессе.

Странным образом в Валентине Петровиче Катаеве сочетались два совершенно разных человека. Один — тонкий, проницательный, глубоко и интересно мыслящий писатель, великолепный мастер художественной прозы, пишущий на редкость выразительным, доходчивым, прозрачным литературным языком, зорко и наблюдательно подмечающий

характеры людей, события, ситуации. И с ним совмещалась личность совершенно другого толка — разнузданный, бесцеремонно, а то и довольно цинично пренебрегающий общепринятыми правилами приличия самодур.

Я был довольно хорошо знаком с братьями Катаевыми — Валентином и Евгением. И иногда задумывался над тем, как несправедливо и капризно разделила между ними природа (или Бог) человеческие качества. Почему выдающийся талант писателя был почти целиком отдан Валентину Петровичу, а такие ценные черты, как подлинная порядочность, корректность, уважение к людям, целиком остались у Евгения?

Нельзя не вспомнить довольно сочную характеристику морального облика Катаева, которую то ли в шутку, то ли всерьез дал Иван Бунин в своей книге «Окаянные дни»: «…Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: “За 100 тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки…”»

Катаев, к счастью, никого не стал убивать, а его недюжинная творческая энергия устремилась в чисто литературном направлении и сделала его автором целого ряда замечательных рассказов, повестей, романов и великолепных комедий, с огромным успехом показанных на сценах многих театров.

При всем при том колючий и задиристый нрав Катаева нередко приводил к довольно скандальным ситуациям. Мне довелось быть свидетелем такой сценки на одной из встреч с иностранными журналистами, которые Михаил Кольцов затеял в руководимом им Журнально-газетном объединении. Эти встречи, как правило, сопровождались импровизированными концертными выступлениями известных артистов. И вот как-то ведущий объявляет:

— Сейчас Иван Семенович Козловский нам что-нибудь споет, потом Сергей Образцов покажет нам новую кукольную пародию, а потом…

И тут Катаев, ехидно глядя на присутствующего в зале начальника Главлита Бориса Волина, громко подхватывает:

— А потом товарищ Волин нам что-нибудь запретит.

Вспыхнувший Волин сказал, повысив голос:

— Что вы такое позволяете себе, товарищ Катаев?!

— Я позволяю себе, товарищ Волин, — незамедлительно ответил Катаев, — вспомнить, как вы позволили себе запретить «Двенадцать стульев».

— И правильно сделал. И кое-что следовало бы запретить из ваших, товарищ Катаев, антисоветских пасквилей.

Явно разгорался скандал, и я бросился искать Кольцова.

— Миша, — сказал я брату, — там сцепились Волин с Катаевым. Надо их разнимать.

И Кольцов поспешил к спорщикам.

Недобрым и недостаточно деликатным бывал Катаев к людям, с которыми находился, казалось, в хороших, приятельских отношениях. Например, он зло высмеял писателя-сатирика Леонида Ленча и его жену Лилю в повести «Святой колодец», выведя их под именем супругов Козловичей. С изощренным издевательством, но с присущим ему мастерством изображает Катаев Лилю Ленч:

«…Что касается мадам, то она была в узких и коротких штанах эластик, которые необыкновенно шли к ее стройно-склеротическим ногам с шишками на коленях…»

И далее: «…давало полное представление о ее душевном состоянии, которое отражалось на ее лице, измученном возрастом и ощущением собственной красоты».

А о самом Леониде Ленче, который обожал «Катаича» и преклонялся перед его талантом, Катаев пишет:

«…Он был в несколько эстрадном пиджаке цвета кофе о-лэ, и брюках цвета шоколада о-лэ, и в ботинках цвета крем-брюле при винно-красных шерстяных носках. Рукава его пиджака были на несколько микронов короче, чем требовала мода, а манжеты высовывались, быть может, на полтора микрона больше, чем требовала та же мода».

Так же безжалостно-саркастически Катаев описывает наружность своего друга с его «клавишами зубов, пробором от лба до затылка» и «интенсивно розовым» лицом».

Конечно, все знакомые не могли не узнать супругов Ленчей в образе Козловичей и немножко удивлялись, как с ними обошелся друг «Катаич».

А мне вскоре довелось встретить «Козловичей» в ЦДЛ, и там произошло следующее: Лиля бросилась ко мне буквально с воплем.

— Боря! Посмотрите! — кричала она, задирая юбку. — Где вы видите у меня склеротические шишки на коленях? Скажите, где их увидел Катаев?!

А стоявший рядом Ленч печально добавил:

— Не пойму, что это Катаичу вздумалось…

И так случилось, что через несколько дней я встретился с Катаевым на каком-то вечере в ЦДРИ.

— Ну, Валя, — сказал я, — довольно немилосердно обошлись вы с Ленчами-Козловичами.

— Боря! — нахмурившись, сказал Катаев. — Вы что, не знаете, что это за дама? Не знаете, кем она кое-где работала в

Ленинграде? Там ее приставили к Зощенко, а потом перебросили на Ленча. Вообще она пущена по литературе.

Казалось, Катаеву пришла пора почить на лаврах, которые ему заслуженно принесли такие монументальные произведения, как «Белеет парус одинокий» или «За власть Советов». Казалось, что он вправе успокоиться на достигнутом им, бесспорно, заслуженном, высоком рейтинге среди писателей страны. Поэтому невозможно было не прийти в восхищение, глубокое и искреннее, от трех великолепных произведений, неожиданно опубликованных Катаевым: «Святой колодец», «Трава забвения» и «Алмазный мой венец». Это был совершенно новый Катаев, с решительно обновленным стилем, необычным, свежим, метафорически-раскованным. Интересным был новый, найденный Катаевым литературный прием — тонкая, изящная «зашифрованность» действующих лиц. В повести «Алмазный мой венец» фигурировал некий Командор, в котором читатель без труда узнавал Владимира Маяковского. В Королевиче узнавался Сергей Есенин. В Синеглазом — Михаил Булгаков. В Птицелове — Эдуард Багрицкий. И это, сплетаясь с достоверными фактами воспоминаний, создавало для читателя своего рода завлекательную игру.

Катаев становился легендарной фигурой. В самом деле, от кого другого на открытии в Государственном музее Маяковского возобновленной знаменитой выставки «20 лет работы» молодежная аудитория могла услышать походя и небрежно сказанное:

— Помню, Маяковский меня тогда спросил, что я думаю насчет его замысла отчитаться такой выставкой о его двадцатилетней работе поэта. Я ему ответил, что не советую этого делать, потому что это справедливо сочтут нескромностью и саморекламой. Он меня не послушался, выставку устроил. И теперь я вижу, что он был прав.

После этого мы втроем — Катаев, Соколов (единственный оставшийся из Кукрыниксов) и я — разрезали красную ленточку, обозначая этим новое, очередное открытие выставки, вернисаж которой состоялся ровно полвека назад.

Последние годы Катаев прожил на уютной даче в поселке Союза писателей Переделкино. Остряки называли этот писательский кооператив «Переделкино и Переиздаткино». Конечно, многотомные и весьма малочитаемые произведения литературных генералов переиздавались регулярно и настойчиво. Разумеется, закономерно переиздавались и завоевавшие неизменный успех у читателей романы, повести, рассказы, новеллы, юморески, выходившие из-под щедрого пера Валентина

Петровича.

В эти годы я редко видел Катаева. Но однажды встретились на каком-то вечере в ЦДРИ.

— Как жизнь, Боря? Что поделываете?

— Спасибо, Валя. Нормально. В частности, отмечаю свое восьмидесятилетие.

— Банкет на четыреста персон? Не забудьте меня с Эстер.

— Конечно, не забуду, Валя. Но банкета не будет. Вместо него открытие моей первой и, наверное, последней персональной выставки. Кстати, Валя. Мне было бы очень приятно, если бы вы написали несколько слов к каталогу этой выставки. На ней много всякой сатирической всячины. Вы, кажется, неплохо в этом разбираетесь.

— А что, Боря, вот возьму и напишу.

Дня через два я приехал в Переделкино. Катаев приветливо меня принял, степенный, маститый, ублаготворенный. Настоящий мэтр. Трудно себе представить, что когда-то ему были свойственны экстравагантные, «босяцкие» выходки. Он вручил мне две странички текста, который я приведу несколько позднее.

…Перенесемся теперь обратно в Одессу двадцатого года. При власти белых в Одессе выходил неплохой сатирический журнальчик под названием «Облава», где сотрудничали Валентин Катаев, Юрий Олеша, другие будущие известные советские литераторы, причем Олеша, отлично умевший рисовать, выступал на страницах «Облавы» и как карикатурист. Интересно, что со страниц не только летели сатирические стрелы в большевиков и им сочувствующих, но печатались довольно смелые, не без иронии, зарисовки в прозе и стихах о жизни и быте «белой» Одессы.

Между тем в Одессе и вокруг нее создается весьма тревожная обстановка, активизируется белогвардейское подполье, вокруг города шныряют разношерстные бандитские шайки. К тому же приходит тяжелая весть: Киев занят польскими войсками, вместе с которыми, само собой разумеется, вернулись и петлюровцы. Как и в случае с «прижатым к морю» Деникиным, я оказался плохим пророком, вывесив на стенде Юг РОСТА сатирический плакат, где был изображен польский пан, длинный язык которого пригвождает к земле штык красноармейца. Под рисунком хлесткая подпись: «Язык, который до Киева не доведет!» Как и все мы, я не верил, что Пилсудский с Петлюрой будут долго владеть Киевом, и мечтал вернуться в родной город вслед за передовыми частями Красной армии.

Я решил перебраться в Харьков, где находилось эвакуировавшееся из Киева правительство советской Украины, а

также штаб и Политотдел Юго-Западного фронта. По тем временам нельзя было пуститься в путь без какого-нибудь грозного мандата. И я немедленно смастерил, отпечатал на машинке и сам подписал документ следующего содержания: «Предъявитель сего (фамилия, имя, отчество), начальник Отдела Изобразительной агитации Юг РОСТА, направляется в город Харьков в распоряжение находящегося там для личного доклада Предсовнаркому Украины товарищу Х. Г. Раковскому заведующего Юг РОСТА тов. М. Е. КОЛЬЦОВА». Далее следовали обычные в мандатах того времени: «Предлагается всем железнодорожным властям предоставлять товарищу такому-то вне всякой очереди места в вагонах особого назначения» и т. п. Перечитав сей документ, я остался им чрезвычайно доволен и двинулся в путь.

…В моих руках вожжи, которыми я осторожно подхлестываю пару добротных коней, запряженных в классический одесский «биндюг». Рядом со мной сидит и сам биндюжник, дяденька довольно разбойничьего облика, взявшийся за приличную мзду доставить меня из Одессы в город Николаев, откуда я намерен по железной дороге добираться до Харькова. Других путей из блокированной Одессы в данный момент не существует. Вначале я, откровенно говоря, настороженно отнесся к своему вознице, подозревая в нем (и, вероятно, не без основания) участника одной из шнырявших под Одессой кулацких «зеленых» банд, замышляющего где-нибудь в пути расправиться с ответственным советским работником, то есть со мной. Он же, как потом выяснилось, решил, что имеет дело с комиссаром «Чрезвычайки», нанявшим его подводу для того, чтобы в Николаеве ее беспощадно реквизировать. Мы косо поглядывали друг на друга, почти в точности повторяя таким Образом комическую ситуацию из известного чеховского рассказа «Пересолил». Когда взаимные опасения рассеялись, мы почти подружились, чему немало способствовало обобществление извлеченных из моего чемодана съестных припасов и бутылки вина. После этого возница не мог, разумеется, отклонить мою просьбу править лошадьми, что доставило мне дотоле не изведанное и высочайшее наслаждение. Кругом шелестела залитая жгучим южным солнцем степь, звенели какие-то птички, мы ехали мимо чистеньких сельских хат, поэтических зеленых пригорков, ручейков. Тишь и благодать!.. Почти не верилось, что где-то идет война не на жизнь, а на смерть. В Николаев мы приехали к вечеру.

Дальнейшее мое путешествие в Харьков, где находился Политотдел фронта, нет надобности описывать подробно — оно было целиком в стиле той красочной эпохи. Сначала ночевка на

щедро покрытом шелухой от семечек перроне николаевского вокзала. Затем посадка в поезд, иначе говоря, захват группами пассажиров стоящих на путях пустых теплушек и оборудование их досками, принесенными на собственных горбах с ближайшего лесного склада. Это было самое важное и самое трудное. Далее следовало томительно медленное движение поезда с бесчисленными остановками и многочасовыми стоянками, преимущественно в открытом поле и на разъездах, проверки документов военными патрулями, картинно увешанными маузерами и опоясанными пулеметными лентами, протяжные песни, исполнявшиеся хором всей теплушкой, бодрые призывы, обычно по ночам: «Кто есть с оружием, выходи — банда!», после чего обычно следовала старательная и беспорядочная перестрелка с невидимым противником и по невидимым целям. Так что скучать было некогда и несколько дней пути пролетели довольно быстро.

Я явился в Политотдел Югзапфронта, был сразу допущен к его начальнику, Владимиру Петровичу Потемкину, и немедленно получил назначение начальником изобразительной части всех армейских агитпунктов. Кольцов незадолго до моего приезда уехал в Москву.

Харьков живет тревожной и напряженной жизнью прифронтового города. На многолюдном митинге в помещении цирка «Миссури» со страстными речами выступают ораторы, призывающие к борьбе за советскую власть, за разгром польской шляхты. Среди них — председатель харьковского Губревкома Борис Волин, а потом и сам «Всероссийский староста» Михаил Иванович Калинин. В своем выступлении он, между прочим, говорит, что польскими войсками, стоящими против нашей 12-й армии, командует генерал Корницкий, в частях которого на недавнем русско-германском фронте воевал вахмистр Семен Буденный.

— Посмотрим, — сказал, улыбаясь с хитрецой, Калинин, — кто теперь будет лучше командовать — генерал или вахмистр.

Эти слова были покрыты громом аплодисментов. Ближайшие несколько дней внесли полную ясность в этот вопрос. Конармия Буденного прорвала польский фронт у Сквиры и ринулась к Житомиру. Польский главнокомандующий, генерал Рыдзь-Смиглый, «не знающий поражений!», как его именовала польская пресса, опасаясь попасть в окружение, счел за благо оставить Киев. Перед уходом оккупантов ими был, как известно, учинен взрыв в знаменитом Успенском соборе Киева.

…Чуден был Днепр при тихой погоде того прекрасного июньского дня, когда, прошагав от Дарницы, где у разрушенных

противником путей остановился наш эшелон, я вышел к берегу прославленной реки. Горели на солнце золотые купола Лавры. Как тяжело раненный боец, лежал, полупогрузившись в воду, взорванный оккупантами при отступлении знаменитый Цепной мост — гордость киевлян. Я невольно остановился на высоком зеленом берегу, пораженный красотой реки, неба и города. Потом поднял на плечи вещевой мешок и, не дожидаясь переправы на пароме, нанял лодочника.

Надо ли говорить, сколько радости было при встрече с родителями и с девушкой, с которой я познакомился три года назад в Одессе, куда мы с мамой и Мишей приехали на купальный сезон, и так случилось, что соседями по даче оказалась семья, жившая в Киеве в соседнем с нами доме. Через год мы поженились, а через восемь лет появился на свет мальчик, в честь своего дяди названный Михаилом. Сегодня ему 70 лет.

Итак, я снова в родном Киеве. К этому времени за моими плечами уже достаточно солидный руководящий стаж, чтобы сразу же занять должность заведующего Художественноплакатным отделом киевского отделения РОСТА — КиевУкРОСТА. От руководства изобразительной частью киевского агитпункта я быстренько отделываюсь. Вместо этого начинаю активно работать карикатуристом газеты «Большевик», выходящей на украинском языке, и русской газеты «Киевский пролетарий». Работа в Художественно-плакатном отделе КиевУкРОСТА является, по сути дела, повторением того, что мы делали в одесском Изагите. Те же сатирические плакаты, оперативные сводки, срочные сообщения, которые вывешиваются нами в центре города, на Крещатике.

Отступление польских войск из Киева было, несомненно, удачным для нас началом разгоревшейся упорной советско-польской войны. Красная армия под командованием молодого, талантливого Михаила Тухачевского неудержимо двигалась на Варшаву. Уже казалось вполне реальным установление советской власти в Польше. Уже было опубликовано в газетах сообщение о создании коммунистического правительства Польши, так называемого Белостокского ревкома, в составе трех известных большевистских деятелей — Феликса Дзержинского, Вячеслава Менжинского и Феликса Кона. С понятным интересом воспринял я упоминание города моего детства в столь серьезной исторической ситуации…

В эти дни я распорядился заготовить огромный плакат «Красными героями взята Варшава». Но, увы, вывесить его не пришлось. Я снова поторопился и жестоко ошибся, как в случае с «прижатым к морю Деникиным» и панским языком, который до

Киева не доведет. Тухачевский действительно дошел до Варшавы, и красноармейские части даже форсировали широкую Вислу западнее польской столицы, но дальше последовала катастрофическая военная неудача. Красные войска в беспорядке откатились от Варшавы, разбитые умелым стратегом французским генералом Вейганом, срочно прибывшим и принявшим на себя командование польской армией. Союзница Франции — Польша была тем самым спасена от советизации и, в частности, от Белостокского ревкома.

Этому жестокому поражению Красной армии, как объясняли, способствовали не только чрезвычайная растянутость коммуникаций, плохое снабжение оружием и припасами, военный талант генерала Вейгана, другие чисто военные причины, но и еще одно немаловажное обстоятельство. В составе первого советского правительства — Совета Народных Комиссаров значился мало кому тогда известный народный комиссар по делам национальностей И. В. Джугашвили (Сталин). С началом Гражданской войны он, мало заботясь о делах национальностей, отправился на фронт, стал членом Реввоенсовета Южного фронта. Уже тогда наметились его крайне недружелюбные взаимоотношения с главой Красной армии, председателем Реввоенсовета республики Троцким. Уже тогда говаривали, что знаменитый поезд Троцкого, колесивший по всем фронтам, Южный фронт объезжает стороной. Говорили, что в один из своих приездов в Москву, раздраженный постоянными препирательствами и несогласиями со строптивым Сталиным, Троцкий заявил Ленину: «Или я, или он!» На что Ленин решительно ответил: «И вы, и он!» Известно, сколько восторженных слов было впоследствии сказано и написано о боевой деятельности Сталина в Царицыне, не случайно потом переименованном в Сталинград. Там в полной мере проявились твердые, волевые черты Сталина, его решительность и жестокость. Между прочим, свои распоряжения и приказы он подписывал без всякого упоминания о делах национальностей, а просто — «народный комиссар Сталин», что звучало весьма авторитетно и грозно.

Первая Конная армия Буденного была переброшена на польский фронт и, как мы знаем, способствовала освобождению Киева, но потом вместо того, чтобы всей своей ударной силой поддержать наступление Тухачевского на Варшаву, неожиданно повернула на Львов. Сделано это было по настоянию Сталина, которому Буденный, естественно, не решился возражать — ведь ему давал указания народный комиссар.

Поражение под Варшавой, разумеется, стало предметом очень

серьезного обсуждения в Кремле. И Сталину, несомненно, пришлось оправдываться… И это ох как дорого обошлось Тухачевскому. В ту пору я слышал рассказ, будто в узком кругу «вожди рабочего класса» расфилософствовались о том, что является для человека высшим счастьем. Будто бы Зиновьев патетически заявил, что для него высшим счастьем была бы мировая революция. К этому присоединился и Каменев. Бухарин сказал, что для него высшее счастье — это благополучие его близких и всего советского народа. Последним заговорил Сталин.

— Высшее счастье для человека, — объявил он, — это месть.

И твердо повторил:

— Месть!

При этом народный комиссар придерживался, видимо, чисто восточного правила: «Месть — это кушанье, которое надо есть холодным». И Сталин с его феноменальной памятью, вернее — феноменальной злопамятностью, умел годами выжидать, чтобы отведать кушанье. По вполне естественной ассоциации вспоминаю: на одной из жарких словесных баталий, происходивших в период острой внутрипартийной дискуссии года четыре спустя, я слышал, как говорил Троцкий:

— Владимир Ильич как-то сказал по адресу товарища Сталина: «Сей повар будет готовить партии только острые блюда».

Тухачевский за свое столкновение со Сталиным по вопросу о наступлении на Варшаву в 20-м году поплатился головой только в 37-м, будучи расстрелян как германский шпион и предатель Родины. Гениальный режиссер Всеволод Мейерхольд, имевший неосторожность в 1921 году посвятить один из своих спектаклей «Первому красноармейцу РСФСР Льву Троцкому», был арестован, подвергнут истязаниям и расстрелян как враг народа только в 1940-м. Писатель Борис Пильняк написал «Повесть непогашенной луны», сюжетом которой послужила смерть выдающегося полководца Гражданской войны Михаила Фрунзе, ставшего после отставки Троцкого народным комиссаром по военным делам. Фрунзе скончался во время операции, на которой настоял некий, не названный по фамилии «негорбящийся человек», уговоривший Фрунзе, что это необходимо из-за язвы желудка. Операция показала, что никакой язвы у Фрунзе не было. Повесть вышла в свет в 1927-м, Пильняк был расстрелян как японский шпион в 1941 году.

Гражданская война закончилась ликвидацией «крымского хана» барона Врангеля, принеся всенародную славу Михаилу Фрунзе, командовавшему штурмом неприступного, казалось, Перекопа. В Риге был подписан мирный договор с Польшей на

весьма невыгодных для советской России условиях.

Я продолжал работать как карикатурист в киевских газетах «Большевик», «Пролетарская правда», «Киевский пролетарий». Одновременно поступил в Киевский институт народного хозяйства. При выборе специальности, хорошо зная об огромном значении транспорта хотя бы из опыта своего путешествия из Николаева в Харьков, я поступил на железнодорожный факультет. С увлечением новичка взялся за учебу, усердно посещал лекции и семинары. Прилежно вникая в новые для меня области науки, я, однако, нисколько не потерял интереса к работе в газетах. Все это вскоре привело к тому, что я очутился перед проблемой: возможно ли совместить овладение науками в институте с постоянной работой в газете без серьезного ущерба для той или иной стороны?

Сатирический бич и таблица логарифмов не умещались на одном столе. Я никак не мог принять окончательное решение, хотя больше тянуло к работе художника-журналиста — уж очень нравилась мне газетная «кухня», оживленная атмосфера редакции, нравилось быть всегда в центре новостей и событий. К тому же я довольно трезво полагал, что отечественная наука и техника, в частности железнодорожный транспорт, не очень много потеряют в моем лице. В этом меня еще больше убедил маленький трагикомический эпизод, связанный с очередными студенческими зачетами. Одной из самых оригинальных и колоритных фигур киевской профессуры был профессор Д. А. Граве — выдающийся ученый-математик, автор ряда научных трудов и, как нередко бывало среди ученых мужей, человек с некоторыми странностями и чудачествами. Студенты любили Граве, и в день первой его лекции, открывавшей обычно очередной учебный год, аудитория всегда была переполнена. Свою первую беседу профессор посвящал общей характеристике предмета, с большим подъемом и темпераментом раскрывая перед притихшими студентами своеобразную красоту такой, казалось бы, сухой материи, как математика. При этом в виде примера он неизменно рассказывал увлекательную историю о знаменитой теореме Ферма, многие годы занимающей умы математиков всего мира. Яркость изложения, искренняя любовь Граве к своей науке производили на студентов большое впечатление. К сожалению, в дальнейшем, когда наступали учебные будни и с романтических высот чистой науки приходилось спускаться к кропотливому прохождению курса — решению сложных уравнений, исчислению функций и производных, энтузиазм студентов заметно иссякал и аудитория очень часто зияла прискорбными пустотами. Зачеты Граве

принимал обычно у себя на квартире и только в шесть часов утра. В сей ранний час мы и отправились к нему вместе с моим другом и сверстником студентом Беляевым (впоследствии журналистом, автором популярных очерков и ряда книг). Я шел к профессору довольно бодро, так как предмет знал прилично. Кроме того, нас с Беляевым научили опытные студенты, что очень полезно предварительно навести Граве на разговор о его статье «Межпланетное электричество», напечатанной в свое время в местной газете. Эта интересная, замечательная смелым полетом научной мысли статья произвела тем большее впечатление на читателей, что в Киеве того времени электрическое освещение было почти забыто и квартиры освещались «коптилками», то есть приборами, состоявшими из блюдечка с подсолнечным маслом и плававшего в нем на проволочной завитушке крохотного фитилька. Сначала неохотно, но постепенно увлекаясь, Граве удовлетворил проявленный нами интерес к отдельным положениям знаменитой статьи, уделив этому львиную часть времени. Потом он приступил к проверке наших знаний. Заданную мне задачу по дифференциальному исчислению я решил довольно быстро и толково. Посмотрев ответ, профессор кивнул головой и, уже беря в руки мою зачетную книжку, сказал:

— Ответ, в общем, правильный. Что ж… укажите-ка его для порядка в десятичных дробях.

Наступила маленькая пауза.

— Ну-с, итак… — настаивал Граве, обмакивая перо, чтобы проставить мне зачет.

Я молчал и беспомощно смотрел на Беляева, который мне что-то беззвучно шептал. Граве положил перо на место.

— Позвольте, позвольте, — сказал он с явным интересом. — А ну-ка, напомните нам правила перевода простых дробей в десятичные. Или нынешние студенты не обязаны знать такие элементарные вещи?..

Я мучительно напрягал мысли, но, кроме выплывшего из глубины времен образа белостокского преподавателя математики Буньки, лысого, неопрятного и сварливого, ничего не вспомнил. Граве вздохнул и скорбно задумался.

— Не могу, — произнес он наконец. — Не могу поставить вам зачет. Совесть не позволяет. Приходите, студент, когда восстановите в памяти курс средней школы.

Обратно мы шли в мрачном молчании. Беляев чувствовал себя неловко: предмет он знал хуже меня, а в кармане у него лежала зачетная книжка, подписанная Граве.

— Что ж, — сказал я. — Черт с ней, с математикой. Видимо, мы не созданы друг для друга.

Где-то в середине лета 21-го года я получил заказное письмо из Петрограда, содержавшее документ следующего содержания:

«Управление Народного комиссариата по иностранным делам в Петрограде. Информационный отдел.

Ефимову Б. Е.

С получением сего предлагается вам прибыть в г. Петроград в распоряжение заведующего информационным отделом.

Зав. информационным отделом Мих. Кольцов».

Вновь проявилось постоянное и неугомонное стремление брата вытащить меня, «ленивого и нелюбопытного», в какую-нибудь поездку, дать возможность увидеть что-нибудь необычное, навсегда запоминающееся.

Я был крепко связан с Киевом и работой, и личными делами, но слишком велик оказался соблазн увидеть своими глазами далекий легендарный Петроград с его Зимним дворцом, Адмиралтейством, Медным всадником. Таврическим дворцом и другими достопримечательностями. Кроме того, по пути в Петроград предстояло посещение не менее легендарной Москвы с ее Кремлем, храмами Василия Блаженного и Христа Спасителя, о которых я столько слышал. И я быстро собрался в путь. Тем более что очень хотелось увидеть Мишу.

Глава пятая

Нельзя сказать, что поездка железнодорожным транспортом в ту пору отличалась удобством, быстротой и… безопасностью. В частности, поговаривали, что на перегоне Нежин — Матвеев курган орудует банда некоего «батьки» со звучной фамилией Мордалевич. Но проехали мы опасный перегон благополучно, и, надо добавить, впоследствии я познакомился лично с этим самым Мордалевичем, который принес повинную советской власти и был полностью амнистирован.

И вот я в Москве. С восторгом лицезрею все то, что так хотелось увидеть. А еще через три дня я в Петрограде.

Первое, что меня ошеломляет в великом городе, — это… большой открытый автомобиль, в котором меня встречает Миша. Впервые в жизни пользуюсь этим видом транспорта. Вообще-то автомобиль я увидел впервые в Белостоке пятилетним мальчиком и никак не мог тогда понять — а где же лошадь? Каким образом движется эта повозка без лошади?!

Величие и строгая красота Петрограда произвели на меня огромное впечатление. Особенно Дворцовая площадь с мощной аркой Главного штаба, Адмиралтейство, великолепный ансамбль улицы Росси с Александринским театром. Поразил, помню, своей неожиданностью мрачный, багрово-темно-красный Зимний дворец. Его подлинная светлая нарядная окраска времен Растрелли была, как известно, восстановлена гораздо позже.

В Петрограде еще не улеглись драматические переживания, связанные с недавними событиями в Кронштадте. Я не берусь рассуждать о политическом и общественно-социальном смысле этой трагедии. Слишком сложный вопрос. Для одних это контрреволюционный мятеж, инспирированный врагами советской власти — белогвардейским подпольем и иностранными разведками — и подлежавший беспощадному подавлению. Другие видят в нем справедливый и закономерный протест против бесчеловечного режима военного коммунизма, большевистского гнета. Не берусь судить. Мое к этому отношение чисто субъективно: с точки зрения места и значения данных событий в биографии моего родного брата. А он остается верен себе в своей отважной неугомонности: журналист, сотрудник газеты, он вступает в боевой отряд особого назначения Красной армии, становится делегатом партийного съезда, идет по льду Финского залива на штурм мятежной крепости. И не забывает при этом своих журналистских обязанностей.

Кольцов писал впоследствии:

«…В морозной мгле, при свечке, колеблемой ледяным вихрем, в ораниенбаумском домишке без крыши, сорванной снарядом, под гром десятидюймовых чудовищ верстал номер «Красного Кронштадта», чтобы через два часа выбросить с первыми ротами в захваченную крепость».

«Утро в Кронштадте» — так назывался очерк, написанный Кольцовым «при свечке, колеблемой ледяным вихрем», и напечатанный в первом номере «Красного Кронштадта». Очерк этот заканчивался следующими строчками:

«На днях, когда Кронштадтом еще владели белогвардейцы и их господа из английской разведки, я напечатал в «Красной газете» открытое письмо генералу Козловскому, назначая ему скорое свидание в освобожденном Кронштадте. Мы прибыли на место встречи, но его превосходительства, увы, здесь не оказалось. Куда вы скрылись, почтенный генерал?»

В этом маленьком газетном очерке двадцатитрехлетнего Кольцова были, как мне кажется, уже заложены, как в зерне, все будущие его качества: оперативность газетчика, талант организатора, мужество журналиста, сатирический задор фельетониста. Позволю себе небольшое авторское отступление. Сквозь «магический кристалл» времени я заглядываю в будущее и вижу другой штурм. Здесь нет «морозной мглы», нет «ледяного вихря», здесь жарко и пыльно, но идет не менее упорный и ожесточенный бой. Это штурм крепости Алькасар в Толедо. Это происходит в дни борьбы Испанской республики против фашистских мятежников. И я вижу среди штурмующих «мексиканского коммуниста небольшого роста». С пистолетом в руке, он призывает республиканских бойцов не отступать под огнем мятежников и, преодолевая крутую гору, на которой стоит крепость, продолжать штурм. Его зовут Мигель Мартинес, но настоящее его имя — Михаил Кольцов.

— Хочешь съездить в Кронштадт? — спросил меня брат. — Покажу тебе, как было дело.

И вот утро в Кронштадте. Ясное голубое небо. Совсем по-летнему светит солнце. Мы прибыли сюда на катере по еще неспокойным балтийским волнам. Ходим с Кольцовым по улицам Кронштадта мимо массивных, еще покрытых пороховой копотью крепостных сооружений, фортов, казематов. Брат рассказывает, показывает, вспоминает:

— Вот здесь мы поднялись на борт восставшего против советской власти и сдавшегося дредноута. Корабль был весь в снегу. Люди на нем окоченели. Не от мороза — от страха. Они смотрели на нас исподлобья, ждали своей участи… Оказалось, между прочим, что главные орудия, направленные на Петроград,

были заряжены двенадцатидюймовыми снарядами и приготовлены к обстрелу города. Решили снаряды не вынимать, а разрядить орудия залпом в море. Это был какой-то чудовищный гром — своего рода салют в честь победы.

Мы пошли дальше.

— А вот тут… — сказал брат, останавливаясь у какой-то кирпичной стены, и голос его дрогнул. — Было так. Здесь стояла группа арестованных мятежников. И среди них — пожилой моряк, до ужаса похожий на нашего папу. Такого же роста, в очках, курносый, с такими же пушистыми усами, за которые ты маленьким любил его хватать, а он при этом делал вид, что хочет тебя укусить. Я остановился и с ужасом на него уставился. Он это заметил и как-то слабо, жалобно улыбнулся. Их всех ждал неминуемый расстрел. Не могу этого забыть…

Я вернулся в Киев, а брат вскоре переехал в Москву. Он покончил со своей службой в Наркоминделе и всецело посвятил себя журналистике. Его фельетоны и очерки начали появляться в «Правде», тогда главной и наиболее авторитетной газете страны. И вскоре там был напечатан один из лучших его очерков «Москва-матушка», ярко, образно, остроумно рассказывавший, как Первопрестольная, кондовая, купеческо-москворецкая Москва-матушка прекрасно приспособилась и отлично уживалась с Москвой военно-коммунистической с ее диктатурой пролетариата, с ее марксизмом, историческим материализмом, воинствующим атеизмом и прочими «измами». Фельетон имел большой успех. Стала крылатой фраза: «Было в Москве сорок сороков главок, стало сорок сороков Главков. Кланялись главкам, поклонимся и Главкам». Когда на следующий день после появления фельетона Кольцов пришел в редакцию, то Мария Ильинична Ульянова, занимавшая в «Правде» пост ответственного секретаря редакции, всегда строгая и хмурая, на этот раз сдержанно улыбнулась брату и сказала: «Понравилось. Всем. Всем…»

И это многозначительное «всем» означало, что фельетон понравился не только здесь в редакции, но и еще кое-где, о чем она не станет так просто говорить.

Вопрос о переезде в Москву был мной твердо решен. При этом я не сомневался, что моя профессия карикатуриста найдет там достаточно широкое применение. Мало ли в столице газет и журналов! Но расстаться с Киевом было для меня совсем не так просто. И не только потому, что, наверно, каждому человеку дорого место его рождения и он чувствует к нему особую привязанность. Нет, не те три месяца моей жизни в Киеве до переезда в Белосток связывали меня с Киевом, а пять лет,

насыщенные событиями, впечатлениями, переживаниями, радостями, горестями, трагедиями, надеждами, разочарованиями. Я жил в Киеве Николая II и Столыпина, Керенского и Корнилова, Муравьева и Пятакова, Скоропадского и фон Эйхгорна, Петлюры и Винниченко, Щорса и Боженко, Раковского и Гамарника. И это не простое перечисление имен — это разные эпохи, разные времена, разные нравы, это совершенно разные облики Киева. Одним был Киев при петлюровской Директории и совсем другим, когда после вступления войск генерала Бредова по городу были расклеены осененные лавровыми ветвями портреты генерала Деникина с его «Воззванием к населению Малороссии». Киев тогда перестал быть столицей Украины, как и сама Украина перестала быть таковой и превратилась на четыре месяца, как при царе, в Малороссию. Разве все эти превращения, перемены и перевороты могли не оставить глубоких следов, я сказал бы, рубцов в памяти, сознании, сердце? Вот почему, став с 1922 года москвичом, я по сей день не перестал быть киевлянином. И, конечно, не только потому, что проживаю в Москве в Киевском районе, между Киевским вокзалом и гостиницей «Украина», в доме по набережной Тараса Шевченко и вижу из своих окон прекрасный памятник великому Кобзарю.

Когда поезд из Киева медленно вползал под величественные своды Брянского (ныне Киевского) вокзала в Москве, я нетерпеливо соскочил со ступенек вагона и быстрыми шагами, почти бегом направился к выходу в город. Результат этой спешки не замедлил сказаться — меня остановил человек в кожаной фуражке, вежливо сказал: «Гражданин, пройдемте в Чрезвычайную комиссию». В отделении железнодорожной ЧК я предъявил свой матрикул (зачетную книжку) студента железнодорожного факультета Киевского института народного хозяйства, что, однако, не избавило меня от более чем двухчасового ожидания, пока сотрудники ЧК проверяли вещи других подозрительных пассажиров. Осмотр моего скромного чемоданчика занял не более трех минут, и я снова направился к выходу в город, на сей раз спокойным неторопливым шагом. Так я на деле убедился, что излишняя поспешность иногда оборачивается большой потерей времени.

Нелегко и непросто вспомнить и описать Москву 1922 года. Сложную и трудную восстановительную работу нужно проделать в своей памяти, чтобы мысленно привести город в прежний вид, вообразив перемены, происшедшие за минувшие годы в облике столицы, несуществующими. Все же попробуем! Оседлаем машину времени и вернемся более чем на семьдесят пять лет назад.

Итак, Москва, 1922 год. Я живу у брата в крохотном номере четвертого этажа гостиницы «Савой» на Рождественке (потом улица Жданова, теперь снова Рождественка). Мне нужно зайти сегодня в редакцию «Правды». Выйдя из «Савоя» направо, я вижу перед собой Театральный проезд, наполненный звоном и грохотом многочисленных ярко-красных трамвайных вагонов, вереницами поднимающихся вдоль стены Китай-города вверх к Лубянской площади (потом площади Дзержинского, ныне опять Лубянской). Посреди площади — большой красивый фонтан с фигурками пляшущих детей работы скульптора Витали. На площадь выходит занимающее целый квартал двухэтажное здание страхового общества «Россия», ныне обжитое грозным Государственным политическим управлением. Нельзя не оценить великую честь, оказанную здесь основоположнику научного коммунизма Карлу Марксу: его бюст венчает вход в ГПУ. Естественно, здания станции метро «Площадь Дзержинского» нет и в помине. Перед Политехническим музеем скопление мелких домишек с какими-то лавчонками. Я не стану переходить на противоположную сторону к памятнику первопечатнику Ивану Федорову, преодолев соблазн порыться на бесчисленных букинистических прилавках книжного развала у китайгородской стены. Там слишком много книг, а у меня слишком мало времени. Направо площадь Свердлова (ранее Театральная, теперь тоже). Она почти не изменилась. Как и сегодня, Большой, Малый и Детский театры вместе с гостиницей «Метрополь» и построенным в готическом стиле зданием универмага «Мюр и Мерилиз» (потом Мосторг, ЦУМ) создают ее знакомый ансамбль. Как и сегодня, от классического здания Дома Союзов начинается Охотный ряд. Но здесь, раньше чем пойти дальше, придется остановиться на минуту, чтобы мысленно вернуть Охотному ряду его прежний вид. Для этого прежде всего (и это самое простое) надо убрать гостиницу «Москва». Теперь (и это несколько сложнее) надо установить на месте гостиницы длинный, приземистый и пестрый ряд лавок, лавчонок и лабазов, торгующих мясной, рыбной, овощной, молочной, соленой, копченой, моченой и всевозможной прочей снедью, распространяющей могучие, аппетитные и пронзительные запахи. Вторым этажом этого подлинно «обжорного» ряда служит нагромождение огромных вывесок, украшенных купечески звучными фамилиями владельцев сих гастрономических предприятий: «Братья Кулаковы», «Пафнутьев и сыновья», «Колбасные изделия Смирнова», «Бугров и Ревякин — Бакалея».

На месте нынешнего здания Госплана СССР (теперь там Государственная дума) ряд старинных одноэтажных домов. На их

фоне, оставив тесный проход для пешеходов, вылезая прямо на середину улицы, высится огромная церковь Параскевы Пятницы. Протиснувшись мимо нее сквозь узкую щель прохода, мы оказываемся на углу Тверской улицы, которая будет носить это название еще целых десять лет и только в день 40-летия литературной деятельности писателя получит имя Горького (теперь она снова Тверская). Стоя на этом месте, мы не видим, как нынче, ни здания Манежа, ни Исторического музея, ни зелени Александровского сада у стен Кремля. Все это закрыто от взоров целым кварталом узких переулков, густо застроенных невзрачными домами, заполняющих все пространство нынешней Манежной площади, вплотную подступающих к университету и отделенных от него извилистым и тесным ущельем вымощенной булыжником Моховой улицы. Замыкая Охотный ряд против гостиницы «Националы), этот квартал образует небольшую полукруглую площадь, в центре которой в дополнение к Параскеве стоит маленькая часовня.

От угла Охотного ряда нам нужно повернуть направо, вверх по Тверской. Улица, по которой мы идем, не прямая, а загибается крючком, она вдвое уже, а дома на ней, старые и давно не ремонтированные, вдвое ниже, чем на будущей улице Горького. На месте Центрального телеграфа — пустырь, огражденный дощатым забором.

Советская площадь. Налево — еще двух-, а не пятиэтажное, красное с белым, здание Моссовета, ранее резиденция московских губернаторов, ныне — мэра Москвы, направо — серый бетонный обелиск Советской Конституции на фоне небольшого античного портика — остатка снесенного здания пожарной части.

Еще немного — и мы на Страстной площади. Она еще не переименована в честь гениального поэта, памятник которому скромно стоит у входа на Тверской бульвар. Площадь носит пока название монастыря, занимающего своей бледно-розового цвета колокольней, стенами и постройками все то пространство, где теперь расположен сквер. Нижний этаж монастырской колокольни почти целиком закрывает огромная реклама Московского цирка, а перед давно заколоченным входом — стоянка так называемых такси — так важно именуются старенькие, потрепанные машины шоферов-любителей, занимающихся частным извозом. В отличие от машин государственного сектора у этих «такси» вдоль всего борта намалевана ярко-желтая полоса (может быть, именно они послужили прообразом для знаменитой «Антилопы-Гну» Ильфа и Петрова). Многоэтажное здание «Известий» пока еще только в проекте. На этом месте большой пустырь. Рядом с будущими

«Известиями» — старинный двухэтажный особняк, так называемый дом Фамусова, считается, что именно здесь происходило действие грибоедовского «Горя от ума». Теперь в нем располагается КУТВ (Коммунистический университет трудящихся Востока), в котором обучаются всевозможные будущие маоцзэдуны, кимирсены и катаямы. Дальше, на углу Тверской — двухэтажный кинотеатр, который носит почему-то французское название «Ша нуар», то есть «Черный кот». Дальше, по Тверской — красивый большой дом в стиле модерн. Здесь до революции располагалась редакция одной из самых распространенных в России газет «Русское слово», теперь в этом здании газета «Труд».

В глубине двора, заваленного бумажными рулонами, пятиэтажный кирпичный корпус. Поднимаемся по лестнице с простыми железными перилами. На втором этаже находится редакция «Известий». Этажом выше — «Правды». Поднявшись на третий этаж, я с понятным волнением открываю дверь в редакцию. Далее — очень просторный прямой коридор, в который с обеих сторон симметрично выходят стеклянные двери кабинетов и отделов газеты. В коридоре царит оживление: это место встреч, летучих бесед, деловых и неделовых разговоров. В кабинетах более тихая и сосредоточенная обстановка: там идет работа.

Именно в коридоре, а не в кабинете я и увидел редактора «Правды» Николая Ивановича Бухарина, одного из виднейших теоретиков партии, автора книги «Азбука коммунизма» и, по выражению Ленина, любимца партии. На Бухарине была синяя сатиновая рубашка с черным галстуком, на ногах домашние туфли. Пробормотав какие-то слова, смысла которых ни он, ни я сам не поняли, я протянул ему свой рисунок.

— Что ж, — сказал он. — Пожалуй, недурно… Мария Ильинична, — обратился он вдруг к женщине, которая в этот момент вышла из стеклянной двери с надписью «Секретариат», — посмотрите-ка эту штукенцию.

У женщины было серьезное широкоскулое лицо, светлые внимательные глаза. Гладко причесанная голова чуть-чуть наклонена набок. Мария Ильинична взяла в руки мой рисунок, но в эту секунду из секретариата выглянула молоденькая смуглая девушка с криком:

— Мария Ильинична! Верхний!

Мария Ильинична торопливо вернулась обратно, унося с собой мой рисунок, и я видел сквозь открытую дверь, как она взяла трубку висевшего на стене деревянного телефона, и услышал ее голос:

— Это ты, Володя?

Бухарин тоже вошел в секретариат, и дверь закрылась. Впоследствии мне еще не раз придется бывать в «Правде», не раз показывать Марии Ильиничне свои рисунки и выслушивать ее мнение, не раз буду я заходить в секретариат и беседовать с Соней Виноградской (так звали смуглую девушку, секретаря Ульяновой). Я узнаю, что возглас «верхний!» обозначает звонок аппарата так называемого Верхнего коммутатора Кремля, соединяющего редакцию «Правды» с кабинетом и квартирой Ленина.

Скажу прямо: Мария Ильинична не обладала ни большим обаянием, ни большими способностями. Но эти необходимые для работы с людьми качества ей вполне заменяло звание «сестра Ленина». Ко мне она относилась вполне благосклонно и даже, когда я приносил очередной рисунок, со слабым подобием улыбки говорила:

— Нуте-с, поглядим, что нам принес маленький братик Миши Кольцова?

Когда при «Правде» начал выходить еженедельный литературно-художественный и богато иллюстрированный журнал «Прожектор», то от редакции «Правды» его курировала Мария Ильинична. Но, по сути дела, чисто формально: журнал практически делали журналист Лазарь Шмидт и писатель Ефим Зозуля. Правда, при создании журнала Мария Ильинична лично вызвала меня и поручила сделать для «Прожектора» броскую обложку, что я и выполнил. Припоминаю и такой эпизод. В «Прожекторе» нередко печатались дружеские шаржи на известных писателей, деятелей культуры, а также и на руководителей государства. Однажды кто-то сказал: «А что, если дать шарж и на Сталина?» Мы призадумались. Личность Генерального секретаря как-то не располагала к подшучиванию, хотя еще не было случая, чтобы кто-то из высокопоставленных товарищей обиделся на свое шутливое, юмористическое изображение. Я предложил посоветоваться с Марией Ильиничной. Нарисовал шарж на Сталина с обычными, положенными в дружеских шаржах преувеличениями: низкий лоб — еще ниже, прищуренные глаза — еще уже, тяжелые сапоги — еще тяжелее. И мы со Шмидтом отправились к Марии Ильиничне. Взяв в руки шарж, она начала его рассматривать без малейшего признака улыбки. И наконец сказала:

— У него тут какая-то лисья рожа.

Мы со Шмидтом переглянулись.

— Мария Ильинична, — робко заметил я, — но это — только шарж.

— Не знаю… Не знаю… — мрачно проговорила она. — Стоит ли…

— Мария Ильинична! — сказал Шмидт. — А что, если послать это Товстухе?

Несмотря на такую забавную фамилию, Товстуха был личностью весьма серьезной и, подобно своему шефу, мало расположенной к шуточкам. Он занимал должность заведующего секретариатом Генерального секретаря. Поколебавшись, Мария Ильинична согласилась. Дня через два нас со Шмидтом вызвали к ней. Взглянув на нас сумрачно и неприязненно, она молча протянула нам пакет, в котором лежал мой рисунок. К нему была приколота записка на бланке заведующего секретариатом за подписью Товстухи: «Не печатать».

— Ну что? — сказала Мария Ильинична, сердито глядя на нас. — Надо же было соваться…

Следует заметить, что Хозяин, активно не любивший Крупскую, к Марии Ильиничне относился равнодушно. Между прочим, уже много позже как-то по делам Союза писателей Кольцов ожидал приема у Сталина. Он видел, как вне очереди были пропущены в кабинет Генерального секретаря Надежда Константиновна Крупская и Мария Ильинична. И видел, как через несколько минут они, растерянные и бледные, буквально выбежали оттуда, стремительно направляясь к выходу. А через открытую дверь кабинета отчетливо донесся холодный, презрительный голос:

— Убийц пришли защищать? Не намерен с вами разговаривать.

Нетрудно было догадаться, что вдова и сестра Ленина приходили просить о сохранении жизни осужденным на недавнем процессе старым ленинским соратникам Зиновьеву и Каменеву.

Вспоминается, кстати, как на одном из пленумов ЦК после выступления Крупской, которое активно не понравилось Сталину, он взял слово с таким разъяснением:

— Родственники Владимира Ильича почему-то присвоили себе манеру по-своему толковать и комментировать его взгляды и мнения. Вряд ли с этим следует согласиться. Тем более что, если пленуму угодно, я могу представить товарищам последнюю супругу Владимира Ильича.

Ни для кого не было секретом, что Сталин имел в виду члена ЦК товарища Артюхину.

Приходится вспомнить и то, что антипатия Сталина к Крупской не способствовала ее долголетию… А Мария Ильинична дожила свой век спокойно.

Там же, в «Правде», но несколько позднее я познакомился с

еще одним интересным и талантливым человеком — Давидом Заславским. Красивое библейское имя Давид носили, как я заметил, большей частью люди незаурядные, примечательные. По крайней мере среди тех, кого я знал лично. Правда, древнего иудейского царя Давида я лично не знал, но по всем дошедшим до нас сведениям он был личностью выдающейся. Достаточно вспомнить хотя бы его сенсационную победу над злым великаном Голиафом. А вот с талантливейшим художником Давидом Дубинским, замечательным редактором газеты Давидом Ортенбергом, великолепным скрипачом Давидом Ойстрахом, пианистом Давидом Ашкенази был хорошо знаком и даже, позволю себе сказать, дружил.

А сейчас речь пойдет еще об одном хорошо знакомом мне Давиде, о котором, на мой взгляд, стоит рассказать.

…Петроград. Лето семнадцатого года. До предела накаленная, взбудораженная, зловеще-непредсказуемая политическая обстановка. Главные возмутители спокойствия — это большевики, или, как их чаще именуют, «ленинцы» по имени некоего Ленина, недавно как снег на голову свалившегося из эмиграции, проехав через воюющую с нами Германию в предоставленном ему немцами запломбированном вагоне.

Звонкие, доходчивые, будоражащие лозунги большевиков изо дня в день подстрекали широкие массы солдат и рабочих к свержению образованного Государственной думой Временного правительства, возглавляемого Керенским, к превращению, как провозгласил тот же неугомонный Ленин, «буржуазной революции в социалистическую», к диктатуре пролетариата. Разумеется, столичная печать высмеивала нелепые претензии большевиков на власть, возмущалась их безответственной подрывной пропагандой. Особенно усердствовала в этом плане газета «День», на страницах которой из номера в номер фельетонист Д. Заславский неутомимо громил большевиков, разоблачая при этом Ленина как немецкого шпиона, платного агента германского генерального штаба.

Однако, как известно, история распорядилась по-своему. В октябре того же года большевики, руководимые Лениным и Троцким, осуществили вооруженное восстание, арестовали Временное правительство и захватили власть. «Немецкий шпион» Ленин стал председателем Совета Народных Комиссаров — нового, так называемого рабоче-крестьянского правительства России. Антибольшевистские органы печати, включая «День», прекратили существование.

А что же яростный разоблачитель большевиков Д. Заславский?

А ничего. После кратковременной паузы он начал сотрудничать в новых советских газетах, причем так же бойко, доходчиво и убедительно агитировал за советскую власть, как раньше в «Дне» за Временное правительство.

Проходит несколько лет, Давид Осипович перебирается в Москву и становится постоянным автором главной газеты страны, так сказать, «неофициального официоза»— основанной Лениным «Правды», центрального органа Коммунистической партии. Автором постоянным и, добавлю, незаменимым. В самом деле, кто из журналистов мог бы подобно Заславскому быстро, оперативно, предельно доходчиво, точно и убедительно написать статью на любую, самую ответственную и острую тему?

Такие статьи обычно появлялись в газете без подписи автора, подобно передовицам, и тем самым давалось понять, что они выражают не просто мнение редакции «Правды», но политическую установку, безапелляционную директиву ЦК партии.

Таковы были, к примеру, вышедшие из-под бойкого безотказного пера Давида Осиповича недоброй памяти статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», возвестившая свирепую кампанию против «безродных космополитов», или статья «Сумбур вместо музыки», учинившая беспощадный разгром творчества Дмитрия Шостаковича.

Конечно, систематически публиковались в «Правде» и подписанные Заславским статьи на текущие злободневные темы, всегда толковые, убедительные, со знанием дела написанные, в том числе и на международные темы, разоблачавшие антисоветские козни западных империалистов. Не зря родилась лестная для журналиста эпиграмма:

> В борьбе с врагом любого вида
> Сверкает острый меч Давида.

Заславский находит время и для работы в журнале «Крокодил» и даже ведет там нечто вроде семинара для молодых, подающих надежды сатириков. С этим связан в моей памяти небольшой забавный эпизод.

На редколлегии «Крокодила» шло обычное обсуждение очередного вышедшего в свет номера журнала. Отмечались наиболее удачные материалы, причем все очень хвалили фельетон «Чьими глазами?» Д. Заславского. В нем хлестко высмеивалась Элеонора Рузвельт, вдова президента США, которая в своих впечатлениях о поездке в Советский Союз поведала, что за все три недели своего пребывания в России она ни разу не видела

улыбки на лицах людей и не слышала смеха. Видела вокруг только угрюмые, унылые физиономии. Давид Осипович, благодушно улыбаясь, снисходительно слушал комплименты по своему адресу.

Попросил слова и я:

— Фельетон действительно неплохой. Остроумно построен — попадает не в бровь, а в глаз. Вполне достоин пера Давида Осиповича. Но это писал не он!

Все взгляды с недоумением устремились на меня и на Заславского.

— Как это не он? — спросил редактор «Крокодила» поэт Сергей Швецов. — Что вы хотите этим сказать? Давид Осипович! Что это значит?

Заславский неторопливо потрогал свои пушистые седые усы.

— Мне кажется, Ефимов прав, — ответил он. — Я что-то не припомню, чтобы писал об Элеоноре Рузвельт.

— Ну и ну!.. — заволновался Швецов. — Что ж это будет? Ведь автор этого фельетона устроит скандал, предъявит претензии! Как это ему объяснить? В какую неприятность влипли!..

— Успокойтесь, Сергей. Автор этого фельетона скандалить не будет. Все обойдется по-хорошему, — сказал я.

— Почему вы так уверены? — недоверчиво спросил Швецов.

— Очень просто. Это написал мой сын Миша. Он — один из молодых авторов в группе Давида Осиповича, получил от него эту тему.

Швецов облегченно вздохнул и, уже улыбаясь, посмотрел на Заславского, утвердительно кивавшего головой.

Довольно часто выступал Заславский на страницах «Правды» во время Великой Отечественной войны. Конечно, его вполне обстоятельные и доходчивые статьи нельзя сравнить с острыми, эмоциональными, своеобразными памфлетами Эренбурга в «Красной звезде», но, видимо, Сталин был Заславским доволен. Иначе как объяснить неожиданное появление тогда отдельного персонального указа о награждении Д. Заславского орденом Ленина за «военно-литературную работу»?

Но в начале 50-х годов дряхлеющий, одержимый клинической подозрительностью и патологической манией видеть вокруг врагов и заговорщиков, Сталин спровоцировал очередную волну террора. Началось пресловутое, замешанное на почти откровенном антисемитизме дело врачей — «убийц в белых халатах».

Мне рассказывали, что в ту пору на очередном партсобрании в редакции «Правды» тогдашний редактор «Крокодила» Беляев,

личность с определенным черносотенным душком, заорал на Заславского:

— А вы чего пришли? На ваших руках кровь Жданова!!!

Трудно понять, какое отношение мог иметь Заславский, отнюдь не врач, а журналист, к инфаркту, оборвавшему жизнь секретаря ЦК Жданова, но логика в ту пору была не обязательна. И про Заславского заговорили, что он, определенно, идет «на посадку». Но неожиданная кончина Хозяина, им явно не запланированная, круто изменила обстановку в стране. Давид Осипович благополучно вернулся к работе в «Правде».

Мне хочется признать то, что для меня лично очень дорого — глубокое уважение Заславского к литературной и общественной деятельности Михаила Кольцова. Вот что написал Заславский в сборнике «Михаил Кольцов, каким он был»:

«…Во всей его фигуре, невысокой и подвижной, было изящество. Годы не старили его. И в легких движениях, и в жестах, и в выражении лица оставалось что-то мило мальчишеское, озорное. Он всегда готов был на смелые приключения, на неожиданные выдумки. Он был поэтом своего призвания — журналистики».

Вплоть до преклонного возраста Заславский сохранял работоспособность, общительный нрав и некое даже веселое озорство. Вспоминаю одну из наших последних, довольно забавную в своем роде встречу.

Это было вскоре после завершения так называемой шестидневной войны, которую крохотное государство Израиль точно за шесть дней выиграло, сражаясь против Египта и Сирии. Победа Израиля вызвала сильнейшее раздражение в высоких сферах советского руководства, не скрывавшего своих симпатий к арабам. Вспомним, что незадолго до «шестидневной войны» президенту Египта Насеру было Хрущевым пожаловано изрядно удивившее общественность звание Героя Советского Союза, которое как-то мало гармонировало с гонениями на коммунистов в Египте.

Советская печать была полна возмущенных обвинений по адресу Израиля в агрессивных, захватнических действиях, попрании общепризнанных международных принципов. И тут кто-то «наверху» надумал, чтобы известные деятели искусства и культуры еврейского происхождения выступили в прессе с протестом против действий Израиля. Организация этой эффектной акции была поручена, естественно, Заславскому. В редакцию «Правды» были приглашены поэт Александр Безыменский, дирижер Большого театра Борис Хайкин, композиторы Матвей Блантер и Марк Фрадкин, певец Соломон

Хромченко, шахматист Михаил Ботвинник, еще кто-то, не забыли и про меня. Заславский огласил заготовленный текст протеста и первый лихо расписался, затем расписались все мы. После этого Давид Осипович двинулся к выходу (никогда не забуду этой уморительной сцены) с зычным возгласом «Шма, Исроэль! (Слушай, Израиль!)» — древним традиционным призывом синагогального молебствия.

Он и тут остался верен себе, неунывающий скептик, подчиняющийся обстоятельствам веселый циник.

…Я уже говорил о том, как моему брату всегда хотелось, чтобы я «увидел что-нибудь интересное». И он неизменно протаскивал меня на разнообразные встречи, вечера, собрания, начиная с чтения Маяковским его новой поэмы на квартире у Бриков до большого партийного собрания в Большом театре.

На это собрание я пошел с искренним интересом, предполагая увидеть двух самых знаменитых людей того времени: Ленина и Троцкого. Однако ни того, ни другого там не оказалось, и я уже без всякого интереса слушал выступавших с трибуны ораторов. Но вот брат толкнул меня локтем и сказал вполголоса: «Обрати внимание. Это фактический диктатор России. Генеральный секретарь Сталин». Я посмотрел на Мишу с удивлением: диктатор России? А как же Ленин, председатель Совнаркома? Троцкий, председатель Реввоенсовета? Калинин, «Всесоюзный староста»? Но, зная исключительную наблюдательность Кольцова, его умение разбираться в окружающих обстоятельствах, я уже с любопытством стал разглядывать человека невысокого роста, с гладко зачесанной шевелюрой и рыжеватыми висячими усами. На нем простой китель, помятые штаны заправлены в хорошо начищенные сапоги. Говорил он медленно, негромким глуховатым голосом, без всяких ораторских эффектов, почему-то не с трибуны, а стоя на краю сцены.

Брат снова мне шепнул: «Сейчас он обязательно по какому-нибудь поводу упомянет Центральный комитет». И действительно, через две-три фразы послышалось: «По этому вопросу, товарищи, в Центральном комитете есть такое мнение…»

Здесь я хочу рассказать об эпизоде, сыгравшем очень большую роль в судьбе брата. Но предварительно необходимо напомнить о том, что с 1 апреля 1923 года в Москве начал выходить массовый популярный еженедельник «Огонек», существующий по сей день. Это была инициатива Кольцова. Он не мог удовольствоваться публикацией своих фельетонов и очерков в «Правде» и затеял издание иллюстрированного журнала,

подобного выходившему еще до революции в издательстве Проппера и даже под тем же названием. Брат привлек к сотрудничеству в новом «Огоньке» целую плеяду известных писателей и поэтов. Нельзя не вспомнить, что в первом номере журнала появилось знаменитое стихотворение Маяковского «Мы не верим!» по поводу опубликования правительственного бюллетеня о болезни В. И. Ленина.

Позволю себе упомянуть, что в этом же, первом номере «Огонька» были напечатаны четыре моих рисунка — иллюстрации к рассказу О. Генри «Заколдованные хлебцы». Помню, как в огромной комнате дома по Козицкому переулку, в которой размещались и редакция, и контора нового журнала, толпились сотрудники и авторы. Все ждали, когда из типографии привезут первый номер новорожденного «Огонька». Прозвучал телефонный звонок. Кольцов схватил трубку, послушал и стал часто моргать глазами, что у него было признаком неудовольствия или озабоченности.

— Новое дело, — сказал он, — звонит Рябинин из типографии и сообщает, что начальник Главлита Мордвинкин не дает разрешения на выпуск журнала. У него нет возражений по содержанию, но он категорически против названия «Огонек»… Мордвинкин… Мордвинкин… — задумчиво повторил Кольцов. — Послушай, — обратился он ко мне, — а не тот ли это Мордвинкин, у которого ты работал в Киеве в Редиздате?

— Если Владимир Юрьевич, тогда тот, — сказал я, и в моей памяти возникла довольно причудливая фигура с длинной народовольческой шевелюрой, козлиной бородкой и в высоких желтых сапогах.

— Будем надеяться, что тот, — проговорил Кольцов, — и тебе дается срочное и ответственное задание: немедленно мчись в Главлит, во что бы то ни стало пробейся к этому Мордвинкину, пробуди в нем героические воспоминания о девятнадцатом годе в Киеве и вырви у него разрешение. Скажешь ему примерно следующее…

— А если он… — начал я, выслушав брата.

— Не будем терять времени, — нетерпеливо перебил Кольцов, — дуй в Главлит, тебе достали мотоцикл.

Не могу сказать, что промчаться по булыжным мостовым, сидя на тряском заднем седле мотоцикла, было большим удовольствием — и вошел я в Главлит, слегка пошатываясь. Быстро проскочив мимо зазевавшейся секретарши в кабинет начальника, я сразу увидел, что Мордвинкин — тот самый. Повторяя про себя инструкции Кольцова, я присел к его заваленному бумагами письменному столу и напористо

заговорил:

— Доброго здоровья, Владимир Юрьевич! Если не забыли — девятнадцатый год, Киев, Редиздат, ваш верный секретарь Ефимов. Немало с тех пор утекло… хе-хе…

Мордвинкин на меня посмотрел исподлобья, поверх очков, и то, что он пробормотал, можно было с одинаковым успехом принять и за «как же, как же», и за «какого черта». Но, согласно наставлениям Кольцова, я стал оживленно рассказывать, какие известные писатели и поэты дали согласие сотрудничать в новом журнале и как подобный массовый журнал нужен широкому читателю.

Немного послушав с угрюмым видом, Мордвинкин прервал мою горячую речь, саркастически скривив рот:

— И поэтому вы решили взять для такого журнала название пропперовского публичного дома?!

— Владимир Юрьевич! — возопил я. — О чем вы говорите?! Какой публичный дом?! При чем тут Проппер?! Кто его помнит?! Это будет совершенно новый, советский «Огонек», с новым, советским содержанием!

— Допустим, — сухо произнес Мордвинкин. — Так почему, в таком случае, для хорошего советского журнала вы не возьмете хорошее советское название?! Например, «Красная заря», «Красный восход», «Советская быль»? Да мало ли! Нет, разрешения на «Огонек» я не дам.

И он уткнулся в бумаги, давая понять, что разговор окончен. Я представил себе, как будет разочарован и сердит Кольцов, что я не справился с его поручением, и страх придал мне новые силы.

— Владимир Юрьевич! — отчаянно заговорил я. — Владимир Юрьевич, а чем, собственно, плохо — «Огонек»? Хорошее, теплое русское слово! Когда хотят похвалить человека, говорят же: «Этот человек с огоньком!» А еще: «зайти к приятелю на огонек», «в маленькой светелке огонек горит»… Ей-богу, Владимир Юрьевич, хорошее название, ласковое, приветливое, увидите, оно всем понравится!

Мордвинкин угрюмо молчал, не поднимая глаз, и перебирал свои бумаги. Я уже решил, что моя миссия безнадежно провалилась. Но тут Мордвинкин тяжело вздохнул, как-то укоризненно покачал головой, вынул из ящика стола листок бумаги, что-то на нем написал и протянул мне, сказав с раздражением:

— Вот. Передадите в типографию.

То было главлитовское разрешение на выпуск журнала! Так «Огонек» остался «Огоньком», начал выходить в свет и действительно скоро завоевал читательское признание. А через

некоторое время произошло следующее. Как-то Миша мне сказал:

— А знаешь, меня вчера вызывал Сталин.

При имени Сталина тогда еще не возникало панического страха, и я очень спокойно спросил:

— А в связи с чем?

— А вот слушай. Очень любопытно…

И вот что он мне рассказал.

Его вызвали в ЦК. Он поднялся на пятый этаж в секретариат Сталина, постучался и был несколько удивлен, что дверь ему открыл сам Сталин. Они прошли в кабинет, сели, и Генеральный секретарь ЦК сказал:

— Товарищ Кольцов, «Огонек» — неплохой журнал, живой. Но некоторые товарищи члены ЦК считают, что в нем замечается определенный сервилизм.

— Сервилизм? — удивился Кольцов. — А в чем это выражается?

— Да, сервилизм. Угодничество. Товарищи члены ЦК говорят, что вы скоро будете печатать, по каким клозетам ходит товарищ Троцкий.

Кольцов, конечно, был в курсе острой конфронтации между Сталиным и Троцким, но такая грубая откровенность его ошеломила. Ведь Троцкий был членом Политбюро ЦК, председателем Реввоенсовета республики, народным комиссаром по военным и морским делам, виднейшим политическим деятелем страны.

— Товарищ Сталин, — сказал брат, — «Огонек» — массовый журнал, рассчитанный на широкий круг читателей, и мы думали, что в наши задачи входит рассказывать народу о деятельности его руководителей. И мы давали очерки: «День Калинина», «День Рыкова», «День Троцкого». А недавно мы дали в журнале фотографию окна, через которое в Баку в тысяча девятьсот втором году бежал товарищ Сталин, когда полиция нагрянула в организованную им подпольную типографию.

Подозрительно сощурившись, Сталин посмотрел на брата и холодно произнес:

— Товарищ Кольцов. Я вам передал мнение товарищей членов ЦК. Учтите в дальнейшей работе. Всего хорошего.

Рассказав все это, брат со смехом добавил:

— По сути дела, я получил строгий выговор от Генерального секретаря партии.

Увы, это было нечто большее, чем выговор… Но ясно это стало много лет спустя. Мы уже знаем о «блюде, которое надо есть холодным»…

Глава шестая

Первые мои шаги в столице оказались удачными: одновременно с «Правдой» я начал сотрудничать с массовой, небольшого формата «Рабочей газетой», которую редактировал К. С. Еремеев — дядя Костя, как его называли за глаза, а некоторые и в глаза. Я смотрел на дядю Костю с живейшим интересом: я уже знал, что наш редактор — старый правдист, революционер-подпольщик, участник октябрьских событий, знаменитый «солдат Еремеев», в первые дни советской власти командовавший Петроградским военным округом. У дяди Кости была внешность бывалого моряка — коренастый, загорелый, с неизменной, пахнущей крепчайшим табаком трубкой в зубах. Плечи и шея атлета, мускулистые руки рабочего человека, способного постоять за себя. Мне как-то довелось услышать из уст Константина Степановича рассказ о маленьком происшествии, случившемся с ним в Петрограде.

Время было тревожное — сентябрь 1917 года. Вольготно чувствовали себя уголовные элементы. Налеты, убийства, уличные ограбления стали бытовым явлением. Как-то поздним вечером Еремеев возвращался из типографии, где печаталась большевистская газета «Рабочий путь». В пустынном переулке его остановили две дюжие личности:

— Деньги!

— Не имеется.

— Пальто!

— Пальто? Что ж, снимайте сами, если нуждаетесь.

Дядя Костя спокойно расстегнул пуговицы, и один из налетчиков, зайдя со спины, стал наподобие услужливого гардеробщика снимать с Еремеева пальто. Но как только правая рука Константина Степановича освободилась из рукава, она нанесла грабителю молниеносный сокрушительный удар. Бандит заголосил от боли, придерживая руками выскочившую из суставов челюсть, сообщник его обратился в стремительное бегство. Еремеев снова застегнулся на все пуговицы, посоветовал обалдевшему от боли грабителю обратиться в ближайшую амбулаторию и неторопливо продолжал путь…

«Рабочая газета» находилась в Охотном ряду, в здании, стоявшем в ту пору против Дома Союзов. Я ежедневно приходил в редакцию, выбирал из последних международных телеграмм подходящую тему и, присев за первый попавшийся свободный стол, рисовал карикатуру в текущий номер. Свое произведение я обычно показывал секретарю, стесняясь входить в кабинет, где

работал Еремеев. Как-то я сдавал очередную карикатуру. Секретарь взял у меня рисунок, чтобы отнести редактору, но как раз в этот момент дядя Костя вышел из кабинета. Мельком взглянув на карикатуру, он лаконично сказал секретарю:

— Пускайте.

Потом, приподняв бровь, вынул изо рта трубку и коротко спросил:

— Почему ничего не даете для «Приложения»?

Я смутился:

— Н-не знаю, дядя Кос… Константин Степанович. Никто ничего не говорил. Отчего же… Я, так сказать, с удовольствием…

Еремеев посмотрел на меня с едва заметной улыбкой.

— Ладно, — сказал он, — не робейте. Сатирику следует быть посмелее. Свяжитесь с Абрамским и приносите рисунки. Работайте.

Еженедельное иллюстрированное приложение к «Рабочей газете» было любимым детищем Еремеева, отдававшего ему много времени, энергии и выдумки. В «Приложении» печатались фото, зарисовки, а также сатирические фельетоны, стихи, карикатуры. В нем принимали участие известные художники-сатирики: Д. Моор, М. Черемных, И. Малютин, Д. Мельников. Секретарем был поэт В. Лебедев-Кумач. Особенно близок был сердцу дяди Кости сатирический раздел «Приложения» — ведь Еремеев сам отлично владел пером публициста, его саркастические фельетоны не раз печатались в дооктябрьской большевистской печати. Неудивительно, что сатирическая часть еженедельника неуклонно расширялась из номера в номер и вскоре «Приложение» по существу превратилось в самый настоящий сатирический журнал, у которого только не было своего имени. Весь редакционный коллектив напрягал фантазию в поисках подходящего названия. Перебрали все мыслимые предметы, обладающие острыми и колющими свойствами: заноза, колючка, шило, клещи, тиски, жало, перец, репейник, крапива… Все это, однако, было отвергнуто дядей Костей. Тогда пошли в ход всевозможные жалящие и кусающие представители животного мира: оса, еж, шмель, ерш, ястреб, волкодав, скорпион и даже… крокодил. Последнее предложение под общий смех и иронические возгласы внес член редколлегии «Рабочей газеты» Сергей Гессен, совсем еще молодой журналист.

— А что? — защищался Гессен. — Чем плохо — «Крокодил»? Ей-богу, подходяще.

Наконец наступил крайний срок. Первый номер новорожденного журнала уже сверстан и пущен в машину. Только первая страница, на которой должно было красоваться новое

название, оставалась пустой. Перед Еремеевым с решительным видом предстал директор издательства:

— Константин Степанович! Больше тянуть не можем. Машины стоят, типография ждет. Давайте название.

Дядя Костя немного помолчал, вынул изо рта трубку, не спеша выколотил ее, снова набил табаком, чиркнул спичкой, выпустил голубоватый клуб дыма, помахал на него рукой и сказал:

— «Крокодил». Я за предложение Гессена!

После некоторого изумленного молчания посыпались возражения. Наперебой говорили о том, что читатель не полюбит журнал с таким «отталкивающим» названием, что крокодил несимпатичен, безобразен, неприятен…

— Зато зубаст, — отрезал Еремеев, — а насчет всего прочего, то от вас, художников и поэтов, зависит сделать «Крокодил» симпатичным, привлекательным, дорогим. От вас зависит, чтобы читатель оценил и полюбил нашего «Крокодила». Одним словом, «Крокодил»!

Так произошло рождение самого массового и популярного сатирического журнала страны, тираж которого в последующие годы достигал фантастической цифры в шесть миллионов (!) экземпляров. Но к этому времени Еремеева в «Крокодиле» уже не было. «Наверху» неизвестно почему сочли нужным освободить дядю Костю от близкой его сердцу и вполне успешной редакторской работы в «Рабочей газете» и «Крокодиле» и назначить… членом Реввоенсовета Балтфлота, а вскоре после этого направить в… советское торгпредство во Франции. Почему отличный публицист, журналист, сатирик был переброшен на внешнюю торговлю, осталось загадкой.

В связи с 10-летием «Крокодила» в 1932 году Лебедев-Кумач вспоминал:

…С журналом нянчась, словно мать,
Дышали пылью мы свинцовой
И часто оставались спать
В Седьмой и Первой Образцовой.
Душистый дым вокруг развеяв,
Журналу кадры подбирал
Наш крокодильский адмирал,
Наш дядя Костя Еремеев.
Пришли Катаев и Кольцов,
Пришли Демьян и Маяковский —
И «Крокодил» в конце концов
Стал Главсатирою московской.

(Седьмая и Первая Образцовая — известные московские типографии.)

Пребывание во Франции, видимо, не пошло Еремееву на пользу. Изменило ему железное здоровье, и, вернувшись в Москву, дядя Костя безвременно ушел из жизни. Я был в числе крокодильцев, провожавших его в последний путь. Мы стояли вместе с поэтом Эмилем Кротким в почетном карауле у гроба, когда в зале появился и стал рядом с нами В. М. Молотов. То было, по-видимому, официальное признание заслуг Константина Степановича. Но мне думается, что, если бы дядя Костя дожил до тридцать седьмого года, участь его была бы более трагичной. Заграничная работа в ту пору очень часто приводила к большой беде…

Кстати, о Лебедеве-Кумаче. Мне хочется, чтобы читатель этой книги узнал о его сложной и, не боюсь сказать, драматичной творческой биографии. Лебедева-Кумача нельзя, разумеется, поставить на одну доску с Маяковским, Есениным, Пастернаком, Мандельштамом, но он был, безусловно, одаренный поэт.

…В центре Москвы, против Белорусского вокзала, на высоком красивом доме укреплена мемориальная доска, гласящая: «В этом доме жил и работал поэт Василий Иванович Лебедев-Кумач». Далее указаны даты.

Иной молодой, да и не очень молодой человек может, пожалуй, сказать: «Лебедев-Кумач? Что-то я не слышал про такого поэта. А что он написал?» А между тем, творчество поэта хорошо знакомо миллионам, вот только имя его предано забвению. Как же так?

Василий Лебедев-Кумач, как читатель уже знает, был «первокрокодильцем» и даже секретарем журнала. В «Крокодиле» из номера в номер печатались его сатирические стихи, пародии, памфлеты. Но, в чем-то не поладив с одним из очередных редакторов, он ушел из «Крокодила».

Он занялся сочинением текстов песен, став, как тогда это называлось, поэтом-песенником, активно работающим, но отнюдь не ведущим. Но настал его «звездный час», когда Леонид Утесов предложил ему написать тексты песен для кинокомедии «Веселые ребята». И на всю страну зазвучало: «Легко на сердце от песни веселой…», «Сердце, тебе не хочется покоя… Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить…» А потом фильм «Дети капитана Гранта»: «Капитан, капитан, улыбнитесь…», «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер…» И еще, еще, еще… Лебедев-Кумач стал, по справедливости, первым поэтом-песенником страны. И,

естественно, был приглашен для работы в новой большой кинокомедии «Цирк» режиссера Григория Александрова с участием самой любимой советскими зрителями актрисы Любови Орловой.

Прекрасную музыку для этого фильма, как и для «Веселых ребят», написал композитор Исаак Осипович Дунаевский. Особенно популярной стала мелодия песни «Широка страна моя родная…», превратившаяся в своего рода второй гимн Советского Союза, звучавшая как позывные советского радио. Но для Лебедева-Кумача оказалась роковой одна-единственная строчка в этой песне: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек…» Действительно, эти слова были чудовищным диссонансом по отношению к атмосфере, которой люди дышали в годы сталинского режима. И неудивительно, что когда эти страшные годы остались позади, имя автора этой строки было предано забвению.

…С работой в «Крокодиле» у меня связано знакомство с одним веселым человеком.

Так можно с полным основанием сказать про Виктора Ефимовича Ардова. В 20—30-х годах он был известен как довольно плодовитый автор юмористических рассказов, эстрадных номеров, фельетонов и даже пьес, которые шли на сцене Театра Сатиры. Его, конечно, вряд ли можно поставить рядом с такими выдающимися сатириками, как Михаил Зощенко, как Илья Ильф и Евгений Петров или Владимир Маяковский. Но писал он свои юморески бойко, разнообразно и смешно. Многие его шутки и остроты хотя и не отличались большой глубиной, но привлекали своей неожиданностью и каким-то веселым озорством. Мне запомнился забавный эпизод. Отмечали семидесятилетие известного в свое время фельетониста-сатирика Григория Рыклина. По этому поводу в Малом зале ЦДЛ проходило оживленное застолье, произносились соответственные поздравительные речи. Взял слово и Ардов. Он, как и все, отдавал должное юбиляру, в полной мере сохранившему свою творческую энергию, продолжавшему с успехом выступать в печати и, между прочим, редактировать в ту пору журнал «Крокодил». Ардов не жалел лестных слов по адресу Рыклина, но неожиданно закончил их громким восклицанием:

— А ведь в свои семьдесят лет Григорий Ефимович имеет полное право быть идиотом!

Под общий хохот ошеломленный Рыклин выронил свой бокал с вином…

Такое «приветствие» целиком в духе Ардова, балагура и остряка.

Яркий представитель литературной и артистической богемы 20—30-х годов, Виктор Ефимович писал в своих воспоминаниях о Михаиле Кольцове, что настроения этой богемной среды были «… если не прямо обывательские, то близкие к тому. Кольцов относился к этому непримиримо. Он не любил механического юмора, бессмысленных шуток».

Я хочу к этому добавить: мне довелось в ту пору быть свидетелем разговора, когда Ардов довольно запальчиво и с явным вызовом говорил о фельетоне Кольцова в «Правде», высмеивавшем эту самую богему.

— Да! — восклицал Виктор Ефимович. — Да, мы — богема! Ну и что? Что тут плохого? Разве мы обязаны заботиться о гражданственности, партийности и прочих высоких материях? Пускай этим занимается сам Кольцов!

Но то был «ранний» Ардов. Уже к концу 20-х годов он стал серьезнее и произведения его — значительнее, и, как он сам вспоминает, тот же Кольцов однажды сказал ему:

— Почему вы не приносите в «Огонек» фельетонов?

Он пробормотал, что носил уже, а не печатают. Кольцов ответил:

— Ну, за эти годы вы стали писать лучше… и потом, мы вас лучше узнали…

А через два года, когда Кольцов создал новый сатирический журнал «Чудак», Ардов стал одним из активных его сотрудников рядом с Ильфом и Петровым, Катаевым, Зощенко, Олешей, Маяковским и другими известными сатириками. Он органично и заслуженно вошел в эту славную плеяду. В фундаментальном сборнике «Юмор и сатира» (1957 г.), где представлены все жанры и оттенки смешного — от разящей сатиры до незлобивой шутки, от политического памфлета до острой эпиграммы, имя Виктора Ардова фигурирует наряду с самыми известными именами. Он был широко популярен, пользовался дружеским расположением своих собратьев по перу и, кстати сказать, оставил о большинстве из них интересные, окрашенные добрым юмором воспоминания.

Между прочим, вспоминая период своей работы в «Чудаке», Ардов рассказывает, как по инициативе Кольцова обычной рекламе, которая предшествует подписке на периодические издания, был придан шутливый характер. В сочинении текстов объявлений принимали участие ведущие сатирики журнала, в том числе и он, Ардов.

«И я написал для рекламы «Чудака», — вспоминает Ардов, — о том, кто был чудаком в мировой истории. Там объявлялось, что чудаком был и Карл Маркс, который написал свой «Капитал» без аванса и заказа со стороны издательства, чудаком был и Исаак

Ньютон, который, вместо того чтобы спокойно скушать яблоко, утруждал себя размышлениями о силе земного притяжения, и т. д.».

В ту пору мыс Ардовым подружились, и на долгие годы, о чем свидетельствует лаконичная надпись на книжке его сатирических фельетонов «Образцы красноречия»: «Боре Ефимову от стаааарого друга. В. Ардов. Ноябрь 1966 года». А вот поздравительная телеграмма, написанная целиком в ардовском стиле: «ЛИЧНО Я ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР НАГРАЖДЕНИИ ВАС ЗВАНИЕМ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА ТЧК АРДОВ».

Ардов был человеком не только веселым и остроумным, но и добрым. Он доказывал это не раз, а я хочу привести только один, маленький, но забавный пример. Мой сын Миша, будучи еще школьником-старшеклассником, вместе с тремя своими товарищами, решив приобщиться к «светской жизни», пришел в ресторан «Савой», где на свои скромные карманные деньги ребята заказали себе четыре коктейля и, важно усевшись, начали тянуть их через соломинки. Все шло хорошо, как вдруг один из школьников нечаянно опрокинул свой бокал, тот упал на пол и разбился вдребезги. Мальчики пришли в ужас — у них не было денег, чтобы возместить причиненный ресторану убыток. Что делать? И тут произошло чудо. Из-за соседнего столика поднялся мужчина с красивой черной бородкой и, подойдя к ним, спросил:

— Что у вас произошло, ребята?

Узнав, в чем дело, сказал:

— Ну, ничего. Это не страшно, сейчас уладим.

И, подозвав официанта, протянул ему пять рублей. «Инцидент» был исчерпан. Этим человеком оказался, как нетрудно догадаться, Виктор Ардов. Конечно, не бог весть какой великий поступок с его стороны, но ведь не каждый из нас так легко и великодушно поспешил бы выручить совершенно незнакомых парней.

Но Ардов был не только веселым, остроумным и добрым человеком, он был человеком по-настоящему мужественным. И проявил свое мужество, когда это было отнюдь не безопасно. Когда Анна Ахматова подверглась жестокой и оскорбительной «проработке», когда над ней нависла реальная угроза, она нашла крышу над головой, сердечное внимание и заботливый уход в семье Ардовых. Когда знаменитая певица Лидия Русланова была арестована как жена генерала Крюкова, виновного в том, что он был близок к маршалу Жукову, то, будучи в ссылке, она получала материальную помощь и продовольственные посылки от Ардова. Он делал это открыто, подвергая немалому риску и себя и свою

семью. Он безбоязненно и так же дружелюбно, как и прежде, до ареста Кольцова, общался со мной, хотя я уже значился «братом врага народа».

…Мне довелось один раз быть дома у Ардова. Познакомиться с его красивой женой Ниной Ольшевской, актрисой и режиссером театра Красной Армии, видеть их сына — маленького Мишу…

Совсем недавно, в ноябре 1999 года, я присутствовал на торжественно отмечавшемся семидесятилетий Ясена Засурского, многолетнего декана факультета журналистики МГУ. С ораторской трибуны звучали приветственные речи выступавших поздравителей. И вдруг ведущий объявил:

— Слово имеет протоиерей отец Михаил Ардов.

В полном ошеломлении я уставился на представительного священнослужителя в черной рясе, с окладистой черной бородой и золотым крестом на груди.

После торжественной части вечера был банкет. И тут я подошел к отцу Михаилу и сказал:

— А вы очень похожи на отца. Я был хорошо знаком с Виктором Ефимовичем.

Отец Михаил засмеялся:

— Да, говорят, очень похож.

А я подумал: «Боже, что бы подумал Виктор Ардов — этот озорной острослов, насмешник и, наверно, убежденный атеист, если бы знал, какое высокое поприще предстоит его маленькому Мише».

…С октября 1922 года я стал постоянным карикатуристом газеты «Известия», работа в которой заняла у меня примерно 65 лет. Произошло это, однако, не сразу и не просто. Началось с того, что Кольцов пришел со мной в редакцию «Известий» (напомню, она располагалась этажом ниже «Правды») и представил меня ответственному секретарю, известному тогда литературному и театральному критику Осафу Семеновичу Литовскому.

— Вот, Осаф, — сказал брат. — Передаю тебе из рук в руки. Это — Ефимов, отличный карикатурист, приехал из Киева, одновременно мой брат.

Литовский посмотрел в мою сторону довольно благожелательно, но заметил:

— Михаил, а зачем нам твой Ефимов, если у нас работает Моор?

Против этого действительно трудно было что-нибудь возразить — Дмитрий Стахиевич Моор (Орлов) был, безусловно, самым выдающимся советским художником-сатириком той поры. И я, потоптавшись немного на месте, откланялся. И все же мне

довелось привиться в «Известиях». Этому способствовали два обстоятельства. Первое — то, что Моор как раз в это время увлекся организацией журнала «Безбожник» и временно отошел от газетной работы, оставив «Известия» без художника. Второе, и, как мне кажется, весьма существенное, это то, что мои рисунки начали появляться в «Правде».

Сердце газетчика не выдержало: Литовский через кого-то передал мне приглашение зайти в редакцию для разговора о сотрудничестве в «Известиях». Редактором «Известий» тогда был занимавший этот пост с марта 1917 года, то есть с Февральской революции, небезызвестный Юрий Михайлович Стеклов, один из самых видных публицистов первого десятилетия советской эпохи. Одновременно он был автором фундаментальных научных трудов о Бакунине, Чернышевском, Добролюбове, Герцене.

Биография Стеклова типична для многих молодых людей его поколения. Исключение из гимназии за вольнодумство и строптивость по отношению к школьному начальству, знакомство с запрещенной народовольческой и марксистской литературой, участие в подпольных революционных кружках, арест, тюрьма, ссылка в «не столь отдаленные места» Сибири, смелый и рискованный побег. В дальнейшем ему удается перебраться за границу, где после деятельности среди различных партийных группировок он примыкает к Ленину, и наконец возвращение в Россию после Февральской революции.

К этому времени он имел уже определенный опыт в журналистике и, как сторонник позиции большевиков (их тогда называли «ленинцами»), становится одним из редакторов «Известий» одновременно с редакторами от меньшевиков — Чхеидзе, Церетели, Даном.

В накаленной атмосфере событий между Февралем и Октябрем с непримиримыми политическими, партийными, классовыми и всякими прочими противоречиями были весьма заметны выступления Стеклова в печати, на митингах и собраниях. Он выделялся и внешне: высоченный, широкоплечий, с окладистой русой бородой — наружностью истинно русского замоскворецкого купца, как писал о нем в книге «Дни» известный монархист Шульгин. Немудрено, что противники большевиков избрали его главной мишенью злобных нападок, сделав его предметом грубых насмешек, анекдотов, частушек. Разузнав его настоящую фамилию — Нахамкис, одна газетенка, помню, напечатала на потребу черносотенной публике:

В пику тятьке-с,
В пику мамке-с

Заору со всех силов:
Не зови меня Нахамкис,
А зови меня — Стеклов.

Но все это ушло в далекое прошлое к тому времени, когда я впервые в Москве переступил порог редакции «Известий» в 1922 году. Юрий Михайлович превратился в важного барственного советского вельможу, властного и непререкаемого хозяина в газете. Он не признавал никакого иного мнения, кроме своего.

На первой странице «Известий» буквально ежедневно появлялись подписанные им передовые статьи на внутренние и международные темы, которые стали называть не передовицами, а «стекловицами». Об этом помянул, кстати сказать, и Владимир Маяковский:

Есть
у воды
своя пора:
часы
прилива,
часы отлива.
А у Стеклова
вода
не сходила с пера.
Несправедливо.

Впрочем, несправедлив и сам Маяковский: я своими глазами видел в кабинете Стеклова в рамке под стеклом записку, последние строки которой мне запомнились: «…Вот как (и почаще!) Вам следует писать в «Известиях». Ваш Ленин». Не повлиял ли этот хвалебный отзыв на судьбу Юрия Михайловича? В соответствующее время он был арестован и погиб в далекой ссылке. Но до того было еще достаточно далеко, и пока что Юрий Михайлович держался подлинным громовержцем, не терпящим никаких возражений, перед которым все трепетало и сгибалось. Сколько раз я слышал гремевшую по всей редакции излюбленную его фразу, когда кто-нибудь поступал по своему усмотрению:

— Кто здесь редактор? Я — редактор или вы — редактор? А если я — редактор и вы — редактор, то сколько у нас редакторов?!

Несколько раньше меня сотрудником «Известий» стал Владимир Маяковский. Это произошло еще более сложно и остросюжетно, чем со мной. Если ко мне Стеклов относился

снисходительно-благосклонно и даже однажды, знакомя меня в своем кабинете со скульптором Менделевичем, произнес: «Знакомьтесь, тореадор солдату — друг и брат» (кем он меня считал: тореадором или солдатом, не знаю, но звучало это приятно), то Маяковского он на дух не выносил. Его поэзию категорически отвергал, а самого Маяковского именовал почему-то шарлатаном. Естественно, не могло быть и речи о том, чтобы стихи «шарлатана» появились на страницах «Известий». Но однажды случилось так, что Стеклов уехал на один день в Петроград, а Литовский, горячий почитатель Маяковского, поставил в номер его стихотворение «Прозаседавшиеся». Хорошо известно, что произошло дальше.

Через день открывался Всероссийский съезд металлистов, на котором выступил Ленин и начал с того, что он не принадлежит к числу поклонников творчества Маяковского, хотя полностью признает свою некомпетентность в вопросах поэзии, но с точки зрения политики стихотворение, напечатанное сегодня в «Известиях», ему очень понравилось.

Между тем Стеклов вернулся из Петрограда в этот же день и, увидев в своей газете стихотворение «шарлатана», пришел в ярость. Он вызвал к себе Литовского, и традиционное «Кто здесь редактор?» загремело с утроенной силой. Литовский, как он потом рассказывал, поспешил рассеять его сомнения на этот счет, а затем вкрадчиво осведомился, читал ли Юрий Михайлович выступление Ленина на съезде металлистов, и, получив отрицательный ответ, быстро принес информационные листы РОСТА. Стеклов прочел выступление Ленина и, никак его не комментируя, перешел к планированию очередного номера газеты. После разговора о статьях, корреспонденциях, хронике и других газетных материалах Стеклов спросил:

— А не дать ли нам в номер какие-нибудь стихи? Кого бы вы предложили?

Пряча улыбку, Литовский сказал:

— Может быть, Жарова? А то можно Санникова, Безыменского.

Стеклов довольно долго угрюмо смотрел на него и наконец с явным усилием выдавил из себя:

— А что, если… взять что-нибудь у этого шарлатана?..

Так и началась многолетняя работа Маяковского в «Известиях», которую он очень любил и ценил.

А как же я познакомился с Маяковским?

Конец 1922 года. Помню, брат взял меня с собой на квартиру к Осипу и Лиле Брик, куда друзей и знакомых пригласил Владимир Маяковский послушать его новую поэму «Про это». В

огромной комнате разместились человек сорок. После шумных взаимных приветствий, разговоров и шуток воцарилась тишина. Маяковский встал из-за маленького столика, на котором лежала рукопись, и, почти в нее не заглядывая, стал читать своим красивым басом, темпераментно и выразительно. Я, как и все, слушал с напряженным вниманием, но вскоре обнаружил, что ничего не понимаю. Искоса поглядывая на других слушателей, я, к своему ужасу, видел на их лицах вдумчивое, понимающее выражение, что приводило меня в еще большую растерянность.

Чтение закончилось, началось обсуждение. И тут сидевшая рядом со мной у стенки миловидная девушка, она оказалась сестрой жены Асеева, неожиданно предложила… сыграть в шахматы. Мы устроились подальше у окна, и я, проникшись к ней доверием, сказал:

— Вера Михайловна, вы здесь вроде свой человек, скажите, вы все поняли в поэме?

— Я слушаю ее второй раз, — был не совсем ясный ответ.

— Вера Михайловна! Умоляю вас! Что надо сказать, если кому-нибудь вздумается спросить мое мнение?

— Надо сказать, — не задумываясь, ответила она, — здорово это Маяковский против быта.

Впрочем, я зря опасался — никто ни о чем не вздумал меня спрашивать. После непродолжительного обсуждения поэмы наступило непринужденное оживление, чему способствовали неожиданно появившиеся несколько бутылок вина и пирожки с яблоками. Маяковский был в отличном настроении, шутил, провозглашал грузинские тосты.

Год 1923-й. Обширная комната в доме по Козицкому переулку вмещает в себя одновременно редакцию, издательство и бухгалтерию новорожденного журнала «Огонек». Делается первый номер журнала. Входит Маяковский.

— Принес, Володя? — спрашивает его Кольцов.

— Принес, Колечкин, — отвечает Маяковский.

Речь идет о стихотворении Маяковского «Мы не верим» — отклике поэта на только что опубликованный правительственный бюллетень о болезни В. И. Ленина. Поэт присаживается к столу, на котором вместе с другими рукописями, фотографиями и прочими материалами для первого номера лежат и мои иллюстрации. Он по-хозяйски перебирает лежащие на столе рукописи. Берет один из моих рисунков.

— Ваш? — обращается он ко мне.

— Мой, Владимир Владимирович.

— Плохо.

Я недоверчиво улыбаюсь. Не потому, что убежден в высоком

качестве своей работы, а уж очень как-то непривычно слушать такое прямое и безапелляционное высказывание.

Маяковский протягивает огромную руку за другим рисунком. Я слежу за ним уже с некоторой тревогой.

— Плохо, — отчеканивает поэт и берет третий, последний рисунок. — Оч-чень плохо, — снова слышу я, а Маяковский отворачивается и заговаривает с кем-то другим. Таков был простой, прямой и предельно откровенный стиль Маяковского. В вопросах искусства он был непримиримо принципиален даже в мелочах, не любил и не считал нужным дипломатничать, кривить душой, говорить обиняками и экивоками.

Плохо — значит плохо, и «никаких гвоздей».

Маяковский принимал деятельное участие в сатирическом журнале «Чудак», очередной затее Кольцова, и, по-видимому, именно для «Чудака» предназначалось стихотворение, впоследствии обнаруженное в записных книжках поэта и впервые опубликованное в журнале «Литературное наследство».

Две щеки рыданьем вымыв,
весь в слезах Борис Ефимой.
Разгрустившийся Кольцов
трет кулачиком лицо.
Напролет ничком в диван,
от бессонной ночи бледный…
исстрадавшийся Демьян
плачет грустный, плачет бедный.
Изо всей гигантской мочи
Маяковский сыплет плачи,
и слезой насквозь промочен
фельетон, который начат.

Каждый приход Маяковского в редакцию был для сотрудников «Известий» определенным маленьким событием. Помню, как мы сбегались в кабинет главного редактора — Ивана Ивановича Скворцова-Степанова, сменившего Стеклова, где Маяковский имел обыкновение читать вслух принесенные им стихи. Читал он, как всегда, великолепно. Но не раз бывало, что Иван Иванович, чуть-чуть поколебавшись, с лукавой искоркой в глазах говорил:

— Я, извините, Владимир Владимирович, плоховато беру стихи на слух. Поэзию необходимо проверять глазами, особенно вашу, уважаемый Владимир Владимирович…

И, надев очки, принимался читать про себя только что прозвучавшие стихи. Надо сказать, что Маяковский не выказывал

при этом ни малейших признаков неудовольствия или обиды. Выслушав замечания Ивана Ивановича, он обычно присаживался к столу в секретариате и исправлял отдельные слова или строчки. При этом он успевал походя отпускать колкие замечания по адресу вертевшихся вокруг него известинцев. Досталось как-то и мне.

— Ефимов, уберите, будьте любезны, свой выдающийся зад, — сказал он. — Мне надо присесть к столу.

— У вас, Владимир Владимирович, зад еще почище, — обиженно возразил я.

— Наверняка — почище, — незамедлительно ответил Маяковский, под общий смех, к немалому моему конфузу.

Так он умел мгновенно «припечатать» кого угодно, и неудивительно, что на его публичных выступлениях после чтения стихов он давал меткие, остроумные, а часто и озорные ответы на вопросы и замечания из зала, к великому удовольствию аудитории.

Не перечислить всех моих встреч с Маяковским. Я видел его разным — в веселом настроении, балагурящим, шутливым, остроумным. Видел и злым, раздраженным, яростным. Видел и угрюмым, угнетенным, подавленным.

Февраль 1930 года. Открытие выставки Маяковского «20 лет работы». На этом открытии я присутствовал. А надо сказать, что присутствие или неприсутствие было тогда определенным *поступком,* своего рода голосованием «за» или «против» Маяковского.

Небольшой зал в здании Федерации писателей, где была развернута выставка, переполнен, главным образом, рабфаковцами, вузовцами, комсомольцами. Маяковский сидел один за столом президиума, положив руки на спинки пустых стульев. Я никогда не видел его таким мрачным. Его настроение нетрудно было понять — при сильном и волевом характере поэта не могло не задевать демонстративное отсутствие руководителей писательской организации. Никто из них не счел нужным прийти поздравить Маяковского с двадцатилетием его поэтической деятельности. Прошло несколько минут томительного ожидания. Наконец Маяковский встал, подошел к кафедре и сказал:

— Я думаю, нам незачем больше ждать этих бород и первачей. Я даже рад, что нет этих проплеванных эстетов, которым все равно, чей юбилей и кого приветствовать. Я рад, что здесь молодежь, что меня читаете вы.

Дальше Маяковский кратко объяснил, в чем смысл и задача его выставки, которая должна показать работу поэта для республики. Он немного помолчал и добавил:

— Что ж, думаю, что незачем сейчас говорить красивые слова, давайте я прочту вам вступление к моей новой поэме. «Уважаемые товарищи потомки…»

Вначале показалось, что он читает что-то смешное, сатирическое. Прозвучало даже одно-другое крепкое словцо. У многих на лицах появились улыбки. Но очень скоро стало ясно, что перед нами нечто совсем другое — суровое, торжественное, огромное… Это было его последнее произведение «Во весь голос».

Ему оставалось жить еще 72 дня…

Последний раз, и это никогда не забудется, я слышал Маяковского на открытии Клуба театральных работников в Старопименовском переулке. На этот вечер собралась, как говорится, «вся Москва», театральная и литературная. Было шумно, весело, непринужденно. Во время общего ужина происходили забавные «капустнические» выступления. Один за другим из-за столиков поднимались на маленькую эстраду популярные артисты, пели, играли, декламировали, произносили шуточные экспромты.

И вдруг раздались голоса:

— Маяковсхий! Просим выступить Маяковского!

Все взоры устремились на поэта, сидевшего за одним из столиков с М. Яншиным и В. Полонской. Крики усилились, многие начали стоя аплодировать. Маяковский сумрачно улыбнулся, тяжело поднялся и как бы нехотя, медленно стал пробираться через переполненный зал, пожимая по пути руки знакомым и друзьям.

Выйдя на маленькую эстраду, большой, почти упираясь головой в низкий потолок, он на минуту задумался, провел рукой по темной волне густых красивых волос и сказал:

— Я прочту вступление к моей новой поэме «Во весь голос».

Маяковский вынул из кармана небольшую записную книжку, раскрыл ее, заложил пальцем и, не заглядывая в нее, начал читать свою поэму…

…Маяковский закончил. Все стоя рукоплескали. Ни на кого не глядя, с особенно сурово обозначившейся вертикальной морщиной между бровей, он вернулся на свое место. После него никто больше не стал выступать.

Это было 25 февраля 1930 года. За 48 дней до смерти поэта…

…Внутрипартийная дискуссия, а по сути дела — борьба за власть между Сталиным и Троцким продолжалась со все усиливающимся ожесточением после смерти Ленина. Я уже рассказывал, как резко и злобно отреагировал Сталин на печатание фотографий Троцкого в «Огоньке». Редактор «Огонька» не мог не принять к сведению это абсолютно недвусмысленное

указание. Но тут возникла такая сложность: еще до вызова к Сталину фотокорреспондент «Огонька» Микулин был командирован Кольцовым в Сухуми, где находился в это время Троцкий на отдыхе и лечении. Микулин уже вернулся оттуда с целым ворохом фотографий: Троцкий на берегу моря, Троцкий с супругой на прогулке, Троцкий на охоте, Троцкий со своим лечащим врачом, Троцкий с приехавшим проведать его Раковским и так далее, и так далее. Возникла далеко не простая дилемма: печатать эти фотографии и тем вызвать ярость Сталина или их не печатать и тем вызвать уничтожающее презрение Троцкого? После довольно мучительных размышлений, колебаний и споров Кольцов выбрал первое. И, подписывая к печати номер «Огонька» с целой подборкой привезенных Микулиным фотографий (шесть снимков), при всем своем уме и проницательности, брат вряд ли мог предвидеть, что подписывает свой смертный приговор.

В последующие четырнадцать лет Кольцов не раз и не два встречался со Сталиным, выслушивал его указания, замечания, соображения, касавшиеся различных внутренних и международных событий и других дел. Он был утвержден в качестве председателя иностранной комиссии Союза писателей — пост, связанный с постоянными поездками за рубеж во главе всевозможных писательских делегаций на международные конгрессы, конференции, встречи.

Кольцов принимает деятельное участие в проведении труднейшего и сложнейшего международного конгресса писателей в защиту культуры 1935 года в Париже и такого же, но еще более сложного и трудного, конгресса 1937 года в охваченной гражданской войной Испании. На этом втором конгрессе Кольцов возглавляет советскую делегацию, в которую входят такие писатели, как Алексей Толстой, Александр Фадеев, Всеволод Вишневский, Илья Эренбург, Агния Барто. Не могу отказать себе в удовольствии привести небольшую выдержку из кольцовского «Испанского дневника», касающуюся открытия этого конгресса в приморской Валенсии (отсюда конгресс через несколько дней перебрался в Мадрид): «Ночью город основательно бомбили — возможно, что по случаю конгресса. Делегаты дрыхли мертвым сном после дороги и дневных переживаний. Так они могли проспать всё. Я приказал телефонистке «Метро-поля» разбудить немедленно всю мою делегацию и торжественно повел ее в подвал. Сирены выли, зенитная артиллерия стреляла непрестанно, звук — как будто раздирают огромные куски полотна. Издалека слышались глухие взрывы бомб.

«Каково?» — спросил я тоном гостеприимного хозяина. Все

были взволнованы и очень довольны. Вишневский спросил, какого веса бомбы. Но я не знал, какого они веса. Черт их знает, какой у них вес. Толстой сказал, что наплевать, какой вес, важно, что это бомбы. Он был великолепен в малиновой пижаме здесь, в погребе.

Я уснул в хорошем настроении. Все-таки он состоялся, этот чертов конгресс, как ни интриговали против него. Все идет хорошо».

Приехав ненадолго в Москву из воюющей Испании весной тридцать седьмого года, брат сделал Сталину большой трехчасовой доклад о положении в Испании, отвечал на многочисленные вопросы Хозяина. И за все эти годы при всех этих встречах Сталин ни разу, ни единым словом, ни единым намеком не вспоминал историю с фотографиями Троцкого в «Огоньке». И если бы существовал такой фантастический, сверхчувствительный «локатор» или компьютер, позволяющий определить или вычислить отношение одного человека к другому, то и он не смог бы уловить малейшей неприязни Сталина к Кольцову. Даже напротив, ряд фактов свидетельствовал о некотором его расположении к брату.

Достаточно сказать, что по возвращении из Испании Кольцов был выдвинут кандидатом, то есть, по сути дела, назначен, депутатом Верховного Совета РСФСР (почему-то от Пензенской области) и одновременно стал членом-корреспондентом Академии наук СССР по отделению русского языка и литературы. Надо ли пояснять, что ни то, ни другое не могло произойти без согласия, а скорее всего, прямого указания Хозяина. Больше того, в октябре 1938 года после памятного Мюнхенского сговора, развязавшего руки Гитлеру, Кольцов срочно командируется в Прагу, над которой уже нависла угроза фашистской агрессии. Надо сказать, что появление в Чехословакии Кольцова было сразу замечено западной печатью и воспринято как симптом готовящегося сопротивления при поддержке Советского Союза. Этого, как известно, не произошло. Кольцов быстро возвратился в Москву.

А вот еще более любопытный пример сталинского расположения к моему брату. Это относится к докладу Кольцова по приезде из Испании, о котором я уже упоминал. На встрече присутствовали также Молотов, Ворошилов, Каганович и Ежов. Впрочем, все они больше помалкивали. Вопросы задавал только Сталин, расхаживая, по своему обыкновению, взад и вперед по кабинету и покуривая трубку. Наконец все вопросы были исчерпаны, все ответы получены, и тут произошло следующее: Сталин подошел к Кольцову, тот, конечно, немедленно встал, но

Хозяин любезным жестом усадил его обратно, потом приложил руку к сердцу и низко поклонился.

— Как вас надо величать по-испански? Мигуэль, что ли? — спросил он.

— Мигель, товарищ Сталин, — ответил брат, несколько озадаченный этим «кривлянием», как он выразился, описывая мне в тот же вечер эту странную сцену.

— Ну так вот, дон Мигель. Мы, благородные испанцы, благодарим вас за отличный доклад. Спасибо, дон Мигель. Всего хорошего.

— Служу Советскому Союзу, товарищ Сталин! — отчеканил, как положено, поднявшись с места и направляясь к двери, брат.

И тут произошло нечто еще более непонятное и непредсказуемое: брат уже открывал дверь, когда Сталин его неожиданно окликнул и жестом пригласил обратно.

— У вас есть револьвер, товарищ Кольцов? — спросил Хозяин.

Брат удивился.

— Есть, товарищ Сталин.

— А вы не собираетесь из него застрелиться?

Еще больше удивляясь, Кольцов ответил:

— Конечно, нет, товарищ Сталин. И в мыслях не имею.

— Вот и отлично, товарищ Кольцов. Всего хорошего, дон Мигель.

Вечером мы с Мишей долго обсуждали этот странный разговор и решили, что это какой-то случайный «черный юмор».

А на другой день Кольцову позвонил Ворошилов, всегда дружелюбно относившийся к брату, поделился впечатлениями о вчерашнем докладе и добавил:

— Имейте в виду, Михаил Ефимович, вас любят, вас ценят, вам доверяют.

— Что ж, Мышонок, — заметил я, когда брат рассказал мне о звонке, — это очень приятно.

— Да, приятно, — произнес Миша задумчиво. — Но знаешь, что я совершенно отчетливо прочел в глазах Хозяина, когда уходил?

— Что?

— Я прочел в них: слишком *прыток*.

Много позже я понял, что этот разговор о револьвере — также своеобразное проявление сталинского «расположения». Кольцов был уже обречен, но Сталин готов был предоставить ему возможность окончить свои дни, не проходя через мучительные этапы ареста, пыток и расстрела в качестве «врага народа». И намекнул, с точки зрения этого страшного человека, «гуманно», о

возможности уйти из жизни достойно, сохранив свое честное имя.

Но есть и еще более любопытные примеры сталинского расположения. Помню, брат бывал всегда потрясен тем, что в то время, как страну лихорадят бесконечные аресты, массовые высылки, достаточно странные политические процессы и расстрелы, Хозяин невозмутимо и неторопливо беседует о самых мирных, философских и исторических материях, о делах литературных и тому подобном. Однажды, принимая по каким-то делам Кольцова, а надо сказать, что это происходило нередко, он заговорил о том, что, по его мнению, нет хорошего жизнеописания Максима Горького и это упущение следовало бы исправить. Через несколько дней Кольцовым была написана небольшая популярная биография писателя: «Буревестник». Сталину она понравилась. И он заметил, что не возражал бы, если бы подобная книжка появилась и о нем, добавив при этом, что не понимает, зачем это пишущие о нем обязательно называют его Коба или Сосо.

— Это, — сказал он, — прошедшие времена. Кому это нужно? То было в Грузии. А какой я грузин? Я русский.

Об уточнении Сталиным своей национальности было уже широко известно.

Втихомолку, с оглядкой передавали и такой забавный факт: Сталину доложили, что артист Михаил Геловани, традиционно исполнявший роль Сталина в историко-революционных фильмах, причем, будучи грузином, естественно, с легким грузинским акцентом, просит дать ему возможность, чтобы «войти в образ», пожить некоторое время на сталинской даче в Сочи.

— Войти в образ? — благодушно сказал Сталин. — Что ж, это хорошо, но, может быть, ему начать с Туруханска?

Михаилу Геловани явно повезло, что Сталин был в благодушном настроении, иначе ему, возможно, пришлось бы отправиться за тридевять земель к месту ссылки Иосифа Джугашвили.

Позже своей истинно русской внешностью и чисто русским говором Сталину понравился артист Алексей Дикий в заглавной роли фильма «Кутузов». Артист только что вернулся в Москву из гастрольной поездки, когда позвонили из Кремля и сообщили, что с ним хочет говорить Сталин и что за ним уже послана машина. Домашние Дикого пришли в ужас: Алексей Денисович явился домой под изрядным хмельком, что с ним бывало нередко, и еле ворочал языком. Поехать, однако, пришлось. От страха артист значительно протрезвел, но Сталин, конечно, сразу распознал его состояние. Не говоря ни слова, Хозяин вышел из кабинета, вернулся с бутылкой коньяка, налил полный стакан,

выпил и сказал:

— Ну вот, теперь будем говорить на равных…

Во всех последующих фильмах роль Вождя и Учителя Дикий исполнил «на отлично».

…Вернусь, однако, к истории с опубликованием фотографий Троцкого в «Огоньке» в 1924 году. Мы предполагали, что история эта Сталиным давно предана забвению. И все вышеперечисленные факты отношения Хозяина к Кольцову как будто это подтверждали. Но в 1937 году, то есть спустя тринадцать лет после этой истории, главного редактора «Правды», своего любимца Льва Мехлиса Сталин перевел из «Правды» начальником Главного политического управления Красной армии (ГЛАВПУРККА). Главным редактором «Правды» стал Кольцов. Это было, казалось бы, выражением полного к нему доверия. Дальше произошло следующее. Летом тридцать восьмого, вернувшись из Сочи, где отдыхал Сталин, в «Правду» заехал Мехлис.

— Миша! — сказал он. — Хочу рассказать тебе кое-что приятное. Мы как-то говорили с Хозяином о тебе, и он очень хорошо о тебе отозвался. Что ты хорошо работаешь и, главное, полностью изжил вредное влияние Троцкого, под которое ты одно время подпал.

Брат был совершенно спокоен и даже посмеивался, но у меня тревожно сжалось сердце: ведь в переводе на простой человеческий язык это означало: «Товарищ Кольцов! Печатания фотографий Троцкого в «Огоньке» после моего предупреждения я не забыл».

Ничего плохого, однако, не происходило. Брат продолжал работать на всех своих многочисленных постах, каждую свободную минуту диктовал продолжение «Испанского дневника». Не скрою, что часть кольцовского времени принадлежала Хулите Родригес, испанке переводчице. Она была руководительницей группы испанских детей, вывезенных с охваченной войной родины.

Глава седьмая

…За свою долгую жизнь мне довелось видеть много разных стран на различных меридианах и параллелях нашей планеты. И, если вдуматься, среди них шесть разных Германий. Я уже рассказывал о первой из них, увиденной глазами школьника-подростка. Во «вторую Германию», так называемую Веймарскую республику, я приехал в 1924 году уже взрослым человеком с опытом четырехлетней Гражданской войны в своей стране, профессиональным художником-журналистом. Вместе со мной поехала в Германию и моя жена, Рузя Борисовна. Такая поездка стала возможной, когда в результате нэпа рубль стал практически конвертируемой валютой и был разрешен выезд за границу гражданам Советской России.

Куда девалась та довоенная, сытая, вылощенная, надменная кайзеровская Германия? Передо мной была совсем другая страна, едва-едва оправившаяся от послевоенных тягот, еще терзаемая инфляцией, безработицей, внутренними неурядицами. Страну лихорадила нарастающая с каждым днем конфронтация непримиримых политических сил, партий, группировок.

Обывателей, так называемых средних немцев, не примыкающих ни к коммунистам, ни к нацистам, тревожит и пугает непредсказуемое будущее, и, чтобы заглушить эту тревогу, им необходимо во что бы то ни стало веселиться. И для этого существует берлинский Луна-парк.

…Два мальчугана лет двенадцати — четырнадцати в шутовских париках и с размалеванными лицами сидят на узеньких деревянных дощечках, как куры на насесте, примерно на двухметровой высоте над землей. Над их головами помещаются три цветных диска. Толпа нарядно одетых людей, тесня друг друга, непрестанно бомбардирует эти диски деревянными шарами, похожими на бильярдные. Много шаров летит мимо, но время от времени кто-нибудь попадает в цель. Тогда соответствующая дощечка автоматически опускается и один из мальчиков тяжело шлепается вниз на плоские брезентовые подушки, вызывая торжествующий гогот, улюлюканье зрителей. Это продолжается час, три, пять, и так — до полуночи.

По лицам ребят струится обильный пот, смешанный с пылью и белилами. Глаза их блуждают, ноги дрожат, но они по-прежнему паясничают, отпускают остроты хриплыми недетскими голосами, поощряют метких игроков, ободряют неудачников. Иногда, несмотря на специальную предохранительную сетку, деревянные шары хлопаются о головы и тела мальчиков, и это

удваивает веселье публики. Что за дикая сцена? А это один из бесчисленных аттракционов знаменитого берлинского Луна-парка — огромной увеселительной машины, куда сегодня по случаю воскресного дня десятки тысяч берлинских приказчиков, чиновников, просто обывателей явились со своими женами или подружками вкушать заслуженный за неделю отдых и получать удовольствие.

Все мужчины удивительно похожи друг на друга манерами и повадками. Все одинаково одеты, все, без исключения, в одинаковых мягких шляпах. Все носят полосатые сорочки и галстуки, одинаково причесываются и стригут догола затылки.

Одинаково раскатисто смеются, зычно окликают знакомых, хлопают по плечу или по животу, пьют пиво, едят сосиски и танцуют. Над огромной территорией Луна-парка стоит неистовый гул от криков, хохота, женского визга, от зазывающих в различные павильоны пронзительных трубных звуков, грохота и лязга многочисленных оркестров и увеселительных механизмов, сложнейших технических сооружений, где посетители скользят, переворачиваются, проваливаются, спотыкаются, опрокидываются, вертятся, скатываются, окатываются водой, испытывают другие, столь же тонкие и изящные ощущения.

Берлин сиял, безукоризненно вымытый, аккуратно разутюженный и до блеска начищенный, с зеркально-гладкими мостовыми, в которых, как в полированной крышке рояля, красиво отражались бесчисленные огни фонарей, автомобилей и реклам. Предупредительно вежливый и подобострастный перед долларом Берлин поражал вопиющими социальными контрастами. На одном полюсе — тяжелый труд, голод, нищета, безработица, беспросветная борьба за существование обитателей Нордена — северных рабочих кварталов Берлина, на другом — бесстыдная спекуляция и коррупция, наглая, вызывающая роскошь и разврат Вестена (Западного Берлина): биржевики — «шиберы», богатые прожигатели жизни, содержатели всевозможных притонов и их обширная клиентура.

У роскошной витрины на Тауенцienштрассе, одной из самых фешенебельных улиц Вестена, еще не старый слепой мужчина молчаливо продает спички: нищенство безжалостно карается. На рукаве его желтая повязка с тремя черными кружочками — знак инвалида войны. Рядом собака-поводырь и тарелочка для монет.

Сияет уютными шелковыми абажурами знаменитое кафе «Эльдорадо» — место встреч гомосексуалистов. За столиками потягивают через соломинку какое-то питье мужчины в дамских платьях, с накрашенными губами и подведенными глазами. Дико и мерзко видеть, как элегантный господин в смокинге, выйдя из

«Эльдорадо», усаживает в шикарный автомобиль рослого детину в нарядном вечернем платье с голыми напудренными плечами…

Раззолоченные швейцары маячат у входов бесчисленных кабаре, винных погребков, танцулек, варьете и прочих заведений, носящих самые зазывающие названия. Из ярко освещенных вестибюлей несутся гром джазов, хрюканье саксофонов, стоны гавайских гитар — Берлин веселится!

Германия именуется демократической республикой, президент ее — верноподданный кайзера Вильгельма фельдмаршал Гинденбург.

…Милому и культурному юноше-студенту, с которым мы познакомились случайно, я хочу на память вдеть в петлицу советский значок. Он вежливо отказывается.

— Очень нужно, — простодушно говорит он, — чтобы наци расквасили мне нос.

— Наци? Какие наци?

Мой собеседник удивлен: неужели я не знаю? Он объясняет, что так называют хулиганистых парней в коричневых рубашках с ремнями через плечо. Они носят нарукавную повязку с изображением крючковатого креста — свастики, ходят целыми шайками, вооружены хлыстами с тяжелыми свинцовыми наконечниками. Есть у них и ножи. Они скандалят и дебоширят в пивных, задирают прохожих на улицах, причем полиция делает вид, что не замечает этого.

«Наци» — это сокращенное «нацисты», что, в свою очередь, является сокращением от термина «национал-социалисты». Так именует себя целая партия, очень шумная и нахальная, требующая, чтобы ей предоставили власть в стране. Почти каждый день эти типы устраивают где-нибудь свои сборища, на которых выступают их главари — один маленький, но страшно горластый субъект, хромой, по фамилии не то Гедлес, не то Геблес. И еще другой, с усиками, как у Чарли Чаплина. Как его… Дай Бог памяти… Альфонс или Адольф… Ага, вспомнил: Гитлер…

С этими «наци» мне довелось столкнуться нос к носу, когда они шли навстречу, действительно, размахивая хлыстами и горланя какую-то залихватскую песню. Я остановился в нерешительности. Связываться с ними у меня не было никакой охоты, и я стал быстро соображать — перейти ли на другую сторону или остановиться и ждать, что они пройдут мимо. Но их вдруг заинтересовал какой-то человек, выходивший из подъезда, и они ринулись к нему, изрыгая ругательства.

Будущее показало, как жестоко мы ошибались в оценке противоборствующих сторон: «наци» казались обычным

разнузданным хулиганьем, а их главарь Гитлер — каким-то кликушествующим фигляром, почти клоуном. В то же время впечатление несокрушимой силы производили стройные ряды многотысячных колонн, уверенно и твердо марширующих по улицам Берлина с оркестрами, транспарантами и знаменами ротфронтовцев. Как-то в один и тот же день мне довелось присутствовать на двух митингах. В предместье Берлина Газенгайде выступал руководитель коммунистической партии Германии Эрнст Тельман, бурно приветствуемый многочисленной аудиторией, а пару часов спустя я слушал нацистского оратора, пресловутого Геббельса (будущего министра пропаганды Третьего рейха). Мне предложил пойти на фашистское собрание знакомый немецкий журналист по фамилии Пашке. (Забавно вспомнить, как он у меня допытывался, действительно ли его фамилия в русском языке означает пакет, путая «Пашке» с «пачкой».) Геббельса мы слушали недолго. Мне стали действовать на нервы неистовые истерические вопли, и мы с Пашке направились к выходу. Нас провожали недобрые взгляды, и я слышал, как кто-то злобно прошипел: «Интересно, что эти мерзавцы завтра напишут в “Роте фане”». (Имелся в виду центральный орган германской компартии.)

…В том же 1924 году имел место факт, несомненно, более значительный для меня, чем поездка в Берлин: в издательстве газеты «Известия» вышел в свет первый и весьма объемистый альбом моих политических карикатур, юмористических рисунков и дружеских шаржей. И так случилось, что с верстской этого альбома в руках я случайно встретил на улице хорошо известного в ту пору публициста, искусствоведа, критика, автора монументального труда «Русский революционный плакат» Вячеслава Полонского. В годы Гражданской войны он был начальником Литературно-издательского отдела Реввоенсовета республики. Он относился ко мне по-дружески и даже в редактируемом им ежемесячнике «Печать и революция» похвалил мой крохотный дружеский шарж на известного партийного деятеля И. В. Вардина, напечатанный в первом номере журнала «Журналист» (для меня это тоже было в своем роде маленькое событие: впервые я увидел в печати рецензию на свое произведение).

Свои воспоминания о выдающемся литераторе, критике, искусствоведе и публицисте той поры Вячеславе Полонском я начну с беспощадно-сатирического по его адресу стихотворения Владимира Маяковского под названием «Венера Милосская и Вячеслав Полонский». В этом стихотворении — воображаемое обращение поэта к знаменитой статуе Венеры Милосской в

парижском Лувре. Подтекст его — обвинение Полонского в «надклассовых» взглядах и пренебрежении к пролетарскому искусству. Стихотворение заканчивается так:

…Товарищ Полонский!
Мы не позволим
любителям старых
дворянских манер
в лицо строителям
тыкать мозоли,
веками
натертые
у Венер.

При всем моем уважении к Маяковскому считаю, что поэт, на мой взгляд, несправедлив. В каких «дворянских манерах» можно обвинять Полонского, который родился в семье скромного часового мастера и с 14 лет начал самостоятельную трудовую жизнь. Благодаря своей настойчивости и врожденным способностям получил образование, окончил Петроградский психоневрологический институт и в дальнейшем успешно работал как журналист, был редактором ряда журналов, автором многих фундаментальных трудов по истории и теории литературы и искусства.

В основе его разногласий с Маяковским, принимавших иногда весьма враждебный характер, были их совершенно антагонистические взгляды на роль писателя в обществе. Если Маяковский считал долгом писателя работать для пролетариата и только в интересах партии, то точка зрения Полонского была другой: писатель должен творить так, как ему подсказывает его внутреннее состояние, его психологический мир. Полонский поддерживал таких поэтов, как Есенин, Клюев и Клычков, которых официальная партийная критика обвиняла в «кулацких» настроениях. Он поддерживал также и литературную группу «Перевал», организованную критиком А. Воронским, которой приписывали борьбу с пролетарской литературой и троцкистские взгляды. Кстати, по поводу этой поддержки Маяковский как-то сострил, что Полонский — это плохая рифма к Воронский. Полонский прежде всего ценил в писателях талант и искренность, а не преданность классовым интересам.

Сегодня, по прошествии десятилетий, деятельность Полонского представляется мне вполне разумной и исторически оправданной.

…Помню, какое впечатление на меня произвел внешний

облик Вячеслава Павловича, когда я впервые его увидел. Он был в широкополой шляпе, элегантном плаще и высоких сапогах. Обращал на себя внимание большой орлиный нос. Нос подобной величины был только у Всеволода Мейерхольда. И по поводу обоих этих деятелей ходила такая шутка: если из-за угла показался кончик носа, то, значит, минут через пять появится и сам Полонский (или Мейерхольд).

Полонский однажды явился в редакцию «Известий», чтобы высказать свое неудовольствие по поводу одного напечатанного в газете материала. Редактора «Известий» Стеклова не было на месте, и свои претензии посетитель весьма решительно высказал ответственному секретарю О. Литовскому. Так случилось, что как раз в этот момент я вошел в кабинет с очередным своим рисунком.

Когда Полонский уходил, я, набравшись смелости, к нему обратился:

— Вячеслав Павлович, я очень благодарен вам за добрые слова обо мне в вашем журнале «Печать и революция». Могу ли я показать свой рисунок? Мне очень хотелось бы знать ваше мнение.

Не спеша рассмотрев рисунок, Полонский после паузы сказал:

— Что ж. По-моему, неплохо.

Эта встреча положила начало нашим дружеским отношениям в дальнейшем. Кстати сказать, предисловие к очередному сборнику моих политических карикатур спустя несколько лет написал Полонский. Позволю себе привести несколько строк из его статьи.

«…Имя автора карикатур, составивших настоящую книгу, известно далеко за пределами нашего Союза. Это потому, что карикатура принадлежит к самому меткому виду оружия. Карикатура казнит смехом. А от смеха не спасает ничто — ни миллионная армия, ни наемные перья, ни каменные стены. Оттого-то искусство карикатуры — могучее искусство. Оно дается немногим. Борис Ефимов — из этих счастливцев… Карикатура — как и плакат — орудие борьбы. Когда карандашом художника перестает водить боевая задача — пафос карикатуры гаснет. Она потухает, как электролампа, в которой перегорела нить».

Но вернусь к конфронтации между Полонским и Маяковским. Подлинно «генеральное сражение» развернулось между ними после опубликования в «Известиях» большой статьи Полонского «ЛЕФ или блеф», в которой он учинил беспощадный разгром созданному и редактируемому Маяковским журналу «ЛЕФ» (Левый фронт искусств). А вскоре после этого мне довелось

присутствовать в Большой аудитории Политехнического музея, где противники сошлись непосредственно на диспуте лицом к лицу и, как говорится, оказались достойны друг друга. Словесная баталия разгорелась жаркая и непримиримая. А какое могло быть между ними примирение? Ведь Маяковский видел в Полонском представителя тех «новых русских древних греков, которые все умеют засахарить и заэстетизировать». А Полонский видел в Маяковском «воинствующего горлана-главаря», поднимающего свой стих, «как большевистский партбилет». Но, пусть это прозвучит, может быть, «мистически», я скажу, что этих двух непримиримых людей «примирило» то, что оба они безвременно и трагично ушли из жизни.

Вячеслав Полонский обладал незаурядным литературным талантом. Все, что выходило из-под его пера, было написано живо, ярко, образно. Но помимо этого он прекрасно владел словом, обладая, в частности, тем, что французы называют «Esprit de repartie», то есть умением быстро и находчиво реагировать на любую реплику оппонента. Помню, на одном обсуждении в редакции редактируемого им журнала «Новый мир» Полонский высказал критическое замечание по поводу какого-то места в рассказе Всеволода Иванова. Обиженный писатель крикнул с места:

— Читать не умеете!

Полонский незамедлительно спокойно ответил:

— Нет, Иванов, я грамотный.

Это вызвало единодушные аплодисменты присутствующих.

Кстати сказать, Полонский любил периодически устраивать в редакции «Нового мира» чтение произведений, которые предполагалось печатать в журнале. При этом он не забывал приглашать на них меня. И я охотно приходил, тем более что читал эти произведения, как правило, великий артист Василий Качалов.

…Высылка Троцкого в Алма-Ату и последовавшее затем изгнание его как «врага народа» из пределов страны сделали весьма опасным знакомство с ним и даже простое упоминание его имени. И можно только подивиться, что спустя год после этого выходит книга Полонского «Очерки литературного движения революционной эпохи», в которой автор весьма уважительно рассматривает и трактует литературные взгляды Троцкого, называя его книгу «Литература и революция» поистине замечательной.

Можно, повторяю, только подивиться, что после выхода своей книги автор сразу же не очутился за решеткой как отъявленный и «неразоружившийся» троцкист. Но он, несомненно, был на это

обречен в будущем.

Мы продолжали дружить с Вячеславом Павловичем. Я встречался с ним не только в редакции «Нового мира», но бывал у него дома. Он всегда был со мной откровенен, охотно посвящал в перипетии своей неустанной литературной борьбы, ожесточенной полемики, нескончаемых на него нападок со стороны «правоверных» партийных критиков. Однажды он мне сказал:

— Вы знаете, как невыносимо все это о себе выслушивать и читать. Но вся эта мерзость как-то перегорает в душе, и остается один уголь.

Под градом обвинений в «крупных литературно-политических ошибках» и «правооппортунистических настроениях», «идеологической смычке с троцкистом Воронским» и т. п. Полонский продолжал неутомимо работать, одна за другой выходили в свет его книги и статьи на литературные и исторические темы.

Когда нам случалось говорить на темы дня, он не скрывал своего иронического отношения к набиравшему силу непререкаемому и непогрешимому авторитету Сталина, к тому, что впоследствии получило название «культ личности». Помню, как он высмеивал полученный в руководимом им Музее изобразительных искусств запрос из районного комитета партии о том, как там, в музее, выполняются предписанные для народного хозяйства «Шесть условий товарища Сталина».

Среди литературных произведений Полонского той поры хочу особо упомянуть книжку «О Маяковском». Она написана, когда, по выражению автора, «еще горяча зола, бывшая недавно Маяковским»… Я уже упоминал, какими они были непримиримыми литературными противниками и, пожалуй, врагами. И при этом как уважительно, глубоко и объективно рассказано в книге Полонского о жизни и творчестве поэта.

Полонский пишет:

«…Его можно было любить. Его можно было отвергать. К нему нельзя было лишь оставаться равнодушным. Это потому, что в поэзии его горел настоящий огонь, обжигающий и неостывающий».

И я позволю себе высказать мнение, что эта маленькая книжка Полонского — пожалуй, лучшее, самое глубокое и значительное из написанного за все годы о Маяковском.

Как-то он пригласил меня к себе домой. Мы сидели в его маленьком кабинете, заваленном книгами и рукописями. Он говорил:

— Вы знаете, я от всего этого очень устал. Мне нужно на время куда-нибудь уехать, чтобы соскучиться по этой обстановке

и снова с аппетитом взяться за работу. И я еду в Свердловск. Меня пригласили на пару дней прочесть несколько лекций по истории литературы.

И он уехал.

А через несколько дней мне позвонил приехавший из Свердловска поэт Берестянский:

— Вы знаете, умер Вячеслав Полонский. Он где-то по дороге подхватил сыпной тиф, и вот…

Я не мог удержаться от слез.

Через несколько дней в Москву привезли цинковый гроб, в крышке которого сквозь маленькое стеклянное окошечко видна была голова Полонского, наголо остриженная. Это было страшно.

Панихида состоялась в здании редакции «Известий». Я не забуду тяжелую сцену, когда к гробу подбежала первая жена Полонского с его сыном, повторяя с плачем только одно слово: «Вячеслав… Вячеслав…» И как его вторая жена, красивая представительная дама, с неудовольствием отвернулась и кому-то нервно сказала:

— Не могу. Увезите меня отсюда.

Смерть Полонского была безвременной и трагичной. Но я скажу, пусть это и прозвучит кощунственно: такая смерть избавила его от более страшной участи — неминуемого ареста, истязаний и расстрела.

…Вернусь, однако, к нашей встрече с Полонским на улице. Я, конечно, не преминул показать ему свой готовый к печати альбом. Тут же его внимательно перелистав, Полонский сказал:

— А что, если показать это Льву Давидовичу?

— Троцкому?! — воскликнул я. — Да вы что, Вячеслав Павлович! Соваться со своими рисунками к Троцкому!

— Не пугайтесь, — засмеялся Полонский. — Троцкому будет интересно. Он любит карикатуру. Хотите, я с ним поговорю?

И дня через три я уже входил в огромный кабинет председателя Реввоенсовета Республики в тогда еще двухэтажном, а не пятиэтажном, как сегодня, здании по улице Знаменка…

Скажу без колебаний: я считаю значительнейшим фактом своей биографии личное знакомство с этим, по праву вошедшим в историю, легендарным человеком, познавшим в своей бурной жизни и блистательные триумфы, и тяжелые неудачи, и жестокую непримиримую борьбу, и горечь поражений. И ушедшего из жизни трагически. Пламенный трибун, умевший силой своего ораторского дара поднимать и вести за собой массы, он стоит в одном ряду с неистовыми якобинцами Великой французской революции Робеспьером и Дантоном. И, видимо, таковы суровые

законы истории, к нему тоже пришел свой «термидор» (надо ли пояснять, что это слово — название одного из месяцев французского революционного календаря — вошло в политический словарь как синоним контрреволюционного переворота). Но если свержение Робеспьера заняло около двух суток, то «термидор» в нашей стране потребовал нескольких лет — и завершился свержением Троцкого со всех высоких постов, он был исключен из партии, арестован и впоследствии выслан из страны.

Началась его беспримерная и драматическая «одиссея» по странам и континентам, закончившаяся в далекой Мексике. В отличие от жены древнегреческого мифического героя Пенелопы, терпеливо дожидавшейся мужа дома, Наталья Ивановна Седова, жена Троцкого, разделила с мужем все невзгоды и мытарства изгнания. С ними был и старший сын Лев Львович. Младший сын, Сергей, остался на родине, был впоследствии арестован и расстрелян. Но доскажу о Льве Давидовиче. В Мексике его достала длинная рука Сталина: мексиканский коммунист, некто Меркадер, убил его ударом ледоруба сзади по голове, когда Троцкий погрузился в чтение принесенной Меркадером статьи. Отсидев в мексиканской тюрьме положенный срок за убийство, Меркадер приехал в Москву, где был удостоен звания Героя Советского Союза.

…Итак, Троцкий любезно встретил меня в своем кабинете и, протягивая мне руку, произнес, улыбаясь, фразу, которую я часто слышал в ту пору:

— О, да вы совсем молодой!

На это я не замедлил ответить:

— В моем возрасте, Лев Давидович, за вами было уже два побега из ссылки.

Мой ответ явно ему понравился, и он снова улыбнулся:

— Что ж, а за вами много хороших рисунков.

Мы сели за его огромный письменный стол, и он неторопливо, страница за страницей стал разглядывать рисунки, сопровождая это и одобрительными, и критическими замечаниями. Закончив, он сказал:

— Я догадываюсь, что вам интересно было бы знать мое мнение. В какой форме вы хотели бы его получить? В форме предисловия или рецензии?

— В форме предисловия, Лев Давидович, — твердо произнес я.

Не прошло и двух дней, как фельдъегерь из Реввоенсовета привез мне статью, которая начиналась словами:

«Борис Ефимов — наиболее политический среди наших

рисовальщиков. Он знает политику, любит ее, проникает в ее детали… Успехи Ефимова представляются замечательными, если принять во внимание, что он едва начал. Но быстрый успех таит в себе опасности. Самая из них грозная: *остановиться*… Мы хотим надеяться, что Борис Ефимов имеет право на большее. Реализовать это право можно только упорной работой и суровой самокритикой. Вот этого мы и желаем молодому художнику.

20 июля 1924 г. Л. Троцкий».

Я немедленно помчался в «Известия» и показал статью Литовскому.

— Вот, Осаф Семенович. Нельзя ли это напечатать в «Известиях»?

Литовский взял рукопись, взглянул на подпись и высоко поднял брови.

— Ого, — произнес он, — здорово. Вас можно поздравить. Но… Посмотрим, что скажет Юрий Михайлович.

Он вошел в кабинет Стеклова, минуту спустя оттуда выглянул и пригласил меня войти. Стеклов, держа в руках статью, пристально на меня посмотрел.

— Какие у вас контакты с Троцким? — спросил он. — Вы что, в оппозиции? Вы троцкист?

— Я не член партии, Юрий Михайлович.

— Тем более странно. Гм… А как же, позвольте спросить, вы попали к Троцкому?

Я замялся. Дело в том, что я был в курсе крайне неприязненных отношений между Стекловым и Полонским на почве острого соперничества в работах о Бакунине и понимал, что упомянуть о роли Полонского — испортить все дело.

— Это вышло случайно, — пробормотал я.

Стеклов подозрительно на меня посмотрел и погрузился в размышления. Я понял, что он взвешивает какие-то варианты, как шахматист в сложной позиции. Мы с Литовским ждали… Наконец Стеклов на что-то решился.

— Ну, вот что, — сказал он. — Статью мы напечатаем из уважения к Льву Давидовичу. Пожалуйста, так ему и скажите. Но вам я советую держаться подальше от оппозиции. Это может обернуться для вас крупными неприятностями, хотя вы и беспартийный. Хорошенько запомните.

Мы вышли из кабинета, и Литовский не без иронии заметил:

— Ну, наш Юрий Михайлович, кажется, перестраховался на обе стороны…

У меня тоже сложилось впечатление, что Стеклов решил на всякий случай не портить отношений с Троцким, который, несомненно, узнал бы от меня, что редактор «Известий» не

захотел печатать его статью.

Откровенно говоря, нельзя не подивиться тому, что Троцкий нашел время и охоту заниматься моими карикатурами и писать к ним предисловие в дни, когда вовсю кипела ожесточенная борьба между «троцкистской оппозицией» и «сталинским аппаратом». Я очень охотно ходил на открытые партийные собрания и с интересом слушал острые словесные баталии. С неизменным ораторским блеском выступал Троцкий, и мне хорошо запомнились отдельные его эффектные фразы: «Пустосвятства, как известно, на свете немало. Сошлись покрепче на Ленина, как это делает товарищ Сталин, и поступай прямо наоборот». И еще: «Лениным никто не может стать, но ленинцем должен быть каждый!» Эта красивая сентенция вызвала дружные аплодисменты аудитории, и я видел, как и Сталин небрежно и снисходительно похлопал в ладоши.

Выступления самого Сталина являли собой разительный контраст с яркими речами Троцкого. Довольно монотонно, невыразительным глуховатым голосом он перечислял: «Первая ошибка товарища Троцкого состоит в том… Вторая ошибка товарища Троцкого состоит в том… Четвертая ошибка… Шестая ошибка…» Конечно, он не мог сравниться с Троцким в красноречии, но в то время, как Лев Давидович блистал и гремел на собраниях, Иосиф Виссарионович в тиши своего кабинета на Старой площади занимался более практическим делом: он заботливо подбирал кадры секретарей обкомов и горкомов, будущих членов ЦК, обязанных ему своими постами, на которых он мог надежно положиться при любом голосовании. Особое внимание при этом он уделял кадрам ОГПУ — НКВД.

Надо ли говорить, что результаты этой продуманной деятельности через некоторое время не замедлили сказаться. Оппозиция была разгромлена, большей частью расстреляна, и какое бы ни было у людей отношение к Троцкому, контакты с ним стали весьма опасными. Сумрачным февральским утром двадцать восьмого года мне позвонил Вячеслав Полонский:

— Вы знаете, что Льва Давидовича высылают куда-то в Среднюю Азию? Хотите с ним попрощаться?

— Хочу, Вячеслав Павлович. А как это сделать?

— Приезжайте сейчас ко мне, я дам вам несколько книжек, вы отвезете их к нему на квартиру. У него там в подъезде сидит сотрудник ОГПУ, но вы не обращайте на него внимания. Он вас не остановит.

Дверь мне открыл сам Троцкий.

— Вот, Лев Давидович, Вячеслав Павлович прислал вам книжки.

— А-а… Спасибо, спасибо. Заходите, раздевайтесь.

И тут же в передней, улыбаясь, сказал:

— Ну, вы, народ! Скажите, народ, за что вы меня высылаете?

Оторопев от неожиданности, я пробормотал первое, что пришло в голову:

— Отдохните, Лев Давидович. Вам отдохнуть надо.

— Вот как, — рассмеялся Троцкий. — Оказывается, это забота о моем здоровье. Ну, спасибо, спасибо.

Мы вошли в небольшую комнату, примыкающую к передней, сели за столик.

— Нет, мой друг, — продолжал он. — Несмотря на ваш любезный совет, отдыхать я не собираюсь. Не такое время, чтобы отдыхать. Да и для вас, карикатуристов, работа найдется: вы — народ зоркий, наблюдательный. Вокруг сейчас много любопытного. Вот и наблюдайте, запоминайте, зарисовывайте.

Он сделал над столиком движение рукой, как бы что-то изображая. Потом неожиданно сказал:

— А брат ваш вроде примкнул к термидорианцам.

Я промолчал. Я подумал, что вряд ли тут время и место высказывать побежденному и высылаемому Троцкому, что Кольцов «примкнул к термидорианцам» не из страха или угодничества, а потому что, как и большинство членов партии, считал, что так называемая генеральная линия Сталина разумнее и нужнее для страны, чем его, Троцкого, «перманентная революция».

И, меняя тему разговора, спросил:

— А когда, Лев Давидович, могут понадобиться такие зарисовки?

— Когда? — Троцкий на минуту призадумался. — Могут пройти месяцы. И — годы! Но они обязательно понадобятся.

…В воздухе крепко запахло борщом, и отдаленный женский голос возвестил, что обед на столе. Мы вышли в переднюю. И тут произошло то, что я по сей день считаю фактом своей биографии: легендарный человек, Троцкий, снял с вешалки и подал мне пальто. Безмерно смущенный такой любезностью, я долго тыкался руками, не попадая в рукава. Наконец мне это удалось, и я пробормотал:

— Счастливого пути, Лев Давидович! Счастливого возвращения…

И мы обнялись…

Сотрудник ОГПУ, дежуривший в подъезде, видимо, отметил про себя отсутствие пакета, с которым я приходил, и потянулся к телефону. Со своей стороны, и я принял меры безопасности: выйдя из Шереметевского переулка (потом — улица Грановского,

теперь Романов переулок) на Воздвиженку (некоторое время — улица Калинина) и дождавшись проходящего трамвая, вскочил в него на ходу, оглянувшись, не последовал ли кто-нибудь за мной. Проехав несколько остановок, я где-то спрыгнул опять-таки на ходу, проверив, не сделал ли этого кто-нибудь вслед за мной. Повторив эту операцию, заимствованную мною из прочитанных детективов и носящую название «обрезать концы», я закончил ее, снова соскочив на ходу вблизи своего дома на Малой Дмитровке. Все это, конечно, было наивно.

Между прочим, еще задолго до этих событий я познакомился и подружился с племянницей Троцкого поэтессой Верой Инбер. О том, что она бывала у своего знаменитого родственника в бытность его председателем Реввоенсовета республики, она не преминула поведать даже в стихах:

При свете ламп — в зеленом свете
Обычно на исходе дня
В шестиколонном кабинете
Вы принимаете меня.
Затянут пол сукном червонным,
И, точно пушки, на скале,
Четыре грозных телефона
Блестят на письменном столе…
…И наклонившись над декретом,
И лоб рукою затеня,
Вы забываете об этом,
Как будто не было меня.

Казалось бы, рядом с напористыми, горластыми, громыхающими фигурами поэтов двадцатых годов, таких, как Маяковский, Безыменский, Жаров, Уткин, Кирсанов, Асеев, и многих других, привыкших к шумным аудиториям и жарким полемическим схваткам, должна была совершенно затеряться миниатюрная, скромная, застенчивая муза поэтессы Веры Инбер. Но этого не произошло. Ее негромкий, чуть-чуть робкий, задушевный голос проложил путь к слуху и сердцу читателей. Вера Инбер находила для выражения своих мыслей и чувств самые простые, лишенные всяких поэтических эффектов, но удивительно доходчивые и проникновенные слова.

Я часто приходил в ее большую, просторную комнату в переулке Садовских, где бывало мило и весело: там даже позволяли себе танцевать новый, непривычный и весьма «крамольный» по тем временам танец фокстрот. Мне приходилось присутствовать там, когда у Веры Инбер собиралась литературная

группа, именовавшая себя «конструктивистами», главарем которой, бесспорно, был отличавшийся атлетическим телосложением и решительной манерой высказываться поэт Илья Сельвинский. Кстати, он любил и потанцевать, причем именовал это занятие «французской борьбой». С той поры у меня, между прочим, сохранилась книжка стихов «Цель и путь» с надписью: «Дорогому Борису Ефимовичу с симпатией и даже с нежностью. Вера Инбер, 4 марта 1925 года».

Знакомство с Верой Михайловной давало мне возможность своевременно узнавать о предстоящих выступлениях Троцкого на различных вечерах, собраниях, митингах. А однажды тогдашний супруг ее, видный ученый-химик профессор Фрумкин провел меня на собрание деятелей химической науки, где выступал Троцкий. С удивившей меня неожиданной эрудицией он ярко и образно говорил о пополнении таблицы Менделеева новыми элементами: скандием, галлием и германием. Запомнилась мне и произнесенная им красивая сентенция: «Практика без науки слепа, наука без практики бесплодна».

В те годы мы были с Верой Инбер в добрых приятельских отношениях, но как-то неожиданно для себя оказались в разных, и притом враждующих, лагерях. И вот при каких обстоятельствах. В доме Веры Михайловны часто бывал Дмитрий Угрюмов, довольно своеобразная околотеатральная, окололитературная, окологазетная личность. Не лишенный чувства юмора и журналистских способностей, он нередко выступал на страницах московских газет с довольно бойкими фельетончиками, заметками и театральными рецензиями. Нелишне будет сказать, что, будучи далеко не гигантского роста и весьма тщедушной комплекции, Угрюмов тем не менее считал себя, видимо, вполне достойным успеха у дам. И, надо полагать, обижался, когда такой успех отсутствовал. Возможно, именно в связи с этим в рецензии на один из спектаклей так называемого Второго МХАТа он написал об исполнительнице одной из главных ролей, Ольге Пыжовой, следующее: «…Актриса с голосом, свидетельствовавшим о шумно проведенных праздниках». (Дело было вскоре после встречи Нового года.) Через пару дней Угрюмое как ни в чем не бывало пошел на очередной спектакль. У него был второй билет, и он предложил его мне. Я не знал о его рецензии и, ничего не подозревая, согласился пойти в театр. И там стал невольным свидетелем, как в антракте к Угрюмову подошел актер Ключарев и со словами: «Это вам от имени нашего театра!» — залепил ему оглушительную пощечину, оставившую на физиономии обалдевшего Угрюмова отпечатки всех пяти пальцев. Скандальное происшествие стало широко известно. И

помню разговор по этому поводу с Верой Инбер.

— И поделом, — сказала она. — Нельзя прощать такое хамство.

— Хамство прощать не надо, — согласился я. — А вы считаете, Вера Михайловна, что рецензента надо бить по морде?

— Я считаю, — ответила Вера Инбер, — что нельзя оскорблять женщину-актрису через газету, экономя на почтовых марках.

Мнения по поводу инцидента Ключарев — Угрюмов резко разделились. И это отчетливо проявилось, когда дело об «оскорблении действием» по иску Угрюмова поступило в суд. И… было с треском проиграно истцом. Это стало, по моему мнению, следствием появления на суде самой Ольги Пыжовой, которая с блестящим актерским мастерством дала уничтожающую характеристику личности Угрюмова и его поведения. Забавно, что отчет об этом судебном разбирательстве появился в одной из московских газет под заголовком «Лед тронулся или поленом по затылку?». Репортер сопоставил тут подслушанные им ощущения обеих сторон. «Лед тронулся!» — говорили актеры, подразумевая: наконец-то рецензентов за обидные для театра писания начали бить по морде. А другое — негативная реакция одного из журналистов, когда он узнал, что можно безнаказанно ударить рецензента. Вот по этому случаю мы и разошлись с Верой Инбер во мнениях, что способствовало некоторому охлаждению наших теплых отношений.

…Шли годы. Вера Инбер много писала в стихах и прозе, для детей и для взрослых. И постепенно из скромной и застенчивой она становилась маститой, авторитетной и самоуверенной. Мне как-то рассказывал Корней Иванович Чуковский, что на его даче в Переделкине что-то делал садовник, который до того работал на участке у Веры Инбер и поделился с Чуковским своими впечатлениями: «Сам Верынбер — хороший мужик. Душевный. Но жена у него… Не дай Боже!»

Одно время «Верынбером» состоял некто Чайка, малозначительный деятель «при литературе». Он попал в довольно злую эпиграмму Эмиля Кроткого:

И не смешно, и не остро,
И дамская видна манера.
Сие писала Инбер Вера,
Из Чайки выдернув перо.

После падения Троцкого на Инбер стали, конечно, коситься: родственница «главного врага народа». И когда в начале тридцать

девятого года большая группа писателей была представлена к награждению орденами, то Веры Михайловны, естественно, в этом списке не было. Но на это обратил внимание не кто иной, как сам Сталин, и порекомендовал наградить также и ее. Правда, скромным «Знаком Почета».

— Она племянница Троцкого? Ну и что? — сказал Хозяин…

У него, как известно, бывали непредсказуемые капризы.

Надо признать, что Вера Михайловна не осталась неблагодарной: в одной из ближайших ее поэм можно было прочесть следующие строки:

…И этот тост я произношу,
Иосиф Виссарионович, за Вас!

Значительное место в творчестве Веры Инбер заняло создание ею новых текстов к классическим опереттам и операм. Вероятно, подобная «модернизация» отвечала вкусу и желанию определенных режиссеров. Но зрителей старшего поколения, привыкших к традиционному содержанию арий, песен и куплетов, это не могло не коробить. Особенно когда Вера Михайловна, меняя текст, весьма бесцеремонно изменяла также авторский замысел и самый сюжет произведения. Помню, были мы с женой на премьере новой постановки оперы «Травиата». И не без удивления обнаружили, что Жермона, этого любящего и заботливого отца, Вера Михайловна сочла нужным «модернизировать» в похотливого ловеласа, который не прочь стать вместо сына любовником Виолетты. Мы с женой только переглянулись, пожимая плечами, когда «пересмотренный» Жермон, наклонясь к Виолетте, напевал: «Разве достойны мальчики целовать такие пальчики?..» А вот сидевший перед нами пожилой зритель был в бешенстве. Мы не были знакомы, но я знал, что это известный московский адвокат Коммодов. Повернувшись к нам, почти не понижая голоса, он прошипел: «Безобразие… Возмутительно… Ведь хорошо известно, что сюжет «Дамы с камелиями» связан с подлинными обстоятельствами личной жизни Дюма-сына. Как же можно позволять себе подобное?!»

Не менее решительно Вера Михайловна расправилась и с традиционными текстами таких классических оперетт, как «Корневильские колокола», «Прекрасная Елена», и другими. Но зрительские неудовольствия никого не беспокоили: литературный рейтинг Веры Михайловны был уже достаточно высок и неприкасаем.

Нельзя не упомянуть о таком драматическом периоде в

биографии Веры Инбер, как блокада Ленинграда, через которую она прошла вместе со своим тогдашним мужем, главным врачом большого военного госпиталя. Суровые дни и ночи, нечеловеческие испытания она перенесла мужественно и достойно, ярко и убедительно отразив в своем творчестве. Блокадные стихи двух поэтесс — Ольги Берггольц и Веры Инбер заслуженно стоят рядом в литературной летописи Великой Отечественной войны.

Глава восьмая

…Париж… Об этом городе можно бесконечно говорить и вспоминать. Описывать его бессмысленно: о нем уже написаны горы романов, воспоминаний, очерков, стихов.

Впервые я увидел Париж в 1925 году. Мы оказались там вместе с писателем Ефимом Зозулей. Нам немного не повезло — мы приехали в столицу поздно вечером, двигались по городу какими-то боковыми, плохо освещенными улицами. Было мрачновато и как-то беспокойно: в огромном чужом городе ни друзей, ни знакомых, к которым можно было бы направиться. Единственный маяк во мгле капиталистического Вавилона — информация о том, что Илья Григорьевич Эренбург ежевечерне бывает в кафе «Ротонда» на Монпарнасе.

Не выпуская из рук чемоданов, мы заявились в это знаменитое кафе — место встреч литературно-художественной богемы, и — о, радость! — действительно увидели там Эренбурга. Он отнесся к приезжим со свойственным ему гостеприимством и немного ироническим добродушием. Очень быстро все уладилось. Повеселевшие и успокоенные, мы отправились на ночлег, чтобы утром проснуться в Париже…

Итак, я в Париже. Вокруг меня теснятся герои Великой французской революции, персонажи наполеоновских времен, Парижской коммуны, образы, созданные Гюго и Дюма. Они напоминают о себе названиями улиц и площадей, старинными зданиями и историческими памятниками, полотнами и гравюрами картинных галерей, экспонатами музеев. Вооружившись подробным планом города, я добросовестно и терпеливо иду по историческим и литературным следам. Поднимаюсь по крутым каменным ступеням винтообразной лестницы в соборе Парижской богоматери, чтобы постоять на том месте, откуда злодей-архидиакон смотрел на казнь невинной Эсмеральды на Гревской площади, брожу по анфиладам Версальского дворца, где Маяковскому, как известно, больше всего понравилась трещина на столике Антуанетты, дивлюсь мощным башням средневекового замка, откуда, по свидетельству Дюма-отца, так лихо бежал герцог Бофор, заточенный туда коварным Мазарини, поднимаюсь на Триумфальную арку и опускаюсь в катакомбы площади Барбес-Рошешуар, застываю в восхищении перед Венерой Милосской и защищенной стеклом Джокондой, глазею на восковые фигуры музея Гревен и гробницу Наполеона.

Мне удалось добыть пропуск на заседание палаты депутатов,

где я с понятным любопытством разглядывал Бриана, Мильерана, Пуанкаре… Не мог я также остаться равнодушным и к тому обстоятельству, что в Париж как раз прибыл с визитом самолично сэр Остин Чемберлен, британский министр иностранных дел, о котором мне еще доведется рассказывать.

Особое, ни с чем несравнимое впечатление на меня производит знаменитая историческая тюрьма Консьержери, две мрачные островерхие башни которой высятся на набережной острова Сите, старейшего квартала Парижа, где полностью сохранились обстановка и атмосфера событий, отделенных от нас двумя столетиями. Страшно было стоять в крохотной узкой камере с деревянной койкой, на которой, страдая от невыносимой физической и душевной боли, с раздробленной выстрелом челюстью, не произнося ни слова, лежал свергнутый Робеспьер, прозванный народом Франции Неподкупным, еще вчера всемогущий диктатор, отправлявший сотни людей на гильотину, а утром следующего дня обезглавленный.

В одном из помещений находящегося здесь же музея Французской революции Карнавале в витрине под стеклом можно увидеть воззвание к народу, озаглавленное: «Мужайтесь, патриоты!» Оно было написано накануне дня казни, когда чаши весов, на одной из которых лежала судьба Робеспьера, еще колебались. Воззвание подписано только двумя буквами: «Ро…» Диктатор бросил перо, когда понял, что проиграл. Рядом с камерой Робеспьера — столь же тесная, где несколько раньше содержалась королева Мария Антуанетта. Вход в нее имеет любопытную особенность: он сверху заколочен досками. Это сделали для того, чтобы «гордая австриячка» вынуждена была склонять голову перед следователем революционного трибунала.

В одном из помещений под этими мрачными каменными сводами за массивными чугунными решетками собраны различные предметы — свидетели того жестокого времени. Прежде всего привлекает внимание большой треугольный кусок железа с въевшейся в него бурой ржавчиной. Не надо прочитывать пояснительную надпись, чтобы сразу понять — это «национальная бритва»: так назывался в ту пору нож гильотины, отрубивший головы короля, королевы, Дантона, Робеспьера, Шарлотты Корде (француженки, убившей Марата) и многих, многих других. Один из группы туристов, американец в широчайшем пальто и с фотоаппаратом на плече, по-видимому, страстный коллекционер, спрашивает у гида, кивнув головой в сторону «национальной бритвы»: «Канбьен кут?» На ломаном французском языке это означает: «Сколько стоит?» Гид с видом величайшего сожаления разводит руками.

В эти дни Париж гостеприимно принимал дорогих гостей: «рыцарей Колумба», как именовали себя члены Американского легиона — организации участников Первой мировой войны. В честь американских гостей была устроена грандиозная иллюминация.

Миллионы электрических лампочек унизывают специальные шесты и арки, сложными гирляндами опутывают массивные чугунные фонари площадей и улиц, забираются даже в открытые пасти бронзовых рыб, плещущихся в фонтанах на площади Конкорд, длинными цепями тянутся вдоль Елисейских полей, вырастая через равные промежутки причудливыми красивыми вензелями. Буквально на каждом шагу на французском и английском языках: «Добро пожаловать, Американский легион!»

Легион отблагодарил парижан роскошным и помпезным зрелищем. Громадный кортеж двинулся от Марсова поля и прошел под сводами Триумфальной арки на площади Этуаль, мимо могилы Неизвестного солдата. Этим французское правительство оказало легиону редкую честь: всего в третий раз за время существования арки снимаются окружающие ее чугунные цепи. От площади Этуаль шествие двинулось вниз по Елисейским полям между двумя шпалерами французских солдат. Впереди в открытой машине, как бы расчищая процессии дорогу, едет старик с висячими усами и красным носом, в расшитом золотом кепи. Толпа аплодирует: это не кто иной, как сам маршал Фош! В последний год минувшей мировой войны он сменил маршала Жоффра на посту главнокомандующего всеми союзными армиями и победоносно довел ее до конца.

Именно в его салон-вагоне в Компьенском лесу была подписана капитуляция Германии (по капризу истории в этом же вагоне в присутствии Гитлера была подписана капитуляция Франции).

Далее выступают легионеры группами, представляющими все 48 американских штатов. Впереди каждой группы шествует громадный, театрально оформленный джаз-оркестр. Джаз Флориды — в оранжевых мундирах и серебряных касках, Индианы — в белых мундирах и зеленых касках, Оклахомы — в черных мундирах и желтых касках, Нью-Йорка — в красных мундирах и золотых касках. Музыканты штата Пенсильвания одеты в форму наполеоновских гусар, Калифорнии — в костюмы испанских тореадоров, Иллинойса — в доспехи римских преторианцев и так далее.

Публика Елисейских полей, рассевшаяся в 3–4 ряда на железных бульварных стульях, в полном восторге. Аплодисменты почти ни на минуту не смолкают.

Стемнело, вспыхивают огни вечернего Парижа. Бесчисленный поток автомобилей бурлит в тесном котле площади Опера и стремительно вырывается на север. На Монмартр! Туда, где дразняще сверкают рекламы ревю, кабаре и глаза доступных женщин, где так заманчивы после «сухой» Америки высокие стойки баров. Надо достойно завершить сегодняшний торжественный день! Ведь не все попали на грандиозный обед во Дворце инвалидов, устроенный для дорогих гостей. «На этом обеде, — сообщает газета «Возрождение», — подадут, между прочим, торт, на который ушло 8400 яиц, 300 литров масла и 150 кило сахара. Для сервировки стола потребуется 30 000 тарелок и 20 000 бокалов. Служить будут более 400 лакеев».

В эти дни в Париже немало гостей и из Москвы. Были Маяковский, народный комиссар финансов Сокольников со своей супругой, писательницей Галиной Серебряковой, писатели Всеволод Иванов и Лев Никулин и другие, не считая Эренбурга, который жил в Париже почти постоянно.

…В советском полпредстве я как-то встретился с Маяковским. Он стоял, выпрямившись во весь свой богатырский рост, в усыпанном гравием внутреннем дворе особняка на улице Гренель, перед снимавшим его фотографом. Фотография эта хорошо известна: Маяковский на ней в кепке, заложил руку за борт короткого полупальто. Поэт меня увидел — и на весь двор прозвучал его зычный бас:

— Е-фи-мов!

Я подошел.

— Поедем вечером на Пигал, — сказал он, твердо выговаривая название площади Пигаль на Монмартре, знаменитой эстрадным кабаре «Мулен Руж» и другими увеселительными заведениями.

— С вами, Владимир Владимирович, хоть в пекло.

— Люблю бодрых людей. Встретимся вечером в «Ротонде».

Вечером я довольно долго просидел с Эренбургом в «Ротонде». В ожидании Маяковского я, между прочим, впервые в жизни решил отведать устриц, о которых знал только, что их надо глотать живыми. Это мне не удалось, и мою порцию устриц благополучно проглотила спутница Ильи Григорьевича. А Маяковский в «Ротонде» так и не появился, о чем я очень жалею — ведь как было бы интересно вспоминать потом о совместной прогулке с поэтом по ночному Монмартру…

Я уже упоминал о достопочтенном лорде Остине Чемберлене. Кстати, не следует смешивать его с Невиллом Чемберленом, его родным братом, вошедшим в историю тем, что в канун Второй мировой войны он подписал вместе с Гитлером, Муссолини и

Даладье пресловутый Мюнхенский сговор и, вернувшись в Лондон, прямо в аэропорту размахивал этой бумагой, восклицая: «Я привез мир для нашего поколения!» Как мы знаем, он «немножко» ошибся…

То, что я хочу рассказать об Остине Чемберлене, заслуживает, чтобы войти одновременно в историю карикатуры и в историю международных дипломатических отношений.

Где-то в конце двадцать шестого года для очередной карикатуры в «Известиях» я взял темой сообщение о том, что в буржуазной Литве усилились преследования коммунистов, четверо даже приговорены к смертной казни, и это вызвало одобрительные отклики в Англии и Польше. Мой рисунок изображал литовского премьер-министра Вольдемараса, стоящего на сцене, подобно любимцу публики, и держащего в окровавленных руках извещение: «Приговор над коммунистами приведен в исполнение». Левее, в примыкающей к сцене ложе, сидят Чемберлен и польский диктатор Пилсудский. Они аплодируют и кричат: «Браво! Бис!» Фамилии их не написаны. И это давало полную возможность не принимать карикатурное изображение на свой счет. Так, кстати, и поступил Пилсудский, высокомерно игнорируя этот злой сатирический выпад. Но лорд Остин, которому даже по должности полагалась дипломатическая непроницаемость чувств и впечатлений, узнать себя не постыдился и направил официальную ноту, адресованную советскому правительству. В этой грозной ноте моя карикатура была квалифицирована как «грубо-оскорбительная» и «лживая».

Дело прошлое, полемизировать с сэром Остином семьдесят с лишним лет спустя поздновато, но позволю себе сделать одно замечание для должного понимания жанра карикатуры, которого, к сожалению, не проявил достопочтенный лорд. Слово «лживая» в данном случае абсолютно неприменимо: ведь карикатура — это не фотоснимок и не зарисовка с натуры. Она условна и метафорична: конечно, сэр Остин не приезжал тогда в Литву, не сидел вместе с маршалом Пилсудским в театральной ложе. Но смысл, политическое содержание сатиры нисколько от этого не теряют. Не «лжива» эта карикатура, а абсолютно правдива. Таковы непреложные внутренние законы этого искусства, причудливого, острого, веселого.

Все же нота сэра Остина принесла ему некоторые полезные результаты: его физиономия исчезла со страниц «Известий» — определенное время я изображал его только со спины. Но после безобразного налета английской полиции на «Аркос» (совместная англо-советская торговая организация) и, как следствие, разрыва дипломатических отношений между Великобританией и

Советским Союзом лорд Чемберлен благополучно вернулся на страницы газеты.

Стоит сказать и о том, что в это же примерно время в центре внимания находились и события в Китае, где шла ожесточенная гражданская война. Наши симпатии были, естественно, на стороне революционных сил, партии Гоминьдан и одного из ее вождей Чан Кайши, впоследствии преданного нами проклятию. Одновременно нашим любимцем и героем стал будущий «великий кормчий» Мао Цзэдун. И, конечно, возмущение, гнев и, разумеется, сатирические стрелы были направлены в воевавшего против Гоминьдана милитариста генерала Чжан Цзолиня, который совершил аналогичный английскому налет на советское полпредство в Пекине. В «Известиях» немедленно была напечатана моя карикатура со стихами поэта Демьяна Бедного.

…Годы и годы прошли с тех пор. Кого теперь волнует борьба Чан Кайши с Чжан Цзолинем? Кого трогает нота Чемберлена? Но, оглядываясь на страницах этой книги в прошлое, я не мог не коснуться этих эпизодов, на мой взгляд, неотъемлемо вошедших в историю, повторюсь, и карикатуры, и дипломатии.

Вспомнив о Демьяне Бедном, вполне естественно, хочется сказать о нем подробнее.

Демьян Бедный — Ефим Алексеевич Придворов, личность, бесспорно, любопытная, незаурядная и весьма колоритная. Еще в дореволюционной ленинской «Правде» он начал писать сатирические стихи и басни, подписывая их «Демьян бедный, мужик вредный». В стихах этих истинная поэзия, как говорится, «и не ночевала», но написаны они были бойко, хлестко, доходчиво, смешили и запоминались. Эти качества остались характерными и для всего последующего многолетнего поэтического творчества Демьяна. То была, по существу, облеченная в отличную ремесленно-стихотворную форму злободневная публицистика с лихо зарифмованной партийной агитацией и пропагандой. Но от него большего и не требовалось. А в первые годы советской власти и Гражданской войны частушки и песни Демьяна Бедного распевались по всей стране и на всех фронтах, на которых он появлялся с большой помпой. Отдельным приказом Троцкого он был награжден боевым орденом Красного знамени. Популярность его росла. Его именем стали называть фабрики, заводы, колхозы, целые города. На страницах «Правды», центрального органа партии, систематически печатались его стихотворные фельетоны, памфлеты, басни, эпиграммы на самые разнообразные темы.

Надо заметить, что Ленин при всех своих давних дореволюционных симпатиях к пролетарскому «поэту-самородку»

достаточно критически относился к поэтическому уровню его писаний.

— Грубоват, — как известно, сказал он Горькому. — Надо быть впереди своего читателя, а он — за ним.

Между прочим, довольно странно звучит для пролетарского писателя фамилия Придворов. Фамилию эту объясняли тем, что мать Демьяна, женщина дородная и статная, работала на кухне в Царскосельском дворце и пришлась по душе Александру III, «царю-миротворцу». Кстати сказать, я не помню, чтобы Демьян когда-нибудь и что-нибудь говорил о своем отце. А о матери отзывался весьма нелестно. Я слышал своими ушами, как на каком-то праздничном собрании рабочих типографии приглашенный почетным гостем Демьян, рассказывая свою несложную биографию, изрек простодушно, «по-мужицки»:

— А мать моя, дорогие товарищи, была б…ща, — что вызвало некоторую растерянность у аудитории, особенно ее женской части. Но таков был Демьян, который всюду воспринимался как явление цельное, уникальное и не укладывающееся в привычные рамки.

Личное мое знакомство с Демьяном началось еще в 1922 году в редакции «Крокодила». Демьян неизменно приходил на редакционные заседания, оглашая их своим богатырским смехом, придумывая темы для карикатур, и даже написал нечто вроде крокодильского «манифеста» под названием «Красный крокодил, смелый из смелых — против крокодилов черных и белых».

Не раз и я рисовал карикатуры на его сюжеты, и, наоборот, он сочинял тексты под моими рисунками. Но только лет через пять установилась наша систематическая совместная и многолетняя работа на страницах «Известий». Произошло это вскоре после того, как в кресле редактора «Известий» грозного и высокомерного Юрия Михайловича Стеклова сменил демократичный и приветливый Иван Иванович Скворцов-Степанов, большевик «старой ленинской гвардии», и весьма прохладные отношения между редакциями «Правды» и «Известий», двух главных газет страны, сменились нормальными дружескими. И вот однажды, выйдя из редакторского кабинета, Иван Иванович с таинственно-торжественным видом сказал:

— А знаете, кто скоро будет печататься в «Известиях»? — И, выдержав многозначительную эффектную паузу, возвестил: — Демьян Бедный!..

Потом, полюбовавшись нашим неподдельным изумлением, добавил:

— Да, Демьян Бедный. Он согласился. И я договорился с Марьей Ильиничной. Она не возражает.

И Демьян Бедный действительно появился на страницах «Известий», что произвело в журналистских кругах настоящую сенсацию — ведь было хорошо известно, что Демьян, матерый, коренной правдист, ни в каких других газетах принципиально не печатается.

А еще через несколько дней у меня зазвонил телефон. Я сразу узнал этот баритон, густой и сочный.

— Это Ефимов? Алё-алё. Говорит Демьян Бедный. Алё-алё. Слухайте внимательно. Вот какое дело. Алё-алё. Вы слухаете меня?

— Да, да! — закричал я. — Здравствуйте, Ефим Алексеевич! Слушаю!

— Так вот. Я сегодня сдаю в «Известия» стихотворение ко дню МОПРа[1]. Хочу, чтобы вы сделали к нему рисунок. Сейчас я вам его прочту. Алё-алё.

— Да, да, Ефим Алексеевич! Конечно! С удовольствием! Буду очень рад.

— Ну так вот, — зычно откашлявшись, проговорил Демьян, — слухайте внимательно:

Прощался сын с отцом, со старым, мудрым греком.
Прижавши юношу к груди,
Сказал ему отец: «Клеон, мой сын, иди
И возвратись ко мне — великим человеком!»

Неторопливо и вкусно скандируя строки, время от времени перемежая их вопросительным «алё-алё?», Демьян прочел мне все стихотворение. Оно представляло собой изложение древнегреческой легенды. Ушедший из дома сын дважды на протяжении ряда лет возвращался к отцу — сначала богачом, а потом мудрецом, но оба раза отец отказался признать его величие. И только когда в третий раз он возвратился в отчий дом вырванным из неволи узником, только тогда:

…Клеону радостно сказал отец-старик:
— Смой кровь с себя, смени истлевшие одежды.
Ты оправдал мои надежды:
Твой подвиг — истинно велик!..

— Алё-алё, — сказал Демьян, закончив чтение легенды. — Как?

— Очень здорово, Ефим Алексеевич, — ответил я немного растерянно. — Сильная вещь. Но… Как бы вам сказать… Это ведь

не сатира. К этому карикатуру не нарисуешь.

— И не надо карикатуры. Зачем? Надо сделать красивую, хорошую иллюстрацию. Нарисуйте старика отца, Клеона. Серьезно, благородно, без всякого шаржа. А на заднем плане изобразите Афины. Храмы там, колоннады всякие… Этакими тонкими, знаете, штрихами. Как фон. Алё-алё? Вы слушаете?

Я пытался возражать:

— Уверяю вас, Ефим Алексеевич, не получится это у меня. Вот если понадобится карикатура…

— В другой раз понадобится и карикатура. А сейчас я очень прошу вас не отказываться. Алё-алё…

Я понял, что сопротивляться бесполезно. Иллюстрацию к легенде я с невероятными муками осилил и даже, как хотел того Демьян, изобразил на заднем плане Афины тонкими штрихами. Рисунок вместе со стихотворением Демьяна под названием «Великий подвиг» был напечатан на первой странице «Известий» 18 марта 1927 года.

Не прошло и трех дней, как Демьян позвонил снова. Он был радостно возбужден.

— Алё-алё! Ефимов? Демьян Бедный говорит. Вот и карикатура понадобилась! Быстро за работу! Мне только что звонил Иван Иванович: Шанхай взят! Я сажусь за стол стихи писать. А вы давайте готовить рисунок.

Освобождение Шанхая кантонской революционной армией под командованием Чан Кайши (впоследствии Сталин объявил его предателем китайского народа и врагом коммунизма) 21 марта 1927 года было, как известно, кульминационным событием первой гражданской войны в Китае. Мое поколение помнит, с какой радостью была встречена эта весть советскими людьми, следившими за борьбой в Китае с неослабевающими вниманием и волнением.

Я не стал долго раздумывать над сюжетом рисунка и, не мудрствуя лукаво, изобразил ликующего китайского революционного солдата с винтовкой в руках, над которым победно реяло одно-единственное слово «Шанхай!». Тут же был нарисован (еще со спины) в растерянности и злобе схватившийся за голову Остин Чемберлен.

Под карикатурой был напечатан текст Демьяна, начинавшийся так:

Скворцов-Степанов мне звонит,
Иван Иваныч мне бубнит,
Редактор-друг меня торопит:
«Брось! Пустяки, что чай не допит,

Звони во все колокола!
Ведь тут такие, брат, дела!»
«Что за дела? Ясней нельзя ли?»
«Шан-хай…»
«Шан-хай!!!»
«Кантонцы взяли!»

Сила и влияние Демьяна неимоверно возросли, когда после смерти Ленина у кормила власти встал Сталин, весьма благоволивший к поэту. О благосклонности к нему Сталина Демьян даже оповестил всенародно в одном из стихов:

…Мне знаком не понаслышке
Гигант, сменивший Ленина на пролетарской вышке!

Демьян был осыпан привилегиями, приобретавшими подчас курьезный характер. Так, когда он увлекся собирательством книг, став ретивым библиофилом, к нему стали поступать наравне с Ленинской публичной библиотекой абсолютно все издаваемые в Москве книги вплоть до школьных учебников. А поскольку его небольшая квартира в Кремле не могла вместить такого количества книг, Демьяну был предоставлен отличный особняк на Рождественском бульваре. Между прочим, на почве увлечения книжными редкостями Демьян приблизил к себе известного тогда эстрадного артиста Николая Смирнова-Сокольского, книголюба, обладателя одной из лучших в Москве библиотек.

Мне как-то рассказывал сам Николай Павлович, как он, не скрывая гордости, показал Маяковскому свою палку, на которой была прикреплена серебряная дощечка с надписью: «Подарена Демьяном Бедным».

— Да-а… — протянул Маяковский с видом глубокого потрясения. — Здорово.

И прибавил задумчиво:

— А мне кто подарит? Шекспир-то умер…

Был и такой эпизод. В железнодорожном ведомстве как-то сочли целесообразным отобрать персональные спальные вагоны у частных лиц. Это вполне разумное решение коснулось и Демьяна. Возмущенный поэт пожаловался Генеральному секретарю партии. Сталин отреагировал в характерном для него стиле:

— Отняли у Демьяна вагон, согласно общему положению? Что ж, тут ничего не поделаешь. Но знаете что? Отдайте ему мой вагон. Зачем мне вагон? Если понадобится куда поехать, попрошу предоставить. Авось не откажете…

Надо ли уточнять, что персональные вагоны остались у обоих…

Между тем Демьян, не довольствуясь выступлениями по политическим, хозяйственным и партийным проблемам, стал так же бесцеремонно и грубовато вторгаться в дела литературные и театральные. Его лаконичные топорные эпиграммы на страницах «Правды» напоминали безапелляционные судебные вердикты. Вот, к примеру, «рецензия» на постановку «Горя от ума» в театре Мейерхольда:

Белинским сказано давно,
Что «Горе от ума» есть мраморная глыба.
А Мейерхольд сумел, чего другие не смогли бы, —
Он мрамор превратил в г… но.

А было и такое. На каком-то диспуте Демьян не сошелся во мнении с А. В. Луначарским. Они повздорили. Супруга Луначарского актриса Малого театра Наталия Александровна Сац выступала на сцене под театральным псевдонимом Розенель. И вот, поставив эпиграфом справку из словаря Даля, что розенель — другое название герани, которая наряду с фикусом и канарейкой считалась неизменным атрибутом мещанства, Демьян печатает на первой странице «Правды»:

…А не мещанство — брак равнять с панелью?
Нет! Своего рабочего окна
Я не украшу… Розенелью!

Все сходило Демьяну с рук. Он почти официально был возведен в сан непререкаемого главы советской литературы. Литературные подхалимы требовали «одемьянивания» советской поэзии.

И вдруг… Незыблемое, казалось, величие Демьяна с треском рухнуло. А все началось с малозаметного на первый взгляд обстоятельства. Что же произошло? Как и почему благоденствующего Демьяна постигла жестокая опала? Причина происшедшей с ним аварии заключалась, несомненно, в том, что в своем глупейшем самомнении, в оголтелом упоении своими успехами он не удостоил внимания или не придал значения высказываниям Сталина по вопросам исторической науки и преподавания истории в учебных заведениях, а продолжал иронически-пренебрежительно, почти издевательски писать о таких событиях, как крещение Руси, высмеивал былины о русских

богатырях и т. п. В частности, написал разухабистый, почти пародийный текст для постановки оперы «Богатыри» в Камерном театре.

Это вызвало неудовольствие Сталина, так же как и пространные стихотворные фельетоны «Перерва», «Слезай с печки», безудержно громившие такие «исконные русские черты», как лень, отсталость, пьянство, низкопоклонство…

Тут необходимо сказать еще об одном обстоятельстве, несравненно более мелком и незначительном, чем глубокие проблемы русской истории, но которое тоже весьма повредило Демьяну. Дело в том, что в аппарате правительства в Кремле работал один молодой журналист, Миша Презент. Бойкий, остроумный, находчивый, он пришелся Демьяну по душе и стал у него в доме «своим человеком». Запросто приходил, рассказывал Демьяну городские новости и сплетни, болтал о разных разностях. Этот Миша Презент имел обыкновение вести дневник, куда записывал все события дня и, естественно, все высказывания Демьяна, в особенности его впечатления, когда поэт возвращался после встреч со Сталиным и был под свежим впечатлением от беседы с Хозяином.

Нетрудно догадаться, что литературное занятие Презента не ускользнуло от внимания тех, кому это было положено. Дневники были изъяты, а их автор очутился за решеткой, откуда больше не вышел… А Хозяин получил возможность прочесть о себе такой отзыв Демьяна: «Не могу видеть, как он обращается с книгами… При мне принесли новые издания и толстые журналы. Так он не берет разрезального ножа, а разрывает страницы своим толстым пальцем. Какое варварство!..» Можно понять страдания книголюба Демьяна, но нетрудно догадаться, что к подобным замечаниям о себе Хозяин не привык…

Вспоминаю, кстати, как в ту же пору я встретился с Демьяном в букинистическом магазине. Едва мы вышли на улицу, как Демьян разразился жалобами на «этого подонка Презента»:

— В какое дурацкое положение меня, мерзавец, поставил! Иду по Кремлю, встречаю Авеля Сафроновича Енукидзе. Смотрит в сторону… Я сразу ему: «Авель, ты что? Поверил?» Он бормочет: «Мало ли что пишут…» А я по глазам вижу, что поверил. А этот подонок написал в своем дурацком дневнике: «Сегодня Демьян сказал: “Какой непроходимый дурак Енукидзе. Достаточно мне поговорить с ним пять минут, чтобы дико разболелась голова”».

Но это были для Демьяна только «цветочки». За ними вскоре последовали и «ягодки». Опера «Богатыри» с текстом Демьяна была постановлением ЦК снята с репертуара, а сам Демьян получил сильнейшую партийную нахлобучку. Ему бы тихо

принять ее к сведению, деловито признать свои ошибки, но, привыкнув считать себя безгрешным и неприкасаемым, Демьян «полез в бутылку». Забыв, по-видимому, с кем имеет дело, он написал полное возмущения письмо «знакомому не понаслышке» другу-покровителю. Отдельные места из ответа Сталина стоит привести текстуально.

«Десятки раз хвалил Вас ЦК, когда надо было хвалить. Десятки раз ограждал Вас ЦК (не без некоторой натяжки!) от нападок отдельных групп и товарищей из нашей партии… Вы все это считали нормальным и понятным. А вот когда ЦК оказался вынужденным подвергнуть критике Ваши ошибки, Вы вдруг зафыркали… На каком основании? Может быть, ЦК не имеет права критиковать Ваши ошибки?.. Может быть, Ваши стихотворения выше всякой критики?.. Побольше скромности, т. Демьян… *И. Сталин*».

Гром грянул. Вскоре после теоретического разбора ошибок Демьяна, политических, исторических, антинародных, аморальных и всяких иных, последовали и оргвыводы. У Демьяна был отобран партбилет, его исключили из Союза писателей, отстранили от работы в печати. Разумеется, вчерашние подхалимы, требовавшие «одемьянивания» поэзии, быстренько превратились в свирепых критиков, разносивших в пух и прах его произведения последних лет. Но по тем страшным временам можно было считать, что Демьян отделался легким испугом: ведь не попал ни за решетку, ни за колючую проволоку, а остался в Москве со своей библиотекой. И где-то на втором году Великой Отечественной войны был до определенной степени амнистирован: допущен к работе в «Известиях», где под моими карикатурами, как бывало в 20-х годах, стали печататься его стихотворные тексты. Но подпись под ними была не Демьян Бедный, а другая: Д. Боевой.

Рассказав о Демьяне Бедном, я вспомнил еще одного поэта той поры, с которым был неплохо знаком. Это — Иосиф Уткин. Ему больше к лицу была бы не эта безобидно-тихонькая «птичья» фамилия, а скорее — Орлов или Ястребов, на худой конец — Дроздов или Синицын. Он был статным, стройным, с горделивой осанкой, с волнистой копной непокорных волос, что называется — красавец мужчина. Под стать внешности были и его стихи, задуманные быть красивыми, звонкими, бьющими на эффект. Поэзию Уткина трудно назвать подлинно глубокой по мысли, проникновенной и волнующей, хотя его творчество периода Великой Отечественной войны, безусловно, заслуживает высокой оценки по своей эмоциональной и патриотической направленности.

Иосиф Уткин появился в Москве в начале 20-х годов. Он родился на Дальнем Востоке в небогатой еврейской семье. В 20-м году семнадцатилетним юношей вступил в ряды Красной армии. Его поэтическим дебютом в Москве стала проникнутая тонким юмором и лирикой поэма «Повесть о рыжем Мотэле», сразу обратившая на себя внимание. Эту небольшую книжечку с прелестными иллюстрациями Константина Ротова Анатолий Луначарский назвал «подлинной жемчужиной», ее похвалил даже такой требовательный человек, как Маяковский.

Стихи Уткина стали систематически появляться в столичных газетах и журналах. Многие строчки из его произведений становились крылатыми, но, если можно так выразиться, со знаком «минус», вызывая часто иронические реплики. Так, обращаясь в одном из своих стихотворений к некой девушке, по мнению поэта, мещанке по духу и стилю, Уткин патетически восклицал:

…Что же дали вы эпохе,
Живописная лахудра?

Поэт Александр Жаров откликнулся такой эпиграммой:

Быть может, я не буду мудр,
Когда скажу, припоминая,
Что «живописных» тех «лахудр»
Мы девушками не считаем.

А на другие уткинские строки: «…Не твоим ли пышным бюстом Перекоп мы защищали?..» из того же стихотворения о «лахудре» Маяковский отозвался с удивлением, заметив, что Перекоп мы отнюдь не защищали, а брали штурмом. Он же адресовал Уткину такую эпиграмму:

О, бард,
сгитарьте тарарайра нам!
Не вам
строчить
агитки хламовые.
И бард поет,
для сходства с Байроном
на русский
на язык
прихрамывая.

Возможно, тут требует пояснения слово «сгитарьте». Дело в том, что Уткин в противовес известной поэме Жарова «Гармонь» объявил себя приверженцем гитары, написав в честь этого инструмента соответствующие стихи.

…Я дружил с Уткиным. Он был мне симпатичен при всей его явной и, я сказал бы, простодушной самовлюбленности. Помню, как он говорил мне на полном серьезе:

— Ты знаешь, Боря, трудно описать, как меня любит молодежь. Просто удивительно.

— Главным образом, наверно, ее женская половина, — заметил я.

Уткин, улыбаясь, небрежно махнул рукой. Потом сказал:

— Кстати, Боря, у меня к тебе просьба. Я тут дал в «Огонек» одну вещицу. Может быть, сделаешь к ней рисунок?

Рисунок я сделал. И так случилось, что к стихотворению, адресованному Уткиным даме его сердца, послужил иллюстрацией рисунок, изображавший даму моего сердца, что, между прочим, было с неудовольствием воспринято обеими дамами.

А Жаров с Уткиным примирились между собой, несмотря на непримиримую их «конфронтацию» в вопросе о первенстве гармони и гитары. Их фамилии часто появлялись рядом в их печатных и устных выступлениях против литературных противников — Маяковского, Кирсанова, а иногда и Пастернака. Остряки даже стали соединять их фамилии в одну — ЖУткин. Помню, как в нашумевшем в свое время диспуте «ЛЕФ или блеф» — ожесточенной словесной баталии в Большой аудитории Политехнического музея, Жаров и Уткин сидели в первом ряду на одном стуле, забрасывая стоявшего на сцене Маяковского всяческими ехидными репликами. Маяковский крикнул Уткину:

— Если вам не нравятся стихи в «ЛЕФе», как же вы подписали его к печати в Гослитиздате?

— Я подписал как редактор отдела поэзии, — ответил Уткин. — А как поэт я против.

— Но вы редактор, — отпарировал багровый от злости Маяковский, — только потому, что вы поэт. Не буду говорить — какой.

В предвоенные годы Уткин продолжал вращаться в «высшем свете» столицы с утвердившейся за ним репутацией покорителя женских сердец, неизменно давая повод к пересудам и даже сплетням по поводу его романтических дел. Казалось, что он уже войдет в историю литературы этаким не очень серьезным,

временно модным поэтом, о которых с иронией писал Маяковский. Но грянувшая вскоре Великая Отечественная война стала суровой и беспристрастной проверкой людей, их подлинной сущности. И Уткин успешно выдержал испытание. Он оказался мужественным бойцом, настоящим фронтовым поэтом. На третьем году войны он был тяжело ранен в руку и ненадолго приехал в Москву. Мы встретились на улице, у Центрального Дома литераторов. Я не сразу узнал его, загоревшего и как-то повзрослевшего.

— Ты ли это, Иосиф?! — воскликнул я.

— Вроде бы я, Боря. На пару дней в Москву, а потом обратно, гнать фрицев до Берлина. И снарядами, и пулями, и стихами.

Но Уткин не дошел до Берлина. Тут же под Москвой он погиб в нелепо потерпевшем аварию самолете.

Глава девятая

… 1929 год ознаменовался для меня интереснейшим воздушным путешествием — круговым перелетом по Европе маршрутом: Москва — Берлин — Париж — Рим — Лондон — Варшава — Москва. Этот перелет был задуман в Москве как своего рода наглядная иллюстрация к высказыванию Сталина в характерном для него афористическом стиле: «У нас не было авиационной промышленности. У нас теперь есть авиационная промышленность». Самолет АНТ-9, на котором совершался перелет, был детищем Андрея Николаевича Туполева, талантливого советского авиаконструктора. Самолет этот еще очень мало напоминал собой сегодняшние межконтинентальные лайнеры, но по тем временам представлял собой великолепное достижение молодой советской авиационной промышленности. Ему присвоили многозначительное имя — «Крылья Советов». Пилотом был тогда уже известный, а впоследствии Герой Советского Союза — Михаил Громов. Пассажирами — деятели гражданского воздушного флота и группа журналистов, всего 11 человек.

Серебристо-алюминиевые «Крылья Советов» с блеском пронеслись над Европой, вызывая самые разноречивые чувства: у одних искреннюю радость за успехи социалистического государства, у других — почтительное и вынужденное признание, у третьих — плохо скрытое недоброжелательство и откровенную злобу. Появление на аэродромах Берлина, Парижа, Рима, Лондона, Варшавы новехонького краснозвездного «флюгцойга», «авиона», «тримоторе», «плэйна», «платовеца» неизменно вызывало огромное любопытство, живейший интерес и даже некоторое потрясение. В самом деле: большевики, которые, по достоверным и точным выкладкам белогвардейской и антисоветской печати, должны были вот-вот погибнуть от внутренних затруднений, не только упорно не погибали, но даже ухитрялись строить замечательные самолеты, не уступающие по своим летным качествам лучшим европейским образцам. Буржуазная пресса писала о «Крыльях Советов» в самых сенсационных тонах: «Большевистский разведчик над Европой!», «Красный бомбардировщик», «Русский трехмоторный гигант», «Таинственный самолет из Москвы» — каких только названий и прозвищ не получал наш работяга АНТ-9…

Перелет по Европе продолжался около месяца, и все это время как самолет, так и его экипаж были окружены пристальным и не всегда дружеским вниманием, что, впрочем, нисколько не

помешало богатству и разнообразию наших впечатлений. Особенно хочется вспомнить Рим.

Я впервые увидел своими глазами Вечный город и мог бы рассказывать о нем много и долго. Для экономии места и времени выделю только один день — подобный тому, который Бомарше назвал «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Но если великий французский писатель не указывает точную дату своего «Безумного дня», то наш в Риме имеет совершенно точное число: 26 июля. Он начался с того, что рано утром нас всех усадили в машины и с бешеной скоростью помчали по прямому, как стрела, шоссе Рим — Остия к древнейшему морскому порту Италии. Там нас погрузили в новейшие итальянские гидросамолеты «Савойя» ослепительно белого цвета, пилотируемые шикарными летчиками в столь же белоснежной форме — хоть сейчас на теннисную площадку… Мы со спецкором «Известий» А. Гарри очутились внутри самолетных поплавков, где довольно комфортабельно устроились на пулеметных гнездах.

Гидросамолеты доставили советских пассажиров в Неаполь. Однако нам не удалось толком рассмотреть красоты прославленного города: прямо из порта любезные хозяева привезли нас в расположенный на самой высокой точке Неаполя, холме Вомеро, ресторан, с площадки которого мы могли любоваться городом только с «птичьего полета», совсем как из самолета. Нас угостили длительным обедом и еще более длительным концертом вокально-музыкального квартета, исполнявшего, однако, не тарантеллу и не «Санта-Лючию», а (по-видимому, в порядке гостеприимства) душещипательные русские романсы: «Молчи, грусть, молчи», «На последнюю да на пятерку» и «Ты сидишь одиноко и смотришь с тоской…» Вся эта музыка длилась ровно до того момента, когда уже пора было возвращаться в Рим. Снова порт, белоснежные «Савойя», Остия, Рим, и автомашины во весь опор несутся к собору святого Петра. В чем дело? Ведь мы уже посещали это великолепное сооружение!

Оказывается, внимательные хозяева угощают нас уникальным зрелищем, которого надо было ждать в буквальном смысле слова десятки лет: сегодня, впервые после 60-летнего добровольного и демонстративного заключения Римских Пап в Ватикане, Папа Пий XI торжественно выходит на окруженную знаменитой колоннадой архитектора Бернини площадь Святого Петра, то есть на территорию Итальянского королевства. Это историческое событие стало возможным в результате недавно подписанных между Святейшим престолом и правительством Муссолини Латеранских соглашений, предоставляющих Ватикану права суверенного государства наравне с Италией. Католический отец

умилительно принял в свои объятия фашистского «блудного сына». Для созерцания этого трогательного зрелища нам заботливо абонировали окна в одном из окружающих площадь домов, в помещении какой-то школы. И вот, расположившись на партах и подоконниках, мы, как из театральной ложи, наблюдаем пышное церковно-театральное зрелище выхода Папы «на волю». И действительно, подобно хору, кордебалету и статистам в роскошной оперной постановке перед нами более двух часов подряд, появляясь из ворот Ватикана, огибая огромную площадь, возвращаясь в собор Святого Петра и снова выступая из ворот папской резиденции, дефилирует бесконечная процессия мальчиков в кружевных стихарях и с огромными красными свечами в руках, монахов, солдат швейцарской гвардии, аббатов, епископов, кардиналов… Наконец в тяжелых раззолоченных носилках поплыл над головами сам Пий XI. Я хорошо разглядел тучного старика в очках, с хищным ястребиным носом, и это мне очень пригодилось, когда меньше чем через год из Ватикана разнесся призыв к «крестовому походу» против большевиков и изображение чрезмерно воинственного святого отца замелькало в советских карикатурах.

Но что это? Живописное зрелище еще не закончилось, а нас снова лихорадочно торопят. В министерстве авиации советскую делегацию нетерпеливо ждет в полной парадной форме рыжебородый генерал Бальбо, заместитель министра. Бальбо здесь весьма видная фигура. Он один из «квадрумвиров» — четырех, включая Муссолини, главных вожаков фашистской партии. Впоследствии Бальбо получил звание маршала, был назначен вице-королем Ливии и завершил свою блестящую карьеру тем, что, не поладив с дуче, скоропостижно почил во время авиационной катастрофы, причины которой остались невыясненными.

Из министерства авиации кавалькада машин мчится через весь Рим куда-то за город и, остановившись на минуту у чугунных ворот возле часовых, въезжает в сад старинного римского палаццо — Виллы Торлония. Несколько минут ожидания в небольшом зале в стиле ренессанс — и к нам выходит выхоленный загорелый мужчина с проседью, одетый в белый фланелевый костюм и франтовские двухцветные туфли. Это итальянский министр авиации, он же по совместительству министр военный, морской, внутренних дел, иностранных дел, труда и колоний, а заодно и председатель совета министров и одновременно глава фашистской партии. Короче говоря — Муссолини.

Корреспондент «Правды» на «Крыльях Советов» Михаил Кольцов иронически писал потом в своем очерке: «Да, да, в

исторический для всей Италии и для всех католиков вечер исхода Папы из шестидесятилетнего заключения глава правительства, дуче официально принимал одиннадцать советских граждан-безбожников… Да простит Господь это вольное или невольное прегрешение Бенито Муссолини!»

Полпред Дмитрий Иванович Курский поочередно представил членов экспедиции. Каждому Муссолини пожал руку. Дуче принимал картинные позы, по-наполеоновски скрещивал на груди руки, задавал вопросы и, величественно кивая головой, выслушивал ответы Д. И. Курского и В. А. Зарзара — руководителя нашей делегации и деятеля советского гражданского воздушного флота.

Я с понятным любопытством разглядывал эту живую сатирическую «натуру» и с особым вниманием нос дуче. Дело в том, что недавно на Муссолини было совершено покушение, причем пуля задела внушительный его нос. При его болезненной страсти к саморекламе было использовано даже это обстоятельство: я видел своими глазами открытки, где красовался Муссолини с наложенной на нос повязкой. Но, видимо, пластическую операцию провели на высоком уровне, и нос главы правительства был в полном порядке.

Наконец беседа, в основном, о развитии международных воздушных сообщений и об авиалиниях в СССР, протяженности которых Муссолини выразил вежливое удивление, пришла к концу. В этот момент Кольцов выступил вперед и протянул Муссолини свой альбом для автографов, который всегда брал с собой в поездки. Дуче отпрянул, но потом, улыбнувшись, взял альбом и на самом верху открытой страницы крупно начертал свою фамилию. Затем, отступив еще на шаг, поднял руку в «римском приветствии» (вскоре заимствованном Гитлером) и скрылся за дверью.

Этот безумный день завершился товарищеским ужином в недорогом ресторанчике на Яникюльском холме у памятника Гарибальди. Мы оживленно обсуждали события дня — и тут произошло еще одно событие, безусловно, не имеющее большого общественного значения, но для меня достаточно значительное. Запоздавший к нашему застолью корреспондент ТАСС Карл Гофман принес мне телеграмму из Москвы, почему-то на латинском языке, извещавшую меня о рождении сына. Этот факт не остался незамеченным, и мне пришлось из своих скудных командировочных раскошелиться на большую флягу «Кьянти».

Вскоре к нам присоединился запоздавший Громов.

— Вот, Михаил Михайлович, — начал я, улыбаясь, — днем мы видели Римского Папу, а теперь один из ваших пассажиров

сам стал папой.

Он невозмутимо, без улыбки обратил на меня спокойный взгляд своих зорких глаз.

— Вот как? — заметил он. — Кто же этот счастливец?

Я молча протянул ему только что полученную из Москвы телеграмму. Громов взял в руку листок, прочел текст «Поздравляем сыном», но «на челе его высоком не отразилось ничего». Он вернул мне телеграмму, заметив:

— Коротко, но вполне содержательно. Что ж, поздравляю.

Я хотел было еще пошутить насчет «разных пап», но поперхнулся, поняв, что Громова занимают совсем другие предметы — наш завтрашний вылет из Рима.

Не берусь судить, из каких соображений: политических, экономических, дипломатических или саморекламных — дуче счел нужным принять советскую делегацию, но этот странный флирт фашистов с большевиками не прошел на Западе незамеченным. Разные газеты изощрялись в комментариях и домыслах, причем кто-то сочинил, что в ответ на «римский жест» фашистского главаря мы все тоже подняли вытянутые руки. Свидетельствую, что на самом деле этого не было, мы просто поклонились. Тем не менее эта шумиха получила соответствующий отклик в Москве: «за несогласованную встречу с руководителем итальянской авиации», как было сформулировано в постановлении высокой инстанции, всем участникам перелета был объявлен строгий выговор с запрещением выезда за границу в течение двух лет.

Другой день, о котором я хочу рассказать, был днем нашего отлета из Рима в Лондон и начался как-то кисло и нескладно. Прежде всего выяснилось, что сводка погоды на трассе этого, по тем временам весьма трудного перелета не внушает восторга. Далее, А. Гарри, который отличался тем, что знал все на свете, включая то, чего на свете и не было, сообщил по секрету каждому из членов экипажа, что наш всегда спокойный и выдержанный пилот находится в весьма скверном расположении духа и дал домой телеграмму, заканчивавшуюся словами: «Надеюсь, увидимся». Хорошо зная богатую и гибкую фантазию спецкора «Известий», мы тем не менее несколько приуныли.

Окончательно испортилось наше настроение, когда, прибыв рано утром на столичный аэродром «Литторио», мы обнаружили, что любезные хозяева абсолютно ничего не подготовили к старту. Никто из итальянской администрации даже не знал, где находятся ключи от ангара, в котором стоял под охраной наш АНТ. Начались бесконечные переговоры и звонки в министерство авиации, откуда наконец прибыл какой-то невыспавшийся

офицер. Потом мы собственными руками бодро выкатили самолет из ангара и помогали заправлять горючим. Нетрудно догадаться, что свежий воздух римского утра оглашался в это время весьма теплыми и сочными пожеланиями по адресу местного начальства. Особенно «высокого художественного уровня» достигал при этом начальник экспедиции Зарзар. Наконец с почти двухчасовым опозданием мы стартовали из Рима, держа курс на Ливорно — Геную — Марсель.

Не успели мы занять свои места в самолете, как Кольцов начал что-то писать в своем блокноте и вскоре пустил по рукам составленный по всей форме опросный лист, содержавший один-единственный вопрос: «Прилетим ли мы сегодня в Лондон?» В кабине самолета заскрипели карандаши, и лист стал покрываться утвердительными ответами: «Да», «Конечно», «Без всякого сомнения» и т. п. Предпоследнюю запись сделал Зарзар: «Безусловно!», после чего опросный лист поступил в пилотскую кабину и вернулся оттуда со следующим, повергшим всех в глубокое раздумье ответом М. Громова: «И да, и нет».

Между тем погода продолжала ухудшаться. Когда после короткой остановки в Марселе АНТ-9 круто взял на север и пошел вдоль долины реки Роны, все вокруг заволокло туманом, в окна самолета начал хлестать проливной дождь. Стало темно и противно. Преодолевая сопротивление злого, порывистого ветра, АНТ на небольшой высоте упорно шел вперед над каким-то угрюмым, поросшим лесом горным хребтом. «Да-а, в случае чего садиться-то здесь негде…» — подумал я, глядя в окно.

Но я ошибся: посадка самолета состоялась, причем вынужденная. Когда самолет резко пошел на снижение, Кольцов обернулся ко мне и сделал жест большим пальцем вниз. Это было достаточно красноречиво. «Ну, вот и катастрофа», — решил я и приготовился к удару о землю. Но катастрофы не произошло: самолет упруго коснулся колесами мокрого луга, прокатился еще десяток-другой метров и остановился. Все мы высыпали наружу. «Ну, я думал, гроб», — спокойно сообщил пилот своим пассажирам.

Как оказалось, мы совершили эту незапланированную посадку вблизи небольшого городка Невер, и нужно было выдающееся мастерство Громова, чтобы в эту непогоду разглядеть подходящую площадку для приземления, которая, как потом выяснилось, оказалась засекреченным военным аэродромом. Можно себе представить, какой переполох произвело в тихом провинциальном городке буквальное «падение с неба» того самого таинственного большевистского бомбардировщика-разведчика, о котором столько писали газеты. И те же самые

газеты получили настоящую добротную сенсацию, наперебой сообщая о жуткой катастрофе, не сходясь только в количестве убитых и раненых.

Переночевав в лучшем неверском отеле, где, между прочим, в свое время останавливался Наполеон с некой неизвестной дамой, мы снова погрузились в наш вымытый и заправленный самолет и стартовали. Не успели мы подняться высоко в воздух, как Кольцов снова достал свой блокнот и снова пустил по кабине опросный листок опять с тем самым единственным вопросом: «Прилетим ли мы сегодня в Лондон?» К сожалению, ответы на этот вопрос, и устные и письменные, содержали такие высказывания по адресу автора опросного листка, что я не решаюсь их воспроизвести. Только из пилотской кабины листок вернулся с кратким и вежливым ответом Михаила Громова: «Да».

…Напомню, что до Рима «Крылья Советов», согласно маршруту нашего перелета, посетили Париж. Перед глазами: Лувр, собор Парижской богоматери, Триумфальная арка, Вандомская колонна, Версальский дворец, кладбище Пер-Лашез, десятки и сотни других достопримечательностей — и виденных мною ранее, и увиденных впервые. К числу последних относится и «достопримечательность» несколько особого порядка, о которой я собираюсь рассказать. Надо при этом иметь в виду, что Париж — это Париж… И в облике, и в быту этого великого города, сложного, многогранного и противоречивого, мы находим не только светлые черты…

Итак, мы входим в шикарный подъезд большого здания на улице Шабанэ. Здесь располагается учреждение, или, вернее, предприятие, под названием «ШАБАНЭ. Дом всех наций». Видимо, здесь располагается нечто, связанное с интернациональной солидарностью? Может быть, новый Интернационал, после 2-го Социалистического и 3-го Коммунистического? Нет, «Дом всех наций» не имеет ничего общего с идеями социализма и коммунизма. Не висят в нем портреты Маркса, Бебеля или Жореса. Здесь царит нечто совсем другое — то, что является силой не менее мощной и непреодолимой, чем голод или жажда. Эта сила — секс.

В вестибюле нашу группу встречает важная дама и сразу осведомляется: намерены ли господа только осматривать Дом или пожелают в нем задержаться?

— Только осматривать, — поспешно говорит сопровождающий нашу группу сотрудник полпредства. (Им был Лев Эльберт, выполнявший в посольстве «определенные» обязанности.)

Интерес важной дамы к нашей группе явно снижается, но она

вызывает другую даму, по-видимому, рангом пониже, и поручает ей быть нашим гидом. Мы шествуем по этажам и коридорам и видим «производственную деятельность» этой оригинальной «индустрии», так сказать, на ходу… Все чрезвычайно организованно и деловито, как где-нибудь на кондитерской фабрике или на производстве детских игрушек. Но вот мы лицезреем «гвозди», которыми гордится этот Дом.

Это, во-первых, огромная зеркальная комната испанского короля Альфонса (забыл его порядковый номер), который, как оказывается, любил вкушать радости жизни, видя свое отражение, тысячекратно повторенное на стенах, потолке и на полу. Показывают и личную комнату английского короля Эдуарда VII, где установлено специальное большое кресло, похожее на зубоврачебное. Грузная комплекция монарха требовала именно такого оборудования… Далее демонстрируется специальная комната для клиентов, отмеченных садистскими или мазохистскими наклонностями, в которой висят в должном порядке хлысты, плетки, палки и другие соответствующие принадлежности. Далее показывают… впрочем, ей-богу, противно об этом рассказывать. Ограничусь только одной сценкой.

Небольшая комната. В ней широкая кровать. Две девицы в чем мать родила демонстрируют «способы любви». Видимо, информированные о том, что мы — гости из Москвы, они сопровождают свой «показ» забавно искаженными и перевранными русскими песенками: «Ой, польним-польна коробуска, есть и ситес, и порся», «Ехаль ня ялмалку укарь-купесь» и тому подобное.

Обход «Дома всех наций» потребовал довольно продолжительного времени, но наконец он заканчивается, и нас приводят в зал, где расселись девицы точно по численности нашей группы. Дама-гид обращается к нам:

— Может быть, уважаемые господа все-таки пожелают?..

— Нет, спасибо, мадам, — торопливо говорит сопровождающий нас Эльберт. — Мы очень торопимся.

Дама смотрит на него, не скрывая презрения.

— Вы, я вижу, поставлены охранять нравственность ваших друзей, — цедит она.

И мы покидаем «Дом наций», испытывая довольно противное ощущение. Но, думаю, было бы бессмысленно закрывать глаза или ханжески возмущаться этими не слишком светлыми явлениями жизни и быта Парижа, где, впрочем, как и в других столицах мира, они были, есть и будут. И ничего тут не поделаешь. Но думается, совсем не этот Париж имеют в виду писатели, поэты, барды, просто гости великого города на Сене,

веками его воспевавшие и славившие, восхищавшиеся его красотой, культурой, сокровищами искусства. Не этот Париж имел в виду Маяковский, когда писал: «Я хотел бы жить и умереть в Париже…»

Маяковский в Париже… Я вспоминаю поэта во дворе советского посольства, красивого, уверенного в себе, полного жизненной энергии, радости бытия и творчества…

Кто бы мог тогда подумать, что этот большой, могучий, жизнерадостный человек уйдет из жизни через два с небольшим года. Уйдет трагически, в обстановке недоброжелательства и злопыхательства, угнетенный вереницей «болей, бед и обид» в личной жизни, преданный самыми близкими друзьями. Впрочем, если вдуматься, вся жизнь и творческая биография Маяковского — это неустанное и непримиримое борение за свою поэзию, за свой стиль, за свои чувства, за свои взгляды. Это упорная, порой драматическая борьба с непониманием, косностью, завистью, злобой. Даже трагическая смерть его была многими воспринята как-то неуважительно, криво, иронически.

Помню, как в редакции «Известий» дежурный редактор, некто Черномордик, поморщившись, сказал:

— Что? Маяковский застрелился? Наверно, был пьян. Ну что ж. В хронику происшествий. Пятнадцать строк.

И в этом духе кое-кто довольно продолжительное время строил отношение к Маяковскому. Правда, разительным противоречием этому холодному пренебрежению явились поистине эпические проводы поэта в последний путь.

Застрелившегося Маяковского я увидел, безмолвного и неподвижного, уже на квартире Бриков в Гендриковом переулке, пару часов спустя.

Поэт лежал в своем тесном кабинете на узенькой кушетке, лицом к стене. В квартире толпятся близкие, друзья, знакомые. Разговаривают шепотом, и эту гнетущую полутишину время от времени резким, ударяющим по нервам звоном разрывает висящий у дверей настенный телефон. Тот, кто стоит поближе к аппарату, берет трубку и вполголоса отвечает:

— Да… Правда…

— Да… Не слух…

Страшное впечатление производит приход равнодушных и деловитых сотрудников Института мозга в не первой свежести белых халатах. Они закрывают за собой двери в комнату, где лежит Маяковский, но оттуда отчетливо доносятся звуки разрубаемого черепа. Двери снова открываются, и оттуда выносят в глубокой тарелке что-то, небрежно прикрытое белой салфеткой. Нетрудно догадаться — это мозг великого поэта Владимира

Владимировича Маяковского.

…А затем три дня непрекращающаяся скорбная река людей проходила мимо гроба, установленного в доме Федерации писателей. Как известно, печальные похоронные церемонии редко обходятся без нелепых, а то и смешных курьезов. Классический тому пример — гроб с телом А. П. Чехова, доставленный в Москву в вагоне, на котором была надпись «Для свежих устриц». Не обошлось без подобных ляпов и на прощании с Маяковским. Весьма охочий до популярности поэт Павел Герман, возложив на себя обязанности организатора, любезно спрашивал:

— Вам ноги или голову? — имея в виду место в почетном карауле у гроба. Помню, мне достались «ноги»…

Многотысячное шествие сопровождало увитый черно-красными полотнищами грузовик, за руль которого сел Михаил Кольцов. Никогда не забуду зрелища, которое представляла собой территория Донского крематория. То была подлинная Ходынка. Сквозь бурлящую толпу невозможно было перенести гроб с грузовика в здание крематория, на ступенях которого что-то кричал, размахивая руками, председатель похоронной комиссии, директор Гослитиздата Артемий Халатов. Я не поверил бы этому, если бы не слышал собственными ушами, как милиционеры начали стрелять в воздух, чтобы проложить путь гробу с телом поэта. В этой неописуемой давке я столкнулся с давним антагонистом и критиком Маяковского Вячеславом Полонским, который мне сказал с не очень уместным сарказмом:

— Маяковский даже здесь не может обойтись без скандала.

Бедняга Полонский… Он не знал, что ровно через год мне придется его самого провожать в эти страшные двери…

Пройти внутрь крематория мне все-таки удалось. Там уже заканчивалась очень короткая панихида, и тут Кольцов сунул мне в руку клочок бумаги — пропуск в подвальное помещение, где через «глазки» в бетонной стене можно было видеть зловещие печи. Перед одной из них уже стоял гроб, в котором с очень спокойным лицом лежал Маяковский. Чугунные двери раскрылись, гроб двинулся вперед, и я видел, как густая шевелюра поэта вспыхнула ярким пламенем. Этого не забыть.

Немало ехидных острот и шуточек вызвали в свое время строчки Маяковского, обращенные к Пушкину: «После смерти нам стоять почти что рядом: вы на Пе, а я на Эм». Напоминали, что между этими двумя буквами имеется еще некоторое «НО». Но что получилось на самом деле? Разве Маяковский поистине не стал рядом с Пушкиным на полках библиотек, в школьных учебниках и, наконец, в памятниках на рядом расположенных площадях Москвы?

Далеко не просто и не быстро это произошло. И тут снова проявились сложность и, я сказал бы, парадоксальность и драматичность биографии поэта. Довольно продолжительное время на имени Маяковского лежал тяжелый камень пренебрежения и равнодушия. Стихи его перестали печатать, а полное собрание сочинений, выходившее в Гослитиздате, просто-напросто прекратили издавать. Но тут произошло следующее: близкий Маяковскому человек Лиля Брик набралась смелости и написала об этом письмо Сталину. «Отец народов» начертал на письме резолюцию, которая гласила, что Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи и что пренебрежение к его памяти и к его произведениям — преступление.

И сразу колесо с бешеной скоростью завертелось в обратную сторону. За самое короткое время появились площадь Маяковского, станция метро «Маяковская», театр имени Маяковского, музей Маяковского, монументальный памятник Маяковскому и так далее. При нашем традиционном отсутствии чувства меры это приняло такие формы, что даже искренний друг Маяковского Борис Пастернак как-то, много позднее, саркастически заметил: «Маяковского начали насаждать в обязательном порядке, как в свое время картошку или кукурузу». А известный французский критик и «маяковсковед» Клод Фриу сокрушался, что Маяковского — поэта-революционера, футуриста, бунтаря, превратили в Советском Союзе в обязательный предмет для школьных хрестоматий и поэта для детей. Эти соображения он высказывал на вечере памяти Маяковского в Доме культуры города Амьена во Франции. Я приехал туда в 1975 году на открытие выставки советского плаката и неожиданно для себя обнаружил в том же Доме знаменитую выставку Маяковского «20 лет работы», которую сам поэт открывал в Москве 1 февраля 1930 года, то есть за два с половиной месяца до самоубийства.

Помню, тогда, в Амьене, я вежливо, но решительно возражал профессору Фриу и, приводя по памяти различные, вошедшие в нашу разговорную речь «крылатые слова» из стихов Маяковского, объяснял, что Маяковский у нас поэт не только для детей, но очень даже и для взрослых.

Глава десятая

Как из маленького желудя вырастает развесистый дуб, так из небольшого вначале журнала «Огонек», задуманного и созданного Михаилом Кольцовым, выросло огромное Журнально-газетное объединение (ЖУРГАЗ), соединившее в себе десятки журналов и газет на нескольких языках, издание целых тематических многотомных серий, собраний сочинений, специальных номеров «Огонька», посвященных отдельным злободневным сюжетам, в том числе Первой Конной армии, советским курортам, отдельным областям Советского Союза и, наконец, повести «Губерт в стране чудес», о которой будет еще речь впереди. Мы помним, что «Огонек» при своем рождении занимал одну большую комнату, где находились и редакция, и контора журнала, толпились сотрудники и авторы. В конце 20-х годов ЖУРГАЗ размещался в отдельном просторном особняке с примыкавшими к нему дворовыми постройками. И все же было тесновато. Всем этим сложнейшим, хлопотливейшим литературно-издательско-финансово-производственным хозяйством твердой рукой управлял Кольцов, вникая во все детали, в специфику каждого издания, зная в лицо чуть ли не каждого сотрудника (ныне на этом здании — мемориальная доска памяти Михаила Кольцова).

Где-то в начале 1929 года Кольцов вдруг спохватился, что среди многочисленной и дружной семьи жургазовских изданий не хватает… сатирического журнала. И возник «Чудак». Вначале название это не всем понравилось, в том числе и мне, но Кольцов настоял на своем — и к названию все скоро привыкли. Естественно, что к сотрудничеству в этом журнале Кольцов привлек самых популярных сатириков — писателей, поэтов, фельетонистов, карикатуристов, и даже написал в Сорренто М. Горькому, приглашая его сотрудничать в новом журнале и что-нибудь дать для первого номера. Горький ответил очень добрым письмом, в котором между прочим писал:

«Искренно поздравляю Вас, милейший т. Кольцов, с «Чудаком».

Считая Вас одним из талантливейших чудаков Союза Советов, уверен, что под Вашим руководством и при деятельном участии таких же бодрых духом чудодеев журнал отлично оправдает знаменательное имя свое.

Что есть чудак? Чудак есть человекоподобное существо, кое способно творить чудеса, невзирая на сопротивление действительности, всегда — подобно молоку — стремящейся закиснуть.

Лично сотрудничать в журнале Вашем едва ли найду время, но — разрешите рекомендовать Вам знакомого моего Самокритика Кирилловича Словотёкова. Самокритик — подлинное имя его, данное ему родителем при крещении. Человек он уже довольно пожилой, но «начинающий». Беспартийный. Отношение к алкоголизму — умеренное».

Письмо Кольцова и ответ Горького положили начало замечательной, одновременно деловой и дружеской, серьезной и шутливой, пронизанной чудесным юмором переписке, которая, к счастью, сохранилась.

«Чудак» начал выходить в свет и сразу стал популярен. По сравнению со своим старшим собратом «Крокодилом» он был немного тоньше, немного острее, немного смелее, немного, я сказал бы, интеллигентнее. И мы, крокодильцы, не порывая со своим журналом, охотно печатались в «Чудаке».

Вместе с тем вольный, раскованный сатирический стиль «Чудака» далеко не всем пришелся по вкусу. Кое-кто «наверху» стал воспринимать его с неудовольствием, а потом и с раздражением. Каплей, переполнившей чашу, стал напечатанный в «Чудаке» фотомонтаж под названием «Ленинградская карусель» на тему о неблаговидных поступках и круговой поруке среди крупных партийных работников Ленинграда. Немедленно было «пришито» дело с весьма опасным обвинением — «попытка подорвать авторитет партии». Сразу последовало и решение: журнал закрыть, а его редактору закатить строгий выговор. В эти дни Кольцов как спецкор «Правды» находился на военных маневрах Белорусского военного округа, на которых присутствовал сам Ворошилов. Он, как я уже упоминал, симпатизировал Кольцову. И брат, выбрав удобный момент, сказал ему, улыбаясь:

— Вот, Климент Ефремович, пока тут на маневрах бьют условно, меня там, в Москве, бьют безусловно…

Надо отдать справедливость Ворошилову: его эта история возмутила.

— И правильно вы сделали, — сказал он, — что расчехвостили это жулье в Ленинграде. Это не подрыв, а укрепление авторитета партии! Я кое с кем переговорю.

Видимо, он действительно переговорил, в результате чего выговор с Кольцова был снят. Но сохранить «Чудака» не удалось. Правда, закрытию его придали более вежливую форму: сочли нецелесообразным издание одновременно двух сатирических журналов и постановили «слить» «Чудак» с «Крокодилом». Кстати, спустя некоторое время редактором сдвоенного журнала был назначен тот же Кольцов.

История с «Каруселью», как мы видим, закончилась, в общем, относительно благополучно, но сколько подобных «историй», более или менее неприятных, то и дело возникало в многогранной, сложно разветвленной деятельности Кольцова — журналиста, фельетониста, редактора, издателя, общественного деятеля! Сколько сил и нервов стоила ему не утихающая ни на день, ни на час борьба против тупоумных партбюрократов, зазнавшихся и зажравшихся партвельмож, против комчванства и комхамства, очковтирательства и подхалимства… — надо ли перечислять все сюжеты, которые в изобилии поставляла фельетонисту «Правды» та незабвенная эпоха? Сегодня представляется невероятным, что Кольцову приходилось буквально, как говорится, с пеной у рта отстаивать издание в ЖУРГАЗе полного собрания сочинений… Антона Павловича Чехова, от чего категорически отказалось Государственное издательство. Ох, нелегка была, помню, крамольная по тем временам затея! Особенно яростное сопротивление оказывала такая могущественная и влиятельная в литературных делах организация, как РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей). «Кому нужен этот Чехов? — вопили они. — Что дают его произведения пролетариату?» Печатный орган РАППа, журнал «На литературном посту», особенно возмущался тем, что двадцать четыре тома Чехова Кольцов объявил приложением к такому распространенному журналу, как «Огонек», что грозит продвижением этих безыдейных писаний, к тому же лишенных надлежащих комментариев с марксистских позиций, в широкие трудящиеся массы. Были и провокационные намеки, что настоящий коммунист, радеющий за пролетарскую литературу, этого себе бы не позволил. Но Кольцов не испугался — и первое при советской власти собрание сочинений прекрасного, умного, тонкого писателя вышло в свет на радость миллионам людей.

Не могу не вспомнить еще один характерный случай. Как-то между театральными рецензентами «Правды» и «Известий» возникли разногласия в оценке новой программы джаза Леонида Утесова. Я уж не припомню, кто ее хвалил, а кому она не понравилась, но между обоими почтенными органами печати вдруг возникла полемика. Обязанности редактора «Известий» (Николай Бухарин был уже арестован) исполнял культурнейший, интеллигентный Борис Таль, одновременно заведующий отделом культуры и пропаганды ЦК. Не знаю, что толкнуло его на эту полемику о джазе, но она приобрела неожиданно острый характер, и Мехлис, тогдашний редактор «Правды», пришел в ярость: кто-то осмеливается возражать главной газете страны!.. И через самое короткое время выяснилось, что Таль связан с

троцкистами и сам — скрытый троцкист… Его арестовали, он, разумеется, признался в своих преступлениях и был расстрелян.

Продолжу, однако, разговор о деятельности Кольцова-фельетониста. Она в корне и принципе отличалась от работы тех журналистов, которые писали (и пишут) свои фельетоны, используя материалы уже завершенных судебных дел. Очень удобно и, главное, спокойно. Допустивший злоупотребления, превышение власти, какие-нибудь другие «художества» человек уже давно снят с работы, осужден, может быть, уже сидит в тюрьме. И только тут появляется в газете лихо и остроумно разоблачающий его фельетон. Ничего общего с таким «творческим методом» не имела работа Кольцова. Его фельетонами не *завершались,* а *начинались* дела о злоупотреблениях, безобразиях, фактах очковтирательства, бюрократического тупоумия, чиновничьей черствости, унижения человеческого достоинства… При этом, знакомясь с такими фактами, которые в основном содержались в тысячах писем читателей, поступавших в редакцию на его имя, Кольцов производил свое собственное тщательное расследование, никуда их не «отфутболивая» и составляя свое собственное, обоснованное и твердое мнение, после чего диктовал своему постоянному «машинисту» Зембровскому фельетон (он не любил писать от руки и всегда диктовал на машинку фразу за фразой, расхаживая взад и вперед по комнате). Наутро фельетон уже стоял на газетной полосе. И — удивительное дело! — Кольцов ни разу не ошибся в своих мнениях, суждениях и выводах. И, как правило, обидчики бывали разоблачены и посрамлены, обиженные — защищены. Порок бывал наказан, добродетель, как положено, торжествовала.

Популярность Кольцова в стране была огромна. Миллионы людей видели в нем надежного защитника от волокитчиков, взяточников, самодуров, высокопоставленных хамов. Но, защищая обиженных, кольцовские фельетоны тем самым кого-то весьма решительно призывали к порядку, кого-то «выводили на чистую воду», кого-то выставляли на посмешище перед всей страной, кого-то клеймили позором, кому-то прямо напоминали о «плачущей тюрьме»… И надо ли удивляться, что каждый подобный оперативный фельетон приносил его автору новых злобных врагов: клеветников, доносчиков, анонимщиков. Однако для расправы со зловредным Кольцовым руки у них были коротки.

Я хочу подчеркнуть очень важный момент в деятельности Кольцова-публициста: он отнюдь не ограничивал диапазон своих фельетонов лишь разоблачением конкретных носителей зла. Его

интересовали и беспокоили более масштабные и серьезные общественно-политические явления. Затрагивая эти явления, Кольцов несомненно вторгался в область рискованную и опасную. Но, повторяю, трусом он не был.

Смелость журналиста, пренебрежение к газетным трафаретам и казенным стандартам Кольцов показал еще в году двадцать девятом. В конце этого года на нашу страну обрушилось нечто, по своей стихийной мощи подобное тайфуну и циклону, вместе взятым. Бушевало это явление над страной и, в частности, над Москвой, целую неделю. И называлось это мощное стихийное, но управляемое людьми явление — пятидесятилетие товарища Сталина. Мне говорил московский корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс» Вальтер Дюранти, с которым я был знаком, что ничего подобного он не видел в Америке даже во время самых упорных и азартных кампаний в дни президентских выборов.

Все до единой полосы всех до единой газет были заполнены статьями, рассказывавшими о заслугах, подвигах, мудрости и скромности товарища Сталина, его верности заветам Ленина, величии и грандиозности его генеральной линии на построение социализма в нашей отдельно взятой стране. При этом темы статей были продуманно разделены между руководителями партии и правительства. Так, скажем, Ворошилов писал о том, как Сталин создавал Красную армию и победоносно закончил войну против белогвардейцев и интервентов; Молотов обстоятельно описывал, как Сталин подготовил по идее Ленина, организовал и осуществил Октябрьский переворот, то есть Рабоче-крестьянскую революцию; Каганович взял на себя труд описать колоссальную роль товарища Сталина в восстановлении транспорта; Калинин раскрыл огромную заботу Сталина о сельском хозяйстве; Томский посвятил свой труд мудрым указаниям Сталина по развитию профсоюзов как «школы коммунизма»; Мануильский сообщал о громадных заслугах Сталина в деятельности Коминтерна, и так далее, и так далее. Уделили место даже Поскребышеву, помощнику Генерального секретаря, поведавшему, какие прочные узы связывают секретариат Сталина с трудящимися.

В этой накаленной безмерной хвалой атмосфере перед Кольцовым встала непростая задача. Он, ведущий и известный журналист, не мог, разумеется, остаться в стороне от этого мощного восторженного хора. Однако по своей природе он не в состоянии был выступить с чем-нибудь подобным этим велеречивым, суконным языком написанным, скучнейшим статьям. Он должен был написать что-то «по-кольцовски» — изящно, раскованно, весело. Но как к этому отнесется юбиляр? Он, похоже, не отличается большим чувством юмора,

предпочитает пусть стандартные, но точные и недвусмысленные, проверенные политические формулировки. Не рискованна ли в данном случае легкая, фельетонная интонация? Здравый смысл подсказывал: да, рискованна. Осторожность говорила то же самое. Только Кольцов не был бы Кольцовым, если бы он тут, как и во многих других случаях, не рискнул. И вот на фоне тяжеловесных статей, похожих одна на другую, как бы написанных одним автором, в «Правде» появляется «Загадка-Сталин», полуфельетон-полуочерк, написанный без малейшего натужного преклонения, а легко, непринужденно, с улыбкой, «по-кольцовски»:

«…Как, разве уже 50? Думал, гораздо меньше, ведь он гораздо моложавее. Никогда не сказал бы…

Всё понятно в Сталине. Его трубка, его френч, его речи, его шутки. Трубка обыкновенная, френч тоже. Речи развиваются строго по порядку: во-первых, во-вторых… в-пятых, в-шестых. Шутки простые и произносятся нечасто. Нам понятен Сталин. А для других он — загадка».

«Сталин — таинственный обитатель Кремля». «Сталин — диктатор шестой части света». «Сталин — загадка». «Сталин — коммунистический сфинкс»…

Далее Кольцов пишет:

«…Есть в Америке большой город Кливленд, а в Кливленде выходит большая газета «Пресс». Газета совсем не большевистская. Во всех отношениях буржуазная газета. И печатает газета «Пресс» письмо в редакцию некоего мистера Полака. Письмо небольшое, всего пять строчек:

«Я удивляюсь, почему наша страна не могла бы совершить обмен: обменять президента Гувера на Сталина. Я думаю, что российское правительство нуждается в хорошем, энергичном инженере, а уж что нужно нам — это известно. Нам нужен человек, который каждому дал бы работу».

Но нет, милый мистер Полак. Мы не будем меняться с вами на Гувера. Ничего не выйдет!..»

Думаю, что самому юбиляру вряд ли понравился кольцовский фельетон. Не в его он был вкусе.

— Нашел чем шутить… — скорее всего проворчал он. — Какие еще тут, к черту, загадки.

Но никаких неприятностей для Кольцова в связи с этим не последовало: все-таки на дворе был только двадцать девятый, а не тридцать седьмой и даже не тридцать пятый год… Кто мог подумать, что всего через 6–8 лет неслыханный и безжалостный террор обрушится на страну, как чума.

Кольцову порядком доставалось от зажимщиков,

перестраховщиков, демагогов, ханжей. Это, между прочим, нашло свое отражение в его переписке с Горьким, в характерном для этой переписки шутливом стиле.

Вот что Кольцов пишет Горькому в Сорренто в ноябре двадцать девятого после чисто деловой части письма, касающейся издательских вопросов:

«…Живу я сейчас серо и невыразительно, как черви слепые живут. Только изредка вынимаю из шкафа подаренные Вами пояса и вздыхаю, с шумом выпуская воздух из грудной клетки. Этим я хочу сказать, что скучаю по Вас. По-видимому, это кончится большим слезливым письмом с жалобой на нечуткость людей и просьбой указать, как поступить на зубоврачебные курсы…»

Горький отвечает Кольцову:

«О, брате мой любезный!

По что столь зазорно срамословишь, именуя ся червем слепорожденным? И отколь скорбь твоя? Аще людие древоподобны ропщут на тя, яко ветр повелевает, сотрясаяй смоковницы плодов не дающи и жолудю дубов завидующи, — помни: ты не жолудь есть и не на утеху свинию родила тя матерь природа, а для дела чести и смелости. Аще же пес безумен лаяй на тя, не мечи во пса камение, но шествуй мимо, памятуя: полаяв — перестанет!

В этом духе я Вам, дорогой Михаил Ефимович, мог бы сказать много, но, от старости, забыл уже сей превосходный язык, которым все можно сказать — исключая популярные фразы «матового» тона.

В самом деле: Вы что там раскисли? Бьют. И впредь — будут! К этому привыкнуть пора Вам, дорогой мой!

Крепко жму руку.

И — да пишет она

ежедневно

и неустанно

словеса правды!

Старец Алексий Нижегородский и Сорентийский. А «Огонек» следовало бы мне высылать! *А. Пешков*».

Кольцов продолжал «ежедневно и неустанно» писать «словеса правды», продолжая «ежедневно и неустанно» наживать себе новых злобных врагов.

Хочу сказать откровенно и решительно: меня до глубины души возмущает, когда кое-кто пытается сделать из Кольцова заядлого сталиниста, беспрекословно выполнявшего все указания Хозяина, оправдывавшего злодейские репрессии против безвинных людей. Это — ложь! Бессовестная и безграмотная

ложь. Не стану отрицать, что не сразу, но примерно с середины 20-х годов Сталин стал импонировать Кольцову своей железной волей, неуязвимой логикой рассуждений, своего рода, если хотите, гипнозом личности, в какой-то степени, безусловно, загадочной, непредсказуемой, притягательной. И не один Кольцов испытывал это ощущение.

Брат мне как-то рассказывал о характерной сценке, которую ему довелось наблюдать еще в начале 20-х годов. В перерыве какого-то совещания или пленума в комнате за сценой собрались руководители партии, как их тогда именовали — вожди рабочего класса. Отдыхали, пили чай, беседовали. Были Рыков, Калинин, Бухарин, Зиновьев, Каменев, Томский, другие. Был тут и Сталин. Он не принимал участия в разговоре, покуривал трубку и только поглядывал на беседовавших своими желтоватыми глазами. Вскоре он зачем-то вышел из комнаты. И произошла странная вещь… Все явно почувствовали какое-то облегчение, задвигались, заговорили свободнее, оживленнее. Сталин вернулся и вновь будто заморозил всех леденящим фактом одного своего присутствия. А между прочим, обладая незаурядными актерскими способностями, он умел, когда хотел, быть и любезным, и общительным, и обаятельным. Достаточно вспомнить его встречи с Фейхтвангером, Лавалем, супругами Сиснерос из Испании, впоследствии с Черчиллем и Рузвельтом.

Кольцов, повторяю, абсолютно искренне отдавал должное властной, впечатляющей личности Хозяина отнюдь не из страха или угодничества. Не раз брат с неподдельным удовольствием, граничащим с восхищением, пересказывал мне отдельные замечания, реплики и шутки, которые ему доводилось от него слышать. Сталин ему нравился. И вместе с тем Михаил продолжал по своей «рисковой» натуре опасно испытывать его терпение. И дальше — больше. Кольцов писал фельетоны, по сравнению с которыми «Загадка-Сталин» был невинной робкой шуткой, хотя можно не сомневаться, что в феноменальном «запоминающем устройстве» — в голове Сталина он занял прочное место рядом с давним фактом, касающимся фотографий Троцкого.

Глава одиннадцатая

В моем повествовании мы еще только в начале 30-х годов. В биографии Кольцова они ознаменовались прежде всего участием в рекордном и труднейшем по тем временам Большом Восточном перелете по маршруту Москва — Анкара — Тегеран — Кабул — Москва. О, это было совсем не то, что комфортабельный и спокойный круиз по цивилизованным европейским столицам двадцать девятого года на «Крыльях Советов». Позволю себе привести только одну выдержку из кольцовских путевых очерков:

«…Мы вошли в Саланг — единственное ущелье, через которое можно одолеть вершины высочайшего азиатского горного хребта. Эти места не для людей. Эти места природа оставила для себя самой, чтобы в одиночестве, без суеты, в величественном безмолвии думать свои планетарные думы. И человек, стремительной дерзостью технического гения вознесенный на эти страшные высоты, содрогается, пугливо умолкает. То, что называется ущельем Саланг, есть на самом деле зловещий хаос отдельных обледенелых пиков, крутых и скользких скатов в неизвестность. Нет и не может быть точно проведенного пути внутри этой жадно оскаленной челюсти горных клыков. Воздушный отряд тянется через Саланг извилистой ломаной тропкой. Во что превратился этот бравый воздушный отрядик, таким щеголеватым четким треугольником вылетевший с московского и анкарского аэродромов! Строй самолетов разбился. Они ковыляют то гуськом, почти наскакивая один на другой, то врозь, теряя друг друга, то переваливаясь через ледяные барьеры, огибая страшные горные шишки. Люди посинели, машины заиндевели.

Пальцы на руках и ногах слиплись в сплошные холодные железки, горло пьет без устали этот чудесный, никогда не изведанный прозрачный напиток: воздух верхних слоев атмосферы».

Большой Восточный перелет успешно завершен. Участники его достойно награждены. А спецкор «Правды» Михаил Кольцов отмечен даже не совсем обычно для журналиста: приказом народного комиссара по военным и морским делам ему за участие в ряде больших воздушных перелетов присвоено воинское звание — летчик-наблюдатель.

Итак, с головокружительных вершин Гиндукуша, после экзотических впечатлений Востока Кольцов возвращается за свой рабочий стол, к своим повседневным журналистским делам. И за что он прежде всего берется? Конечно, за очерки о небывалом

перелете? Да. Но тут же на день их откладывает и срочно диктует фельетон на другую, еще раньше запланированную им тему: «О безобразном положении в стране с ремонтом обуви». При этом он смело, неожиданно, по-кольцовски связывает эту будничную, прозаическую, «низменную» проблему с набатно гремящим на всю страну лозунгом выполнить пятилетку в 4 года! Уверен, что на это не решился бы никакой другой журналист — ведь писать о пятилетке значило тогда писать только о высоком энтузиазме рабочих, об их пламенном стремлении следовать призыву любимого Вождя! При чем тут какая-то обувь?

И только Кольцов мог решиться на такую фразу: «Миллионы рабочих и крестьян строят в нашей стране социализм. Но вовсе не было такого уговора, чтобы строить его босиком. Он, социализм, от этого лучше не станет».

Далее, приведя конкретные примеры того, сколько у нас иногда ухитряются нагородить волокиты, бюрократизма, издевательства и прямого хамства в таком простейшем деле, как починка сапог для рабочего человека, рассказав о том, как отлично организовано обувно-починочное дело в Америке, Кольцов делает вывод: «Починка сапог — это не пустой, а важный рабочий вопрос. Рабочий вопрос — значит, партийный…»

Сдав этот фельетон в набор, Кольцов предложил мне вместе выпить чаю, а потом начал диктовать продолжение путевых очерков о Большом Восточном перелете…

Я не уверен, что читателю будут интересны факты моей личной жизни, но позволю себе упомянуть о том, что с начала 30-х годов сильно усложнились мои семейные обстоятельства. Так случилось, что, будучи всем сердцем привязан к своей жене и маленькому сыну, я обрел и вторую семью. И надо ли объяснять, какое трудное и сложное существование предстояло мне на долгие-долгие годы. Немало было связанных с этим огорчений, конфликтов, ссор и примирений. Но время все уладило, все расставило по своим местам, и ныне, на склоне лет, я обладаю благом семьи единой, дружной.

В начале 30-х годов окрепла моя дружба с двумя чудесными людьми — Ильей Ильфом и Евгением Петровым. Объединяла нас и совместная работа в «Чудаке», в ЖУРГАЗе. Кстати, именно Кольцов познакомил меня с Женей Петровым. Произошло это в Гаграх на приморском бульваре, где я встретил на прогулке брата вместе с каким-то высоким молодым человеком.

— Знакомься, — сказал мне Кольцов. — Это Остап Бендер.

— Очень приятно, — сказал я.

— Михаил Ефимович шутит, — солидно произнес молодой человек. — Петров моя фамилия.

Я ничего не понял. Теперь трудно поверить, что я не имел понятия об Остапе Бендере: роман «Двенадцать стульев» еще не был напечатан. Только небольшой отрывок из него о Гусаре-схимнике Кольцов опубликовал в «Огоньке». Уже позже, в Москве, Петров познакомил меня с Ильфом. А они, оба одесситы, как ни странно, встретились и подружились в Москве в редакции газеты «Гудок», где четвертая полоса была из номера в номер занята откликами на письма читателей. Эти отклики остроумно, находчиво и не без озорства писали литсотрудники «Гудка», а впоследствии широко известные писатели — Валентин Катаев, Юрий Олеша, Михаил Булгаков. Писал их также Илья Ильф, писал и Евгений Петров, родной брат Валентина Катаева. Ни о каком соавторстве между ними в то время не было и речи. Но вот однажды неистощимый выдумщик Валентин Катаев обратился к ним:

— Слушайте, Иля, и ты, Женя, почему бы вам вдвоем не взяться написать какой-нибудь забавный детективный роман? Я вам даю готовый сюжет. У Конан Дойла в похождениях Шерлока Холмса есть рассказ «Шесть Наполеонов». По сюжету его, в один из шести гипсовых бюстов Наполеона была запрятана драгоценная жемчужина. В каком бюсте — неизвестно. И в поисках этой жемчужины идет азартная охота за распроданными бюстами. Чем не детектив?

Ильфу и Петрову эта идея пришлась по вкусу.

— Как будем писать, Иля? Каждый по одной главе?

Ильф подумал.

— Нет, Женя. Давайте всё писать вдвоем. Каждую фразу.

Так родилось знаменитое соавторство. Думаю, если бы за предложенный Катаевым сюжет взялись менее талантливые литераторы, то читатели получили бы вполне, может быть, занятную, но малозначительную и быстро забытую «детективную» повестушку. Ведь заменить жемчуг бриллиантами, а гипсовые бюсты стульями — дело, в общем, нехитрое. Но под пером Ильфа и Петрова возникла удивительная по своей выразительности и яркости огромная панорама существования людей при советском режиме.

Мы нередко встречались с Ильфом и Петровым в редакциях журналов «Крокодил» и «Чудак», а также на квартире у Кольцова, между нами установились теплые, дружеские отношения.

Мне хочется вспомнить одно замечательное наше совместное путешествие. Мы трое — Ильф, Петров и я — получили разрешение принять участие в заграничном плавании эскадры Черноморского флота, флагманом которой был красавец крейсер «Красный Кавказ». Его сопровождали два миноносца.

К слову сказать, если в 20-х годах можно было более или менее легко съездить за границу, в Германию и Францию, то в 30-х, по мере того как наша страна вступала в период построения социализма «в одной отдельно взятой стране», это стало почти невозможно. Допускались только вот такие, строго ограниченные поездки в качестве фиктивных «членов экипажа».

Неуютно чувствовали себя мы, «трое членов экипажа», на борту крейсера, где все было подчинено строгому морскому порядку. Я хорошо понимал старшего помощника командира корабля Николая Герасимовича Кузнецова, впоследствии адмирала флота, народного комиссара по военно-морским делам Советского Союза. Завидев нас троих в помятых шляпах и пальто на верхней палубе, он поворачивался к нам спиной и почти страдальчески провозглашал: «Всем с левого борта!» Заслышав эту команду, мы быстро и пугливо исчезали с верхней палубы. Но внизу, в кают-компании, он был с нами помягче. Как-то, помню, за столом в присутствии других офицеров (не знаю, имел ли он представление о личности своих пассажиров или то было простой случайностью) он стал рассказывать содержание романа «Двенадцать стульев», причем «великого комбинатора» упорно называл Остап Бандас. Мы с Ильфом и Петровым переглядывались, но никто из нас не решался его поправить.

Первая стоянка нашей эскадры — древний, живописный, неповторимый Стамбул. Впечатления о чудесах, достопримечательностях, уникальных приметах этого сказочного города не перескажешь в нескольких словах. Советскую эскадру встречали гостеприимно, с почетом. Советские моряки отблагодарили стамбульцев красивым парадом, продефилировав под звуки духового оркестра торжественным строем по городу от Золотого Рога. При первом взгляде на Николая Герасимовича Кузнецова обращала на себя внимание его незаурядная внешность — правильные, красивые черты лица, статная, стройная фигура. Помню, мы прямо-таки любовались им, когда в парадном мундире он шагал впереди команды «Красного Кавказа» по улицам Стамбула на церемонию возложения цветов к памятнику вождя обновленной, свергнувшей султанский режим Турции Кемаля-паши Ататюрка. Возложение цветов советскими моряками собрало на площади тысячную толпу, выражавшую свои чувства рукоплесканиями и приветственными возгласами. Мне думается, откровенно говоря, что эффект был бы значительно слабее, если бы команду нашего крейсера возглавлял не Кузнецов, а приземистый и невзрачный командир «Красного Кавказа» по фамилии Заяц. Не лучше выглядел бы и сам командующий всей нашей эскадрой контр-адмирал Ралль.

Был и торжественный прием в советском консульстве, обмен положенными в этом случае приветственными речами, в которых, по сути, повторялись одни и те же слова. И Женя Петров потом еще долго нас смешил, уморительно пародируя эти речи примерно так:

— Гаспадин Вали! (Вали — губернатор Стамбула.) Узы дружбы, связывающие нас тесными дружескими узами, являются теми узами, которыми надо дорожить как подлинными узами дружбы, и эти дружеские узы, несомненно, связывают наши дружеские народы подлинными дружескими узами…

И, бывало, Женя Петров только вытянет трубочкой губы и начнет: «Гаспадин Вали! У-узы дружбы…», как мы с Ильфом начинали безудержно хохотать.

Невозможно расстаться со Стамбулом, хотя бы не перечислив такие всемирно известные исторические памятники, как храм Айя-София, Семибашенный замок, знаменитая Галатская лестница, другие чудеса. Просто не верится, что ты все это видишь своими глазами…

Утром эскадра снялась с якоря. Турецкий морской порт, расположенный на высоком мысе Хеллес, поднял на крепостной башне традиционный сигнал «Счастливого плавания». Мы прошли Дарданеллами вдоль зловещей панорамы заброшенных кладбищ, разрушенных укреплений, валяющихся на галлипольском берегу ржавых орудий и проволочных заграждений — мрачных памятников Первой мировой войны, печально знаменитой Дарданелльской операции Черчилля. Корабли вошли в Эгейское море…

В один из этих дней меня вызвали в каюту к старпому Кузнецову. Испытующе на меня глядя, он спросил:

— Мне доложил один матрос, что вы зарисовывали затвор двери в орудийную башню. Зачем вам это понадобилось?

— Товарищ Кузнецов, я зарисовывал одного из своих спутников писателя Илью Ильфа и заодно зарисовал дверь в орудийную башню, возле которой он стоял.

— А вы что, художник?

— Да. Художник-карикатурист.

— А, простите, ваша фамилия?

Я назвал себя, и строгое лицо Кузнецова вдруг прояснилось.

— Позвольте, — сказал он, — так это ваши карикатуры печатаются в «Известиях» и «Красной звезде»?

— Мои.

— Вот как! Так ведь я с большим удовольствием смотрю ваши работы. Очень, очень приятно познакомиться.

И мы обменялись крепким рукопожатием.

Как-то потом я спросил Кузнецова:

— Николай Герасимович, вы не читали новый роман Ильфа и Петрова «Золотой теленок»?

— Нет, пока не довелось. А там опять действует тот же Остап Бандас? Он же умер.

— Да. Авторы решили его воскресить после того, как его в «Двенадцати стульях» зарезал Киса Воробьянинов. Между прочим, мне как-то рассказывал Женя Петров, что судьбу великого комбинатора тогда решил жребий. В шапку вложили две бумажки. Одна была чистая, на другой — нарисованы череп и две косточки. Вторую бумажку как раз и вытащили из шапки…

— Вот как, — улыбнулся Кузнецов. — Не повезло, значит, Остапу…

— Да, но, к счастью для читателей, он остался жив и преуспел в разных других комбинациях.

— Интересно. Обязательно надо будет прочесть.

…А после Стамбула — еще более древние Афины, прекрасная столица прекрасной Эллады, колыбели человеческой культуры. Акрополь! Парфенон! Эрехтейон! Что можно добавить к этим легендарным названиям?! Экспансивный Женя Петров рано утром растолкал меня на жесткой койке матросского кубрика, где я спал.

— Как вам не стыдно спать, ленивец вы этакий! — восклицал Петров с характерными для него певучими интонациями. — Ей-богу, Боря, я просто вам удивляюсь. Мы в Греции, понимаете ли вы? В Элладе! Фемистокл! Перикл! Наконец, тот же Гераклит! «Всё течет, всё изменяется»! Вы понимаете, что в этих словах заложена, по существу, самая настоящая диалектика?..

Впрочем, не в меньшей степени, чем древнее искусство, нас интересовали быт и нравы, уличная жизнь современных Афин. Петров был неутомим в разыскивании всяких занятных и колоритных уголков, рынков и трактирчиков, вступал в разговоры с прохожими, официантами и детьми, прибегая к фантастической смеси русских, английских и греческих слов, подкрепляемых жестами и звукоподражаниями.

Довольно забавным было одно случайное (а может быть, и не случайное) уличное знакомство. Заслышав русскую речь, к нам привязался некий чрезвычайно расторопный и общительный молодой человек, назвавший себя Леонидом Леонидисом. Он сразу же проявил глубокую классовую сознательность и крайнюю революционность взглядов. Не успевали мы показаться на улице, как перед нами словно из-под земли вырастал Леонид Леонидис. С необычайным жаром разоблачал он язвы капиталистического строя Греции и предрекал ему неминуемую гибель, конечно, при

активной поддержке советских товарищей. Он шумно доказывал, что крах греческой буржуазии уже назрел и было бы просто грешно не использовать столь благоприятную ситуацию.

— Идемте скорей! — кричал Леонид Леонидис на всю улицу. — Здесь недалеко только что обанкротился владелец крупного магазина. Пойдем посмеемся над этим эксплуататором!

Все это было настолько забавно и детски-наивно, что, почти не стесняясь его присутствия, Женя Петров говорил:

— Сейчас он скажет: идемте скорей, я знаю одно местечко, где можно достать чудные бомбы, чтобы взорвать королевский дворец.

После Афин эскадра шла извилистыми греческими берегами. Средиземное море встретило нас неприветливо. Прославленной лазури не было и в помине. Сильный шторм вздымал серые злые волны. Наш крейсер шел твердо и устойчиво, но следовавшие за ним миноносцы так зарывались носом в воду, что страшно было смотреть.

Утром перед нами открылась неправдоподобно красивая панорама Неаполитанского залива. Наши корабли бросили якоря. На берегу поднялась невообразимая, но вполне благожелательная и гостеприимная суета. Молодые советские моряки и молодые неаполитанцы с любопытством разглядывали друг друга.

— Вы большевики? — спрашивали итальянцы.

— Да, мы большевики. А вы кто?

— Мы фашисты, — отвечали они дружелюбно.

И это звучало для наших ушей непривычно и даже дико: ведь слово «фашист» мы привыкли воспринимать как нечто бранное. Это было равносильно тому, как если бы милые юноши отрекомендовались: «Мы — убийцы» или «Мы — злодеи».

В суете мы с Ильфом и Петровым как-то растеряли друг друга, и, оставшись один, я сел в первый попавшийся туристический автобус, который неожиданно для меня отправился на… Везувий.

Надо сказать, что знаменитый вулкан именно в этом, тридцать третьем, году стал проявлять какую-то тревожную агрессивность: днем — тяжелое мрачное облако дыма, а ночью — зловещее багровое зарево висело над ним. Поднявшись на вершину вулкана, мы сразу из лазурного солнечного дня попали в холодный пронизывающий туман и неприятный моросящий дождик. Я пристроился к какой-то чужой туристической группе, которая гуськом спускалась в кратер по спиральной тропинке, огражденной от пропасти простой веревкой, натянутой на железные колья. Спускались мы довольно долго в удушливых серных испарениях, и, когда спуск закончился, глазам

представилось фантасмагорическое, подлинно адское зрелище. Кругом громоздились пласты раскаленной лавы, которая наползала подобно жуткой пасте, выдавливаемой из какого-то гигантского тюбика. Откуда-то из глубины доносился глухой гул, подобный урчанию огромного страшного зверя.

Я подумал: на кой черт, собственно говоря, я сюда полез? Кто его знает, этот Везувий? Как бабахнет, тут не то что костей — своих молекул не соберешь…

В этот момент чья-то сильная рука схватила меня за плечо. Я обернулся. Передо мной стоял Женя Петров. Он был в восторге.

— Ну, Боря, — закричал он, — вот это встреча! Мы будем вспоминать ее всю жизнь! Примерно так: «Что-то мне ваше лицо знакомо. Где мы с вами встречались? В «Огоньке»? Нет. В «Правде»? Нет. Где же? А, вспомнил, вспомнил: в кратере Везувия!»

Выбравшись наружу, мы снова попали в теплый солнечный день. После похожей на ночной кошмар обстановки в подземных недрах было особенно приятно очутиться в уютном ресторане на склоне Везувия, где итальянские власти давали завтрак в честь прибывшего в Неаполь полпреда СССР В. П. Потемкина и командного состава эскадры.

В Неаполе закончилась мореходная часть нашего путешествия и началась сухопутная. Эскадра отплыла из Неаполя обратно в Севастополь.

…Другие, несравненно более сложные и драматические пути предстояли Николаю Кузнецову. И географические, и биографические. Ему довелось быть, как говорится, и на коне, и под конем. Приходилось подниматься до самых высоких званий и чинов и впадать в весьма опасную по тем временам немилость. Непредсказуемы были в ту пору и благосклонность, и гнев того, кто, по выражению поэта Александра Твардовского, для всех нас был одним, судеб вершителем земным.

После посмертной реабилитации Михаила Кольцова в 1954 году был издан сборник под названием «Михаил Кольцов, каким он был», на страницах которого тридцать пять авторов, известных писателей, журналистов, дипломатов, военных, других деятелей культуры, делились своими воспоминаниями. Естественно, я позвонил и Николаю Герасимовичу. И он дал в этот сборник великолепный очерк, написанный отличным литературным языком и содержавший не только яркие и теплые воспоминания о Кольцове, но и достоверную, рельефную характеристику военных и политических событий в Испании. Вот небольшой отрывок из этого очерка:

«Мы с Кольцовым вспомнили, как осенью 1933 года его брат

Борис Ефимович совершил поход на крейсере «Красный Кавказ» в Стамбул, Пирей, Неаполь. Я был тогда старшим помощником командира корабля и, судя по тому, как вспоминал потом сам Б. Ефимов в журнале «Москва», доставлял много неприятностей штатским товарищам. Тогда я не знал, что Б. Е. Ефимов и М. Е. Кольцов — братья, хотя скидки, видимо, все равно не было бы, тем более не думал, не гадал о возможных последующих встречах».

…12 июня 1968 года в Большом зале Центрального Дома работников искусств мы отмечали торжественную и одновременно печальную дату — семидесятилетие безвременно погибшего Михаила Кольцова. Пришли те, которые хотели его вспомнить и о нем сказать. Пришла Наталия Сац, пришли генералы Павел Батов и Михаил Громов, выступали также Роман Кармен, Борис Полевой, Татьяна Тэсс, Лев Кассиль, другие. Пришел на этот вечер и Николай Герасимович Кузнецов.

Я приветствовал его с особым чувством:

— Большое-большое спасибо, Николай Герасимович, что вы нашли время.

— Я не мог не прийти, — просто ответил он.

У меня на книжной полке стоит книга адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Надпись на титульном листе гласит: «Дорогому Борису Ефимову в знак дружбы и памяти о незабываемом совместном плавании на крейсере “Красный Кавказ”».

…Владимир Петрович Потемкин пригласил нас троих, Ильфа, Петрова и меня, погостить у него недельку в Риме. Надо сказать, что Потемкин обладал незаурядным талантом оратора и рассказчика. Истинным удовольствием явились для нас утренние беседы с ним за завтраком, его рассказы об истории Рима, и древнего, и папского, описание нравов и обычаев в Анкаре, где он был советским послом при президенте Турции Кемале Ататюрке. Так же выразительны и ярки были его рассказы о нынешнем его, как он выражался, «партнере», Бенито Муссолини и добродушном, простоватом короле Викторе Эммануиле.

Здесь, в Риме, я впервые увидел и познакомился с еще одним интересным человеком.

Я не раз встречался с Максимом Максимовичем Литвиновым, довольно близко его знал, но рассказывать о нем нельзя, на мой взгляд, в отрыве от его выдающейся политической деятельности.

Во все времена и в любой стране особым интересом и, не боюсь этого слова, любопытством были окружены люди, вершившие международную политику, попросту говоря — дипломаты. Их ценили и уважали за умение улаживать

международные конфликты, справляться с нависающей военной угрозой, спасать народы от кровопролитных войн, а если это не получалось, то тяжелые последствия войн смягчать и облегчать. Правда, не всем это удавалось. И поэтому имена великих дипломатов вошли в историю наравне с именами великих полководцев.

Что касается советского периода нашей страны, то мы видим только двух людей, которых по праву можно назвать выдающимися дипломатами, — это Георгий Чичерин и Максим Литвинов. Но в их дипломатическом искусстве, на мой взгляд, есть глубокое и коренное различие. Чичерин олицетворял собой внешнюю политику большевистского руководства периода острой и непримиримой конфронтации с Западом. Его дипломатические ноты, выступления, речи преисполнены острых и саркастических выпадов против руководителей европейских стран, полны иронии и насмешек. Может быть, это и было уместно в ту пору, однако отнюдь не способствовало умиротворению, мирному сосуществованию, хотя нельзя отказать Георгию Васильевичу в остроумии и убедительности.

Но наступали иные времена. Ход истории создавал новую международную обстановку, новые международные отношения и требовал от дипломатии совершенно других политических установок и методов. Ими в совершенстве владел уже не Чичерин, а Литвинов. И он закономерно занял пост руководителя советской дипломатии. При этом необычайно возросла его популярность в странах Запада, о чем свидетельствовал самый верный показатель — обилие дружеских шаржей на Максима Максимовича в зарубежной печати. Да и я сам с веселым юмором изображал его не раз и не два.

Единственным государством в ту пору, которое воздерживалось от признания Советского Союза де-юре, были Соединенные Штаты Америки. Это становилось явным анахронизмом, никак не соответствовало новым веяниям международной жизни. Отлично понимая неестественность подобной ситуации, президент Франклин Рузвельт счел своевременным исправить это положение и дал понять Сталину, что предпочел бы иметь дело лично с Литвиновым. Максим Максимович отправился в Вашингтон, был дружески встречен Рузвельтом и вскоре покинул Америку, увозя с собой столь затянувшееся признание де-юре. По пути на родину Литвинов посетил ряд европейских стран. Мне довелось видеть его короткое пребывание в Италии, где его торжественно, при полном параде и даже в цилиндре, встречал наш посол В. П. Потемкин. Мне довелось быть в группе посольских работников и

журналистов, сопровождавших Потемкина в правительственную резиденцию палаццо «Венеция», где произошла официальная встреча Литвинова с главой итальянского правительства. Я не мог не обратить внимания на любопытный характер этой встречи. Для Максима Максимовича, находившегося в этот момент, после его огромного дипломатического успеха, можно сказать без преувеличения, в центре общественного внимания, фигура Муссолини с его дешевой, провинциальной помпой не имела большого значения, и он отнюдь не спешил к нему навстречу с официальным приветствием. Фашистского «дуче», как мне показалось, это несколько задело, и он тоже не торопился приветствовать именитого гостя. И так получилось, что массивная, спокойная, уверенная в себе фигура Литвинова как бы случайно и непринужденно сблизилась в центре зала, среди многочисленных гостей, с подчеркнуто напыщенным фашистским диктатором.

Литвинов возглавлял советскую внешнюю политику в течение целого десятилетия, с 1930 по 1939 год, в период, характерный усилением партнерства с западными демократиями, совместными с ними конференциями по разоружению, стремлением к укреплению мира в Европе. Одновременно в центре Европы разгорался очаг опасной агрессии — гитлеровский рейх готовился к войне. Литвинов — решительный сторонник усиления антигитлеровской пропаганды и укрепления отношений с Англией и Францией против возникшей «оси» Рим — Берлин — Токио.

Свой вклад художника-сатирика в разоблачение и осмеяние гитлеровского расистского мракобесия решил внести и я. Мною был задуман большой альбом сатирических рисунков «Фашизм — враг народов», построенный на общепринятом в Советском Союзе научном определении этого зловещего явления. Закончив осенью 1937 года эту работу, я, как и было положено, принес объемистый альбом рисунков на утверждение к Литвинову. Максим Максимович, не торопясь, внимательно посмотрел все рисунки и, подумав, сказал:

— Ну, что ж. Хорошая работа. Полезная и своевременная.

Затем вынул из бокового кармана самопишущую ручку и поставил на титульном листе свою подпись.

— Кстати, — сказал он, — я слышал, что вы и ваш брат жили в Белостоке и учились там в реальном училище. Выходит, что мы с вами земляки и соученики. Ведь я учился в той же «реалке» в Белостоке.

— Вот как! — воскликнул я. — А при вас, Максим Максимович, уже был директором Александр Ефимович Егоров,

по прозвищу Лысый?

— А как же, — засмеялся Литвинов. — Правда, тогда он только начинал лысеть, но мы его тоже именовали Лысым. Теперь вот что: как мой земляк и тем более соученик, примите от меня маленький презент. Последнее достижение техники — бритва, которая не требует ни мыла, ни горячей воды, а работает от электричества. Я привез две штуки из Женевы, и теперь мы двое во всем Советском Союзе будем бриться электричеством.

Альбом рисунков «Фашизм — враг народов» с авторитетной визой народного комиссара по иностранным делам был незамедлительно сдан в производство и вскоре вышел в свет.

Я был хорошо знаком с Иваном Михайловичем Майским, академиком, писателем, дипломатом. И вот что он мне спустя много времени рассказал. В апреле 1939-го будучи послом в Лондоне, он был вызван вместе с Литвиновым в ЦК к Сталину, присутствовал и Молотов. И Майский был поражен грубостью и недоброжелательством, которые там проявили по отношению к Литвинову. А через несколько дней Литвинов был отправлен в отставку и пост народного комиссара по иностранным делам занял Молотов. Это стало, разумеется, отражением крутой перемены в ориентации Сталина — уже не на противостояние, а на дружбу с Гитлером. И предвестником пресловутого пакта «Молотов — Риббентроп». Максим Максимович остался не у дел и ничего хорошего для себя не мог ждать. Отставкой Литвинова, несомненно, был очень доволен Гитлер, но далеко не все на Западе разделяли это мнение.

События шли своим чередом. В Москве собрался пленум ЦК партии. На нем Литвинов счел нужным выступить со своей оценкой международного положения. Его слушали в напряженной тишине — ждали, как на эту речь отреагирует Сталин, который по своей привычке прогуливался взад и вперед вдоль президиума. Выступление Литвинова Хозяину явно не понравилось, и он резко его раскритиковал.

— Товарищ Сталин! — неожиданно и дерзко сказал Литвинов. — Что же, я, по-вашему, враг народа?

Такого смелого вопроса Сталин явно не ожидал. И, помолчав, медленно ответил:

— Нет, Папаша, врагом народа не считаем. Считаем честным революционером.

(Папаша — партийная подпольная кличка Литвинова до революции.)

Однако никто не сомневался, что дело на Литвинова в ведомстве Берии уже готовится. Несдобровать бы Максиму Максимовичу, но прошло немного времени и Гитлер обрушился

на Советский Союз. В новой ситуации Сталин понял, что без Литвинова ему не обойтись. Действительно, вскоре из Вашингтона пришла просьба президента Рузвельта прислать Литвинова послом в США.

…Сталин Литвинова недолюбливал, как недолюбливал всех тех, кто имел собственное мнение и руководствовался в своей деятельности здравым смыслом, а не раболепным послушанием Хозяину. Со своей стороны, Максиму Максимовичу претило холуйское пресмыкательство перед «мудрым и любимым Вождем». Как-то после возвращения Кольцова из Испании мы были в гостях у Максима Максимовича. Он с интересом слушал рассказы брата о войне в Испании, а потом речь зашла о пресловутых политических процессах той поры. И я припомнил, как небезызвестный Мехлис, придававший большое значение мнению Лиона Фейхтвангера об этих процессах, узнав, что известный немецкий писатель усомнился в искренности признаний подсудимых «врагов народа», вскипел и рявкнул:

— Сомневается в их искренности? А пошел он к… матери!

Максим Максимович расхохотался.

— Что ж. Для таких, как Мехлис, это главный и неопровержимый довод, как гласит латинское выражение — «ультима рацио».

В это время по радио передавали из Большого театра трансляцию какого-то собрания, на котором присутствовал Сталин. Зачитывалось традиционное приветствие со стандартными фразами типа: «Дорогой товарищ Сталин! Шлем тебе, нашему гениальному, мудрому и любимому вождю и учителю…»

Литвинова буквально передернуло.

— А зачем посылать, — с раздражением вырвалось у него, — ведь он сидит тут же. Все это слушает. Византийское раболепие! Но, видимо, ему это по вкусу.

Последние годы своей жизни Литвинов был не у дел, нигде не показывался публично. Можно не сомневаться, что ему грозила суровая участь, но судьба, к счастью, избавила его от этого страшного испытания — он ушел из жизни под новый, 1952 год, не став добычей бериевских палачей.

…И опять Рим 1933 года. Друзья-соавторы впервые попали в Вечный город, и нетрудно себе представить, сколько замечательного, невиданного, удивительного предстало перед их глазами. Мы добросовестно исходили почти все знаменитые места Рима. Не повезло только с Сикстинской капеллой — она почему-то была закрыта. Ильф никак не мог успокоиться.

— Новое дело, — ворчал он, — Сикстинка закрыта на учет…

Ресторан закрыт на обед… Ватикан закрыт, так как Папа дал обет…

Заходили мы и в сравнительно менее известную, но довольно любопытную церковь Санта-Скала, то есть Святой лестницы, где установлена очень высокая и крутая каменная лестница, привезенная из Иерусалима. Согласно свидетельству папских археологов, по этой самой лестнице Христа водили на допрос к Понтию Пилату. Верующие католики обязательно раз или два в год совершают восхождение по Святой лестнице, замаливая свои грехи. Однако не просто ногами, как по всякой нормальной лестнице, а на коленях, с попутным чтением установленных на сей предмет молитв. При этом, между прочим, строго охраняется общественная нравственность, о чем свидетельствует большой плакат с четкой надписью: «Запрещается восхождение по Святой лестнице дамам и девицам в коротких платьях». Святая лестница заинтересовала меня с чисто спортивной точки зрения, и мне взбрело в голову попробовать такое упражнение.

Осыпаемый остротами Ильфа и Петрова, я тем не менее занял исходную позицию и довольно бодро пополз вверх. Однако уже на третьей или четвертой ступеньке я осознал легкомыслие своего поступка… Воровато оглядевшись вокруг (позади меня, к счастью, никто не поднимался), я быстро сполз обратно. Соавторы торжествовали…

Быстро пролетели римские дни, и мы продолжили наше путешествие. И вот мы в городе-светоче Париже. Всегда бурлящий, неугомонный, непредсказуемый Париж в эту пору жил особенно напряженной политической жизнью. В значительной степени этому способствовало близкое соседство Германии, которая с каждым днем становилась все более агрессивной, угрожающей, наглой. Период этот весьма достоверно и выразительно изображен Лионом Фейхтвангером в его романе «Изгнание». В эти дни в Париже находился и Михаил Кольцов — формально в качестве специального корреспондента «Правды» по освещению известного Лейпцигского процесса о поджоге рейхстага, а практически как руководитель широкой антифашистской пропаганды. С утра до вечера он был занят на всевозможных собраниях, митингах, встречах с журналистами, политическими деятелями.

Маленький номер Михаила Кольцова в парижском отеле «Ванно» представлял собой, по сути дела, круглосуточно действующий корреспондентский пункт «Правды». Ни на минуту не умолкали телефонные разговоры и энергичный треск пишущей машинки.

Даже мое неожиданное появление в Париже Михаил

воспринял, можно сказать, на ходу: когда я вошел, он что-то диктовал машинистке, одновременно разговаривая по телефону и торопливо допивая кофе.

— Ага! — сказал он, увидев меня. — Молодец, что приехал. Видишь эту кнопку? Нажми ее и, когда войдет мадемуазель Ивонн, закажи себе завтрак. Нет, нет, дорогой Курселль, — закричал он в телефонную трубку, переходя на французский язык, — я не с вами говорю по-русски. Я знаю, что вы еще не владеете этим превосходным языком Тургенева и Горького. Это мой младший брат, который только что приехал из Италии. Очень хорошо, я жду вас у себя. Да, немедленно.

Брат положил трубку и сказал мне:

— Если хочешь, можешь погулять по городу. Я тебя отпускаю до обеда, но смотри, не опаздывай: на пять часов назначен большой антифашистский митинг в зале Мютюалите под председательством Эррио. Мне обязательно надо там быть и кое с кем повидаться.

Так я сразу вошел в атмосферу парижского быта Кольцова, включился в хлопотливый и напряженный ритм его жизни.

Осью, вокруг которой вращалась вся корреспондентская и антифашистская деятельность Кольцова, являлся как я уже упоминал, происходящий в это время и привлекавший острейшее внимание всего мира Лейпцигский процесс о поджоге рейхстага. Главным обвиняемым на сфальсифицированном гитлеровском судилище был, как известно, болгарский революционер Георгий Димитров, превративший скамью подсудимых в трибуну смелого и беспощадного разоблачения фашистской провокации. Гитлеровские власти, естественно, отказали корреспонденту «Правды» во въездной визе, в связи с чем все освещение хода процесса и связанная с этим контрпропаганда были перенесены в Париж.

Я чем мог помогал брату, сопровождал его в разных поездках, выполнял какие-то поручения. Вместе с тем кое-что рисовал, «корреспондировал» в «Известия» политические карикатуры.

Как и в Риме, мне доставляло огромное удовольствие быть гидом своих друзей, показывать им улицы, площади, достопримечательности Парижа, в котором я был не впервые. Я выкладывал им свои познания о Париже скороговоркой опытного гида, смакуя названия улиц и бульваров, повел друзей по Рю де Гренель мимо советского полпредства, потом через бульвары Распай и Сен-Жермен к набережной Анатоля Франса («А вот знаменитые лотки, где любил рыться господин Бержере»), оттуда — к Бурбонскому дворцу («Здесь заседает палата депутатов или, на диалекте русских парижан, “Шамбр, где депюте”»), потом — к

мосту, ведущему на пляс Конкорд («Мост, между прочим, построен из камней разрушенной Бастилии»). От площади мы двинулись к Большим бульварам.

Соавторы слушали меня с интересом, но не могли удержаться от ехидных замечаний.

— Ну, Боря, вы совершенно подавили нас эрудицией, — говорил Петров.

— Рассказывает урок, как первый ученик, — добавлял Ильф. — Но не спешите так. Дайте усвоить пройденное.

Париж очень понравился Ильфу и Петрову. Они называли его с неподражаемой южной интонацией:

— ТОТ город!

Мы часто обедали втроем в маленьком ресторанчике на Монпарнасе, причем Петров, любитель всего экстравагантного, заказывал всем самые экзотические блюда и, в частности, марсельский «буйабез» — острейший суп из всевозможных морских моллюсков. Но Ильф вскоре взбунтовался.

— Надоели гады! — кричал он. — Я не хочу больше этих головоногих, кишечнополостных, земноводных! Я хочу обыкновенную баранью отбивную или бифштекс по-гамбургски!

Тут мы с Петровым, не сговариваясь, начинали хором цитировать катаевскую «Квадратуру круга»:

— «Я не хочу больше Карла Бюхера. Я хочу большой кусок хлеба с большим куском сала».

Побушевав, Ильф смирялся.

— Ладно, — говорил он, — давайте сегодня еще разок возьмем устриц. Все-таки — Париж…

Соавторы быстро акклиматизировались в Париже, окунулись в его кипучую жизнь, обросли знакомствами в литературно-художественных кругах. Эренбург сосватал их с одной, по его выражению, эфемерной кинофирмой, которая, однако, несмотря на свою «эфемерность», выплатила им аванс под сценарий кинокомедии из французской жизни. Ильф и Петров смело взялись за работу. Петров как-то рассказывал придуманное ими начало сценария. Сюжет его был связан с только что устроенной во Франции большой лотереей, главным выигрышем которой стала ошеломляющая сумма — пять миллионов франков.

Возможность выиграть такой куш вызвала в стране подлинную лотерейную лихорадку. Вокруг первого выигравшего счастливца, какого-то провинциального булочника, бушевал неистовый газетный бум.

Кинокомедия Ильфа и Петрова начиналась так: некий скромный парижский служащий просыпается утром. Он смотрит на календарь и морщится — 13-е число. Поднимаясь с постели,

замечает, что встал с левой ноги. В коридоре, когда он идет мыться, ему перебегает дорогу черная кошка. Бреясь, он разбивает зеркало, а садясь завтракать, опрокидывает солонку. Короче, на него обрушиваются все известные дурные приметы. После этого, развернув газету, он видит, что его единственный лотерейный билет выиграл пять миллионов.

Однако сценарий по каким-то причинам остался незаконченным и постановка комедии не состоялась.

Часто мы встречались в номере Кольцова. Однажды Михаил сказал Петрову:

— Женя! Вы человек мобильный, энергичный. Возьмите Ильфа, Борю и пойдите проведать Луначарского. Он тут лежит в больнице, плохо себя чувствует и очень рад, когда к нему приходят.

Ильф почему-то не смог с нами пойти, и мы с Петровым отправились вдвоем. Квартал Пасси, улица-тупичок Рю Лиотэ, нечто среднее между клиникой и пансионом. В вестибюле мы встречаем куда-то очень торопящуюся супругу Анатолия Васильевича Наталию Розенель.

— О, вы тоже в Париже. Очень хорошо. Обязательно позвоните мне как-нибудь. Я вам покажу одно местечко.

Петров неодобрительно смотрит ей вслед.

— Покажу одно местечко… — ворчит он. — Ну и ну…

Дело прошлое, но самоуверенность и некоторая бестактность Наталии Александровны нередко ставили Анатолия Васильевича в неловкое положение. Вспоминаю такой характерный эпизод. В фойе театра она очень непринужденно подлетела к Михаилу Кольцову:

— Михаил Ефимович! Неужели вам в самом деле понравился спектакль в Камерном театре?

Речь шла о кольцовской рецензии в «Правде».

— Конечно, нет, — невозмутимо ответил Кольцов. — Но Таиров обещал мне четыреста рублей и отрез на брюки.

Кругом раздался хохот, и побагровевший Луначарский поспешил увести свою супругу. Поговаривали, что как-то Сталин сделал Луначарскому замечание насчет поведения его жены.

— Я люблю эту женщину, товарищ Сталин, — решительно возразил Анатолий Васильевич.

— Любите дома, — сердито сказал Хозяин. — А в казенной машине чтоб не смела разъезжать по магазинам и портнихам!..

…Анатолий Луначарский… В голове проносятся воспоминания о встречах с ним в Москве.

…Во дворе дома по Старопименовскому переулку (одно время — улица Медведева), соединяющему Тверскую улицу (одно

время — улица Горького) с Малой Дмитровкой (одно время — улица Чехова), в уютном подвальчике располагался популярный в 20-х годах в Москве «Кружок деятелей искусства». Это был небольшой клуб, где ежевечерне собирались после спектаклей артисты, куда охотно приходили писатели, художники и весело, интересно проводили время. Там, кстати, был и неплохой ресторан. В «Кружке» всегда царило оживление, пели известные певцы, читали стихи поэты, выступали артисты, сюда любили заглядывать и видные общественные деятели. Как-то в крохотном вестибюле я был свидетелем забавной сценки. В подвал спустился Луначарский. Его радостно встречает Борис Филиппов, бессменный директор «Кружка» (а впоследствии и ЦДРИ):

— Анатолий Васильевич! Наконец-то!

— Да, да, простите, задержался. Если не ошибаюсь, обещал у вас тут рассказать о Рембрандте.

— Нет, Анатолий Васильевич, о Рабиндранате Тагоре.

— Да, да, извините, о Тагоре. С удовольствием.

При феноменальной эрудиции Луначарского никакая перемена темы не представляла для него ни малейшей трудности.

Не раз впоследствии мне доводилось слушать выступления Анатолия Васильевича на всевозможных собраниях и диспутах, его доклады о делах литературных, вопросах искусства и культуры, о проблемах международных, и всегда, как и другие, я дивился его ораторскому дарованию и колоссальной эрудиции. Отдельные его остроумные, находчивые реплики приводили аудиторию в восхищение и долго потом передавались из уст в уста. И вот — последняя встреча в Париже…

Второй этаж. Небольшая, ярко освещенная комната. Анатолий Васильевич лежит в постели. По одну сторону ее невысокая полка с множеством книг, журналов, газет, по другую сторону телефон. Луначарский один.

— Здравствуйте, здравствуйте. Вам немного не повезло: вы застаете меня лежачим. Еще вчера я чувствовал себя совсем молодцом, сидел в кресле одетым, даже собирался выходить. Да вдруг какую-то каверзу подстроил желудок и… вот, видите сами.

Анатолий Васильевич говорит с трудом, часто переводит дыхание. Я внимательно вглядываюсь в исхудалое бескровное лицо. По привычке стараюсь запомнить четкую линию профиля. Заострившийся костистый нос и длинный седой клинышек бороды придают Анатолию Васильевичу некоторое сходство с портретом Дон Кихота.

— Меня здесь очень тормошат, — продолжает Луначарский, — но я очень рад, когда приходят наши. Откуда вы

сейчас? Что видели? Присаживайтесь, рассказывайте.

Мы садимся в кресла по обе стороны кровати. Завязывается беседа. Хотя, строго говоря, трудно назвать наш разговор с Луначарским беседой. Мы больше слушаем и изредка кратко отвечаем на его вопросы. А он, постепенно загораясь и увлекаясь, как всегда, «овладевает аудиторией» и, с трудом поворачивая голову от одного из нас к другому, произносит блестящий полуторачасовой монолог. По сути дела, мы слушаем интереснейший политический и литературный доклад-обзор. Сколько тем, сколько проблем, оценок, характеристик, размышлений! Трудно запомнить все это разнообразие. Анатолий Васильевич улыбается с беспомощным и почти виноватым видом.

— Я ведь много написал книг, но все эти вещи я всегда считал только вступлением к своей главной, обобщающей литературно-философской работе. Мне все мешала приступить к этой книге то пропагандистская, то административная деятельность. Материалов накопилось уйма. Я рассчитываю, что в Испании у меня будет спокойная обстановка для работы и обязанности посла не станут для меня чрезмерно утомительны. Вот скоро поправлюсь и примусь за дело.

— Анатолий Васильевич, а вы бывали раньше в Испании?

— Нет, не приходилось. Это будет мое первое посещение этой чудесной страны. Она чрезвычайно меня интересует своей древней культурой, в которой так причудливо и романтично сочетались европейские и арабские влияния. Думаю основательно поездить и понаблюдать. Изучаю испанский язык с увлечением и, говорят, сделал некоторые успехи.

Он рассказывает, все больше оживляясь, об общих чертах Испании и Италии, об итальянской литературе, о сокровищах Флоренции и Милана, о своем милом друге Владимире Петровиче Потемкине, полпреде в Риме, о французской литературе, о критике…

— Сейчас пишу предисловие к новому собранию сочинений Марселя Пруста. Меня особенно интересует его последнее произведение, которое он писал, как известно, уже будучи тяжело больным человеком, и умер, не закончив его. И вот это чрезвычайно любопытно! Я с поразительной ясностью вижу теперь влияние, которое оставила на его творчестве болезнь. Мне стало совершенно ясно, что слова Достоевского: «Больной человек ближе всего к своей душе», — абсолютно неверны. Абсолютно неверны! Я теперь очень внимательно наблюдаю за самим собою и пришел к прямо противоположному выводу. А именно: больной человек ближе всего к своему телу. Причем к телу, которое болезнь превращает в беспорядочное сборище плохо и

несогласованно работающих органов. А наверху одиноко, как в пустой, брошенной всеми квартире, лихорадочно, остро и четко функционирует мозг…

Между прочим, — продолжает Анатолий Васильевич, — чрезвычайно интересно наблюдать затем, как начинает разбалтываться гармонично налаженный природой человеческий организм, как наши внутренние органы начинают саботировать свои священные, от века положенные им обязанности, а то и просто объявляют забастовку.

И снова загораясь, увлекаясь сам и увлекая нас многообразием сложных проблем современного искусства, культуры и политики, говорит этот усталый, больной человек и неутомимый воинствующий пропагандист, боец, большевик, философ…

— Мы не очень утомили вас, Анатолий Васильевич? — спрашиваю я. — Или нам подождать возвращения Наталии Александровны?

— Нет, нет. Что вы! Она не скоро вернется. Надо понять ее, актрису. Ведь в Париже столько есть чего посмотреть…

Целиком во власти огромного впечатления от встречи, возвращались мы с Петровым от Луначарского, взволнованно перебирая детали и подробности происшедшего свидания.

— Нет, Боря, — повторял Петров, то и дело останавливаясь и возбужденно размахивая длинными руками, — я вижу, вы просто не отдаете себе отчета в том, что произошло! Вы хорошенько подумайте над тем, что мы видели! Слушайте! Мы с вами, два молодых здоровых парня, пришли проведать, то есть приободрить и отвлечь от мрачных мыслей, старого, больного, я вам прямо скажу, умирающего человека. И что же получилось, Боря? Не мы на него, а он на нас благотворно повлиял своей бодростью, оптимизмом, жаждой деятельности, молодостью. Да, да, именно молодостью! Я вам честно говорю, он вдохнул в меня, да и в вас тоже новые силы и новый интерес к жизни. Какой человек! Ах, какой человек!

Увлеченные разговором, перебивая друг друга, то и дело останавливаясь, мы незаметно проделали пешком огромный путь от Пасси до нашей гостиницы по почти безлюдным улицам ночного Парижа.

…Упомянув о нашей встрече в больнице с Наталией Розенель, настоящая фамилия которой — Сац, я невольно вспоминаю и другую Наталию Сац. Они были тезками и однофамилицами, различными были только их отчества. Одна — Наталия Александровна Сац, другая — Наталия Ильинична Сац. Но было нечто, различавшее их в гораздо большей степени, — это

их судьбы. У Наталии Александровны, артистки Малого театра, судьба — спокойная, благополучная, светская. У Наталии Ильиничны — судьба беспокойная, тревожная, непредсказуемо драматическая. Весь жизненный путь Наталии Ильиничны — неисчислимые, неожиданные и непостижимые повороты обстоятельств, когда взлеты внезапно сменялись катастрофами, удачи — бедами, семейное счастье — пребыванием за тюремной решеткой. Чтобы получить некоторое представление о немыслимых переломах в биографии Наталии Ильиничны, достаточно сопоставить ее, отбывавшую свой срок за колючей проволокой одного из лагерей ГУЛАГа, и ее же спустя почти четыре десятилетия, пишущую мне дружескую записку на своем личном бланке, на котором можно прочесть следующее:

Директор — главный режиссер Московского детского музыкального театра.

Герой Социалистического Труда.

Народная артистка СССР.

Лауреат Ленинской премии,

Государственной премии СССР, премии Совета Министров СССР, премии Ленинского комсомола, профессор.

Позволю себе, кстати, привести текст этой записки: «Дорогой Боренька! Искренно уважаемый, изумительно одаренный, изумительно добрый и любимый Боренька Ефимов!

Поздравляю Вас с Вашим молодым десятилетием. Быть в 90 лет таким жизнерадостным, жизнеустойчивым, подлинным Героем Труда, как Вы, это действительно геройство. Конечно, думаю, как был бы рад поздравить Вас первым наш дорогой незабываемый Мишенька, но в наших сердцах и мыслях он навсегда с нами. Еще раз горячо Вас обнимаю, целую, люблю.

Моя дочь и сыновья горячо присоединяются к этому поздравлению. Мы все Вас любим. Обнимаю, люблю. *Нат. Сац 1990 ноябрь».*

Явная симпатия, которой проникнута эта короткая записка, является как бы производной от глубоких чувств уважения и благодарности к моему брату. Наталия Сац перенесла на меня нежность и любовь к «дорогому незабываемому Мишеньке». Она действительно была ему многим обязана в критический момент своей творческой биографии. Это случилось, когда руководимый ею, еще совсем молодой Детский театр изгоняли из занимаемого им помещения. Наталия Сац в отчаянии металась в поисках защиты, но нигде ее не находила. Наконец она обратилась за помощью к Кольцову, и тот обещал ей свою поддержку.

Однако после встречи с Кольцовым прошло некоторое время, показавшееся ей бесконечным, а угроза выселения по-прежнему

висела над Детским театром. И кто-то ей доверительно сообщил, что это дело решенное… В сильной тревоге она стала звонить Кольцову, но оказалось, что он в командировке. А надо было что-то немедленно предпринимать.

И вот как-то рано утром она пошла к высшему начальству, без надежд, даже не посмотрев утренних газет. Ждать приема пришлось гораздо меньше, чем она предполагала. Всесильный начальник встретил ее… с поздравлениями. Он пожал ей руку, приветливо улыбнулся и сказал: «Читал, читал. Рад успехам Детского театра. Такой фельетон в «Правде» — это уже этап в жизни Детского театра. Сам Михаил Кольцов пишет — не шутка». Это был огромный, чуть не во всю страницу, фельетон «Дети смеются»…

Надо сказать, что вся эта эпопея с Детским театром имела последствием дружеские и близкие отношения между Кольцовым и Сац. Они охотно встречались, и мне запомнился, между прочим, такой забавный эпизод. Однажды у меня раздался телефонный звонок.

— Боря, — услышал я голос брата, — слушай, я тут у Наташеньки. Мы хотим немного потанцевать, но у нас нет музыки. К тебе такая просьба: поставь на патефон хорошую пластинку, лучше всего «Валенсию», и приложи к патефону телефонную трубку.

Этот смешной эпизод вспоминает и сама Наталия Ильинична в своих «Новеллах»: «…И мы, держась за телефонный провод, минуты три танцевали, после чего он с удвоенными силами уехал работать над фельетоном, а я смеюсь и сейчас при одном воспоминании…»

Когда пришли страшные времена сталинского террора, беда почти одновременно обрушилась и на Кольцова, и на Наталию Сац. Она была репрессирована, так сказать, автоматически, то есть поскольку был арестован ее муж, народный комиссар хлебозаготовок И. Вейцер. Это было настолько внезапно и ужасно, что после первой ночи, проведенной ею в камере на Лубянке, Наталия Ильинична наутро стала совершенно седой.

Тяжелые годы тюрьмы и ссылки не сломили сильного, волевого характера Наталии Ильиничны. Она «выдюжила». И вышла на свободу, исполненная энергии, целеустремленности, полная широких творческих замыслов. И, конечно, вернувшись в Москву, с энтузиазмом обратилась к своему любимому делу — Детскому театру.

Один из своих замыслов, поистине грандиозный, она с успехом воплотила в жизнь. Это — великолепное здание, построенное по ее проекту, при ее повседневном наблюдении, при

поддержке руководства столицы, которое не устояло перед темпераментным напором Наталии Сац. Здание Музыкального детского театра она увенчала огромной скульптурой Синей птицы. Это было символом не только музыкальной окрыленности, но и данью памяти неувядаемой мелодии, написанной ее отцом для знаменитого спектакля «Синяя птица», по сей день не сходящего со сцены Московского Художественного театра.

В последующие годы мы встречались, хотя и не слишком часто, на различных мероприятиях и вечерах в ЦДРИ, ЦДЛ, Доме актера. И уж обязательно на годовщинах рождения Кольцова, где она неизменно выступала ярко, интересно, эмоционально. Она не забывала говорить при этом разные добрые слова и по моему адресу, а однажды, к изумлению публики, вдруг опустилась передо мной на колени. Я, однако, не растерялся и, в свою очередь, бухнулся на колени перед ней, что вызвало весёлое оживление и аплодисменты в зале.

Мне хочется закончить свои воспоминания об этой удивительной, поистине легендарной женщине надписью на книге об ее отце, известном композиторе Илье Александровиче Саце:

«Боренька! Вы дивный, чудесный человек, и я Вас о-очень люблю. Наташа».

Оглядываясь в прошлое, перебирая в памяти события и факты биографии Наталии Сац, и прежде всего фанатическую преданность главному делу ее многострадальной жизни — созданию Детского театра, я не могу подумать без досады и горечи о том, что после ухода из жизни Наталии Ильиничны ее любимое детище, Московский музыкальный детский театр пришел за сравнительно короткое время в весьма огорчительный упадок.

Кстати, то же самое произошло после смерти Сергея Образцова с созданным им великолепным Театром кукол. А каким стал МХАТ без Станиславского и Немировича-Данченко? Или Театр имени Вахтангова после Рубена Симонова? Примеры можно умножить… Неужели имеет место такая печальная закономерность? Не хочется в это верить.

…И опять воспоминания о Париже. Год 1933-й. Наутро в номере у Кольцова Женя Петров с неостывшим еще волнением рассказывал о нашей встрече с Луначарским. Были тут и Ильф, и Мария Остен, немецкая писательница, близкий друг Кольцова. Долго и горячо говорили мы все о Луначарском, необычайной его эрудиции, исключительном ораторском даровании, припоминали многие его, ходившие из уст в уста остроумные импровизации и реплики. Высказывали опасение, что дни Анатолия Васильевича

сочтены, что вряд ли придется ему увидеть Мадрид, куда он только что назначен послом Советского Союза. Говорили о том, как тяжело и больно думать, что такой выдающийся человек может нелепо уйти из жизни в расцвете лет, знаний и таланта, в разгар литературных замыслов и творческих планов. Никто, конечно, не мог знать, что такая же участь ждет почти всех присутствующих. Только мне одному судьба определила незаурядное долголетие. И это налагает на меня святой долг: сегодня, почти семьдесят лет спустя, вспомнить их, молодых, талантливых, целеустремленных, рассказать о них, как бы продлить на страницах этой книги их несправедливо и трагично укороченную жизнь.

…Объявление, почти затерявшееся среди пестрых рекламных, мюзик-холльных и театральных плакатов на парижской афишной тумбе, все же привлекло мое внимание:

«Русский эмигрантский комитет устраивает в театре Елисейских полей публичное собрание в связи с присуждением писателю И. А. Бунину Нобелевской премии за литературу. Билеты продаются. Цена от 8 франков и выше».

Я сказал об этом брату.

— Бунин? — рассеянно произнес Кольцов. — Бунин. Что ж, сходи, пожалуй. Это любопытно. Увидишь там все белоэмигрантское общество. Но будь осторожен. С советским паспортом в кармане, сам понимаешь…

Театр Елисейских полей — небольшой, но уютный и весьма престижный. А в нарядном фойе я оглядываюсь с ощущением человека, попавшего на съемку историко-революционного фильма. Расхаживают офицеры в мундирах с аксельбантами, с нарукавными трехцветными шевронами Добровольческой армии, с почетными значками Корниловского «Ледяного похода», Дроздовской дивизии, Волчьей сотни Шкуро и других белогвардейских объединений и землячеств. Великовозрастные бойскауты в шляпах и с голубыми галстуками, другие живописные фигуры. Неторопливо прогуливаются солидные дамы с бриллиантовыми кулонами на массивных бюстах и их осанистые мужья во фраках и визитках. Здесь сам митрополит Евлогий, духовный пастырь белой эмиграции, и с ним беседует дородный розовощекий старик с выхоленным клинышком бороды. Позвольте… Тут невозможно ошибиться, да это же не кто иной, как Антон Иванович Деникин, крупнейшая фигура Гражданской войны, главнокомандующий всеми «Вооруженными силами Юга России», совсем немного недотянувший в девятнадцатом году до Москвы.

Раздались звонки, приглашавшие в зал. Стоя в сторонке, я

пропустил мимо себя весь эмигрантский парад и пошел вслед за ним. Мое восьмифранковое место оказалось в последнем ряду. И это было весьма кстати, потому что невидимый оркестр вдруг с мощной силой заиграл «Боже, царя храни!». Все встали.

«Новое дело, — подумал я. — Как быть? Вставать при звуках царского гимна советскому гражданину как будто не положено. А не встанешь — будет скандал, попадешь в газеты. В посольстве спросят: «А кто вас просил идти на это собрание? Вы что, не понимали, куда идете?» Могут быть большие неприятности, наверняка можно стать невыездным на несколько лет».

Сделав вид, что я целиком поглощен чтением программки, я сильно пригнулся и не отделился от кресла, проклиная любопытство, которое привело меня в театр. На меня тотчас устремились подозрительные взгляды соседей, кто-то было заговорил угрожающим тоном, но сидевшие впереди возмущенно зашикали, так как звучали уже последние такты музыки, с шуршанием двинулся занавес, и перед публикой предстал многолюдный президиум. Собрание открыл депутат бывшей Государственной думы, видный деятель Конституционно-демократической (кадетской) партии В. А. Маклаков, родной брат бывшего царского министра внутренних дел Н. А. Маклакова. Говорили, что царь Николай II по этому поводу сострил: «Есть два Маклакова. Один — Н.А.М. — то есть нам, а другой — В.А.М. — то есть вам…»

После его краткого вступительного слова на трибуну поднялся Бунин, одетый во фрак, сухощавый и легкий, без знакомой по старым портретам чеховской бородки, с иронически-снисходительным выражением чисто выбритого лица. Зал разразился аплодисментами. Бунин сдержанно поклонился.

— Я хотел бы прежде всего выразить глубочайшую признательность присутствующим здесь супругам Нобель (эту фамилию он произносил с ударением на втором слоге) и всем присутствующим за оказанную мне честь. Мы собрались здесь, русские люди, волею судьбы лишенные своего отечества, не признающие власти, установившейся на нашей Родине. Мы никому не угрожаем, не призываем к новой братоубийственной войне. Но мы продолжаем называть Россию — Россией, Петроград — Петроградом…

К сожалению, дослушать речь Бунина мне не довелось: я вдруг заметил, что два офицера со значками «Ледяного похода», глядя на меня, о чем-то перешептываются. Я понял, что мне не избежать весьма неприятного разговора и необходимо незамедлительно уносить ноги. Так я и сделал, быстро выскользнув в фойе, а оттуда на шумящие, звенящие, сверкающие

всеми цветами радуги Елисейские поля.

Кольцов не без интереса выслушал мой доклад о чествовании Бунина и только спросил:

— А ты не приметил там Юрия Семенова, редактора «Возрождения»?

— Нет. Я даже не знаю, какой у него вид.

— Скоро у него будет очень бледный вид, — сказал брат, хихикнув. — Я тут приготовил ему один… финик.

И он показал мне написанное от руки письмо в редакцию газеты «Возрождение», подписанное «твоя Лиза».

Дело было в том, что газета «Возрождение» выделялась даже среди белоэмигрантской прессы своей оголтелой ненавистью к советской власти и большевикам. На ее страницах из номера в номер, не зная ни пределов, ни меры, печатались сообщения о голоде, разрухе, восстаниях, эпидемиях, расстрелах и всяких иных бедствиях. Ничего другого, по мнению газеты, в нашей стране не происходило. Известная доля истины в этих сообщениях, несомненно, была. Кто станет отрицать, что определенные годы в Советском Союзе не были ни благополучными, ни спокойными, ни сытными. Но ежедневное нагромождение ужасов, нагнетание беспросветного кошмара начинали коробить даже политические круги Франции, находившейся как-никак в нормальных дипломатических отношениях с Советским Союзом. Дошло до того, что видный общественный и политический деятель, некоторое время премьер-министр Франции Эдуар Эррио как-то выступил с предположением, что вся подобная информация высосана «Возрождением» из пальца под диктовку германских фашистов. Редактор «Возрождения» господин Семенов разразился в ответ открытым письмом Эдуару Эррио, упрекая его в легкомыслии и безответственности. «Беспочвенным суждениям Эррио» белоэмигрантский журналист противопоставлял свои «абсолютно точные и проверенные источники осведомления»: частные письма из России, которые-де пишут хорошо известные ему, Семенову, люди — «наши родные, друзья, знакомые».

Кольцов решил, что он обязан, как советский журналист и корреспондент «Правды», выступить в поддержку и защиту Эррио. Необходимо разоблачить «достоверные» источники информации Семенова. Но как это сделать? И Кольцов решил применить старый-престарый, но большей частью эффективный прием: в письме, сочиненном им и подписанном «твоя Лиза», первые буквы каждого пятого слова составляли фразу: «Наша белобандитская газета печатает всякую клевету об СССР». И что же? Белогвардейский карась не замедлил проглотить незамысловатую

наживку: письмо за подписью «твоя Лиза» появилось в центре второй полосы «Возрождения». Когда номер «Возрождения» с этим письмом попал Кольцову в руки, он немедленно продиктовал полный сарказма фельетон для «Правды» под названием «От родных и знакомых», который и был напечатан там два дня спустя.

«…Откуда это письмишко у вас, достоуважаемый редактор? — спрашивал Кольцов. — От ваших родных? От друзей? От ваших знакомых? Во всяком случае, от людей, которых вы хорошо знаете? Не расскажете ли вы нам, месье Семенофф?

Нет, вы не расскажете. Вы откажетесь сообщить пути получения вами информации из недр Советского Союза. Вы сошлетесь на редакционную тайну и на страшную кару, которая может постигнуть бедную Лизу, поведавшую нам свое горе в большевистских когтях.

Вы не скажете. Но тогда придется сказать мне…»

Далее Кольцов подробно рассказал, как им было сочинено и отправлено по почте в редакцию «Возрождения» письмо «бедной Лизы». И заканчивал фельетон словами:

«Всего хорошего, господин Семенофф. Приятного аппетита. Пишите».

Не было, пожалуй, ни одного органа печати в Париже, который бы не оценил остроумие и находчивость корреспондента «Правды». Эдуар Эррио лично позвонил в отель «Ванно», чтобы поблагодарить Кольцова за его «точный и меткий журналистский удар».

А что же сам месье Семенофф? В первый момент он от неожиданности и злости как бы потерял дар речи: только дня через два в «Возрождении» появилась косноязычная заметка, рассказывавшая о том, что «Возрождение» стало жертвой дьявольской интриги, и призывавшая читателей расправиться с засевшим в Париже большевистским агентом Кольцовым. В ответ на это «Юманите», орган французской компартии, сообщила, что парижские рабочие берут на себя ответственность за безопасность корреспондента «Правды». Тем не менее я взял себе за правило никуда не отпускать брата одного и увязывался за ним, куда бы он ни направлялся. Миша посмеивался над моими тревогами, говоря:

— Брось, ничего не будет. Они сейчас не пойдут на скандал — неподходящий момент.

Он оказался прав. А письма «от родных и знакомых» надолго перестали появляться в «Возрождении». Оно замолчало, как, по любимому выражению Кольцова, патефон, в который сунули

зонтик.

Глава двенадцатая

Самые разнообразные впечатления, эпизоды, любопытные факты и события приносили быстро катящиеся парижские дни. Всего не упомнишь, обо всем не расскажешь. Но нельзя не вспомнить о совершенно своеобразной эпопее, вошедшей в память моего поколения под названием «Губерт в стране чудес». Что это за история, отголоски которой дают себя знать и по сей день?

Вот как было дело. Среди многочисленных и сложных парижских дел Кольцов выкроил три дня, которые решил использовать для поездки в Саарскую область — богатый угольный бассейн между Францией и Германией. После Первой мировой войны Саар был отторгнут от Германии и перешел под управление Лиги Наций. По прошествии пятнадцати лет вопрос о принадлежности Саара снова встал на повестку дня: то ли оставаться ему под Лигой Наций, то ли быть возвращенным Германии, иными словами, стать частью агрессивного гитлеровского рейха. Этот вопрос должен был решить предстоящий всенародный референдум. Незачем говорить, что исход референдума был вопросом жизни и смерти для саарских коммунистов, рабочих-антифашистов, других прогрессивно настроенных жителей.

Кольцов вместе с Марией Остен колесили на машине по области, над которой, как потом писал Кольцов в своем очерке, уже зловеще шелестели коричневые крылья — террористической предвыборной пропаганды гитлеровцев: голосовать за присоединение к рейху. Михаил и Мария заезжали в общественные организации, клубы, частные дома: всюду царили тревога, напряжение, неуверенность. На исходе последнего дня они заехали в крохотный городок Оберлинксвайлер на самой границе с рейхом и посетили семью шахтера-коммуниста Иоганна Лосте. Их внимание обратил на себя бойкий и смышленый паренек, десятилетний Губерт. Он очень толково и грустно рассказывал о тяжелых нравах в школе, куда он ходит, о классном наставнике, который называет его не иначе, как «проклятый коммунистенок», об одноклассниках, сынках местных богатеев, обещающих после референдума расправиться с его отцом-коммунистом и со всей его семьей.

И тут Кольцову, как это часто с ним бывало, пришла в голову интересная идея. А что, если этого саарского пионера перенести, как в сказке, отсюда, где коммунистов преследуют и угнетают, в легендарную Москву, где коммунистов не только не преследуют,

но где они находятся у власти? А о впечатлениях и переживаниях мальчика Мария Остен напишет книгу, название которой подсказывает всемирно известная книга английского писателя Кэрролла «Алиса в стране чудес». Родители согласились отпустить Губерта только на один год, не подозревая, конечно, что расстаются с ним навсегда. Михаил и Мария вернулись в Париж, увозя с собой Губерта, который на редкость спокойно, по-взрослому отнесся к резкой перемене в своей судьбе.

Пребывание наше в Париже заканчивалось. Подходил к концу и Лейпцигский процесс, сделавший Георгия Димитрова из малоизвестного болгарского коммуниста всемирно прославленным революционером-трибуном. Рассказывали анекдотический факт: мужественное поведение Димитрова на процессе в Лейпциге, его остроумные и находчивые ответы председателю суда и выступавшему от обвинения Герману Герингу приводили всех в такое восхищение, что даже болгарский посол в Париже, представитель находившегося под гитлеровским влиянием правительства Болгарии, не скрывая своей патриотической гордости, воскликнул на каком-то приеме: «Ну, как вам нравится наш Димитров?!»

Мария с Губертом отправились в Москву кружным путем через Австрию и Чехословакию, а мы с Кольцовым — напрямик через Германию, с которой Советский Союз находился в нормальных дипломатических отношениях. О том, как в этой взбудораженной, кипящей противоречиями и ожесточенными столкновениями Веймарской республике пришел к власти Гитлер, а не Тельман, лучше всего расскажет роман Лиона Фейхтвангера «Успех». В этом романе живо и ярко описывается поис-тине фантасмагорический успех некоего Алоиса Кутцнера, в котором нетрудно узнать Адольфа Гитлера. Надо сказать, что власть в Германии Гитлеру далась не так просто. Он преодолел немало препятствий, в том числе и нескрываемую антипатию к нему президента Гинденбурга. Престарелый фельдмаршал не выносил наглого и крикливого авантюриста, презрительно называл его «этот богемский ефрейтор», но вынужден был его назначить рейхсканцлером после того, как гитлеровцы получили абсолютное большинство в германском парламенте — рейхстаге, председателем которого стал ближайший соратник Гитлера военный летчик Герман Геринг.

Этому предшествовали любопытные и драматические обстоятельства. Присущая немцам педантичность не позволяла им нарушить традицию, по которой первое заседание рейхстага открывает старейший депутат. На этот раз, как назло, старейшим депутатом оказалась член коммунистической фракции

семидесятипятилетняя Клара Цеткин, проживающая в Москве. О том, что происходило дальше, мы узнаем от специального корреспондента «Правды» Михаила Кольцова, сопровождавшего ее в поездке.

«С утра Берлин полон слухами и полицией. К полудню слухов прибавляется. Полиции тоже. Центр столицы наводнен и оцеплен полицейскими отрядами. Они стоят цепями, разъезжают на грузовиках, мотоциклах, велосипедах. На ближайших к рейхстагу улицах совершенно приостановлено движение.

Слухи текут и проникают через все оцепления и заграждения. Они противоречат один другому, создают картину, полную неопределенности и растерянности.

Осмелится ли старая коммунистка выйти на председательское кресло перед лицом фашистов?.. Хватит ли у семидесятипятилетней старухи сил выступить перед этим сборищем врагов?

…Три часа. В зале мертвая тишина. В двери входит и медленно идет к трибуне седая Клара. Ее ведут под руки две женщины — коммунистические делегатки. И в этот момент, когда Клара поднимается на ступени президентской трибуны, тишину разрушают громовые приветствия коммунистической фракции.

Трижды раздается «Рот фронт!» в притихшем зале. Клара поднимается на трибуну. Она занимает председательское место.

…В рейхстаге ждали, что Клара ограничится несколькими словами официальной формулы открытия и этим закончит свою «демонстрацию». Вместо этого рейхстаг вынужден в первый и, может быть, в последний день своего существования услышать большую политическую большевистскую речь…

— …Я открываю рейхстаг, выполняя свой долг как старейший депутат. Но я надеюсь, что еще буду иметь радость дожить до того, что открою как старейший делегат первый всегерманский съезд Советов».

Тут была одна подробность, которой Кольцов не привел в своем очерке, но мне о ней рассказал. Когда Клара произнесла слова о том, что она надеется снова выступить в качестве старейшей делегатки, то сидевший в первом ряду, заложив ногу на ногу, Геббельс со смехом пропел куплет из популярного тогда кинофильма «Венский конгресс»: «Только раз бывает это в жизни и не повторится никогда».

Мы пробыли в Берлине три дня. Свинцовая печать страха, насилия и средневекового мракобесия лежала на столице Германии. Крючковатые лапы фашистской свастики, казалось, тянулись к горлу людей из-за каждого угла, с каждого здания, с

каждой страницы геббельсовского «Ангриффа» и «Фёлькишер беобахтер» — руководящих газет гитлеровской партии. Витрины и прилавки магазинов были завалены подарками (мы оказались в Берлине накануне Рождества), рекомендованными к обмену между благонадежными «истинными» немцами: святочный дед, на животе которого изображены свастика и надпись «Германия пробудись!»; богатейший выбор портретов Гитлера и нацистских флажков всех размеров; оловянные штурмовики и эсэсовцы с броневичками и пулеметами; игрушечный полицейский набор — резиновая дубинка, пистолет и наручники; далеко не игрушечные, а самые настоящие кинжалы с выгравированной на рукоятке свастикой и надписью на лезвии «Кровь и честь»; кожаные и коленкоровые (смотря по цене) альбомы для составления арийской родословной в каждой порядочной истинно немецкой семье и много, много других, столь же «симпатичных» и «полезных» предметов.

Я смотрел на штурмовиков и эсэсовцев с тем же ощущением, с каким в годы Гражданской войны разглядывал на улицах Киева петлюровских бандитов, — со странной смесью любопытства, отвращения и профессионального интереса карикатуриста. Они и в самом деле были как бы сошедшими со страниц газет и журналов карикатурами — эти надутые, красномордые лавочники с выпученными оловянными глазами, в нелепых круглых кепи, в туго обтягивающих толстые зады бриджах. Заносчивые и наглые повадки, пародийно утрированные жесты «гитлеровского приветствия», заимствованного у друга Гитлера — Муссолини, который, в свою очередь, скопировал его с древнеримского приветствия времен цезарей. Утробно-рявкающее «Хайль Гитлер!» Все это напоминало плохую театральную постановку, о которой пишут в рецензиях, что режиссер не нашел свежих красок в изображении врагов, показав их примитивными, трафаретными приемами.

Особенное отвращение чисто эстетического порядка вызывал коричневый цвет гитлеровского воинства. Правда, этот коричневый цвет различных оттенков, от кофейного и охристо-кирпичного до неприличного желтого, уже явно начал отступать перед черным цветом эсэсовских мундиров. Гитлер неуклонно избавлялся и расправлялся со своими «старыми бойцами», штурмовиками, которые помогли ему прийти к власти, — теперь он окружил себя более надежными и готовыми на все эсэсовцами и гестаповцами. Были беспощадно уничтожены ближайшие соратники — один из основателей нацистской партии Георг Штрассер, начальник штаба штурмовых отрядов Эрнст Рём и другие видные нацисты.

(Подобный опыт повального истребления старых соратников, свидетелей скромных заслуг пробившегося к высшей власти вождя, был вскоре с большим успехом использован в Советском Союзе так же пробившимся к неограниченной власти «Великим Вождем и Учителем», которого мало кто знал в первые годы после захвата власти в Октябре.)

«Удостоился» я лицезреть и самого фюрера. Это было на известной Вильгельмштрассе — улице, где расположены высшие правительственные учреждения. Проходя как-то здесь, я увидел множество одетых во все черное эсэсовцев. Зловеще-траурный цвет фуражек и мундиров подчеркивался белыми кантами и белыми кругами со свастикой на кроваво-красных нарукавных повязках. Здоровенные, рослые головорезы выстраивались шпалерами вдоль тротуаров, бесцеремонно оттесняя публику к стенам домов. Это было похоже на очередную облаву, и я, не желая со своим советским паспортом вляпаться в какую-нибудь историю, стал поворачивать обратно. Как раз в эту минуту из-за чугунной ограды рейхспрезидентского дворца вышла суетливая группа каких-то чинов, впереди которых, ни на кого не глядя, надвинув на глаза зеленую плюшевую шляпу, шагал Гитлер, уткнувши острый треугольный нос в клочкообразные усы. На нем были защитного цвета дождевик и широкие черные брюки. Он был явно чем-то недоволен и раздражен — очевидно, очередным неприятным разговором с престарелым президентом-фельдмаршалом Гинденбургом. Увидев свою столь знакомую модель, я невольно приостановился, глядя, как угрюмый рейхсканцлер усаживается в машину. Заметив, однако, устремившийся на меня ледяной и угрожающий взгляд эсэсовца, счел за благо не задерживаться и ускорил шаг… Взвыли сирены, фюрер сделал небрежную отмашку правой рукой в ответ на приветственное рявканье эсэсовцев — и машины рванули с места…

…На германской пограничной станции мы с Кольцовым ждем поезда с советской стороны. На безлюдной привокзальной площади яркими огнями горит огромная рождественская елка. Вместо традиционной звезды она увенчана светящимся портретом Гитлера. Одновременно из черного радиорепродуктора разносится по площади пронзительный и каркающий его голос. В эту минуту он выступает в излюбленном своем месте — на спортивном стадионе Берлина. Я расстаюсь с «третьей» Германией. «Четвертую» — послевоенную, побежденную, разгромленную, мрачную Германию я увижу через 12 лет.

…Суд в Лейпциге закончился вынужденным оправданием трех болгарских коммунистов, единственным поджигателем

рейхстага признан психически и умственно неполноценный голландец Ван дер Люббе. Но Кольцов в сильной тревоге: ведь фактически Димитров остался в лапах гитлеровских тюремщиков, и прежде всего своего лютого врага Геринга. Им нетрудно будет найти способ расправиться с отважным революционером. И уже в Москве брат облегченно вздыхает: правительство Советского Союза официально уведомило правительство рейха, что оно удовлетворило просьбу Димитрова и его товарищей о принятии в советское гражданство и просит незамедлительно отправить их в Москву. Дня через два Кольцов заехал за мной по пути на аэродром, где мы стали свидетелями, безусловно, исторического события — приезда вырванного из лап гитлеровских палачей Георгия Димитрова. Прямо с аэродрома кавалькада машин проследовала в гостиницу «Центральная», где состоялась первая пресс-конференция. Мне запомнились два вопроса и два ответа:

— Товарищ Димитров! Вы не могли бы охарактеризовать одним словом то, что произошло в Лейпциге?

— Одним словом? Это, пожалуй, трудно, но я скажу: это была провокация.

— Товарищ Димитров! Что вы намерены делать после необходимого отдыха и лечения?

— Ответ мой весьма прост: я — солдат Коминтерна и буду свою солдатскую службу продолжать.

Однако «простым солдатом Коминтерна» Димитров не остался. Как это не раз у нас бывало, он молниеносно поднялся до вершин партийной иерархии, заняв пост председателя Коминтерна. То был подлинно его «звездный час». И нетрудно понять, насколько почетно и престижно было то, что он счел нужным написать предисловие к вышедшей в скором времени книге Марии Остен «Губерт в стране чудес».

Книга Марии Остен была отлично издана большим тиражом и великолепно оформлена полиграфически. Но «гвоздем» в ней, несомненно, был фотоснимок, полученный Марией при содействии Кольцова от помощника Сталина Поскребышева. Фотография изображала «Отца народов», держащего на руках свою дочь Светлану, уже довольно взрослую девочку. Подобное внимание вождя к книге о Губерте было в ту пору делом нешуточным. Губерт стал чрезвычайно популярной фигурой, судьба саарского пионера заинтересовала сотни тысяч советских пионеров. К книге были приложены конверт с адресом журнала «Огонек» и листок с одним-единственным вопросом: «Должен ли Губерт вернуться домой в Саар или пусть остается в Советском Союзе?»

Между тем ответ на этот вопрос дала сама жизнь.

Референдум в Саарской области вынес решение в пользу присоединения Саара к гитлеровскому рейху. Отец и братья Губерта успели бежать во Францию, нашли там работу, но не избежали гестаповских репрессий, когда Франция была оккупирована Гитлером. Губерт, естественно, остался в СССР, получил здесь образование, вступил в комсомол, женился, но скоро пришло время, когда «Страна чудес» обернулась для него колючей проволокой ГУЛАГа.

…Середина 30-х годов — время замечательных творческих и общественных успехов Кольцова. Он всюду поспевает. В «Правде» изо дня в день появляются его фельетоны и статьи на самые актуальные международные и внутренние темы. Некоторые его выступления на страницах «Правды» ставят новые назревшие общественные, городские проблемы, решение которых он же и осуществляет. Скажем, такие фельетоны, как «Хочу летать», «Пустите в чайную», «Дача, так дача», «Три дня в такси», «Пять дней в ЗАГСе», «Семь дней в классе» и другие. Непосредственным результатом этих очерков и фельетонов были строительство подмосковной зоны отдыха для москвичей — «Зеленого города», создание агитационной эскадрильи самолетов имени Максима Горького, упорядочение таксомоторного парка Москвы, устранение безобразий в столичных загсах и многое другое.

Кольцову недостаточно, что возглавляемое им Журнально-газетное объединение отлично работает, выпускаемые им журналы, газеты, книжные серии расходятся большими тиражами; он затевает в помещениях ЖУРГАЗа приемы, на которых деятели советской культуры встречаются с иностранными журналистами, писателями, артистами.

На этих приемах — на редкость оживленно, непринужденно и весело. Звучит чудесный голос Ивана Козловского, молодой кукольник Сергей Образцов из-за своей портативной ширмы уморительно показывает вызывающих гомерический смех персонажей популярных романсов. Поэты читают стихи, люди общаются, знакомятся, болтают. То тут, то там возникает легкая подвижная фигура председателя ЖУРГАЗа. В одном месте он знакомит жизнерадостного шумного толстяка, чехословацкого писателя, с золотоволосой женой маленького взъерошенного поэта. В другом — вставляет несколько слов в ожесточенный спор красивого седеющего кинорежиссера с насупленным, плохо побритым критиком. Тут — бросает задорную реплику театрально разглагольствующему щеголеватому дипломату, там — несколькими спокойными фразами ликвидирует готовую вспыхнуть ссору между обидчивым «ответственным работником» и ядовитым автором злободневной комедии. Он обменивается

дружеской шуткой с двумя так непохожими друг на друга соавторами популярного юмористического романа, успевает шепнуть мне на ухо сделанное им веселое наблюдение и, мгновенно став абсолютно серьезным и собранным, вступает в деловой разговор с настороженным и подозрительным французским корреспондентом.

Фигура брата, его почти мальчишеское лицо, все его существо как бы заряжены электричеством. Вокруг него создается своего рода магнитное поле: он стремится к людям, людей притягивает к нему. Вряд ли здесь найдется человек, который не имел бы что ему сказать, не хотел бы что-то у него спросить, выяснить или просто побалагурить. Кольцов широко раскрыт для всех. У него находится слово для каждого, он всегда готов и к дружбе, и к бою, всегда готов ответить улыбкой на улыбку, колкостью на колкость, остротой на остроту, ударом на удар. Таков он и здесь, и в работе, и в жизни.

Но все-таки в чем секрет? Как он справляется с десятком дел одновременно? На этот вопрос мы находим вразумительный, на мой взгляд, ответ в воспоминаниях Татьяны Тэсс. Она рассказывает, как присутствовала на приеме посетителей в редакции «Правды»:

«…Наблюдая, как он разговаривает с посетителями, я думала о том, что этот человек только что провел совещание в ЖУРГАЗе, прочел верстку «Огонька», переговорил с десятком сотрудников, подписал десяток бумаг, продиктовал очередной фельетон, написал письмо А. М. Горькому… Его ждут сейчас во множестве мест, а он сидит за большим столом, вертит в пальцах карандаш и внимательно слушает дотошного старичка в брезентовой куртке, неторопливо и подробно разъясняющего важность нового способа повышения всхожести семян… Как его хватает на все это? Как удается ему со всем этим справляться без малейшего признака суетливости? Улучив минуту, я, не удержавшись, сказала Кольцову об этом.

— Э! — засмеялся он. — Секрета тут нет. Надо только, чтобы каждое дело, которым ты в данную минуту занимаешься, казалось тебе самым важным делом на свете. Только и всего».

Я целиком разделяю эту характеристику журналистки и писательницы Татьяны Тэсс, хочу только одно добавить: самым важным на свете было для Кольцова поступать согласно здравому смыслу, не замутненному никакими побочными соображениями. Но не забудем, что он должен был подчиняться жесткой партдисциплине, от которой были свободны Алексей Толстой, Илья Эренбург, другие беспартийные писатели — «инженеры человеческих душ».

Кстати сказать, мне довелось своими ушами услышать, как Сталин произнес в доме у Горького это крылатое определение писательской профессии. Вот как это произошло.

Глава тринадцатая

Горы статей и книг написаны об Алексее Максимовиче Пешкове, который в начале своего литературного пути начал писать в газетах под затейливым псевдонимом Иегудиил Хламида, а несколько позже избрал себе более простое и, может быть, более соответствующее духу того времени имя — Максим Горький. Под этим именем он достиг всенародной, а потом и всемирной славы. Достаточно перечесть хотя бы двадцатистраничную статью о Горьком в Большой Советской Энциклопедии, чтобы получить представление о поистине гигантских масштабах и фантастической сложности его деятельности — писательской, общественной, политической, культурной. Напомню, что Горький вошел в сознание людей моего поколения сразу после его написанных на рубеже веков и ставших хрестоматийными «Песни о Соколе» и «Песни о Буревестнике». Он навсегда остался для нас в ореоле революционного глашатая-бунтаря, борца за высокую нравственность, гуманизм и справедливость, непримиримо воюющего своими произведениями против угнетения и унижения человеческого достоинства, против эксплуатации, против самодовольного мещанства. Все это, повторяю, широко известно, я не берусь это повторять, а намерен рассказать только о личных своих встречах с этим легендарным человеком и о своих, сугубо личных, наблюдениях. При этом надо учесть, что я пишу об этом спустя добрых семьдесят лет, когда мы больше знаем и, пожалуй, больше понимаем о событиях прошлого.

Впервые я своими глазами увидел Горького на перроне Белорусского вокзала. Из окна вагона он приветливо помахивал рукой многочисленным встречавшим его людям. Вместе с ними он вышел на запруженную народом привокзальную площадь, сопровождаемый неистовыми криками «Ура!» А встречавший его от имени правительства Николай Бухарин с энтузиазмом закричал: «Максимыч опять с нами!» Горький был явно взволнован, растроган, даже прослезился (что, как известно, было ему свойственно) и, поднявшись на стоящий у выхода из вокзала грузовик, произнес несколько благодарственных слов.

Как известно, Горький покинул родную страну прежде всего потому, что ему далеко не во всем была по душе политика советской власти. Его заступничество за отдельных писателей, ученых и других представителей интеллигенции, попавших в застенки ЧК, вызывало недовольство и саркастическое отношение Ленина к этому заступничеству. Впрочем, возможно, что

Горькому кое-кого удалось спасти от расстрела. В связи с обострением туберкулеза и необходимостью лечения, Горький летом 1921 года с согласия Ленина выехал сначала в Германию и Чехословакию, а затем прочно обосновался в Италии. Надо сказать, что свою практическую эмиграцию из Советской России он осуществил весьма осторожно и корректно, не примкнув к таким ранее эмигрировавшим ненавистникам советской власти, как Бунин, Куприн, Мережковский, Зинаида Гиппиус, а поддерживал прочные связи и переписку с Россией, принимал приезжавших гостей из Советского Союза. Все это выглядело вполне естественно и благопристойно.

Но проходил год за годом, и постоянное проживание Горького за границей приобретало несколько другую окраску и начинало вызывать недоумение. Это было отчетливо выражено в известном стихотворении Владимира Маяковского:

Я не лезу
ни с моралью,
ни в спасатели,
Без иронии,
как писатель
говорю с писателем.
Очень жалко мне, товарищ Горький,
что не видно
Вас
на стройке наших дней.

Думается, однако, что вряд ли облеченные в стихотворную форму упреки и призывы побудили Горького расстаться с лазурным небом Италии. И не поток писем из Советского Союза (несомненно, организованный соответствующими инстанциями), в которых дети, рабочие, крестьяне, деятели культуры, всевозможные общественные организации слезно призывали великого писателя вернуться на родину. В решение этого вопроса вступили более мощные силы, более действенные рычаги.

И, если коротко назвать причины возвращения Горького, то они очень просты — он понадобился Сталину. В голове «Вождя и Учителя», видимо, уже созревали далеко идущие зловещие планы, и он спокойно, цинично рассчитал, что при осуществлении этих планов и замыслов ему, Сталину, чрезвычайно полезно присутствие всемирно известного писателя с его огромным авторитетом, престижем и популярностью. И Горький был доставлен в Москву, торжественно возведен в сан непререкаемого главы советской культуры и литературы, осыпан

неслыханными почестями — древний город Нижний Новгород переименован в город Горький, именем писателя названа главная улица столицы, его имя присваивается заводам, шахтам, колхозам, совхозам, институтам, паркам и так далее. Даже Московский Художественный театр, который больше всего связан с пьесами Чехова, отныне именуется «МХАТ имени Горького». Алексею Максимовичу отводятся три комфортабельных особняка — в Москве, Подмосковье и в Крыму.

Вряд ли можно предполагать, что Сталин купил Горького всеми этими и другими благами, но факт остается фактом, что, вернувшись на родину, Горький не перестает восхищаться достижениями «Союза Советов» (так Алексей Максимович упорно именовал Советский Союз) — страны, где, по выражению Горького, неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина. Одновременно он яростно опровергает и высмеивает «клеветнические вымыслы» об ужасах раскулачивания, голода, о нарастающих политических репрессиях, об инсценированных политических процессах. В частности, Алексей Максимович публикует статью под названием «Гуманистам», в которой гневно обрушивается на Альберта Эйнштейна и Томаса Манна, осмелившихся поднять голос протеста против казни обвиняемых по делу так называемой Промпартии, которые якобы были повинны в причинах голода.

В этот период Горький неустанно выступает на страницах газет со статьями, которые можно было уподобить неким наставительным проповедям по самым разнообразным вопросам — литературным, общественным, нравственным. Кого-то он при этом хвалил, кого-то ругал, кого-то высмеивал, но общим знаменателем его высказываний была, по сути дела, безоговорочная поддержка всех сталинских мероприятий — политических, хозяйственных, культурных, кадровых, а также и карательных. (Вспомним хотя бы небезызвестную поездку группы писателей во главе с Горьким на строительство Беломорско-Балтийского канала и посещение «СЛОНа» — Соловецкого лагеря особого назначения — для политических заключенных.) Расчеты Сталина на пользу, которую принесет возвращение Горького, целиком и даже с лихвой оправдались…

…Вскоре после импозантной встречи на Белорусском вокзале мне довелось увидеть Алексея Максимовича поближе — он счел нужным посетить редакцию «Известий», где в кабинете его старого друга, главного редактора И. И. Скворцова-Степанова состоялась товарищеская встреча с группой сотрудников. Горький держал себя очень просто, благодушно, немного рассказал об Италии, а потом высказал несколько соображений об

ответственной роли печати, и в частности «Известий», в деле строительства социализма в стране. Эта встреча была, естественно, запечатлена фотографом «Известий», и на снимке нетрудно заметить, что Горький смотрит в объектив как-то весьма настороженно, почти тревожно. Это объясняется тем, что в ту пору фотографирование сопровождалось яркими вспышками магния, которых он не выносил.

А еще через некоторое время я получил возможность видеть и слышать Горького совсем близко — это было за обеденным столом на квартире у Михаила Кольцова, с которым у Алексея Максимовича установились весьма дружеские отношения на почве совместного редактирования журналов «За рубежом», «Наши достижения» и других изданий, выпускаемых Журнально-газетным объединением.

За обедом шла непринужденная живая беседа. Горький был в хорошем настроении, рассказывал всякие забавные истории. Мне запомнился, между прочим, его рассказ о Бунине, который, испытывая антипатию к Горькому, обвинил его в бездушном отношении к собственному родному брату.

— А у меня-то и братьев никогда не было, — сказал Горький, как-то комично, вроде виновато разводя длинными руками.

Уже уходя, прощаясь, он вдруг обратился ко мне:

— А вы, оказывается, карикатурист. Мне сказал Михаил Ефимович.

— Да, Алексей Максимович, — сказал я. — И давно, еще с Гражданской войны.

— Позвольте, позвольте… Так это вы Ефимов? Так это вы меня изобразили шагающим босиком с сапогами за плечами. Похоже, похоже. Впрочем, бывало, и сапог не было. А интересная это штуковина — карикатура. Капризное искусство, но нужное. Полезное. Оно требует — хорошо видеть и тонко изображать смешное.

И повторил:

— Хорошо видеть и тонко изображать. Общественно значительное и полезнейшее искусство.

Это определение карикатуры, между прочим, впоследствии вошло в статью Горького о творчестве художников Кукрыниксов, названных им «единосущной и нераздельной троицей»…

Резиденцией Горького в Москве был определен вычурный особняк на Малой Никитской улице, построенный архитектором Шехтелем в стиле модерн для известного миллионера Рябушинского. Теперь там расположен Дом-музей Горького. Когда мне приходится бывать в этом музее, передо мной невольно встают картины прошлого — тех лет, когда здесь жил и работал

Горький под бдительной охраной и неусыпным наблюдением соответствующих органов, возглавлявшихся пресловутым Генрихом Ягодой. Сюда наезжал Сталин, сопровождаемый, как правило, Молотовым или Ворошиловым. Здесь Горький читал в присутствии Сталина и Ворошилова вслух свое произведение «Девушка и Смерть», которое, как известно, Сталин удостоил отзывом: «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете».

Много зловещих тайн хранят стены этого дома. Здесь кишели, сплетались, переплетались и не прекращались сложные политические интриги, низкие карьерные расчеты и даже любовные страсти, достойные пера Александра Дюма или еще более Мориса Дрюона, здесь давали волю низменным поползновениям, циничным и подлым замыслам. Никто не может знать, умер ли Максим Горький своей смертью или же ему помогли уйти в «мир иной», чтобы он не «путался под ногами» и не надоедал Хозяину просьбами о смягчении участи своих старых друзей, соратников Ленина — Каменева, Бухарина и других. Никто не знает истинную причину смерти Максима Пешкова, сына Горького. Никто не знает, какую роль сыграл в этом доме зловещий Генрих Ягода своими амурными устремлениями. Мне как-то рассказывал писатель Лев Никулин, часто бывавший у Горького, что однажды, проходя через одну из комнат, он наткнулся на жестокого главу ОГПУ — НКВД, который, поникнув головой, горько плакал. Оторопев от страха, Никулин на цыпочках вышел из комнаты. Ни для кого не было тогда секретом, что грозный Ягода страстно влюблен в жену Максима Пешкова…

Здесь же в огромной комнате, служившей Рябушинскому столовой, происходило писательское собрание, созванное Горьким для обсуждения вопросов литературы.

Отправляясь туда, Кольцов посоветовал мне пойти вместе с ним.

— Думаю, там будет интересно. Послушаешь и Горького, и самых известных наших писателей.

Мы пришли задолго до начала собрания. Кольцов поднялся в апартаменты Горького, а я остался в подвальном этаже, где встретил нескольких знакомых мне работников «органов». Они сидели за столом, что-то выпивали и чем-то закусывали. Мне гостеприимно предложили принять участие в трапезе и сразу угостили «Степной устрицей». Суть угощения состояла в следующем: надо было залпом выпить стакан голландского джина и тут же моментально проглотить сырое яйцо. Я довольно лихо проделал эту процедуру, заслужив одобрение всей компании. В этот момент кто-то вбежал и, понизив голос и переведя дух,

произнес:

— Ребята! Приехал Хозяин. Начинается совещание.

Забыв о «Степной устрице», все устремились наверх, и я увязался вместе с ними. Конечно, никто не посмел войти в зал, где происходило собрание, и мы расположились в соседней комнате, откуда все было видно и слышно. И я своими глазами увидел Сталина, усевшегося чуть-чуть позади. Горького, который на этом собрании председательствовал.

«Отец всех народов» сидел, время от времени раскуривая трубку и сохраняя абсолютно бесстрастное выражение лица, с которого зорко смотрели чуть-чуть прищуренные глаза, слушал выступавших со своего места писателей. Его молчаливое присутствие вносило в атмосферу совещания некую леденящую скованность.

И говорили литераторы, как-то осторожно подбирая слова, явно избегая каких-либо категорических и конкретных мнений, предпочитая общие обтекаемые фразы, не забывая при этом напомнить о великих достижениях строительства социализма под мудрым руководством товарища Сталина и самокритично подчеркнуть, что писатели «в большом долгу перед народом».

Сталин выслушивал эти речи, на мой взгляд, совершенно равнодушно, но терпеливо. В зале постепенно и незаметно воцарялась скука. Но вдруг возникло некоторое неожиданное и, я сказал бы, испуганное замешательство. Вот что произошло. Один из участников совещания, писатель из Сибири по фамилии, если не ошибаюсь, Зазубрин решил, очевидно, выделиться на фоне однообразных скучноватых речей оригинальным, «раскованным» выступлением. Он бодро заговорил о том, что писатель, по его мнению, должен изображать жизнь правдиво, писать о событиях и людях без прикрас, без лакировки, а честно и достоверно. Это звучало довольно убедительно, и его слушали не без интереса. Но затем его, как говорится, бес попутал, и, чтобы иллюстрировать свою мысль, он не нашел ничего лучшего, как сказать:

— Вот, например, если бы мне надо было написать о товарище Сталине. Что же, я стал бы изображать его в треуголке Наполеона? А он человек как человек. Самый обыкновенный. В помятых штанах, рябой, ничем не примечательный…

Тут сибирский писатель, видимо, понял по лицам слушателей, что «забрался не в ту степь», пробормотал еще несколько невнятных слов и умолк. Все со страхом смотрели на Хозяина, который, однако, сохранял полную невозмутимость, как будто ни единого слова не слышал. Горький сильно закашлялся и торопливо спросил, кто еще хочет выступить. Таковых не нашлось. Наступила минута томительного молчания. Я увидел,

как Сталин, не вставая со стула, наклонился к Горькому и они коротко о чем-то поговорили, после чего Горький возвестил:

— Слово имеет Иосиф Виссарионович.

Воцарилась мертвая тишина. Сталин встал, медленно прошелся взад и вперед вдоль первого ряда слушателей. Потом остановился возле Горького, выпустил клуб дыма и заговорил негромко и неторопливо. (Я, естественно, не ручаюсь за точность и стенографичность моего пересказа, но смысл сталинского выступления мне запомнился и запомнилось также, как, внимательно слушая Хозяина, Горький то и дело одобрительно кивал головой.)

Сталин высказал ту мысль, что, наряду с инженерами, работающими в сфере производства, строительства, других технических областей, не менее важную роль играют писатели, своими произведениями воспитывающие и просвещающие людей. И таких писателей можно с полным правом тоже назвать инженерами. Инженерами человеческих душ. Их роль весьма важна и ответственна, ибо если у такого писателя нет твердой и правильной политической позиции, если в нем присутствует какая-то раздвоенность, путаница в мыслях, то от такого «инженера» один только вред и от таких «инженеров» надо избавляться.

Все слушали, затаив дыхание, но гораздо большее, прямо скажу, ошеломляющее впечатление произвело то, о чем Сталин заговорил дальше, без всякой видимой связи с вопросами литературы. Так же неторопливо и обстоятельно он стал рассказывать, как, в очередной раз посетив парализованного Ленина в Горках, он услышал от него такую просьбу:

— Вы, Коба, человек твердый, я знаю. Поэтому обращаюсь именно к вам. Принесите мне яд. Я использую его, когда станет ясно, что надежды на выздоровление нет.

— Я не счел возможным, — рассказывал дальше Сталин, — самому решать такой вопрос и поставил его на Политбюро.

Писатели сидели бледные, испуганно переглядываясь, и на всех лицах был безмолвный вопрос: «Зачем он это рассказывает? Зачем он предает гласности такой чудовищный факт, что Политбюро обсуждало вопрос, надо или не надо отравить Ленина?»

Как известно, Политбюро высказалось против этого, после чего Сталин сообщил Ленину, что выполнить его просьбу не может.

Далее Сталин поделился с внимавшими ему в оцепенении писателями своим соображением, что, возможно, именно после этого случая Владимир Ильич изменил свое хорошее к нему

отношение и в своем так называемом завещании рекомендовал заменить его на посту Генерального секретаря партии другим товарищем, менее грубым и более лояльным.

Мне думается, что тут был совершенно ясный дальний расчет Сталина: он рассказал об этом факте, рассчитывая, что писатели — эти летописцы исторических событий, именно так и будут комментировать ленинское «завещание». (Кстати, насколько я знаю, сам Горький в своих как устных, так и печатных выступлениях обошел этот рассказ Сталина полным молчанием.)

Видеть и слышать Горького в следующий раз мне довелось на одном из центральных и самых значительных культурных событий тридцать четвертого года — на Всесоюзном съезде советских писателей, проходившем весьма помпезно в Колонном зале Дома Союзов при ярком свете юпитеров, громе приветствий и оркестров. Эти юпитеры, помню, очень раздражали председательствовавшего на открытии съезда М. Горького. Я слышал, как он прикрываясь от них ладонью, сердито произнес:

— Уберите эти анафемские свечки!

На съезде было много любопытного и интересного. Был большой доклад Н. И. Бухарина о советской поэзии, оппонентами которому выступали Демьян Бедный, Безыменский, другие. Помню, как Безыменский, полемизируя с Бухариным, с пафосом прочел «Стихи о советском паспорте» Маяковского. Они были встречены аплодисментами. Бухарин саркастически заметил:

— Аплодируют Маяковскому, а Безыменский принимает это на свой счет.

Доклад о советской сатире сделал Михаил Кольцов, причем высмеивал попытки перестраховщиков из РАППа воспрепятствовать изданию сатирических романов Ильфа и Петрова. Он приводил также почти анекдотическое высказывание некоего бдительного редактора: «Пролетариату рано смеяться, пускай смеются наши классовые враги».

Помню, как Горький с большой теплотой представлял съезду, как он выразился, «Гомера двадцатого века» — поэта Сулеймана Стальского. В один из дней Горький также обратился к съезду с таким ворчливым замечанием:

— Здесь очень часто упоминают имя Горького с присоединением к нему различных измерительных эпитетов — Великий, Высокий, Длинный и тому подобное. Мне думается, что этого не надо делать.

Горький с похвалой отозвался о выступлении Леонида Соболева, приведя его фразу: «Партия и правительство дали писателю все, лишив его только одного — права плохо писать», и заметил при этом:

— Отлично сказано! Отлично!

Кстати говоря, эта эффектная сентенция легла в основу блестящей карьеры Соболева, оказавшегося вскоре на посту председателя Союза писателей Российской Федерации.

В числе прочих выступил на съезде и Илья Эренбург. Он счел нужным заступиться за таких мало и редко пишущих писателей, как Бабель, Олеша и Пастернак.

В последний день съезда выступил Горький с заключительным словом, в котором он дал обзор состояния советской литературы и оценку выступлений писателей на съезде. Насколько я понимаю, в этом своем заключении Горький сказал именно *ТО* и именно *ТЕМИ СЛОВАМИ,* которых ждал от него Сталин. Это касается, в частности, такой неожиданной формулировки, очень четко перекликающейся с «инженерами человеческих душ», как «всесоюзная красная армия литераторов»… Куда-то вдруг исчезло понятие творческого объединения писателей, создающих произведения о том, что их волнует и чем они не могут не поделиться с читателями, и вместо него провозглашалась некая литературная «красная армия». В своем заключительном слове Алексей Максимович выстраивает и четкую партийную иерархию: вождь пролетариата — это партия Ленина, но вождь партии Ленина — это Иосиф Сталин.

Затем съезд принимает различные приветствия. Вот приветствие И. В. Сталину.

«…Этот исторический день наш мы начинаем с приветствия вам, дорогой Иосиф Виссарионович, нашему учителю и другу.

Вам, лучшему ученику Ленина, верному и стойкому продолжателю его дела, мы хотели бы сказать все самые душевные слова, которые только существуют на языках Союза. Имя ваше стало символом величия, простоты, силы и постоянства, объединенных в то единое и цельное, что характеризует тип и характер большевика.

Дорогой и родной Иосиф Виссарионович, примите наш привет, полный любви и уважения к вам как большевику и человеку, который с гениальной прозорливостью ведет коммунистическую партию и пролетариат СССР и всего мира к последней и окончательной победе.

Да здравствует класс, вас родивший, и партия, воспитавшая вас для счастья трудящихся всего мира!»

На заключительном заседании съезда, создавшего Союз писателей СССР, был зачитан список членов Правления СП СССР по алфавиту от А до Я и в самом конце прозвучало: «А также товарищ Щербаков». Для всех было понятно, что это — новый сталинский эмиссар, отныне отвечающий перед Хозяином за

«братьев-писателей». Председателем нового союза был, разумеется, единогласно выбран Горький. В Правление вошел также и Михаил Кольцов, занявший ответственный и престижный пост Председателя иностранной комиссии.

Алексею Максимовичу оставалось жить меньше двух лет. И это время, пожалуй, один из самых драматичных периодов его биографии. Можно не сомневаться, что он всей душой стремился в любимое Сорренто, мечтал спокойно там пожить и поработать. Но он уже стал «невыездным» и, по сути дела, заложником в особняке на Малой Никитской. В его отношениях со Сталиным наметилось, внешне, может быть, скрываемое, но неизбежно наступившее охлаждение с обеих сторон. Сталин был, несомненно, недоволен и разочарован тем, что Горький всячески уклонялся от почетной миссии написать о Сталине так, как он в свое время написал о Ленине. Горького все больше угнетала назойливая опека со стороны органов НКВД, здоровье его ухудшилось, тяжелую душевную травму ему причинила безвременная и загадочная смерть любимого сына. Он не может не замечать безжалостных расправ Сталина с людьми, имевшими независимое мнение, и полного пренебрежения к его, Горького, отрицательному отношению к этим расправам. И в то же время вынужден писать: «Непрерывно и все быстрее растет в мире значение Иосифа Сталина… Отлично организованная воля, проницательный ум великого теоретика, смелость талантливого хозяина, интуиция подлинного революционера, который умеет тонко разбираться в сложности качеств людей… Поставили его на место Ленина».

Все говорило о том, что, приехав на родину и поддержав своим всемирным авторитетом все начинания и политику Сталина, теперь Горький стал ему не нужен и даже начинал мешать.

Хочу рассказать еще об одном Максиме Горьком, судьба которого была, пожалуй, даже более трагична, который погиб после очень короткого существования, хотя был сделан из стали и других прочных материалов. Речь идет о самом большом в мире, по тем временам, восьмимоторном самолете-гиганте «Максим Горький». Его начали строить по предложению Михаила Кольцова в связи с 40-летием литературной и общественной деятельности Алексея Максимовича в 1932 году. Конструктором его был знаменитый А. Н. Туполев, за постройкой самолета наблюдал сам Кольцов. Дело было непростое и нелегкое, оно затягивалось, и Кольцову не раз приходилось выслушивать ворчливые вопросы великого писателя: «Что же это, многоуважаемый Михаил Ефимович? Когда же будет готов самолет моего имени?

Заждался…»

Впервые крылатый «Максим Горький» показался народу 19 июня 1934 года, когда он приветствовал с воздуха прибывших в Москву героев-челюскинцев. А мне довелось быть на его борту в первомайский праздник 1935 года, когда воздушный гигант пилотировали Герой Советского Союза Михаил Громов и Иван Михеев. Об этом событии в «Известиях» была напечатана моя заметка, отрывки из которой я позволю себе привести:

«Еще негромко рокоча моторами и слегка переваливаясь на неровностях почвы, «Максим» неторопливо рулит по аэродрому.

Я посматриваю кругом с любопытством и не без доли некоторого сомнения: кажется совершенно невероятным, что все это огромное сложное металлическое сооружение сможет вдруг преодолеть законы земного притяжения и вместе со своими телефонной и электростанциями, с радиорубкой, типографией и прочим хозяйством подняться в воздух!

В этот момент сдержанный рокот винтов переходит в могучий, но нисколько не оглушающий и не заставляющий повышать голос гул; постройки, виднеющиеся через окно, резко ускоряют свой встречный бег: еще 3–4 секунды — и восемь мощных советских моторов без малейшего напряжения отрывают от земли самый большой в мире самолет.

Сначала, однако, «Максим Горький» направляется в противоположную центру города сторону. Еще несколько минут полета — и на горизонте появляется туча металлических птиц. Тогда «Максим» делает величественный поворот и движется обратно, уже находясь в голове колонны военно-воздушных сил. У каждого громадного крыла «Максима» теперь плавно покачиваются неведомо откуда взявшиеся истребители.

«Максим» идет уже над однофамильной ему улицей Горького. Не убавляя хода, он немного снижается. Густая масса, заполняющая каменное русло улицы, покрывается забавными круглыми розовыми пятнышками. Это — поднятые кверху лица демонстрантов.

Командир эскадрильи Михаил Кольцов покидает свое обычное место на пороге между пилотской и штурманской кабинами. Он идет в радиорубку.

— Большевистская печать, — говорит Кольцов, — особенно горда и счастлива тем, что она может на созданном ею самолете-гиганте открывать сегодня парад военно-воздушных сил.

В эту секунду «Максим» проходит над Историческим музеем — и мы над Красной площадью! В последующие короткие мгновения глаз старается охватить всё: и полированные грани мавзолея, с которого на нас смотрят теперь Сталин и члены

правительства, и приветствующие воздушного гиганта трибуны, и четкие ряды танков, кажущиеся неподвижными, и островерхие кремлевские башни, и весь торжественный облик этой прекраснейшей из площадей мира.

Огибая столицу, «Максим» возвращается обратно и идет на посадку. Первомайский полет «Максима Горького» окончен.

Выйдя из самолета, немногочисленные пассажиры прощаются со знаменитым пилотом.

— Спасибо, Михал Михалыч, — говорю я, пожимая ему руку. — Спасибо за незабываемый полет. Дай Бог — не последний.

— Бог троицу любит, — замечает Громов. — Наверно, и третий раз полетим. Вот когда и где, не знаю».

Но после этого достопамятного полета над первомайской Москвой мне больше не доводилось встречаться с Михаилом Михайловичем. Разумеется, я хорошо знал о славных его делах, о рекордных полетах, о легендарном перелете через Северный полюс из Москвы в Америку, о том, как, командуя в звании генерал-полковника воздушной армией в дни Великой Отечественной войны, он внес достойный вклад в победу над Германией.

…В этот светлый Первомайский праздник оставалось ровно 18 дней до следующего полета «Максима Горького» над столицей. То было безоблачное погожее воскресенье, и кто-то задумал порадовать полетом над столицей тех, кто создал замечательный самолет. Несколько десятков инженеров, техников, рабочих со своими семьями заполнили кресла воздушного гиганта. За штурвалом вместо заболевшего Михаила Громова сидел его напарник, опытный пилот Иван Михеев. «Максим Горький» поднялся над Москвой. И так же, как в первомайский день, его сопровождали два истребителя. По сей день остается мрачной загадкой, кому и зачем понадобилось дать команду летчику Благину, пилоту одного из истребителей, выполнить фигуры высшего пилотажа вокруг огромного крыла «Максима Горького». Известно, что тот категорически возражал, предупреждая, что это весьма опасно. Но кому-то понадобилось на этом настаивать. Благин вынужден был подчиниться.

При выходе из «мертвой петли» летчик Благин своим самолетом ударил в крыло «Максима Горького».

«Самолет «Максим Горький» вследствие полученных повреждений от удара тренировочного самолета стал разрушаться в воздухе, перешел в пике и отдельными частями упал на землю в поселке «Сокол», в районе аэропорта.

При катастрофе погибло 11 чел. экипажа самолета «Максим

Горький» и 36 чел. пассажиров-ударников из инженеров, техников и рабочих ЦАГИ, в числе которых было несколько членов их семей.

При столкновении в воздухе также погиб летчик Благин, пилотировавший тренировочный самолет».

Митинги — по всей стране. На фабриках, заводах. В колхозах, совхозах. В учреждениях, вузах, научно-исследовательских и производственных институтах. В театрах.

Нетрудно себе представить, как эта катастрофа потрясла Горького, и без того находившегося в тяжелом физическом и душевном состоянии. Это вполне могло быть для него неким страшным предзнаменованием.

18 июня 1936 года Горького не стало.

Огромное количество статей и выступлений было посвящено его памяти. Из некоторых откликов мы узнаем, что Горький был перевезен в Москву из Крыма настолько больным, что врачи за него боялись и 1 июня его положение было признано очень серьезным. Он лежал в подмосковных Горках, и к воротам его дома была приставлена вооруженная стража. Как вспоминал французский писатель Луи Арагон, который вместе со своей женой, известной писательницей Эльзой Триоле, между прочим, родной сестрой Лили Брик, приехал из Парижа по приглашению Алексея Максимовича, их, а также бывшего вместе с ними Михаила Кольцова не впустили даже в приусадебный парк. Они долго просидели перед воротами в автомобиле и видели, как оттуда выехала машина, увозившая докторов — это было утро смерти Горького. Вот что пишет об этом Арагон:

«…18 июня, перед усадьбой… Автомобиль. Водитель спорит со стражей, цепь на воротах опускается. Это доктор. Может быть, после его визита мы будем иметь право? Михаил ходит к страже и обратно к нам. Еще проходит час. Снова выезжает автомобиль. Михаилу удается приблизиться к нему. Доктор его знает, они переговариваются… Горький умер. Нам ничего не оставалось, как уехать. У Михаила были слезы на глазах. И он все время говорил, что Старик очень хотел нас видеть перед тем, как умереть… Тогда еще никто не знал, не думал, что эта смерть после долгой болезни была убийством…»

В ночь на 20 июня состоялась кремация, и вечером урна с прахом Горького торжественно замурована в Кремлевской стене. Страна в глубоком трауре.

Через некоторое время Сталин вызвал Михаила Кольцова и поручил ему написать о Горьком массовую популярную брошюру, которая и была издана трехсоттысячным тиражом под названием «Буревестник». Эту брошюру Кольцов написал очень быстро, и,

когда он принес ее Хозяину, тот сразу прочел ее про себя в присутствии автора. Брошюра ему понравилась, и он тут же дал команду ее печатать. Потом, помолчав и раскурив трубку, сказал:

— Написано живо. Доходчиво. А что, товарищ Кольцов, неплохо бы в таком же духе написать о товарище Сталине.

Это было в его манере, говорить о себе в третьем лице.

— Я готов, товарищ Сталин, — ответил Кольцов.

— Ну, вот и отлично, товарищ Кольцов. Помирать я пока не собираюсь, успеем об этом поговорить.

Присутствовавший при этой беседе Ворошилов прибавил:

— Мы с вами, Михаил Ефимович, съездим на Ближнюю дачу. Кстати, там послушаете, как товарищ Сталин поет.

Как мне рассказывал брат, Сталин при этом усмехнулся и сказал:

— Если выпьем, то вместе и споем….

Рассказывая о Горьком, я упомянул его статью о своих друзьях-карикатуристах, «единосущной троице» — Кукрыниксах.

…Широкое, емкое это понятие — художник. Правда, по давней традиции, а может быть, в силу некой инерции мы привыкли обозначать этим словом прежде всего живописцев, графиков, плакатистов, но если подходить к этому понятию более широко, то можно сказать, что художник — это и писатель, и артист, и композитор, и конструктор, и хирург, и модельер, и токарь, и любой другой, талантливо владеющий своей профессией мастер, умелец, виртуоз.

…Три несколько застенчивых, но уже уверенных в себе паренька вошли в крохотную комнату, где располагалась редакция литературно-художественного и иллюстрированного журнала «Прожектор», издаваемого газетой «Правда». Они принесли несколько дружеских шаржей на известных советских писателей — Леонида Леонова, Всеволода Иванова, Федора Гладкова и еще кого-то. Шаржи были похожие и смешные. Они всем понравились. Понравились и сами ребята. Они оказались студентами ВХУТЕМАСа (Высших художественно-технических мастерских) — известного в ту пору художественного института. Один из пареньков был длинный, худощавый, с пышной шевелюрой и в пенсне с цепочкой за ухом, по фамилии Куприянов. Второй — ему по пояс, маленький, лысеющий, длинноносый — Крылов. И третий — красивый, с ниспадающим на лоб есенинским чубом — Соколов. Это и были всемирно известные впоследствии КУКРЫНИКСЫ.

По моему глубокому убеждению, каждый из Кукрыниксов в отдельности по своему таланту и способностям стал бы

выдающимся живописцем, карикатуристом, мастером книжной иллюстрации, но какой-то таинственный, непостижимый «компьютер» выбрал их троих среди десятков других одаренных студентов ВХУТЕМАСа, объединил, спаял и тем создал трижды талантливую, трижды трудолюбивую, трижды изобретательную и трижды остроумную «единосущную и нераздельную троицу», оставшуюся по сей день уникальной в истории мирового изобразительного искусства. Я не знаю другого подобного органичного «сродства», творческого, нравственного, интеллектуального. Эта удивительная слитность характеров и талантов оставалась нерушимой на протяжении шестидесяти пяти лет. И все эти годы меня связывала с «троицей» на редкость искренняя, подлинная, не омраченная даже тенью какой-либо зависти или недоброжелательства мужская дружба. Давно ушли в мир иной Миша Куприянов и Порфиша Крылов. Свято хранит верность их памяти Коля Соколов (Никс)[2]. И так же нерушима наша с ним дружба. Ни возраст, ни состояние здоровья не позволяют нам общаться непосредственно, но не проходит дня, чтобы мы не обменялись по телефону настроениями, новостями, мнениями обо всех происходящих в мире событиях, не поведали откровенно друг другу свои, не всегда радующие нас домашние и семейные обстоятельства.

Как-то, к двадцатилетию их совместной работы, я написал стишок, который позволю себе привести:

Я сроду не писал стихов,
Но в данном случае готов.
Не так легко мне ладить с рифмой,
Светлову, скажем, легче с ней,
Но тем, мне кажется, ценней
Сей поэтический порыв мой.
Они — ВТРОЕМ, и с той поры
Нам дорог каждый Кукрыникс:
Степенный КУ, лукавый КРЫ,
И, как всегда, веселый НИКС
Над меткою карикатурой,
Где лютый враг взбесился аж,
Попав на острый карандаш.
Их было много, кто при встрече
С оружьем КУКРОВ пострадал.
«Иных уж нет, а те далече», —
Как кто-то некогда сказал.
И я, как все, сердечно рад
Поздравить наш триумвират.

Пускай и впредь сия триада
Без промаха пронзает гада
С тройною силой и уменьем,
С тройным упорством и гореньем.
Закончить оду я спешу
(В другой раз прозой допишу).
Друзей приветствую. Ура!
Им в двадцать первый год пора.

Глава четырнадцатая

…Одним из значительных культурных событий 30-х годов был, несомненно, выход на экран первой полнометражной советской кинокомедии «Веселые ребята». В главной женской роли — Любовь Орлова, в главной мужской — Леонид Утесов. Режиссер — еще молодой Григорий Александров. Как-то в симпатичном летнем ресторанчике в садике при здании ЖУРГАЗа я оказался за одним столиком с Утесовым и взглянул на него с удивлением.

— Что с вами, Леонид Осипович? — спросил я. — Зачем вы покрасили волосы перекисью водорода?

Действительно, черноволосый Утесов превратился в светлого блондина. Утесов махнул рукой и коротко ответил, не вдаваясь в подробности:

— Снимаюсь в кино.

За обедом Утесов затронул тему, которая, я знал это, была для него больной — о присвоении почетных званий деятелям искусства, и в частности артистам. И он мастерски изобразил сценку, которую я как-то уже видел в его исполнении.

Провинциал, пришедший в клуб мастеров искусств, спрашивает у москвича:

— Скажите, пожалуйста. Кто вот это сидит за тем столом? Такой важный…

— Это? Как же. Это народный артист, орденоносец, лауреат такой-то премии… фамилию не помню.

— А вот этот? За тем столом?

— Этот? Заслуженный артист, орденоносец, дважды лауреат… Забыл фамилию.

— А вот этот?

— Дважды орденоносец. Народный артист… Забыл фамилию.

— А вот этот, только что вошел?

— Это? Да это просто Игорь Ильинский.

Эту ситуацию Утесов годами ощущал на себе. При огромной его популярности званиями и почестями его старательно обходили. Забегая вперед, напомню, что после триумфального успеха «Веселых ребят» режиссер Григорий Александров был награжден орденом, Любовь Орлова — званием заслуженной артистки республики, а Леонид Утесов, исполнитель главной мужской роли, — фотоаппаратом!..

Успех «Веселых ребят» был вполне заслуженным. Веселая, озорная комедия всем понравилась. А звонкие песни Василия Лебедева-Кумача на прекрасные запоминающиеся мелодии

Исаака Дунаевского: «Легко на сердце от песни веселой», «Сердце, тебе не хочется покоя» — поют до сих пор.

Но если оценивать «Веселых ребят» по большому счету, то, на мой взгляд, режиссура Григория Александрова далеко уступает мировым стандартам этого жанра. Я уже не сравниваю ее с великими произведениями Чарли Чаплина. Но «Веселым ребятам» далеко и до многих французских и итальянских комедий. Говоря об Александрове, отдавали должное и высоко оценивали не столько его режиссерские таланты, сколько его деловые и пробивные способности, умение завоевывать симпатии вышестоящих товарищей. В бытность руководителем кинокомитета СССР Бориса Шумяцкого Александров почти официально считался его любимчиком. Когда Шумяцкого сняли с этого поста, то, помню, кто-то заметил, что Александрову понадобится примерно минут сорок, чтобы стать любимчиком у его преемника. А когда на собрании в Доме кино прорабатывали опального Шумяцкого и заодно говорили не очень лестные слова по адресу его любимчика, то Александров уверенно заявил с трибуны:

— Да, я был у Шумяцкого любимчиком. Но это мне не давало ничего, кроме неприятностей. Там, где другие получали определенные блага, льготы, поблажки, там он мне во всем отказывал. Нет, Гриша, я не могу вам дать эту командировку (или квартиру, или автомашину), потому что обязательно скажут, что вы мой любимчик и поэтому все это получаете. Нет, нет, не просите. И я оставался «с носом», а другие все получали.

Такое «тяжелое положение» Александрова при Шумяцком вызывало некоторые сомнения, но аудитория, я видел, заулыбалась, и Александров без особых трудов вернул себе симпатии.

Известно, какое из ряда вон выходящее неуважение позволил себе Александров по отношению к Утесову, когда много лет спустя надумал изъять из фонограммы «Веселых ребят» исполнение Утесовым песен Кости-пастуха и заменить его голос, к которому привыкли миллионы зрителей, голосом другого певца.

Я как-то спросил у Утесова:

— Леонид Осипович! Объясните мне, пожалуйста. Если Александров так недружелюбно к вам относится, то почему он пригласил вас на главную роль в «Веселых ребятах»?

Утесов чуть не подпрыгнул на месте:

— Он меня пригласил?! Вы что? Не знаете, как было дело? Так слушайте!..

Утесов в ту пору жил в Ленинграде, где с огромным успехом

проходили концерты его джаз-оркестра. Чрезвычайно популярен там был и сам Утесов.

Особым успехом пользовалась его программа «Музыкальный магазин». Как-то эту программу посетил Борис Шумяцкий, она ему очень понравилась. После спектакля Шумяцкий зашел к Утесову в гримерную и предложил снять по этой программе музыкальную кинокомедию. При обсуждении кандидатуры режиссера Шумяцкий назвал фамилию Александрова, ученика Эйзенштейна, только что вместе с ним вернувшегося из Америки. Шумяцкий при этом сказал, что Александров еще самостоятельно не снял ни одного фильма, но, побывав в Америке, наверное, многому научился.

— Теперь сообразите сами, — закончил Утесов, — кто кого пригласил в «Веселые ребята»?

Надо сказать, что к недоброжелательству Александрова, к его попыткам как-то ущемить самолюбие Утесова Леонид Осипович относился достаточно спокойно, хотя это, естественно, не могло не уязвлять его. Но он реагировал на все со снисходительной иронией. И ограничивался тем, что уморительно изображал, как Александров на полном серьезе утверждает, что, будучи в Мексике, он в совершенстве освоил профессию тореадора. Причем обе ее системы — мексиканскую и испанскую. При этом Утесов снимал с себя пиджак, который в данном случае заменял красную мулету тореадора, и, перевоплотившись в Александрова-тореро, показывал, как Григорий Васильевич артистически уклоняется от мчащегося на него быка.

А дальше, рассказывал Утесов, было вот что. В числе «действующих лиц» «Веселых ребят» фигурирует, как известно, мощный бык по кличке Чемберлен. И вот Александров вместе с Утесовым едет отбирать исполнителя для этой «роли». Приезжают в какой-то колхоз. Александров обращается к сидящему на завалинке старичку:

— Дедушка, у вас тут бык есть?

— Бык? Есть. Как не быть быку. Вон он там стоит, на пастбище.

— А большой бык-то? Нам большой нужен. Посмотреть надо. Проводите нас к нему.

— Не-е. Я до него не хожу.

— Почему?

— А он уже двоих забодал.

Александров задумывается, долго смотрит на стоящего в отдалении быка и наконец говорит:

— Нет, этот бык нам по цвету не подходит.

— Гриша, — говорит Утесов, — при чем тут цвет? У нас ведь

фильм не цветной, а черно-белый. И потом, чего тебе бояться быка? Ты ведь знаешь обе системы — испанскую и мексиканскую.

— Нет, нет, — решительно говорит Александров. — Поедем в другое место.

…Торжественно отмечалось семидесятилетие Утесова в переполненном до отказа большом зале Театра эстрады. Вечер открывался в атмосфере напряженного ожидания. Всех волновало, какие вести привезет министр культуры Екатерина Фурцева. Будет ли всенародно любимому, но так часто несправедливо обойденному вниманием партийных властей Утесову воздано должное? Наконец, почти после часа томительного ожидания, появилась Фурцева.

Занавес был еще закрыт. Все мы за кулисами столпились вокруг Утесова. Фурцева стремительно к нему подошла, расцеловала его и произнесла только одно слово: «Дали!» Мы взревели от восторга, и это ликование уже при открытом занавесе перебросилось в зал. Фурцева взошла на трибуну, но успела произнести только первые слова: «Политбюро Центрального Комитета постановило присвоить Леониду Осиповичу Утесову звание…»

Дальше никто ничего не слышал — зал разразился бурной овацией.

Начались приветствия и поздравления. Среди них и от правления ЦДРИ, которое было возложено на меня. Но более замечательным было приветствие от Центрального дома кино — его с большим чувством огласил… Григорий Александров. Надо было видеть в этот момент выражение лица Утесова. Он смотрел на Александрова с каким-то ироническим любопытством: «бывают же такие люди…»

Об Утесове можно вспоминать часами, как об изумительном, непревзойденном рассказчике. Для него самого, по-моему, не было большего удовольствия, чем делиться со слушателями различными веселыми историями, анекдотами, байками и, как он выражался, «петрушками». Елена Осиповна, его супруга, бывало, говорила с характерной одесской интонацией:

— Вы спросите, что нужно Лёде? Так я вам скажу: Лёде нужны уши. Ему нужно, чтобы его кто-то слушал. Пускай один человек, пускай тысяча.

…Раз уж речь зашла о кино, мне хочется рассказать о еще одном талантливом человеке. Богато одарила мать-природа Александра Петровича Довженко, щедро соединив в одном человеке и редкостную многогранность таланта, и мужественную красоту внешнего облика. Талантливый в каждом проявлении своей беспокойной, ищущей натуры, движимый неиссякаемым

темпераментом и бунтарской неуспокоенностью, Довженко с юных лет был одержим разнообразнейшими планами, увлечениями, проектами. Его все интересует, все трогает, все привлекает. В своей автобиографии он признается: «Мне хотелось как бы разделиться на несколько частей и жить во многих жизнях, профессиях, странах и даже видах».

Такая кипучая творческая переполненность подчас явно мешала Александру Петровичу разглядеть в себе и определить главное свое призвание. Интересы его были столь разнообразны, что порой тянули его к таким далеким от искусства профессиям, как мореходство и разведение рыб. Можно не сомневаться, что при удивительной одаренности Довженко из него мог бы получиться первоклассный капитан дальнего плавания или знатный рыбовод. Однако мне думается, мы должны быть глубоко благодарны судьбе за то, что она подарила нам Довженко-драматурга, Довженко-публициста, Довженко-артиста и объединившего их всех Довженко-кинорежиссера. Неудивительно, что в этой великолепной довженковской многоликости отступил на задний план и несколько стушевался скромный Довженко-карикатурист. Но именно о нем мне, его коллеге по сатирическому жанру, хочется сказать несколько слов.

Незаурядные способности и любовь к рисованию проявились у Александра Петровича в самом юном возрасте. Одно время он, как и некогда молодой Маяковский, серьезно подумывал о том, чтобы стать профессиональным живописцем, и в 1918 году поступил в киевскую Академию художеств. В последующие несколько лет Довженко как будто окончательно определяется как живописец. Он устраивает у себя дома художественную мастерскую и с азартом человека, дорвавшегося до любимого дела, берется за кисть. В своей живописи он, как и во всем, проявляется самобытно и оригинально. Настойчиво и одержимо ищет свои, никем не протоптанные и никем не изведанные пути, экспериментирует, ошибается… учится… переживает удачи и неудачи. Он все делает самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи. Ему трудно, но интересно и радостно работать.

Много лет спустя Довженко вспомнит об этом периоде своей жизни: «…У меня была вера в свою способность и глубокая уверенность, что лет через десять — пятнадцать упорного труда я выработаюсь в хорошего художника». Однако в предвидении будущих благ молодому живописцу-энтузиасту необходимы средства к существованию сегодня. И Довженко решительно берется за более оперативный и доходный жанр — графику. Он участвует в различных литературных изданиях Харькова, создает книжные и журнальные иллюстрации и наконец становится

постоянным карикатуристом газеты «Вісті».

Так случилось, что приблизительно в тот же период (это было время Гражданской войны на Украине) судьба забросила меня в Харьков, где я работал в Управлении агитпунктами Политотдела Юго-Западного фронта. Бывал я и в редакции «Вісті», куда приносил карикатуры на злободневные темы. Но столкнуться с Сашко (газетный псевдоним Довженко) мне как-то не довелось. А жаль!

Сатирический диапазон Сашко был довольно разнообразен. Из-под его карандаша с легкостью выходили и острые политические карикатуры, и юмористические зарисовки, и дружеские шаржи на литераторов, артистов, критиков — веселые, озорные рисунки, пронизанные наблюдательным лукавым юмором. Нам трудно теперь судить о степени портретного сходства этих шаржей, однако заметим, что среди них имеется и «автошарж» Довженко. По нему вполне можно судить о том, как искусно и безошибочно схватывал художник и внешнее сходство, и внутреннюю психологическую характеристику. С удивительной точностью передан в автошарже сосредоточенный и пристальный взгляд Довженко, запечатлены его упрямо наклоненная вихрастая голова, независимая осанка. Это человек, способный твердо отстаивать свое мнение.

Среди политических рисунков Довженко особый интерес представляют иллюстрации к «Истукреву» (сатирической «Истории украинской революции») писателя-юмориста Котко. С презрительной насмешкой изображает Сашко пресловутого «головного отамана» Симона Петлюру, удирающего огромными заячьими прыжками… Он спасается от гнева украинского народа («Бигун Петлюра»). А вот и другой «бигун» — Деникин, забравшийся от страха в некий ночной сосуд, из которого только и виднеется, что пышный генеральский эполет.

Не менее выразительны и другие карикатуры Сашко, изобразительный язык которых по-народному грубоват, но зато предельно выразителен. Довженко-карикатурист не ставит себе целью корректно иронизировать, он не прибегает к тонким намекам и изысканным комическим метафорам. Нет! Его простой, лишенный околичностей, прямой и беспощадный юмор метко бьет по цели.

Довженко не стал политическим карикатуристом. Его властно притянул к себе кинематограф, искусство динамичное, таящее огромные возможности. Кстати сказать, Довженко, по его собственному признанию, пришел в кинематограф с намерением ставить комедийные фильмы, и прежде всего остросатирические. Рассказ о первых шагах его в искусстве мне хочется дополнить

небольшим воспоминанием более позднего времени.

Где-то в начале 30-х годов Роман Кармен, впоследствии известный кинематографист, с которым мы дружили, пригласил меня к себе домой на маленькое семейное торжество: его ребенку исполнилось полгода. Впрочем, «к себе домой» — это не совсем точно сказано, потому что своей жилплощади у Кармена тогда еще не было. Вместе с молоденькой прелестной женой они жили в уставленной бесчисленными книжными шкафами квартире ее отца — видного партийного деятеля Емельяна Ярославского. Гостей было немного, кроме меня, еще только двое. Это была уже тогда хорошо известная, а ныне, можно сказать, легендарная чета — Александр Довженко и Юлия Солнцева.

За маленьким столом со скромным угощением было удивительно симпатично и душевно. Юлия Ипполитовна рассказывала разные забавные истории, Кармен живо и остроумно описывал отдельные эпизоды знаменитого Каракумского автопробега, в котором он незадолго до того принимал участие в качестве кинооператора. Наша беседа, наверное, так и прошла бы до конца в духе непритязательного и веселого застолья, если бы Довженко не был Довженко — патетическая приподнятость и философская романтичность были свойственны ему не только в творчестве, но и в жизни. Он задумался, внимательно поглядывая на молодых супругов, и наконец, слегка нахмурившись и ни на кого не глядя, заговорил:

— Я что сказать хочу… Вот они сидят тут… Молоденькие… По сути, совсем еще дети… А ведь у них тут за стеной, рядом, уже свое малое дитя спит… Крохотное существо… А ведь уже человек! Так это ведь есть наше новое поколение! Наше грядущее! И кто, как не мы, старшие, в ответе за него перед страной. Перед историей! И если мы все… Все!.. Если мы не обеспечим, не охраним таким вот малышам счастливую жизнь на земле… счастливую жизнь!., то зачем мы тогда, спрашивается, живем на земле? Зачем?! — Он поднял рюмку с вином. — Так пусть же они, молодые, будут счастливы. И дитя их счастливо. Иначе и быть не может и быть не должно!

Все были искренне взволнованы. Марианна, жена Кармена, сердечно обняла Александра Петровича. Кармен растроганно жал ему руку. Мы с Солнцевой дружно зааплодировали. Все встали с рюмками в руках и выпили до дна.

Юлия Солнцева была в дружбе с женой Михаила Кольцова

Елизаветой Николаевной и вместе с Довженко бывала у них в гостях. Однажды Довженко, немного встревоженный, рассказал Кольцову о небольшом эпизоде, происшедшем на обсуждении недавно вышедшего его фильма «Земля». В этом фильме

Довженко сопоставляет трагическую гибель героя со сценой, где его невеста в отчаянии мечется, обнаженная, по комнате. Один из выступавших, весьма дородный товарищ, ему, Довженко, незнакомый, издевательски отозвался о «пристрастии уважаемого кинорежиссера к показу голых баб». Возмущенный такой грубостью, Довженко со свойственной ему эмоциональностью заметил, что физиономия выступившего с такой «критикой» товарища очень напомнила ему некоторые части тела «голой бабы». Потом ему сказали, что этим критиком был не кто иной, как известный поэт Демьян Бедный.

— Говорят, Михаил Ефимович, он тут пользуется большим влиянием? — без особого волнения, но озабоченно спросил Довженко.

— Да, Александр Петрович, — сказал Кольцов. — Зря вы это… Как бы он вам не навредил.

Но дальнейшее показало, что навредить Александру Петровичу Демьян Бедный не смог даже при большом желании по той простой и основательной причине, что к Довженко проявил интерес и благосклонность сам Сталин. Хозяин не раз охотно встречался и беседовал с Довженко, чего ни разу не были удостоены другие выдающиеся кинорежиссеры, такие, как Эйзенштейн, Пудовкин, Ромм. Больше того, на одном из приемов в Кремле Сталин сказал, указывая на Довженко:

— За ним долг — украинский «Чапаев».

И добавил:

— Не подумать ли вам, товарищ Довженко, о Щорсе?

Это надо было понимать как прямое указание. И фильм о Щорсе действительно в недалеком будущем появился, однако, к сожалению, не стал «вторым “Чапаевым”». Но это, надо сказать, нисколько не уменьшило благосклонности Сталина к Довженко. За фильмы «Щорс» и «Мичурин» Довженко были присуждены Сталинские премии.

Кто возьмется объяснить, почему произошло явное охлаждение Сталина к Довженко? Хозяин был, как известно, человеком капризным и непредсказуемым. Возможно, ему не пришелся по вкусу предложенный Александром Петровичем сценарий фильма об Отечественной войне. Но факт таков, что на одном из приемов в Кремле, как рассказывали, Сталин неожиданно заметил, обращаясь к Довженко:

— Мы на вас возлагали большие надежды. Вы этих надежд не оправдали.

И повернулся к нему спиной…

Впоследствии мне не раз доводилось видеть Довженко, слышать его выступления на всевозможных творческих диспутах

Дома кино, на конференциях, съездах. Хорошо запомнился мне Александр Петрович, выступавший на Втором съезде советских писателей. Его речь тогда немного удивила и, рискну сказать, ошарашила аудиторию. Он вдруг заговорил о «кривых Гаусса» и начал развивать мысль о предстоящем, по его мнению, возникновении в искусстве космической темы. Помню, как изящны и артистичны были его движения, когда он, стоя на трибуне, широкими пластичными взмахами рук показывал устремление ввысь. В зале переглядывались, некоторые пожимали плечами с добродушными улыбками (…Ох, уж этот Довженко!..), но слушали с интересом. После этой речи известный поэт, председательствовавший на съезде, не преминул, поблагодарив Александра Петровича за интересное выступление, юмористически порекомендовать следующим ораторам «не слишком отрываться от грешной земли» и вернуться к более конкретным и неотложным проблемам советской литературы.

А между тем не за горами был уже полет Гагарина…

…Я хотел бы оговориться, что в середине 30-х годов в Москве происходило гораздо больше интересных событий в области культуры, искусства и общественной жизни, чем те, о которых я здесь рассказываю как непосредственный их очевидец и участник. Мне думается, что это вполне естественно: ведь я не мог все видеть, все знать, при всем присутствовать. И, естественно, в моем изложении отсутствуют многие замечательные спектакли и выставки, театральные премьеры, культурные мероприятия, другие памятные события. Тем более что я не был заядлым театралом, завсегдатаем наиболее нашумевших и сенсационных постановок. Я, например, редко бывал в Большом театре, но все же видел балет «Ромео и Джульетта» с тонкой, лиричной Галиной Улановой, видел балет «Дон Кихот» с пламенной, вихревой Китри — Ольгой Лепешинской. Малый театр, признаться, мое поколение посещало мало: репертуар, основанный на пьесах А. Н. Островского, казался нам консервативным и устаревшим. С другой стороны, перестал быть «властителем дум» и неистовый новатор Всеволод Мейерхольд. Гораздо охотнее посещался Камерный театр — вотчина более понятного и менее театрально-условного Александра Таирова. С огромным удовольствием публика смотрела (а сам я ходил несколько раз) оперетту «Жирофле-Жирофля» в условно-авангардистском оформлении братьев Стенбергов и с веселым злободневно-озорным текстом поэтов Арго и Адуева. В этом тексте были, вспоминаю, такие забавные пассажи. Отец двух девушек-близнецов Жирофле и Жирофля (их, естественно, играла одна и та же актриса Спендиарова), папа Болеро, подглядывая за одной из них,

уединившейся со своим женихом, радостно сообщает своей супруге:

— Они целуются. На Шипке все спокойно!

— Что ты мелешь? — вопрошает жена. — Какая Шипка?

— Понятия не имею. Должно быть, в тексте ошибка.

Или в другом месте:

— Может быть, у него есть богатый дядюшка в Америке? — говорит папа Болеро, на что следует резонная реплика супруги:

— Болван! Америка еще не открыта!

И тому подобные забавные репризы (жалко, что этот очаровательный спектакль не возобновляется в нынешнем театре имени Пушкина, заменившем таировский Камерный).

С должным уважением относились к МХАТу, хотя я, признаюсь, ходил не на все его спектакли. Но смотрел не без удовольствия и «Горячее сердце», и «Мертвые души» с Борисом Ливановым — Ноздревым, и отличную инсценировку «Пиквикского клуба», и «Лизистрату» с изумительными декорациями Исаака Рабиновича, создавшего на сцене великолепную панораму античной Греции.

К прекрасным достижениям МХАТа следует отнести и две классические оперетты, ярко и живописно поставленные В. И. Немировичем-Данченко: «Дочь Анго» и «Перикола». Но, конечно, самым нашумевшим и действительно популярным стал спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Дни Турбиных». Для меня он был особенно волнующим, ведь в нем шла речь о событиях, мною непосредственно пережитых в Киеве восемнадцатого года: тревожных и трагических днях гетманщины и петлюровщины. Замечательным был и актерский состав спектакля: и великолепный Николай Хмелев — русский офицер-патриот Алексей Турбин, и неподражаемый Марк Прудкин — адъютант гетмана Шервинский, и совершенно очаровавший зрителей дебютировавший в этом спектакле Михаил Яншин — Лариосик.

А самым любимым и посещаемым был, безусловно, Театр имени Вахтангова. Здесь мы не пропускали ни одной премьеры. Никогда не уйдут из памяти неувядаемая «Принцесса Турандот» с Цецилией Мансуровой и Юрием Завадским, «Егор Булычов» с Борисом Щукиным и другие не менее яркие спектакли. Но наибольший успех, и притом абсолютно заслуженный, имела «Интервенция» — пьеса Льва Славина в постановке Рубена Симонова и Иосифа Раппопорта. С первого же спектакля стал знаменит и сам Раппопорт в роли Фильки-анархиста с его забавным самопредставлением: «Дух разрушающий есть дух созидающий. Филипп — свободный анархист». Стали крылатыми и другие реплики действующих лиц. Огромный успех имела

актриса Синельникова в роли неподражаемой одесской барыни мадам Ксидиас, артист Куза в роли большевика-подпольщика Мишеля Бродского, другие талантливые вахтанговцы.

Глава пятнадцатая

30-е годы с самого их начала, кроме уже описанных мною событий и обстоятельств, принесли мне чрезвычайные сложности личного и семейного характера, от которых, вероятно, никто не застрахован, но от этого нисколько не легче. Наверно, я не буду оригинален, если скажу, что очутился в той ситуации, когда человек не в состоянии пожертвовать ни одним, ни другим владеющим им чувством. Он мечется в безвыходном тупике, терзая себя и других. И это тянется годами. К тому же сложности душевные, неразрешимые проблемы личные и семейные повлекли за собой несусветные трудности и сложности чисто бытовые, житейские, жилищные. Нет смысла посвящать читателя в запутаннейшие квартирные обмены, переезды и снова обмены, и снова переезды. Достаточно сказать, что я прошел в эти годы через все мыслимые перепады квартирных условий. Приходилось даже ощущать себя, выражаясь современным языком, «бомжем», то есть лицом без определенного места жительства. Приходилось жить и в страшной коммуналке, подлинной «вороньей слободке» из романа Ильфа и Петрова, и находить приют на раскладушке у родителей, и занимать огромную, комфортабельную кооперативную квартиру, которая после новых сложных разменов тоже превращалась в коммуналку. И при этом, разумеется, ни на один день нельзя было прекращать работу — ведь на моих плечах были две семьи.

Одним из самых памятных событий тридцать пятого года стала для меня поездка в Киев. Давно хотелось мне увидеть город своего рождения, город незабываемых бурных и драматических событий Гражданской войны. Тринадцать лет назад я расстался с Киевом, но мои «киевские корни» давали себя знать. А повод для поездки достаточно основателен. И тут опять-таки неизменная забота и инициатива брата: он берет меня с собой на предстоящие под Киевом небывалые по размаху военные маневры. И мы едем туда в специальном поезде главы военного ведомства маршала Ворошилова. К слову сказать, маршальское звание установлено совсем недавно и его удостоены только пять человек: прославленные полководцы Гражданской войны Ворошилов, Буденный, Блюхер, Тухачевский, Егоров. Напомню, забегая вперед, что другие старые воинские звания — полковник, подполковник, майор, капитан — появились после этих самых маневров, а генеральские звания только на второй год войны.

Уже в пути в наше купе заглядывает Рудольф Хмельницкий, адъютант Ворошилова, и сообщает, что маршал приглашает к

себе на обед. Позволю себе, кстати, упомянуть, что еду я в полном военном обмундировании, как и, естественно, Кольцов, с той разницей, что петлицы на моей гимнастерке пустые, а у него по три ромба в каждой — знаки, соответствующие званию комкора, на которое он имеет право, как командир Всесоюзной агитэскадрильи имени Горького. За столом у наркома непринужденно, весело и хлебосольно. Люди преимущественно военные, единственный штатский — это Алексей Стецкий, завкультпропом ЦК.

Ворошилов приветливо осведомляется: потребляет ли лейтенант (то есть я) водочку. Я отвечаю, что для такого случая не откажусь, и нарком наливает мне большую рюмку. Разговор вертится главным образом вокруг новых, уже утвержденных и еще предстоящих воинских званий. Ворошилов вдруг спрашивает:

— А сколько маршалов было у Наполеона?

Видимо, этот вопрос уже изучался, потому что он немедленно получает ответ от своего помощника Григория Штерна:

— Двенадцать.

…Киев встретил хорошей погодой, приподнятым настроением киевлян, для которых эти маневры помимо своего чисто военного значения стали ярким всенародным праздником. Я нацепил на околыш своей фуражки белую ленту, что означало статус «посредника» и давало мне право беспрепятственно появляться как на стороне «красных», так и на стороне «синих», на которых была разделена армия, участвовавшая в маневрах. Я повсюду сопровождал Кольцова, обходившегося без белой ленты, но которому никто не чинил никаких препятствий: три ромба, видимо, производили немалое впечатление. Я видел маршала Тухачевского, очень эффектного в белом кителе, стремительно появлявшегося и так же стремительно куда-то удалявшегося. Видел и энергичного, загорелого, моложавого командира Якира, темпераментно разъяснявшего группе иностранных атташе тактику воздушного десанта.

Яркое и радостное зрелище представляло собою парадное вступление в город уже не «красных» и «синих», а единых войск Красной армии, тогда искренно любимой и уважаемой народом. Вдоль улиц шеренги ликующих людей. В окнах, на балконах ковры, цветы и красные флаги. Даже на крышах полно веселых, улыбающихся, смеющихся горожан. А в передней машине торжественного кортежа их стоя приветствуют, раскланиваясь на обе стороны, два прославленных героя Гражданской войны, а ныне два маршала Советского Союза — Ворошилов и Буденный.

Немало общеизвестных исторических достопримечательностей хранит в себе Киев. Но для меня там

есть и достопримечательности чисто личные. Это дом на Подоле, на углу Спасской и Межигорской улиц. Дом солидный, крепкий, незыблемо стоящий, к которому я неизменно подхожу, когда бываю в Киеве. В этом доме я родился. Я и на этот раз подъехал к нему. Вошел во двор, внимательно оглядел: стоит как ни в чем не бывало. И, наверно, меня надолго переживет.

И еще два дома вошли в мою жизнь. Они стоят рядышком на Большой Васильковской улице под номерами 32 и 34. Дом № 32 принадлежал итальянцу Рицолатти, владельцу магазина мраморных изделий, кстати, он и парадную лестницу в доме соорудил из белого мрамора. В квартире № 21 на втором этаже слева я прожил вместе с родителями с 17-го по 22-й год. В соседнем доме № 34 жила семья девушки, с которой в двадцатом году мы поженились. В бурные дни переворотов и уличных боев, когда опасно было высовываться на улицу, мне нетрудно было общаться с «дамой моего сердца», перелезая через забор, разделявший наши дворы. Об этом я размышлял теперь, в году тридцать пятом, подходя к домам на Большой Васильковской. Я открыл парадную дверь, увидел знакомую беломраморную лестницу, поднялся на второй этаж, подошел к двери квартиры № 21 и остановился. Остановился и задумался: «А зачем я, собственно, туда войду? Что я скажу там чужим людям? Что я лет пятнадцать тому назад жил в этой квартире? Ну и что?» Я вышел на улицу и мною овладела лирическая грусть: «Мне тридцать пять лет, а сколько я смогу прожить? Самое большее — семьдесят. Значит, я прожил половину жизни. Да, прожито полжизни. А она далеко не устроена…»

Что касается Кольцова, то ему было не до лирических воспоминаний и сопоставлений. Он был слишком занят оперативной журналистской работой — корреспонденциями в «Правду» о маневрах, и в частности написанием литературных портретов свежепроизведенных в новые воинские звания: одного полковника, одного капитана и одного лейтенанта.

Вскоре после киевских маневров я вернулся к своим повседневным делам: политическим карикатурам в «Известиях» и «Крокодиле», откликающимся на важнейшие международные события, связанные с нарастающей агрессией германского фашизма. Приходилось заниматься и своими бытовыми проблемами. А Кольцов улетел в Париж. У него была непростая и нелегкая миссия: проведение Международного конгресса писателей в защиту культуры от фашизма. Официально это было возложено на куратора Союза писателей СССР товарища А. С. Щербакова. Но, поскольку отношение Александра Сергеевича к художественной литературе ограничивалось тем,

что внешне, грузной фигурой, коротким носом и очками он был похож на Пьера Безухова, одного из героев романа «Война и мир», то вся тяжесть этой сложнейшей работы легла на руководителя секретариата конгресса Михаила Кольцова. О чем достаточно убедительно рассказывает в своих воспоминаниях Илья Эренбург.

Успешный результат конгресса дался ценой огромных усилий. Чрезвычайные трудности создавали отсутствие на конгрессе Максима Горького и Ромена Роллана, недостаточно четкая позиция Анри Барбюса, разногласия между видными французскими и немецкими писателями. Осложнило ситуацию и высказывание французского писателя-коммуниста Леона Муссинака, обращенное в секретариат Кольцову:

«…В работе сильно мешает Эренбург, который распространяет среди писателей слухи, что это предприятие интриганское…»

Кольцов не хуже Муссинака видел все сложности взаимоотношений, но он очень ценил участие Эренбурга в конгрессе и его авторитет среди французских писателей. Он делал все, чтобы сохранить Эренбурга для конгресса. Привожу подлинное, сохранившееся письмо Эренбурга к Кольцову:

«Дорогой Михаил Ефимович! Вы мне сообщили, что хотите снова выдвинуть меня в секретари Ассоциации писателей. Я прошу Вас вычеркнуть мое имя и освободить от данной работы… Если я иногда что-либо знал о Конгрессе, то исключительно от Вас. Считаю необходимым указать, что лично с Вашей стороны я встречал неизменно товарищеское отношение, которое глубоко ценю. С приветом *Илья Эренбург».*

Щербаков был, естественно, полностью в курсе всех сложностей проведения конгресса и усилий Кольцова эти сложности преодолевать. Надо ли объяснять, что в основе большей части разногласий лежало убеждение многих на Западе, будто порядки в СССР в смысле подавления всякого инакомыслия немногим лучше, чем режим в гитлеровской Германии.

По возвращении в Москву Щербаков, приглашенный к Сталину вместе с Кольцовым, сделал подробный доклад о всех перипетиях конгресса. Сталин очень интересовался ходом конгресса, придавая большое значение его роли в повышении авторитета Советского Союза за границей. Его также интересовала деятельность и советской делегации, и отдельных ее членов. Хозяин обратил внимание на неодобрительный отзыв Щербакова о поведении Эренбурга и обратился к Кольцову:

— Товарищ Кольцов, вы рекомендовали Эренбурга в секретариат конгресса?

Это был не столько вопрос, сколько напоминание.

— Да, товарищ Сталин. У Эренбурга хорошие связи с французскими писателями. Его там широко знают.

— Он вам помогал в возникших трудностях?

— Товарищ Сталин, у него часто бывало свое мнение.

— А вы могли его вышибить? Не могли вышибить? Значит, нечего теперь жаловаться, — сказал Хозяин и при этом неодобрительно взглянул на Щербакова.

Рассказывая мне об этой встрече, Кольцов заметил, что ни малейшего неудовольствия по адресу Эренбурга Сталин не проявил, и мы пришли к выводу, что его вполне устраивало «особое мнение» Эренбурга по отношению к руководству делегации, а возможно, оно было запланировано.

Видимо, это было нужно Хозяину как доказательство и свидетельство, говоря современным языком, нашего плюрализма во взглядах и мнениях.

Однажды, когда я был дома у Кольцова, туда пришел крайне взволнованный Эренбург.

— Что с вами, Илья Григорьевич? — спросил Кольцов. — Что-нибудь случилось?

Оказалось, тревога Эренбурга вызвана тем, что происходит какая-то странная задержка с разрешением ему возвратиться в Париж. В атмосфере тридцать восьмого года такое обстоятельство вызывало естественную тревогу. Кольцов стал успокаивать его, говоря, что тут, несомненно, какое-то случайное недоразумение, обещал выяснить, в чем дело. Он, действительно, выяснил, помог — Эренбург получил заграничный паспорт и благополучно уехал во Францию.

Кстати сказать, такую ответственную роль — почти «оппозиционера», Илья Григорьевич успешно исполнял и в последующие годы. Не этим ли, между прочим, надо объяснить его удивительную, просто загадочную «непотопляемость» при многих самых опасных ситуациях. Образно говоря, он «выходил сухим из воды» там, где других поглощали злые волны репрессий. Его не тронули, когда многие, вернувшиеся из Испании, исчезали в подвалах и лагерях; он уцелел в «ежовщину» тридцать седьмого года и «бериевщину» последующих годов; его не коснулась расправа с безродными коспомолитами; он благополучно остался в стороне, когда уничтожали Антифашистский еврейский комитет… И хотя Эренбург много раз подвергался резкой, разгромной критике и балансировал, что называется, на грани катастрофы — все как-то обходилось благополучно. Он вновь благоденствовал, осененный высокими наградами, премиями, званиями. И мирно скончался в почете, уважении, славе.

…Вспоминая 30-е годы, я не могу не сказать, что среди

разнообразной и многоплановой деятельности Кольцова по-прежнему, как говорится, «имели место» его упорные попытки «подорвать» партийный авторитет. Словно ему было мало неприятного урока с публикацией «Ленинградской карусели» в журнале «Чудак», который в результате был закрыт под соусом слияния его с «Крокодилом». Лет через пять после этого, как я уже упоминал, редактором «Крокодила», по счету седьмым, был назначен он же — Кольцов. И с чего же начал он свое редакторство? С опубликования своего зубодробительного фельетона «Телятина, грубо говоря».

На сей раз речь шла о высшем командном составе Северо-кавказского военного округа (ишь, на кого замахнулся!). С беспощадной сатирической злостью фельетон рассказывал, как командование округа обманным путем получило из ставропольского животноводческого совхоза несколько сотен чистопородных племенных телок и бугайков якобы для укомплектования стада военкоопхоза, после чего все до единой скотинки были забиты и съедены.

Фельетон начинается с чисто кольцовской юмористической интонации:

«Телятина и теленок — это, грубо говоря, одно и то же. Теленок почти весь состоит из телятины. Попробуйте-ка спорить. А телятина — из чего состоит она?»

Но далее автор перестает шутить и уже не столько с иронией, сколько со сдержанной яростью требует привлечь к ответственности и тех, кто допустил это варварское хищничество, и тех, кто о нем знал, но предпочел замять, а «телячьи вопли» заглушить безукоризненными докладами о важном значении племенного молодняка и недопустимости истребления такового.

Надо сказать, что подобные «попытки подорвать авторитет партийных кадров», а в переводе на простой русский язык — хлесткие сатирические удары по зажравшимся партийным и советским вельможам, лакировщикам и перестраховщикам, как нельзя более близкие бойцовскому темпераменту Кольцова-публициста, занимали важнейшее место и в работе Кольцова-редактора. И отнюдь не прибавляли ему симпатий руководящих товарищей. В частности, нельзя не вспомнить фельетон «Личный стол» (так в ту пору назывался нынешний отдел кадров), который Кольцов написал для «Крокодила», но потом для большей его эффективности решил опубликовать в «Правде». Надо себе представить зловещую атмосферу того времени, насыщенную неистовыми призывами к бдительности и широко поощряемым «стукачеством», чтобы понять «крамольность» заключительных строк кольцовского фельетона:

«…Старая, бессмысленная, иногда лживая бумажка может спеленать сильного, честного, полезного обществу работника.

Они называют себя бдительными, эти столоначальники, для которых — сначала бумажка, а затем человек. Но бдят они преимущественно на страже своего собственного благополучия, личной своей безответственности, личного спокойствия, за счет чего угодно, и прежде всего за счет бережного отношения к живому человеку».

Не меньшую ярость вызывает у Кольцова поощряемое сверху безмерное и беспардонное бахвальство везде и во всем. Вот что он пишет в фельетоне «Похвала скромности»:

«Куда ни глянь, куда ни повернись, кого ни послушай, кто бы что ни делал — все делают только лучшее в мире.

Лучшие в мире архитекторы строят лучшие в мире дома. Лучшие в мире сапожники шьют лучшие в мире сапоги. Лучшие в мире поэты пишут лучшие в мире стихи. Лучшие актеры играют в лучших пьесах, а лучшие часовщики выпускают первые в мире часы.

Уже самое выражение «лучшие в мире» стало неотъемлемым в словесном ассортименте каждого болтуна на любую тему, о любой отрасли работы, каждого партийного аллилуйщика, каждого профсоюзного Балалайкина. Без «лучшего в мире» они слова не скажут, хотя бы речь шла о сборе пустых бутылок или налоге на собак».

Кольцов отлично понимал, что подобное дерзкое высмеивание «повышенной бдительности», усиленно сверху нагнетаемой, едкий сарказм по адресу неприличного самовосхваления, которое тоже всячески поощрялось партийным руководством, вряд ли придется по вкусу Хозяину. Но он продолжал искренно верить в здравый смысл и чувство юмора Сталина. Все это очень мало похоже на старательное угодничество перед ним, которое кое-кто бессовестно и злостно пытается приписать Кольцову даже спустя много лет после его трагической гибели.

Нельзя вспомнить о тридцать шестом годе, чтобы сразу же не встало перед нами событие, навсегда вошедшее в мировую историю. 18 июля этого года над Пиренейским полуостровом прозвучал мирный и ласковый, а на самом деле зловещий и кровавый радиосигнал: «Над всей Испанией безоблачное небо». Этот сигнал обозначил начало военного мятежа против правительства Испанской республики, провозглашенной пять лет назад. Это было начало ожесточенной и упорной гражданской войны. Во главе мятежников стоял генерал Санхурхо, но он погиб в первые же дни мятежа в авиационной катастрофе, и его сменил

генерал Франко.

События в Испании, можно сказать, взбудоражили весь мир. Особенно живой отклик, искреннее сочувствие и солидарность испанский народ нашел в СССР.

Я зашел в редакцию «Правды», чтобы узнать последние новости из Испании, и брат показал мне копию подписанного редактором «Правды» Мехлисом письма в Политбюро с просьбой утвердить направление товарища Михаила Кольцова специальным корреспондентом газеты в Испанию. Последние четыре слова этого письма гласили: «Согласие товарища Сталина имеется». Кольцов хорошо знал Испанию, он не раз бывал в этой удивительной романтической стране. Он написал о своих впечатлениях книгу «Испанская весна», рассказывал в ней о крушении испанской монархии, о победе Народного фронта, о руководителях испанской компартии: неистовой Пасионарии Долорес Ибаррури, бесстрашном Хосе Диасе. И теперь опять Испания!..

Вот запись из «Испанского дневника» от 8 августа 1936 года:

«…И, чем ближе к городу, с первыми улицами предместий, вступаешь в поток раскаленной человеческой лавы, неслыханного кипения огромного города, переживающего дни высшего подъема, счастья и безумства. …Заражаясь все больше этим настоенным в воздухе волнением, слыша, как тяжело колотится собственное сердце, с трудом продвигаясь в сплошной толчее, среди молодежи с винтовками, женщин с цветами в волосах и обнаженными саблями в руках, стариков с революционными лентами через плечо, среди портретов Бакунина, Ленина, Жореса, среди песен, и оркестров и воплей газетчиков, мимо свалки со стрельбой у входа в кино, мимо обугленных развалин церквей, в смешанном свете неоновых реклам, огромной луны и автомобильных фар…»

Можно сказать без преувеличения, что война в Испании разделила людей на два непримиримых лагеря: одни страстно желали победы Франко, другие всей душой были за республику. И, конечно, в таких ситуациях находятся люди, желающие сохранять нейтралитет, сторонники невмешательства. Очевидно, именно они и создали пресловутый Комитет по невмешательству в испанские дела, заседавший в Лондоне. Наряду с другими странами в этот комитет вошли Германия, Италия и Советский Союз. Но это была чистая формальность. Ни Гитлер, ни Муссолини, ни Сталин и не думали отказываться: одни — помогать Франко, а другой — помогать республике.

Непрерывным потоком шло вооружение: для мятежников — из Германии и Италии и так же точно из СССР —

республиканцам. Потом уже совершенно открыто на стороне Франко появились целые итальянские дивизии и целые германские воздушные эскадрильи, нещадно бомбившие позиции республиканцев и самый Мадрид. Естественно, что расположенные к Испании гораздо ближе, чем Советский Союз, Италия и Германия имели гораздо больше возможностей помогать испанским фашистам, военное преимущество Франко непрерывно и неудержимо нарастало и превратилось в полное превосходство. Республика отчаянно сопротивлялась. Ей беззаветно и отважно помогала знаменитая Интернациональная бригада из добровольцев разных стран, убежденных антифашистов. Помогали советские военные советники, специалисты, летчики, танкисты. Но война была проиграна.

Самоотверженно сражался за Испанскую республику и спецкор «Правды» Михаил Кольцов. Конечно, он, согласно своей природе и своему характеру, сразу вышел за пределы чисто журналистской деятельности. За самое короткое время он стал признанным и авторитетным политическим советником при республиканском руководстве. Вот что вспоминал впоследствии Эренбург:

«…Трудно себе представить первый год испанской войны без М. Е. Кольцова. Для испанцев он был не только знаменитым журналистом, но и политическим советником. В своей книге «Испанский дневник» Михаил Ефимович туманно упоминает о работе вымышленного мексиканца Мигеля Мартинеса, который обладал большей свободой действий, нежели советский журналист».

Мигель Мартинес — это дань требованиям «невмешательства». Вот почему не советский журналист Михаил Кольцов, а «небольшого роста мексиканский коммунист Мигель Мартинес» вместе с рабочими дружинниками штурмует крепость Алькасар в Толедо, в которой засели франкисты. Не Михаил Кольцов, а Мигель Мартинес с пистолетом в руке пытается остановить дрогнувших под бешеным огнем из Алькасара и обратившихся в бегство дружинников. Это Мигель Мартинес, «озверев от обиды, вытащив пистолет из-за пояса, останавливает солдат, просит, умоляет, он тычет, как пальцем, дулом пистолета в их или собственную свою грудь, он ругается плохими ругательствами своей страны. Но нет, вся группа катится по склону обратно вниз и еще вниз, еще обратно… Штурм не удался».

Такое сочетание журналиста и бойца поражало современников. Такой вдумчивый и наблюдательный писатель, как Эрнест Хемингуэй, в своем знаменитом романе «По ком

звонит колокол», посвященном событиям гражданской войны в Испании (он был свидетелем этих событий), упоминает о некоем русском журналисте небольшого роста по фамилии Карков. Он пишет, что «не встречал еще человека, у которого была бы такая хорошая голова, столько внутреннего достоинства и внешней дерзости и такое остроумие».

В романе Хемингуэя есть замечательный эпизод. Действие происходит в штабе генерального комиссара Интернациональных бригад, небезызвестного Андре Марти, некогда честного революционера, а ныне превратившегося в человека, одержимого патологической подозрительностью и шпиономанией. Он приказывает арестовать и намеревается расстрелять двух партизан, перебравшихся через линию фронта с важным донесением республиканскому командованию. Над партизанами нависает неминуемая смерть, и в этот момент в штабе случайно появляется Карков.

«…Марти встал. Он не любил Каркова, но Карков, приехавший сюда от «Правды» и непосредственно сносившийся со Сталиным, был в то время одной из самых значительных фигур в Испании».

Затем Хемингуэй рассказывает, как по настоянию Каркова Марти вынужден освободить обоих партизан и отправить их в республиканский штаб. Далее мы читаем:

«Андре Марти смотрел на Каркова, и его лицо выражало только злобу и неприязнь. Он думал об одном: “Прекрасно, Карков, хоть вы и влиятельный человек, но берегитесь”».

То была не пустая угроза. Донос Андре Марти на Каркова — Кольцова, клеветнический и злобный, был много лет спустя обнаружен в личном архиве Сталина.

С Хемингуэем связан еще один любопытнейший эпизод. В отель «Гейлорд», который был штаб-квартирой русских в Мадриде, часто приходили и Хемингуэй, и Мальро, и другие иностранцы, чтобы отогреться и подкормиться. И там Кольцов познакомил Хемингуэя с легендарным партизаном-подрывником Ксанти — подпольная кличка Хаджи Мамсурова, впоследствии Героя Советского Союза и генерал-полковника. Вот что рассказывает об этом сам Ксанти:

«Еще в Мадриде Кольцов сказал, что хочет познакомить меня с большим американским писателем.

— А на кой черт он мне нужен? — Должен признаться, что фамилию Хемингуэя я слышал тогда впервые.

— Он хочет посмотреть отряды, расспросить тебя, — объяснил Кольцов.

Это мне совсем не понравилось, поскольку я строжайше

соблюдал конспирацию. Однако Кольцов настаивал…

Встреча с Хемингуэем была не из приятных. В нашем роду никто не пил. Я и сейчас не люблю пьяных людей, подвыпившие компании. Тогда же совсем не переносил запаха водки, коньяка. А Хемингуэй был нетрезв. Хемингуэй почему-то говорил по-французски, и Кольцов переводил. Хемингуэй слушал, записывал и все время прикладывался к стакану с вином. Его очень забавляло, что я не пью. Помнится, в тот вечер я сказал Кольцову, что мне не нравится этот американец. Но Михаил Ефимович вновь настаивал на подробном рассказе, объяснил, как важно, чтобы Хемингуэй написал правду об Испании».

Из этого простодушного рассказа Хаджи Мамсурова мы узнаем, как и он, и Кольцов внесли немалый вклад в создание романа «По ком звонит колокол», и за создание этого романа можно простить Хемингуэю, что он часто прикладывался к стакану с вином.

Пробыв в охваченной огнем Испании восемь месяцев, Кольцов в апреле тридцать седьмого года ненадолго приехал в Москву, овеянный славой боевого журналиста. На Белорусском вокзале его встречала, как принято говорить, вся Москва. Я встретил его значительно раньше, на советской границе. Об отношении к Кольцову в ту пору выразительно говорят вот эти строки Константина Симонова:

«Мы все читали «Испанский дневник» Кольцова. Читали с гораздо большим интересом, чем что бы то ни было, кем бы то ни было написанное об Испании, в том числе даже чем корреспонденции Эренбурга».

А писатель Лев Славин в своих воспоминаниях о Кольцове рассказывает, что, когда Всеволод Вишневский вернулся из поездки в Испанию, то, выступая на собрании, восклицал: «Мы дали Испании танки, мы дали Испании самолеты, мы дали Испании Михаила Кольцова!»

На торжественном приеме в Кремле после первомайского парада среди множества застольных здравиц прозвучал и тост из уст Климента Ворошилова:

— Товарищи! Сейчас происходит война в Испании. Упорная война, нешуточная. Воюют там не только испанцы, но и разные другие нации. Затесались туда и наши русские. И я предлагаю поднять бокалы за присутствующего здесь представителя наших советских людей в Испании — товарища Михаила Кольцова!

Подойдя чокнуться со Сталиным, Кольцов позволил себе заметить:

— Если бы у них больше порядка, товарищ Сталин…

На что Сталин хмуро сказал:

— Слабые они. Слабые…

А дня через три Кольцова вызвали к Сталину. В кабинете Хозяина, кроме него самого, находились Молотов, Ворошилов, Каганович и Ежов. Расхаживая взад и вперед по кабинету и покуривая трубку, Сталин задавал Кольцову вопросы, касавшиеся буквально всего, что происходило в Испании. Остальные сидели молча. С ответом на один из вопросов Кольцов немного замешкался. Сталин остановился, подозрительно на него посмотрел и сказал:

— Что это вы замолчали, товарищ Кольцов? В чем дело? Что вы смотрите на товарища Ежова? Вы не бойтесь товарища Ежова. Рассказывайте все, как есть.

— Я вовсе не боюсь Николая Ивановича, — ответил Кольцов. — Я только обдумывал, как наиболее точно и обстоятельно ответить на ваш вопрос.

Сталин еще раз пристально на него посмотрел, помолчал и сказал:

— Хорошо. Отвечайте не торопясь.

Вопросы и ответы заняли более трех часов. Дальнейшую сцену я уже описывал.

Известно, что Сталин имел обыкновение решать судьбу человека, когда тот после разговора с Хозяином уходил и он смотрел ему вслед. Наверно, так было и в данном случае — Кольцов был им обречен. Но намек на самоубийство, как понял Хозяин, Кольцов, видимо, не воспринял.

«Что ж, — вероятно, решил Сталин, — пусть еще поработает. Пусть займется подготовкой Второго конгресса писателей в Испании. Никуда он не денется…»

Донос Андре Марти уже лежал в столе у Сталина. Вот его содержание:

«Мне уже приходилось и раньше, товарищ Сталин, обращать Ваше внимание на те сферы деятельности Кольцова, которые вовсе не являются прерогативой корреспондента, но самочинно узурпированы им. Его вмешательство в военные дела, его спекуляция своим положением как представителя Москвы, безусловно, наносят вред общему делу и сами по себе достойны осуждения. Но в данный момент я хотел бы обратить Ваше внимание на более серьезные обстоятельства, которые, надеюсь, и Вы, товарищ Сталин, расцените, как граничащие с преступлением:

1. Кольцов вместе со своим неизменным спутником Мальро вошел в контакт с местной троцкистской организацией ПОУМ. Если учесть давние симпатии Кольцова к Троцкому, эти контакты не носят случайный характер.

2. Так называемая «гражданская жена» Кольцова Мария Остен (Грессгенер) несомненно является засекреченным агентом германской разведки. Убежден, что многие провалы в военном противоборстве — следствие ее шпионской деятельности…»

Этот донос продолжал лежать в столе у Сталина до поры до времени.

Кольцов вернулся в Испанию. Теперь путь туда стаи гораздо сложнее и опаснее, чем год назад. Кольцову предстоял сначала перелет из Франции через линию фронта в осажденный мятежниками Бильбао, а оттуда снова через линию фронта в Валенсию, где ему предстояло заняться Вторым международным конгрессом писателей.

…Фашисты непрерывно штурмуют Бильбао. И задолго до Великой Отечественной войны Кольцову, первому из советских журналистов-фронтовиков, доводится испытать на себе фашистскую бомбежку.

«Испанский дневник», 6 июня:

«Мы миновали отрезок готовых и пока безлюдных блиндажей и пошли через лужок к передовой линии окопов. В эту минуту над нами появились «юнкерсы». Немного, четыре штуки. Их привлекли белые пятна развороченной земли на лужку. Отсюда брали песок для подсыпки в блиндаже. Летчики заподозрили здесь укрепления. Мы бросились на землю.

— Жаль, не успели мы перебежать эту поляну, — сказал Базилио. — Ладно, шут с ними, переждем. Пусть бомбят по пустому месту, порча материала как-никак.

— Место не совсем пустое.

— О присутствующих не говорят.

Грохот был отчаянный. Бомбы падали и рвались пучками по две, по три. Лужок вздыбился песком и пламенем. Наш край не задело. Самолеты стали уходить. Подождав, пока туча земли и дыма начала оседать, мы встали для перебежки.

— Стой! — крикнул Базилио. — Ложись! Сзади идут новые.

Это была следующая смена. Она шла по пятам за первой, и бомбы направила сюда же, прямо в дым, оседающий от первой очереди. Взрывы раздирали уши. Это было уж чересчур близко от нас. Мы лежали очень скромно, укрытые только теорией вероятностей».

Дней через десять Кольцов уже в Валенсии, где с головой окунается в дела и заботы Второго международного конгресса писателей…

Глава шестнадцатая

…Определение М. Горьким карикатуры как «социально значительного и полезнейшего искусства» целиком и полностью отвечало тому значению, художественному уровню и отношению к этому искусству, которые существовали в нашей стране на протяжении почти всего этого века. Только с начала 90-х годов куда-то пропали и художественный уровень карикатуры, и ее социальная значительность, и, как следствие, уважительное к ней отношение.

То, что ныне появляется в печати под названием карикатуры, находится далеко за пределами этого искусства. Это большей частью — бездарные, примитивные и безграмотные поделки, не имеющие ничего общего с подлинной художественной карикатурой. И до чего это обидно, если оглянуться на славный и почетный творческий путь нашей сатирической графики, даже если не залезать глубоко в историю, а вспомнить хотя бы замечательные, яркие, меткие карикатуры 1905–1907 годов, вспомнить великолепную плеяду карикатуристов журнала «Сатирикон»: Николая Ремизова (Ре-ми), Алексея Радакова, Владимира Лебедева, Николая Радлова и целый ряд других замечательных художников-карикатуристов.

Вспомним сатирические плакаты гражданской войны Дмитрия Моора (Орлова), Виктора Дени (Денисова), Михаила Черемных. Вспомним знаменитые «Окна РОСТА» Владимира Маяковского и того же Черемных. Эти «Окна» возродились как «Окна ТАСС» в дни Великой Отечественной войны. И в те же грозные годы произошел подлинный расцвет боевой политической карикатуры в центральной и фронтовой печати. Политическая карикатура оставалась на своем посту на страницах «Правды», «Известий», «Красной звезды», «Труда», других органов печати, не позволяя себе снижать уровень своего художественного и сатирического качества и во все годы «холодной войны».

И любопытнейшая вещь! В интересе к карикатуре, я позволю себе сказать, в любви к этому веселому, умному, причудливому и… серьезному искусству сошлись и широкие круги читателей, и весьма высокие политические деятели.

Сотни и тысячи читательских писем занимают объемистые папки в моем архиве. И прежде всего я свято храню письма фронтовиков, полученные в суровые дни войны и являющиеся для меня самым неопровержимым и ценным доказательством, что веселый рисунок, меткая насмешка над врагом не менее нужны бойцу, чем боевые припасы, продпаек, а может быть, и

«наркомовские сто грамм». Беру наугад одно из писем:

«Дорогой тов. Ефимов! Рисуйте побольше! Ваши карикатуры не только смешат, но усиливают ненависть и презрение к врагу. Бейте еще крепче фашистскую мразь оружием сатиры. Рисуйте их, чертей, еще смешливее! А мы будем веселее нажимать на спусковой крючок, еще лучше и прицельнее сбивать воздушных пиратов, сильнее драться и уничтожать проклятых гитлеровцев, приближать тот день, когда на немецкой елке увидим повешенными главарей гитлеровской Германии. С приветом и добрыми пожеланиями *фронтовики Леонтьев, Евсеев, Телешов, Воробьев и др. П.П. 18868».*

А вот письмо мирного времени — из Башкирской республики пишет работник совхоза:

«Ваши рисунки настолько глубоки по содержанию, что просматривая их, я «читаю» в этих «карандашных» телеграммах то, что напечатано в номере буквами».

Были письма и критические, и придирчивые, и ругательные, но какими бы они ни были по содержанию, все они свидетельствовали о том, что карикатура, если в ней, конечно, есть мысли и содержание, редко кого оставляет равнодушным. Вот, например, этот читатель недоволен содержанием карикатуры; рассматривая ее, как серьезное политическое выступление, он пишет:

«Товарищ Ефимов! Ваша карикатура в «Известиях» под названием «Усердие не по разуму» представляет собой пример непропорционального удара налево. Лишенные избирательных прав кулаки и подкулачники должны, видимо, вызывать у читателя слезы сочувствия, а рабочий у вас выглядит настоящим фашистом. На правильной ли политической платформе вы стоите? Привет! *Ваш Л. Троцкий».*

Любили карикатуру и дети, для которых она была не только забавным рисунком, но и в какой-то степени знакомством с событиями.

Юра Петров сообщает, что он «среди ребят в квартире, вырезывающих карикатуры Ефимова», самый маленький: «Мне только лет половина шестого, и поэтому у меня карикатур меньше всех». Он просит высылать ему газету.

Получив ответ, он заявляет, что «так благодарен, прямо спасибо вам с американский дом в 23 этажа». Он хочет сам научиться рисовать, но «мама говорит — надо родиться умным человеком. Я постараюсь…»

А вот отклик человека более взрослого, чем Юра Петров и, несомненно, не менее компетентного:

«Сборник ефимовских карикатур — своеобразный живой

альбом первоклассного политико-художественного значения… Ефимов умеет обобщать. Но у него — не бледная немочь художественной схемы, не отвратительные мумии сухой и книжной абстракции, а живые “герои”».

Это писал в 1935 году в статье «Художник-боец» Николай Иванович Бухарин.

А вот еще небезынтересный отклик. Поздно вечером у меня в квартире зазвонил телефон:

— Говорят из редакции «Правды». С вами будет говорить товарищ Мехлис.

— Ефимов? — послышался знакомый резкий голос. — Вы можете сейчас приехать в «Правду»?

Несмотря на вопросительную форму, эта фраза звучала достаточно повелительно.

— Э-э… Конечно, Лев Захарович. Но я немного нездоров, простужен…

— Что-о? — безмерно удивился Мехлис. — Вы не можете приехать? Странно. А я хотел вам сообщить, что *ОН* сказал.

Нетрудно было догадаться, кто это — *ОН*.

— Что-нибудь неприятное, Лев Захарович? — вырвалось у меня.

— Когда *ОН* говорит, это всегда приятно, — строго-нравоучительно произнес Мехлис. — Приятно для дела. Понятно?

— Да, да, конечно, Лев Захарович, — заторопился я и усиленно закашлялся. — Я сейчас соберусь.

Но тут Мехлис недовольно сказал:

— Ну ладно. Приезжайте завтра утром.

На другое утро я входил в кабинет Мехлиса. Пригласив меня сесть, он сказал:

— Вот что. Хозяин обратил внимание, что когда вы рисуете в «Известиях» японских милитаристов-самураев, то обязательно изображаете их с огромными зубами, торчащими изо рта. Этого не надо делать. Это оскорбляет национальное достоинство каждого японца.

— Понятно, Лев Захарович. Хорошо. Зубов больше не будет.

И я поднялся, считая разговор законченным. Но Мехлис пустился в разглагольствования о значении в газете политической карикатуры как материала не менее важного, а иногда и более ответственного, чем любая статья, и что к политической карикатуре надо относиться с особым вниманием, чтобы не давать повода к нежелательным придиркам. Я выслушал эти наставления с видом величайшего внимания: нетрудно было догадаться, что он повторяет какое-то высказывание Сталина.

Надо ли доказывать, что многообразие этих откликов,

начиная от Юры Петрова «лет половина шестого» до «Вождя и Учителя», единых в своем уважительном и серьезном отношении к искусству карикатуры, налагало на художника-карикатуриста обязанность оправдать это уважительное отношение качеством своей работы. И не только качеством отдельного рисунка, но и более широким масштабом всего жанра. Иными словами, наряду с повседневным выступлением на страницах печати с очередной злободневной работой становилось необходимым издание больших сборников карикатур, объединенных единой темой или единым периодом времени.

Одним из первых изданий этого ряда был альбом карикатур, объединенных военной тематикой. Он назывался «Карикатура на службе обороны СССР». На обложке, использовав известную строку Маяковского: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо», я изобразил красноармейскую винтовку с примкнутым к ней в виде штыка острым сатирическим карандашом.

Титульный лист альбома занимал мой сатирический рисунок под названием: «Семь бед — один ответ». Слева были изображены: капиталист; гитлеровец в стальном шлеме; далее — немецкий социал-демократ (именовавшийся у нас социал-фашистом); Папа Римский, вдохновитель крестового похода против СССР; китайский генерал-милитарист; потом французский генерал и воинственный польский маршал. Этим «семи бедам» справа противостоял веселый и бодрый красноармеец с винтовкой в руке на фоне развевающегося знамени с лозунгом «Пятилетку в четыре года».

Под следующий тематический альбом карикатур я надумал подвести солидную теоретическую базу и нашел ее в следующем высказывании «Вождя и Учителя»:

«Пролетариат, борясь с капиталистической эксплуатацией и военной опасностью, будет искать выхода в революции».

165 карикатур этого альбома откликались на все сколько-нибудь значительные политические и дипломатические события начала 30-х годов, а последний рисунок, согласно мудрому предвидению Сталина, изображал мощного пролетария, вывозящего на тачке на свалку истории испуганного и жалкого капиталиста.

Международная ситуация в тот момент не оставляла сомнений в том, что основным и бесспорным объектом для политической сатиры является все более и более нарастающая угроза германского фашизма, все более и более воинственные призывы Гитлера к «дранг нах остен», к завоеванию «жизненного пространства» для Германии на востоке. Неистощимый материал для сатиры давало также оголтелое расовое мракобесие

гитлеровцев. И я задумал создать своего рода солидный научно-сатирический труд, объединяющий в себе все подобные сюжеты.

Я посоветовался с весьма эрудированным в этих вопросах заведующим иностранным отделом «Известий» Стефаном Александровичем Раевским, который и снабдил меня достаточно авторитетной в ту пору официальной формулировкой пленума Исполкома Коминтерна: «Фашизм у власти — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала». Опираясь на эту формулировку, я и приступил к работе.

Может показаться неожиданным и неправдоподобным, но огромным стимулом к созданию этого объемного альбома для меня послужило прочтение только что появившегося в русском переводе романа «Успех» Лиона Фейхтвангера. В этом романе, как известно, описывается фантастический успех Адольфа Гитлера, пришедшего к власти в Германии. Кстати сказать, этот первый из прочтенных мною романов Фейхтвангера сделал меня убежденным поклонником замечательного писателя. Потом с огромнейшим интересом я читал его произведения, в которых достоверные исторические факты ярко и выразительно переплетаются с богатейшей авторской фантазией: «Лже-Нерон», «Безобразная герцогиня», «Иудейская война», «Гойя», «Настанет день», «Братья Лаутензак» и ряд других.

Для того чтобы сосредоточиться на работе с альбомом, я взял месячный отпуск в «Известиях» и поселился в старинном подмосковном Остафьеве, превращенном в Дом отдыха Союза писателей. Там в это же время отдыхал Илья Ильф, уже неизлечимо больной. Мы дружески с ним общались, и в его знаменитых записных книжках даже сохранилась об этом мимолетная запись:

«…Мы возвращаемся и видим идущего с прогулки Борю в коротком пальто с воротником из гималайской рыси. Он торопится к себе на второй этаж рисовать “сапоги”».

Ильф по своему обыкновению шутит. На мне не было никакой «гималайской рыси», а стандартный в ту пору кенгуровый воротник. А «рисовать сапоги» означало вот что: Ильф был в курсе моей работы, знал, что на карикатурах, ежедневно производимых мною, основные персонажи — это штурмовики и эсэсовцы в сапогах. И по утрам, за завтраком, неизменно спрашивал, улыбаясь:

— Боря! Сколько пар сапог сегодня выдано на-гора?

Он сохранял спокойствие и душевное равновесие, хотя не мог не чувствовать приближение конца. Только однажды, когда на

столе по какому-то поводу появилось шампанское, он, взяв в руки бокал, печально заметил:

— Шампанское марки «Их штербе». (Я умираю.)

То была предсмертная фраза, сказанная Антоном Павловичем Чеховым в Баденвейлере пришедшему к нему немецкому врачу.

Ильф скончался весной 1937 года сорока лет от роду.

За время, проведенное в Остафьеве, я нарисовал примерно полтораста карикатур, разбитых на шесть разделов и всесторонне отвечавших определению фашизма, данному мне Раевским (хочу помянуть добрым словом этого культурнейшего, милого человека, не избежавшего, увы, гибели в годы сталинского террора).

…Достопамятный тридцать седьмой год, обагренный кровью сотен тысяч безвинных людей, пришел, как и положено каждому Новому Году, ровно в двенадцать часов 31 декабря года тридцать шестого. И многие из тех, кому он нес безвременную гибель, встречали его с бокалами в руках, празднично, радостно желая друг другу успехов и счастья.

И пришел он, этот год, не с традиционным бодрящим морозцем, не с приятно поскрипывающим под ногами искрящимся снежком, а с неприятной сырой оттепелью. Шлепая по лужам, сторонясь потоков мутной воды, хлеставшей с крыш и из водосточных труб, шли мы с женой в гостиницу «Националь», куда нас пригласила на новогоднюю встречу Мария Остен. Там было несколько немецких писателей, бежавших из гитлеровской Германии; все люди известные: Фридрих Вольф, Эрих Вайнерт, Вилли Бредель, другие; были также известный немецкий певец Эрнст Буш и недавно приехавший в Советский Союз Лион Фейхтвангер.

Само собой разумеется, новогодние тосты провозглашались, как правило, за гибель Гитлера и скорейшее возвращение в Германию. Буш запевал революционные песни, все дружно подтягивали. Но скоро Мария Остен мне шепнула, что Фейхтвангеру было бы интереснее посмотреть, как встречают Новый год советские люди. Мы незаметно выскользнули из-за стола, прихватив с собою Буша, и направились по моему предложению на Арбат в Театр имени Вахтангова, где, как я знал, новогодние встречи бывали всегда веселыми с остроумно придуманными «капустниками». Но такси мы не достали и добрались до театра, что называется, к шапочному разбору. Помню, как по этому поводу Буш уморительно изображал крайнюю степень огорчения, хватаясь за голову и в отчаянии заламывая руки. Потом он заявил, что вернется в «Националь», чтобы проверить, замечено ли наше отсутствие.

А мы по моему предложению направились в Дом журналиста, где обычно новогодние встречи длились всю ночь «до победного конца». И действительно, веселье там мы застали в полном разгаре. Фейхтвангер с любопытством смотрел на шумно резвящуюся публику, на развешанные по стенам шуточные транспаранты и лозунги. Мы обошли все залы и помещения дома, и на лестничной площадке второго этажа я не без удивления увидел сидящих за столиком летчика Валерия Чкалова с супругой.

Я познакомил знаменитого писателя со знаменитым пилотом. Не уверен, что Фейхтвангер до этого что-либо знал о Чкалове. Но Чкалов, оказывается, недавно прочел «Успех» и теперь был очень доволен, видя перед собой автора понравившегося ему романа. Любопытный контраст представляли собой эти два человека: миниатюрный интеллектуал в модных очках с гладко зачесанной шевелюрой и волжский богатырь, широкоплечий, с ниспадающей на лоб непокорной прядью волос. Зажав узкую ладонь Фейхтвангера в своей могучей пятерне, Чкалов разразился страстным монологом о том, какое огромное значение имеет в борьбе с фашизмом художественная литература, и в частности его, Фейхтвангера, произведения.

— Что ж это вы, немцы, допустили этого прохвоста к власти? Но пусть он только сунется к нам! Костей не соберет!

Объединив наши познания в русском и немецком языках, мы с Марией переводили Фейхтвангеру речь Чкалова, с трудом поспевая за ее бурным потоком. А писатель, не делая попыток освободить свою ладонь, с явным любопытством, улыбаясь, смотрел на своего необычного собеседника.

Из Дома журналиста все мы направились на Центральный телеграф и отправили новогоднее поздравление в Мадрид Кольцову. Он там встречал Новый год в обстановке не совсем обычной.

«Испанский дневник», 1 января 1937 года:

«…За длинными столами сидели пилоты-истребители, их коротко стриженные русые головы, круглые лица, веселые глаза и зубы сделали неузнаваемой сумрачную трапезную залу францисканского монастыря. Мы приехали вместе с Миахой и Рохо — летчики встретили их громовым «вива», какого никогда не слышали эти старые стены. Генерал и подполковник были явно взволнованы, особенно Рохо… Тут он впервые встретился лицом к лицу с живыми «курносыми», с этими скромнейшими героями, спокойно и просто рискующими каждый день своими молодыми жизнями, чтобы спасти жителей Мадрида от летающей черной смерти…»

Всех очень интересовало, будет ли Фейхтвангер принят Сталиным. Приезжавший за несколько месяцев до немецкого писателя известный французский литератор Андре Жид такого приема не был удостоен, что многих удивило, а самого Жида, видимо, обидело. Андре Жид приезжал в Советский Союз для встречи с Горьким, который был уже тяжело болен. Жид опоздал буквально на пару дней и смог присутствовать только на его похоронах. Во время траурного митинга на Мавзолее, где присутствовал и Андре Жид, к Сталину подозвали Кольцова, который сопровождал Жида, курируя в качестве председателя иностранной комиссии Союза писателей приезд и пребывание французского писателя в СССР. Хозяин осведомился у Кольцова, пользуется ли Андре Жид на Западе достаточным авторитетом. Кольцов ответил, что авторитет Жида на Западе весьма высок и с его мнением очень считаются. Сталин выслушал эту справку молча и после паузы заметил:

— Ну, дай Боже. Дай Боже.

Тем не менее, как мы знаем, Сталин не счел нужным встретиться с этим авторитетным на Западе писателем. Мне трудно судить, какие к тому у него были соображения. Но одно для меня бесспорно: в безукоризненном «запоминающем устройстве» Хозяина было отчетливо зафиксировано, что за приезд Жида в Советский Союз несет ответственность персонально Кольцов.

Вернувшись во Францию, Андре Жид сразу же написал книгу — свои впечатления о Советском Союзе, которая весьма не понравилась Сталину. И столь же немедленно Жид был объявлен злостным антисоветским клеветником, к тому же приспешником Гитлера и заодно — американских империалистов. Имя его в СССР было предано анафеме. Вместе с тем Сталин, видимо, решил, что с Жидом допущена определенная ошибка: надо было его принять. А у Сталина был твердый принцип: за допущенные им ошибки и просчеты строго наказывать других, всегда находя соответствующих «козлов отпущения». Одновременно он счел необходимым отрицательному мнению популярного и авторитетного на Западе Андре Жида срочно противопоставить положительное впечатление не менее на Западе популярного и авторитетного Лиона Фейхтвангера. А Хозяин, когда надо, умел быть и убедительным и обаятельным.

После беседы с ним Фейхтвангер всюду и везде выступал с настолько просоветскими заявлениями и впечатлениями, что даже вызывал сомнение в своей искренности. Я думаю, что он был вполне искренен и не был Сталиным обманут: человек умный и проницательный, он не мог не разглядеть все те отрицательные,

уродливые и безобразные явления, о которых писал Андре Жид, но для него неизмеримо важнее разоблачения этих явлений был тот неоспоримый факт, что Советский Союз представлял в этот момент мощный оплот антифашистских сил, а Сталин казался ему единственной личностью, способной противостоять Гитлеру. И он повел себя согласно своей концепции. Конечно, эту позицию Фейхтвангера нетрудно было разгадать.

И мне вспоминается ехидная эпиграмма, принадлежащая, если не ошибаюсь, писателю Льву Никулину:

> Юлит Фейхтвангер у дверей с весьма умильным видом.
> Ох, как бы только сей еврей не оказался Жидом.

Но Фейхтвангер отнюдь не «оказался Жидом», а напротив, его книга «Москва 1937» пришлась Сталину по вкусу и была издана в СССР огромным тиражом.

Нетрудно себе представить, в каком сложнейшем переплетении представали перед Сталиным проблемы задуманных им политических процессов конца 30-х годов. То было, с одной стороны, поистине уравнение со многими неизвестными, а с другой — азартный, непредсказуемый политический покер, где необходимо было учитывать возможность любого блефа, просчета. И Сталин рассчитывал, что присутствие и мнение Фейхтвангера рассеет в Европе всякие предположения о том, что этот и предыдущие процессы являются инсценировками.

На скамье подсудимых процесса, который пожелал посетить Фейхтвангер, сидела довольно пестрая группа. Как всегда, непременными ведущими юридическими фигурами были Ульрих и Вышинский. А самой яркой и заметной фигурой на скамье подсудимых — Карл Радек.

А кто такой Карл Радек? На этот вопрос я предвижу два возможных ответа:

— Не знаю. Не помню.

— Что-то слышал. Но стоит ли вспоминать?

На мой взгляд, если мы хотим знать свое прошлое, если нам не безразлична наша история, то мы должны знать и вспоминать людей, оставивших в этой истории свой след. Знать и помнить о людях не только «хороших и разных», но и о просто разных. Даже если они были не совсем хорошие.

Был ли Карл Радек хорошим человеком? Не знаю. Но то, что это был человек незаурядный, заметный, любопытный, одаренный — в этом у меня нет сомнения. В моем представлении Карл Радек — это типичная фигура деятеля международного авантюрного

толка, приверженца космополитизма, воспринимаемого часто, как интернационализм. Я убежден, что Радек не верил ни в Бога, ни в черта, ни в Маркса, ни в мировую революцию, ни в светлое коммунистическое будущее. И думаю, что он примкнул к международному революционному движению только потому, что оно давало ему широкий простор для его врожденных качеств бунтаря, искателя острых ситуаций и авантюр.

Он появляется, скажем, в Баку на съезде народов Востока, где темпераментно призывает к борьбе против английского капитализма. Он появляется в Берлине, где агитирует против правительства Веймарской республики и, как ни странно, энергично поддерживает нарождающееся национал-социалистическое движение, возглавляемое Гитлером. В Женеве, на конференции по разоружению, он выступает, как один из руководителей советской делегации, довольно бесцеремонно оттесняя главу делегации Максима Литвинова. Еще до того он становится генеральным секретарем Третьего Коммунистического Интернационала — этого сложнейшего конгломерата десятков коммунистических партий мира. Он в изобилии пишет книги, статьи, выступает с докладами.

Но настают сложные времена. И Радек совершает первый крупный просчет: он примыкает к Троцкому в его конфронтации против Сталина. И будучи мастером острого, меткого слова, каламбура, язвительной шутки, направляет в последнего стрелы своего остроумия. Его остроты ходят из уст в уста. Например, такой анекдот: Сталин спрашивает у Радека: «Как же мне избавиться от клопов?» Радек отвечает: «А вы организуйте из них колхоз — они сами разбегутся». Или: «Со Сталиным трудно спорить — я ему цитату, а он мне — ссылку». Генерального секретаря партии он именует не иначе, как «усач», «тифлис», «кобочка». Достается и Ворошилову, который на каком-то собрании назвал Радека прихвостнем Троцкого. Радек ответил эпиграммой:

Эх, Клим, пустая голова!
Мысли в кучу свалены.
Лучше быть хвостом у Льва,
Чем ж…ю у Сталина.

Но скоро Карл Бернгардович почуял, что в борьбе побеждает Сталин, и мгновенно перестроился. Помню, как на одном из заседаний редколлегии «Известий» Радек в своем выступлении уже уважительно именует Сталина «руководитель партии». Еще не «Вождь и Учитель», но уже близко к этому. А вышедшая к

пятидесятилетию Сталина книга Радека полна пылких славословий, как, например, «Великий Архитектор социализма» и других не менее красочных. Тем не менее он уже не обладает прежним размахом деятельности и ему приходится довольствоваться гораздо более скромным положением члена редколлегии и политического обозревателя газеты «Известия». Я часто встречался с ним в редакции. Ко мне он относился, в общем, благосклонно, иногда похваливал мои карикатуры, но однажды я вызвал его неудовольствие. Как-то, на обсуждении вышедшего номера, дернуло меня сделать замечание по поводу его международного обзора.

— Карл Бернгардович, — сказал я. — В вашем обзоре упоминается «Данцигский коридор». А при чем тут Данциг? Не правильнее ли сказать «Польский коридор»? Ведь это польская территория, отделяющая Восточную Пруссию от остальной Германии.

Радек посмотрел на меня иронически.

— Данцигский коридор — это общепринятый международный термин. Теперь придется всех оповестить, что этот термин не устраивает нашего карикатуриста Бориса Ефимова.

Все рассмеялись, а я, сконфуженный, прикусил язык.

Веселый циник и острослов, автор каламбуров и анекдотов, в том числе и тех, которых он не сочинял, Радек был широко популярен. Помню, я видел, как на одном из празднеств на Красной площади он поднимался на трибуну для гостей, держа за руку маленькую дочку, и кругом слышалось:

— Смотрите, смотрите! Карл Радек идет. Карл Радек!

Возможно, что и Сталина забавляли шутки и остроты Радека, но не в характере Хозяина было забывать и прощать колкости по своему адресу. В этом отношении «запоминающее устройство» в его мозгу работало безукоризненно, и, когда начались репрессии тридцатых годов, Радеку припомнили его близость к Троцкому.

Арест. Тюрьма. Следствие. И открытый показательный процесс, на котором Радек, как я уже упоминал, является одной из центральных фигур, одновременно обвиняемым и свидетелем обвинения, показания которого «топят» всех остальных обвиняемых.

Радек остается Радеком и на скамье подсудимых. Присутствовавшие на процессе иностранные корреспонденты в своих сообщениях неизменно цитировали его меткие и остроумные высказывания. Вот, например, как он описывает подробности допросов, которым подвергался во время следствия.

— Вопреки всяким россказням, не следователь меня пытал на

допросах, а я пытал следователя. И я его совершенно замучил своими объяснениями и рассуждениями, пока не согласился признать свою контрреволюционную, изменническую деятельность, свои преступления перед партией и народом.

Разве нельзя предположить, думается мне, что такая способность сохранять чувство юмора, способность шутить в столь нешуточной ситуации могли понравиться даже отнюдь не мягкосердечному Хозяину? И, возможно, этим Радек избежал смертного приговора, но отнюдь, как показало будущее, не спас свою жизнь.

Лион Фейхтвангер, присутствовавший на этом процессе, рассказывая о нем в книге «Москва 1937», делится своим наблюдением: при оглашении приговора перечислялись фамилии подсудимых с прибавлением роковых слов: «Приговорить к расстрелу… Приговорить к расстрелу… К расстрелу… расстрелу». И вдруг прозвучало:

— Радека Карла Бернгардовича — к десяти годам тюремного заключения…

По свидетельству Фейхтвангера, Радек пожал плечами и, оглянувшись на соседей по скамье подсудимых, «удивленно» развел руками. Этим он как бы говорил: «Странно. Сам не понимаю, в чем дело…»

Мне рассказывала Мария Остен, в качестве переводчицы сопровождавшая Фейхтвангера, что, когда осужденных выводили из зала, Радек обернулся к публике и, увидев Фейхтвангера, помахал ему рукой, что было одновременно и приветственным и прощальным жестом. То было, как она выразилась по-немецки, «винке-винке», что соответствует примерно русскому «пока-пока».

…Как-то Радек увидел мой дружеский шарж на него, напечатанный в газете «Красная звезда». И, смеясь, сказал мне со своим легким польским акцентом:

— О, я у вас совсем не так страшный.

— Я и не думал изображать вас страшным, Карл Бернгардович, — ответил я.

И, действительно, Карл Радек был совсем «не так страшный», страшным стало то время, в котором ему суждено было погибнуть…

…Из поездки в Советский Союз Лион Фейхтвангер, естественно, не вернулся на свою родину в Германию, где немедленно попал бы на виселицу. Можно не сомневаться, что от внимания Гитлера не ускользнуло его изображение в романах Фейхтвангера «Успех» и «Братья Лаутензак» и тем более встреча писателя со Сталиным. И Фейхтвангер вместе с женой поселился в маленьком французском городке вблизи франко-испанской

границы. Там он продолжал работать над самым своим монументальным произведением — «Иудейская война».

…Последний мой тематический альбом назывался «Поджигатели войны». Тогда, в 1938 году, так обозначались советской пропагандой отнюдь не англо-американские империалисты, как это будет впоследствии в годы «холодной войны», а участники так называемого «антикоминтерновского блока», то есть Берлин — Рим — Токио. Германские и итальянские фашисты, а также японские милитаристы стали главными и неизменными объектами нашей политической карикатуры. То были главные поджигатели. И уже как дополнительная, неотъемлемая к ним «приправа»— поджигатели калибром поменьше: генерал Франко, деятели «невмешательства», потакавшие поджигателям, польские политики, угождавшие Гитлеру и, наконец, в изобилии возникшие и разоблаченные «враги народа» — троцкисты и бухаринцы. Все они были свалены в одну кучу как злейшие враги нашей родины и приспешники Гитлера. Но основными и самыми опасными врагами оставались, конечно, заклятые враги в Берлине и Токио.

В это горячее время Сталин обогатил нашу пропаганду и политическую сатиру вычитанным им у Салтыкова-Щедрина выражением: «Сие от вас не зависит» — и оно настойчиво замелькало в статьях и фельетонах, плакатах и карикатурах. Естественно, что и на последнем, заключительном рисунке в моем альбоме германскому фашисту и японскому самураю с пушками вместо носов противостоит мощный, улыбающийся красноармеец, который в ответ на их требование: «Закрыть СССР, чтобы духу его не было вовсе!» — отвечает: «Сие от вас не зависит».

Советская пропаганда изо дня в день разоблачала «козни врагов народа», воинственные замыслы агрессоров, политическая сатира их изо дня в день высмеивала, но от этого мало что изменялось. Тяжелые, зловещие тучи сгущались над Европой. Продолжали они сгущаться и над головами отдельных людей в нашей стране, по которой все еще гуляла страшная «ежовщина». Продолжал и я изо дня в день тревожиться за судьбу брата, хотя внешне, я уже об этом говорил, ничего плохого не происходило. А однажды поздно вечером он мне позвонил:

— Я долго тебя огорчал своими настроениями. Сегодня могу порадовать. Мне только что позвонил из ЦК Маленков и сообщил, что меня выдвигают кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР от Пензенской области.

И Кольцов действительно стал депутатом Верховного Совета.

Как это можно было понимать, если не как выражение высокого доверия? И, конечно, немного отлегло от сердца.

Глава семнадцатая

А между тем в Москве продолжались политические процессы. На процессе Бухарина, Рыкова, Ягоды, врачей Плетнева, Казакова, Левина и других мне довелось присутствовать. Помню, как прокурор Вышинский патетически вопрошал врача Казакова:

— Почему же вы, Казаков, понимая, на какие преступления вас толкает Ягода, не пришли куда следует и не сообщили об этом?

Казаков отвечал почти иронически:

— Гражданин прокурор! О чем вы говорите? *ТОТ* Ягода и *ЭТОТ* Ягода (он ткнул пальцем в понурую фигуру на скамье подсудимых) — это две большие разницы. *ТОТ* Ягода был всемогущ, вездесущ и всеведущ. Кому я мог на него жаловаться? Он растер бы меня в порошок.

Примерно то же говорили и все другие врачи, сидевшие в этом же зале на скамье подсудимых по обвинению в том, что своим коварным, неправильным лечением довели до смерти великого Горького. Но вопросы, связанные с болезнью и смертью писателя и вообще все мрачные дела, происходившие в особняке на Малой Никитской улице, занимали отнюдь не главное место на процессе в марте 1938 года. Это судилище было задумано несравненно более широко и масштабно. На скамье подсудимых сидели и старые большевики, члены Политбюро, и видные государственные деятели, и первые секретари ЦК национальных республик, и руководители целых хозяйственных областей, и известные дипломаты, и светила медицинской науки — всех не перечислить.

У этого процесса были, очевидно, говоря сталинским языком, две задачи: во-первых, расправиться с остатками старой ленинской гвардии и, во-вторых, продемонстрировать объективность и гласность советского суда. Однако великолепно справились только с первой задачей, со второй не совсем: то и дело вылезали наружу признаки инсценировки. Центральной фигурой процесса был, несомненно, Николай Иванович Бухарин. Человек выдающихся знаний, огромной эрудиции, блестящего ораторского дарования, еще Лениным названный «любимцем партии», он после смерти Владимира Ильича закономерно занял место в первом ряду партийных руководителей. Был период в середине двадцатых годов, когда у власти стоял «дуумвират» Сталин — Бухарин и передавали сказанную Сталиным фразу: «Кругом одни ничтожества, а мы с тобой, Николай, — Гималаи». Какой же страшный путь прошел этот человек от «гималайских»

политических вершин до скамьи подсудимых в Октябрьском зале Дома Союзов.

«КОБА, ЗАЧЕМ ТЕБЕ НУЖНА МОЯ СМЕРТЬ?»

Это — обнаруженная в личном архиве Сталина записка Николая Бухарина, посланная им «Отцу народов» перед расстрелом.

Если предположить маловероятное — что Сталин счел бы нужным откровенно ответить на этот душераздирающий по трагической простоте вопрос, то его ответ, думается мне, был бы столь же простым: «Николай! Ты знаешь мой твердый принцип: есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы».

А «проблема», на мой взгляд, состояла для Сталина в данном случае в том, что при каком-то крутом и неблагоприятном для него, Сталина, повороте событий к власти в партии и в стране был бы призван, несомненно, Бухарин. Я очень хорошо помню главную суть непримиримых разногласий той поры: после победы над Троцким, одержанной при активнейшей помощи Бухарина, Сталин провозгласил курс на сплошную коллективизацию сельского хозяйства при немедленной ликвидации кулачества как класса. Тут он резко разошелся во взглядах с Бухариным, лозунгом которого, обращенным к крестьянству, было: «Обогащайтесь! Наживайте в добрый час! Этим вы врастаете в общее социалистическое развитие страны, ее процветание». Тогда и развернулась ожесточенная борьба Сталина с «правым уклоном».

— Этот человек доведет страну до нищеты и голода! — утверждал Бухарин.

— Бухарин выражает интересы нэпманов и кулаков. Тянет назад к капитализму, — проповедовал Сталин.

Чем это кончилось, хорошо известно — Бухарин был объявлен изменником Родины, предателем революции, шпионом иностранных разведок и заклеймен изобретенным еще для Троцкого определением — «враг народа».

Я впервые увидел Николая Ивановича Бухарина в 1922 году, когда приехал в Москву из родного Киева. За моими плечами был тогда уже довольно приличный, более чем трехлетний стаж политического карикатуриста в военной и партийной печати Украины и я, естественно, хотел продолжать эту пришедшуюся мне по душе работу. Несколько моих карикатур уже были напечатаны в «Рабочей газете» и в новорожденном «Крокодиле». Теперь я решился предложить свой рисунок в главную газету страны — «Правду». Я, конечно, и в мыслях не имел пробиться на прием к редактору «Правды», одному из вождей партии — Бухарину, а предполагал оставить свой рисунок в секретариате

редакции и потом терпеливо ждать результата. Но так случилось, что, когда я в раздумье стоял в коридоре редакции, одна из стеклянных дверей открылась и оттуда вышел Бухарин, которого я сразу узнал по портретам. Пробормотав какие-то слова, которые ни он, ни я сам не поняли, я протянул ему свою карикатуру.

— Что же, — сказал он, — неплохая штукенция.

И на другой день я увидел свой рисунок на первой странице «Правды».

Дней через десять я получил возможность наблюдать главного редактора центрального органа партии в менее официальной «ипостаси»: он сидел верхом на плечах здоровенного парня, одного из сотрудников «Правды», лихо скакавшего по большой пятикомнатной квартире. Дело происходило на новоселье — для своих сотрудников редакция получила несколько квартир в многоэтажном доме № 2 по Брюсовскому переулку. Я смотрел на это зрелище с глубоким изумлением и даже сделал потом юмористический рисунок, подписав под ним: «Невероятно, но факт!» Веселый нрав, простота и общительность Бухарина действительно были фактом.

Судьба уготовила Бухарину сложную жизнь. И мне вспоминаются слова старинной песни:

…Судьба играет человеком,
Она изменчива всегда —
То вознесет его над веком,
То бросит в бездну без стыда.

Это в полной мере изведал Николай Иванович Бухарин. Был период, когда он был «вознесен» до самых высоких вершин власти. Он стоял на равных рядом со Сталиным, и могло показаться, что разделяет с ним полноту власти в партии и стране. Вспомним — «Гималаи».

Не берусь судить, насколько Бухарин верил в эти высокопарные комплименты. Возможно, при всем своем уме и опыте он еще не в полной степени постигал глубину сталинского коварства. А ведь к этому времени «Вождь и Учитель» достиг виртуозного совершенства в искусстве расправляться с людьми, ему нежелательными, подозрительными или просто ненужными. Причем, делал он это неторопливо, терпеливо, годами, а то и десятилетиями выжидая наиболее удобного момента затянуть петлю на горле обреченного. Так было и с Бухариным. Постепенно, методично Бухарин подвергался критике и «проработке» за свои взгляды, но никаким репрессиям не подвергался. Даже наоборот — был назначен главным редактором

«Известий», где я общался с ним довольно часто. Он относился ко мне дружелюбно, а однажды, улыбаясь, вспомнил нашу первую встречу в редакции «Правды». А когда вышел в свет очередной сборник моих политических карикатур, он отозвался на него весьма лестной для меня одобрительной рецензией, напечатанной в «Известиях» за подписью «Н.Б.». Позволю себе привести несколько строк из этой рецензии:

«…Наш автор еще молод. А между тем, вылупившись из скорлупы многих влияний (в том числе влияний всем известных крупнейших наших карикатуристов), он быстро завоевал себе совершенно самостоятельное место и вскоре определился, как один из самых блестящих (а может быть, и как самый блестящий) мастеров политической карикатуры. В нем есть одно замечательное свойство, нечасто, к сожалению, встречающееся: этот большой художник является в то же время очень умным и наблюдательным политиком…»

Сталин, повторяю, не торопился с расправой над Бухариным, но Николай Иванович, видимо, не обольщался насчет дальнейшей перспективы. Сужу по следующему эпизоду: в недобрый день 2 декабря 1934 года несколько сотрудников «Известий» сидели в кабинете у редактора, обсуждая план номера газеты. Был среди них и я. На столе у Бухарина зазвонил телефон. Николай Иванович снял трубку, послушал, и лицо его болезненно сморщилось. Сказав: «Да, да. Я понял», он положил трубку, помолчал, провел рукой по лбу и проговорил:

— В Ленинграде убит Киров.

Потом посмотрел на нас невидящими глазами и добавил каким-то странным безразличным тоном:

— Теперь Коба нас всех перестреляет.

Но Сталин, еще раз повторяю, не торопился. Было расстреляно все руководство ленинградской комсомольской организации и ряд партийных работников Ленинграда, но Бухарин оставался редактором «Известий», выступал в этом качестве на съезде колхозников-ударников и даже был докладчиком о проблемах и развитии советской поэзии на первом съезде советских писателей. И только после инсценированных судебных процессов, на которых были вынесены смертные приговоры Зиновьеву, Каменеву, Пятакову, Сокольникову и другим видным соратникам Ленина, наступил роковой час Николая Ивановича…

…Итак, я в Октябрьском зале Дома союзов. Этот зал не так велик и импозантен, как знаменитый Колонный зал в том же здании, но тоже достаточно красив и вместителен. Здесь и происходит в феврале 1938 года судебный процесс над деятелями

«право-троцкистского блока» и другими, «пришитыми» к их делу лицами. Их человек сорок, если не больше. Скамья подсудимых занимает чуть ли не половину зала. Переполнены и места для публики, среди которой я вижу трех-четырех знакомых журналистов. Остальная «публика» производит впечатление «искусствоведов в штатском», иными словами — сотрудников известных органов…

Должен сказать, что при воспоминании об этом процессе он невольно ассоциируется в моем восприятии с историческим судом нац гитлеровскими палачами в Нюрнберге, на котором я тоже присутствовал восемь лет спустя. В самом деле, разве процесс над Бухариным и другими не может быть назван историческим в том смысле, что вполне заслуживает войти в историю нашего века, вместе с подобными ему, как образец циничной и беспощадной расправы с политическими оппонентами, виновными только в том, что высказывали другие мнения и взгляды по экономическим и политическим проблемам своей страны? Различие между двумя этими процессами, на мой взгляд, состоит в том, что в Нюрнберге судили подлинных преступников, уничтоживших миллионы безвинных людей, а здесь судили ни в чем не повинных людей, нагло и бессовестно приклеивая им лживые ярлыки изменников Родины, шпионов, «врагов народа».

«Судебное разбирательство» сводилось, по сути дела, к тому, что главный обвинитель, один из самых приближенных к Хозяину опричников Андрей Вышинский патетически громил своим хорошо поставленным голосом всех подсудимых поочередно за их чудовищные преступления против великого дела — построения светлого будущего в нашей стране под мудрым водительством гениального «Вождя и Учителя, родного товарища Сталина». А каждый из подсудимых, в свою очередь, понуро подтверждал свои данные в застенках внутренней тюрьмы на Лубянке «признания». Исключение составил бывший секретарь ЦК, а потом посол в Берлине Крестинский, который нашел в себе мужество отказаться от данных им на предварительном следствии показаний, как выбитых из него зверскими истязаниями. Он был немедленно лишен слова, удален из зала и появился только через день — столь же смирный и со всем согласный, как другие.

Обстоятельно, толково и убедительно признавал свои «преступления» и Бухарин. Дико было его слушать — я не мог поверить в то, что он говорил, и одновременно приходилось верить, ведь человек говорил сам о себе. Мы сидели в этом зале рядом с Ильей Эренбургом. Он и Бухарин были школьными товарищами, вместе учились в московской гимназии, и, став

одним из вождей рабочего класса, Бухарин неизменно поддерживал Эренбурга и помогал ему. И теперь, слушая признания своего бывшего одноклассника в чудовищных преступлениях против советской власти, Эренбург то и дело хватал меня за руку и приглушенным голосом вопрошал: «Что он говорит? Что он говорит?» Я только разводил руками. Но факт был налицо — после некоторого сопротивления и препирательств с главным обвинителем Вышинским Бухарин полностью признал себя виновным в шпионаже, предательстве, измене родине и даже в причастности к покушению на В. И. Ленина в 1918 году… Я не берусь судить, каким образом этого удалось добиться организаторам суда, я рассказываю только о том, что лично видел и слышал.

Говорил тот самый Бухарин, вчерашний член Политбюро, редактор «Правды» и «Известий», автор Конституции СССР, хрестоматийной «Азбуки коммунизма», десятков трудов по марксизму-ленинизму… Не сон ли это кошмарный? Но в ту пору задумываться, а тем более сомневаться не полагалось и было к тому же весьма опасно делиться с кем-нибудь своими сомнениями — слишком много имелось вокруг «стукачей». Полагалось только дружным хором на многолюдных собраниях «с чувством глубокого удовлетворения» приветствовать людоедский вопль Вышинского, которым он закончил свою обвинительную речь: «Расстрелять всех до единого, как бешеных псов!!!»

На процессе председательствовал пресловутый Василий Ульрих, «армвоенюрист 1-го ранга», которого правильнее было бы назвать «армвоенпалач 1-го ранга». Не забуду, с какой откровенной скукой он слушал Бухарина, когда тому было предоставлено последнее слово. Ульрих отлично знал, конечно, заранее и «свыше» определенный смертный приговор, он, видимо, считал эти последние слова пустой тратой времени. А Бухарин, прирожденный теоретик, социолог и политик, остался верен себе и тут. Ему захотелось, видимо, как-то философски осмыслить и проанализировать свои «признания». Но сценарием процесса это явно не было предусмотрено, и «армвоенюрист 1-го ранга» грубо прервал его:

— Подсудимый Бухарин. Нельзя ли покороче?

Бухарин остановился. Мне подумалось в этот момент, что даже специально отобранной публике в зале могла показаться бесчеловечной и страшной эта фраза, обращенная к человеку, произносящему в прямом смысле свое последнее слово.

— Покороче? — переспросил Бухарин. — Пожалуйста. Однако гражданин прокурор говорил здесь, сколько хотел и довольно долго. Даже цитировал Тацита. А впрочем… К чему,

действительно, нужны лишние слова… Я закончил.

Эти поистине символически звучащие слова были последними, которые я слышал от Николая Ивановича Бухарина.

По широко и умело развернутой программе гнев и возмущение преступлениями Бухарина и других «врагов народа» с одинаковым энтузиазмом выражали многолюдные собрания трудящихся по всей стране — рабочие и артисты, колхозники и писатели, ученые и ткачихи. Не могли, естественно, уклониться от этого, не рискуя своей головой, и художники-карикатуристы…

В редакции «Известий» от меня, разумеется, запросили очередную карикатуру (отклик на процесс), изображающую разоблаченного «врага народа», недавнего редактора «Известий». И даже подсказали сюжет — изящное выражение Вышинского: «Бухарин — это помесь лисицы со свиньей».

Нет слов, трагична судьба Бухарина. Но и глубоко поучительна. Трагична и поучительна, как судьба всех тех, кто верил Сталину, доверял его кажущемуся расположению, принимал всерьез его «дружбу», разделял его планы, послушно выполнял его указания, пламенно выражал свою любовь к нему и преданность. Все они, как правило, были им стерты с лица земли.

Причем, он делал это их же собственными руками, которыми они охотно рыли друг другу могилу. Так, в частности, произошло с членами ленинского Политбюро. Сперва Сталин объединил всех — Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова и Томского — против одного Троцкого и уничтожил его. Потом, в союзе с Бухариным, Рыковым и Томским, расправился с Зиновьевым и Каменевым и, наконец, при помощи Молотова, Ворошилова, Андреева, Жданова уничтожил Бухарина и Рыкова. (Томский застрелился сам.) С исключительной хитростью и коварством Сталин следовал принципу почитаемого им Макиавелли: «Разделяй и властвуй». Так, Николай Иванович Бухарин, по природе своей мягкий и порядочный, сделался под влиянием Сталина участником безнравственных, преступных расправ над своими же товарищами и соратниками и, в конце концов, сам стал жертвой этой «системы».

Сегодня иногда задают вопросы: «А как вы тогда относились к этой судебной инсценировке?», «Что вы говорили, когда обсуждали ее между собой?»

Ответ очень прост: мы ничего не говорили и ничего не обсуждали, воспринимая процесс и все на нем происходившее, как некую реальность, обсуждению не подлежащую. Но наедине, в своем редакционном кабинете, расхаживая взад и вперед, брат говорил мне:

— Думаю, думаю, думаю и ничего не могу понять. А ведь я,

один из редакторов «Правды», по своему положению должен был бы что-то знать и объяснять другим. А на самом деле я в полном замешательстве, растерян, как самый последний обыватель. Откуда у нас оказалось столько врагов? Люди, с которыми мы жили, дружили, вместе воевали, вдруг оказываются нашими врагами, и достаточно им только оказаться за решеткой, как они моментально начинают признаваться в своих преступлениях. Недавно произошел примечательный эпизод, который мне многое объяснил. Я зашел в кабинет к Мехлису и застал его за чтением какой-то толстой тетради. То были показания недавно арестованного, исполнявшего обязанности редактора «Известий» после ареста Бухарина, Бориса Таля. «Извини, Миша, — сказал Мехлис, — не имею права, сам понимаешь, дать тебе читать. Но посмотри, если хочешь, Его резолюцию».

Брат посмотрел. Красным карандашом было начертано: «Товарищам Ежову и Мехлису. Прочесть совместно и арестовать всех названных здесь мерзавцев. *И. Ст.»*

— Понимаешь, — продолжал Кольцов, — люди, о которых идет речь, еще на свободе. Они ходят на работу, заседают, возможно, печатаются в газетах, они ходят с женами в театры и в гости, может быть, собираются куда-нибудь на юг отдохнуть. И они не подозревают, что они уже «мерзавцы», что они уже осуждены и фактически уничтожены этим единым росчерком красного карандаша. Ежову остается быстро оформить на них дела на основании выбитых из Таля показаний и оформить ордера на арест. Это — вопрос дней.

Я слушал брата, и сердце у меня сжималось. Я не мог отделаться от мысли, что и его судьба может быть так же решена красным карандашом на чьих-нибудь ложных, выбитых показаниях.

Слово «ГУЛАГ» тогда еще мало кто знал, но можно не сомневаться, что строительство дальних лагерей уже планировалось предусмотрительными «вышестоящими руководителями».

Однако был один из немногих, который не захотел положить свою голову под топор палачей и пытался как-то с ними бороться. Это — «легендарный мичман» Федор Раскольников.

Несколько расхожим и, пожалуй, чуть-чуть затрепанным становится у нас слово «легендарный». В сан «легендарных» довольно легко возводятся джазовые трубачи и хоккеисты, кинорежиссеры и футбольные вратари, шахматисты и клоуны, балерины и пилоты. Ничего плохого я, впрочем, в этом не нахожу, если видеть здесь дань подчеркнутого уважения к таланту, мастерству, выдающейся деятельности человека. Но все же

понятие «легендарный» от слова «легенда» имеет строго ограниченный, веками сложившийся смысл, разбазаривать его не следует. По точному определению толковых словарей, «легендарный» — это человек, окруженный ореолом больших, незабываемых, чаще всего исторических событий, к которым он был непосредственно причастен. Такими были события французской революции — и стали легендарными Робеспьер, Дантон, Марат, Камиль Демулен, другие, по определению Виктора Гюго, «гиганты девяносто третьего года».

Вполне сравнимы с теми событиями и «Десять дней, которые потрясли мир», как назвал события осени семнадцатого года в Петрограде их очевидец, журналист американец Джон Рид. То был подлинно исторический Октябрьский переворот, не только потрясший, но и круто, беспощадно, катастрофически и одновременно возвышающе переломивший миллионы судеб. Людей, совершивших этот грандиозный переворот, можно восхвалять или порицать, почитать или хулить, любить или ненавидеть, восхищаться ими или презирать, но они причастны к легендарному историческому событию и сами стали легендарными. Таковы Ленин, Троцкий, Свердлов, Сталин, а также окружавшие их «меньшие боги» — Антонов-Овсеенко, Подвойский, Бубнов, Урицкий, Крыленко, Дыбенко и, несомненно, Раскольников.

Мичман Федор Раскольников служил на одном из боевых кораблей Балтийского флота. После Февральской революции, летом семнадцатого года, он примкнул к большевикам. Отличный оратор и пропагандист, он вскоре стал вожаком кронштадтских матросов, а в предоктябрьские дни привел их в Петроград в распоряжение Троцкого, где они составили значительное подкрепление рабочей Красной гвардии. Во главе с Раскольниковым матросы принимают активное участие в захвате Зимнего дворца, хотя «историческая миссия» ареста Временного правительства выпала не Раскольникову, а Антонову-Овсеенко. Но Раскольников — уже признанный и популярный военный деятель новой власти. С учетом его морского опыта он направляется в первые месяцы разгорающейся Гражданской войны командовать Волжской военной флотилией.

В военных действиях против сил контрреволюции он проявляет себя неплохим командиром. В частности, хорошо известен эпизод, когда благодаря его энергичному руководству была спасена от затопления огромная баржа с несколькими сотнями пленных красноармейцев. Нельзя не упомянуть и о происшедшем в это же время немаловажном событии в его личной жизни — его женой стала не менее легендарная женщина

той поры Лариса Рейснер.

Дочь крупного ученого, профессора Петроградского университета Михаила Рейснера, она с юных лет проявляла необычайные способности к литературной и общественной деятельности. Достаточно сказать, что чуть ли не в семнадцатилетнем возрасте она задумала и осуществила издание сатирического журнала под названием «Рудин» (вышел, правда, только один номер, в котором, помню, очень хлестко и ядовито Лариса высмеяла такого зубастого литератора и критика, как Корней Чуковский). Редкая красавица, волевая и решительная, вплоть до того, что смело ходила в разведку, рискуя попасть в руки белогвардейцев, она была достойной подругой знаменитого Раскольникова.

Я впервые увидел его в доме своего брата, с которым он был в дружеских отношениях. Федор Федорович только что вернулся из Афганистана, где был полпредом Советского Союза. Я смотрел на него с любопытством, видя в нем легендарную личность, имевшую непосредственное отношение к штурму Зимнего дворца и аресту Временного правительства.

В дружеской застольной беседе Кольцов вспомнил эпизод, свидетелем которого я был. Дело было в кулуарах Кремлевского дворца, где происходил очередной партийный пленум. В перерыве между заседаниями, стоя рядом с братом, я с интересом смотрел на известных всей стране партийных и государственных деятелей. Брат обратил внимание, что неподалеку от нас стояли Бухарин, Чичерин, Молотов, Андреев и Сталин. Бухарин держал в руках номер журнала «Огонек», редактируемого Кольцовым. Все они дружно смеялись. Мы с братом переглянулись, и он озабоченно сказал:

— В чем дело, интересно? Что их так могло рассмешить?

В это время Бухарин увидел Кольцова и, продолжая смеяться, жестом подозвал его к себе. Через пару минут брат вернулся ко мне, явно расстроенный.

— В чем дело? — шепотом спросил я.

Оказалось, что на обложке «Огонька» была напечатана фотография со следующим текстом под ней: «Полпред Советского Союза в Афганистане Ф. Раскольников (сидит на слоне), отзыва которого потребовало английское правительство. По лесенке со слона спускается супруга Раскольникова писательница Лариса Рейснер».

— Бухарин спросил меня со смехом, чем провинился перед англичанами слон, что английское правительство требует его отзыва? Конечно, грамматически там все правильно — поставлены скобки, но на слух получается досадный «ляп», —

сказал мне брат.

Этот эпизод со слоном очень рассмешил Раскольникова. Дальше разговор зашел о минувших делах Волжской военной флотилии. Федор Федорович вспомнил, как в Свияжск проведать флотилию приезжал сам Троцкий, тогдашний глава Красной армии. В одном из своих очерков Лариса Рейснер писала, что «когда выступает Троцкий, то приходят на ум вожди Великой Французской революции».

— И это совершенно справедливо, — заметил Раскольников. — Именно такое впечатление производил Лев Давидович, но надо сказать, дело прошлое, что и на него немалое впечатление произвели красота и обаяние моей Ларисы.

— А что произошло потом? — несколько бестактно спросил Кольцов.

Раскольников посмотрел на него с неудовольствием.

— А что могло произойти? — сухо сказал он. — Ведь она любила меня.

— Да, да, конечно… — заторопился Кольцов. — Прости, пожалуйста.

Тем не менее Раскольникову предстояло расстаться с Ларисой. Ко всеобщему удивлению, она предпочла ему, мягко говоря, далеко не красавца, но зато прославленного своим острословием, веселым цинизмом и авантюрной биографией Карла Радека.

Очерки Ларисы Рейснер печатались на страницах «Известий», и в редакции она была окружена подлинным поклонением. Помню, как я был счастлив, когда она однажды обратилась ко мне:

— Ефимов, милый. Сбегайте, пожалуйста, наверх в «Правду», найдите Карла Бернгардовича, пускай передаст с вами мою рукопись об издательстве Ульштейна в Берлине. Ее надо срочно в набор.

Нетрудно себе представить, с каким восторгом я ринулся выполнять это поручение. Мигом слетал на третий этаж в редакцию «Правды», нашел Радека, вихрем вернулся с рукописью и был вознагражден ласковым кивком головы.

А буквально через месяц в Доме печати я стоял в почетном карауле у гроба Ларисы Рейснер. Случайное, нелепое заражение сыпным тифом оборвало ее жизнь. Ей едва исполнилось тридцать лет.

По сей день стоит у меня перед глазами Карл Радек, навзрыд рыдающий у ее свежей могилы на Ваганьковом кладбище. Глубокое сочувствие вызывало безутешное горе этого уже пожилого человека, прошедшего, как говорится, огонь и воду и

медные трубы, опытнейшего политического деятеля. Но, зная все, что произошло в последующие времена, нельзя не отделаться от мысли, что Лариса, человек, близкий к Раскольникову и Радеку, не избежала бы расстрела в годы сталинских репрессий.

Впрочем, кто возьмется усмотреть логику и закономерность в поступках Сталина? Почему, например, Антонова-Овсеенко он расстрелял, а Подвойского не тронул? Почему Рыков и Бубнов были расстреляны, а Луначарский и Бонч-Бруевич уцелели? Почему Дыбенко погиб, а Коллонтай осталась жива? Сталин, видимо, недолюбливал Раскольникова, но почему-то уничтожать его не стал, а направил на дипломатическую работу. Сначала послом в Афганистан, а впоследствии в Болгарию. Но между этими двумя дипломатическими должностями Раскольникову было доверено почему-то заниматься редакционно-литературной деятельностью. В печати появлялись его довольно посредственные статьи и критические выступления по вопросам литературы. Это привело к неожиданному результату — он познакомился с работником редакции журнала «Прожектор» Натальей Пилацкой, и вскоре они вступили в супружеские отношения. Наташа Пилацкая, милый, культурный человек, была нашей с Кольцовым доброй знакомой, и завязалась, что называется, дружба домами. Я получил возможность довольно часто общаться с Раскольниковым. И странная вещь! — образ «легендарного» участника Октябрьского переворота и Гражданской войны стал тускнеть. Я видел перед собой человека весьма заурядного и, откровенно говоря, мало интересного. Но время показало, что я глубоко ошибся. Эти мои впечатления о личности Раскольникова оказались поверхностными и близорукими.

Шли годы, ознаменованные ожесточенными внутрипартийными разногласиями. В первое время Раскольников примыкал к оппозиции, разделял взгляды Троцкого. Его оппозиционность, естественно, привела к тому, что он был освобожден от высоких должностей, которые занимал в Военно-морском ведомстве, и направлен на дипломатическую работу, то есть по сути дела в почетную ссылку. А когда он уехал послом в Болгарию, был вообще почти забыт и «легендарным» больше не числился.

Между тем, вопреки словам широко распеваемой песни: «Над страной весенний ветер веет, с каждым днем все радостнее жить», вопреки возвещенному «Вождем и Учителем»: «Жить стало лучше, жить стало веселее», огромную страну из конца в конец пронизывали отнюдь не весенние, а страшные, леденящие ветры «ежовщины» и «бериевщины». Тысячи и тысячи ни в чем

неповинных людей ежедневно и еженощно отправлялись за колючую проволоку ГУЛАГа, тысячи и тысячи получали пулю в затылок по скорому и безапелляционному приговору всевозможных трибуналов, военных коллегий, особых совещаний, «троек» и «двоек».

Положенную и весьма значительную долю в число жертв сталинского террора вносили и зарубежные работники Советского Союза. Полпреды, их заместители, советники, атташе, даже скромные переводчики и бухгалтеры то и дело вызывались в Москву и бесследно исчезали, иногда прямо с вокзала. Я сам был свидетелем такой сцены. На платформе Белорусского вокзала остановился поезд, прибывший из Берлина. На ступеньках спального вагона стоял с чемоданчиком в руке заведующий одним из отделов берлинского полпредства Яков Магалиф. Я хорошо его знал, бывая в Германии, неизменно встречал с его стороны дружескую заботу и помощь в различных деловых проблемах. Он весело махал рукой встречавшим его жене и сыну. Но они не успели с ним поздороваться: едва он ступил на платформу, к нему подошли двое, коротко с ним поговорили и все вместе ушли в здание вокзала на глазах ошеломленных жены и сына. Больше они его не видели.

А случалось и по-другому. Я был знаком с работником Наркоминдела Михаилом Островским, встречался с ним в ЦДРИ, ЦДЛ, на собраниях деятелей культуры, в ЖУРГАЗе и других местах. Слышал, что он назначен полпредом в Румынию. И вот через какое-то не очень долгое время я встречаю его в Москве, и он рассказывает со смехом:

— Представляете себе? Перед вручением королю отзывной грамоты шеф протокола меня предупреждает, что после формальной процедуры король намерен дать мне приватную аудиенцию. Что ж, пожалуйста. И что вы думаете? Он мне говорит, ни более ни менее, что не советует мне возвращаться в Москву, так как по имеющимся у него точным сведениям я буду немедленно арестован. Знаете, как я ответил? Ваше величество! Только глубокое уважение к вам и к месту, где мы находимся, мешает мне расхохотаться вам в лицо!

— Да… Здорово, — уныло сказал я и неосторожно добавил: — А давно вы приехали?

— Да уже третий день, — ответил он, как-то подозрительно на меня поглядев.

Примерно через неделю я услышал, что Островский арестован и разоблачен, как «враг народа».

Естественно, отзывались в Москву и бесследно исчезали и работники полпредства в Болгарии. Со дня надень, без сомнения,

ждал своего отзыва и Раскольников, не предполагая, конечно, при этом ничего хорошего ни для себя, ни для своей молодой жены. Забыл сказать, что брак его с Наташей Пилацкой оказался непрочным. Они расстались, друг в друге, как я понимаю, разочарованные. А в Софию он приехал со своей третьей и последней супругой с красивым именем Муза.

Не берусь судить, какие мотивы руководили Раскольниковым в тот критический момент. Был ли то естественный инстинкт самосохранения, нежелание бесславно закончить свою легендарную биографию в застенках НКВД или в нем заговорил волевой и решительный мичман Раскольников времен Октябрьского переворота и подвигов Волжской военной флотилии. Но в отличие от многих и многих, без сопротивления, покорно, как под гипнозом положивших голову на плаху, у Раскольникова созревало другое решение.

Ждать пришлось недолго. В один «прекрасный» день тридцать восьмого года на имя Раскольникова поступило из Москвы лаконичное приглашение на срочное совещание в Наркоминделе. Смысл его не вызывал сомнений: то было приглашение на арест, ссылку или, скорее всего, через короткое время, расстрел. Раскольников не стал колебаться — он ответил немедленно и решительно, что отказывается вернуться в страну, где «воцарился кровавый произвол и разнузданный террор». То был открытый и дерзкий вызов всемогущему «Отцу народов», и, понимая это, Раскольников счел за благо покинуть вместе с Музой Болгарию, откуда его из страха перед Сталиным вполне могли выдать советским властям, и уехал во Францию.

Раскольников решительно и отважно перешел политический Рубикон в своей биографии, но положение его за рубежом было весьма сложным и, прямо сказать, незавидным. Политического убежища ему во Франции не предоставили. В той неспокойной международной обстановке не хотели, видимо, портить отношения с мощным Советским Союзом. Руководство Французской компартии, целиком зависящее от субсидий из Москвы, видело в нем перебежчика в лагерь буржуазии, предателя социалистического отечества, а белая эмиграция не могла, конечно, простить «легендарного» участия в окаянном большевистском перевороте. Но Раскольникова все это, по-видимому, мало беспокоило. Он был слишком одержим в эти дни духом борьбы, гневом против сталинского режима.

Надо сказать, что в ту пору для советской действительности не были редкостью «невозвращенцы», среди которых встречались и весьма ответственные лица, даже личные секретари и помощники Сталина, которые, зная непредсказуемый нрав «Вождя

и Учителя», предпочитали держаться от него подальше. Все эти невозвращенцы себя отнюдь не афишировали, жили по разным странам тихо и незаметно, стараясь, чтобы о них забыли.

Конечно, и Раскольников мог бы спокойно доживать свой век вместе с Музой где-нибудь во французской или американской провинции, с успехом издавая мемуары о событиях «десяти дней, которые потрясли мир», о подвигах Волжской военной флотилии, о встречах с Троцким, о своем пребывании с легендарной Ларисой Рейснер в Афганистане и многом другом, не затрагивая при этом личности Сталина, «ежовщины» и «бериевщины». Мог бы, конечно, но он, как оказалось, был сделан из другого материала…

В августе 1939 года Федор Раскольников написал, а в октябре опубликовал в печати «Открытое письмо Сталину». Оно было перепечатано во многих странах и даже проникло в рукописных копиях в Советский Союз. Взять его для прочтения могло стать так же смертельно опасно, как и «Мою жизнь» Троцкого. От чтения «Открытого письма» становилось страшно и охватывала дрожь. Думаю, что мало есть в истории человеческих документов подобной силы, подобного страстного, сокрушающего обвинения. Это — подлинная, неумолимая инвектива, хотя объяснение этого латинского термина в словаре, как «резкой, оскорбительной речи, бранного выпада против кого-нибудь», кажется мне в данном случае слишком слабым и мягким. «Открытое письмо Сталину» Раскольникова — это не брань. Более правильно сравнить его с раскаленным, немилосердно хлещущим бичом.

Невольно вспоминается письмо Ивану Грозному от бежавшего за рубеж князя Курбского. Помните, у Алексея Константиновича Толстого:

> …И пишет боярин всю ночь напролет,
> Перо его местию дышит,
> Прочтет, улыбнется, и снова прочтет,
> И снова без отдыха пишет…

Мы не знаем, рискнули ли секретари Сталина показать Хозяину газету с адресованным ему Письмом. Но ясно, что всесильный деспот не счел нужным вступать в переписку с мятежным невозвращенцем, как это сделал грозный царь, а просто дал команду его уничтожить. Это было незамедлительно и оперативно исполнено. После опубликования «Открытого письма» Раскольников прожил немногим больше месяца. Обстоятельства его смерти покрыты туманом. Известно только, что это произошло на юге Франции, в больнице, где Раскольников

лечился. По одной версии он был отравлен, по другой — выброшен из окна пятого этажа… Так или иначе, вряд ли мог быть иным конец человека, осмелившегося написать тирану:

«Сталин! Вы объявили меня «вне закона». Этим актом вы уравняли меня в правах, точнее, в бесправии со всеми советскими гражданами, которые под вашим владычеством живут вне закона. Со своей стороны отвечаю вам полной взаимностью, возвращаю вам входной билет в построенное вами «царство социализма» и порываю с вашим режимом.

…Заменив диктатуру пролетариата режимом вашей личной диктатуры, вы открыли новый этап, который в историю нашей революции войдет под именем эпохи террора.

…Вы оболгали, обесчестили и расстреляли многолетних соратников Ленина, …невиновность которых вам была хорошо известна. Перед смертью вы заставили их каяться в преступлениях, которых они никогда не совершали… Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично вам неугодных писателей, деятелей культуры. Где Борис Пильняк, где Михаил Кольцов, где Сергей Третьяков, где Галина Серебрякова, виновная только в том, что она была женой Сокольникова, где великий Всеволод Мейерхольд? Вы уничтожили и Всеволода Мейерхольда, Сталин.

…Ваша безумная вакханалия не может продолжаться долго. Бесконечен список ваших преступлений. Бесконечен список ваших жертв. Рано или поздно советский народ посадит вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа…

16 августа 1939 года. Раскольников, полпред в Болгарии».

…Как же я был близорук, когда при личном знакомстве с Раскольниковым не разглядел в нем подлинного бойца, волевого, мужественного, неустрашимого. А именно он, Федор Раскольников, оказался, пожалуй, единственным человеком, смело бросившим в лицо тирану слова обвинения и разоблачения. И мы вправе назвать его легендарным Раскольниковым. А я бережно храню небольшую книжку ярко и талантливо написанных воспоминаний о событиях Гражданской войны под названием: «Рассказы мичмана Ильина». Я получил ее в подарок из рук самого Федора Федоровича.

Глава восемнадцатая

Атмосфера в Европе становилась с каждым днем все более зловещей. Гитлер уже совершенно перестал стесняться в своих воинственных требованиях, призывах и угрозах. И оробевшие руководители Англии и Франции, уклонившись от предложения Сталина создать единый антифашистский фронт, предпочли пойти на поклон к фюреру. Гитлер и Муссолини — с одной стороны, а Невилл Чемберлен и Даладье — с другой, подписали в Мюнхене пресловутое соглашение, уступавшее всем требованиям фашистов. И настолько велика была близорукость «западных демократов», что, вернувшись из Мюнхена, Чемберлен, как известно, размахивая текстом соглашения, патетически восклицал: «Я привез мир для нашего поколения!»

Одним из пунктов мюнхенского сговора была фактическая свобода рук для Гитлера по отношению к Чехословакии. Над этой страной нависла угроза немедленной германской оккупации. Прошло два дня, и в Прагу вылетел специальный корреспондент «Правды» Михаил Кольцов. Это не прошло мимо внимания западной прессы, хорошо знавшей о деятельности Кольцова в Испании и поэтому расценившей появление его в Праге, как признак готовящегося сопротивления германской агрессии со стороны Чехословакии при поддержке Советского Союза.

Но этого, как известно, не произошло. Советский Союз не вмешался. Англия и Франция не пошевелились. Германские войска триумфально заняли Чехословакию. За несколько часов до этого Кольцов вернулся в Москву. Но произошло еще одно маленькое незаметное событие, носившее чисто личный характер: из Праги Кольцов позвонил по телефону в Париж и говорил с Марией Остен. Он просил ее не приезжать в Москву.

— Но в чем дело? Почему я не должна приезжать? — в недоумении спрашивала она.

— Мария! У меня очень мало времени. Слушай меня внимательно. Тебе не надо приезжать в Москву. Понятно? Я не могу сказать больше.

— Но почему? Ты больше не хочешь меня видеть?

— Мария! У меня больше нет времени. Повторяю: тебе не надо приезжать в Москву. Целую.

В Москве Кольцов рассказал мне об этом разговоре. Я отлично понимал его смысл: в атмосфере воспаленной «бдительности», царившей в Москве, арест Марии как «немецкой шпионки» был почти неизбежен… Но я не мог себя пересилить, чтобы не сказать:

— Но… Миша… Такой разговор с Парижем… Это ведь опасно…

Брат посмотрел на меня с раздражением.

— Да, — сердито произнес он. — Это опасно.

Я замолчал. Но тяжелая тревога не покидала меня с этого момента ни днем ни ночью.

А между тем для тревоги, казалось, не было никаких оснований. Однако сам Кольцов с его необыкновенным чутьем и наблюдательностью говорил мне:

— Что-то изменилось. И не к добру.

— Но в чем это выражается? В чем? — допытывался я.

— Не знаю. Но чувствую, откуда-то дует этакий ледяной ветерок…

Как-то один из самых верных сталинских опричников редактор «Правды» Мехлис вернулся из Сочи, где в это время отдыхал Сталин.

— Знаешь, Миша, — сказал он Кольцову. — Могу сообщить тебе нечто приятное: Хозяин очень хорошо о тебе отзывался. В частности, заметил, что ты полностью изжил вредное влияние Троцкого. Но вот что я бы тебе посоветовал: ты должен, по-моему, как-то оправдаться в этой истории с Андре Жидом, которого ты пригласил в Советский Союз.

— Не я его приглашал, а Горький. Еще до своей болезни.

— Это неважно. Хозяин считает, что это была твоя ошибка.

Как обычно поделившись со мной этим разговором, брат задумчиво сказал:

— Что касается похвального замечания по поводу того, что я изжил «вредное влияние Троцкого», то в переводе на простой человеческий язык это означает: «Товарищ Кольцов. Я не забыл, что, вопреки моему предупреждению, вы продолжали печатать в «Огоньке» фотографии Троцкого». Тут уж ничего не поделаешь. Это мне не простится никогда. А вот с Андре Жидом надо что-то придумать, чтобы он на мне не висел.

И Кольцов использовал нестандартный литературный прием: не статью, не фельетон, не интервью, которые разоблачили бы «двуличие» Андре Жида, а… продолжение «Испанского дневника». Надо сказать, что в условиях сумасшедшей своей занятости: «Правда», Жургаз, «Огонек», «Крокодил», Союз писателей, Верховный Совет, строительство Зеленого города под Москвой, агитэскадрилья самолетов имени Горького и прочее — Кольцов, недосыпая и недоотдыхая, находил время заканчивать «Испанский дневник», прерванный на записи от 4 ноября 1937 года, вскоре после чего Михаил был отозван из Испании. Можно не сомневаться, что на это, как и при направлении его туда 16

месяцев тому назад, «согласие товарища Сталина имелось»… Видимо, по мнению Хозяина, наступало время расправ за то, что дела в Испании шли все хуже и хуже.

Правда, до окончательной победы Франко было еще далеко. И миллионы советских людей с величайшим сочувствием и солидарностью следили за упорной борьбой испанского народа против фашистов. С огромным интересом был встречен «Испанский дневник» Михаила Кольцова. Тогда же в «Правде» появилась рецензия, насколько я знаю, крайне неохотно напечатанная завистливым Мехлисом, но подписанная столь авторитетными литературными именами, что он не смог уклониться, — Алексеем Толстым и Александром Фадеевым… Последняя фраза в этой рецензии была: «“Испанский дневник” — великолепная, страстная, мужественная и поэтическая книга».

Кольцов, как я уже сказал, продолжал писать «Дневник» в условиях жесточайшего цейтнота. Бывало, что он не успевал сдать к сроку в журнал «Новый мир» очередные страницы и тогда диктовал их уже не на пишущую машинку на квартире или в редакции, а в… типографии, прямо на линотип! Другого такого примера я не знаю.

Так вот, продолжая записи об испанских делах, Кольцов за теми же числами как бы вспоминает детали приезда в СССР Андре Жида, очень тактично, убедительно и достоверно дает понять, что приглашение его в нашу страну состоялось вне компетенции Союза писателей, а его, Кольцова, мнением Сталин поинтересовался, когда французский писатель уже был в Москве.

Но я думаю, что вряд ли эти запоздалые объяснения могли что-нибудь изменить или поправить, да и сомневаюсь, что они дошли до Сталина. Никаких перемен не происходило. Кольцов продолжал неистово работать — писать, выступать, заседать, руководить, а зловещий «ледяной ветерок» продолжал дуть все более ощутимо.

Вскоре произошло событие, сильно обострившее мою тревогу. В Москву приехала испанская супружеская пара: командующий военным флотом Республики адмирал Игнасио Сиснерос и его жена Констансия де ла Мора, заведующая Отделом печати МИД Республики. Кольцов дружил с ними в Испании и тепло встретил их в Москве. Он пригласил супругов на ужин и, как обычно, позвал меня. Так случилось, что как раз в этот день был опубликован Указ об освобождении Ежова от обязанностей наркома внутренних дел и назначении его народным комиссаром водного транспорта. Придя к брату и, как всегда, с ним расцеловавшись, я сказал:

— Ну вот и не стало Ежова. Кончилась «ежовщина».

— Как знать, — задумчиво произнес Миша. — Может быть, теперь становятся подозрительными те, кого не тронул Ежов…

Я посмотрел на брата с удивлением:

— Ну, это уже слишком. Какой-то парадокс.

Но это оказалось, увы, точным и зловещим предвидением…

Через пару дней я снова был у брата, и он весело мне рассказывал со слов четы Сиснеросов, как их принимал Сталин, каким обаятельным он им показался, как забавно им представлялся, пожимая руку и называя при этом свою фамилию. Как он вспомнил и деда Игнасио, тоже адмирала Сиснероса (разумеется, все эти сведения были заблаговременно представлены Кольцовым).

Я слушал брата, и меня сверлил один-единственный вопрос, который я наконец задал:

— Скажи, Мышонок. А… тебя не пригласили?

Он посмотрел на меня своим умным, все понимающим взглядом.

— Нет, — сказал он очень отчетливо. — Меня не *при-гла-сили.*

Описать настроение тех дней немыслимо.

Какие найти слова, чтобы передать ощущение нависшего над тобой «дамоклова меча», готовой вот-вот разразиться страшной катастрофы для тебя лично и для дорогих тебе людей. И при этом сохранять перед окружающими бодрый вид, хорошее настроение, неизменный юмор, полную работоспособность. От меня, конечно, брат не скрывал своего ужасного внутреннего состояния, и сердце мое сжималось от боли. Ни на минуту я не переставал думать, что где-то в недоступных для простых смертных кабинетах решается судьба его и его близких, колеблются чаши роковых весов.

Вскоре произошла встреча брата с Хозяином. Неожиданная и последняя. Это было в Большом театре на каком-то правительственном спектакле. Сталин заметил Кольцова в зрительном зале и велел его позвать. «Вождь и Учитель» был в хорошем настроении, шутил с окружающими. Ворошилов, тоже, видимо, шутки ради, обратился к нему по имени-отчеству, на что Сталин притворно-обиженно спросил:

— Ты за что это меня обругал?

— А тебя, товарищ Сталин, так уже с детства обругали! — под общий смех ответил Ворошилов.

В какой-то фразе Сталин употребил выражение: «Мы, старики…», на что присутствовавший в ложе Феликс Кон прямо-таки взвизгнул «от возмущения».

— О чем вы говорите? — закричал он. — Да вы же молодой

человек!

Сталин добродушно возразил:

— Какой я молодой? У меня две трети волос седые.

Описывая мне детали этой встречи, брат отметил, что у *него* появились золотые зубы, а широкие штаны, заправленные в сапоги с короткими голенищами, придавали ему «какой-то турецкий вид».

С Кольцовым Хозяин разговаривал вполне дружелюбно, интересовался делами в «Правде» и в Союзе писателей. Потом прибавил:

— Товарищ Кольцов. Между прочим, было бы неплохо, если бы вы сделали для столичной писательской братии доклад в связи с выходом в свет «Краткого курса истории ВКП(б)».

После этой встречи у нас немного отлегло от сердца, хотя всем было известно, что Сталину доставляло удовольствие приглашать обреченного человека для дружеской беседы. Обладая незаурядными актерскими способностями, Хозяин демонстрировал полную благосклонность, предлагал какую-нибудь высокую должность и даже назначал на нее, как это было, например, с Антоновым-Овсеенко, который незадолго до ареста был назначен… народным комиссаром юстиции.

Любопытно, кстати, что аналогичную садистскую манеру императора-тирана Домициана Флавия выразительно описывает Лион Фейхтвангер в романе «Настанет день». Не использовал ли он в данном случае рассказы о характере Сталина?

Так или иначе, но в случае с Кольцовым именно это и произошло. Вероятно, ордер на его арест был уже подписан к моменту разговора в Большом театре или, может быть, на следующий день.

…Вечером 12 декабря тридцать восьмого года знаменитый Дубовый зал Центрального дома литераторов (бывшая масонская ложа графа Олсуфьева) был переполнен. Как говорится, яблоку негде упасть. Популярность Кольцова была велика, всем хотелось его увидеть и услышать. Не найдя себе места в зале, я поднялся на хоры, где и простоял больше двух часов. После доклада, выступлений и краткого заключительного слова мы встретились с братом в гардеробе, и я предложил:

— Поедем ко мне, Мышонок. Попьем чайку. Между прочим, с пирожными.

— Чай с пирожными — это неплохо, — сказал Кольцов, подумав. — Но у меня еще есть дела в редакции.

И мы, расцеловавшись, расстались. Навсегда.

Рано утром меня разбудила жена, сказав, что звонит шофер Кольцова Костя Деревенское. Сердце екнуло от недоброго

предчувствия.

— Да, Костя. Я слушаю.

— Борис Ефимович… Вы знаете? Вы ничего не знаете?..

— Я все понял, Костя, — ответил я и медленно опустил трубку. А мозг заполонила, вытеснив все остальное, одна-единственная мысль: вот он и пришел, тот страшный день, которого я так боялся… Вот он и пришел…

Жена принялась отпаивать меня валериановыми каплями, которых я сроду не пробовал, уложила в постель. Я не сопротивлялся и только бормотал: «Миша… Миша… Что там с ним делают… Лучше бы меня…»

Часа через два я пришел в себя и понял, что надо и мне готовиться. Странно было, конечно, что и меня не взяли в ту же ночь. Но это могла быть простая техническая «накладка», которую надо использовать. Надо собрать необходимые теплые вещи, взять деньги в сберкассе, чтобы оставить их дома и, самое тяжелое и неприятное, сообщить о случившемся родителям. Приехав к ним, я не стал скрывать своего подавленного настроения.

— Что с тобой? — спросила мама. — Ты здоров?

— Понимаешь, мама, — сказал я. — Я очень беспокоюсь за Мишу…

— А что с ним? — встревожилась мать за своего любимого первенца, которым так гордилась.

— Понимаешь, мама. Его вызвали в… одно место… Наверно, какое-то недоразумение… Но ты знаешь, какое теперь время… Все может быть… Я очень беспокоюсь…

«Подготовив» ее таким образом, я ушел, думая: «Бедная мама… Кто ее так же «подготовит», когда завтра возьмут меня…»

К вечеру я был уже в основном готов, но оставались еще кое-какие дела и мне захотелось получить еще сутки свободы. *Они* приходили, как правило, к половине второго ночи, и мы так договорились с женой: я уйду из дому часов в двенадцать, погуляю по Москве и позвоню из автомата в пять часов утра. Если *они* пришли и ждут меня, то, взяв телефонную трубку, жена произнесет: «Да». Если *их* нет, она скажет: «Алло». (Это было, конечно, достаточно наивно: никто не позволил бы ей снимать телефонную трубку…)

…Волшебно красива была покрытая мягко падающим густым снегом ночная Москва. Я не спеша спустился по безлюдной улице Горького, остановился против Исторического музея. Всегда приятно было смотреть на рубиновые звезды Кремля, их воспевали и в прозе, и в стихах, рисовали на патриотических плакатах. Теперь они показались мне наполненными человеческой кровью. Мне стало страшно, и я повернул обратно,

к площади Маяковского. Я шел, как автомат, повторяя про себя одно и то же: «Миша… Миша… Что он сейчас переживает? Наверно, вся Москва уже знает, что Михаил Кольцов арестован. Михаил Кольцов арестован… Может быть, это кошмарный сон или все же действительность? Миша… Миша… Братик мой родной…»

Не доходя до площади Маяковского, по левой стороне улицы я увидел маленькую ночную шашлычную. Я вошел, заказал шашлык, бутылку кагора. Поел и погрузился в какое-то оцепенение. Мыслей никаких не было, только ощущение непоправимой беды.

Ровно в пять часов утра я подошел к висевшему у входной двери автомату и позвонил к себе на квартиру.

— Аллоу! — услышал я радостный возглас жены.

И я пошел домой, довольный, что получил в свое распоряжение еще один день свободы. Но *они* не пришли и на следующий день, и на третий. Прошла неделя, и, понимая, что в этих делах и в этих органах случайностей не бывает, я сделал вывод: Хозяин подарил мне свободу.

По сей день я не нахожу этому факту бесспорного и достоверного объяснения, хотя по сей день мне задают такой вопрос. С точки зрения тех, кто подготовил и осуществил уничтожение Кольцова, по их злобной и безжалостной «логике», я, как самый близкий к нему человек (об этом было широко известно), не мог не знать о «преступной, шпионской и изменнической деятельности» брата. Даже если не принимал в ней прямого участия. Соответствующее «доносье» на меня было своевременно заготовлено. И, видимо, ордер на мой арест был подписан. Но Хозяин сказан: «Нэ трогать».

А почему он это сказал? Ведь я был родным братом Кольцова, много лет раздражавшего его своим независимым нравом, чрезмерной, несогласованной инициативностью и «прыткостью». Хозяин не мог не знать, что самый лютый его враг — Троцкий дружески ко мне относился и даже написал хвалебное предисловие к сборнику моих карикатур. А я знаю случай, как один литератор был объявлен троцкистом и погиб в заключении только потому, что какой-то «стукач» обнаружил, что в старой его брошюре перед фамилией Троцкого стояла буква «т.», то есть «товарищ»… А тут целое предисловие!.. К тому же вряд ли от бдительного ока «соответствующих органов» ускользнуло мое посещение квартиры Троцкого перед его высылкой в Алма-Ату. Всего этого было бы более чем достаточно, чтобы посадить не одного Ефимова, а по крайней мере сто человек. И между тем: «Нэ трогать…» Чем объяснить? Возможно, тем, что Сталин был не

только жесток и безжалостен, но также непредсказуем, капризен и нередко любил поступать не так, как от него ожидали, а совсем наоборот. Видимо, я и попал в эту категорию «наоборот». К тому же мои карикатуры ему нравились, и он, как рачительный хозяин, решил, что опытный карикатурист ему еще понадобится.

Так или иначе указание «Нэ трогать» было, конечно, для меня и для моей семьи немаловажным обстоятельством. Но четкая мета «брат врага народа» с меня снята не была. Осторожные перестраховщики не спешили давать мне работу по моей основной профессии. И я кормился тем, что рисовал школьные пособия, театральные афиши, смешные детские кубики и тому подобное, далекое от самого желанного и привычного для меня жанра — политической карикатуры.

К этому не слишком веселому периоду моей биографии относится и такой маленький, но оставшийся в памяти эпизод. По заказу одного издательства я сделал рисунок к плакату «Песня о Чапаеве», изображавший легендарного начдива во всем его величии: на коне, с обнаженной шашкой в высоко поднятой руке, в бурке, на фоне развевающегося красного знамени. Я даже постарался, не будучи пейзажистом, красиво изобразить облака на голубом небе. Плакат получился весьма удачный и даже удостоился одобрительного отзыва в вечерней газете. Но при этом автором плаката был указан другой художник. Видимо, не сочли нужным публиковать фамилию «брата врага народа». Сначала я решил не обращать на это внимания, но потом меня разобрала досада. И я пришел в редакцию с просьбой дать поправку. Это был встречено с нескрываемым раздражением.

— А зачем, собственно говоря, это нужно? — недружелюбно спросил принимавший меня секретарь редакции.

— Очень просто, — вежливо ответил я. — Мне не хотелось бы, чтобы мою работу приписывали другому, хотя бы и весьма уважаемому художнику… Тем более, — довольно неосторожно добавил я, — что в последнее время я не так часто вижу свое имя в печати.

Это, видимо, его еще больше разозлило.

— Не знаю, не знаю, — сказал он с нарастающим раздражением. — Надо проверить. Может, это и не вы рисовали. Или речь идет о другом плакате. Да и вообще по таким пустяковым поводам мы поправок не даем.

Хотя, повторяю, в ту пору мне было совсем не до смеха, но я не мог не улыбнуться: мне вспомнилась аналогичная сценка из «12 стульев» Ильфа и Петрова:

«— Вот что, гражданин, — сказал редактор, — никто вас не позорил и по таким пустяковым вопросам мы опровержений не

даем.

— Ну, все равно, я так этого дела не оставлю! — говорил Остап Бендер, покидая кабинет».

Я тоже решил «не оставлять этого дела», хотя сопротивление редакции было весьма упорным и продолжалось месяца два, на протяжении которых я кротко, но терпеливо напоминал о своей просьбе. Ошибка явная, деваться некуда, и в конце концов каким-то сверхмелким шрифтом, после объявлений о разводах и переменах фамилий были напечатаны две строчки о том, что автором плаката о Чапаеве является «такой-то».

Одним из немногих, кто не отвернулся от меня после ареста брата, а наоборот пришел на помощь — был наш общий с Кольцовым друг Илья Самойлович Зильберштейн.

Сказать, что Илья Зильберштейн человек незаурядный, мало. Это был человек уникальный по трудолюбию, неутомимости и целеустремленности, по преданности и любви к делу, по фанатической одержимости и творческой самоотдаче. В жизни Ильи Зильберштейна не было, насколько я знаю, особо драматических, остросюжетных событий и приключений, но его биография, на мой взгляд, великолепный материал для такого писателя, как Бальзак. Именно он, великий знаток и исследователь человеческих характеров и судеб, мог бы написать интереснейшее повествование о том, как бойкий и любознательный одесский паренек из простой небогатой семьи стал выдающимся деятелем русской и тем самым мировой культуры, завоевал достойное место рядом с самыми известными авторитетами в области литературоведения и искусствоведения, удостоился высоких ученых степеней, государственных премий и правительственных наград. И это не был легковесный успех счастливчика-вундеркинда, которому повезло. Нет, был трудный, временами тернистый путь беспокойного, упрямого, пытливого исследователя-первооткрывателя. И шел он по этому пути терпеливо, настойчиво, шаг за шагом преодолевая бесконечные трудности, сложности, препятствия, причем не только чисто творческого профессионального плана — приходилось нередко сталкиваться и с косностью чиновников от культуры, и с завистливым недоброжелательством бездарностей и невежд, и с угрюмой враждебностью тех, кому не по нутру была фамилия Ильи Самойловича… И ко всему этому надо было преодолевать две тяжелые, всю жизнь изводившие его болезни — туберкулез и особенно диабет с его обязательными ежедневными инъекциями инсулина и неожиданными обмороками.

Помню, я как-то зашел в кабинет Михаила Кольцова в ЖУРГАЗе в тот момент, когда брат, положив телефонную трубку,

печально говорил:

— Эх, Ильюша, Ильюша…

— Что случилось? — спросил я брата.

Оказалось, что звонил из Ленинграда представитель ЖУРГАЗа и сообщил: Зильберштейна доставили в больницу с сильным кровоизлиянием, врачи сказали, что вряд ли он доживет до утра. Звонивший просил срочно перевести деньги на похороны. После этого диагноза Илюша прожил, слава Богу, еще добрых 60 лет, надолго пережив Кольцова, который, к слову сказать, очень симпатизировал неугомонному Илюше, а тот до конца своих дней вспоминал о нем с любовью и благодарностью.

Немало осложнений, безусловно лишних, создавал Илье Самойловичу его беспокойный и даже немного дерзкий нрав и острый, насмешливый, не всегда воздержанный язык, что в конце 30-х годов нередко оборачивалось большой бедой. Но Зильберштейна, к счастью, чаша сия миновала. А боролся он со всеми трудностями на своем пути, не впадая в уныние, не теряя чувства юмора и веры в себя.

Начало моего знакомства с Ильей Зильберштейном относится к далекому 1925 году. По каким-то своим издательским делам Кольцов, помню, собрался в Ленинград, и я увязался за ним, чтобы лишний раз увидеть этот прекрасный город. С нами поехали наши жены, и мы приятно провели там несколько дней. Тогда же Кольцов нас познакомил с удивительно общительным, бойким, сразу к себе располагающим молодым литературоведом, дававшим интересные материалы для журнала «Огонек». Это и был Илья Зильберштейн. Мы как-то сразу подружились. Мне было тогда двадцать пять лет, а ему — двадцать, и эту разницу в пять лет мы заботливо сохранили на все последующие годы.

Вскоре Илья Зильберштейн стал москвичом. Он работал уже не только в «Огоньке», но из года в год все шире становилась его искусствоведческая и литературная деятельность. Работал он неистово и самозабвенно, в постоянном цейтноте, часто забывая об отдыхе, сне, еде. Так случилось, что какое-то время мы жили с ним в одной квартире, и я не раз наблюдал, как он приходил вечером из редакции, наскоро перекусив, усаживался за свой письменный стол, заваленный рукописями, гранками, корректурами, и сидел допоздна. А ранехонько утром в любую погоду с тяжеленным портфелем в руке он уже открывал дверь на лестницу. Бывало, я окликал его:

— Илюша! Что это вы — ни сна, ни отдыха?..

— Много работы, Боря. Много работы, — устало говорил он на ходу и исчезал за дверью с тем, чтобы вечером снова появиться с еще более тяжелым портфелем и снова погрузиться в рукописи

и корректуры.

Деятельность Ильи Зильберштейна как литературоведа и искусствоведа характерна тем, что в творчестве и жизни писателей и художников его прежде всего интересовало все новое, еще неопубликованное, неведомое, нераскрытое, неразгаданное. И перечислить все, чем он в этом плане обогатил и пополнил наши знания, просто невозможно. Он едва перешагнул за двадцатилетний возраст, когда в Ленинграде вышла его книжка «История одной вражды», рассказывающая о сложных взаимоотношениях двух великих писателей — Достоевского и Тургенева. Вышла она в престижном издательстве «Academia» в превосходном полиграфическом оформлении. Между прочим, несколько забегая вперед, упомяну о том, что спустя почти 60 лет он подарил эту книгу моему внуку Виктору со следующей надписью:

«Дорогой Виктор! Рад, что вы принадлежите к славной династии Ефимовых. А эту книжку я подготовил, когда мне было 22 года. А спустя три года, благодаря помощи Михаила Ефимовича Кольцова, я приступил к изданию «Литературного наследства», самой заветной мечте молодых лет моей жизни. С той поры почти 57 лет создаю тома этой серии, сейчас в работе 95-й том. Всего доброго. И. Зильберштейн».

Создание «Литературного наследства», ставшего, благодаря поддержке Михаила Кольцова, небывалым по объему, масштабу, глубине замысла и, не боюсь этого слова, сенсационности содержания изданием, явилось подлинным культурным подвигом Зильберштейна. На протяжении нескольких десятилетий Ильей Самойловичем было задумано, составлено, отредактировано и, без всякого преувеличения, выстрадано 98 (девяносто восемь!) фундаментальных, богато иллюстрированных и полиграфически безукоризненно оформленных томов «Литнаследства», а практически еще больше, так как некоторые тома состояли из двух-трех и даже четырех книг. Мимо его зоркого глаза, его пристального редакторского внимания не прошла ни одна строка, ни одно слово, ни одна буква этого монументального издания.

Надо сказать, что в выборе темы для очередного тома «Литнаследства» Зильберштейн обладал полной самостоятельностью, так же как в подборе материалов и иллюстраций. Кольцов ему полностью в этом отношении доверял. Значительно сложнее стало ему работать, когда в конце тридцать восьмого года редакция «Литнаследства» оказалась в подчинении у совсем других людей. Гибель Кольцова была тяжелейшим ударом и для Ильи Самойловича. Через почти полвека глубокой грустью проникнута его надпись на подаренной мне книге

«Художник-декабрист Николай Бестужев»:

«Дорогой Боренька! Конечно, чудо из чудес, что мы уцелели в те роковые годы, когда нашей страной 30 лет управлял подонок Сталин, уничтоживший многие миллионы хороших людей. И я счастлив, что наша дружба, которая длится 62 года, никогда ничем не омрачалась. А это мое исследование, за которое нежданно-негаданно был удостоен Государственной премии СССР, дарю в знак моей любви к Вам — замечательному человеку и блистательному художнику. Здоровья Вам и Вашему дому. И. Зильберштейн 17 ноября 1987 г.».

Трудновато приходилось Илье Самойловичу, но его настойчивость и находчивость преодолевали все препоны. Припоминается такой полуанекдотический эпизод. Очередной том «Литнаследства» под названием «Новое о Маяковском», в котором Зильберштейн впервые опубликовал переписку поэта, был задержан начальством, которому не понравилась фраза в одном из писем Лиле Брик: «Целую тебя миллион раз». «Не много ли?» — гласила ироническая ремарка бдительного партократа. Другой, более покладистый редактор, возможно, смирился бы, пожертвовав одним из многих писем. Но не таков был Зильберштейн, бережно-дотошно относившийся к каждой строчке писательского наследия. Он отправился в «инстанцию» с томом писем Чехова и преподнес там строки Антона Павловича: «Целую тебя десять тысяч раз», спросив при этом:

— Если тяжело больной, слабый Чехов мог поцеловать свою жену десять тысяч раз, то почему молодой, здоровый Маяковский не мог сделать то же самое в сто раз больше?

Добродетельное начальство уступило…

Но у меня связаны с Зильберштейном и менее забавные воспоминания. Когда утром 13 декабря тридцать восьмого года я проснулся в звании «брат врага народа», когда многие хорошие знакомые и приятели предпочитали со мной не общаться, когда я остался без работы и без заработка, то единственным человеком, оправдавшим поговорку: «Друзья познаются в беде», был Илья Зильберштейн. Он пришел мне на помощь, хотя в ту пору это было небезопасно. В частности, он со свойственной ему настойчивостью уговорил или, вернее будет сказать, заставил директора Литературного музея Владимира Бонч-Бруевича заказать мне серию иллюстраций к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина. Надо ли говорить, как это тогда поддержало меня материально и морально. Но на этом Зильберштейн не успокоился: он проведал, что готовится к постановке фильм о Карле Либкнехте, вожде германских коммунистов, по сценарию Николая Тихонова, и стал «сватать»

меня в качестве художника-оформителя. Я даже сделал несколько эскизов для этого фильма, в частности рисунок, изображающий Либкнехта, голосующего в рейхстаге против объявления войны (речь идет, разумеется, о Первой мировой войне). Но Тихонов проявил должную «бдительность», и к этой работе «брат врага народа» допущен не был.

Думаю, что если бы вклад Ильи Зильберштейна ограничился созданием «Литературного наследства», он и то занял бы достойнейшее место в развитии русской культуры. Но «Литнаследство» было только частью его непостижимо разносторонней и, не боюсь сказать, бешеной деятельности. Взять хотя бы эпопею с его поразительными «Парижскими находками». Просто уму непостижимо, как он со своим мучительным диабетом не побоялся затеять поездку в Париж, один-одинешенек, без знания французского языка, не располагая достаточными денежными средствами (ему было выдано десять долларов), и через два месяца вернуться в Москву с такими ценностями русской культуры, которые не смог бы заполучить иной престижный научно-исследовательский институт, располагающий штатом сотрудников и мощными валютными ресурсами.

Но Зильберштейн зато имел удивительный дар устанавливать добрый контакт с нужными людьми, находить к каждому из них «ключик». Он располагал к себе огромной эрудицией, высокой культурой и интеллигентностью, обаянием живого и веселого общения. И он нашел точки соприкосновения с такими разными и незаурядными личностями, как, например, выдающийся мастер балета Серж Лифарь. Или князь Феликс Юсупов (участник убийства Григория Распутина). Или всемирно известный художник Марк Шагал. Или генерал французской армии Зиновий Пешков, родной брат Якова Свердлова, почему-то усыновленный Максимом Горьким. Или вдова барона Гиршмана, позировавшая Валентину Серову для знаменитого портрета. И ряд других, не менее интересных и «экзотических» личностей, от каждой из которых Зильберштейн получал (чтобы не сказать «вытягивал») все, что ему было необходимо, — воспоминания свидетелей исторических и культурных событий, архивные справки, письма, документы и т. п. Очерки Зильберштейна «Парижские находки» печатались в журнале «Огонек», а потом вышли отдельной книгой, которая читается, как самый занимательный роман.

Замечательная страница в биографии Зильберштейна — это его деятельность коллекционера произведений живописи и графики. Составленное серьезно, продуманно, взыскательно, собрание его насчитывало около двух с половиной тысяч (!)

названий, среди которых имена Рембрандта, Репина, Сурикова, Серова, Бакста, Бенуа, Сомова, других замечательных мастеров — это было одно из лучших частных собраний в Москве. В собирании произведений живописи и графики Зильберштейн проявлял немыслимую энергию, настойчивость и смекалку. Забавный эпизод рассказал мне как-то известный искусствовед, вице-президент Академии художеств Владимир Кеменов.

Будучи в Ленинграде, он зашел в антикварный магазин, где случайно встретился с Зильберштейном, с которым был знаком. Они оба обратили внимание на живописный эскиз, автором которого был обозначен Василий Суриков. Внимательно рассмотрев эскиз, Зильберштейн сказал:

— Ну, какой же это Суриков?

И, пренебрежительно махнув рукой, отвернулся. Выйдя из магазина они, распрощавшись, разошлись в разные стороны. Но, пройдя несколько домов, Кеменов, заколебавшись, остановился.

— Я подумал, — рассказывал он мне, — Суриков или не Суриков, а эскиз хороший. Пожалуй, я его куплю.

И вернулся в магазин.

— Я решил купить этот эскиз, — обратился он к продавцу.

— Эскиза уже нет, — ответил продавец, разводя руками. — Товарищ, с которым вы были, сразу вернулся и забрал его.

Надо сказать, что вопрос о судьбе частных коллекций чрезвычайно волновал Илью Самойловича, и этой проблеме он посвятил большую статью в «Литературной газете». Он рассказывал в ней о печальной участи некоторых частных коллекций, терпеливо, заботливо и любовно составленных известными артистами и учеными, а после смерти их владельцев бездумно растасканных и разбазаренных их равнодушными наследниками. И выдвинул идею создания особого Музея частных коллекций. Эту идею, умную и благородную, он успел на склоне лет воплотить в жизнь, отдав ей немало сил и энергии. Вместе с директором Музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Александровной Антоновой он с невероятными усилиями добился освобождения здания рядом с этим музеем и предоставления его под Музей частных коллекций. Это было нелегкой задачей. Понадобилась вся незаурядная настойчивость Зильберштейна и энергия Ирины Антоновой, чтобы преодолеть сопротивление занимавшего помещение «Автоэкспорта», учреждения, приносившего стране немалый доход. Но тут произошел тот редкий случай, когда искусство победило коммерцию. Надо ли говорить, что одним из первых в нем было размещено собрание Ильи Зильберштейна, безвозмездно переданное им в дар государству.

Зильберштейн, всегда переполненный идеями, проектами, замыслами, щедро ими делился, принимая подчас деятельное участие в их осуществлении. Так, в разгар войны, в тяжелом сорок втором, он «насел» на меня, экспансивно убеждая, что мне не следует ограничиваться «однодневками», то есть ежедневными выступлениями на страницах газет, а надо создать нечто более масштабное и обобщенное — тематически цельный антифашистский сатирический альбом. Он сам, не теряя ни минуты, договорился с издательством и бдительно контролировал мою работу. Буквально каждый день в пять часов утра раздавался его звонок:

— Боря! Лентяй! Босяк! Хватит спать! Вставайте работать!

Неудивительно, что при таком энергичном курировании альбом под названием «Гитлер и его свора», содержавший 136 сатирических рисунков, был готов в срок к концу сорок второго года.

В характере и стиле Ильи Самойловича парадоксально сочетались исключительная педантичность, строгость и даже дотошность во всем, что касалось публикаций в печати, с такой же исключительной раскованностью и какой-то взрывчатой экспансивностью в разговорах. Он частенько «выпаливал» какое-нибудь замечание, сентенцию или шутку, а уж потом думал о том, что сказал. А это было ох как опасно в определенные годы. Но судьба, видимо, хранила Илью Самойловича, и он благополучно уцелел в страшные времена «ежовщины» и последующей «бериевщины». Помню, как я не раз пугливо одергивал его, когда он начинал весело разглагольствовать, рассказывать какие-то сплетни и байки, не считаясь с присутствием малознакомых людей, среди которых могли быть и «стукачи».

С большой теплотой и не без грусти вспоминается последнее свидание с Ильей Самойловичем. Мы пришли втроем с внуком Витей и его женой Верой в новую большую квартиру Зильберштейна в элитном доме ЦК, которая ему недавно была предоставлена. Приветливо и гостеприимно демонстрировали нам свое новое жилье Илья Самойлович и Наталья Борисовна Волкова, его жена. С увлечением показывал нам Зильберштейн различные библиографические редкости, прижизненные издания Пушкина, Тютчева, Некрасова и других великих писателей, многие из них с собственноручными автографами. Именно тогда Зильберштейн подарил Вите свою первую книгу «История одной вражды» с трогательной надписью, которая в этом очерке уже приводилась. А я получил великолепное издание «Художник-декабрист Николай Бестужев». Кстати сказать, серия

замечательных рисунков-портретов Николая Бестужева относится к числу самых великолепных и к тому же таинственных находок Зильберштейна.

Во все, к чему ни прикасался Зильберштейн, он вносил неподдельную свою заинтересованность, темперамент и азарт. Так, не покладая рук, работал он до последних своих дней. И умер как солдат, на посту. Он был тогда с головой погружен в текущие дела, и в частности готовил юбилейный сотый номер «Литературного наследства» и одновременно отдельный, интересно им задуманный том-указатель по всем вышедшим книгам этого подлинного Пантеона русской литературы, когда нелепый несчастный случай оборвал его жизнь… Ему было 83 года.

Глава девятнадцатая

…Вернусь обратно в конец 30-х годов. У читателя, наверно, сложилось впечатление, что в повествовании о годах и событиях моей жизни, я больше рассказываю о своем брате, чем о себе самом. В этом нет ничего удивительного. С раннего детства и вплоть до последних лет его жизни брат был для меня неизменным, неустанным и заботливым покровителем, руководителем, наставником. Ничто в моей жизни, в моей творческой, профессиональной, любой другой деятельности не проходило мимо его внимания, наблюдения, участия. Мои недоброжелатели (а у кого их нет…) вообще считали, что всеми своими успехами я обязан только тому, что мой браг — Михаил Кольцов, который всюду меня протаскивает, расчищает мне дорогу, помогает и покровительствует. И, полагаю, что они, грешным делом, не без злорадства восприняли весть, что Кольцов оказался «врагом народа», а я — «братом врага народа», и ожидали, что тем самым вся моя доселе успешная творческая и другая деятельность быстро сойдет на нет.

Не забыть в этой связи, как на второй день после ареста брата я пришел к исполнявшему обязанности редактора «Известий» Якову Селиху. Плотно прикрыв дверь кабинета, он приглушенным голосом обратился ко мне:

— В чем дело? Что произошло? Чего ему еще надо было?

— «Чего ему еще надо было?» Вы же хорошо его знали, Яков Григорьевич. Ему, наверно, надо было, чтобы его опять послали с каким-нибудь ответственным, опасным поручением. Чтобы он опять смог рискнуть жизнью, как тогда в Испании. В этом был его характер.

— Да, да… Конечно, — задумчиво сказал Селих. — Такой у него был характер. Но, странно, странно… очень странно.

— Яков Григорьевич! Мне подавать заявление с просьбой освободить меня от работы в «Известиях» по собственному желанию?

Я достаточно хорошо знал порядки того времени.

— Что?! — закричал Селих. — Какое заявление? Какое освобождение по собственному желанию? О чем вы говорите? Мы о вас не знаем ничего плохого, кроме хорошего! И вообще, прекратим этот разговор. Приходите после Нового Года, мы обо всем спокойно поговорим.

В первых числах января (это был уже тридцать девятый год) я снова вошел в кабинет Селиха. К слову сказать, это был очень порядочный, честный человек, искренне друживший с Кольцовым.

— Давайте говорить откровенно, — начал он. — Кто, в конце концов, знает, что Борис Ефимов родной брат Михаила Кольцова?

— Мне кажется, Яков Григорьевич, это довольно широко известно.

— Бросьте. Об этом знают, может быть, сто человек в Москве. А «Известия» имеют миллионный тираж по всей стране.

Такое вступление, не скрою, мне очень понравилось. Селих, однако, продолжал:

— Но, если вы спросите, будем ли мы по-прежнему печатать вас в «Известиях», то я отвечу — нет, не будем.

Я несколько оторопел от такого неожиданного вывода, но, честно говоря, на Селиха не обиделся. Я понял, что он уже, где надо, консультировался.

— Понятно, Яков Григорьевич. Так я напишу заявление. Но маленькая просьба: можно, я напишу не «по собственному желанию», поскольку никакого такого желания у меня нет, а «по личной просьбе» (не знаю, зачем мне это понадобилось!).

Так деловито и мирно, согласно «правилам игры» было оборвано мое сотрудничество в «Известиях», начавшееся, если читатель помнит, в октябре двадцать второго…

Все мое время уходило, как правило, не на работу, а на хождение по различным приемным и справочным бюро «соответствующих органов» и тюрем: Бутырок, Лефортова и Матросской тишины в тщетных и, теперь это очевидно, наивных попытках узнать что-нибудь о брате. Многочасовые ожидания в душных коридорах, переполненных такими же, как и я, угнетенными и растерянными ЧСИРами (официальная аббревиатура, означавшая «член семьи изменника Родины»), Томительное ожидание неизменно заканчивалось двухминутным, абсолютно пустым разговором с очередным чиновником, который ничего конкретно не сообщал, поскольку сам ничего не знал.

Единственная ниточка, связывавшая с братом и подтверждавшая его реальное существование, состояла в том, что у меня принимали на его имя денежные передачи — 30 рублей в месяц. Я приходил в извилистый проходной двор, соединявший Кузнецкий мост с Пушечной улицей, и входил в невзрачную дверь одной из дворовых построек, на которой висела табличка с маловыразительной надписью «Помещение № 1». Там через крохотное окошко я вносил деньги. Опытные ЧСИРы выработали такую практику: в начале месяца вносить двадцать рублей, в середине месяца еще пять и в конце месяца последние пять рублей. Это, как считали, давало возможность знать, что заключенный еще в Москве, что его никуда не услали и не… еще что-нибудь…

Месяц тянулся за месяцем. И мне хотелось думать, что это хороший признак, что в деле Кольцова намерены серьезно разобраться, что он сможет доказать нелепость клеветнических обвинений и что, выйдя на свободу, он напишет о своих впечатлениях великолепный, мужественный и страстный дневник, не уступающий «Испанскому». Но судьба, увы, отказала ему в этом. А я жил, ничего не зная о самом родном и близком для меня человеке, как будто он внезапно очутился на другой планете. Я питал, правда, слабую надежду, что, получая свои тридцать рублей, брат должен расписываться в их получении (бухгалтерия — везде бухгалтерия, даже в тюрьме…) и он, может быть, видит, от кого поступили деньги, это говорит ему, что я на свободе и, возможно, вселяет какие-то надежды… А было еще такое: как-то раздался у меня в квартире телефонный звонок.

— Это Борис Ефимович?

— Да. Кто говорит?

— Это не важно. Вам передает привет МЕК.

Я ничего не понял и принял это за чей-то малоинтересный розыгрыш

— Вы поняли? — спросил тот же незнакомый голос.

— Не понял, — ответил я. — Но, во всяком случае, за привет спасибо.

— Не поняли? Что ж, тогда всего хорошего.

Я положил трубку и пожал плечами. Чушь какая-то… Людям делать нечего.

Прошло с полчаса, я вспомнил этот странный звонок и подумал, что он очень похож на какой-нибудь условный конспиративный сигнал. И вдруг я схватился за голову… Боже мой! МЕК… Да ведь это же — Михаил Ефимович Кольцов!.. Как я сразу не понял? Но зачем этот идиот не сказал просто: привет от брата или от Михаила? Зачем он перемудрил с конспирацией? Я заметался по квартире, надеясь, что этот человек позвонит еще раз. Но он больше не звонил. Видимо, решил, что я отлично его понял, но побоялся продолжать разговор… И я долго казнил себя, что по глупости и недогадливости упустил возможность что-нибудь узнать о брате.

…Огромного значения международные события принес с собой тридцать девятый год. Достаточно назвать пакт «Молотов — Риббентроп», по сути дела явившийся установлением дружеских, партнерских отношений между Сталиным и Гитлером, немедленно повлекший за собой нападение фашистской Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. На фоне таких катаклизмов, гигантских и грозных, что значили горести и беды отдельных людей? Но «отдельным людям» вроде меня было

от этого не легче…

Ни на одну минуту не оставляло меня ощущение происшедшей с братом катастрофы и своего изгойства. Да, я был на свободе, я работал и добывал средства к существованию для двух своих семей, но, завидев на улице кого-нибудь из знакомых, поспешно переходил на другую сторону, чтобы не ставить его в неловкое положение необходимостью здороваться с «братом врага народа». С понятной горечью прочел я Указ о награждении орденами большой группы писателей, из которого, разумеется, был своевременно вычеркнут Михаил Кольцов, занимавший в нем поначалу почетное место. Тридцать девятый — год шестидесятилетия «Великого Вождя и Учителя» — был также ознаменован учреждением знаменитых Сталинских премий с их сложной системой трех степеней, индивидуальным и коллективным лауреатством.

Между прочим, надо сказать, что арест Михаила Кольцова оставался в первые месяцы этого года незаурядным и сенсационным событием (потом привыкли). Вот что написал или, вернее, продиктовал уже неизлечимо больной Константин Симонов в своей последней книге «Глазами человека моего поколения»:

«…Самым драматическим для меня лично из этих событий был совершенно неожиданный и не лезший ни в какие ворота арест Михаила Кольцова. Он был арестован в самом конце тридцать восьмого года, когда арестов в писательском кругу уже не происходило, арестован после выступления в большой писательской аудитории, где его восторженно встречали. Прямо оттуда, как я уже потом узнал, он уехал в «Правду», членом редколлегии которой он был, и там его арестовали — чуть ли не в кабинете Мехлиса.

…Кольцов был для нас в какой-то мере символом всего того, что советские люди делали в Испании. О том, что очень многие из наших военных, бывших в Испании, оказались потом арестованными — некоторые вышли на волю, а некоторые погибли, — я узнал значительно позже, а о Кольцове мы узнали тогда сразу же. Слух об этом, о его исчезновении распространился мгновенно. Ни понять этого, ни поверить в это — в то, что он в чем-то виноват, было невозможно или почти невозможно. И, в общем, в это не поверили…

…С самого начала Великой Отечественной войны пошли слухи, что то на одном, то на другом фронте, в том числе и на Карельском фронте, видели Кольцова, который освобожден, вернулся из лагерей и находится в действующей армии. Находились свидетели этого, вернее, якобы свидетели, которые

кому-то говорили об этом, а кто-то говорил об этом еще кому-то, и эти слухи снова и снова возникали, доходили до нас, до меня, например, на протяжении первых двух лет войны… Слухи о появлении на фронте Кольцова отличались особым упорством, связанным с особой симпатией к нему, к его личности, к его роли в испанских событиях, и к его «Испанскому дневнику», и к невозможности поверить в то, что этот человек в чем-то виноват.

В сорок девятом году, когда мы ездили с первой делегацией деятелей советской культуры в Китай, Фадеев был руководителем делегации, а я его заместителем. Как-то поздно вечером в Пекине в гостинице Фадеев в минуту откровенности… заговорил о Кольцове и о том, что так до сих пор и не верится, что с таким человеком могло произойти то, что произошло… Фадеев тогда же, через неделю или две после ареста Кольцова, написал короткую записку Сталину о том, что многие писатели, коммунисты и беспартийные, не могут поверить в виновность Кольцова, и сам он, Фадеев, тоже не может в это поверить, считает нужным сообщить об этом, широко распространенном впечатлении от происшедшего в литературных кругах Сталину и просит принять его.

Через некоторое время Сталин принял Фадеева.

— Значит, вы не верите, что Кольцов виноват? — спросил его Сталин.

Фадеев сказал, что ему не верится в это, не хочется в это верить.

— А я, думаете, верил, мне, думаете, хотелось верить? Не хотелось, но пришлось поверить.

После этих слов Сталин вызвал Поскребышева и приказал дать Фадееву почитать то, что для него отложено.

— Пойдите почитайте, потом зайдете ко мне, скажете о своем впечатлении, — так сказал ему Сталин…

Фадеев пошел вместе с Поскребышевым в другую комнату, сел за стол, перед ним положили две папки показаний Кольцова.

Показания, по словам Фадеева, были ужасные, с признаниями в связи с троцкистами-поумовцами.

— И вообще чего там только не было написано, — горько махнул рукой Фадеев, видимо, как я понял, не желая касаться каких-то персональных подробностей. — Читал и не верил своим глазам. Когда просмотрел все это, меня еще раз вызвали к Сталину, и он спросил меня:

— Ну как, теперь приходится верить?

— Приходится, — сказал Фадеев.

— Если будут спрашивать люди, которым нужно дать ответ, можете сказать им о том, что вы знаете сами, — заключил Сталин

и с этим отпустил Фадеева».

Рассказ Фадеева нуждается, однако, в фактической поправке, на мой взгляд, весьма существенной. Разговор со Сталиным происходил, согласно Фадееву, примерно через неделю или две после ареста Кольцова. Возникает естественный вопрос: откуда за такой короткий срок взялись две папки со столь ошеломившими Фадеева «признаниями» Кольцова? И зачем в таком случае необходимо было допрашивать Кольцова еще тринадцать месяцев? Не потому ли, что в папках, показанных Фадееву, были не «признания» Кольцова, а только те высосанные из пальца, наскоро состряпанные обвинения и «признания», которые еще предстояло из Кольцова выбивать? Ведь по всем, ставшим впоследствии известным данным, Кольцов категорически отрицал возводимые на него бредовые обвинения в шпионаже и организации какой-то подпольной антипартийной группы в редакции «Правды». Он мужественно сопротивлялся больше года, хотя его допрашивал один из самых лютых следователей-извергов — полковник Шварцман.

В этой связи хочу рассказать вот что. Много лет спустя я получил письмо от работника Центральной студии научно-популярных фильмов, некоего Рутеса, в свое время осужденного на десятилетнее пребывание в лагерях и по окончании срока вышедшего на свободу. Он прочел в журнале «Огонек» мой очерк о Кольцове и счел нужным мне написать. Он вспоминал о том, что, когда его арестовали, его дело вел тот же следователь, который вел вначале дело Кольцова, и однажды этот следователь вдруг достал из стола «Испанский дневник» и попросил Рутеса в порядке, так сказать, личного одолжения найти в этой книге элементы троцкизма.

«Я сказал ему, — сообщал мне Рутес, — что не советую этого делать. Эту книгу читал сам Сталин, и она ему понравилась».

Рутес писал:

«Следователь задумался, а потом разоткровенничался и поведал мне, что ему очень трудно с Кольцовым и что скорее всего дело Кольцова передадут более опытному Шварцману».

Видимо, так и произошло.

…В первых числах марта сорокового года, когда я в очередной раз явился в «помещение № 1» с двадцатью рублями, деньги у меня не приняли. Сотрудник в окошечке сообщил, что дело Кольцова следствием закончено и поступило в Военную коллегию Верховного суда. Я понял, что наступил решающий момент и надо что-то предпринимать. Надо хлопотать, думал я, чтобы к судебному разбирательству допустили защитника (слово «адвокат» было тогда не в чести). Как это сделать? И так

случилось, что тогда же я встретил на улице известного московского адвоката Илью Брауде, участника всех известных политических процессов той поры, и поделился с ним своими заботами. Он посоветовал мне как можно быстрее написать председателю Военной коллегии Ульриху просьбу принять меня по делу моего брата. Я немедленно написал такое письмо и отнес его в секретариат Военной коллегии, находившийся в угрюмом четырехэтажном здании позади памятника первопечатнику Ивану Федорову.

По дороге в Военную коллегию я сгоряча решился на более серьезный и рискованный шаг — зашел на Центральный телеграф и дал телеграмму с просьбой разрешить участие защитника в деле Кольцова по адресу: Кремль, товарищу Сталину.

В подъезде Военной коллегии я увидел дверь с надписью «Справочное бюро» и решил на всякий случай туда наведаться. Сотрудник бюро повел пальцем по страницам толстой книги:

— Кольцов? Михаил Ефимович? Тысяча восемьсот девяносто восьмого года рождения? Есть такой. Суд состоялся первого февраля. Приговор: десять лет дальних лагерей, без права переписки.

— Опоздал, — с огорчением пробормотал я, — надо было раньше писать Ульриху. А теперь зачем он будет меня принимать?

Я вернулся домой. Каково же было мое удивление, когда мой одиннадцатилетний сын Миша сказал, что мне звонили из какой-то Военной коллегии, оставили номер телефона и просили с ними связаться. Я позвонил, и мне было сказано, что товарищ Ульрих примет меня завтра в 10 часов утра.

«Что это может означать? — недоумевал я. — Может быть, он хочет показать мне признание Кольцова: вот, полюбуйтесь, чем занимался ваш брат. Но я ничему не поверю. Скажу прямо: не верю!»

— Ради Бога, — убеждала меня жена. — Ради Бога, не хорохорься и не лезь на рожон. Не было бы хуже.

…В огромном кабинете, устланном ковром, стоял у письменного стола маленький лысый человек с розовым лицом и аккуратно подстриженными усиками. Ульрих был видной фигурой того времени. В течение многих лет он возглавлял Военную коллегию, председательствовал на всех крупных политических процессах двадцатых — тридцатых годов. Принял он меня со снисходительным добродушием, явно рисуясь своей «простотой» и любезностью.

— Ну-с, — улыбчиво заговорил он, садясь в кресло, — садитесь, пожалуйста. Так чего бы вы от меня хотели?

— Откровенно говоря, Василий Васильевич, я и не знаю, чего теперь хотеть. Дело в том, что я собирался просить вас о допущении защитника к слушанию дела Кольцова, но третьего дня узнал, что суд уже состоялся. Как обидно, что я опоздал!

— О, можете не огорчаться, — ласково сказал Ульрих, — по этим делам участие приглашенных защитников не разрешается. Так что вы ничего не потеряли. Приговор, если не ошибаюсь, десять лет без права переписки?

— Да, Василий Васильевич. Но позвольте быть откровенным, — осторожно проговорил я. — Существует, видите ли, мнение, что формула «без права переписки» является, так сказать, символической и прикрывает нечто совсем другое…

— Нет, зачем же, — невозмутимо ответил Ульрих, — никакой символики тут нет. Мы ведь, если надо, даем и пятнадцать, и двадцать, и двадцать пять. Согласно предъявленным обвинениям.

— А в чем его обвиняли?

Ульрих задумчиво устремил глаза к потолку и пожал плечами.

— Как вам сказать, — промямлил он, — различные пункты пятьдесят восьмой статьи. Тут вам, пожалуй, трудно будет разобраться.

И далее наша беседа приняла характер какой-то странной игры. Ульрих твердо придерживался разговора на темы литературы и искусства, высказывал свои мысли о последних театральных постановках, спрашивал, над чем работают те или иные писатели и художники, интересовался, какого мнения о нем «писательская братия», верно ли, что его улыбку называют «иезуитской» и т. п. Все мои попытки узнать что-нибудь о брате он встречал благодушной иронией.

— Ох, обязательно вы хотите что-нибудь у меня выведать, — приговаривал он, посмеиваясь.

Я уже понял, что мой собеседник просто-напросто забавляется нашей беседой, но продолжал вставлять интересующие меня вопросы. Однако все, что я узнал, — это то, что председательствовал на суде над Кольцовым лично он, Ульрих, и что «выглядел Кольцов, как обычно, разве только немного осунулся…»

— А он признал себя виновным? — спросил я.

Ульрих юмористически погрозил мне пальцем.

— Э, какой вы любопытный, — сказал он со своей знаменитой улыбочкой и после маленькой паузы добавил: — Довольно ершистый у вас братец. Колючий. А это не всегда бывает полезно… — Потом помолчал и, став вдруг серьезным, проговорил: — Послушайте. Ваш брат был человеком известным,

популярным. Занимал видное общественное положение. Неужели вы не понимаете, что, если его арестовали, значит, на то была соответствующая санкция?

Яснее нельзя было дать понять, что все мои вопросы, расспросы и хлопоты не только наивны, но и бессмысленны. Разговор явно пришел к концу. Я поднялся с места. Однако мой словоохотливый собеседник снова стал балагурить.

— А вот мне хорошо, — болтал он, выйдя из-за стола и прохаживаясь по громадному ковру, — никаких у меня нет братьев и вообще никаких родственников. Был вот отец, и тот недавно умер. Ни за кого не надо беспокоиться и хлопотать не надо. Да… Ну-с, а вам я советую спокойно работать и поскорее забыть об этом тяжелом деле. А брат ваш, — доверительно прибавил он, — думаю, находится сейчас в новых лагерях за Уралом. Да, наверно, там.

Уже выходя из кабинета, я остановился в дверях:

— Василий Васильевич, а вы разрешите через какое-то время вернуться к этому делу, ходатайствовать о его пересмотре?

В водянистых глазах Ульриха мелькнула усмешка.

— Конечно, конечно, — кивнул он. — Через какое-то время.

Вот что стало известно спустя почти полвека после этой «милой» беседы.

Залом заседаний Военной коллегии служил кабинет Берии в Лефортовской тюрьме. Места за столом заняли трое военных. Председательствовал неутомимый Василий Ульрих, который к тому времени пробыл во главе Военной коллегии почти четырнадцать лет.

Рядом с ним сидели в тот день двое других, совершенно безвестных судей: Кандыбин и Буканов.

Человека, которого первым ввели в зал заседаний, судьи знали отлично. Впрочем, совсем никому не знакомых туда вообще не вводили. Ульрих судил знаменитостей. Но этого подсудимого знали не только судьи — знала страна. И по имени, и в лицо. Его снимки множество раз публиковались на газетных страницах; кинохроника, заменявшая тогда телевидение, представляла его на борту самолета-гиганта, на испанской земле под фашистскими бомбами, на полях и в шахтах, на солдатских учениях и театральных премьерах.

Это был Михаил Кольцов, известнейший публицист, член редколлегии «Правды», депутат Верховного Совета РСФСР, член-корреспондент Академии наук СССР. Но бывший, бывший… Ибо теперь он был заурядным шпионом. Агентом трех разведок — германской, французской, американской. Членом антисоветского подполья с двадцать третьего года, «пропагандировавшим

троцкистские идеи и популяризовавшим руководителей троцкизма», террористом с тридцать второго… Признавшимся абсолютно во всем… Так было сказано в обвинительном заключении, уместившемся на двух с половиной страницах.

— Желаете чем-нибудь дополнить? — спросил подсудимого Ульрих.

— Не дополнить, а опровергнуть, — сказал Кольцов. — Все, что здесь написано, — ложь. От начала до конца.

— Ну, как же ложь? Подпись ваша?

— Я поставил ее… после пыток… Ужасных пыток…

— Ну вот, теперь еще вы будете клеветать на органы… Зачем усугублять свою вину? Она и так огромна…

— Я категорически отрицаю… — начал Кольцов, но Ульрих прервал его:

— Других дополнений нет? — и привычно произнес: — Расстрел.

Подсудимому не дали вымолвить ни слова: за дверью уже ждала вызова новая жертва.

«Это был человек, чье имя знал весь цивилизованный мир. Великий реформатор театра, которого еще при жизни знатоки называли гением… — Всеволод Мейерхольд» (Аркадий Ваксберг, «Литературная газета», май 1988 года).

…Всего несколько дней прошло после моей встречи с Ульрихом, и мне вдруг позвонили из редакции газеты «Труд» с предложением начать там работать. Незачем говорить, с какой готовностью принял я это предложение. Профсоюзный орган «Труд» был в ту пору фактически органом Наркоминдела, возглавлявшегося В. М. Молотовым.

Международная обстановка была чрезвычайно сложной: находясь в состоянии «странной войны» с Францией, немцы оккупировали Югославию, Грецию, Польшу, Данию, Норвегию и другие страны, подвергали немилосердным воздушным бомбежкам Англию. Советский Союз занимал позицию строгого нейтралитета. Впрочем, «строгость» эта была весьма однобокой: если в отношении Германии даже такие слова, как «фашисты», «нацисты», «гитлеровцы», «агрессоры» и тому подобные, начисто исчезли из нашего лексикона, то на руководителей «западных демократий», то есть на Англию и Францию, полностью изливались все враждебные, негодующие и обвиняющие эмоции. На них были направлены и все стрелы политической сатиры. И в этом плане «независимая» профсоюзная газета «Труд», естественно, предоставляла больше возможностей, чем официальные органы — «Правда» и «Известия».

Уже первая моя карикатура в «Труде» изображала

французского премьера Леона Блюма с подписью: «Труслив, как заяц, БЛЮМлив, как кошка». Закончив рисунок, я призадумался: а как его подписать в качестве автора? Вряд ли, думал я, пропустят в печать фамилию «брата врага…» Зачем ставить кого-то, а заодно и себя самого в неловкое положение? И я поставил на рисунке две первые пришедшие в голову буквы: «В.Б.».

За первым рисунком в «Труде» последовал второй, третий, пятый, десятый… Мои карикатуры отлично узнавали опытные коллеги, которым я полушутя объяснял, что подпись «В. Борисов», сменившая первоначальные «В.Б.», означает «временно Борисов». Так оно, между прочим, и получилось.

Вот как это произошло. В редакции «Труда» было назначено собрание сотрудников, на которое пригласили и меня. Довольно неожиданно заслушать отчет редактора пожаловал сам Молотов. Во время доклада он внимательно просматривал лежавшие на столе комплекты газеты. Сделав ряд руководящих указаний, он неожиданно задал вопрос:

— А кто рисует эти карикатуры? Не Ефимов ли?

Я буквально замер: ну, все пропало.

Получив от явно перепуганного редактора утвердительный ответ, Молотов сказал:

— А почему же не подписывается? Между прочим, это заметил товарищ Сталин. Он сказал: «Если причина в том, что его брат наказан за свои деяния, то это какой-то «биологический» подход к вопросу».

Нечего и говорить, что карикатура на французского генерала Вейгана, появившаяся в «Труде» через день, уже носила полную мою подпись.

Мое возвращение к работе было замечено не только друзьями и читателями. В хронике одной распространненой гитлеровской газеты мне были отведены следующие «любезные» строки: «После длительного молчания в «Труде» снова вынырнул уже считавшийся покойником Борис Ефимов». Дальше шло подробное описание моей последней карикатуры.

Итак, меня допустили к работе по своей профессии. Вместе с тем я пытался разобраться и найти доступную моему пониманию взаимосвязь между расстрелом брата и разрешением мне работать в печати. И найти эту взаимосвязь не смог. Видимо, логика и соображения *того,* кто принял такое решение, непостижима для логики простого смертного.

Вскоре в Москву приехала Мария Остен. Печальной была наша встреча. Она рассказывала, как отговаривали ее от этой поездки друзья — Андре Мальро, Лион Фейхтвангер, Вилли Бредель, другие.

— Ты с ума сошла, Мария! — говорил Мальро. — Ты Михаилу ничем не поможешь, а сама погибнешь. Разве ты не знаешь, что там происходит? Сам Сатана там правит бал. Тебя арестуют прямо на вокзале.

Мария упорствовала в своем решении. Она наивно верила, что одним фактом своего приезда в Москву опровергнет нелепую клевету о ее «шпионской деятельности» и тем спасет Михаила.

— Это мой долг, — твердила она.

Против ожидания, на вокзале ее никто не арестовал, и она поехала прямо к себе на квартиру, в кооперативном доме ЖУРГАЗа, которую в ее отсутствие занимал Губерт Лосте, успевший за прошедшие в «стране чудес» семь лет стать правоверным комсомольцем и даже жениться на комсомолке. Дверь ей открыл сам Губерт.

— Это я, Губерт, — сказала Мария и хотела войти в квартиру, но он молча и неподвижно стоял на пороге.

— В чем дело? — удивилась Мария.

— А в том, — раздался визгливый голос возникшей за спиной Губерта молодой особы с пышной челкой на лбу, — что вы можете отправляться туда, откуда приехали. Мы не желаем иметь ничего общего с врагами народа!

— Ты с ума сошел, Губерт? — изумилась Мария. — Ведь это же моя квартира!

— Это наша квартира! — закричала супруга Губерта, а сам он, так и не произнеся ни единого слова, закрыл дверь.

Все это в тот же день Мария рассказала мне, улыбаясь и разводя руками. «Вот так “Губерт в стране чудес”!», — приговаривала она. Поселилась она в гостинице «Метрополь». Немного понадобилось дней, чтобы Мария убедилась не только в том, что ее приезд в Москву никого не интересует, но и в том, что бесполезны ее попытки встретиться и поговорить с теми, на чью помощь она рассчитывала. Ни к Мехлису, ни к Поскребышеву, ни к кому другому она, естественно, дозвониться не смогла. Но ее принял Георгий Димитров, который, как я уже упоминал, был автором вступительной статьи к ее нашумевшему произведению «Губерт в стране чудес». Теперь он занимал высокий пост председателя Коминтерна. Исполком этой загадочной организации размещался в неказистом здании против Манежа. Я пошел на прием вместе с Марией.

Мне не раз доводилось слышать выступления Димитрова на собраниях и митингах, и я был теперь потрясен его видом. Не пламенного, мужественого трибуна видел я перед собой, а опустошенного, сломленного человека. Выслушав Марию, он как-то вяло сказал:

— Да, Мария. Я хорошо помню твоего Михаила. Я хорошо знаю и тебя. Но мне трудно что-либо тебе обещать. Скажу откровенно. В таком же положении находятся сейчас многие работники Коминтерна, среди них очень видные люди. Мои обращения по этому поводу… не доходят. Что же я могу сделать для твоего Михаила?

Мы вышли из кабинета председателя Коминтерна в глубоком разочаровании. Прямо на нас, громко стуча ногами, шел какой-то самоуверенный грузный человек. Мы посторонились, Мария посмотрела на него со страхом. Он властно открыл дверь, вошел в кабинет Димитрова и с шумом захлопнул ее за собой.

— Это Андре Марти, — шепнула мне побледневшая Мария. — Мне в Париже говорил Мальро, что он из ярых врагов Михаила и, несомненно, приложил руку к его аресту. Я его боюсь.

К этому следует добавить: в то время, как Димитров бесплодно обращался к Сталину и к Берии с хлопотами о судьбе арестованных работников Коминтерна, Марти, наоборот, набирал очки в глазах Сталина своей повышенной «бдительностью» и разоблачениями «подозрительных» коминтерновцев.

Шли недели и месяцы. Бедная Мария! Она уже убедилась, что ее приезд в Москву оказался абсолютно ненужным и бессмысленным. Но обратный путь был закрыт. А здесь надо думать о жилье, о заработке, о какой-то работе. Положение «подозрительной иностранки» было мало подходящим для решения этих вопросов. И Мария мне сказала:

— Боря, я хочу получить советское гражданство — мне надоело быть «подозрительной иностранкой». Для этого нужно иметь поручительство двух советских граждан. Ты можешь мне дать такое поручительство?

— Конечно, Мария, — ответил я. — Какой может быть разговор? А кто даст второе поручительство?

— Я попрошу Григория Шнеерсона. Это друг Эрнста Буша. Думаю, он не откажет.

— Не опасно ли это? — спросила меня жена.

— Как говорится, — ответил я, — чего бояться дождя, если уже промок до нитки. Уверяю тебя, для моего теперешнего положения не имеет ни малейшего значения, дам я Марии такое поручительство или не дам.

Меня пригласили в административный отдел Моссовета и спросили:

— Вы знаете гражданку Грессгенер-Остен Марию Генриховну? Откуда вы ее знаете?

— Знаю. Это жена моего брата.

Мне дали толстую прошнурованную книгу, и я расписался в

том, что даю соответствующее поручительство. Одновременно Мария подала в суд по поводу раздела квартиры с Губертом Лосте, и суд вынес соответствующее решение, правда, оно оставалось пока только на бумаге, тоже по причине неопределенного «статуса» Марии.

Но все эти непростые юридические, процессуальные и гражданские вопросы просто и быстро разрешила… война. Через два дня после нападения Гитлера на Советский Союз Мария была арестована, а вслед за ней и Губерт — «Страна чудес» раскрыла перед автором и героем прославленной книги свои «не столь отдаленные» места за колючей проволокой.

После дебюта в «Труде», в котором мои карикатуры стали появляться изо дня в день, меня начали широко печатать и «Комсомольская правда», и «Огонек», и «Крокодил». Оставались пока для меня закрытыми двери или, вернее сказать, страницы моих родных «Известий». Но несмотря на это, кое для кого я продолжал числиться в «штрафной роте», считаться личностью подозрительной и нежелательной. Мне рассказывал Л. Железнов, исполнявший обязанности редактора газеты «Фронтовая иллюстрация» (это было уже в начале войны), что он привез начальнику ГЛАВПУРа Мехлису очередной номер издания. Просматривая его, Мехлис увидел мой рисунок и нахмурился.

— Ефимов? — недовольно проворчал он. — А как он работает?

— По-моему, неплохо, — ответил Железнов.

— А нет ли в нем червоточины? — недоброжелательно спросил Мехлис.

— По-моему — нет, — твердо сказал Железное.

Да, во мне не было никакой «червоточины» во всем, что касалось моей работы. Но меня не переставали «точить» боль и тревога за брата. Я знал, что перед началом войны были освобождены из тюрем и направлены в армию некоторые военные, впоследствии ставшие героями войны, генералами и даже маршалами, как Рокоссовский. Почему не освободили такого талантливого, боевого и отважного журналиста, как Кольцов? (Я тогда еще не знал, что любезный Ульрих цинично обманул меня — брата не было в живых со 2 февраля 40-го года). Я искренно верил, что Кольцов где-то в каких-то «новых лагерях за Уралом».

Вернусь, однако, в сороковой год. Он принес, как известно, окончание «странной войны». Обход германскими армиями неприступной «линии Мажино» через нейтральную Бельгию (полное повторение ситуации Первой мировой войны), потом — военный разгром и капитуляция Франции. Гитлер триумфально

вошел в Париж и снялся на фоне Эйфелевой башни. Никаких комментариев по этому поводу в нашей печати я не помню. Надо думать, что такая эффектная и оглушительная победа Гитлера вряд ли привела в восторг Сталина, который рассчитывал, что на Западе установится длительная позиционная война, наподобие Первой мировой, ослабляющая обе воюющие стороны к выгоде Советского Союза. И не исключено, что он одновременно испытывал некоторое злорадство, что Франция поплатилась за свой отказ объединиться с ним против Гитлера.

Любопытно, что чем более зловещей и угрожающей становилась международная обстановка, чем больше сгущались свинцовые тучи над Европой, чем больше ощущалось подползание войны к рубежам нашей страны, тем старательнее придавался нашей политической графике характер беззаботного, развлекательного, комичного юмора. Я смотрю на свои рисунки в «Крокодиле» и «Иллюстрированой газете», издававшейся «Правдой». Они, как и у других карикатуристов, представляют собой юмористическое обыгрывание самых пустяковых сюжетов и на международные, и на внутренние темы. Просто не верится, что все это изображалось и печаталось, когда уже стояла на пороге страшнейшая из войн, которую когда-либо знала наша страна.

Глава двадцатая

Традиционный вопрос: как вы узнали, что началась война? Откровенно говоря, в этом вопросе мало смысла. Какое это имеет значение? Все узнали по-разному. Одни — в четыре часа утра из сообщения Британского радио, другие — утром, по телефону от знакомых, третьи — в полдень из выступления по радио В. М. Молотова.

Почти шестьдесят лет прошло с той поры. Давно стали взрослыми и обзавелись собственным потомством люди, бывшие малыми детьми в страшное лето 1941-го. Даже в памяти современников и очевидцев выцвели и поблекли, как старые фотографии, картины первых месяцев войны. Чтобы эти картины снова сделать живыми и выпуклыми, можно перелистать старые газеты, посмотреть кинохронику того времени. Но лучше всего, на мой взгляд, обратиться к песне. Послушайте торжественное и суровое:

Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой
С фашистской силой темною, с проклятою ордой…

Вспомните эту мелодию, вспомните эти слова, написанные В. И. Лебедевым-Кумачом, и перед вами ощутимо и зримо встанут тяжкие дни июня сорок первого, в ваших ушах зазвучит голос диктора, подчеркнуто спокойно читающего сообщения Советского Информбюро, от которых сжимается сердце:

— Наши войска вели бои по всему фронту и особенно ожесточенные в районе…

— После ожесточенных боев наши войска оставили город…

— Наши войска оставили…

Вспомните эту мелодию, и перед вами встанут затемненные улицы и строгие лица уходящих на фронт людей, и растерянные лица эвакуируемых ребятишек, и перекрещенные полосками бумаги окна домов, и черные силуэты аэростатов воздушного заграждения, висящие в белесом небе короткой летней ночи.

Первое чувство и первая мысль при известии о вторжении гитлеровских войск были: ну, вот и началось… Пришло то, что висело дамокловым мечом, чего ожидали и во что не хотели верить, но к чему, казалось, были готовы, распевая такие песни, как «Если завтра война»… Вот он — последний и решительный бой с фашизмом, первые отдаленные раскаты которого три года назад донеслись из Испании.

К моменту нападения на Советский Союз Гитлер завладел почти всей Европой. От пяти до двадцати дней понадобилось ему, чтобы разгромить такие государства, как Польша, Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия, Югославия, Греция. В течение тридцати пяти дней была сокрушена одна из великих мировых держав — Франция. Прекрасный Париж, остававшийся недосягаемым для германских армий в течение четырех лет Первой мировой войны, капитулировал. Кровавый фашистский флаг с черной свастикой поднялся над Эйфелевой башней.

«Но то, — думалось нам, — совсем другое дело. Советский Союз — не Польша, не Югославия, не Франция. У нас не может быть того, что случилось там. Если Гитлер, опьяненный легкими победами в Европе, рискнет броситься на нас, то быстро почувствует, с кем имеет дело!»

Мы не сразу осознали и поняли масштабы обрушившейся катастрофы. После речи Молотова (между прочим, никто не понимал, почему не выступил Сталин) многим казалось, что «вероломное» нападение фашистов (впервые после пакта «Молотов — Риббентроп» мы услышали это слово) будет немедленно и достойно наказано. Помню, как на другой же день распространились слухи, что Красная армия перешла в контрнаступление и уже вторглась на территорию Германии. Но прошел другой день, третий, и стала очевидной грозная действительность. Выразительно и воспоминание Н. Хрущева о создавшихся настроениях: «…К нам в штаб зашел вернувшийся с передовых позиций генерал Вашугин. Был он в очень тяжелом, растерянном состоянии. «Все погибло. Все идет как во Франции. Конец всему. Я застрелюсь», — сказал он. Я его остановил: «Что вы, безумец, опомнитесь!» Но не успел я ничего сделать, как он выхватил пистолет и застрелился тут же рядом со мной, на моих глазах».

Стальные клинья немецких дивизий неудержимо врезались в пространство нашей страны. Немцы вошли в Новгород, в Минск, подходили к Киеву, наступали на Донбасс. Советские войска продолжали отступать, многие армии попадали в окружение. Было совсем не до смеха, но советские художники-сатирики свою обязанность добросовестно выполняли: на другой день войны уже появился плакат Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», на котором могучий красноармеец штыком протыкал Гитлера, вероломно рвущего мирный договор с СССР, а еще через день вышел номер «Огонька» с моим большим рисунком, на котором мощный советский воин в броне русского богатыря замахивается мечом на свинообразного Гитлера в рогатом тевтонском шлеме и с окровавленным кинжалом в руке.

Однако задачи карикатуристов становились с каждым днем все труднее и сложнее — было, повторяю, совсем не до смеха, хотя именно в эти дни смех, улыбка, меткая шутка были необходимы, как никогда. Раздавались, правда, голоса, что совсем не время для смешных карикатур, а необходимы суровые, патетические плакаты, призывающие к отпору, к стойкости, мужеству, к возмездию фашистам за их злодеяния. Но наша агитация не отказалась от столь незаменимого оружия, как смех. И в этом вопросе сказали свое решающее слово те, кто имел на это самое неоспоримое право — фронтовики. Они высказывали такое свое мнение в письмах и откликах на печатавшиеся в газетах и журналах карикатуры, в частности — мои.

…Всех удивляло и тревожило молчание Сталина. Он выступил наконец по радио на двенадцатый день войны. Был он, по-видимому, не совсем здоров, говорил как-то невнятно, часто пил воду. Страшно было слышать, как мелкой дрожью стучал графин о край стакана. Сталин начал свою речь с необычного для него, подкупающе теплого обращения:

— Братья и сестры… К вам обращаюсь я, друзья мои!

Настроение «Вождя и Учителя» нетрудно себе представить — это был подлинный шок. Даже если не принимать всерьез версию, что Сталин задумывал превентивную войну, планировал года через полтора разгромить гитлеровскую Германию и фактически подчинить своему влиянию всю Европу, то, во всяком случае, его должна была грызть лютая досада, что «вероломный» Гитлер его перехитрил и упредил своим нападением.

Хозяин выступал, повторяю, невнятно и маловыразительно, отдельные слова пропадали, фразы сливались. И любопытно, что когда эту же речь пару часов спустя прочел по радио диктор Юрий Левитан, то она зазвучала бодрым, внушающим веру в победу призывом и сильно подняла настроение. Но несгибаемая воля и феноменальное упорство Сталина взяли свое — железной рукой со свойственными ему решительностью и беспощадностью принялся он за управление государством и военными действиями. При этом он великолепно умел все неудачи, ошибки и просчеты сваливать на других, при поражениях и огромных потерях оставаясь в тени и находя тщательно выбранных «козлов отпущения». Никто не смел и заикнуться, что одной из основных причин военных неудач явилось преступное, ничем не оправданное уничтожение более половины командного состава Красной армии, когда расстреляли около 45 тысяч опытных боевых командиров. Почему и зачем это было сделано? Тут сказалась, видимо, патологическая подозрительность Сталина, считавшего, что старые армейские кадры, воевавшие в

Гражданскую войну под верховным руководством Троцкого, насквозь заражены троцкизмом и представляют собой угрозу для его, Сталина, власти. По той же причине были расстреляны перед войной талантливые полководцы Гражданской войны Тухачевский, Якир, Уборевич, Эйдеман, Блюхер и другие. Проверенные, опытные кадры были заменены молодыми, незрелыми, недостаточно опытными офицерами. Теперь на этих храбрых, но еще необстрелянных командиров Сталин возлагал вину за неудачи на фронте. А против них воевала сильнейшая, великолепно вооруженная немецкая армия, закаленная двухлетней войной в Европе и сохранившая к тому же опыт Первой мировой войны у всего командного состава. Людские резервы своей страны Сталин, несомненно, считал неисчерпаемыми и, видимо, по этой причине для него ни малейшего значения не имели отдельные человеческие жизни. Его жестокость и беспощадность в этом плане поистине непостижимы. Даже по отношению к близким людям. Своего собственного старшего сына Якова Джугашвили, в первые же месяцы войны попавшего в плен к немцам, он преспокойно оставил в руках гитлеровских палачей, хотя ему предлагали обменять его на пленного немецкого генерала. При этом ни в чем неповинную жену Якова, свою сноху, Сталин дал указание, согласно положению о военнопленных, посадить в тюрьму. Кстати, надо думать, что за всю мировую историю всяческих войн, в которых, бывало, брали людей в плен, никто и нигде не додумался, что попавших в плен при тех или иных обстоятельствах и часто не по их вине, следует считать изменниками и предателями. А вот наш Верховный — додумался. И сотни тысяч советских солдат, угодивших по вине бездарных или неопытных командующих в окружение, а потом — в гитлеровские лагеря для военнопленных, после того, как они были оттуда освобождены Красной армией, прямиком и немедленно попадали в лагеря изменников Родины, откуда уже не всегда выходили.

Между тем шел четвертый месяц страшной войны. А что делали в это время мы, карикатуристы? Чем веселили фронтовиков? Чем развлекали и смешили работников тыла? Было два основных мотива для насмешек и издевательства над «незадачливыми» гитлеровцами. Это, во-первых, их страх перед партизанами и, во-вторых, провал «блицкрига» (молниеносной войны) — ведь Гитлер возвестил, что возьмет Москву через шесть недель. А шла уже четырнадцатая неделя! Как же тут не смеяться, как не изображать обескураженного, злобствующего, разъяренного фюрера? Для смешных карикатур прибавилась еще

одна тема — это страх немцев перед грядущей суровой русской зимой при недостатке у них теплых вещей. На наших рисунках-карикатурах появились немцы в «эрзацваленках», в бабьих платках вокруг головы и с сосульками под носом. И смешные карикатуры, веселившие читателей и на фронте, и в тылу, в изобилии появлялись на страницах печати. Широкую деятельность развили «Окна ТАСС» — сатирические плакаты по образу и подобию «Окон РОСТА» времен Гражданской войны. Как ни странно, но эти насмешки, видимо, сильно раздражали Гитлера, поскольку и я, и мои коллеги Кукрыниксы, наряду с Ильей Эренбургом, Юрием Левитаном и другими деятелями культуры были внесены в пресловутый «черный список» гестапо, под лаконичным и деловитым названием «Найти и повесить».

Все более упорное сопротивление оказывали советские войска. Но это, увы, нисколько не помешало тому, что в первых числах октября на Москву двинулся яростный «Тайфун» — кодовое название объявленного Гитлером решающего наступления. Забыл сказать, что с началом войны я расстался с газетой «Труд» и перешел на постоянную работу в центральную военную газету «Красная звезда», редактором которой был Давид Ортенберг (Вадимов). Поэт Алексей Сурков, автор популярной фронтовой песни «Землянка», написал на него такую эпиграмму:

Двух псалмопевцев знали мы,
И оба — чумовые.
Один Давид писал псалмы,
Другой — передовые.
Один был круглый, как горшок.
Другой чуть-чуть пouже.
Псалмы писались хорошо,
Передовые — хуже.

Надо иметь в виду, что эпитет «чумовые» не имеет ничего общего с известной опасной болезнью. В повседневной русской речи это слово равнозначно эпитету — «неистовый». Давид Ортенберг был действительно редактором неистовым — по энергии, инициативе, журналистской изобретательности, преданности своему делу. И неудивительно, что в первый год войны не было газеты более популярной, авторитетной и читаемой, чем «Красная звезда».

Немало перевидал я редакторов на своем долгом журнально-газетном веку. Были они, по выражению Маяковского, «хорошие и разные». Впрочем, «разные» не всегда были хорошими. Помню редакторов дельных и эрудированных, но вялых и

малоинициативных. Помню толковых и грамотных, но неуравновешенных и капризных. Были и крикливые самодуры, и бесцветные, скучные чиновники от журналистики, озабоченные «как бы чего не вышло…» О таких и вспоминать не стоит. Но были и яркие фигуры, редакторы, так сказать, от Бога. Об одном из них я и хочу рассказать. Это — Ортенберг.

Его приход в редакцию Центральной военной газеты «Красная звезда» предельно лаконично и образно характеризовал острый на язык Александр Кривицкий, заведующий литературным отделом газеты: «Если до Ортенберга сотрудники «Красной звезды» ходили по редакции не спеша, вразвалочку, то теперь стали передвигаться бегом, крупной рысью». Действительно, новый редактор не терпел ни малейшей медлительности, вялости, прохладного отношения к делу, к интересам газеты. И сам он был живым, бешено пульсирующим, не знающим перебоев ее двигателем. И не удивительно, что за короткое время «Звездочка» выделилась среди других центральных газет своей оперативностью, осведомленностью, нестандартной подачей материалов. А с началом Великой Отечественной войны бесспорно заняла первое место по популярности как на фронте, так и в тылу.

Такой успех газеты стал возможным, естественно, и потому, что Ортенберг смог подобрать для редакции отличную «команду» журналистов, а на страницах газеты — великолепную плеяду авторов: имена Ильи Эренбурга, Василия Гроссмана, Константина Симонова, Николая Тихонова, Евгения Габриловича, Александра Твардовского, Льва Славина говорят сами за себя. Охотно выступали в «Звездочке» Алексей Толстой, Михаил Шолохов, другие известные писатели и деятели культуры.

Неожиданный звонок по телефону пригласил меня в редакцию «Красной звезды». Это было незадолго до войны. В кабинете редактора, кроме самого Ортенберга, находился и его заместитель Григорий Шифрин. Поздоровавшись, Ортенберг по своей привычке быстро зашагал взад и вперед, потирая руки, как бы озябшие.

— Мы хотим предложить вам работать в «Красной звезде», — сказал он без всяких предисловий. — Начинайте прямо с завтрашнего дня.

— С большим удовольствием, но это будет не начало, а продолжение моей работы — я уже печатался в вашей газете.

Ортенберг перестал стремительно шагать по кабинету и посмотрел на меня с удивлением.

— Работали в «Красной звезде»? Это когда же?

— С двадцать девятого по тридцать восьмой год. Добрых

десять лет, почти из номера в номер.

— Вот как? — заметил явно заинтересованный Ортенберг. — А почему вы ушли из газеты?

— Я и не думал уходить. Но после того, как в декабре тридцать восьмого года был арестован Михаил Кольцов, мой брат…

— Понятно, — прервал меня Ортенберг. Он снова зашагал по кабинету, потирая руки, потом вернулся к высокой конторке, за которой стоя читал типографские оттиски, и, не оборачиваясь ко мне, сказал:

— Завтра приступайте к работе.

Таков был стиль Ортенберга — он принимал решения стремительно, лаконично и безапелляционно, не всегда утруждая себя объяснениями, обоснованиями, уговариваниями. И, как правило, всегда, что называется, попадал в точку.

Помню, это было уже во время войны, молодой еще композитор Тихон Хренников написал две фронтовые песни и принес их на утверждение не в Союз композиторов, не в Комитет по делам искусства, а… в редакцию «Красной звезды». Ортенберг ничуть не удивился, оторвался от своей конторки и вместе с несколькими сотрудниками направился в одно из помещений, где стоял рояль. Хренников ударил по клавишам и, как говорится, «композиторским голосом» спел песни. Звучные, бравурные, они нам понравились, но все смотрели на Ортенберга. Он молчал, нахмурившись, потом сказал:

— А ну, еще раз, пожалуйста.

Хренников спел еще раз.

— Даем в завтрашний номер, — бросил Ортенберг и пошел к себе.

— Мне кажется, что одно место в тексте следовало бы уточнить в том смысле… — заговорил было кто-то из заведующих отделами.

— Песни хорошие. Не будем тратить время, — сказал Ортенберг на ходу. — Давайте работать.

Трудно было отрицать высокий публицистический, агитационный уровень и популярность «Звездочки», редактируемой Ортенбергом. Тем не менее он был неожиданно снят со своей должности и направлен начальником Политотдела в одну из армий. Никто не сомневался, что об этом позаботился начальник ГЛАВПУРа Александр Щербаков, которого, как было известно, редактор «Красной звезды» давно раздражал своим независимым нравом и, не в последнюю очередь, своим национальным происхождением, каковое Щербаков весьма не жаловал, этого почти не скрывая.

Неугомонную энергию и инициативность, проявленные им в дни войны, Ортенберг полностью сохранил и в последующие мирные годы. Больше того, он неожиданно для многих обнаружил неплохие литературные способности. Неожиданно потому, что на страницах редактируемой им газеты Ортенберг выступал редко и только с передовыми статьями, написанными без особого блеска.

Так вот, обратившись к литературному труду, Ортенберг написал ряд интереснейших книг, неоценимых для историков Великой Отечественной войны, воскрешая отдельные ее малоизвестные эпизоды по материалам своей газеты. Но он также сделал то, чего не удосужился сделать ни один из известных редакторов той поры — он отдал должное всем тем, кто рука об руку в едином ряду изо дня в день делали газету в грозные дни вражеского нашествия. Он увековечил память о замечательной когорте краснозвездовцев военной поры, рассказав о каждом из них, создавая яркий, точный и выразительный портрет человека.

Ортенберг не хотел, чтобы замечательное товарищество краснозвездовцев, сплотившееся искренними дружескими узами в дни военных бед, забылось и рассеялось в мирные годы. И он заботливо организовывал ежегодные встречи редакционных «однополчан» в канун Дня Победы. То были оживленные и веселые застолья в небольшом уютном зале-террасе Центрального дома литераторов. За длинным столом едва умещались «в тесноте да не в обиде» бывшие заведующие отделами, фронтовые корреспонденты, обозреватели, секретари, машинистки — вплоть до сотрудников хозотдела и бухгалтерии. Все тут были по праву — краснозвездовцы. Сам бывший редактор отнюдь не занимал главного места, он скромно сидел сбоку, не произнося никаких приличествующих случаю речей, а только добродушно посмеивался, слушая других. А во главе стола находился ведущий, то есть тамада, нелегкие обязанности которого традиционно возлагались на меня…

Звучали всевозможные заздравные тосты, поминали не вернувшихся с фронта краснозвездовцев, нестройным хором запевали «Корреспондентскую застольную» Симонова с ее памятными, точно отражавшими то время строчками:

…Там, где мы бывали,
Нам танков не давали,
Репортер погибнет — не беда…
…Жив ты или помер —
Главное, чтоб в номер
Матерьял успел ты передать.
И чтоб, между прочим,

Был фитиль всем прочим,
А на остальное — наплевать!

Традиционным поводом для шуток и острот был вопрос о том, кто больше всех в редакции боялся грозного редактора. Пальма первенства единогласно присуждалась Евгению Габриловичу. И сам он, тут же сидящий с золотой звездой Героя Соц-труда на груди, смеясь, подтверждал, что боялся главного. Сам Ортенберг слушал это снисходительно и благодушно, пожимая плечами, как бы говоря: «Может, и было такое. Зачем вспоминать? Дело прошлое…»

…Неумолимы законы природы. И число краснозвездовцев на этих веселых встречах неуклонно сокращалось из года в год. И настал такой день, когда зал-терраса больше не понадобился. Нас было вместе с Ортенбергом — пятеро. А на сегодня — остался я один…

Своих соратников по «Красной звезде» Ортенберг неизменно провожал в последний путь, говоря у гроба прощальные добрые слова. Сам он достиг весьма почтенного возраста — достойно и уважительно отмечалось его девяностолетие на многолюдном собрании в Доме журналиста. Но Давид Иосифович так же активно продолжал работать и ушел из жизни, готовя к печати очередную книгу — буквально на посту публициста, историка, подлинного фанатика журналистского дела.

Рассказывая о редакции «Красной звезды», о людях, работавших там в тяжкие военные годы, нельзя не вспомнить Александра Кривицкого.

Его острые, безупречным литературным языком сказанные реплики, неожиданные, оригинальные суждения, веселые и смелые парадоксы — все это сразу привлекало к этому человеку интерес, приковывало внимание. В полемике, шутливой или серьезной, он был непобедим. Сколько раз на моих глазах он «укладывал на обе лопатки» весьма достойных соперников и весьма зубастых оппонентов. Огромная, разносторонняя эрудиция, энциклопедические знания в литературе и истории, особенно военной, какая-то особая «оперативность» доводов и аргументов сочетались в нем с истинно дьявольской находчивостью, с неотразимостью точного и хлесткого сарказма.

— Экий злой язык, — говаривали, бывало, побитые оппоненты. — С ним только свяжись… Но умен. Чертовски умен.

Злой, но умный. Умный, но злой. Таково было расхожее мнение о Кривицком. Расхожее, но, надо сказать, поверхностное: Саша вовсе не был злым человеком. Ему были свойственны

настоящая доброта, искреннее участие в постигшем другого огорчении, беде, готовность прийти на помощь. Но мог он стать и беспощадным — когда сталкивался с лицемерием, приспособленчеством, пошлостью. Тогда его обычно добродушный взгляд из-за толстых стекол очков становился колючим, резким, непримиримым.

Врожденный дефект речи — заикание — заставлял его избегать публичных выступлений с трибуны, но в тесном кругу, в деловой или товарищеской беседе заикание нисколько не мешало убедительности и доходчивости его слов и даже, не боюсь сказать, придавало ему своеобразное обаяние. Он был одаренным литератором, его передовые статьи в газете «Красная звезда», очерки и корреспонденции написаны живым, образным языком. В этом можно убедиться, познакомившись с трехтомником его произведений.

Александр Кривицкий тесно связан в моих воспоминаниях с Константином Симоновым. Я хорошо знал обоих. С Симоновым у меня было долголетнее доброе знакомство, а с Кривицким — подлинная дружба. И с обоими ассоциируются совместно пережитые события, испытания, сложные и подчас весьма нелегкие, военных и послевоенных лет. И обоих — первым Симонова, а два года спустя Кривицкого — выпало на мою долю провожать в последний путь.

Мало кто знает, как много значили друг для друга эти два человека. Мало кто знает, как важно было для Симонова мнение Кривицкого о любых его произведениях — романах, повестях, стихах, пьесах.

Помню, как-то мне позвонил Саша:

— Б-боря! У меня к вам серьезное предложение. Б-берите под ручку Раису, и вместе с женами двинемся во МХАТ на премьеру с-симоновской пьесы «Чужая тень». Мы за вами заедем.

В последнем антракте мы подошли к Симонову.

— Ну, Константин Михайлович, — заговорил я, — большое, большое спасибо. Смотрится с большим интересом.

Тут я поперхнулся на полуслове, заметив, что Симонов меня не слушает. Рассеянно кивнув головой, устремил выжидающий взгляд на Кривицкого. Тот молчал. Симонов ждал. Наконец Кривицкий сказал:

— Пьеса явно написана наспех.

Симонов, после некоторой паузы, сумрачно ответил:

— Ты же знаешь, при каких обстоятельствах я взялся писать эту пьесу и по чьему заданию…

…Книга Бориса Панкина о Константине Симонове содержит много ценных фактов и наблюдений. Я прочел ее с интересом. В

ней немало деталей и размышлений о временах и людях, знакомых мне не понаслышке. Упоминается там и Кривицкий, причем в крайне неприятном для него контексте. Имеется даже недвусмысленный намек на то, что Кривицкий был при Симонове осведомителем для «некоторых органов». При этом Панкин опирается на шутливое замечание Симонова: «Если и так, то всегда лучше знать, кто на тебя стучит». Я охотно верю, что Симонов, как и многие другие видные писатели, редакторы, другие деятели культуры, находился, что называется, «под колпаком». Но не допускаю и мысли, что этим мог заниматься Кривицкий — ему слишком был близок и дорог Симонов, чтобы Саша мог ему чем-то повредить.

Кстати, о «стукачах». Думаю, что в сталинские времена все наше общество, все наши культурные, научные, производственные структуры, театры, редакции газет и журналов, весь наш быт пронизывала вездесущая система «стукачества». По извращенным, аморальным понятиям той поры, «стукачество», доносительство почиталось гражданским долгом каждого человека. Отказ от этой «почетной обязанности» был чреват весьма крупными неприятностями. Я лично знаю только один-единственный пример уклонения от роли «стукача». Это был художник Порфирий Крылов (один из троицы Кукрыниксов). Его отказ вызвал большое неудовольствие на Лубянке, что стало причиной неизлечимой психической травмы для художника.

Весьма сомнительными представляются мне в книге Бориса Панкина сведения о наступившем якобы охлаждении и отчуждении между Симоновым и Кривицким в последние их годы.

Ближе к истине, пожалуй, то, что в ту пору они оба были пожилыми, часто болеющими людьми, подолгу лежали в больницах, а поэтому редко общались.

В ряде произведений Симонова фигурирует военный журналист Гурский, чей образ и манера разговаривать целиком списаны с Кривицкого. И все без труда узнавали Кривицкого, его заикание, парадоксальность суждений, веселую иронию, «злой» язык, личную отвагу. И вдруг в одной из новых повестей Симонова мы прочли о том, что Гурский погиб на фронте. При очередной встрече я не удержался и спросил у Кривицкого:

— Что же это, Саша, Симонов вдруг вздумал преждевременно отправить вас на тот свет?

Сказал и тут же пожалел об этом, ожидая от Кривицкого колкого ответа. И он незамедлительно последовал.

— Б-боря, — сказал Кривицкий со сдерживаемым раздражением (видно, я не первый лез к нему с этим

вопросом), — все дело в том, что Симонов писал не биографию т-товарища Кривицкого, а вполне с-самостоятельное художественное произведение, где автор вправе р-распоряжаться судьбами героев по с-своему усмотрению. М-может быть, вы заметили, что и до него так поступали многие п-писатели?

К истории о Гурском — прототипе Кривицкого можно добавить надпись, которую сделал Симонов на подаренной им Кривицкому книге, где рассказывалось о героической гибели Турского: «Прототипу от просто типа. Саше Кривицкому от Кости Симонова».

…В октябре 1941 года мы с Кривицким были включены в состав оперативной группы «Красной звезды», которой, как и аналогичным группам «Правды» и «Известий», надлежало по решению руководящих инстанций обеспечить, в случае взятия немцами Москвы, бесперебойный выпуск центральных газет в Куйбышеве.

Однако уже через пару дней редактор Ортенберг, видимо, спохватился, что лишил газету самого оперативного и безотказного автора передовых статей. Возможно, требовалось и наличие в газете злободневной карикатуры. Так или иначе, но по прибытии в Куйбышев нас ожидала телеграмма с приказом редактора немедленно вернуть в Москву Кривицкого и Ефимова. Помню, как мы с Сашей в полном дорожном снаряжении сидели в номере гостиницы в томительном ожидании звонка к отправлению на аэродром. Наконец поздней ночью звонок последовал. Из управления делами Совнаркома сообщали, что из-за перегруженности самолета «Красной звезде» может быть предоставлено только одно место. Сомнений в выборе не было: полетел Кривицкий. Я вернулся в Москву несколько позже, поездом, в одном купе с Ильей Эренбургом.

Наиболее известной публикацией Кривицкого в «Красной звезде» в годы войны был очерк о подвиге 28 героев-панфиловцев у подмосковного разъезда Дубосеково, которые все полегли смертью храбрых, но не пропустили к Москве группу немецких танков. Это был, безусловно, один из тех мифов, без которых не обходится история войн. И примечательно, что в сегодняшнем гимне Москвы звучат слова: «…И в сердцах будут жить двадцать восемь самых храбрых твоих сынов!» А на самом-то деле далеко не все герои-панфиловцы погибли. Много лет спустя оставшиеся в живых настойчиво требовали выдачи им золотых звезд, положенных Героям Советского Союза, которыми они были награждены «посмертно».

В своем очерке Кривицкий привел и вещие слова политрука Клочкова, облетевшие всю страну и ставшие хрестоматийными:

«Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!»

Помню, я как-то открыл дверь в крохотную комнату литературного отдела (я любил наведываться к Саше, «потрепаться» с ним, услышать что-нибудь новое, интересное). В кабинете было несколько человек, разговор шел как раз об очерке Кривицкого, спорили о каких-то не совсем ясных деталях, высказывались какие-то сомнения. Саша взял со стола свою книжку о подвиге панфиловцев, только что вышедшую миллионным тиражом, и потряс ею в воздухе.

— Говорите, что х-хотите, — сказал он, — а в-вот эта г-говняная книжка ч-через д-двадцать пять лет б-будет первоисточником!

Согласовывая какие-то редакционные материалы, Кривицкий был на приеме у А. С. Щербакова, секретаря ЦК партии и начальника Главного политического управления Красной армии. Покончив с делами, Щербаков неожиданно спросил:

— Товарищ Кривицкий, скажите. Все двадцать восемь панфиловцев погибли. Кто мог вам поведать о последних словах политрука Клочкова?

— Никто не поведал, — напрямик ответил Кривицкий. — Но я подумал, Александр Сергеевич, что он должен был сказать нечто подобное.

Щербаков долго молчал, глядя на Кривицкого, потом сказал:

— Вы очень правильно сделали, товарищ Кривицкий.

Сказал он это с явной неохотой. Но в данном конкретном случае он, по справедливости, не мог не признать подлинное публицистическое и пропагандистское озарение автора очерка о 28 панфиловцах.

И легенда осталась легендой.

А эта, в своем роде, историческая книжечка хранится у меня с такой надписью ее автора:

— «Дорогому Боречке Ефимову — хорошему человеку с милым сердцем и веселым характером. 21 декабря 1942 года А. Кривицкий».

…Одновременно со мной в «Красную звезду» пришел Илья Эренбург. В сороковом году он вернулся из Парижа, где был очевидцем того, как немцы заняли французскую столицу, и напечатал несколько очерков о своих впечатлениях в газете «Труд». А потом неистовый Ортенберг «перетащил» его в «Красную звезду». Редакция центральной военной газеты помещалась тогда во дворе дома № 16 по улице Чехова, но при первой же воздушной бомбардировке Москвы 22 июля 1941 года здание редакции было сильно повреждено взрывной волной упавшей неподалеку фашистской бомбы. Пострадало и хлипкое

журналистское убежище, которому редакционные остряки присвоили название, повторявшее усиленно пропагандируемый со страниц газеты лозунг — «Презрение к смерти». А газета переехала и разместилась в помещениях Центрального театра Красной Армии.

«Тайфун» неуклонно и зловеще приближался к Москве. Фанатически уверовав в обещание фюрера, что взятие Москвы означает конец войны и возвращение по домам с богатыми трофеями, гитлеровцы бешено рвались к столице. Тысячи москвичей стали покидать родной город. И сразу же наметилась четкая грань между москвичами уходившими и москвичами остающимися. Остающиеся считали уходивших трусами и паникерами, а себя — мужественными патриотами. В свою очередь уходившие из Москвы посматривали на остающихся с подозрением — не намерены ли они приспособиться к оккупантам, а может быть, и пойти к ним в услужение. Пятнадцатого октября с вокзала, скупо освещенного закрашенными синей краской лампами, я проводил жену в далекий безопасный Омск. Вернулся в опустевшую квартиру, уложил в рюкзак необходимые вещи, с грустью оглядел полки с красивыми рядами собранных за многие годы книг и, подумав, добавил в рюкзак два томика миниатюрного академического собрания сочинений Пушкина — «Поэмы» и «Евгений Онегин». Потом запер квартиру на висячий замок и поехал в редакцию «Красной звезды», которая отныне и надолго стала моим домом. Это называлось тогда «перейти на казарменное положение». В вестибюле ЦТКА я встретил Илью Эренбурга и поэта Михаила Голодного. В отличие от меня, пришедшего в редакцию, как домой, они уходили из редакции по своим домам.

— Положение серьезное, Илья Григорьевич, — сказал я.

— Вы находите? — не без иронии произнес Эренбург. — Да, серьезное. Они будут здесь через два дня.

Я посмотрел него с ужасом:

— Как это? О чем вы говорите, Илья Григорьевич?

— Очень просто. Сегодня у нас вторник? Они будут здесь в пятницу. Я уже видел это в прошлом году в Париже.

И взяв свою портативную пишущую машинку, он направился к выходу.

В помещениях театра, где разместилась «Красная звезда», царила обычная редакционная суета. Непрерывно звенели телефоны, приезжали и вновь исчезали взмыленные репортеры и фотокорреспонденты. Курьеры разносили чай и влажные типографские оттиски. Ко мне подбежал секретарь редакции, политрук Копылев.

— Где вы были? Редактор уже два раза о вас спрашивал.

Оказалось, что «неистовый» Давид счел, что в такой острый момент газета не может выйти без веселой карикатуры. И Копылев протянул мне листки с отчетом о пресс-конференции начальника Совинформбюро С. А. Лозовского.

— Редактор сказал, чтобы вы тут нашли что-нибудь по своей части.

«По своей части» я нашел следующие слова Лозовского: «… Когда пискливый голос павиана Геббельса благодаря громкоговорителям и вассальным радиостанциям превращается в рев, я вспоминаю старую персидскую пословицу: “Если бы рев имел цену, самым дорогим животным на свете был бы осел!”».

Примостившись за каким-то столиком, я быстро смастерил карикатуру, на которой был и павиан-Геббельс, и ревущий радио-осел. Копылев рысью отнес этот рисунок редактору и от него тем же аллюром сдал в типографию. На другой день карикатура появилась в газете вместе с сообщением, в котором, пожалуй, впервые были такие слова: «Положение на Западном фронте ухудшилось…» Я заснул на каком-то узком диванчике под грохот отдаленных взрывов. Это прорвавшиеся к Москве фашистские самолеты сбросили несколько зажигательных и фугасных бомб.

Разумеется, никакие самые остроумные и язвительные карикатуры и плакаты не препятствовали неумолимому приближению «Тайфуна». Весь мир, затаив дыхание, следил за развитием событий под Москвой. И Сталин счел нужным в этот момент продемонстрировать перед всем миром самообладание и уверенность в своих силах — он приказал провести традиционный Октябрьский парад 7 ноября на Красной площади. Погода этому благоприятствовала — небо было затянуто тяжелыми тучами, шел снег. Фашистская авиация не могла прицельно бомбить Москву, и в частности Красную площадь. Переброшенные на несколько часов с передовых позиций войска выстроились против мавзолея.

Выступление Сталина было целиком в его стиле — оно не походило на пламенный призыв Вождя к идущим на смертный бой воинам. Как всегда, спокойно, размеренно и монотонно он сделал обзор исторических событий, начиная с восемнадцатого года, когда положение было несравненно труднее и опаснее, подчеркнув, что сегодня, 23 года спустя, наша страна гораздо более сильна и несомненно выйдет победительницей в борьбе с гитлеровской Германией. Немного странно прозвучали, конечно, в момент, когда враг стоял под стенами Москвы, слова о том, что «…враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его

малюют… Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть, годик — и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений…»

Признаюсь, что, будучи одним из «перепуганных интеллигентиков», я не слишком поверил в этот прогноз. Действительно, как известно, ни через полгода, ни «через годик» гитлеровская Германия не «лопнула», а упорная, ожесточенная война длилась еще три с половиной года. Между прочим, много лет спустя академик Иван Михайлович Майский, один из сопровождавших Сталина на Потсдамскую конференцию победного сорок пятого года, рассказал мне: он как-то осмелился спросить у Сталина, какие были основания к этому оптимистическому прогнозу тогда, в суровом сорок первом году. Сталин, бывший, видимо, в хорошем настроении, удостоил его ответом:

— А никаких оснований не было. Надо было просто приободрить людей.

Свою речь на Красной площади Сталин закончил отнюдь не традиционными для предыдущих Октябрьских годовщин напоминаниями о великой силе марксистско-ленинского учения, о построении социализма в нашей стране, не призывом к соединению пролетариев всех стран. Он безошибочно нашел самые нужные и верные в данный момент слова: «…Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!..»

Дальнейшее хорошо известно. Немцы потерпели под Москвой сокрушительное поражение и откатились на многие десятки километров от столицы. Главное, был развеян миф о непобедимости немецкой армии.

Москва осталась, по сути дела, прифронтовым городом, но какая разительная перемена в настроениях и перспективах. Неизмеримо укрепилась вера в победу, оптимистичней стали смотреть в будущее. А карикатуристы получили настоящие, не высосанные из пальца сатирические сюжеты: расправа разъяренного неудачей Гитлера с проигравшими московское сражение генералами, отставка фельдмаршала Браухича с поста Главнокомандующего, каковую должность фюрер возложил на себя самого. Доходчивый сатирический образ подбросил карикатуристам и Сталин, сказав, что Гитлер так же похож на Наполеона, как котенок на льва. Правда, мне лично показалось, что образ «котенка» — это нечто приятное, забавное, ласковое и поэтому я внес свою поправку: рисовал Гитлера в наполеоновской

треуголке, но не котенком, а страшным, облезлым, одичалым котом. А очередной новогодний рисунок, где был изображен традиционный малыш с цифрой 1942, стоящий на рвущемся вперед мощном танке, я озаглавил радостным каламбуром: *«Наступающий* новый год».

Несмотря на близость фронта москвичи чувствовали себя в безопасности. О воздушных налетах на столицу почти забыли. Уехавшие из города в октябре тысячами возвращались обратно. Редакция «Красной звезды» покинула Центральный театр Красной Армии и разместилась в здании газеты «Правда», заняв весь пятый этаж. Я по-прежнему находился на «казарменном положении», разделяя крохотный кабинет с фотокорреспондентом Боровским. Это «казарменное положение» было чрезвычайно удобным для редактора: все в любое время под рукой. Однажды, поздно вечером, меня разбудил тот же Герман Копылев и вызвал к Ортенбергу. Одеваться не было надобности: холод в редакции стоял такой, что, ложась спать, я снимал с себя только пенсне.

— Смешная штука, — сказал редактор, протягивая мне листок с ТАССовской информацией. — Немцы распределяют теплые вещи по одной-две на подразделение, и солдаты носят их по очереди.

— Не поздно ли, товарищ редактор? — спросил я.

— Успеете, — ответил Ортенберг и отвернулся к типографским гранкам, которые он просматривал, стоя за конторкой.

Пожав плечами, я отправился к себе, по дороге мысленно набрасывая нужный рисунок. «Носят по очереди… Так… Есть такое выражение “в порядке живой очереди”. Лютый мороз… Один немец стоит в полушубке и валенках, другие стоят к нему в очереди, еле живые от холода. Вот и название карикатуры: “В порядке полуживой очереди”».

Минут через сорок я отдал готовый рисунок Копылеву.

— Подождите ложиться спать, — сказал он. — Могут быть поправки. Вы же его знаете, — добавил он, подмигнув, и скрылся за дверью редакторского кабинета. Через минуту он оттуда выглянул и поманил меня пальцем. Я неохотно вошел.

Редактор держал мой рисунок, а за его спиной смотрел на карикатуру его заместитель Григорий Шифрин и громко смеялся. Ортенберг слабо улыбнулся, отдал карикатуру Копылеву со словами: «В печать», потом стремительно зашагал по кабинету, потирая озябшие руки и обратился к Шифрину:

— А Ефимов еще не был на фронте?

— Не был, товарищ редактор, — ответил я.

— Выезжаем завтра утром. Всем быть к семи часам у подъезда. Ждать никого не станем.

В назначенное время у подъезда стояли поэт Константин Симонов, фотокорреспондент Михаил Бернштейн, атлетический мужчина в кожаном пальто и с несколькими медалями на груди и я. Вышел Ортенберг и дал команду садиться в машину.

— А как же «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?» — спросил Симонов, имея в виду Алексея Суркова, которому было посвящено это стихотворение.

— Я сказал — ждать никого не станем, — сухо ответил редактор, и мы поехали.

По пути наша машина остановилась у ворот одного из домов на Поварской улице. Симонов нырнул в глубь двора и скоро вернулся с молодой женщиной в белом полушубке, белой ушанке и таких же белых валенках. Это была жена Симонова — Валентина Серова, популярная актриса театра и кино. Мы переехали Бородинский мост, промчались по Дорогомиловской улице и выехали на Можайское шоссе, проехали мимо Поклонной горы. (В который раз все эти названия напомнили времена наполеоновского нашествия…) В машине лежала пачка сегодняшней «Красной звезды», где была, кстати, напечатана и моя карикатура. Завидев на дороге прохожих, Ортенберг приоткрывал окно и, как птиц, выпускал на волю несколько номеров газеты. Их тотчас же подхватывал ледяной ветер. Глядя в заднее окошечко и убедившись, что они подобраны прохожими, Ортенберг говорил с довольной улыбкой:

— Уже получили сегодняшнюю «Звездочку». Неплохо, а?

Когда мы подъехали к штабу дивизии, мороз настолько освирепел, что войти в теплую избу было истинным наслаждением. Командующему дивизией Орлову, которому на днях было присвоено звание генерал-майора, Ортенберг привез подарки — генеральскую папаху и шинель с соответствующей нарукавной нашивкой (погоны еще не были введены).

— Доложите обстановку, — попросил Ортенберг.

На столе разложили карту. После карты на столе появились горячие щи и вареное мясо. По стаканам, не скрою, разлили разведенный спирт. Были произнесены соответствующие тосты, а потом Симонов прочел свое знаменитое, облетевшее и фронт и тыл стихотворение «Жди меня», посвященное, как все знали, Вале Серовой. Мы искоса на нее посматривали, а она сидела скромно потупив глаза. С удовольствием осмотрев привезенные ему обновы, Орлов провожал нас так же, как и встречал — в кожаном танкистском шлеме и закопченном полушубке. Уже стемнело, когда мы подъехали к переднему краю, вошли в просторную избу,

где располагался КП (командный пункт) дивизии. Кто-то, стоявший коленями на стуле, кричал в находившийся на столе полевой телефон:

— Хозяин недоволен такой работой! Хозяин крепко недоволен такой работой! Сколько вы будете возиться с этой высоткой? Что? А ты им огурчиков! Огурчиков!..

И опять:

— Хозяин крепко недоволен такой работой!..

Под крики о недовольстве неведомого «хозяина» я стал присматривать себе местечко для отдыха, а может быть, и для сна — предполагалось, что только поздней ночью мы выйдем на передовую линию, чтобы наблюдать штурм этой самой высотки. Симонов и Серова уже сидели рядышком на какой-то раскладушке и о чем-то шептались. Между прочим, мне были известны их заботы: Симонов в это время работал над пьесой «Русские люди», которая вскоре с огромным успехом прошла чуть ли не по всем театрам страны. И одной из целей их поездки была встреча с уже прославившим себя полковником Полосухиным. От него Симонов рассчитывал почерпнуть интересные боевые эпизоды. Поспать, однако, не пришлось. Часа через два Ортенберг дал команду выходить. Глубоко волнующее, драматическое впечатление произвели на меня молчаливые ряды одетых в маскировочные белые халаты бойцов на лыжах с автоматами и ручными пулеметами в руках. Вскоре они куда-то двинулись и исчезли в ночном сумраке. Мы вернулись на КП, но тут же неугомонный Ортенберг велел всем выходить и ехать в штаб Пятой армии, куда мы прибыли поздно ночью. А наутро мы двинулись на КП командующего Пятой армией, в недалеком будущем Маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова. Для меня это был, пожалуй, самый интересный эпизод нашей поездки. Говоров весьма любезно встретил нас в своей просторной землянке в пять накатов. С ним находились еще два генерала, приехавшие с Дальнего Востока. Ортенберг не отказал себе в удовольствии представить военачальникам своих спутников. Происходило это так:

— Вы видели фильм «Девушка с характером»? Так вот, позвольте вам представить актрису Валентину Серову.

— Как же, как же, — раздавалось в ответ. — Конечно, видели. Весьма, весьма приятно!

— А вы читаете в «Красной звезде» стихи Константина Симонова? Так вот, он перед вами, собственной персоной.

— Как же, как же! Читали. Весьма приятно. Весьма…

— А вы смотрите в «Красной звезде» карикатуры Бориса Ефимова? Так вот…

— Как же… — слышалось уже с несколько меньшим энтузиазмом. — Видели… Весьма…

Такая процедура повторялась, между прочим, повсюду, где мы бывали с Ортенбергом…

Из разговора с Говоровым вскоре выяснилось, что проехать в расположение частей Полосухина на тяжеловесном редакционном ЗИСе невозможно. Надо было пересаживаться в легковую машину, в которой для всех нас места не хватало. Ортенберг быстро разрешил эту проблему.

— Симонов и Серова не разделяются, — сказал редактор. — Бернштейн будет снимать. Здесь останется Ефимов.

Они отбыли. Куда-то уехали и все генералы. Я остался один и как-то сразу заскучал. К тому же усилилась канонада, и мне почудилась даже трескотня пулеметов. Подобно матросу-новичку, который видит бушующие волны там, где для опытного моряка только легкая зыбь, я не отличал выстрелы наших орудий от разрывов немецких снарядов. И подумал, не началось ли на этом участке фронта большое немецкое наступление… Испытывая некоторую тревогу, я одиноко сидел в землянке КП, как вдруг к моей радости вернулся Говоров с группой офицеров и началось оперативное совещание. Один из работников штаба намекнул мне, что присутствие постороннего человека здесь нежелательно. Но мне до того не хотелось уходить, что я набрался смелости и обратился к Говорову:

— Леонид Александрович! Мне, как журналисту, здесь очень интересно. Позвольте остаться.

— Пожалуйста, пожалуйста, — рассеянно сказал Говоров. — Оставайтесь.

Работник штаба недружелюбно на меня посмотрел, но я его уже не боялся. И мне действительно было исключительно интересно наблюдать, как, подобно опытному хирургу во время сложной операции, немолодой подтянутый военный с аккуратной щеточкой усов управлял огромным армейским механизмом. Лаконично и деловито он сообщал кому-то по телефону, что положение на определенном участке фронта осложнилось, так как немцы довольно значительными силами (была указана цифра) перешли водный рубеж. Затем было дано задание выяснить, куда девалось «хозяйство Белова», прибытие которого ожидалось с нескрываемым нетерпением. Строго напоминалось какому-то Семенову, чтобы он немедленно вернул в «хозяйство Ткаченко» взятые им неделю тому назад на два дня «эрэсы». Был вызван начальник разведки, которого генерал очень спокойно, не повышая голоса, но весьма чувствительно распушил.

— Вы, может быть, думаете, что вести разведку — это значит

регистрировать донесения и разносить их по карточкам? — ядовито-вежливо спрашивал командующий. — Или считаете, что я должен довольствоваться разведданными недельной давности? А если нет, то не будете ли вы добры объяснить, каким образом на стороне противника появилась свежая эсэсовская часть? Когда она прибыла? Откуда переброшена? Какова ее численность и вооружение? Не укажете ли вы, от кого я могу рассчитывать получить эти сведения, если ими не располагает начальник моей разведки?

Этот тяжелый разговор неоднократно прерывался телефонными вызовами, а вслед за тем в землянке стали появляться командиры — начиналось оперативное совещание. Вскоре я почувствовал, что мне не следует злоупотреблять любезностью командующего, и безропотно последовал за его адъютантом, который давно косился на постороннего человека в блиндаже и деликатно осведомился, не желаю ли я часок-другой поспать в более спокойном месте. С явным облегчением он проводил меня в ближайшую землянку. Не в пример пятинакатному блиндажу командного пункта, она была покрыта только двумя настилами бревен, что я мысленно отметил не без огорчения. Грохот канонады усилился, но не был в состоянии заглушить богатырский храп кого-то, спавшего на покрытых соломой нарах. Только я собрался последовать его примеру, как за мной явился уже знакомый адъютант, — мои спутники вернулись, и Ортенберг дал команду немедля двигаться дальше.

Обратно в Москву мы ехали далеко не с той лихостью, с какой мчались из редакции. Ночной путь был труден и мучителен. Мы то и дело застревали в автомобильных пробках, и тогда

Миша Бернштейн вылезал из машины и, бренча медалями на широкой груди, пробивал нам дорогу. А у меня не выходили из головы ряды солдат-лыжников, которым предстояло штурмовать занятую немцами высотку. Кстати говоря, Симонов, уже имевший за собой более чем полугодовой фронтовой опыт, а до того опыт Халхин-Гола и финской войны, в очерке об этой поездке с горечью писал, что абсолютно никакого стратегического или тактического значения не имело взятие (или невзятие) той злополучной высотки. Единственным реальным результатом этой операции стала, несомненно, бессмысленная потеря нескольких десятков человеческих жизней. Между прочим, этот очерк о нашей поездке Ортенберг не напечатал. Хочу добавить, что Миша Бернштейн вскоре погиб на фронте, а впоследствии воскрес под именем Миши Вайнштейна в романе Симонова «Живые и мертвые» и в кинофильме «Жди меня».

Я продолжал активно работать в «Красной звезде», но с казарменным положением было покончено. Я переселился в гостиницу «Москва», ставшую в эту пору своего рода огромным общежитием для многих представителей творческой интеллигенции — писателей, журналистов, артистов, дипломатов, ученых. Там жили Илья Эренбург и Леонид Утесов, Леонид Ленч и Евгений Петров, Роман Кармен и Константин Уманский, Янка Купала и Лидия Русланова, и многие другие. Все были заняты своими делами, но общались дружно и весело. Я заходил, бывало, в номер к Евгению Петрову. Между прочим, после ареста Кольцова он стал редактором «Огонька», где регулярно печатались мои рисунки. Мы никогда не заговаривали с Женей о Кольцове, но я всегда читал в его глазах молчаливое сочувствие. Зашел я к Петрову и накануне его отлета в Севастополь, куда он был на несколько дней командирован «Правдой». Он себя неважно чувствовал, лежал на диване, укрытый пледом. Вокруг него суетилась Варя, его милая подруга. В номере находились также его старший брат, Валентин Катаев, Евгений Долматовский и еще кто-то, не помню. На столе лежали карты и деньги — играли в покер.

— Так вы, Женя, в Севастополь? — сказал я. — А помните, как мы отплывали на крейсере «Красный Кавказ»?

— А как же! — улыбнулся Петров. — Помните — «Всем с левого борта!»

И мы оба засмеялись. А в это время за столом зашел по какому-то поводу разговор об Александре Фадееве, в ту пору одном из руководителей Союза писателей. И дернуло же Долматовского шутливо переиначить его фамилию — вместо «Фадеев» сказать «Фадейкин».

— Не Фадейкин, а Фадеев! — неожиданно взревел Катаев. — Замечательный русский писатель!

И добавил трехэтажное матерное ругательство. Женя Петров буквально подскочил на своем диване.

— Немедленно убирайся отсюда вон! — закричал он на старшего брата.

Катаев как-то сразу съежился и сказал:

— Пожалуйста. Я только заберу свои деньги.

И, взяв со стола трехрублевку, как побитый, вышел из номера. Всем было неловко. Варя успокаивала Петрова, уложила его обратно на диван и укрыла пледом. Я посмотрел на Женю. Он был явно расстроен только что происшедшим инцидентом. Чтобы его немножко развеселить я сказал:

— Га-спадин Петров! У-узы дружбы…

— …Являются теми дружественными узами, — подхватил он,

и мы оба рассмеялись.

— Ну, Женя, — сказал я, — счастливо. Вернетесь, расскажете, как там наш Севастополь.

Но как известно, Петров, увы, не вернулся. Он погиб в авиакатастрофе на обратном пути.

Не раз встречались мы и с Леонидом Утесовым. Как-то, столкнувшись со мной в коридоре, он поделился таким забавным эпизодом. Ему позвонил из своего номера Роман Кармен: «Леонид Осипович! Заходите ко мне. У нас тут собралась хорошая компания. Посидим, потреплемся».

— Я пошел, — рассказывает Утесов. — Действительно, сидят за столом. Нина, жена Кармена, какие-то девицы, молодые люди. И еще какой-то рыжеватый паренек суетится. Говорит, что принесет еще водочки и попробует достать селедку.

— Кто это? — спросил я у Кармена.

Он многозначительно на меня посмотрел.

— Это — Вася, сын Сталина.

— Меня как обухом по голове, — продолжал Утесов. — Только этого мне не хватало — мало ли, что может случиться… Прежде всего скажут — при этом был Утесов. Вы представляете себе, как это мне нужно? И я схватился за голову: прости, Рима, я забыл, что меня ждет Елена Осиповна. И бегом пустился к себе в номер.

Из песни, как известно, слова не выкинешь. И к рассказу Утесова нельзя не добавить следущее: Нина, хорошенькая жена Кармена, как принято говорить, «положила глаз» на Васю, а тот от этого отнюдь не уклонился, и между ними возникла настолько близкая «дружба», что Нина вообразила, по-видимому, будто это вполне серьезно. И, знакомясь с кем-нибудь, называла себя коротко: Сталина. Можно себе представить состояние Кармена. В отчаянии он решился написать письмо отцу Васи, чтобы тот призвал сына к порядку и вернул ему, Кармену, жену.

Говорили, что «Васин отец» сухо ответил: «Мужчина должен уметь сам защищать свою честь, а не писать жалобы». Но в конечном итоге Нина вернулась к Кармену.

Весну сорок второго года разные люди ожидали с разными чувствами — с опасением, с тревогой, со страхом, с надеждами. Некоторые поговаривали: «Зимой, конечно, «фриц» слабоват, но весной пока-ажет. Даст прикурить…»

Сам Гитлер громогласно объявил, что весной произойдет окончательное и решающее наступление. Это, естественно, дало тему для соответствующей карикатуры: помятый и злой фюрер в наполеоновской треуголке, с подписью под рисунком: «Не для него придет весна». Однако изображенный на моем новогоднем

рисунке *наступающий* 1942 год оказался наступающим, увы, не для нас… И «не для нас пришла весна»… Она принесла с собой тяжелейшее поражение советских войск под Харьковом. В этой связи я хочу привести отрывок из воспоминаний Н. С. Хрущева, с которыми я случайно познакомился, будучи в 1971 году в Германии, — увидел толстый том в книжном киоске. Немного владея немецким языком, я стал его перелистывать и сразу наткнулся на эпизод, который внимательно прочел и запомнил. (Первой моей мыслью было приобрести эту книгу, но взглянув на цену — 300 марок, я понял, что она мне не по карману.) А успел я прочесть следующее: Хрущев рассказывает о том, что был членом Военного совета фронта при командующем войсками под Харьковом маршале Тимошенко. И неожиданно получил приказ срочно явиться в Москву, к Сталину. Погода была абсолютно нелетная — туман, проливной дождь, резкий ветер, но медлить он не посмел и явился к «Верховному».

— Почему с опозданием? — спросил Сталин.

— Товарищ Сталин, в эту ночь даже почтовые голуби не летают, — попытался пошутить Хрущев.

— Но ты, толстый почтовый голубь, прилетел. Молодец, — сказал Сталин.

«Хозяин был пьян», — пишет Хрущев.

Пристально посмотрев на Хрущева, Сталин налил ему стакан водки.

— На, согрейся. А теперь вот что. Немедленно отправляйся обратно и передай Тимошенко, чтоб завтра же начали наступление на Харьков.

— Товарищ Сталин, — проговорил ошеломленный Хрущев, — наступление не подготовлено. Оно, пожалуй, еще рискованно. Надо сначала…

— Отправляйся немедленно и передай Тимошенко, чтобы завтра начинали наступление, — повторил Сталин и бросил на Хрущева короткий, злой взгляд.

Выйдя от Сталина, пишет Хрущев, он заплакал. Он плакал о тысячах солдат и офицеров, которым суждено завтра погибнуть в результате этого приказа, ненужного, нелепого, нецелесообразного. Не берусь судить о достоверности этого рассказа, но я прочел все это своими глазами в немецком тексте.

В результате этого наступления наши войска понесли чудовищные потери. А для сосредоточенных здесь отборных немецких дивизий была открыта дорога для наступления на юг к Кавказу и на восток к Сталинграду.

Разумеется, Сталин и не подумал считать резко ухудшившееся военное положение на фронте результатом своих

ошибок и просчетов. Собственная непогрешимая мудрость и безапелляционность были для него аксиомой. Ошибаться могли только другие. И еще — краеугольным камнем отношений с людьми и управления государством он считал *страх.* А страх «Вождь и Учитель» внушал неимоверный. И, кто знает, может быть, этот страх перед Сталиным в какой-то мере помог выиграть войну. Мне рассказывали маленький любопытный эпизод. Будто в первые месяцы войны на фронте было плохо с табаком, который, говорят, для солдат иногда важнее, чем хлеб. Курили всякую дрянь. Никакие жалобы, просьбы, заявления в Главтабак не помогали. Но вот начальника Главтабака вызвали в Кремль к Сталину. После долгого ожидания в приемной его позвали в кабинет. Сталин просматривал какие-то бумаги на своем столе и, не поднимая головы, негромко произнес:

— Сделайте, чтобы мои солдаты и офицеры не жаловались на недостаток и качество табака.

Потом поднял свои страшные желтые глаза, только одну секунду смотрел на вошедшего и сказал:

— Можете идти.

Тот вышел из кабинета еле живой и рассказывал потом, что никогда в жизни не испытывал такого жуткого страха. Нечего и говорить, что дела с табаком сразу наладились.

Сталин, видимо, был уверен, что и положение на фронтах можно наладить угрозами, наказаниями, репрессиями — *страхом.* Об этом говорит и его знаменитый приказ № 227, более известный под названием «Ни шагу назад», устанавливавший за отступление перед немцами без соответствующего приказа жестокие кары. В этом приказе, собственноручно им написанном, были такие слова:

«…Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Ни шагу назад без приказа высшего командования».

Таким образом, Верховный Вождь твердо установил, что в основе всех военных неудач лежит не то, что перед самой войной был уничтожен цвет командного состава Красной армии, не то, что были расстреляны талантливейшие советские полководцы и не бессмысленное, непродуманное наступление под Харьковом, а паникеры и трусы, иными словами — растерянные, деморализованные солдаты, отступавшие без соответствующего приказа, который зачастую не от кого и неоткуда было получить.

Безрадостные вести с фронтов не могли, естественно, не отражаться на настроениях, но и не могли лишить нас оптимизма, веры в конечную победу. Однако для повседневных карикатур приходилось брать сюжеты второстепенного характера — главным образом высмеивать гитлеровских сателлитов, —

Антонеску, Муссолини, Хорти, лживую пропаганду колченогого Геббельса, расовое мракобесие в Германии, тот же страх перед партизанами и тому подобное. Вместе с тем я, по примеру 30-х годов, захотел, кроме повседневных оперативных карикатур, создать тематически цельный обобщенный альбом о германском фашизме и приступил к работе над таким изданием. Оно состояло из семи разделов, характеризовавших и главарей

Третьего рейха, и их идеологию, и их союзников, и установленный ими «новый порядок» в Европе, и предсказываемые нами их перспективы. Альбом, как я уже упоминал, назывался — «Гитлер и его свора» и, выйдя в свет, был вскоре переиздан за рубежом, на английском, венгерском, румынском, болгарском и других языках. С оригиналами рисунков для этого альбома произошла странная история: когда, после выхода альбома, я попросил вернуть мне рисунки, то оказалось, что их в издательстве нет. Мне сказали, что они были все отправлены в ЦК по запросу из секретариата Сталина. И что, по их сведениям, весь комплект рисунков Сталин подарил приехавшему в Москву Черчиллю. Это было, безусловно, для меня весьма лестно, но, откровенно говоря, почему Хозяин захотел сделать приятное сэру Уинстону, который прилетел в Москву с весьма неприятным известием о том, что Второй фронт в Европе в 1942 году открыт не будет? Я как-то впоследствии прочел в одной английской газете подробности этой встречи. Черчилль сразу заговорил так темпераментно и страстно, что переводчики не смогли поспеть за бурным потоком его красноречия и растерянно замолчали. Черчилль наконец спохватился, остановился и жестом пригласил переводчиков приступить к своему делу. Но тут Сталин, невозмутимо слушавший Черчилля, покуривая трубку, вынул ее изо рта и сказал:

— В переводе нет надобности. Английского языка я не знаю, но смысл того, что говорил господин Черчилль, я отлично понял.

Вопрос о Втором фронте в Европе или, вернее, о его отсутствии не переставал волновать советскую общественность, воспринимавшую эту проблему весьма болезненно. Сегодня, спустя более полувека, оценка событий и отношение к ним носят более продуманный и объективный характер, чем в то время. И то, что Англия не спешила тогда с открытием столь желанного нам Второго фронта, уже не представляется вызывавшим наше неудовольствие и негодование коварством, а объясняется ее реальными возможностями. Не приходится сомневаться, что Великобритания действительно не была готова к такому рискованному шагу. Оставшись после разгрома Франции один на один с вооруженной до зубов гитлеровской Германией, едва-едва,

как говорится, унеся ноги из Дюнкерка, подвергающаяся непрерывным воздушным налетам (варварское разрушение немецкой авиацией старинного мирного городка Ковентри даже породило страшный термин «ковентризация»), Англия только-только собиралась с силами. Не исключено к тому же, что дальновидных английских политиков нисколько не огорчало, что в ожесточенной, кровопролитной борьбе два опасных для Англии тоталитарных режима взаимно ослабляют друг друга. К тому же, вполне возможно, в Лондоне еще не изгладилась память о пакте «Молотов — Риббентроп», иначе говоря, о дружеском соглашении Сталин — Гитлер, давшем возможность Германии развязать агрессивную войну. Но тогда мы думали по-иному. Медлительность Англии вызывала у нас разочарование и даже негодование. И было принято решение организовать кампанию воздействия на английскую общественность. При посредстве Совинформбюро советские деятели культуры обращались к своим английским коллегам. Писатели к писателям, ученые к ученым, артисты к артистам. Мне было поручено написать Дэвиду Лоу, популярному английскому карикатуристу и видному общественному деятелю. Я познакомился с ним еще в 1932 году, когда он приезжал в Москву в составе Британской парламентской делегации. Оказалось, что ему знакомы мои работы. Он подарил мне альбом своих карикатур с весьма лестной для меня авторской надписью. Я позволю себе привести ее текст: «Бор. Ефимову. С братским приветом и восхищением его талантом. От Лоу, август 1932 г.».

Итак, я отправил Лоу письмо следующего содержания:

«Дорогой мистер Лоу! Передо мной лежат свежие номера газет с Вашими замечательными рисунками, и мне хочется в связи с этим написать несколько слов. Позвольте прежде всего сказать Вам, мистер Лоу, с каким неизменным интересом я, как и другие советские художники, следил и слежу за Вашими великолепными работами, законно оправдывавшими славу лучшего карикатуриста мира. Мы ценим Ваше исключительное мастерство также и потому, что оно насквозь проникнуто лучшими и типичными чертами английского творческого гения — сдержанностью, здравым смыслом, умным юмором, тонким сарказмом.

Ваш приезд в Москву в 1932 году доставил мне приятную возможность личного знакомства с Вами. С тех пор подаренный Вами альбом карикатур с Вашим любезным автографом занимает почетное место в моей домашней библиотеке. С того времени немало событий, больших и малых, радостных и печальных, пронеслось над нашими головами. Немало было достижений и

успехов, немало сделано ошибок. Как говорят по-русски — «немало воды утекло». Но никогда до сих пор так остро не стояли вопросы, решающие судьбу нашего и последующих поколений. Никогда мир не переживал столь грозных дней. Весы истории колеблются. На одной чаше — свет, прогресс, демократия, жизнь. На другой — мрак, гниение, варварство, смерть, иными словами — гитлеризм. Я рад, дорогой мистер Лоу, что в это решающее время нахожусь с Вами — большим мастером, творчество которого я люблю и ценю, в одном лагере свободных людей, противостоящих растленным ордам современного Аттилы. Я рад, дорогой м-р Лоу, что тем же оружием, что и Вы — карандашом карикатуриста — атакую нашего общего врага. Моя страна представляет собой вооруженный лагерь. Каждый стоит на своем посту. Боевое место в общем строю занимают и советские сатирики. Нашему народу очень трудно, ибо он один сражается не на жизнь, а на смерть, против целой своры остервенелых и вооруженных до зубов врагов. Но мы полны воли к победе и верим в мощь и активность антигитлеровской коалиции.

Мы с радостью воспринимаем все проявления дружбы, симпатии и поддержки со стороны Вашего народа, но с удесятеренной радостью встретили бы первые решительные удары доброго англо-саксонского меча по общему смертельному врагу, который только тогда по-настоящему почувствует на своей шкуре, что такое союз народов, защищающих свою жизнь, свободу и честь.

Я уверен, что в достижении этого желанного часа сыграет свою роль и блестящее искусство Дэвида Лоу. *Искренне ваш Бор. Ефимов.*

P.S. Я позволяю себе приложить к этому письму, лично для Вас, одну из своих работ».

Кстати, о нашей встрече в 1932 году есть любопытная запись в объемистой автобиографии Лоу, вышедшей в 1956 году:

«…Я встретился с Борисом Ефимовым, политическим карикатуристом московской газеты «Известия», который вместе с Дени из «Правды» пользуется наибольшей популярностью в русской карикатуре. Он получает 6 тысяч рублей в месяц в контрасте с 1500 рублей, которые получает Сталин.

— Каковы условия вашей работы? — спросил я его.

— Я рисую то, что мне нравится, — сказал Ефимов.

— А вы когда-нибудь критикуете режим?

— А вот это немыслимо, — ответил Ефимов сумрачно.

Возможно, его стесняло то, что нашим переводчиком был представитель Главной советской цензуры».

Такая беседа, действительно, помнится мне, имела место,

хотя не пойму, почему уважаемому Лоу почудилась столь фантастическая цифра моей зарплаты.

Вернусь, однако, в 1942 год. Ответ Лоу последовал примерно через месяц. Я узнал о нем из «Вестника иностранной служебной информации» ТАСС, почему-то под грифом «Секретно».

«Лондон, 17 сентября (ТАСС). “Манчестер гардиан” помещает карикатуру, присланную Ефимовым английскому карикатуристу Лоу. На карикатуре изображен Дамоклов меч Второго фронта, висящий над головой Гитлера. Меч удерживает веревка, протянутая через Ла-Манш. У другого конца веревки англичане сидят и спорят.

В сопроводительном письме Лоу, поблагодарив Ефимова и выразив восхищение английского народа Красной армией, в частности, пишет:

“Британская империя сильна, но в 1939 году ее военная мощь была только потенциальной. Мы вступили в войну неподготовленными духовном материально. И нам приходится организовывать все с самого фундамента под огнем противника. Нам пришлось вести арьергардные бои, отступать и терпеть унижения, готовясь ко дню, когда вместе с вами и Соединенными Штатами мы сможем перейти в наступление с полной уверенностью в том, что поразим гитлеризм и покончим с войной. Противник все это хорошо знал и соответственно строил свои расчеты. Отсюда его ожесточенные усилия против нас. Но вместе с нашим мощным союзником Соединенными Штатами мы тоже способны осуществить наши расчеты. Многие ваши друзья здесь от всего сердца хотели бы, чтобы время больших действий уже пришло”».

Я ни минуты не сомневался в искренних чувствах Лоу, в его глубокой симпатии к советским людям, в том, что он от всего сердца желал открытия Второго фронта в Европе, желал победы над ненавистным ему фашизмом. И в то же время он отлично понимал, что данный вопрос должен быть решен специалистами. В этом отношении характерен его рисунок «Второй фронт». Глядя на него, трудно определить, на чьей стороне художник — на стороне ли «простых англичан», которые написали лозунг «Второй фронт — немедленно», или на стороне Черчилля, который зачеркнул слово «немедленно» и вместо него написал: «В надлежащий момент».

Мне вспоминается и другой рисунок Лоу, о котором он сказан, что рисовал его с большой горечью. Он относится к 1939 году и называется «Рандеву». На рисунке — дружеская встреча

двух тиранов. Гитлер, вежливо приподнимая фуражку, приветствует Сталина со словами: «Ужас всего мира, я полагаю?» На что Сталин, также приподняв фуражку, любезно отвечает: «Кровавый убийца рабочих, если не ошибаюсь?» Между обоими диктаторами — распростертое тело поверженного польского солдата.

Еще по поводу Второго фронта. Отражая общие настроения, я нарисовал карикатуру под названием «Совещание военных экспертов», где изобразил тех самых пресловутых «военных специалистов», на мнение которых рассчитывали и Лоу и другие англичане, в образе толстозадых военных деятелей, обозначенных так: генерал Какбычегоневышло, генерал Авдругпобьют, генерал Стоитлирисковать, генерал Ненадоспешить, генерал Давайтеподождем. Поразмыслив, я счел необходимым изобразить по другую сторону стола двух молодых, стройных военных, обозначенных, как генерал Смелость и генерал Решимость. На стене висит календарь с датой — 1942 год, октябрь.

Возможно, я очень много места уделяю личности Дэвида Лоу, но мне представляется, что в нем как бы сосредоточены самые характерные черты «среднего англичанина» — никогда не изменяющее чувство юмора, предельная сдержанность в проявлении внутренних эмоций, некоторый иронический скептицизм и приверженность к традициям. Эти черты видны и в его высказываниях, касающихся нашей с ним общей профессии и меня лично.

Как я уже говорил, в Англии в 1943 году вышел мой альбом «Гитлер и его свора». Думаю, что он был издан там по инициативе Лоу, который написал к нему вступительную статью. Приведу отрывки из нее.

«В Советской России всегда высоко ценили искусство сатиры, как критического оружия. Широкое применение карикатуры в исторической, воспитательной и социальной областях жизни России было признанием важности искусства карикатуры не только как развлекательного, но и как воспитательного средства.

В довоенное время советские мастера сатиры активно участвовали в общественной жизни, и их труд был ее неотъемлемой частью. Работы карикатуристов украшали клубы и залы собраний, пропагандировали пятилетний план и комментировали текущие события. На стенах фабрик огромные портреты ударников прославляли передовых рабочих в то время, как лодыри, сравниваемые с ленивыми черепахами, высмеивались в беспощадных карикатурах, которые развешивались над станками провинившихся, пока те не выправляли свою работу.

Благодаря такому размаху сатирического искусства в мирное

время, гигантская борьба против зверских орд Гитлера не застала советских карикатуристов врасплох. Их участие в советских военных усилиях намного превосходит все, что известно в этой области в Англии.

Из этих русских художников наиболее зрелый и лично мне приятный — это Борис Ефимов. Мое первое знакомство с его работами произошло при идеальных условиях. Я провел напряженный день, осматривая Москву, и, изрядно утомленный, решил мирно погулять в парке у освещенного солнцем пруда. Там и тут среди деревьев виднелись стенды, которые меня заинтересовали, и я подошел к ним поближе. На каждом из них висела 5-футовой высоты карикатура в красках на тему международной политики, подписанная — ЕФИМОВ.

— Мой Бог, — сказал я себе, — вот как надо это делать.

Ефимов — скромный, вдумчивый человек, настойчивый сатирик-разоблачитель, мастер с большим чувством юмора. Он карикатурист-самоучка. Он достиг огромной популярности в качестве постоянного сотрудника сатирического еженедельника «Крокодил», газет «Известия» и «Красная звезда», а также других газет и журналов. Его работы находят широкую аудиторию среди 189 различных национальностей, составляющих Советский Союз.

Значительность его вклада в советские военные усилия несомненна. Судя по карикатурам Ефимова, он убежден (и совершенно правильно) в том, что Гитлер безумец. Временами, правда, наблюдая ужасы нацизма в их наихудших проявлениях,

Ефимов показывает в изображениях фюрера его звериную сущность, но и тут Гитлер не перестает быть безумцем — невероятно озверелым безумцем. Его Геббельс — это крыса, его Гиммлер — скользкая змея, его Геринг — это жирный скот. Ефимов изображает «высшую расу» с ненавистью, но сохраняя чувство меры. Его темперамент художника подчинен дисциплине формы. Карикатуры Ефимова, собранные здесь, обнаруживают черту, на которую следует обратить особое внимание: их фантазия и творческий метод не представляют никаких трудностей для британского восприятия. За малыми исключениями рисунки Ефимова могли бы быть напечатаны в британских газетах для британского читателя. По-видимому, русское чувство юмора очень близко к британскому. Очевидно, почерпнутое из множества старых классических романов старое представление о русском, как о мрачной личности с длинной черной бородой — нелепо. На самом деле русские любят смех и к тому же смех, понятный нам, британцам. Возможно, что сборник Ефимова ускорит это открытие, которое в конце концов будет иметь более глубокое влияние на взаимопонимание британского

и русского народов, чем целый воз дипломатических нот».

Мой рисунок «Совещание военных экспертов» не прошел незамеченным. Он вызвал широкий резонанс и даже некоторую сенсацию. Английское и американское радио передавали описание этой карикатуры и удивленные к ней комментарии. В самом деле, это было первое и, пожалуй, единственное за всю войну выражение нашего недовольства союзниками.

Работу над альбомом «Гитлер и его свора» я закончил где-то в ноябре. Объемистый том с вклеенными в него рисунками отвез, как положено, в Отдел печати и пропаганды ЦК, к известному в свое время блюстителю партийных устоев Георгию Александрову. Не приглашая меня сесть и сам оставшись стоять, он начал молча перелистывать один рисунок за другим. А в это время висевший на стене репродуктор передавал сообщение об окружении армии Паулюса под Сталинградом. У меня было впечатление, что Александров больше прислушивается к радио, чем обращает внимание на рисунки. Так или иначе, он вернул мне их со словами: «У меня нет возражений».

Москва остается прифронтовым городом. Но ни ранний комендантский час, ни обязательное затемнение окон в домах, ни далеко не сытное питание, ни отдельные воздушные налеты не лишают москвичей оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Театров осталось в Москве немного, но все они переполнены зрителями. С большим успехом работает Театр миниатюр, руководимый талантливым писателем-сатириком Евгением Вермонтом. В труппе такие замечательные артисты эстрады, как Леонид Утесов, Мария Миронова, Александр Менакер, Татьяна Пельтцер, Юрий Юрьев, Рина Зеленая и другие. Вермонт и Менакер без труда уговорили меня заняться оформлением сатирического «международного обозрения», в котором, естественно, фигурировали и бесноватый фюрер, и мрачный Муссолини, и колченогий Геббельс, почему-то сидевший на ночном горшке.

Воспоминания о сорок втором годе были бы, конечно, не полными, если не сказать, что мне удалось достать пропуск на торжественное собрание в Большом театре, состоявшееся там 6 ноября. Я нашел себе место на самом верхнем ярусе и в карманный бинокль стал разглядывать сидевший на сцене президиум. Ко мне тотчас же подошел работник охраны с требованием немедленно бинокль убрать. Наверно, так было положено по инструкции, но это показалось мне настолько нелепым, что я не удержался от иронического замечания: «А что, очки тоже надо снять?» Охранник строго на меня посмотрел и не удостоил ответом. Через несколько минут все встали, и зал

огласился бурными аплодисментами: на трибуне появился Сталин.

Какой-нибудь неосведомленный человек из дальних краев не поверил бы, что выступает глава государства, огромные пространства которого заняты неприятельскими войсками, окопавшимися даже на подступах к столице. Как всегда, неторопливо, негромко и монотонно, он начал с того, что в день празднования годовщины Октябрьской революции принято подводить итоги за минувший год от ноября до ноября. И что ему поручено (кем?) выступить с таким докладом. Приведя соответственные данные об успехах мирного строительства, он так же неторопливо и деловито перешел к военному положению. Конечно, не скрыл, что оно достаточно серьезное, но больше подчеркивал то обстоятельство, что немцам не удалось к определенным ими срокам занять Москву, Архангельск, Куйбышев, Саратов, Баку и вообще — победоносно завершить войну. Далее он очень обстоятельно подсчитывал количество немецких дивизий, воевавших против нашей страны в Первую мировую войну и ныне. Соотношение получалось разительное, и тут, рассматривая причины, по которым Гитлер получил возможность бросить против Красной армии все свои военные резервы, Сталин, естественно, перешел к вопросу об отсутствии Второго фронта в Европе. При этом тон его стал более резким и, я сказал бы, злым. Фразу «отсутствие Второго фронта в Европе» он за несколько минут повторил раз десять, как будто вбивая один гвоздь за другим. Потом, отпив воды из стакана и немного помолчав, сказал:

— Часто спрашивают: а будет ли все же Второй фронт в Европе? Да, будет, рано или поздно, но будет. И он будет не только потому, что он нужен нам, но и, прежде всего, потому, что он не менее нужен нашим союзникам, чем нам…

Это звучало достаточно ободряюще, оптимистично. Но я, «перепуганный интеллигентик», не мог отделаться от воспоминания о прогнозе, сделанном вождем на ноябрьском параде 1941 года на Красной площади. Ведь прошло уже с тех пор и «полгодика и годик», а Германия отнюдь не «лопнула под тяжестью своих преступлений». И что-то не было на это похоже…

Но прогнозы прогнозами. Они могут быть и точными и ошибочными, и удачными и неудачными. А очевидно и бесспорно было то, что в 1943 году в войне произошел перелом, и не в пользу Германии. Она была еще достаточно сильна и опасна, но уже можно было разглядеть зарницы грядущей победы. И люди начинали, пусть осторожно и несмело, подумывать о послевоенном восстановлении страны, ее хозяйства, культуры,

жизни.

Я беру в руки листок той поры, который представляется мне особенно примечательным. Это — отпечатанное типографским способом обращение с эмблемой ЦДРИ, куда после слова «многоуважаемый» вписаны от руки мое имя и отчество. Далее сообщается о том, что ЦДРИ СССР «начал большую и очень важную работу» над тем, чтобы «в нем встречались люди, всей своей жизнью связанные с искусством». Немногословное это обращение заканчивалось подлинно проникновенным призывом:

«Война и подготовка к огромной работе восстановительного периода обязывают всех нас к настоящей большой дружбе. Вот почему мы уверены, что на это наше письмо Вы ответите согласием стать участником творческой жизни ЦДРИ».

На этом письме стояли собственноручные подписи А. В. Неждановой, А. В. Александрова, В. И. Мухиной, И. Я. Судакова, Н. С. Голованова — корифеев нашего искусства. Но приковывает внимание еще одна деталь — на обороте письма напечатано Положение о членстве в ЦДРИ, утвержденное советом ЦДРИ 16 июля 1943 года. Надо ли подчеркивать смысл этой даты? Надо ли напоминать, что 5 июля этого третьего года Великой Отечественной войны переходом к наступлению мощной группировки немецко-фашистских армий началась гигантская историческая битва на Курской дуге? Надо ли рассказывать, что к 11 июля бешеный натиск врага был остановлен, а 12–16 июля советские войска, сломив отчаянное сопротивление гитлеровцев, перешли в неудержимое контрнаступление, ставшее прелюдией к окончательному сокрушительному разгрому фашистской Германии?

Вдумаемся! Разве не поразительно и не символично, что именно в эти раскаленные июльские дни, под гром тысяч орудий и скрежет сталкивающихся танковых дивизий и корпусов, виднейшие деятели советского искусства глубоко верили, что уже не за горами победа, и задумывались о развитии культуры в стране после войны. И «музы» заговорили с новой силой и вдохновением, внося свой вклад в великое дело возрождения нашего государства, израненного вражеским нашествием.

Я с величайшей охотой откликнулся на призыв «стать участником творческой жизни ЦДРИ». И, собственно, именно с этого времени исчисляю свой переход из категории посетителей Дома в ряды его активистов.

Между прочим, размышляя о роли искусства в трудные и жестокие военные дни, я не могу не сказать о деятельности художника Бориса Пророкова. Ему не довелось принимать участие в Гражданской войне по той уважительной причине, что к

ее окончанию он был девятилетним мальчиком. Но в Великую Отечественную войну он вошел уже взрослым человеком и известным художником. С первых дней войны добровольцем ушел в армию и провоевал все четыре года, как говорится, «от звонка до звонка», совмещая в себе бесстрашного солдата, активного политработника и неутомимого, наблюдательного фронтового художника. Пророков прошел через суровые боевые испытания в блокадном Ленинграде, на кораблях Балтфлота, на знаменитой «Малой земле» и, пожалуй, самые трудные — на полуострове Ханко (Гангут). Отрезанный от главных сил Красной армии, гарнизон Ханко в течение нескольких месяцев храбро отражал атаки фашистов, непрерывно бомбивших и обстреливавших полуостров. Защитники Ханко окопались в земле. Под землей находилась и редакция газеты «Красный Гангут», для которой Пророков рисовал портреты отличившихся бойцов и многочисленные, метко и беспощадно высмеивавшие врага карикатуры на гитлеровцев. Пророков — один из авторов саркастического «Письма барону Маннергейму», посланного защитниками Ханко в ответ на предложение капитулировать. Текст «Письма» и сопровождающие его рисунки Пророкова выдержаны в стиле знаменитого послания запорожцев турецкому султану. Но вскоре пришел день, когда наше командование приняло решение оставить полуостров Ханко и эвакуировать его героических защитников. Уход с Ханко происходил в труднейших условиях, под непрерывным вражеским огнем с воздуха и с моря. Корабль, на котором находился Пророков, наскочил на мину, начал тонуть, и многих охватила растерянность, грозившая перейти в панику. Пророков был в числе тех, кто сохранил самообладание и присутствие духа, он помогал эвакуировать раненых и установить порядок. Сам он одним из последних спрыгнул на подошедший тральщик.

А после Ханко были для него другие фронты, новые бои, новая опасная работа фронтового художника. В последний год войны он перенес подряд две тяжелые контузии, результатом которых стала неизлечимая, мучительная головная боль с приступами конвульсий, терзавшая его до конца жизни. Без малого тридцать лет, мужественно превозмогая коварный, злой недуг, Пророков продолжает работать как художник, оставив после себя произведения высокого художественного, гражданского и нравственного значения.

Свою творческую биографию Борис Пророков начинал как одаренный и остроумный карикатурист. Несколько лет он постоянно печатается в «Комсомольской правде», а с 1938 года приходит в «Крокодил». Там я с ним и познакомился лично, и

между нами установились добрые, дружеские отношения. Талантливый художник, он импонировал людям своим спокойным уравновешенным характером, чувством собственного достоинства, непоказной твердой принципиальностью. Пророков продолжает работать в жанре карикатуры, но диапазон его творчества растет из года в год. Художника начинает привлекать более серьезная тематика, более сложные художественные задачи. Он отходит от газетной и журнальной карикатуры и решительно становится на путь создания станковых, плакатно-символических монументальных образов, поднимаясь в них до художественных обобщений огромной силы. Роковая болезнь мешает его общению с людьми, но выходящие из его мастерской плакаты, картины, станковые серии, пронизанные подлинной публицистической страстью, раздумьями, сарказмом, трагизмом, завоевывают ему всенародную славу, приносят почетные звания и правительственные награды. Вместе с тем, из своего нелегкого затворничества Пророков внимательно следит за всем, что происходит в окружающем мире. Вот убедительный пример. После моего доклада на очередном пленуме Союза художников, где-то году в 60-м, я получаю от Пророкова следующее письмо.

«Дорогой Борис Ефимович!

Обращаюсь к Вам, как к докладчику. Некоторые положения доклада вынуждают меня сделать это.

Упрек, брошенный Сойфертису в том, что ему якобы неинтересно рисовать международные темы, несправедлив, а лично мне кажется оскорбительным. Кстати о Сойфертисе. Это — художник, который с большим интересом и искренностью работает в области международной карикатуры. Наперекор существующему шаблону, он пытается привнести в рисунок дыхание жизни, непосредственность наблюдений. Огромное количество труда отдает он на поиски нового реального типажа. Казалось, такие начинания нужно приветствовать и поддерживать, а не отгонять талантливого художника от жанра, в котором он так успешно трудится.

…Простите меня за эту бюрократическую записку, да беда в том, что я опять четвертый месяц валяюсь и не могу лично побеседовать с Вами.

Желаю успехов и здоровья

Душевно преданный Вам Б. Пророков».

Я ему ответил:

«Дорогой Борис Иванович!

Большое спасибо за отклик, который тем более для меня интересен и ценен, что наши художники, к сожалению, не очень щедры на критические и полемические выступления,

предоставляя эту неблагодарную работу немногим энтузиастам, таким, как Вы или я. Надо ли подчеркивать, что я совершенно не претендую на безошибочность своих суждений и бесконечно далек от намерения «оскорбить» Сойфертиса — прекрасного художника, которого я, как и Вы, высоко ценю и уважаю. Вместе с тем, мне кажется, нет оснований опасаться, что мои замечания могут «отпугнуть» Сойфертиса от международной тематики…

С искренним уважением и пожеланием скорейшего выздоровления.

Ваш Бор. Ефимов».

Эта профессиональная полемика ни в малейшей степени не омрачила наших дружеских отношений с Пророковым. Вскоре после этого я отмечал свое шестидесятилетие и получил от Бориса Ивановича следующее доброе послание с приложенным к нему рисунком.

«Дорогой Борис Ефимович!

От всей души поздравляю Вас. Не удивляйтесь этому странному подношению. Я сейчас объясню, в чем дело. На этом наброске изображен румынский солдат, который перешел к нам в бригаду морской пехоты, отдал винтовку и заявил, что он не хочет воевать против Советского Союза. Было это в конце лета 1942 года на Северном Кавказе. Увидя, что я рисую листовки, он отозвал меня из окопа в сторону, за кусты и там, соблюдая все предосторожности, показал мне маленькую листовку, извлеченную из потайного кармана. Он захохотал, но тут же сдержал себя и мгновенно спрятал листовку обратно. По привычке он все еще осторожничал. На этой листовке был Ваш рисунок. Вспомнив об этом маленьком эпизоде, я разыскал набросок и мне захотелось послать его Вам на память о военных днях.

25 декабря 1960 года

Ваш Б. Пророков».

Тем, кто хотел бы больше узнать о жизни, творческой биографии Бориса Пророкова, человека удивительной — счастливой и трагической судьбы, следует прочесть его книгу «О времени и о себе» (фраза любимого им Маяковского), значительную часть которой занимают записи из дневников художника с 1956 по 1972 год — последние 16 лет его жизни. Это — потрясающий по силе и исповедальной откровенности человеческий документ.

Вернемся, однако, в годы войны. Хочу рассказать об эпизоде, который по сей день остался для меня загадкой. Мне как-то позвонили из Союза писателей и сообщили, что приехавший в Москву на совещание председатель Саратовского союза

Матвеенко располагает какими-то сведениями о Кольцове. Я немедленно помчался в Союз и сразу отыскал Матвеенко — солидного, пожилого мужчину. Он поведал мне следующее: недавно по писательским делам был у генерала, командующего Приволжским военным округом. После делового разговора тот неожиданно сказал:

— А знаете, у меня тут находится один ваш собрат по перу.

— Да? А кто именно? — спросил Матвеенко.

— Михаил Кольцов.

— Как? Тот самый? Который в Испании…

— Да, тот самый. Он тут после ранения под Брянском, во втором резервном офицерском полку. Хотите с ним поговорить?

Генерал куда-то позвонил по телефону, приказал позвать старшего лейтенанта Михаила Кольцова и передал трубку Матвеенко.

— Понимаете, — говорил мне Матвеенко, — я не был лично знаком с вашим братом и, откровенно говоря, не знал, что сказать. Спросил: «Это вы, Михаил Кольцов?» — «Да, я», — был ответ. Я не знал, о чем говорить дальше, и только спросил: «А вы что-нибудь здесь пишете?» — Он ответил что-то невнятное, и трубка была положена.

Должен сказать, поверив в свое время лживым словам Ульриха, будто по приговору Военной коллегии Кольцов отправлен в «дальние лагеря за Уралом», я надеялся, что его в связи с войной освободят, и поэтому не столько удивился, сколько обрадовался рассказу Матвеенко. Правда, мне было странно, что, выйдя на свободу, Миша не дал мне о себе знать. Но кто-то меня уверял, что это не редкое явление: люди, вышедшие из заключения, психологически избегают первое время общения со знакомыми и даже с близкими.

«Вряд ли, — думал я, — Миша стал бы избегать общения со мной. Но чего не бывает…»

Не имея возможности самому поехать в Саратов, я обратился к новому, сменившему Ортенберга, редактору «Красной звезды» генерал-майору Николаю Александровичу Таленскому, и он совершил, на мой взгляд, благородный и, по тем временам, смелый поступок. За его подписью на официальном бланке «Красной звезды» ушла в Саратов следующая бумага:

«Секретно. Командиру 2-го офицерского полка запаса. Прошу сообщить, действительно ли с сентября 1943 г. по март 1944 г. проходил службу в 5-м батальоне вверенного вам полка старший лейтенант Кольцов Михаил Ефимович, рождения 1898 г. город Киев, а также куда и когда убыл. *Ответственный редактор генерал-майор Н. Таленский».*

Одновременно я отправил туда же фототелеграмму, примерно аналогичного содержания, на имя командира этого полка подполковника Лукьянова (эту фамилию мне сообщил тот же Матвеенко). Через несколько дней фототелеграмма вернулась ко мне в конверте со следующей сопроводительной запиской: «Тов. Ефимов. Возвращаю вашу фототелеграмму обратно и сообщаю, что в отделе кадров ПРИВО подполковника Лукьянова не значится, а также ст. лейтенанта Кольцова М. Е. найти по учету кадров не могли и 2-го офицерского полка в ПРИВО нет. *С приветом нач. экспедиции штаба ПРИВО ст. л-т а/с А. Капелина».*

Не трудно себе представить мое ошеломление. Как так? Что это значит? Что за наваждение? Неужели рассказ Матвеенко — это плод воображения или недоразумения? Непостижимо… Тем более, что на письмо генерала Таленского пришел аналогичный ответ: «Редакция «Красной звезды». В ПРИВО такой части нет». Пришлось развести руками и примириться с этой загадочной историей, прийти к выводу, что какой-то неведомый человек по неведомым причинам выдавал себя за Кольцова.

Но эта загадочная история спустя много лет получила еще более загадочное продолжение. В январе 1972 года мне пришло следующее письмо:

«Художнику Б. Ефимову. Москва, газета «Известия».

На днях в одной старой газете я прочел статью о жизни и литературно-общественной деятельности М. Е. Кольцова. В связи с этим вспомнилось прошлое.

В годы войны, будучи на военной службе в политуправлении Приволжского военного округа (Куйбышев), однажды в экспедиции штаба ПРИВО я познакомился с фототекстом Вашего письма, в котором Вы запрашивали о службе своего брата Михаила Кольцова, что меня очень тогда заинтересовало, но в тот год я счел нецелесообразным Вас беспокоить.

В день моего дежурства в приемной начальника ПУ ПРИВО мне позвонили и сказали, чтобы я заказал пропуск М. Кольцову. Исполнив это, я стал ожидать прихода известного человека. Хочется спросить, служил ли в частях Приволжского военного округа (г. Кинель) ваш брат? Извините за беспокойство. *С уважением Н. Л. Иванов.* Воронеж, улица Комиссаржевской, д. 1, кв.65. Иванов Николай Лукич, инженер-майор в отставке. *3 января 1972 года».*

Я ответил:

«Уважаемый Николай Лукич! Сведения о том, что мой брат — Михаил Кольцов — проходит военную службу в частях ПРИВО, исходили от писательской организации Саратова. Проверить правильность этих сведений тогда, в 1944 году, не удалось. В

частности, на свою фототелеграмму, которую Вы видели, определенного ответа не получил. И мне по сей день неизвестно, кто был человек, которого принимали за Михаила Кольцова.

В своем письме Вы сообщаете, что заказали пропуск М. Кольцову и стали «ожидать прихода известного человека». Поэтому я, в свою очередь, обращаюсь к Вам с вопросом: дождались ли Вы этого человека, видели ли его? Можете ли Вы описать его внешность, приметы? И еще вопрос: знали ли Вы в частях ПРИВО подполковника Лукьянова, которому был адресован мой запрос о брате? Буду весьма благодарен за ответ. С *товарищеским приветом Б. Ефимов, народный художник СССР».*

Ответа долго не было. И наконец…

«Многоуважаемый Борис Ефимович! Извините, что ответ пишу с опозданием. Посылал письмо в г. Куйбышев, обращался к знакомым, хотел узнать о подполковнике тов. Лукьянове, о котором Вы упоминаете в своем письме. Сообщили, что он им также неизвестен.

Будучи дежурным офицером в приемной начальника политуправления ПРИВО, я действительно заказывал пропуск на имя Михаила Кольцова. С большим волнением ожидал его прихода. Вспомнил прошедшие годы, когда мы, читатели, с интересом читали очерки, фельетоны, статьи любимого и популярного автора.

Когда он пришел в приемную, я внимательно, с переживанием смотрел на редкого посетителя, видел его исхудалое и бледное лицо. Он был в звании лейтенанта, в хлопчатобумажном полевом офицерском костюме. Он был небольшого роста, весьма подвижным, очень энергичным, целеустремленным. Осталось впечатление, что его беспокоит, даже волнует весьма важное дело. И такое переживание человека сочеталось с простотой, привлекательностью, что убеждало меня в том, что это действительно был сам Михаил Ефимович Кольцов.

Но… вспомнив газетные и журнальные фотографии М. Е. Кольцова и сравнив их с внешним видом посетителя, я усомнился, хотя думы, что он пережил тяжелое, которое могло изменить внешность любого человека, снова возвращали к моему первому заключению. В тот памятный день М. Кольцов был принят начальником политического управления Приволжского военного округа. Беседа продолжалась примерно 30–40 минут, но ее содержание мне было неизвестно…»

Загадка осталась загадкой.

В редакции «Красной звезды» я познакомился, а вскоре и подружился с Василием Гроссманом, писателем талантливым,

мыслящим, глубоко и остро чувствующим. Мне нравились его фронтовые корреспонденции и очерки, с неожиданной в штатском человеке достоверностью и грамотностью раскрывавшие суть и значение военных операций. К тому же они были ярко и образно написаны, и я всегда думал: так бы написал Кольцов. И однажды, прочтя очерк Гроссмана о сталинградских его впечатлениях «Глазами Чехова», я не удержался и сказал ему об этом. Он ничего не ответил и только печально на меня посмотрел (в ту пору было не принято говорить о «репрессированных»), Надо сказать, что очерки и корреспонденции Гроссмана высоко ценились в среде военных, и, когда в редакцию приходила с какого-нибудь участка фронта телеграмма «Пришлите Симонова или Гроссмана», это означало, что там предстоят крупные военные события. Василий Семенович был человеком серьезным, но отнюдь не мрачным. Он обладал чувством юмора, любил шутку и даже незлобивый «розыгрыш». Кстати, он мне смешно рассказывал, как пришел к некоему полковнику Боеву, ведавшему в ГЛАВПУРе с началом войны распределением литераторов в различные органы печати. Тот сказал:

— Вы сможете работать в «Красной звезде»? Ведь вы пишете, главным образом, для детей.

— Почему для детей? Я пишу для взрослых.

— Ведь вы — Лев Кассиль?

— Я не Кассиль, я — Гроссман.

— Гроссман? Гм… Так вы согласны в «Красную звезду»?

— Согласен.

И Гроссман направился к выходу со словами:

— До свидания, товарищ Боев.

На что последовал ответ:

— Я не Боев. Я — Ортенберг.

Гроссман писал не только очерки и корреспонденции. Насколько мне известно, он единственный из всех фронтовых писателей печатал в «Красной звезде» большую повесть «Народ бессмертен», правдиво и вдумчиво отражавшую наши неудачи первого года войны.

Незабываема для меня совместная поездка с Гроссманом. Это было позже, в 1944 году. Мы встретились в коридоре редакции.

— Как дела, Василий Семенович? Здоровье? Политико-моральное состояние? Творческие планы?

— Спасибо. Нормально. Послезавтра выезжаю под Варшаву, там ожидаются некоторые события. — И прибавил с некоторым лукавством: — Может быть, поедете со мной?

Он, видимо, ожидал моего ответа в том духе, что я поехал бы

с ним с величайшей охотой, но, к сожалению, в данный момент очень занят. И был явно немного удивлен моей реакцией:

— А что? Можно и поехать.

— Нет, я серьезно, — сказал Гроссман.

— Ну и я серьезно.

И вот в новеньком редакционном «виллисе», за рулем которого девушка-шофер Лена с «автомобильной» фамилией Рулева, расположились мы с Гроссманом и военный обозреватель «Красной звезды» полковник-танкист Петр Коломейцев. Неблизок путь от Москвы до Варшавы. Мы едем через разрушенные города, сожженные деревни, поля недавних ожесточенных боев. Проезжаем и «Бобруйский котел», где не так давно металась, пытаясь вырваться из окружения, немецкая группировка фельдмаршала фон Бока. Значительная часть немецких войск достигла Москвы, но… в качестве военнопленных. Они приняли участие в памятном прохождении немецких солдат и офицеров на глазах у тысяч москвичей по центральным улицам столицы, начиная от стадиона Юных пионеров. Мне удалось близко наблюдать колонну немецких «завоевателей» из автомашины кинохроники и видеть, как немцы, и солдаты и офицеры разных высоких званий, с внушительными орденскими планками на груди, шли довольно бодро, с интересом осматриваясь вокруг, видимо, довольные, что остались в живых.

И вот мы колесим по Польше. Между прочим, перед отъездом из Москвы Гроссман спросил меня, слабо улыбаясь и глядя поверх круглых роговых очков большими печальными глазами:

— А вы знаете, что это моя тринадцатая поездка на фронт?

Мне стало немножко не по себе.

— Ничего, — ответил я бодро, — зато я еду на фронт только в третий раз. Тринадцать плюс три — шестнадцать, разделить на двоих — восемь, число вполне безопасное.

Гроссман с сомнением покачал головой, но, как мне показалось, несколько повеселел.

…Слышится легкий удар, и по ветровому стеклу «виллиса» расплывается большое кровяное пятно — это разбилась налетевшая на машину птичка.

— Ну? Что я вам говорил? — почти торжествующе восклицает Гроссман. — Теперь ясно, что никто из нас не вернется домой. Вот это уж верная примета.

— Ерунда, — возражаю я неуверенно. — Предрассудок.

Но на всех нападает задумчивость… Эх, «пути-дорожки фронтовые»! Сколько написано о них задушевных песен и стихов, сколько талантливых очерков. Бегущая навстречу лента шоссе несет все новые и новые впечатления, образы, эпизоды.

Живописные уголки сменяются суровыми руинами войны, милые сельские пейзажи чередуются с закопченными пожарищами и развалинами. Трудно не поддаться проникающей в душу дорожной романтике. Но мои спутники — полковник-писатель и полковник-танкист, как бывалые фронтовики, уже изрядно понюхавшие пороху в прежних поездках, вносят в мои путевые впечатления существенные коррективы, считая, видимо, полезным поучить уму-разуму да и немножко припугнуть необстрелянного художника-тыловика. Происходит это примерно так.

— Какое изумительное место! — восхищаюсь я, когда машина едет между двух рядов могучих тополей, превращающих дорогу в сплошную тенистую аллею.

— Изумительное-то изумительное, — задумчиво говорит Гроссман, сосредоточенно глядя вперед, — но не люблю я таких замкнутых участков дороги. Здесь и свернуть некуда.

— А зачем нам, собственно говоря, сворачивать?

— А затем, что в таких местах в любую минуту может спереди или сзади появиться «фердинанд». Или легкий танк. Я уже видел такие дела.

— «Фердинанд»? Откуда здесь возьмется «фердинанд»? Немцы за тысячу километров.

— Немцы-то далеко, — вступает в разговор флегматичный полковник-танкист, — а вы что-нибудь слышали о бандеровцах? Или бульбовцах?

— Ну, слышал. А откуда у бандеровцев «фердинанды»?

— А зачем им «фердинанды», если они могут вон из-за тех кустов так шарахнуть по нам из автоматов…

Прислушиваясь к нашему разговору, Лена Рулева вдруг решительно прибавляет газу, и «виллис» быстро вырывается из темной аллеи на широкий солнечный простор. Тема «фердинандов» иссякает. Но есть и другая неисчерпаемая дорожная тема — неразорвавшиеся мины. Новичкам они мерещатся на каждом шагу, да и опытные фронтовики относятся к этому делу серьезно.

— Вы не смотрите, что шоссе покрыто следами автомобильных шин, — наставляет меня полковник-танкист, — это ничего не значит. Бывает, что по какому-то месту тысяча машин пройдет благополучно, а тысяча первая взлетит на воздух…

— Да будет вам, Петр Илларионович, — говорю я небрежно, невольно косясь при этом на исполосованную следами автомобильных покрышек дорогу.

— Чего «будет вам»? Я серьезно говорю. Сколько таких

случаев — будь здоров!

Вскоре полковники останавливают машину, решив осмотреть замеченную у самой дороги разгромленную гитлеровскую батарею. Шагая позади Коломейцева по изрытой снарядами земле, я, памятуя его авторитетные разъяснения о невзорвавшихся минах, стараюсь все же попасть ногой в оставляемые им следы. Потоптавшись среди искореженных орудий, мы благополучно возвращаемся к «виллису», и тут я неожиданно проникаюсь фаталистической философией, которую кратко можно сформулировать так: «чему быть, того не миновать», и перестаю думать о минах.

Одно из самых сильных впечатлений по пути в Польшу — это остатки «Бобруйского котла». Оставив машину, мы бредем вдоль мрачного кладбища былой фашистской силы, среди изуродованных и сгоревших немецких танков, раздавленных пушек. Кругом, насколько хватает глаз, валяются заржавевшие остатки машин, легковых и грузовых, походных радиостанций, бронетранспортеров, торчат во все стороны дула сотен орудий. Земля густо покрыта обугленным металлоломом, полуистлевшим воинским мусором, какими-то превратившимися в тряпки офицерскими мундирами, смятыми фуражками, рваной обувью. Из разбитого танка, как внутренности из пуза издохшего зверя, вывалилась целая куча какого-то грязного барахла, обгоревших чемоданов, покрытых плесенью книг, иллюстрированных журналов. Последние привлекают мое любопытство, но от кучи несет таким специфическим смрадом, что дотронуться до них руками невозможно. Пошевелив гитлеровскую литературу носком сапога, я подбираю парочку «сувениров» для сына — гитлеровский стальной шлем и два-три «железных креста».

Мы едем дальше, проезжаем через разоренный Бобруйск, оставляем за собой историческую Березину. В овеянном легендарной славой Бресте переезжаем через многоводный Буг, и отсюда уже расстилается перед нами земля многострадальной Польши, только-только начинающей приходить в себя после четырехлетнего кошмара гитлеровской оккупации, лишившей страну даже ее имени и превратившей ее в германское «генерал-губернаторство». Германским генерал-губернатором Польши был Ганс Франк, год спустя я видел его своими глазами на скамье подсудимых в Нюрнберге. Совсем непохожий на немца, смуглый, с маслянистым зачесом черных волос, он напоминал скорее жителя Латинской Америки. Рассказывали о его реакции на появление в Югославии листовки о том, что за нападение партизан на немецкий патруль, при котором убиты четверо немецких солдат, было расстреляно 80 мирных жителей деревни.

Узнав об этом, Франк рассмеялся и сказал: «Если мы станем печатать листовки о каждых восьмидесяти расстрелянных поляках, то в Польше не хватит лесов, чтобы делать бумагу».

…Мы торопимся. Мои полковники нервничают. Их волнение передается и мне — что может быть страшнее для военных корреспондентов, чем приехать к «шапочному разбору», опоздать к событию, ради которого мы, подпрыгивая на железных сиденьях «виллиса», промчались полторы тысячи километров, подвести газету и (что особенно неприятно) предстать перед грозным ликом огорченного и разгневанного редактора. Забегая вперед, скажу, что к этому событию — освобождению Варшавы — мы не опоздали по той простой причине, что оно произошло не в этот раз, а значительно позже, в январе 1945 года.

Прибыв в политуправление нашей, стоявшей под Варшавой армии, мы узнали, что в городе происходит восстание против оккупантов. Мы слышали рычание орудий за Вислой, а иногда и треск пулеметов. Восставшие, очевидно, боролись не на жизнь, а на смерть, упорно сопротивлялись, надеясь, несомненно, на помощь советских войск. И никто не понимал, почему наши армии стоят на месте и не приходят на помощь. В воздухе носилось какое-то тягостное, неизъяснимое недоумение, но обсуждать вслух, какие стратегические, тактические или политические соображения тому причиной, никто особого желания не проявлял — это могло быть чревато весьма неприятными последствиями. Можно не сомневаться, что причина бездействия наших войск под Варшавой заключалась в далеко идущих планах Сталина, не желавшего помогать сторонникам Лондонского польского правительства и рассчитывавшего на установление в Польше после войны просоветского режима. Восстание в Варшаве, возглавляемое отважным Коморовским, было немцами жестоко подавлено, чего по сей день не могут на Западе простить почему-то не Сталину, а всему Советскому Союзу. И это сказалось, когда 60 лет спустя в Польше отмечалась годовщина этого героического и трагического восстания. По адресу представителя России Сергея Филатова были высказаны злые, почти оскорбительные, а главное — несправедливые, слова. Ведь все-таки Варшаву освободили ценою тысяч солдатских жизней именно советские войска, правда, не в сентябре сорок четвертого года, когда жертвами стали тысячи поляков, а в январе сорок пятого, когда тысячи поляков были спасены. И не стало от этого меньше горе тысяч матерей и жен в Советском Союзе, получивших «похоронки» на своих сыновей и мужей, павших в боях за Вислой.

«Некоторые события под Варшавой», на которые приглашал

меня ехать Гроссман, таким образом не состоялись. Но нам довелось присутствовать при достаточно значительной военной операции — форсировании реки Нарев. Мы приехали в штаб 65-й армии поздно вечером, ночевали в какой-то избе на охапках сена. Я уже засыпал, когда кто-то вошел в избу со словами:

— Тут, говорят, товарищи из Москвы приехали. Привет, товарищи! Расскажите, как живет столица.

Я сразу узнал голос Романа Кармена.

— Привет, Рима! — отозвался я. — Мы действительно из Москвы, но выехали оттуда две недели назад.

Кармен безмерно удивился:

— Боря? Вы-то что тут делаете?

Я познакомил Кармена со своими спутниками, завязалась оживленная беседа. Вспоминались московские новости и общие знакомые, мы были посвящены в местные армейские дела и события.

— Ну, ребята, — сказал Кармен, прощаясь, — мне пора. Рано утром уже надо быть на передовой, снимать переход танков через Нарев. Встретимся завтра у командующего.

Так оно и вышло. На другой день в чистеньком, увитом проводами домике мы застали Кармена у генерала П. И. Батова, командующего 65-й армией. Они были старыми знакомыми по Испании. Генерал сражался там в 1937 году против фашистов и теперь, после некоторого перерыва, снова «давал им жизни» в несколько изменившихся условиях. Любопытная деталь: будучи в Испании, генерал, как и многие другие добровольцы, носил условное имя, которое сейчас звучало довольно курьезно — Фриц… Интересное зрелище представляли собою эти два человека рядом. По армейской субординации, между командующим армией и старшим лейтенантом-кинооператором была огромная дистанция, но, когда заговорили об Испании, перед нами были два земляка-однополчанина.

После беседы с Батовым мы намеревались отправиться на передний край, в танковую бригаду, захватившую и удерживавшую плацдарм на другом берегу Нарева. Тут произошел маленький забавный эпизод. Дело в том, что еще в пути, на дорогах Белоруссии и Польши, когда подходила моя очередь занимать переднее сиденье рядом с водителем Леной Рулевой (согласно неписаному дорожному закону, пассажиры через определенное время менялись местами), я, как старый автомобилист-любитель, с большим интересом присматривался к управлению «виллисом». Мне очень хотелось испробовать эту машину. Несколько раз я собирался предложить свои услуги в качестве напарника Лены, но понимал, что эта затея не вызовет у

моих спутников энтузиазма. Наконец, набравшись духу, я небрежно, как бы мимоходом, сказал:

— А не сесть ли мне за баранку, что ли? Пусть Лена немного отдохнет.

Мирно беседовавшие полковники враз умолкли, и на лицах у них появилось такое выражение, будто я предложил свернуть с дороги на неразминированное поле. Потом последовали вопросы, касавшиеся, главным образом, состояния моих умственных способностей и психической полноценности. Я надулся и притих. И вот, должно же так случиться, что как раз в день, когда нам надо было выехать на передовую, Лена Рулева почувствовала себя плохо и вышла из строя. Достать другого водителя или другую машину не было возможности. Полковники растерянно стояли возле «виллиса» и, косясь в мою сторону, о чем-то шептались. А я, сдерживая злорадство, с преувеличенным равнодушием прогуливался по двору, засунув руки в карманы. Наконец полковник-писатель Гроссман, откашлявшись, обратился ко мне:

— Борис Ефимович, а вы в самом деле могли бы… э… повести машину?

— Не знаю, — отвечал я подчеркнуто вяло. — Можно, конечно, попробовать, но… боюсь, не справлюсь. Еще не угодишь столь капризным пассажирам, да и ответственность за, так сказать…

— Ладно, ладно, — заговорили полковники. — Будет вам. Поедем. Ведь другого выхода нет.

Я торжествовал и сменил гнев на милость. Сразу же скажу, что со своими шоферскими обязанностями я благополучно справился, и это были вынуждены признать и мои присмиревшие спутники. Осторожно и бережно провел я наш «виллис» по вздыбленным после вчерашнего боя фронтовым дорогам, заботливо тормозя на вспаханных снарядами рытвинах, аккуратно объезжая сгоревшие танки и вздувшиеся трупы лошадей. Мы въехали во двор красивого польского помещичьего фольварка, где разместилось управление наступающей дивизии. Тут же, во дворе, корреспонденты «Красной звезды» встретились с озабоченным, торопящимся начальником штаба и получили от него краткую характеристику происходящей операции. В конце разговора Гроссман решил пошутить и сказал ему:

— Кстати, знакомьтесь, наш шофер Борис Ефимов.

Начальник штаба посмотрел на меня с недоумением, явно не понимая, почему, собственно, в этой горячке ему надо знакомиться с корреспондентским шофером, и ничего не ответил. Затем он подозвал проходившего старшину и сказал:

— Вот что, Руденко. Проводи товарищей полковников в

командирскую столовую. И шофера не забудь накормить.

Писатель покраснел.

— Э-э… вы меня не совсем поняли, — сказал он, сконфуженно косясь в мою сторону, — это ведь известный, так сказать…

— Да, да, — рассеянно проговорил начальник штаба, торопливо направляясь навстречу въехавшему в ворота мотоциклисту. — Добро. Как пообедаете, так подойдите ко мне.

Я наслаждался смущенным видом писателя.

— Разрешите быть свободным, товарищ полковник? — ядовито обратился я к нему, козыряя по всей форме. — Когда прикажете подать машину?

Обедали мы, впрочем, все вместе, дружески перебрасываясь колкостями. А затем мне пришлось неожиданно переключиться на свою основную профессию: ко мне подошли товарищи из дивизионной газеты и попросили быстренько нарисовать карикатуру. Номер уже сдавали в походную типографию, и надо было торопиться. Вооружившись автоматической ручкой Гроссмана и листком из блокнота, я оперативно смастерил рисунок под названием «Красноармейская шарада». Он состоял из двух кусков. На первом — приклад советского бойца с размаху ударяет в перекошенную харю Гитлера. Под этим подписан первый слог: «На!». На втором рисунке — жалобно и злобно ревущая пасть фюрера и под ней второй слог: «рёв!». Все вместе — «Нарёв». Рисунок не блистал художественными достоинствами, но понравился. Однако в последний момент один из редакционных товарищей усомнился.

— Одну минуточку, товарищ Ефимов, — сказал он. — Река, которую мы форсируем, называется Нарев, а не Нарёв. Так? Значит, не получается шарада? Ведь следует считаться с правильным произношением слов. Так ведь?

Все посмотрели на меня.

— Ну и что? — ответил я. — Все-таки это очень близкие, почти совпадающие по звучанию слова, и смысл шарады нисколько не нарушается. Нельзя быть такими дотошными. Наконец, спросите Василия Семеновича, и он напомнит вам пушкинские строки из «Полтавы»:

> На холмах пушки присмирев,
> Прервали свой голодный рев. —

Думаю, что Александр Сергеевич тоже разбирался в произношении слов.

— Мне кажется, Борис Ефимович прав, — примирительно

сказал Гроссман. — Это ведь карикатура для солдатской газеты, а не классное сочинение. И потом, самое главное все-таки то, что Гитлер крепко получил здесь по морде и мы с вами находимся на берегу форсированного Нарева.

На том и порешили.

Вслед за тем я из карикатуриста снова превратился в шофера. Мы сели в машину, выехали из фольварка, и я лихо затормозил возле начальника штаба, стоявшего с несколькими офицерами у дороги. Он начал было объяснять спецкорам «Красной звезды», как проехать к командному пункту Панова, потом махнул рукой и обратился ко мне.

— Слышь, шофер, — деловито сказал он, — ехай все прямо по дороге. Метров через триста, где лежат дохлые лошади, свернешь направо в лес. Там возьми еще правее по танковой колее и метров через двести, увидишь, стоят «виллиса». Там и будет КП.

Все эти указания были мною в точности выполнены. Мы нашли командный пункт генерала Панова, оказавшийся наскоро вырытой землянкой, в которую вели осыпающиеся песчаные ступени, увидели молодого, богатырски сложенного комдива, умело и спокойно руководящего сложным боем, который вела его часть.

Форсирование Нарева, захват плацдарма на Висле у Пулав и взятие предместья Варшавы — Праги были единственными значительными операциями советских войск за время нашего пребывания в Польше. В действиях I-го Белорусского фронта наступила некоторая пауза.

Выцветшая фотография, на которой двое худощавых военных о чем-то беседуют возле запыленного «виллиса», тоже относится к этой поездке. Снимок спустя десять лет преподнес мне поэт Евгений Долматовский, сделав своим бисерным почерком надпись:

О чем мы разговаривали,
Уже не помню, Боря.
У Вислы ли, у Нарева ли
Среди огня и горя.
Давно мы — люди штатские,
И фото пожелтело,
Но всегда солдатскою
Зову я дружбу смело.

Но были в этой поездке и другие впечатления, совсем не фронтовые… То страшное, о чем мы уже слышали и читали,

предстало перед нами воочию. Я имею в виду — гитлеровские лагеря уничтожения.

…Мы в древнем Люблине. Само название «Люблин», звучащее так мягко и любовно, покрылось зловещей тенью другого, придавившего и заслонившего его кровавого имени — Майданек. Дорогу в Майданек нет надобности спрашивать. Даже если бы не было на центральной площади лаконичного указателя «До Майданека», направление к этому страшному месту можно узнать по потоку бледных, взволнованных людей, как бы влекомых туда магнетическим притяжением. Многие жители Люблина только теперь узнали о том, что происходило в пригороде их прекрасного города. Конечно, тюрьма и концлагерь — в любой стране места не веселые, что относится и к нашим сталинским лагерям, с их жестоким, бесчеловечным режимом. Но гитлеровцы с их чисто немецкой практичностью, деловитостью и высоким техническим уровнем привнесли в область человекоистребления много нового, невиданного и неслыханного за многие века.

…Мы ходим по концлагерю, осматриваем бараки, карцеры, всевозможные «подсобные» помещения, заходим в канцелярию, кабинет оберфюрера — коменданта лагеря, казарму для охранников. Характерная, деталь! В туалете над частью писсуаров красуется эмалированная дощечка с грозной надписью: «Nur fur SS!» («Только для СС!»). Оказывается, даже здесь, в аромате карболки и хлористой извести, строго соблюдалась дистанция между отборными представителями арийской расы и «обыкновенными» непородистыми немцами Третьего рейха…

Мы идем дальше и вступаем на страшный путь, который шаг за шагом приближал привезенных в Майданек людей к казни. Идем через длинный полутемный коридор, по которому, теснясь и спотыкаясь, медленно двигался человеческий поток, минуя «предбанник», где несчастные снимали с себя одежду и получали по микроскопическому кусочку мыла, и, наконец… Мы в «бане» — последнем этапе тщательно налаженного конвейера этой чудовищной человеческой бойни. Содрогаясь, стоим мы на сером кафельном полу, где так недавно толпились испуганные, дрожащие люди, чуявшие недоброе, но старавшиеся не верить в близкую смерть. (Иначе зачем бы им велели пройти санобработку и выдали мыло?) Когда «баня» набивалась до отказа, тяжелые железные двери наглухо запирались, в потолке открывались специальные люки, и оттуда начинал сыпаться смертельный «циклон». Какое человеческое воображение способно представить себе, что происходило здесь в эти минуты… Какие слова можно найти, чтобы передать страдания людей, еще вчера свободных,

культурных, мыслящих, а сегодня низведенных до уровня истребляемых насекомых…

Немецкая практичность сказывалась во всем. И в специальном техническом оборудовании фирмы «Топф и сыновья», позволявшем регулировать уничтожение людей и наблюдать за ним через особые глазки. И в специальном помещении, где быстро и оперативно вырывали золотые зубы, как у живых, так и у мертвых. И в «парикмахерской», где наголо стригли женщин, поскольку было установлено, что женскими волосами всего практичнее набивать подушки и матрацы для экипажей подводных лодок. И в том, как тщательно собирался из печей крематория человеческий пепел — он оказался прекрасным удобрением для огородов Майданека и особенно для выращивания невиданных размеров капусты.

Во дворе, возле «бани», нагромождены штабелями большие блестящие банки с яркими этикетками химического концерна «ИГ Фарбениндустри». Одна из банок открыта, я заглядываю в нее и вижу красивые лимонно-желтые кристаллики. Это и есть «циклон». К нам подходит как всегда оживленный и заряженный профессиональным азартом фотокорреспондент «Красной звезды» Тёмин. Он уже второй день работает на территории Майданека, дотошно изучил все страшное «хозяйство» концлагеря и теперь полон готовности быть нашим гидом.

— Идемте, я покажу вам склад обуви, — кричит он, — это что-то особенное! Чистый кошмар! Вы просто ахнете, когда увидите. Я там целую катушку фотопленки потратил. Ей-богу!

— Мы там уже были, — сухо отвечает Гроссман.

— Были так были. Тогда я вас поведу в место, где вырывали золотые зубы. Это вы обязательно должны посмотреть. Потом я хочу вам показать…

Гроссман угрюмо молчит. Я вижу, как его шокирует шумливый, бестактный здесь деловой стиль фотокорреспондента. Мы переглядываемся с Василием Семеновичем, он незаметно пожимает плечами.

В этот момент от порыва ветра кристаллик «циклона» влетает мне прямо в глаз, что, естественно, не вызывает у меня восторга, но жизнерадостный Тёмин меня успокаивает.

— Чепуха! — со смехом кричит он. — Абсолютно не имеет значения! Если банка уже открыта, то «циклон» потерял силу. Можете мне поверить — я тут уже во всем разобрался. Ядовитый газ выделяется при соприкосновении с воздухом — в этом же весь фокус! На этом ведь основана работа газовой камеры! Как происходило дело? Прежде всего немцы закладывали «циклон» в специальные бункеры, и в то время как…

— Пойдемте отсюда, — нервно говорит Гроссман.

И в этот момент кто-то нас спрашивает:

— А вы побывали на улице Шопена, девять?

…Мы предъявляем часовому пропуск. Дом номер 9 по улице Шопена — это недостроенное здание нового городского театра, сооружение которого было прервано войной. Гитлеровцы превратили его в центральный склад вещей, отобранных у тех, кого многочисленные эшелоны привозили в Майданек. Здесь вещи разбирались, сортировались, хранились для дальнейшей транспортировки в Германию. Казалось бы, все это звучит довольно обыденно и мирно, но мы скоро поняли, почему нам говорили, что улица Шопена, 9 производит более жуткое впечатление, чем крематорий и «баня» Майданека.

…Мы входим в огромный зрительный зал театра и видим дикую, неправдоподобную картину. На месте партера, где обычно стоят чинные ряды кресел, в фантастическом беспорядке громоздятся огромные дорожные кофры и сундуки, большие и маленькие чемоданы, саквояжи, рюкзаки, сумки. Большинство из них раскрыто, и оттуда в изобилии вываливаются всевозможная одежда, белье, обувь, книги, детские игрушки, посуда, термосы, лекарства — бесконечное разнообразие предметов домашнего обихода, какие только могут захватить с собой люди, снявшиеся с годами насиженного места и переселяющиеся в далекие неведомые края. Особенно много здесь теплых вещей — различных стеганых и пуховых одеял, вязаных кофт и жилетов, шерстяных свитеров и больше всего самодельных теплых валенок, предназначавшихся, видимо, для боявшихся простуды стариков и старушек. Ведь людям говорили, что они переселяются в северные края со здоровым, хотя и холодным климатом, где будут обеспечены жильем и работой. И люди, страстно желая в это верить, послушно запасались фланелевыми фуфайками и кальсонами, шарфами и наушниками, брали с собой огромное количество лекарств. Весь пол «партера» усыпан неисчислимыми коробочками и флакончиками патентованных средств против гриппа, насморка, головной боли, ревматизма, радикулита. Вероятно, ни в одной аптеке Люблина нет такого ассортимента дорогих и разнообразных медикаментов. Люди собирались беречь свое здоровье и надеялись долго жить.

А в это время где-то на заднем дворе Майданека уже разгружали предназначенный для них «циклон»…

На окружающих зрительный зал балконах и ярусах устроены стеллажи и полки для рассортированных вещей. Здесь имеются отделы мужских костюмов, женских платьев, головных уборов, мужской, дамской и детской обуви, трикотажа, чулок и носков,

зонтиков, посуды и т. д. Все это вместе напоминает большой, хорошо снабженный магазин промтоваров, эдакий кошмарный, фантасмагорический универмаг, приснившийся в страшном горячечном бреду… Немые, неподвижные предметы кричат, вопиют о мучительной смерти их владельцев. На самые обыкновенные, безобидные, будничные вещи здесь нельзя смотреть без ужаса. Вот длинный вместительный ларь, доверху набитый очками, как где-нибудь в кладовой оптических изделий. Но ведь каждый — буквально каждый! — из этих мирных предметов — это уничтоженная человеческая жизнь. Вот эти старенькие, заботливо подвязанные ниточкой очки надевала, должно быть, любящая бабушка, проверяя школьную тетрадку внука, а эти — дорогие, модные — носил, по всей вероятности, известный врач, преуспевающий архитектор или талантливый журналист.

Мы идем дальше по ярусам, вдоль десятков таких же огромных переполненных ларей, где каждый мыльный помазок, каждая бритва, зубная щетка, авторучка — это убитый и сожженный человек. А «отдел» игрушек? Мыслимо ли спокойно видеть длинные полки с бесчисленными куклами, с тысячами совсем новеньких или уже облупленных мячиков, с тысячами симпатичных, больших и маленьких, местами потертых плюшевых мишек и зайцев, каждого из которых совсем недавно прижимал к себе ребенок, брошенный вслед за родителями в жерло майданековских печей.

Уходя, я поднимаю с пола молитвенник в потертом кожаном переплете с медной застежкой. На титульном листе надпись: «Принадлежит Матильде Гарпманн. Бистриц». Я не склонен к мистике, но мне вдруг почудилось, что я обязан сохранить об этой неведомой мне несчастной женщине из маленького городка в Трансильвании какую-то память на земле. И я привез этот молитвенник в Москву своей матери. Он хранится в моем доме и по сей день.

Страшен Майданек. Но еще страшнее лагерь в Треблинке. Если в Майданеке было какое-то подобие обустроенности «хозяйства» — какие-то строения, склады, бараки, где месяцами жили заключенные, пока до них не доходила очередь уничтожения, крематорий с подсобными помещениями, — то в Треблинке не было ничего. По существу, это не лагерь в обычном понимании этого слова, а своего рода скоростная человеческая бойня. Привезенные туда люди, мужчины, женщины и дети, жили там не больше двух-трех часов. Уже на вокзале их разбивали на группы, предварительно отобрав все вещи, и гнали по прямой дороге к большому зданию, построенному в стиле синагоги. И

ударами палок и хлыстов загоняли вовнутрь. Тут практичным гитлеровским палачам даже не было необходимости тратиться на «циклон» — за несколько часов люди погибали просто от тесноты и недостатка воздуха. Оставалось только открывать боковые двери и закапывать тела.

…В просторной хате польского крестьянина мы слушаем рассказ человека, на долю которого выпал редчайший жребий: он видел своими глазами работу треблинской бойни и остался в живых. От его спокойного, неторопливого повествования кровь стынет в жилах. А на другой день мы присутствовали при допросе шести пойманых «вахманов» — охранников треблинского лагеря. Это были, увы, наши соотечественники. Они угрюмо описывали систему и организацию человекобойни, приводили различные подробности лагерного быта, начиная от специальной дрессировки комендантской овчарки Бари до идиотских сентиментальных стишков, которые они заучивали в школе немецкого языка для таких, как они, предателей. В очерке «Треблинский ад», написанном поистине кровью сердца, Василий Гроссман рассказал со строгой, мужественной, почти научной обстоятельностью о садизме палачей, о страданиях жертв. Мне хочется привести несколько заключительных строк из этой потрясающей повести:

«…Мы входим в лагерь, идем по треблинской земле… А земля колеблется под ногами. Пухлая, жирная, словно обильно политая льняным маслом, бездонная земля Треблинки, зыбкая, как морская пучина. Этот пустырь, огороженный проволокой, поглотил в себя больше человеческих жизней, чем все океаны и моря земного шара за все время существования людского рода…

И кажется, сердце сейчас остановится, сжатое такой печалью, таким горем, такой тоской, каких не дано перенести человеку…»

…Наша дружба с Гроссманом продолжалась и после войны. Но встречались мы редко, он был погружен в свои литературные дела, писал, как всегда, вдумчиво, глубоко, достоверно. И правдивость его произведений о трудных годах войны приходилась не по вкусу тем, кто предпочитал литературу казенно-лакировочного характера. Над головой писателя начали сгущаться тучи, и его роман «За правое дело» подвергся свирепому разносу в «Правде», как «искажающий и извращающий подвиг советского народа и его доблестной армии». Надо знать, что в те времена подобная проработка в «Правде» предвещала, как правило, серьезные неприятности. И неудивительно, что «Правде» никто не осмеливался возражать, а, наоборот, люди спешили признать свои ошибки. Так поступали, в частности, такие видные писатели, как Александр Фадеев, Константин

Симонов, Валентин Катаев и другие. Но Гроссман этого не сделал. Более того, раскритикованное «За правое дело» он сделал первым томом своего самого большого литературного труда — романа «Жизнь и судьба», который впоследствии многие ставили рядом с романом «Война и мир» Льва Толстого. Но увидеть свое произведение напечатанным автору так и не довелось…

Закончив роман в 1960 году, Гроссман предложил его журналу «Знамя». Главный редактор «Знамени» Вадим Кожевников внимательно прочитал рукопись и немедленно доложил о ней в высокую партийную инстанцию. Дальше все произошло в лучших традициях тридцать седьмого года. На квартиру Гроссмана ночью явились сотрудники «соответствующих органов». Самого писателя, правда, не арестовали — репрессировано было его произведение. Все экземпляры рукописи романа, черновики и записи были изъяты и увезены. И подобно тому, как в известное время люди обивали пороги соответствующих органов в надежде что-нибудь узнать об арестованных отцах, матерях, сыновьях, так и теперь метался по инстанциям Василий Гроссман, пытаясь найти свое литературное детище. И случилось невероятное: ему удалось пробиться к главному идеологу страны Михаилу Андреевичу Суслову. Член Политбюро принял писателя весьма сухо, но удостоил разъяснением, что все было сделано с его, Суслова, ведома и, по сути дела, для его же, Гроссмана, блага: изъятие романа — необходимость, ибо, если бы он попал за границу и был там опубликован, то это нанесло бы огромный ущерб престижу и безопасности Советской державы.

— Но не за границей, а у нас, в Советском Союзе, возможно опубликовать этот роман? — осведомился Гроссман.

На что получил ответ, больше похожий на насмешку:

— Возможно. Лет через двести.

Суслов, однако, ошибся. Роман «Жизнь и судьба» увидел свет значительно раньше, в годы перестройки.

…На скромной гражданской панихиде, когда мы провожали Василия Семеновича в последний путь, Илья Эренбург сказал:

— Говорят, Гроссман тяжело умирал. Он тяжело и жил.

Да, последние годы Василия Гроссмана были трагически омрачены не только неизлечимой болезнью. Талантливый, серьезный, честный писатель, истинный патриот ушел из жизни, неизвестно за что подвергнутый несправедливому и злому зажиму, замалчиванию, бойкоту. Он не дожил и до шестидесяти лет.

…Уже веял ветер Великой Победы. «Этот день мы приближали, как могли…» Уже войска маршала Жукова вели

огонь на улицах Берлина, дома которого были увешаны белыми простынями — знаками капитуляции. Уже одно из заготовленных знамен Победы развевалось над полуразрушенным рейхстагом. Уже в глубине своего бункера, в обществе ближайших друзей, Гитлер праздновал бракосочетание с Евой Браун. Это было похоже на некий трагический спектакль наподобие «Нибелунгов». Театрально простившись с окружающими, молодожены ушли в соседнее помещение, где Ева Браун приняла яд. Гитлер, видимо, замешкался, и, скорее всего, ему помог отправиться в мир иной его собственный адъютант.

А Москва ликовала. Красная площадь представляла собой море людей, пляшущих, поющих, обнимающихся. Радость была великая, неописуемая. С обращением к народу выступил Сталин. Как это было не похоже на его спотыкающуюся, хрипловатую речь 3 июля 1941 года. Уже не дребезжал стакан, из которого он то и дело тогда пил воду. И уже не слышно было задушевного «Дорогие братья и сестры». Теперь обращение к народу прозвучало более сдержанно и официально: «Соотечественники и соотечественницы!» Одержанная великая победа вернула «Вождю и Учителю», а теперь еще и Великому полководцу всю его железную волю, самоуверенность и непогрешимость. Это можно было наблюдать на торжественном приеме в Кремле 24 мая 1945 года, когда Сталин провозгласил тост за здоровье русского народа. «…Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в тысяча девятьсот сорок первом — сорок втором годах… Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это…» Тост был, разумеется, покрыт «бурными, долго не смолкающими аплодисментами». Хотя, я думаю, не одному из «бурно аплодирующих» было странно слышать эти слова из уст человека, который лучше кого бы то ни было знал, какая железная, беспощадная система «смершей» («смерть шпионам» — сокращенное название, придуманное самим Сталиным для карательных фронтовых органов), особых отделов и трибуналов опутывала и фронт и тыл. Кто бы посмел тогда заикнуться об «ошибках правительства» или об «отчаянном положении». Какое уж тут могло быть «уходите прочь, мы поставим другое правительство». За один намек на такие слова можно было неминуемо и быстро поплатиться головой. Но Сталину, видимо,

доставило удовольствие щегольнуть таким «либерализмом».

Мне довелось присутствовать на параде Победы, поистине историческом, 24 июня 1945 года. Я видел, как бросали десятки гитлеровских знамен к подножию мавзолея. На трибуне в окружении генералов стоял в полной парадной форме Верховный главнокомандующий. Удивительно, что лицо Сталина было абсолютно непроницаемо, никаких эмоций — ни радости, ни торжества, ни простой улыбки. Возможно, что мыслями он был уже в будущих планах, преобразованиях и… репрессиях. А может быть, глядя на окружавших его маршалов, он подумал, не пора ли ему, Верховному главнокомандующему и величайшему полководцу всех времен и народов, перестать быть «простым» маршалом, а присвоить себе более высокое звание. И действительно, через несколько дней он стал Генералиссимусом, подобно великому Суворову. А рядом со Сталиным стоял один из подлинных творцов великой Победы, Георгий Жуков, на которого уже ложилась тень приближающейся жестокой опалы.

Глава двадцать первая

Сорок пятый стал для меня годом незабываемых поездок — сначала в освобожденные страны Европы — Австрию, Чехословакию, Венгрию, Югославию и Болгарию, а вскоре после них — в Германию на Нюрнбергский процесс гитлеровских главарей.

Моим спутником в этой поездке стал военный корреспондент «Красной звезды» Михаил Леснов.

….Первый, кого я вижу, проснувшись утром в Вене, — это… Иоганн Штраус. Да, да, это может показаться надуманным и банальным, но именно он, автор прославленных вальсов «Голубой Дунай» и «Сказки Венского леса», смотрит на меня с цветной гравюры, висящей на стене одной из просторных комнат корреспондентского пункта «Красной звезды» в Вене. Совсем недавно в Москве с огромным успехом прошел кинофильм «Большой вальс», рассказывающий о жизни талантливого композитора. И хотя исторически достоверный Штраус, изображенный на гравюре, с пышными усами и бакенбардами, в ярко-красном фраке, мало похож на свое модернизированное голливудское воплощение, я с удовольствием приветствую его, как доброго знакомого. Итак, я впервые в Вене — прекрасном историческом городе, только что освобожденном от унизительного и варварского гитлеровского господства доблестью и мощью советского оружия. Известно, что немецко-фашистские войска отстаивали столицу Австрии с исключительным ожесточением и упорством. (Может быть, в этом сыграло некоторую роль и болезненное «патриотическое» самолюбие бывшего австрийца Адольфа Шикльгрубера, сменившего впоследствии свою неблагозвучную фамилию на другую — Гитлер.)

Продолжавшиеся семь дней и семь ночей упорные уличные бои закончились полным разгромом врага. Советское знамя поднялось над Веной. Несколько странное впечатление производят поэтому на венских улицах горделиво-надменные фигуры фланирующих с победоносным видом офицеров союзных армий, пришедших сюда, как говорится, на все готовенькое, не проливших для этого ни единой капли крови. Нельзя пройти по городу, чтобы мимо тебя, оглушительно сигналя, не промчался «виллис» с американскими военными, высоко задравшими ноги на сиденье.

В центре Вены, на площади Шварценбергплатц высится недавно воздвигнутый величественный монумент в честь победы

Красной армии. Советский воин, опираясь на щит, держит в руке знамя. Перед памятником, на зеленой лужайке посреди площади, между четырьмя трогательными елочками стоит боевой советский танк «тридцатьчетверка». Рядом — две могилы наших танкистов, павших на этом самом месте. Сюда часто подходят жители Вены. Сняв шляпы, они внимательно читают надписи на гранитных надгробиях.

«Театр на Вене» (имеется в виду река Вена) — стоит на набережной этого крохотного притока Дуная. Один из старейших музыкальных театров австрийской столицы — миниатюрный, изящный, уютный, белый с золотом. Здесь впервые шла «Волшебная флейта» Моцарта. Еще сейчас над сценой висит специально сшитый и расписанный к премьере «Флейты» занавес. И в этом же самом зале Бетховен дирижировал оркестром на первом представлении своей оперы «Фиделио», состоявшемся 20 ноября 1805 года. За неделю до этого в Вену вступила французская армия. Наполеон поселился во дворце австрийских императоров Шенбрунне, но завоеватель, как известно, не удостоил посещением оперу гениального композитора. Премьера «Фиделио» прошла при полупустом зале, встретив холодный и недоброжелательный прием публики, большинство которой составляли французские офицеры. Сегодня, ровно через сто сорок лет, в «Театре на Вене» тоже идет «Фиделио». Оркестром управляет известный венский дирижер Йозеф Крипе. Звучит музыка — могучая, напряженная, драматическая. Сидящая рядом со мной женщина плачет. Интересно, что для оформления эпизода в тюрьме использована оголенная каменная коробка театра, как когда-то у Мейерхольда.

Мы едем на футбольный матч между советской и французской армейскими командами. Состязание происходит в Пратере, известном парке народных гуляний. Все разнообразные аттракционы Пратера лежат в развалинах, уцелело только огромное колесо-карусель. С одной стороны футбольного поля — небольшая деревянная трибуна, с другой — прямо на траве расположились зрители, главным образом солдаты союзных армий. Французы играют в изящных темно-синих футболках и элегантных кремовых трусиках с разрезиками по бокам, с кармашками для носового платка. Наши одеты попроще, и носовой платок (чего греха таить) заменяется иногда стремительным и точным движением указательного пальца. Зато, что касается игры, тут уж, как говорится, «утирают нос французам». Рядом с советской ложей — английская, и сидящие по соседству с нами британцы, явно болеющие за французскую команду, постепенно захвачены напористой игрой наших, хохочут

от удовольствия и даже частенько аплодируют. Советские футболисты играют корректно, хотя время от времени, говоря спортивной терминологией, применяют законные «силовые приемы». Тогда с поля слышится умоляющий тенорок нашего капитана: «Ребята, ребята, аккуратнее!..» Французы отчаянно трудятся, но не могут забить ни единого гола. Позади нас большая группа французских офицеров непрестанно орет, подбадривая свою команду, но эти азартные возгласы мало-помалу стихают и сменяются унылым молчанием. Матч заканчивается со счетом 7:0. Конечно, не в пользу французской команды…

Однако мы здесь уже третий день, а еще не видели Венского леса, куда нас властно зовут воспоминания о «Большом вальсе», о молодом обаятельном Штраусе, о вскружившей ему голову ослепительно красивой певице, о симпатичном старичке извозчике и его кобыле Рози, о том, как… впрочем, не буду пересказывать содержание знаменитого кинофильма, а скорее в путь!

Расспрашиваем у прохожих дорогу, и тут выясняется, что так называемый Венский лес занимает огромную территорию, охватывая пол-Вены, и нас просят уточнить, каким именно местом мы интересуемся. При этом все очень искренне рекомендуют посетить некий Каленберг. Но мы решаем сначала посетить Шенбрунн. Надо сказать, что если с Венским лесом связаны музыкально-кинематографические ассоциации, то слово «Шенбрунн» у меня лично вызывает в памяти хорошо известный в годы моей юности спектакль «Орленок» по одноименной пьесе Ростана и трогательно-сентиментальный образ герцога Рейхштадтского — сына Наполеона.

Мы едем улицами венских предместий со старинными, словно сошедшими с гравюр XVIII века домиками под высокими черепичными кровлями.

За массивной чугунной оградой панорама Шенбруннского дворца. Однако посетить его нельзя — в нем разместилось командование британских вооруженных сил, о чем мне сообщает английский сержант в синем берете неслыханных размеров, строго указывая на развевающийся над дворцом флаг Соединенного Королевства. Все же, видимо, из уважения к «некоторому участию» советских войск во взятии Вены, он любезно разрешает нам посмотреть знаменитый дворцовый парк с прелестным, расположенным на невысоком холме павильоном «Глориетта». Парк, действительно, замечательный. Это произведение искусства, в котором материалом для художников послужили не холст и краски, не мрамор и бронза, а сама

природа — деревья, кустарники, цветы, всевозможные зеленые насаждения, образующие сложную композицию аллей, площадок, цветочных ковров и дорожек, то расходящихся лучами, то пересекающихся в красивых перспективах и неожиданных сочетаниях, создающих очаровательные уголки и виды. На лужайках — деревья-шары, деревья-пирамиды, деревья-конусы.

«Четырехсторонность» управления Веной проявляется в самых разнообразных областях жизни города — политической, административной, продовольственной и прочей. Она вошла в быт населения. Театр-кабаре «Централь паласт». Публика сидит за столиками и на диванах, именуемых ложами. Благообразные кельнеры разносят жиденькое пиво в массивных бокалах, а к концу вечера появляются «коктейли» — кисленькая фруктовая болтушка со слабым запахом вина. Однако некоторые зрители из союзных армий явно навеселе. Программа открывается джазом, после чего на сцене появляется высокая брюнетка с большим белозубым ртом. Она приветствует публику «четырехсторонне» — на немецком, английском, французском и русском языках («Сдрастуйте, товаричи!») и бойко произносит вступительный конферанс, в основном на тему, что жители Вены получили возможность легко, просто и, главное, бесплатно путешествовать из страны в страну: достаточно пройти один квартал от «Централь паласт», чтобы из Франции попасть в США, а еще через две улицы — из США в Англию.

Потом начинается программа. На подмостках чередуются певцы, жонглеры, фокусники, роликобежцы. Все это подается весело, непринужденно, в хорошем темпе. Зрительный зал настроен доброжелательно и благодушно, охотно аплодирует всем номерам. Но наибольший успех имеет исполнитель «интимных песен» — пожилой мужчина с седеющей шевелюрой. Сначала он под неумолкающий смех исполняет юмористические куплеты, пересыпанные непонятными для нас жаргонными венскими словечками, а под конец поет песню примерно такого содержания: «Мы проходим сейчас по нашей бедной Вене, видим ее разрушенные дома, изуродованные площади, улицы и переулки и говорим: “Милая наша Вена, что с тобой сделали?..”» «Но мы верим, — патетически повышает голос певец, — что Вена снова станет Веной, и для этого все мы должны работать не покладая рук!» Песня эта, видимо, затрагивает самое больное место. Зал гремит рукоплесканиями. Мы тоже усердно хлопаем. Многие поворачиваются в нашу сторону, чтобы посмотреть, как реагируют советские офицеры, и довольные, улыбаются, переглядываясь между собой. Вечер окончен. Зрители поднимаются со своих мест, но за одним из столиков сильно

подвыпивший француз с компанией девиц не желает покидать зал. Перед ним немедленно вырастает «четырехсторонний» комендантский патруль: долговязый американский «эмпи» в лакированной белой каске, англичанин в огромном берете, француз в шикарном кепи и советский лейтенант в скромной фуражке. После некоторого сопротивления француз, ворча, удаляется со своими дамами.

Ясным холодным утром мы покидаем Вену — город, очарованию которого невозможно не поддаться, который и сейчас, пройдя через горнило уличных боев, сочетает в себе изящную красоту Парижа с солидной респектабельностью довоенного Берлина. Проезжаем основательно разрушенные окраины, разбомбленные дома, иссеченные пулеметами стены. Асфальтовое шоссе, красиво обсаженное на всем его протяжении могучими ветвистыми деревьями, испещрено наспех засыпанными воронками, на которых то и дело подскакивает наш «Адлер» — малолитражная машина, предоставленная в распоряжение корреспондентов «Красной звезды» майора М. Леснова и майора Б. Ефимова для дальнейшей их поездки. На «Адлере» я замечаю техническую новинку: рычаг переключения скоростей смонтирован на руле. Мое автолюбительское сердце встревожено. Надо как-нибудь попробовать, думаю я, но, памятуя поездку в Польшу на «виллисе», пока помалкиваю, рассчитывая, что соответствующий момент настанет в будущем. И, кстати сказать, я не ошибся. Дорога ведет через маленькие симпатичные городки с уютными каменными домиками под черепичными кровлями, часто ныряет под своды готических ворот со средневековыми башенками и гербами. Один из городков расцвечен красными флагами, в центре которых проступает более яркий, невыцветший след споротого круга со свастикой. По понтонному мосту через бурно текущие воды глинисто-желтого (совсем не «голубого») Дуная, мимо разрушенных и искореженных портовых построек, груд обгорелого железного лома и кирпичей мы въезжаем в Братиславу. Проезжая мимо вокзала, останавливаемся возле густой толпы людей и наблюдаем любопытную картину почти вавилонского «смешения языков». Вот группа югославских солдат идет из немецкого плена на родину. Тут же кучка возвращающихся домой румын в немецкой форме, но с национальными румынскими розетками на груди. Болгарин, наоборот, пробирается в Германию искать угнанную гитлеровцами жену. Пестрое, невообразимое сплетение человеческих судеб, толчея демобилизованных, командированных, отпускников, выздоравливающих, перемещенных лиц, столкнувшихся на этом отдаленном

перекрестке Европы.

Нам достаточно было побыть в Братиславе несколько часов, чтобы убедиться, с каким трудом военные власти справляются с бесчинствами разнузданной солдатни, увы, нашей, советской. Двое патрульных ведут молодого солдата, беспечно покуривающего сигарету.

— За что это? — спрашивает Леснов.

— А он словачку убил, — следует ответ.

— За это расстреливать надо! — восклицает Леснов.

— Эх, товарищ майор. За то, что здесь творится, пришлось бы полгарнизона расстрелять.

Буквально через несколько шагов Леснову взбрело в голову остановить какого-то солдата и сделать ему замечание за неотдание чести. Тот посмотрел на него мутными глазами и, вынимая из-за пазухи финский нож, кивнул головой в сторону подворотни, возле которой мы остановились:

— Ах ты, хреновый майор, пойдем — я тебе отдам честь.

— Ради Бога, Михаил Григорьевич, не связывайтесь! — вступился я и потащил Леснова прочь.

…С особым интересом я жду свидания с Будапештом. В сгущающихся сумерках осеннего дня мы въезжаем в столицу Венгрии. По крутым, разбитым снарядами улицам высокого берега Буды спускаемся к мосту через Дунай и попадаем в широко раскинувшийся до самого горизонта Пешт. Немного понадобилось времени, чтобы убедиться, что молва о величественной красоте Будапешта нисколько не преувеличена. Эта красота изумляет и сейчас, когда город тяжело изранен железом и сталью, обожжен огнем, искалечен войной. Лежат в руинах многие из красивейших зданий Будапешта, великолепные вокзалы зияют провалами огромных стеклянных крыш. Мрачным обугленным остовом поник огромный королевский дворец — ведь гитлеровцы дрались за Будапешт еще более свирепо и отчаяннно, чем за Вену. Но широкие проспекты Пешта не утеряли пышной красоты своего великолепного ансамбля. Одно из самых великолепных сооружений Будапешта — построенный Имре Штейндлем венгерский парламент, необъятная каменная громада, в которой готические мотивы переплетены с мавританскими, вставшая на дунайской набережной. Снаружи парламент поврежден, золоченый купол его залатан досками, но внутренние апартаменты остались в целости, сохранив все богатство вычурной отделки, лепки, раскраски, несметное количество цветной скульптуры.

Скорейшее возрождение одного из красивейших городов Европы — самое горячее и страстное желание венгров. Тысячи

рук упорно и самоотверженно трудятся над этой нелегкой задачей, и медленно и непрестанно идет процесс выздоровления израненного города.

Один из виновников варварских разрушений, причиненных Будапешту, — Ференц Салаши, главарь венгерской партии «Скрещенные стрелы», назначенный Гитлером главой венгерского правительства.

…Мы с Шандором Экком, моим давнишним другом, венгерским художником и одновременно майором Красной армии, в кабинете начальника будапештской политической полиции Петера Габора. Обращает на себя внимание, что на одной из стен кабинета висит в черной траурной рамке большая фотография знаменитого будапештского Цепного моста, соединявшего Буду и Пешт. Нам рассказывали, что мост по приказанию Салаши был взорван внезапно, среди бела дня, хотя его заполняла густая толпа мирных жителей.

Идем во главе с Габором вниз, выходим во внутренний двор-колодец, потом в другой и двумя небольшими лестницами спускаемся в огромный подвал. В нос ударяет острый тюремный запах дезинфекции. Вдоль чисто выбеленного коридора тянется ряд аккуратно выкрашенных в коричневую краску дверей. Молодой парень в спортивной куртке и сапогах несет за нами доску с крючками, на которых висят ключи. Подходим к двери № 39, к которой приклеен листок бумаги с аккуратной надписью «Ференц Салаши». Отодвигается поперечный засов, отпирается замок, и перед нами Салаши. Камера крохотная, примерно 3–4 квадратных метра. Сводчатый потолок, чисто выбеленные стены. Почти вся площадь пола занята дощатым настилом, на котором лежат пальто и шляпа. Никаких признаков постели. Справа ящик-параша. Салаши стоит, вытянувшись во весь рост, и безжизненно смотрит на нас. Это мужчина выше среднего роста, черноволосый, смуглый. Несколько минут мы рассматриваем его и внутренность камеры.

Потом поочередно заходим в другие камеры. Одна пустует — ее обитатель, бывший премьер-министр Бардоши, сейчас на допросе. Это уже почти шкаф, всю крохотную площадь занимают дощатые нары. Между ними и дверью полоска пола, достаточная только для того, чтобы человек мог встать.

По предложению Габора поднимаемся в кабинет следователя, где идет допрос Бардоши. Это — красивый старик с лицом артиста, с длинными, гладко зачесанными назад седыми волосами. Он прямо на машинку диктует свои показания.

Снова проходим в кабинет Габора. Через несколько минут туда вводят Салаши. Теперь я могу рассмотреть его более

подробно. У него большой выпуклый лоб, красивые выразительные глаза, волевое, немного актерское лицо. Одет в темный пиджак, зеленую спортивную рубашку, бриджи цвета хаки и крепкие венгерские ботинки с вынутыми из них шнурками.

Габор предъявляет фотографию взорванного моста пойманному преступнику. Ференц Салаши мрачно отворачивается от траурного снимка. Ему нечего сказать, нечем оправдаться. Без сомнения, он очень хорошо знает это комфортабельное помещение — здесь был в недавнем прошлом собственный его, Салаши, кабинет. Ведь мы находимся в здании бывшего центрального штаба его партии. Не за этим ли самым столом недолговечный фюрер Венгрии сочинял свои напыщенные приказы и воззвания. Я разглядываю Салаши с любопытством: не так давно, когда по воле Гитлера он вынырнул на поверхность политических событий, мне приходилось рисовать сию личность в карикатурах. Удостоверяюсь, что подлинный Салаши не имеет ничего общего со своим условным сатирическим изображением (что, кстати говоря, совершенно не важно для смысла и политического звучания карикатуры).

Многословно и туманно разглагольствует он о хунгаризме, фашизме, нацизме, но выкладывает свои идеологические воззрения настолько подробно и длинно, что допрос начинает походить на некую утомительную и скучную лекцию по политграмоте.

«Как странно, — думаю я. — Этот человек совсем недавно встречался с Гитлером, преданно смотрел ему в глаза, был счастлив, что фюрер оказывает ему доверие, вручая власть в Венгрии. А теперь сидит в своем бывшем кабинете и пытается оправдаться перед совершенно неведомыми ему людьми в советской военной форме. Интересно, за кого он нас принимает? За следователей? Разведчиков? Впрочем, сейчас ему не до того… Понимает ли он, что дни его сочтены? Или на что-то надеется? Боже, он все еще говорит… Дай-ка и я задам ему какой-нибудь вопрос».

Вежливо извинившись, я прерываю плавно текущую речь Салаши и задаю вопрос: когда он последний раз видел Гитлера.

Салаши недовольно останавливается, собирается с мыслями и переключается на новую тему. Так же подробно и многословно, с бесконечными отступлениями, которые наш переводчик, видимо, просто опускает, он рассказывает о своем приезде в ставку фюрера и встрече с Гитлером и Риббентропом. Не забывает даже сообщить меню обеда, который поразил его аскетической скромностью: овощной суп, консервированное оленье мясо с горохом и черный кофе с одним (!) бисквитом. Приходится снова

прервать неутомимого оратора: я спрашиваю, как он сегодня, после поражения и самоубийства Гитлера, расценивает его стратегические таланты и пресловутую трансцендентальную интуицию. Следует длиннейшее и мутнейшее рассуждение о том, что необходимо понимать различие между «руководителем войны» и «руководителем вооруженных сил», каковые качества сочетались у Гитлера, видите ли, не в стабильном, а в «диффузионном» соотношении. Не следует также упускать из виду, разглагольствует Салаши, что современная война…

Мы уже полностью увяли, наш добровольный переводчик Шандор Экк совершенно взмок, а Салаши все говорит, говорит, говорит…

Но его неожиданно и резко обрывает Петер Габор:

— Вы многое тут рассказываете, Салаши, но забываете о главном. Вы — враг венгерского народа и будете строго наказаны за свои преступления.

Салаши мрачно умолкает, а потом, повысив голос, говорит:

— Я не враг венгерского народа, протестую против ваших угроз и требую присутствия адвоката.

Могли ли мы и Петер Габор в тот момент предполагать, что пройдет не так уж много времени и «врагом венгерского народа» будет объявлен сам Петер Габор. Это произойдет тогда, когда в Венгрии по образу и подобию московских политических процессов начнется безжалостная, беззаконная расправа над ни в чем неповинными людьми.

Мы выходим на улицу. Уже сгущаются сумерки, но еще отчетливо видны расклеенные на стенах домов многочисленные предвыборные плакаты. Больше всего внимание привлекает плакат, нарисованный в доходчивой реалистической манере и изображающий рабочего, выдирающего сорняки реакции и спекуляции. Это работа Шандора Экка, замечательного художника, эмигрировавшего из фашистской Венгрии в Советский Союз и долго работавшего там под именем Алекса Кейля. Мы частенько встречались с ним до войны в Москве, а сейчас неожиданно столкнулись в Будапеште, куда вчерашний политэмигрант пришел в рядах Красной армии.

Вечером мы присутствуем на торжественном вечере в огромном зале отеля «Геллерт» в честь приехавшего в Будапешт советского художника Александра Герасимова.

На вечере присутствует К. Е. Ворошилов, он является в Венгрии членом СКК (Союзной контрольной комиссии). Установленный Сталиным коммунистический режим Матьяша Ракоши еще впереди. Пока что венгерское правительство носит умеренно-демократический характер. Мы с Лесновым занимаем

скромное место за одним из столиков, но через несколько минут Леснов мне говорит:

— На нас смотрит Ворошилов.

И тут же к нам подходит адъютант Ворошилова генерал Щербаков и приглашает нас к столу маршала. Тот, видимо, не забыл обедавшего в его вагоне «лейтенанта», потому что, взглянув на мои майорские погоны, сказал, улыбаясь:

— Вижу, вас можно поздравить с повышением по службе. — Потом, став более серьезным, спросил: — Вы прямо из Москвы? Вы, наверно, в курсе, что нам собираются прислать по театральной части для венгерской публики?

Я не имел об этом ни малейшего понятия, но, не желая ударить в грязь лицом, ответил наобум:

— Слышал, что Большой театр посылает к вам балет «Щелкунчик» и оперу «Евгений Онегин».

— О, это здорово! — обрадовался маршал.

Тут мой Леснов выпаливает, не мудрствуя лукаво:

— А вы очень помолодели, Климент Ефремович!

Я покосился на Леснова, шокированный таким примитивным комплиментом, но, к моему удивлению, маршал выслушал его с явным удовольствием и, взяв со стола бутылку, широко улыбаясь, сказал:

— Да, что вы? Очень приятно. Какой меры душа просит?

Из какой-то глупой лихости я протягиваю бокал, предназначенный для воды.

— Ого, — говорит Ворошилов. — Ну, раз душа просит…

Приходится выпить. Оживление за столом возрастает, и Александр Герасимов делает почин в рассказывании анекдотов, не совсем приличных, пользуясь отсутствием дам. Принимает в этом участие и маршал. Свой вклад в «фольклор» вносят и все остальные. Не отстаю и я.

…*Я* знал двух Ворошиловых. Один — широко известный полководец Гражданской войны, ближайший друг и соратник Сталина, «первый красный офицер», «любимый нарком», в честь которого именовались города, области, заводы, устанавливались почетные звания и даже назывались сорта пшеницы. Таким воспринимала Ворошилова вся страна. Но я, лично, встречался и с другим Ворошиловым — простым, доброжелательным, отзывчивым человеком.

Конечно, я знал, как и все, что Ворошилов подписывает вместе с другими членами Политбюро смертные приговоры ни в чем неповинным людям, что его подпись стоит под приказами о так называемой «чистке» командирских кадров Красной армии — иными словами о массовых расстрелах. Но я, повторяю, пишу о

том Ворошилове, с каким я общался лично.

Климент Ефремович, скажем прямо, не хватал звезд с неба в смысле высокой культуры и образованности. Но пользовался репутацией наименее жестокого и наиболее человечного из всей сталинской команды.

Сталин вознес его на самые высокие партийные, государственные и военные посты. А перед этим настоял, чтобы занимавшему пост наркомвоенмора Михаилу Фрунзе, широко популярному в стране, волевому и имевшему свое собственное мнение деятелю, была, вопреки желанию самого Фрунзе, срочно сделана операция по удалению язвы желудка. Язвы не оказалось, но Фрунзе умер на операционном столе, и пост наркомвоенмора освободился для послушного и беспрекословного Ворошилова. Отныне в партийной иерархии Ворошилов встал на одно из первых мест после Молотова. Художник Александр Герасимов, который хорошо знал, кого, когда и как надо изображать, немедленно написал картину, получившую в репродукциях широкую известность в стране. Она называлась: «Сталин и Ворошилов в Кремле», а в народе ее прозвали: «Два вождя после дождя». Клименту Ефремовичу была создана в стране широкая реклама. Ни о Молотове, ни о Калинине, ни о Жданове песен не пели. А о Ворошилове слагали песни. Мое поколение распевало их во все горло: «…И с нами Ворошилов, первый красный офицер!», «…С нами Сталин родной, и железной рукой нас к победе ведет Ворошилов», «…По дорогам знакомым за любимым наркомом мы коней боевых поведем» и другие. Однако большие и серьезные военные события вскоре показали, что Ворошилов с ответственными стратегическими задачами не справляется и «железной рукой» отнюдь не обладает. Это выяснилось уже во время финской войны, плохо подготовленной, бездарно проведенной и стоившей многих десятков тысяч бессмысленно погибших солдат. Разгневанный Сталин снял Ворошилова с поста народного комиссара по военным делам. Ничем не смог проявить себя Климент Ефремович и во время Великой Отечественной, в частности, в осажденном Ленинграде. Сталин больше не поручал ему крупных военных операций и, по-видимому, сильно охладел к бывшему близкому другу.

Между прочим, как известно, в период довоенных репрессий Сталин проверял верность и преданность своих ближайших соратников характерным для него методом — были арестованы в разное время жены Молотова и Калинина, оба брата Кагановича… Соратники «даже не пикнули». Но, когда пришли и за Екатериной Давыдовной, женой Ворошилова, то он, как рассказывали, встал у дверей спальни с маузером в руках и предупредил, что будет

стрелять. Растерявшиеся сотрудники органов сообщили об этом по инстанции, а оттуда доложили Сталину. Хозяин, предварительно раскурив, вероятно, трубку, сказал:

— А черт с ним. Оставьте их в покое…

Мне рассказал об одном довольно интересном эпизоде член Комитета по Сталинским премиям кинорежиссер Сергей Герасимов. На заседании Комитета, когда Сталин расхаживал взад и вперед по кабинету, покуривая трубку, Ворошилов встал со своего места, подошел к столику, где стоял графин с водой и, наливая себе воду, громко звякнул стаканом о графин. Сталин остановился, со злостью посмотрел на Ворошилова и, не повышая голоса, сказал:

— Ты что тут расшумелся? Не даешь работать.

И неожиданно добавил:

— Английский шпион!

Побледневший Ворошилов осторожно поставил стакан на место и на цыпочках вернулся к своему стулу. В кабинете воцарилась мертвая тишина, рассказывал Герасимов, пока Сталин не произнес:

— Итак, на чем мы остановились?

Антипатия Сталина к своему бывшему другу возрастала день ото дня, и один Бог знает, чем бы это могло кончиться для Климента Ефремовича, если бы Хозяин не ушел в мир иной…

…Мы пересекаем границу Венгрии, десяток метров по ничейной земле — и перед нами шлагбаум с надписью: «Демократска Федеративна Югославия». И мы катим уже по сербской территории на двух машинах — к нам присоединился Леонид Первомайский, корреспондент газеты «Правда».

Непостижимые в своей загадочности надписи на венгерском языке остались позади. На первом же чисто выбеленном домике знакомыми русскими буквами выведено красной краской достаточно ясно и понятно: «Смрт фашизму, слобода народу!» И рядом — красная звезда. А также лозунг, встречающийся нам и дальше, замечательный по своей краткости и выразительности, состоящий только из одного слова: «Тито!»

В облике югославской столицы есть много знакомого. Местами она удивительно напоминает Киев, Харьков, Одессу. В городе много зелени, бульваров. Он широко, свободно распланирован. В центральных кварталах вокруг площади Теразии — большие здания современного типа, универмаги, отели. Много кинотеатров (по-здешнему — биоскопы). Проносятся выкрашенные в красный цвет трамвайчики. На каждом четкая надпись: «Смрт фашизму, слобода народу!» Вход и выход в любую дверь на любую сторону. Хочу платить за проезд,

но кондуктор улыбается и отрицательно качает головой:

— Русски официри не платно…

В здании Народного музея сегодня в присутствии маршала Тито, членов правительства, депутатов Народной скупщины и генералитета торжественно открывается большая «Изложба» — Выставка народно-освободительной войны.

Под высокими белыми сводами горячо звучат слова благодарности за огромную помощь Советского Союза в освобождении югославской земли.

Обходим залы. Я смотрю не столько на экспонаты выставки, сколько на ее посетителей — загорелых пышноволосых девушек с пистолетами у пояса и плечистых «юнаков» в пилотках с красной звездой, как бы сошедших с висящих на стендах фотографий, запечатлевших эпизоды антифашистской борьбы. Те же выразительные глаза, красивые орлиные носы, твердые подбородки. Это они, бойцы-партизаны — молодые и старые, плохо вооруженные, босые и голодные — выдержали и отразили семь вражеских «оффензив», семь натисков отборных гитлеровских дивизий, усиленных пестрыми отрядами усташей Недича и Михайловича. Выдержали и дождались помощи советской армии. Группа бойцов со смехом разглядывает фотографию Драже Михайловича. На снимке физиономия, заросшая до самых глаз косматой щетинистой бородой. На крючковатом носу круглые роговые очки. На голове колпак с четническим знаком. Известно, что Драже Михайлович и его соратники дали обет не стричься и не бриться до возвращения в Югославию короля. Легко представить себе горе парикмахеров, для которых были навсегда потеряны столь выгодные клиенты… В стеклянной витрине лежит большой лист эрзац-пергамента, на котором Гитлер извещает своих верных слуг — усташских генералов Славо Штанцера и Артура Густавича — о награждении их орденами «Германского орла». Ордена, своевременно снятые с генеральских мундиров, лежат тут же. Идем дальше. Можно подумать, что фашистские оккупанты специально позаботились о том, чтобы доставить народному правосудию наиболее полный и неопровержимый материал о своих злодействах. С маниакальным усердием снимали гитлеровцы сцены бесчисленных казней и расправ над партизанами. Фотоаппараты беспристрастно запечатлели и отвратительные гримасы палачей, и мужественные одухотворенные лица народных героев, не опускающих глаз перед топором и виселицей.

С понятным любопытством мы с Лесновым разглядываем импозантную фигуру легендарного маршала Тито. Когда он в сопровождении своего генералитета знакомился с экспозицией

выставки и поравнялся с группой советских офицеров, наш военный атташе, генерал Ковалев представил ему нас, военных корреспондентов «Красной звезды».

Тито удостоил нас небрежным, но вполне благосклонным кивком и, что-то сказав вполголоса сопровождающему его адъютанту, прошествовал дальше. Адъютант сообщил нам, что мы приглашены на следующий день обедать в резиденцию маршала под названием Дединье или, как тут проще говорят, Белый дом.

Мы едем к памятнику Неизвестному юнаку, что торжественно высится на вершине Авалы — поросшей курчавым зеленым лесом горы в полутора десятках километров от Белграда. Нас сопровождают в этой поездке два молодых югославских генерала, оба смуглолицые и подтянутые, у обоих на серо-стальных кителях ордена Партизанской звезды 1-й степени и рядом — ленточка советского ордена Кутузова. У городской заставы нашу машину останавливает военный патруль. Золотые генеральские ромбы не производят на солдат ни малейшего впечатления, но, увидев мои советские майорские погоны, они козыряют и разрешают следовать дальше. Один из генералов, высокий, рано поседевший черногорец по имени Арсе, заразительно хохочет.

— Вот как у нас обстоит дело, — говорит он. — Раз русский, значит, всюду можно, а меня без пропуска вернули бы обратно.

Машина с бешеной скоростью мчится по опоясывающей Авалу асфальтовой спирали, которая приводит нас на обширную, вымощенную камнем площадку. Отсюда величественная гранитная лестница с монументальными бронзовыми светильниками поднимается к темно-серому гранитному мавзолею. Восемь гигантских женских фигур, изваянных из мрамора, — сербка, хорватка, черногорка, словенка, боснянка, герцеговинка, македонка и далматинка, — держат полированную кровлю над скромной солдатской могилой. Мавзолей не замкнут четырьмя стенами — это, собственно, открытая арка, сквозь которую смотрит голубое южное небо, а с далеких, но хорошо видимых отсюда балканских вершин прилетает теплый ветерок, шевелящий цветы и зелень многочисленных венков, ленты национальных флагов.

На следующий вечер в нашу дверь постучался югославский офицер. Он пригласил нас в свою машину, и мы помчались.

Мы приехали первыми. Через некоторое время в зал входит Тито в сопровождении советского посла Садчикова. Тито в штатском черном костюме, рядом с ним его любимая собака Тигр. Невольно бросается в глаза кольцо с огромным бриллиантом на безымянном пальце левой руки. Тито сдержанно здоровается, лицо довольно утомленное и заметно озабоченное. Курит

изогнутую трубочку-мундштук, в который вставляется папироса.

Надо сказать, что я предусмотрительно захватил в поездку несколько экземпляров вышедшего в 1943 году, в разгар войны, моего альбома карикатур на гитлеровских захватчиков. И один из них почтительно протягиваю Тито. С некоторым удивлением маршал разглядывает альбом и спрашивает:

— А вы, оказывается, художник? Это ваши рисунки?

— Да, товарищ Тито, — вступает в разговор посол Садчиков, — это наш известный карикатурист Борис Ефимов.

Тито смотрит на меня с некоторым интересом и спрашивает:

— А тут есть рисунки о нашей борьбе в Югославии?

— Как я мог об этом забыть, товарищ Тито, — ответил я.

— Давайте посмотрим, — сказал маршал и стал перелистывать альбом.

Вскоре он нашел рисунок под названием «В “завоеванной” Югославии», изображавший гитлеровских оккупантов, уныло идущих с поднятыми руками под конвоем двух бравых югославских партизан. Тито одобрительно кивнул головой, протянул мне руку и сказал:

— Спасибо.

Вскоре появляется группа московских артистов, среди них популярные в Москве конферансье Миров и Дарский, комичные в своих фраках, увешанных какими-то медалями.

Гостей приглашают на концерт в соседний зал. Он из белого мрамора. Мраморный гладкий пол устлан коврами. Стоит красный рояль с золотыми украшениями.

После концерта приглашают к обеду. Прислуга в белых куртках работает не покладая рук. Блюда идут конвейером, без всяких пауз. Тито провозглашает тост за Советский Союз и Сталина. Все встают и дружно осушают бокалы.

Кто мог бы в тот момент предположить, что горячая дружба за самое короткое время превратится в непримиримую вражду, а «легендарный маршал», отважный боец против гитлеровских захватчиков по одному мановению руки Сталина будет объявлен предателем коммунизма, фашистским палачом и прихвостнем американского империализма. Однако именно так и произошло.

Припоминаю, как все началось. Предстояло опубликование очередного списка лауреатов Сталинской премии. В частности, никто не сомневался, что в их числе будет известный поэт Николай Тихонов за его цикл стихов о героических партизанах Югославии. Но в списке лауреатов Тихонова не оказалось. Это вызвало такое удивление, что руководители Союза писателей проявили неслыханную по тем временам смелость и обратились в «высокие партийные инстанции», информируя, что заслуженный

поэт-фронтовик Тихонов чрезвычайно подавлен и угнетен нанесенной ему обидой. «Сверху» последовал ответ:

— А при чем тут Тихонов? Никто никаких претензий к Тихонову не имеет. Дело в том, что в Югославии кое-кто очень зазнался.

Вскоре все стало ясно, когда меня вызвал редактор «Правды» Леонид Ильичев и, к моему немалому изумлению, попросил срочно нарисовать к завтрашнему номеру карикатуру на Тито под названием «Перебежчик». Я от неожиданности выпучил глаза и переспросил:

— На кого, Леонид Федорович? На кого?

— Вы не ослышались. На Тито. И скажу вам по секрету, это задание из самой высокой инстанции.

Нарисовать карикатуру на Тито мне, естественно, помогло недавнее личное общение в резиденции «легендарного маршала», хотя я изобразил его достаточно шаржированным: согласно заданию — «Перебежчик», я нарисовал его бегущим в распростертые объятия американских империалистов. Эта карикатура явилась первой из многих сотен, опубликованных в советской печати, бичевавших и разоблачавших бывшего «легендарного маршала», и кампания прекратилась только тогда, когда Сталин ушел в мир иной.

…Продолжаю свои югославские впечатления. Мы на приеме в другом Белом доме, значительно меньших размеров, чем резиденция Тито — в чисто выбеленной хате старого крестьянина Велемира Макаровича. Мы сидим за простым деревянным столом на увитом плющом крыльце и слушаем неторопливый рассказ хозяина о том, как от гитлеровского террора здесь, в этой самой хате, укрывалась от фашистских ищеек семья партизанского командира. Тут же за столом сидит и этот самый командир, молодой черноволосый генерал Терзич, посмеиваясь и попивая вместе с нами свежее виноградное вино. Степенно покуривая длинные трубочки, принимают участие в беседе и трапезе соседи, пришедшие поглядеть на приезжих московских гостей. Затем две симпатичные девчушки — Нада и Ярушка — запевают партизанские песни, а остальные дружно подтягивают. Потом, сквозь залитые лунным светом виноградники, мы идем на крутой берег Дуная смотреть то место, где партизаны внезапным и дерзким налетом овладели пароходом, полным вооруженных усташей. Руководил смелой операцией тот самый молодой черноволосый генерал, с которым по этому поводу мы еще раз чокнулись тяжелыми глиняными кружками.

…На площади Теразии под яркими балканскими звездами шумит, бурлит народное коло. Изумительное зрелище! Крепко

взяв друг друга за плечи, юноши и девушки ритмично кружатся сначала медленным, потом все более и более убыстряющимся хороводом, замыкая в веселом кольце лихих танцоров-одиночек, неутомимо показывающих свое искусство удалой пляски. Коло множатся, вырастают одно из другого, сходясь и расходясь, сплетаясь и расплетаясь, накатывая и откатывая, как волны морского прибоя — вот их уже два, четыре, пять, десять… И вот их уже не счесть, и центральная площадь столицы стала тесной для этой жизнерадостной задорной молодежи, над головами которой звонким многоголосым хором взлетают слова дружбы и братства:

— Москва — Белград! Сталин — Тито!

…Мы выехали из Белграда и целый день мчались по теплому, благодатному, плодородному краю. Мягкие живописные пейзажи. Дорога вьется самыми прихотливыми извивами по зеленым долинам, курчавым лесистым холмам. Мимо чистеньких приветливых домиков с неизменным «Тито!», деревень, городков. Навстречу тянется бесконечная вереница возов, одноколок и колясок с крестьянами. Видимо, едут с базара. Все мужчины в солдатских пилотках, у многих женщин зонтики, солнечные очки. Одеты бедно, но живописно. На нас смотрят приветливо и с интересом: русская военная форма здесь, видимо, не часто встречается. Дорога продолжает вызывать наши восторги. В ландшафте есть что-то библейское: мирно пасутся стада овец на сочных зеленых пастбищах, склоны невысоких гор покрыты виноградниками. Едем в хорошем настроении и вот… сели под Нишем. Наш «Адлер» неожиданно захромал сразу на обе задние ноги. Шофер Афанасьев возится с покрышками, чтобы как-нибудь дотянуть до Ниша. Ночевать, очевидно, придется здесь, в городе, так как до Софии 240 километров. Шофер кое-как наладил колеса, и мы въезжаем в город. Спрашиваем у прохожих, где «хотел». Нас направляют в «Руски цар». Вертимся по городу, но никак этого «Цара» не находим, наконец попадаем в «Гранд-отель», где находится офицерская гостиница. Из «Гранд-отеля» югославский офицер ведет нас в «Парк-отель». Увидев еще издали многоэтажное здание европейского типа, я предвкушаю ночевку в комфортабельном номере. Однако начинается скучная неразбериха. Югославские офицеры долго и оживленно толкуют между собой. Мы плохо понимаем, что они говорят, но видно, что дело не ладится. Наконец решение принято. Нам дают «войника», который проводит нас к «команданту стана», где мы получим направление в гостиницу. Городок освещен только витринами, улицы оживлены. У кафе на тротуарах, за столиками сидят люди. Тепло. Комендант выслушивает нашего сопровождающего и

молча пишет записку. Мы идем в «Руски цар». Это одноэтажное здание, в котором помещается большой ресторан-кафе. У стойки буфета сидит толстяк, которому предъявляется записка. Он заявляет, что у него нет мест — все занято армией. После некоторых препирательств, мы посылаем «войника» обратно к «коменданту стана», а сами остаемся ждать. Я присаживаюсь к столику на тротуаре и наблюдаю фланирующую публику. Возвращается «войник» с новой запиской. Мы идем в другую корчму — ухудшенное издание «Руски цара». Хозяин показывает нам страшный клоповник, в котором на полу валяются грязные одеяла. Леснов решает снова идти к коменданту, скандалить. Но тут происходит чудо. На улице Леснов сталкивается с русским полковником. Он оказывается начальником русской военной миссии в Нише Захаркиным. И в одну секунду все перевернулось. Через несколько минут мы были в комфортабельном доме европейского типа. Помывшись в ванной, сели за хорошо сервированный стол. За столом — полковник Захаркин, два югослава — местная военная власть, мы с Лесновым и еще 2–3 человека. Вскоре появляется подполковник Гордиенко — черноволосый, дюжий украинец с загорелым смеющимся лицом и громким голосом. Хороший ужин с обильными возлияниями. После ужина Гордиенко ведет нас этажом выше, к себе. Знакомит со своей женой, и снова садимся за стол. Опять вино и пиво. Я уже еле дышу от количества выпитой жидкости, хочется спать, но тут появляется полковник Захаркин, и все начинается снова. Уже полная дружба. Хозяева клянутся, что не отпустят нас из Ниша раньше, чем через 2–3 дня. Леснов незаметно исчезает, а меня усаживают играть в «пятьсот одно». Страшным усилием памяти я вспоминаю эту игру и бойко принимаю в ней участие Гордиенко играет со страшным азартом и шумом. Наконец, оглушив всех криками, он выигрывает, и мы расходимся спать.

Встали рано. Выехали из Ниша и взяли курс на Софию. Дорога плохая — побитое щебенчатое шоссе. Виды по-прежнему живописные…

Днем приезжаем в Софию и начинаем кружить в поисках советской военной комендатуры. Находим. Здесь происходит курьезная сцена. Мы стоим у стола дежурного лейтенанта, тут же еще несколько офицеров. Лейтенант вдруг встает и вытягивается: в комнату влетает плотный полковник с окладистой огненно-рыжей бородой и портфелем под мышкой. С места в карьер он набрасывается на Леснова:

— Почему сапоги запылены? Почему небрит? Застегнуть ворот! Безобразие!

— Виноват, товарищ полковник! Только сейчас с дороги…

— Надо привести себя в порядок! Почиститься, побриться, а потом являться в комендатуру! Лейтенант, сколько раз я говорил — не пускать сюда в таком виде! Часового на пять суток под арест! Безобразие!!! Кто такой?

— Корреспондент газеты «Красная звезда».

— Ваша расчетная книжка! Офицерская расчетная книжка где ваша?!

— Не захватил, товарищ полковник…

— Безобрррразие!!! Марш отсюда!!!

Леснов на подгибающихся ногах марширует из комнаты. Маленькие глазки бородача обращаются на меня:

— Кто вас будет учить подпоясываться?!

Я поправляю пояс. Борода ищет, к чему бы еще придраться, не находит и свирепо удаляется. Оказывается, это знаменитый полковник Свиридов, комендант города, о котором мы потом наслушались анекдотов. Поскорее берем направление в гостиницу и, трусливо озираясь, мчимся в «хотел» под названием «Балкан».

Едем в редакцию армейской газеты и знакомимся с ее редактором Исаевым, который обещает нам помочь с ремонтом машины. Прямо от него направляемся к командующему. Прием у него в полном разгаре, в приемной ждут несколько офицеров со всяческими делами и бумагами. Мы просим секретаршу доложить и получаем ответ — подождать полчаса. Проходит больше часа, а генерал все еще занят. Мы просим доложить вторично, что лучше, может быть, прийти после обеда, но через пару минут нас зовут в кабинет. Генерал-полковник Бирюзов — загорелый мужчина лет сорока, с голубыми глазами и большим породистым носом. Производит вначале суровое впечатление, но при первой удачной реплике широко улыбается. Лед сломан. Бирюзов очень гладко и литературно рассказывает о положении в стране, о соотношении сил, о борьбе различных влияний, счищая всякую лакировку с наших представлений о Болгарии. Характеризует ее как «настоящую волчью капиталистическую страну», где все продается и покупается, где царит коррупция, саботаж, эгоизм. Беседа очень интересная, дающая много ценных, неизвестных нам фактов. Прием окончен. Выходим на улицу. В отдалении слышен какой-то грохот. Неожиданно из уличного репродуктора раздается громкий голос, который на болгарском языке предлагает избрать почетный президиум. Первым предложен генералиссимус Сталин, что встречено долгой несмолкаемой овацией, потом Георгий Димитров (овация), маршал Тито (овация), потом стали называться фамилии местных руководителей коммунистических организаций. Где-то, видимо,

происходит большой митинг. Через несколько минут подъехала машина, и из нее выскочил Исаев в небывалой ажитации.

— Вы ничего не знаете о событиях?!

— Нет. А что?

— Совершена крупнейшая диверсия!

— Как? Эти взрывы… Разве это не для постройки дороги?

— Какое там!.. Рвутся главные склады боеприпасов болгарской армии!

Толкая друг друга, мы лезем в машину и мчимся. Выясняется, что на восемь часов вечера был назначен большой демократический митинг, где должен был впервые выступать недавно приехавший сподвижник Димитрова Васил Коларов. Без 15 минут восемь раздался огромной силы взрыв, и вот уже больше часа рвутся артиллерийские склады. Проезжаем площадь парламента, широкую улицу Царь Фердинанд и выезжаем на шоссе, проложенное сквозь лес. Нас останавливает болгарский патруль:

— Братушка, ехать нельзя. На шоссе падают осколки снарядов. Опасно. Поворачивай назад.

— Ерунда! — кричит в азарте Исаев. — Проскочим!

Мне не очень улыбается возможность ни с того ни с сего получить в глаз или в бок осколок болгарского снаряда, но возражать некрасиво. Летим по шоссе, устремив взоры направо, где полыхает чудовищный пожар. Зрелище похоже на извержение вулкана, взрывов сейчас нет, но мне чудится свист пуль и осколков над головой.

— Жми, Лаврентьев! — кричит Исаев.

Лаврентьев жмет. Проскакиваем опасный участок. Нас останавливает другой болгарский патруль. Видимо, все пришло в движение. Весь лес оцепляется войсками и полицией. Мы поворачиваем обратно, снова на полном ходу любуемся огненным кратером. Шоссе кишит болгарскими автоматчиками, мотоциклистами, мчатся машины, ослепляя друг друга фарами, гудят сигналы, все орут. Идут танки и броневики. Даже проносится на рысях отряд болгарской кавалерии. Идут отряды саперов в немецких касках с лопатами на плече. В общем, волнение чрезвычайное.

От Исаева мы узнаем, что вечером приезжает из Румынии Эренбург. Сразу решаем, что его надо обязательно встретить. Нам рисуется умилительная картина: на безлюдный перрон софийского вокзала выходит из вагона Илья Эренбург, тоскливо оглядывается вокруг, и вдруг — о, радость! — к нему подходят свои родные краснозвездовцы, заботливо усаживают в машину и везут в свое офицерское общежитие, где и устраивают на ночлег.

А вот что произошло в действительности. В здание вокзала мы пробились с огромными усилиями сквозь густую толпу, запрудившую всю привокзальную площадь. Перрон и платформы забиты тысячами людей, над головами которых флаги, приветственные плакаты, транспаранты различных общественных организаций. Среди них — Общество по борьбе с расизмом «Иля Еренбург» и другие. Несмотря на поздний час народ все прибывает, и железнодорожное начальство вынуждено закрыть доступ на вокзал. Недовольство, вопли, столпотворение. Наконец прибывает поезд. Эренбурга, приехавшего в специальном салон-вагоне, встречают восторженными возгласами и приветственными речами, забрасывают цветами и на руках выносят на площадь, откуда целая кавалькада машин сопровождает его в отель «Болгария». В нашем «Адлере» явно нет необходимости.

На другой день — торжественное открытие съезда болгарских писателей в красивом зале кинотеатра «Балкан». На сцене — президиум, но не за длинным столом, как принято у нас, а в свободно поставленных креслах. В центре президиума — делегация советских писателей: И. Эренбург, А. Сурков, Н. Погодин. Выступления, речи, приветствия, аплодисменты, вспышки фотоламп. Наконец торжественная часть программы заканчивается. Все устремляются к выходу. Ждут почетных гостей. Раздаются аплодисменты. Я подхожу к Суркову и Погодину:

— Привет москвичам!

Потом к Эренбургу:

— Здрасте, Илья Григорьевич!

Они выпучивают глаза.

— Что это значит? Что вы тут делаете?

— Встречаем вас, Илья Григорьевич!

— Да нет, серьезно, как вы сюда попали?!

Движемся вместе с Эренбургом к выходу, среди расступившейся восторженной толпы. Эренбург шествует, как пророк. Усаживаемся в машину, рядом с ним Сурков и Погодин. Оба напряженно улыбаются и явно проклинают в душе Эренбурга: вместо того, чтобы быть в центре внимания, как представители советской литературы, они очутились в роли скромных статистов при нем. Щелкают «лейки», гремят аплодисменты…

А вечером министерство информации и искусств дает в честь съезда банкет. Мы тоже приглашены и по пути, как условились, заезжаем в отель «Болгария» за Эренбургом. Застаем, однако, Илью Григорьевича в плачевном состоянии: один глаз у него воспален, распух и причиняет адскую боль. Немедленно начинаем вызванивать врача из нашей армейской санчасти, откуда скоро

является целая бригада — один подполковник и два майора медицинской службы. Нужен более яркий свет для осмотра больного глаза. Я хочу включить настольную лампу и мгновенно создаю короткое замыкание. На всем этаже воцаряется мрак. Из коридора несутся недоуменные возгласы, вопли, звонки. Не проходит и получаса, как свет восстановлен. Подполковник осматривает эренбурговский глаз, находит сильное нагноение и сообщает, что должен съездить за соответствующими инструментами. Эренбурт просит нас пока что пойти на банкет (происходящий в этом же здании) и объяснить причину его отсутствия. Спускаемся в окруженный галереей ресторанный зал, где давно идет пир горой. Я высматриваю себе место за каким-нибудь из боковых столов, но в это время меня кто-то окликает от центрального стола. Это оказывается Кирсанов, наш посол в Болгарии. Он указывает мне на свободное место недалеко от себя. Я сажусь и оказываюсь визави… Его Блаженства экзарха Болгарии Стефана I. Это — румяный старик с черными усами и окладистой седой бородой, в модных золотых очках. На нем белоснежный клобук с бриллиантовым крестом, на черной рясе золотая панагия с камеей Богородицы. Левая рука его позванивает золотыми четками. Рядом с ним — генерал-лейтенант Черепанов, заместитель Бирюзова. Кирсанов знакомит меня с экзархом. Его Блаженство любезно сообщает, что знаком с моими работами и, после крохотной заминки, добавляет, что давно хотел со мной познакомиться… Завязывается гладкий застольный разговор, в основном, о красоте и святынях Киева. Экзарх горячо возмущается вандализмом гитлеровцев, ограбивших Киево-Печерскую лавру. Мирная беседа нарушается появлением мрачно-пьяного Погодина. Он шумно садится возле Кирсанова, потом обращает тяжелый взгляд на меня, наливает себе в бокал водки, поднимается и произносит в мою честь краткий, но не совсем связный спич, сопровождая его почему-то матерными словами. Черепанов и экзарх с каменными лицами смотрят вдаль, Кирсанов бледнеет, наклоняется через стол к сидящему рядом со мной советнику Левычкину и говорит вполголоса:

— Выведите его.

Левычкин растерянно моргает и нерешительно говорит Погодину:

— Николай Федорович, пойдемте отсюда погулять…

Они удаляются вдвоем, обнявшись.

Во время концерта неожиданно раздаются аплодисменты — это по лестнице, страдальчески улыбаясь, спускается Эренбург с завязанным глазом. Димо Казасов, министр просвещения, бежит к нему навстречу, усаживает за центральный стол, знакомит с

экзархом. Начинают показывать нудную болгарскую кинохронику. Я дремлю, пользуясь темнотой, но меня приводит в себя густой голос Погодина, который за моей спиной довольно громко и настойчиво уговаривает болгарскую девушку-распорядительницу спуститься с ним в машину. Она резко отказывается. Кирсанова больше не видно — посол, видимо, сбежал от всех этих дел… Наконец фильм кончается, зажигается свет. Экзарх троекратно лобызается с Черепановым, министры поочередно целуют у Его Блаженства руку. Он благодарит Эренбурга за его борьбу с фашизмом и за то, что тот, преодолевая болезненное состояние, нашел возможным принять участие в вечере. Прием закончен.

…Центральное событие следующего дня — это проводы Погодина, в которых я невольно принял участие. Утром, оказывается, было совещание Кирсанова с Бирюзовым. Там же присутствовали Эренбург и Сурков. Решили немедленно отправить Погодина в Москву на самолете. Организовать отправку поручили Исаеву. Об этом тот рассказал мне утром в редакции и уговорил меня поехать вместе с ним. Приехали в гостиницу, и Исаев попросил меня пойти вперед — «подготовить почву».

Погодин сидит на диване, трезвый и мрачный.

— Николай Федорович, получена телеграмма от Тихонова. Он просит вас немедленно вернуться в Москву.

Погодин иронически щурится:

— От Тихонова? Понятно, понятно… Ну, Алеша Сурков, Алеша Сурков… его работа.

Короче говоря, Погодина чуть ли не стаскивают вниз в машину, и мы мчимся на аэродром.

Остаток дня целиком уходит на подготовку обратного пути. Вечером в сурковском номере распиваются три бутылки красного вина по случаю награждения Суркова орденом Красного Знамени и моего соракапятилетия. (Я предпочел бы наоборот…)

Наш многострадальный «Адлер» исчерпал все свои возможности, нечего было и думать о поездке через горы в Румынию и даже о возвращении на нем в Вену.

— Ну и что ж? — сказал я. — Поедем обратно поездом, это даже удобнее и спокойнее. (Ох, как я ошибался…)

Кстати, тут я совершил деяние, которое по сей день считаю единственным подвигом в своей биографии. Дело в том, что наш шофер наотрез отказался ехать обратно, предпочтя остаться в Софии. И я сел за руль «Адлера», у которого не работали тормоза, сигнал и фары. Вечером по незнакомым, плохо освещенным улицам я провел нашу машину из конца в конец большого города и благополучно доставил на станцию. В особо ответственных

местах сигнал заменялся Лесновым, который высовывался из машины, размахивал руками и свистел. Не без труда мы нашли себе места в пассажирском вагоне, и так начался наш обратный путь из Софии в Вену. Ох, как мало напоминал он недавнее путешествие из Вены в Софию… Уже не мчались мы в машине по шоссе, обдуваемые ласковым ветерком, любуясь красивыми пейзажами, лихо козыряя на пограничных заставах. Теперь, стиснутые плотной толпой разношерстных пассажиров, озабоченных и угрюмых, забивающих купе и проходы немыслимым количеством мешков, корзин и чемоданов, мы мучительно медленно тряслись в грязных дребезжащих вагонах с выбитыми стеклами. Уныло и беспросветно простаивали мы часами на неведомых станциях, с боем захватывали места при пересадках с поезда на поезд, штурмуя вагоны в мощных рядах отпускников, командированных, демобилизованных, мешочников, перемещенных и прочих дорожных человеческих категорий.

Особенно запомнилась колоритная переправа через Дунай возле югославского города Петроварадин. Выехав из Белграда и миновав Земун, мы вскоре остановились у входа в туннель, вблизи от взорванного железнодорожного моста. Выйдя из поезда вместе с другими и ознакомившись с обстановкой, мы вступаем в переговоры с владельцем двухколесной арбы, в которую запряжен средней величины осел. Хозяин арбы погружает наши вещи и набирает чемоданы еще у десятка пассажиров, после чего большой группой во главе с ослом путешествуем по шоссе к Дунаю. У берега виднеются какие-то старинные крепостные стены и казематы. Я смутно вспоминаю, что по этим местам мы не так давно красиво прокатили на нашем «Адлере». «Бывали дни веселые…» Выходим наконец к реке и видим весьма безрадостную картину: у переправы сгрудились сотни машин, подвод, тележек, людей — понтонный мост разведен для прохождения пароходов. Ждать несколько часов нет смысла, и мы шагаем километр вниз по течению, туда, где работает паром. Здесь, однако, тоже вавилонское столпотворение. Дальше идти некуда, мы прощаемся с ослом, платим его хозяину по 20 динаров и протискиваемся к берегу. Вскоре медленно причаливает паром, и начинается высадка на берег людей, лошадей, повозок, автомашин. Я стою у края пристани, озабоченный главным образом тем, чтобы в суматохе не спихнули в воду. Однако именно это и происходит, когда выгрузка заканчивается и толпа с ревом устремляется по сходням. Меня выручает какой-то солдат, который одной рукой принимает мой чемодан, другой рукой хватает меня за пояс и я, крутясь в людском водовороте, оказываюсь на пароме. Леснова тоже сначала где-то затирают, но он пробивается на паром.

Плывем!

На другом берегу та же картина, но только наоборот: здесь мы высаживаемся, преодолевая свирепый напор погружающихся. Ослы тут, к сожалению, отсутствуют, но нам с несколькими попутчиками удается нанять какую-то случайную подводу.

Мы в Нови-Саде — оживленном, чистеньком, видимо, совсем не пострадавшем от войны городке с хорошо вымощенными улицами, аккуратными домиками и магазинами. Есть несколько современных зданий, виднеются и уютные, увитые зеленью особняки. Приветливо звеня, пробегает совсем игрушечный одновагонный трамвайчик, у ярких реклам кинотеатров толпится веселая, празднично одетая молодежь. И все это мы наблюдаем, позорно взгромоздясь на кучу запыленных чемоданов и неопрятных мешков, трясясь на виду у всех на какой-то допотопной телеге.

На новисадском вокзале мы с трудом втискиваемся в вагон переполненного состава, на котором поздно вечером прибываем в Суботицу. Отсюда начинается уже Венгрия. В Суботице еще одна пересадка. Снова с невероятными усилиями внедряемся в битком набитый вагон, в котором отсутствуют оконные стекла, а заодно и двери. Холод собачий. Начинается бессонная, тоскливая, бесконечная ночь. Все реальные признаки жизни исчезают, существуют только мрак и холод, так что я сам себе начинаю казаться каким-то одиноким космическим телом, несущимся в пространстве. Впрочем, движение весьма относительное, так как поезд то и дело останавливается и подолгу безнадежно стоит.

Наконец светает, но от этого не становится ни теплее, ни веселее. После нескончаемой кошмарной ночи медленно тянется нескончаемый томительный день. В силу необходимости пробираюсь на одной из остановок наружу и, выйдя на полотно, имею возможность полюбоваться нашим поездом. Зрелище гомерическое… Вагоны облеплены людьми так, что даже на крышах нет свободного места. Все забито мешками: везут кур, гусей и даже свиней.

Долго, мучительно ползем мы по мокрой осенней равнине, не упуская ни одной возможности постоять на каком-нибудь полустанке или просто среди поля. Скуку несколько нарушает пьяный галдеж одного нашего сержанта. Он с другим бойцом. Оба выпили, но тот, другой ведет себя прилично, а сержант с маниакальной настойчивостью омерзительно сквернословит всю дорогу, бессмысленно и упорно повторяя заученные им несколько нецензурных венгерских слов под молчаливо негодующие взгляды окружающих. Вмешаться и призвать к порядку — бесполезно: нарвешься на грубость и даже оскорбление. И

становится досадно и горько — до чего же мы умеем восстанавливать против себя жителей другой страны своей некультурностью и хамством.

Ну, вот и Будапешт. Мы попадаем в дружеские объятия Шандора Экка и его товарищей по политотделу. Нам гостеприимно отводят комнату, угощают обедом, мы с удовольствием моемся, чистимся и через час едем с Шандором в будапештскую оперу. Таковы превратности путешествия.

В Будапешт мы попали к горячим денечкам: выборы в столичный муниципалитет, вокруг которых развернулась острейшая политическая борьба. Меряются силами коммунистический и мелкособственнический блоки. Город заклеен плакатами, воззваниями, декларациями. Все захвачены азартом избирательной кампании и предвыборной агитации. Целый день разъезжаем с Экком по улицам Будапешта, заходим в избирательные участки, вступаем в разговоры с людьми. Результатов выборов мы ждем на квартире у Ворошилова. Тут же и Георгий Пушкин, глава советского представительства в Венгрии. Заходит, между прочим, разговор о том, каким должен быть памятник советским воинам, павшим при освобождении Будапешта. Я рассказываю, какое огромное впечатление произвел на меня монумент на горе Авала под Белградом с его аркой и восемью женскими фигурами вокруг могилы неизвестного солдата.

— Нет, нет, — говорит Ворошилов, — это не то. Где-то за городом торчит какая-то штука. Памятник нашим солдатам должен быть в гуще народа. В центре города.

— Климент Ефремович, — вступает в разговор Пушкин, — а что, если использовать площадь Героев? Там, где этот самый памятник Тысячелетия Венгрии.

— Что вы мелете? — сердито обрывает его Ворошилов. — Это же их история. История их народа, государства. Как вы можете такое предлагать?

Пушкин сконфуженно умолкает.

Забегая вперед, скажу, что для памятника советским воинам, павшим при освобождении Будапешта от гитлеровцев, нашлось отличное и достойное место. По проекту знаменитого венгерского скульптора Кишфалуди-Штробля мемориал был воздвигнут на горе Геллерт в возвышенной части венгерской столицы — Буде. Я не знаю, сохранился ли этот памятник по сей день. Ведь, как поется в песне, «призрачно все в нашем мире бушующем» — одни памятники неожиданно воздвигаются, другие — столь же неожиданно и беспощадно уничтожаются…

На другой день мы обедаем на квартире у Ворошилова. За

столом и его супруга Екатерина Давыдовна. Я рассказываю о наших путевых впечатлениях, о том, как мы обедали у маршала Тито, о встречах в Софии. Ворошилов слушает внимательно и благосклонно, а Екатерина Давыдовна как-то кисло и, я бы сказал, скептически-пренебрежительно. И вдруг прерывает меня вопросом:

— Вы лучше скажите, почему ОН его здесь держит?

Не трудно было понять, кто такой «ОН». Ворошилов бросил на свою жену укоризненный взгляд, как бы говорящий — к чему этот нелепый вопрос? А мне оставалось только пожать плечами.

Мне думается, что Екатерина Давыдовна зря огорчалась — в Будапеште то есть, по сути дела, в почетной ссылке, Ворошилову жилось спокойнее, чем это было бы в Москве, поблизости от Хозяина.

На другой день с попутной военной машиной мы выезжаем в Вену. Здесь меня ждет телеграмма из редакции — указание срочно вернуться в Москву. Мне предстоит новая поездка — на процесс главных гитлеровских преступников. Он начнется через три недели. В Нюрнберге.

Глава двадцать вторая

Советскую делегацию на Нюрнбергский процесс сформировали из наиболее известных в стране писателей, журналистов, кинооператоров, фотокорреспондентов, художников. Состав делегации был, несомненно, утвержден Сталиным, а может быть, им и указан. И я не мог не оценить включение меня в эту престижную группу вместе с Кукрыниксами. Ведь как-никак я числился, как «брат врага народа». К слову сказать, за прошедшие семь лет со дня ареста брата никто и никогда, ни единым словом и ни единым косым взглядом не давал мне это почувствовать. Напротив, на мне как бы лежал отблеск славы и популярности Михаила Кольцова. Помню, в самолете, стартовавшем из Москвы в далекий Нюрнберг, ко мне сразу подошел Всеволод Вишневский, обнял меня и тихо сказал:

— Эх… помню, как мы с твоим Михаилом… в Испании…

Он вздохнул и отвернулся. Я молча пожал ему руку.

После двухдневной остановки в Берлине мы вылетели в Нюрнберг. Конец дня омрачило досадное и огорчительное происшествие: когда К. А. Федин неосторожно выходил из машины на левую сторону, встречный грузовик задел открытую дверцу, и она с силой ударила Константина Александровича по ноге. Федина немедленно отвезли в военный госпиталь. О дальнейшей его поездке в Нюрнберг не могло быть и речи.

«Нас утро встречает прохладой» и отвратительной погодой. Все же мы стартуем из Адлерсфельда, аэропорта в Карлсхорсте — берлинском пригороде, где шесть месяцев назад была подписана безоговорочная капитуляция Германии. Американская воздушная служба обещает в районе Нюрнберга хорошую видимость. Пока что, однако, нет не только хорошей, но и плохой видимости — она вовсе отсутствует. Самолет движется в сплошном тумане, так называемом «молоке». Поглядывая в окно, мы кисло переглядываемся с Колей Соколовым («Никсом»). Наши сиденья рядом, и мы имеем полную возможность делиться впечатлениями. «Ку» и «Кры» занимают места несколько ближе к пилотской кабине. Дверь из нее отворяется, и оттуда показывается руководитель делегации Л. Р. Шейнин. Выражение его лица нисколько не поднимает наше настроение. Встретившись с моим вопросительным взглядом, он приближается и бодро говорит:

— Ну, старик, плохи наши дела.

— А что, Лев Романович? — спрашиваем мы с Никсом в один

(слегка дрогнувший) голос.

— Характеристика обстановки, друзья, вряд ли приведет вас в восторг, однако считаю возможным кратко информировать. Слушайте меня внимательно: полнейшее отсутствие видимости вплоть до Нюрнберга. (Здесь я опускаю не совсем парламентские выражения Шейнина по адресу американской службы погоды.) Впереди какие-то горы, в которых я, откровенно говоря, не вижу никакой надобности. Подняться выше не имеем возможности, ввиду реальной опасности обледенения. Повернуть обратно рискованно, так как за нами вплотную следуют два других самолета. Связаться с ними по радио немыслимо, так как все волны эфира забиты спортивным радиорепортажем из Лондона, где в эти минуты происходит матч между сборными футбольными командами Советского Союза и Англии. Есть еще вопросы?

К сообщению Шейнина не без интереса прислушиваются и другие пассажиры самолета. Сидящий у окна Роман Кармен, подтянутый и щеголеватый в шинели офицера-танкиста, оглядывает длинный ряд кресел, где сидят Леонид Леонов, Всеволод Вишневский, Всеволод Иванов, Семен Кирсанов, Кукрыниксы, другие известные в стране люди, и мрачно острит:

— Какой шикарный некролог!

Леонов, сидящий в кресле перед Никсом, вдруг резко поворачивается к нам. На щеках его пятна лихорадочного румянца. Выбившаяся из-под меховой ушанки прядь волос прилипла ко лбу.

— Руку! — отрывисто командует он.

Удивленный Никс протягивает ему руку.

— Не эту. Левую.

Бросив испытующий взгляд на левую ладонь Никса, он обращается ко мне:

— Вашу!

Следует быстрое и внимательное изучение линий моей руки, и хиромант-любитель успокоенно поворачивается к нам спиной… Мы с Никсом молча переглядываемся. Надо сказать, что наши «линии жизни» отнюдь не обманули Леонида Максимовича: Николаю Александровичу Соколову в 1999 году стукнуло 96, а я старше его на три года. Сам же Леонов благополучно прожил 95 лет.

Долетев вслепую до Нюрнберга и убедившись в абсолютной невозможности посадки, пилот повел наш самолет на Лейпциг, застав там также полное отсутствие видимости, и после этого, на последних каплях бензина, долетел до Берлина, приземлившись на том же аэродроме Адлерсфельд, с которого мы несколько часов назад стартовали.

Этот «прелестный» полет создал острые разногласия между членами делегации. Возмутителем спокойствия явился тот же Леонов.

— Безобразие! — кричал он. — Головотяпство! Посылают самолет, ничего не зная толком о погоде. А если американцы специально дают неправильные сведения о погоде? Меня послали в Нюрнберг на ответственнейшую работу! Я везу туда свою голову! Понимаете? Го-ло-ву! Так будьте любезны доставить меня туда в целости и сохранности. Обеспечьте харчами и укажите, где сортир. А летать взад и вперед я не согласен. Одним словом — никаких самолетов, ехать в Нюрнберг в машинах!

Мнения разделились. Одни считали, что надо продолжать ждать хорошую погоду и лететь в Нюрнберг самолетом, другие присоединились к Леонову. В числе их были Кукрыниксы. Я колебался. Но когда в последнюю минуту Миша Куприянов, уже вытаскивая из самолета чемодан, вопросил страшным басом: «Так что же, Боря, вы с нами или не с нами?», я решил не отрываться от сатирической фракции.

Отправившись рано утром из Берлина, сделав остановку в Лейпциге и заночевав в Цвиккау, мы достигли утром следующего дня границы американской оккупационной зоны. Вскоре выехали на превосходную, заблаговременно построенную Гитлером автостраду (Рейхсаутобан) и, промчавшись по ней на бешеной скорости, еще до восхода солнца прибыли в Нюрнберг, совершив при этом интереснейшую поездку по послевоенной Германии.

Мы в Нюрнберге. Еще с утра прилетели сюда остальные члены нашей делегации — погода благоприятствовала. Когда мы встретились с Карменом, мне от него крепко досталось.

— Ну, Боря, — говорил он, саркастически улыбаясь. — От кого-кого, но от вас я такого номера не ожидал. Неприглядное, надо сказать, зрелище представляли вы все, когда, тряся задами, вытаскивали из самолета свои чемоданы.

— Подождите, Рима, — защищался я, — мы же — художники, а не репортеры и не кинооператоры. Нам же не обязательно присутствовать на процессе с первой минуты. Морду Геринга или Риббентропа мы можем зарисовать и на второй день, и на пятый, и на десятый. Что от этого изменится?

— Все равно, — строго сказал Кармен. — Нехорошо отрываться от коллектива. Не такие уж мы плохие люди.

Согласие было восстановлено, и мы даже поселились с Карменом вместе в одном номере «Гранд-отеля» в центре города. Впрочем, ненадолго: вскоре я обнаружил, что живу не в обыкновенном гостиничном номере, а в некоем оперативном пункте, где то и дело появляются и вновь исчезают взмыленные

кинооператоры и фоторепортеры, управляемые твердой рукой Римы Кармена. Сигаретный и трубочный дым днем и ночью висел в воздухе. И через пару дней, не встречая со стороны Кармена ни малейшего сопротивления, я съехал от него и объединился в одном номере с милейшим и, главное, как и я, некурящим, известным украинским писателем Юрием Яновским, с которым мы прожили в мире и согласии все нюрнбергские дни.

…*Я* общался с Карменом и в последущие годы. Его мастерство и опыт, так же как и известность, неуклонно росли, ширились масштабы его деятельности. Один за другим выходили в свет его фильмы, а также книги путевых очерков и впечатлений. Мы теперь редко с ним встречались, но как-то столкнулись, в период, когда он работал над фильмом «Сердце Корвалана».

— А знаешь, Рима, — сказал я ему, — в твоей группе работает оператором мой внук, Витя. Как он там? Не жалуешься на него?

— Витя? Да, есть такой. Неплохо работает. Подожди! Так это твой внук? Боже мой! Взрослый внук Бори Ефимова работает у меня оператором! С ума сойти! Какие же мы с тобой старые… А кстати, что твой Витя говорит о своей работе?

— Говорит, что очень доволен, потому что проходит у тебя хорошую школу.

— Что ж, правильно говорит, — засмеялся Кармен, — хотя, я знаю, трудно со мной работать. Я ведь, Боря, беспощаден к себе и от других требую того же.

Слова «беспощаден к себе» Кармен произнес уже без всякой улыбки, с какой-то большой внутренней силой и, как мне показалось, с оттенком горечи.

Навсегда осталась в моей памяти наша последняя встреча. Это было в вестибюле Дома литераторов. Он куда-то торопился, но, увидев меня, остановился и сказал:

— Боря, хорошо, что встретились. Хочу тебе сообщить, что мы с Костей Симоновым решили сделать фильм о Михаиле Ефимовиче. В основу сценария ляжет очерк Кости «Михаил Кольцов — борец против фашизма». Я сейчас в жуткой запарке, заканчиваю «Великую Отечественную». Страшно устал. Отдохну месяц-другой и возьмусь за это дело.

И он побежал дальше. А буквально через четыре дня, когда я вечером сидел у телевизора, на меня с экрана глянуло лицо Римы Кармена. Оно было в черной траурной рамке.

…Рослый солдат американской военной полиции бросает беглый взгляд на наши пропуска, цедит неизменное «О’кей», и мы выходим из подъезда гостиницы на центральную площадь Нюрнберга. Прямо перед нами в мглистом тумане ноябрьского

утра проступает огромное здание вокзала, левее — многоэтажный главный почтамт, на углу — массивный фасад Рейхсбанка. Все эти строения разрушены. Ледяной злой ветер свищет в зияющих глазницах окон, скрипит кирпичами расколотых стен, громыхает искореженными железными листами крыш. Не проходит и дня, чтобы не обрушилось два-три разбомбленных дома, и прохожие опасливо задирают головы. Облезлые и потертые, увешанные всевозможными рюкзаками, сумками и корзинками, люди понуро бредут вдоль мостовой и толпятся на остановках желтого трехвагонного трамвая. С лязгом и грохотом проносятся огромные американские грузовые «студебеккеры», лихо управляемые шоферами-неграми. Мокрый снег грязным, скользким месивом покрывает улицу.

Слава этого города — как добрая, так и дурная — исходит из разных источников. Прежде всего он известен с давних времен как «город-музей»: вплоть до Второй мировой войны в Нюрнберге в полной сохранности и абсолютной целости сохранились дома, соборы, укрепления, мосты и другие здания, сооруженные в XIV–XV веках, причем сохранились не как отдельные памятники старины, уцелевшие среди современных построек, а просто весь средневековый город целиком дошел до наших дней в том виде, в каком он существовал 500–600 лет назад. С той, конечно, поправкой, что в старинные дома было проведено электричество, водопровод, телефон — всевозможное оборудование современного комфорта, да и жители этих домов носили не средневековые плащи и камзолы, а прозаические пиджаки и брюки. С Нюрнбергом связано имя замечательного немецкого художника Альбрехта Дюрера. Здесь происходили знаменитые состязания мейстерзингеров — «нюрнбергских мастеров пения», давших Рихарду Вагнеру сюжет для его известной оперы. До войны можно было видеть в полной сохранности и здание, где состязались средневековые певцы — монастырь святой Катерины, служивший, кстати, и своего рода «Оружейной палатой» Германии — здесь хранились имперские сокровища и реликвии, вроде меча, скипетра и державы Карла Великого, основателя первого рейха.

Неудивительно, что к этому историческому городу обратились взоры основателей и третьего гитлеровского рейха, когда им понадобилось создать «священную столицу» нацистского движения, достойную цитадель «культа Вотана» и прочей зловещей бутафории немецко-фашистского варварства. Конечно, не творческая слава Дюрера или поэта Ганса Сакса, не мастерство создателей всемирно известных нюрнбергских игрушек привлекло при этом гитлеровских главарей. Им мерещились

совсем другие картины, песни и «игрушки». Их изуверским устремлениям и наклонностям импонировал Нюрнберг — город безжалостных ландскнехтов и кровавых истязаний, достойным памятником которых остается самый известный в Европе по богатству «экспонатов» музей пыток с его знаменитой «нюрнбергской железной девой». Город фанатических религиозных войн и погромов, город нетерпимости и жестокости, до наших дней бережно сохранивший такие уютные наименования, как Мост казней или Набережная палачей. И вот новая мрачная страница открылась в истории Нюрнберга, новое, модернизированное средневековье обосновалось в его средневековых стенах. В Нюрнберге зажглись первые костры, в которые швырялись книги Маркса и Гейне, Толстого и Роллана, Горького и Фейхтвангера. По его улицам прошли первые факельные шествия штурмовиков и эсэсовцев, на его площадях стали традиционно проводиться зловеще-шутовские шествия, парады и смотры гитлеровской орды, в специально построенном здании начали ежегодно собираться «рейхспартейтаги» — съезды нацистской партии. Именно здесь, в Нюрнберге, утверждена Адольфом Гитлером и подписана Рудольфом Гессом бредовая булла человеконенавистничества и мракобесия, получившая название «нюрнбергских расовых законов». И не случайно гаулейтером, то есть партийным главарем Нюрнберга, стал один из наиболее омерзительных подручных Гитлера, редактор пресловутого погромного журнальчика «Дер штюрмер» — Юлиус Штрейхер.

Естественно, что, когда встал вопрос о выборе места суда над заправилами гитлеровского рейха, все взоры снова обратились к Нюрнбергу — настолько очевидна была великая историческая логика и закономерность того, чтобы именно здесь, в нацистской Мекке, видевшей восхождение, торжества и триумфы фашистов, они понесли справедливую кару.

Итак, мы вышли из подъезда «Гранд-отеля», чтобы отправиться на утреннее заседание Международного трибунала. Он заседает во Дворце правосудия — бывшем Баварском областном суде (Ландесгерихт). Есть некоторая символика в том, что Дворец правосудия — одно из немногих уцелевших после войны в Нюрнберге строений. Он сохранился как будто специально для того, чтобы правосудие над гитлеровскими преступниками могло иметь место именно в столь любезном их сердцу городе. И вот мы движемся сквозь запутанные каменные джунгли, хаотическое нагромождение мрачных развалин того, что раньше называлось «городом-музеем», а сейчас следовало бы назвать «городом-мертвецом». Угрюмо поникли черные скелеты

готического собора святого Зебальдуса и знаменитой Фрауэнкирхе, еще сравнительно недавно видевших перед собой помпезные парады штурмовиков. Война, которую с таким циничным упоением разжигали германские фашисты, которую, захлебываясь, славословили их хриплые глотки с трибун «рейхспартейтагов», в честь которой трещали барабаны и гремели фанфары на улицах и площадях Нюрнберга, — эта война вернулась в свою нюрнбергскую берлогу с удесятеренной яростью и неистовством. И уютные средневековые улочки «города-музея», так заботливо оберегаемые и лелеемые немцами на протяжении столетий, рассыпались бесформенной грудой обгорелых камней. Только кое-где выглядывают неизвестно как уцелевшие домики с черепичными крышами, как бы сошедшие с иллюстраций к сказкам братьев Гримм. Каким-то чудом сохранился и дом, где жил и работал Альбрехт Дюрер.

Скажу откровенно: советских людей, видевших израненные гитлеровцами Петродворец, Новгород или Киев, трудно было разжалобить руинами Нюрнберга. И все же досадно наблюдать бессмысленное уничтожение несомненных художественных ценностей, вобравших в себя столько человеческого труда, искусства и умения. Пересекая центральную площадь Старого города, мы проходим мимо большой подземной общественной уборной, которая, однако, используется сейчас не по прямому своему назначению, а как жилье. Причем, говорят, что поселившиеся там нюрнбержцы считаются ловкачами и людьми, умеющими устроиться в жизни, по сравнению с теми своими согражданами, которые зимуют в землянках и дощатых шалашах. Возле этого «общежития» кто-нибудь из нас обязательно вспоминает о «жизненном пространстве», которое Гитлер обещал немцам, а Юрий Яновский неизменно произносит украинскую поговорку: «Бачили очи, що куповапи — теперь ижьте, хочь повылазьте…» Наконец мы оставляем за собой мертвый Старый город и выходим на широкую, тоже полностью разрушенную Фюртерштрассе, в конце которой расположена серая громада Дворца правосудия. Его хмурый монументальный фасад оживляют только яркие полотнища государственных флагов четырех союзных держав. Наружную охрану Международного военного трибунала поочередно несут воинские караулы четырех союзных армий. Сегодня на страже стоят советские гвардейцы — простые, крепкие, загорелые ребята. Они пришли сюда с берегов Волги, о чем свидетельствует на их груди символическое сочетание медалей «За оборону Сталинграда» и «За взятие Берлина». Мы предъявляем первый свой пропуск, идем нескончаемым лабиринтом длиннейших коридоров, выложенных

скользкими и звонкими каменными плитками, поднимаемся по лестнице и здесь предъявляем второй. Американец в белой каске долго и глубокомысленно сравнивает оба пропуска, тщательно сверяя аутентичность двух наших собственноручных подписей. Он вдобавок похлопывает слегка по нашим карманам (оружие…) и заглядывает в портфель. Наконец, в должной мере проявив бдительность, он открывает темную дубовую дверь, ведущую в зал заседаний. Суд еще не выходил, скамья подсудимых тоже пока пустует и в нашем распоряжении достаточно времени, чтобы внимательно осмотреться вокруг. Зал невелик. Он был еще меньше, но для данного процесса его расширили, увеличив количество мест для публики, которой, впрочем, строго говоря, нет, так как все эти кресла занимают представители печати. Длинные электрические трубки «дневного света» ярко освещают внутренность зала, отделанного панелями темного резного дуба со всевозможными аллегорическими барельефами, вроде традиционных «Весов правосудия», библейских скрижалей и даже… грехопадения Адама и Евы. Эта архаическая символика сочетается с ультрасовременным техническим оборудованием: зал радиофицирован, кинофицирован, оснащен звукозаписывающими и стенографирующими аппаратами, оборудован сложной и остроумной системой перевода сразу на четыре языка и т. п. Помещение суда настолько насыщено всевозможными приборами и опутано проводами, что где-нибудь что-нибудь обязательно портится. Особенно часто — линии перевода. Однажды я был свидетелем маленького комичного эпизода. Читая какой-то материал, английский обвинитель вдруг остановился, поднял голову, потянул носом и сказал:

— По-моему, что-то горит. Я чувствую запах жженой резины.

Все, не исключая подсудимых, стали принюхиваться, заглядывать под столы, стулья и ковровые дорожки, порядок в зале был нарушен, и председательствующий лорд-судья Лоренс, тоже пару раз потянув носом, сказал:

— Объявляется перерыв судебного заседания трибунала для выяснения причин запаха.

Такая типично английская манера выражаться очень забавна. Как-то, например, шел допрос свидетеля, группенфюрера СС Лахузена. Допрос был закончен, но через несколько минут в связи с каким-то вопросом Лахузен понадобился снова. Лоренс просит вновь ввести свидетеля. Входит комендант. Происходит следующий диалог:

— А где же свидетель? — спрашивает Лоренс.

— Его нет, — отвечает комендант.

— А где он?

— Его увели.

— Кто?

— Те, кто его привел.

— Куда?

— Туда, откуда его привели.

— Тогда скажите тем, — подумав, говорит лорд-судья, — которые его привели, а потом увели, чтобы они его снова привели.

Трудно было удержаться от смеха, слушая этот чисто диккенсовский обмен репликами.

Говоря военным языком, передним краем скамьи подсудимых являются столы, за которыми занимают позицию защитники гитлеровских преступников. Здесь собрались самые опытные и прожженные крючкотворы Германии (среди них четыре бывших члена нацистской партии) — все эти Серватиусы, Штамеры, Диксы и Зейдли. Чем-то средневековым веет от этих фигур в черных балахонах и беретах.

Тяжелая узкая дверь, почти незаметная в покрытой дубовыми панелями стене, отворяется, и в ней показывается объемистая фигура Германа Геринга. Он с трудом протискивается и занимает первое место в первом ряду скамьи подсудимых. За ним появляется американский полицейский, затем Гесс. Потом снова полицейский и — Риббентроп. Снова полицейский и — Кейтель. Так, чередуясь с охраной, выходят из двери и усаживаются на скамью все подсудимые.

Рассмотрим главных из них по порядку.

Вот — Геринг. Сколько раз любому карикатуристу доводилось изображать жирную тушу этого «нациста № 2», разряженного в придуманные им самим шутовские маскарадные костюмы, униформы и плащи, с подбородка до паха увешанного орденами, крестами, орлами, лентами. Теперь на нем застегнутый на все пуговицы двубортный серый китель. Геринг держится развязно и нагло, всячески подчеркивая, что, если в гитлеровской иерархии он был вторым, то здесь, на скамье подсудимых, он — первое лицо. Из него так и прет активность. Он беспрерывно и деятельно реагирует на все, что происходит на процессе, подчеркнуто внимательно слушает чтение материалов и показания свидетелей, то утвердительно, то отрицательно качая головой и саркастически кривя рот. Он часто записывает что-то в блокнот или глубокомысленно покусывает карандаш. На его надутой тщеславной физиономии как бы написано: «Смотрите только на меня! Это я — Герман Геринг, центральная фигура процесса! Смотрите, как я величественен и уверен в себе!»

Я думаю, что Геринг втайне гордится и тем, что к нему

приставлен специальный, «персональный» полисмен. В то время, как остальная охрана находится позади скамьи подсудимых, за спинами преступников, этот прикрепленный к Герингу полицейский стоит вплотную лицом к нему, спиной к публике, заложив руки назад и поигрывая резиновой дубинкой. Я видел, как однажды, в самом начале процесса, эта дубинка была пущена в ход. Еще, видимо, не совсем освоившись в новой обстановке и продолжая чувствовать себя персоной высшего ранга, Геринг очень непринужденно и свободно перевесился через барьер, чтобы поговорить со своим адвокатом Штамером. И тогда бесцеремонный янки, не говоря ни слова, энергичным движением дубинки вернул толстяка в исходное положение. Надо было видеть глупое и злобное выражение на лице оторопевшего Геринга, чтобы понять, какое искреннее удовольствие доставила нам эта колоритная сценка.

И еще очень приятно было во время одного из небольших перерывов в заседании, когда подсудимых не выводят из зала, подойти вплотную к самому барьеру и, стоя в полутора метрах от Геринга (можно дотянуться рукой), сосредоточенно на него уставиться. Сначала Геринг делает вид, что не обращает никакого внимания на назойливое разглядывание. Потом оно начинает его раздражать, и он нервно отворачивается, метнув исподлобья свирепый взгляд. Наши глаза на долю секунды встречаются, и мне приходит на память персонаж из романа Фейхтвангера «Лже-Нерон», свергнутый с высоты своего величия фельдмаршал Требон, прототипом которого, несомненно, явился Геринг. Во взгляде Геринга я ясно читаю: «Эх, если бы этот тип попался мне год назад…»

Рядом с пухлым, воспаленно разрумянившимся, лихорадочно возбужденным Герингом особенно контрастно выглядит Гесс — землисто-желтая, бескровная, высушенная, как у тысячелетней мумии, маска, с невообразимо мохнатыми бровями и настолько глубоко провалившимися глазами, что они кажутся пустыми глазницами, как у черепа. Плотно сжатый безгубый рот и огромные уши дополняют эту физиономию. Первые дни процесса Гесс провел в состоянии полнейшей прострации, сообщив через своего адвоката, что его постигла полная потеря памяти (амнезия), наличие которой было подтверждено и компетентной медицинской экспертизой. Однако гораздо более точно и, как оказалось, безошибочно, определил состояние Гесса опытный криминалист Лев Шейнин, который, поглядев прищурившись на погруженного в меланхолию бывшего заместителя фюрера, сказал нам, применяя вполне уместную в данном случае «блатную» терминологию:

— Братцы, по-моему, Гесс филонит под психа.

Эта фраза нас очень развеселила и вошла в наш лексикон для обозначения каких-либо неожиданностей. И даже в стишки поэта Кирсанова: «Над Нюрнбергом ночь тиха, а Гесс филонит под психа» или «Хотел жене купить меха, но Гесс филонит под психа». На десятый день процесса Гессу, видимо, наскучило «филонить». Он попросил слова и сообщил, что к нему неожиданно вернулась память, вследствие чего он готов давать показания. Можно себе представить конфуз ученых экспертов, только что авторитетно установивших неизлечимую амнезию.

За Гессом сидит Риббентроп — гитлеровский министр иностранных дел и пресловутый «сверхдипломат». Некогда блестящий светский франт и сердцеед (вспомним, с каким шиком он появился в Москве в 1939 году. Он даже пытался затеять флирт с одной известной балериной, которую пришлось срочно отправить из Москвы), теперь он имеет настолько облезлый и жалкий вид, что вызывает даже удивление.

— Смотрите, — говорит кто-то, — какой помятый вид у Риббентропа.

— Ничего, — находчиво отвечает кто-то другой, — *отвисится!*

Зато сосед «сверхдипломата» матерый гитлеровский волк Кейтель всеми силами старается сохранить бравый, подтянутый вид: аккуратно выстриженный затылок, тщательно причесанная седая щетина на голове, колючие, встопорщенные усики, выутюженный мундир. Старый прусский солдафон буквально лезет вон из кожи, чтобы показать, что он не потерял амбиции.

Олицетворение бездонной злобы — это «знаменитый» Альфред Розенберг, «идеолог и философ» нацистского мракобесия, некогда неутомимый провозвестник бредового «культа Вотана», главный блюститель чистоты арийской расы и «истинно германского духа». В дни войны Розенберг — рейхсминистр Восточных областей, иными словами наместник Гитлера по угнетению, ограблению и истреблению жителей захваченных гитлеровцами русских, украинских и белорусских земель. Сейчас у «рейхсминистра Востока», пожалуй, наиболее угнетенный и мрачный вид среди всех обитателей скамьи подсудимых. Черный, чугунный страх перед приближающейся виселицей, видимо, пронизывает все его существо и как бы выпирает наружу. Изредка тяжелым взором обводит он зал и места для прессы и снова погружается в оцепенение.

Я зарисовываю в свой блокнот мрачную физиономию Розенберга, пытаюсь представить себе при этом его внутреннее состояние и не могу не вспомнить строки Гоголя из повести

«Страшная месть»: «Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе у колдуна… То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать…»

«Жгло и пекло» и всех остальных соседей Розенберга по скамье подсудимых, всех этих вчерашних рейхсминистров, рейхсфюреров, генерал-фельдмаршалов, гауляйтеров… Жгло и пекло за неудавшийся «блицкриг», за провал плана «Барбаросса», за поражение под Москвой, за разгром под Сталинградом, за проигранную войну. Возможно, что жгло и пекло за бессмысленные злодеяния в Майданеке, Треблинке, Бухенвальде, десятках других лагерей смерти, к которым большинство из них не имело прямого отношения, но за которые приходилось держать ответ, поскольку главных палачей — Гитлера и Гиммлера здесь не было.

…По вечерам, когда мы были свободны от процесса, собирались у кого-нибудь в номере, обсуждали эпизоды минувшего дня, трепались, шутили… Кто-то высказал предположение, что американцы установили в наших номерах подслушивающие устройства — «жучки». Предполагалось, что они находятся в настольных лампах. И помню, Всеволод Вишневский, подвыпив и наклонившись вплотную к лампе, начинал кричать:

— Плевали мы на вашу атомную бомбу!

А Всеволод Иванов туда же в лампу скандировал одно и то же короткое нецензурное слово. Забыл сказать, что мы с Кукрыниксами присвоили нашей делегации своего рода «табель о рангах». Наивысшим рангом были «ферапонты» — представитель ЦК Кузмин и Шейнин, за ними шли «курофеи» — писатели Леонов, Вишневский, Иванов, после них — «халдеи», по фамилии одного из фотокорреспондентов, а себя мы именовали — «иные-прочие». Между прочим, маститые «курофеи» не очень между собой ладили. Я случайно стал свидетелем крупного разговора между ними — один «курофеи» кричал другому:.

— Ты думаешь, я забыл, что ты обо мне писал в «Литгазете»?

А тот кричал в ответ:

— А ты думаешь, что я не знаю, как ты говорил обо мне на секции прозы?

Я поспешил уйти.

Пребывание в «Гранд-отеле» было не очень уютно. Топили неважно, и в номере стоял собачий холод, тем более что здание было расколото пополам при одной из бомбежек Нюрнберга. Была проблема с питьевой водой. Поскольку река Пегниц и

городские водохранилища еще не были освобождены от трупов, то в коридорах гостиницы установили деревянные козлы, на которых висели брезентовые меха с водой, годной для питья. Правда, воду никто не пьет, так как в ресторане и в баре всегда имеется ананасовый, апельсиновый или грейпфрутовый сок, а также знаменитая кока-кола, описанная еще Ильфом и Петровым. Это — хорошо. Но зато американская кухня здесь — это что-то чудовищное по невкусности и неаппетитности. Это — пресные каши, лежалые яйца, консервированное мясо с вареньем, котлеты с кремом, соленые огурцы с сахаром, все сладкое, все приторное. Особенно донимает то, что к столу вместо хлеба подается сладкий кекс с изюмом, с которым надо кушать и суп и мясо. Когда Шейнину его жена прислала из Москвы с оказией несколько маринованных селедок и бутылку настоенной на чесноке водки, то это распределяли на всю делегацию, как ценнейшие витамины.

Как-то мы с Шейниным где-то сильно задержались и, придя в ресторан гостиницы к концу обеденного времени, с большим трудом добились двух порций консервированной и, конечно, сладкой индейки. В этот момент к нам подошел вахтер и сказал, что некий только что приехавший господин требует к себе кого-нибудь из советской делегации.

— Боря! — сказал Шейнин. — Умоляю вас. Я дико проголодался. Пожалуйста, спуститесь вниз и узнайте, в чем дело.

В вестибюле я застал человека в берете и желтом дубленом полушубке, находившегося в состоянии крайнего раздражения. Это был Илья Эренбург. В этот момент в вестибюль спустился и Шейнин.

— Что у вас тут происходит? — повышенным тоном заговорил Эренбург. — Я приехал из Праги на «виллисе», который мне дал генерал Свобода, устал, проголодался, а меня, Эренбурга, не пускают в гостиницу, требуют какой-то пропуск. Что тут происходит?

Растерянно на меня посмотрев, Шейнин произнес уже ставшее для нас привычным:

— А Гесс филонит под психа.

— Что? — переспросил Эренбург. — При чем тут Гесс? Что за чушь?

— Нет, нет, Илья Григорьевич, — спохватился Шейнин, — это так… не обращайте внимания.

Я с пеной у рта принялся объяснять администратору, что речь идет об известнейшем советском писателе и антифашистском деятеле, невнимание к которому будет иметь самые серьезные

последствия. Администратор, поколебавшись, дал разрешение. Эренбург устроен. Кроме того (считаю это фактом своей биографии), я уступил Илье Григорьевичу мою уже полуостывшую индейку. Тут меня опять вызвали в вестибюль. Оказывается, водитель «виллиса», на котором приехал Эренбург, спрашивает, что ему делать дальше. Должен ли он остаться в Нюрнберге или может вернуться в Прагу? Я поднимаюсь обратно в ресторан. Эренбург уже съел индейку и пьет кофе.

— Илья Григорьевич, — спрашиваю я, — шофер интересуется, что ему делать дальше.

— Оставьте меня в покое, — раздраженно отвечает Эренбург. — Делайте что хотите.

Я спускаюсь обратно в вестибюль и отпускаю шофера в Прагу. Этим, однако, мои мытарства не закончились. На другой день Илья Григорьевич «доверил» мне хлопоты по получению для него пропуска на процесс. И начались хождения по американским бюрократическим орбитам в поисках некоего полковника Мэдэри, ведавшего пропусками. Все остальные офицеры, сидящие в кабинетах американских канцелярий, невозмутимо объясняли нам, что выделенный для советской стороны лимит пропусков на процесс уже исчерпан и они ничем не могут быть полезны. Эренбург постепенно доходит до белого каления.

— Скажите ему, — нервно говорит он, — что я приехал сюда только на два дня и если мне немедленно не дадут пропуск, я сейчас же уеду. Пусть станет известно, что Эренбурга не пустили на процесс гитлеровских разбойников.

Я старательно перевожу эту тираду очередному американскому майору, на которого она не производит ни малейшего впечатления. Он невозмутимо повторяет, что лимит пропусков на советскую делегацию исчерпан и он ничем не может помочь.

«А Гесс филонит под психа», — мелькает у меня в голове.

Кончается это тем, что Эренбург берет мой пропуск и преспокойно проходит в зал суда.

…В Нюрнберг приехал и Дэвид Лоу. Седой, но свежий и моложавый, в военной форме с нашивками военного корреспондента, маститый английский сатирик очень оживленно приветствовал своих советских коллег. В баре нюрнбергского «Гранд-отеля», где еще не так давно рассиживались всевозможные гауляйтеры и оберштурмфюреры, карикатуристы-союзники весело уселись за одним столиком с бокалами в руках. Завязалась непринужденная дружеская беседа. Заговорили и о дальнейших творческих планах.

— Фашистов я буду отныне изображать так, чтобы люди,

глядя на рисунок, зевали, — заметил Лоу.

Мы с Кукрыниксами переглянулись.

— А почему, собственно, люди, глядя на ваш рисунок, должны зевать? — осведомился Порфирий Крылов.

— А потому, что они должны чувствовать, какая это скучная и до тошноты надоевшая вещь — фашизм, — ответил Лоу.

— Скучная? — переспросил я. — Но мне кажется, что в последние годы, мистер Лоу, нам с вами, как и очень многим другим людям, не приходилось жаловаться на скуку…

— И тем не менее я хочу сейчас показать фашизм настолько скучным и неинтересным, чтобы никому не хотелось быть фашистом.

Мы с трудом верили своим ушам. Еще лежали в развалинах английские, русские и французские города. Еще не остыли кошмарные печи Майданека и Освенцима и взывала к возмездию кровь неисчислимых жертв фашизма. Еще бродили по улицам того же Нюрнберга невыловленные эсэсовцы и «вервольфы», а крупнейший сатирик и видный общественный деятель Англии уже буквально на глазах возвращался к прежнему благодушию — к своему довоенному пренебрежительно-ироническому отношению к фашистским преступникам. Мы удивлялись, хотя, может быть, еще не понимали в полной мере, что такие нотки были, как показали последующие годы, ростками примиренческого, «гуманного» отношения к охвостьям разгромленного гитлеризма. Кстати сказать, той же благодушной, юмористической интонацией окрашен рисунок Лоу, изображающий фашистских преступников на нюрнбергской скамье подсудимых. Не убийц, не садистов и изуверов видит на этой скамье английский карикатурист, а неисправимо тщеславных, туповатых, хотя и немного приунывших бюргеров. А в уста Геринга, палача миллионов людей, вкладывается реплика, иронизирующая всего-навсего только над его страстью к помпезности и эффектным зрелищам. Обращаясь к своим соседям по скамье, Геринг говорит, указывая на суд:

— Ни литавр, ни фанфар, ни флагов — просто смешно! Насколько лучше организовали бы это мы!

Но несмотря на то что отдельные работы Лоу вызывают желание поспорить с его трактовкой тех или иных событий и явлений, я хочу подчеркнуть здесь свое глубокое уважение к творчеству и памяти этого блестящего мастера, выдающегося политического карикатуриста современности, убежденного противника фашизма. Нельзя забывать, что он был твердым и верным соратником советских сатириков в грозные годы войны против гитлеризма и что рядом с Кукрыниксами и со мной он

значился в гестаповском «черном списке» лиц — врагов нацистского режима, подлежащих уничтожению.

Но нельзя не сказать и о том что, если в довоенные и военные годы нас с Лоу объединяли не только взаимные личные симпатии и общая наша ненависть к фашизму, если мы одинаково охотно рисовали карикатуры на Гитлера и Муссолини, то в годы «холодной войны», при сохранившихся взаимных симпатиях, наши взгляды и творческие пути резко разошлись.

Теперь мои «сатирические стрелы» летели в «поджигателей войны» — Черчилля, Бевина, Трумэна, Ачесона и других англо-американских деятелей. А в карикатурах Лоу в то же время в качестве «поджигателей» и виновников международной напряженности фигурировали, с присущей Лоу выразительностью нарисованные, Сталин и Молотов. Что поделаешь? Такова логика и неписаные законы политической сатиры, которая не может не отражать позиции и взгляды своего правительства в международной политике.

В этой связи не могу не рассказать об одной карикатуре, нарисованной мною по прямому указанию Сталина и при его непосредственном участии.

Глава двадцать третья

В один из весенних дней 1947 года (точной даты не помню) мне позвонил главный редактор «Известий» Л. Ф. Ильичев.

— Вам надлежит быть завтра к десяти часам утра в ЦК, в зале, где происходит дискуссия по книге Георгия Александрова о западноевропейской философии.

— Леонид Федорович! — удивился я. — А какое, собственно, отношение я имею…

— К десяти утра, — лаконично повторил Ильичев. — Вход с Ипатьевского переулка. Пропуска не надо. Назовите свою фамилию. Часовой будет предупрежден.

Я был в полном недоумении, однако решил не уклоняться от столь любезного, но настойчивого приглашения и назавтра к назначенному сроку явился на дискуссию.

Собрание еще не началось, фойе было переполнено людьми. Мое внимание сразу привлек книжный киоск. Хорошие книги были в ту пору в большом дефиците, и я с удовольствием приобрел два собрания сочинений — Николая Лескова и Марка Твена. Между тем прозвучали звонки, призывающие в зал, а я остался в опустевшем фойе с двумя тяжелыми связками книг в руках и не знал, что делать дальше. Не заметил, чтобы кто-нибудь интересовался моей особой. Так же мало интересуясь спорами о книге Александрова и учитывая, что мой приход сюда зафиксирован у часового, я подумал — а не вернуться ли мне потихоньку домой… Но в этот момент ко мне подлетели два запыхавшихся товарища, оба в традиционных «партийных» кителях из серого габардина.

— Вы Ефимов?

Получив утвердительный ответ, не говоря больше ни слова, они подхватили меня под руки и вместе со мной и пачками моих книг понеслись через весь переполненный зал, с удивлением наблюдавший это странное зрелище. Прибежав за кулисы, подвели меня к одной из дверей и открыли ее, сказав:

— Пройдите к Андрею Александровичу. К товарищу Жданову.

Жданов был тогда одной из самых высоких партийных фигур — член Политбюро, секретарь ЦК по идеологии и, к тому же, состоял в родстве с самим Хозяином — сын Жданова Юрий был мужем дочери Сталина Светланы.

Жданов весьма приветливо со мной поздоровался, пригласил сесть на один из стоящих у стены стульев и сам уселся рядом.

— Мы вот почему вас побеспокоили, — начал он. — Вы, наверно, читали в газетах сообщения о военном проникновении

американцев в Арктику под тем предлогом, что им оттуда грозит «русская опасность». Товарищ Сталин сказал, что это дело надо бить смехом. Товарищ Сталин вспомнил о вас и просил поговорить с вами — не возьметесь ли вы нарисовать карикатуру на эту тему.

При словах «товарищ Сталин вспомнил о вас…», я склонил голову и слегка развел руками, давая этим понять, как высоко я ценю доверие товарища Сталина и приложу все силы, чтобы это доверие оправдать. Но у меня тревожно сжалось сердце. Попасть в орбиту внимания Сталина было столь же почетно, сколь и опасно. При его феноменальной памяти, вспомнив обо мне, он, без сомнения, вспомнил и о том, что я — родной брат репрессированного им и расстрелянного Михаила Кольцова. И малейшее неудовольствие Хозяина, малейшая неудача в исполнении его задания могли привести к большой беде для меня и моей семьи.

Между тем Жданов продолжал:

— Товарищ Сталин так, примерно, представляет себе этот рисунок: генерал Эйзенхауэр с целой военной армадой рвется в Арктику, а рядом стоит простой американец и спрашивает: «В чем дело, генерал? Почему такая бурная военная активность в этом мирном районе?» А Эйзенхауэр отвечает: «Разве вы не видите, что нам отсюда грозит русская опасность?» Или что-нибудь в этом роде.

— Нет, нет, — поспешил сказать я. — Зачем что-нибудь другое? По-моему, это очень здорово. Разрешите, я так и нарисую.

— Что ж, хорошо, — сказал Жданов. — Я так и доложу товарищу Сталину.

— Позвольте, Андрей Александрович, только один вопрос. Когда нужен этот рисунок?

— Когда? — Жданов на секунду задумался. — Ну, мы вас не торопим, но и особенно задерживать не надо. Всего хорошего.

Сотрудник охраны проводил меня до машины, неся за мной обе пачки книг, и я уехал домой, уже по дороге размышляя над этой туманной формулировкой: «Не торопим, но и не задерживайте…»

«Если я сделаю рисунок через день-два, — думал я, — могут сказать: «Поторопился. Небрежно отнесся к заданию товарища Сталина. Схалтурил». Это опасно. А если через четыре-пять дней, могут сказать: «Затянул. Не понял оперативности задания товарища Сталина. Предпочел другие дела». Это еще опаснее…»

Как всегда в подобных ситуациях, я избрал «золотую середину». Завтра утром, решил я, засяду за большой эскиз карандашом на полный лист ватмана. На это уйдет весь день.

Послезавтра буду переводить эскиз в тушь, додумывать и дорисовывать детали. Это тоже займет весь день. А на следующий день позвоню в секретариат Жданова, что можно посылать за рисунком. Как раз и получится — не поторопился и не задержал….

Так я и поступил. С утра засел за эскиз. Нарисовал и Эйзенхауэра на джипе во главе армады танков, орудий и самолетов. И рядом «простого американца». Потом задумался, как изобразить посмешнее мифическую «русскую опасность» («Надо бить смехом…») и нарисовал стоящего возле своей юрты эскимоса, с крайним удивлением взирающего на приближающееся грозное воинство. Рядом с ним — крохотный эскимосик, держащий в руке популярное в ту пору эскимо — шоколадное мороженое на палочке. С тем же удивлением смотрят на Эйзенхауэра и его армию два медвежонка, олень, выглядывающий из полыньи морж и даже… пингвин, которые, как известно, в Арктике не водятся, но которого я нарисовал, чтобы подчеркнуть нелепость «русской опасности». Закончив все это, я сладко потянулся, полагая, что на сегодня с меня хватит, можно отдохнуть и пообедать. В этот момент зазвонил телефон.

— Это товарищ Ефимов? Ждите у телефона. С вами будет говорить товарищ Сталин.

Я непроизвольно встал. После довольно продолжительной паузы и легкого покашливания в трубке послышался глуховатый голос, который я слышал не раз:

— С вами вчера говорил товарищ Жданов об одной сатире. Вы понимаете, о чем я говорю?

— Понимаю, товарищ Сталин.

— Вы там изображаете одну персону. Вы понимаете, о ком я говорю?

— Понимаю, товарищ Сталин.

— Так вот, надо изобразить эту личность так, чтобы она была, как говорится, вооружена до зубов. Пушки там всякие, танки, самолеты. Вам понятно?

На какую-то долю секунды в дальних извилинах мозга мелькнула озорная, бредовая мысль: а что, если я скажу — а я так уже и нарисовал, товарищ Сталин. Дескать, сам догадался… Но, вслух я, разумеется, ответил:

— Понятно, товарищ Сталин.

— Когда мы можем получить эту штуку?

— Мне говорил товарищ Жданов, чтобы я не торо…

— Мы хотели бы получить это сегодня. К шести часам.

— Хорошо, товарищ Сталин.

Сталин положил трубку, а я взглянул на часы. Они

показывали половину четвертого. Мне предстояло за два с половиной часа выполнить работу целого дня. У меня было состояние шахматиста в жесточайшем цейтноте, когда дорога каждая секунда, когда нет времени для размышления и выбора вариантов, а надо мгновенно делать единственно верные и точные ходы. Но у шахматиста в случае неудачи остается возможность отыграться в следующей партии. А у меня?.. Сталин не прощал, если не выполнялись его указания. Он наверняка поручил бы Берии разобраться в причинах. А Берии понадобилось бы не больше сорока минут, чтобы выбить у меня показания и признание, что я сорвал оперативное задание товарища Сталина по указанию американской разведки, на которую давно работал вместе с братом…

Я не знаю, каким чудом я успел к шести часам закончить рисунок и вручить его приехавшему фельдъегерю… Я успел даже составить текст под рисунком:

РЯДОВОЙ АМЕРИКАНЕЦ: В чем дело, генерал? К чему такая бурная активность в этом мирном районе?

ЭЙЗЕНХАУЭР: Как? Неужели вы не видите, какие здесь сосредоточены опасные силы противника? Один из противников уже замахнулся на нас гранатой!

(Под «замахнувшимся гранатой противником» я, разумеется, имел в виду эскимосика с эскимо.)

Следующий день прошел без всяких событий, а на другой — раздался телефонный звонок: «Товарищ Жданов просит вас приехать в ЦК к часу дня».

Я погрузился в размышления:

«Зачем меня могут вызывать? Ведь если рисунок не понравился, то в лучшем случае меня бы известили об этом через секретаря, а скорее всего просто передали бы эту тему другому художнику, тем же Кукрыниксам. А если карикатура получила одобрение, то вряд ли сам Жданов счел нужным мне об этом сообщить. Единственное объяснение — речь идет о каких-то поправках. Но каких? Первое предположение — Сталин нашел, что Эйзенхауэр на рисунке не похож. Или, может быть, не похоже северное сияние, на фоне которого я изобразил юрту и эскимосов? Ведь Сталин имел возможность наблюдать его в туруханской ссылке. Но я старательно перерисовал это сияние из энциклопедии. В чем же дело?»

В приемной перед кабинетом Жданова сидели десятки людей.

«Ну, до меня не скоро дойдет очередь», — подумал я.

Но когда из кабинета Жданова вышел через несколько минут увешанный орденами генерал, сидевший за большим письменным столом в приемной помощник, сняв трубку внутреннего телефона

и ответив: «Да, здесь», пригласил меня вне всякой очереди в кабинет.

Жданов сидел не за монументальным письменным столом в глубине огромного кабинета, а на торце длиннющего стола заседаний, стоявшего перпендикулярно к письменному, и любезно поднялся мне навстречу. Приветливо взяв за плечи, он подвел меня к длинному столу, на котором я увидел свой рисунок.

— Ну вот, — сказал Жданов. — Рассмотрели и обсудили. Есть некоторые поправки. Все они сделаны рукой товарища Сталина.

Произнеся эти слова, он многозначительно на меня взглянул. Я, как и следовало, почтительно склонил голову и развел руками. Потом, внимательно взглянув на рисунок, сказал:

— Андрей Александрович. Мне кажется, что поправки — главным образом, по тексту. А по рисунку, как будто…

— Да, да. По рисунку все в порядке. Правда, некоторые члены Политбюро говорили, что у Эйзенхауэра слишком акцентирован зад, но товарищ Сталин не придал этому значения. Нет, против рисунка нет возражений. Но товарищ Сталин, вы видите, внес в рисунок уточнения, написал — «Северный полюс», «Аляска», «Канада», чтобы было ясно, что речь идет именно об Арктике.

Я снова склонил голову, преклоняясь перед мудростью Вождя.

Сталин, прежде всего, красным карандашом написал вверху рисунка его название крупными печатными буквами — «Эйзенхауэр обороняется». Он не оставил без внимания и написанный мною под рисунком текст и следующим образом его отредактировал: «бурная активность» он исправил на «боевая активность», «мирном районе» на «безлюдном районе». В следующей фразе он, подобно заправскому литературному редактору, волнистой линией переставил слова, чтобы вместо «здесь сосредоточены опасные силы противника», получилось «какие опасные силы противника сосредоточены здесь». Фразу о противнике, замахнувшемся гранатой, он целиком вычеркнул и вместо нее написал: «Как раз отсюда идет угроза американской свободе».

И тут я услышал от Жданова нечто непостижимое:

— Полчаса тому назад, — сказал Жданов, — звонил товарищ Сталин и спрашивал, пришли ли вы уже? Я ответил ему, что вы ждете у меня в приемной.

«Фантасмагория! — пронеслось у меня в голове. — Сталин спрашивал у Жданова обо мне… Расскажи об этом — кто поверит?!»

— При этом, — продолжал Жданов, — он велел мне

зачеркнуть в последнем предложении слова «как раз» и написать вместо них — «именно».

И действительно, на моем рисунке можно увидеть над зачеркнутым «как раз» начертанное рукой Жданова «именно».

Что можно об этом сказать?

Не трудно себе представить, какое множество вопросов и проблем, важных и неотложных, политических, хозяйственных, культурных, международных ждали рассмотрения и решения Хозяина. Людям отвечали: «Товарищ Сталин занят. Ждите». И люди со своими срочными делами и проблемами безропотно ждали, не смея обнаруживать нетерпение. А чем был занят Генералиссимус? Он возился с моей карикатурой, исправляя «как раз» на «именно». Но карикатура на Эйзенхауэра была тогда для Сталина отнюдь не случайной причудой или забавой, а глубоко продуманной политической акцией, имевшей целью показать, что возникшее со стороны бывших союзников недружественное, настороженное, почти угрожающее отношение к Советскому Союзу его не пугает, а только смешит…

— Ну что ж, — сказал Жданов, — с поправками все. Отсылаем рисунок в газету.

— Андрей Александрович, а, может быть, я оперативно сделаю точно такой же рисунок, а этот мне бы хотелось оставить у себя.

Жданов посмотрел на меня и улыбнулся.

— Хорошо. Я вас понимаю…

Карикатура «Эйзенхауэр обороняется» была через два дня напечатана в «Правде» и вызвала определенную сенсацию и у нас, и за рубежом. По существу это была, в форме смешного рисунка, констатация состояния «холодной войны», начавшейся на много лет между Западом и Востоком.

Остается добавить маленькую забавную деталь: после опубликования моей работы в «Правде» немедленно нашлись дотошные читатели, ехидно поставившие мне на вид, что пингвины в Арктике не водятся. Но когда стало известно, что карикатуру рассмотрел и одобрил сам Сталин, критики прикусили языки. Наличие пингвинов в районе Северного полюса было таким образом узаконено. Я даже удивлен, что их туда не перебросили из Антарктиды.

…Позволю себе небольшое авторское отступление. Хочу напомнить, что работа политического карикатуриста неразрывна и неотделима от событий и явлений своего времени. Если пейзаж березовой рощи или натюрморт с фиалками мог быть написан художником и сегодня, и сто лет назад, то в политической сатире это исключено. Вот почему, повествуя о своем творчестве, я не

могу обойтись без характеристики тех международных событий, отражением которых является моя деятельность.

А какова была международная обстановка второй половины сороковых годов? Еще сидели на скамье подсудимых в Нюрнберге те, на ком лежала вина за развязывание страшной Второй мировой войны, а в воздухе уже носились странные и зловещие разговоры о возможности третьей. Уже в американском городе Фултоне в присутствии президента США Трумэна произнес весьма знаменательную речь Уинстон Черчилль. Он публично возвестил о «русской опасности», о том, что Европу перегородил «железный занавес». Со своей стороны он был недалек от истины: страны Восточной Европы — Польша, Восточная Германия, Чехословакия, Венгрия, Югославия, Болгария, Румыния и Албания — становились фактически сателлитами Сталина. На их территории стояли мощные, закаленные в боях советские армии, готовые в любой момент рвануться к Ла-Маншу. И, кто знает, может быть, их от этого удерживало только наличие у американцев атомного оружия. Рассказывали, что на Потсдамской конференции 1945 года Трумэн, посоветовавшись с Черчиллем, счел нужным после очередного заседания остановить уходившего Сталина и сообщить ему об успешном испытании нового сверхмощного атомного оружия.

— В самом деле? — равнодушно произнес Сталин и пошел дальше.

— По-моему, он ничего не понял, — с удивлением сказал Черчиллю Трумэн.

На самом деле — Сталин все прекрасно понял и, не теряя ни минуты, дал срочное указание Берии ускорить работу над созданием советской атомной бомбы.

…Какое же конкретное отражение эти сложнейшие международные события нашли в моей работе той поры? То был объемистый альбом сатирических рисунков, тематически объединенных под названием «За прочный мир, против поджигателей войны». В основу его я положил вышедшую в свет брошюру «Фальсификаторы истории (Историческая справка)». Суть этой брошюры, охватывавшей события большого предвоенного периода, была в том, что Вторая мировая война со всеми ее ужасами стала возможной не только в силу агрессии со стороны гитлеровской Германии, но и благодаря трусливой уступчивости западных держав Гитлеру, их упорного нежелания объединиться с Советским Союзом для борьбы против этой агрессии. Это, по сути дела, было обвинение «западных демократий» и в особенности «главного поджигателя войны» Черчилля в подготовке новой, третьей мировой войны, на этот раз

против СССР.

Закончив работу над альбомом — около 150 рисунков, я, как полагалось, представил его в Отдел культуры и пропаганды ЦК партии.

Одновременно произошло следующее. Редакция газеты «Известия», на страницах которой время от времени печатались мои рисунки, задумала отметить выход своего 10-тысячного номера. Мне заказали для юбилейного номера соответствующий праздничный рисунок. Не мудрствуя лукаво, я изобразил мощный локомотив с надписью «Известия», мчащийся на колесах в виде цифры 10000. Сей незамысловатый рисунок был напечатан на первой полосе газеты, и в том же номере я увидел Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении большой группы сотрудников «Известий». В списке награжденных были многие мои друзья и знакомые, но своей фамилии я, естественно, не обнаружил. Это меня не очень удивило — я уже давно освоился с тем, что «бдительные» перестраховщики аккуратно вычеркивали меня из любых наградных списков. А редактором «Известий» был в это время именно такой перестраховщик, скучный чиновник от журналистики, некий Губин.

И все же мне стало обидно. Как говорится, заело. И я сгоряча решился на весьма рискованный поступок. Образно говоря, осмелился «положить голову в пасть льву» — я сел и отстучал на машинке такое письмо:

«Дорогой товарищ Сталин!

Простите, что я решился обратиться лично к Вам по поводу незаслуженно нанесенной мне обиды.

Двадцать семь лет тому назад, в 1922 году я начал работать в газете «Известия» в качестве художника-карикатуриста. Количество моих рисунков, помещенных на страницах «Известий», исчисляется тысячами. Последний по счету рисунок напечатан на днях в десятитысячном номере «Известий».

В этом же номере напечатан Указ о награждении в связи с выходом десятитысячного номера большой группы работников газеты. Моя фамилия в списке отсутствует: редакция «Известий» не сочла нужным представить меня к правительственной награде.

Я работаю в советской печати честно и беспорочно тридцать лет, при этом двадцать семь лет — в «Известиях». Неужели моя работа в области печати не заслуживает быть отмеченной наряду с работой других товарищей по газете?

Мне кажется, что редакция «Известий» поступила по отношению ко мне неправильно и несправедливо.

11 июля 1949 года. Художник Борис Ефимов».

Когда я вышел из Кутафьей башни, где принималась

корреспонденция для Кремля, мною вдруг овладел леденящий страх: а не сочтет ли Хозяин дерзкой и даже нахальной мою претензию на правительственную награду. Не проворчит ли: «Пусть скажет спасибо, что не посадили. Приведите-ка его в чувство». И я погиб.

У меня даже возникло желание вернуться и забрать свой конверт. Но понадеялся на судьбу и на то, что вряд ли до Сталина доходят все бесчисленные присылаемые на его имя письма, просьбы, заявления. Мне рассказывали, что в секретариате Хозяина была такая система: ему представляли список лиц, от которых поступали обращения. И в этом списке он отмечал заинтересовавшие его фамилии. Заинтересуется ли он моей?

Прошло дня два, и мне позвонил тот же Л. Ф. Ильичев, который на сей раз был главным редактором «Правды».

— Приезжайте в редакцию.

Приехав в редакцию, я вошел в приемную в тот момент, когда Ильичев в плаще и шляпе выходил из своего кабинета. Я посмотрел на него с удивлением.

— Леонид Федорович, вы меня вызывали.

— Да, да. Но не ко мне. Садитесь и ждите звонка.

Я уселся у стола помощника редактора, возле помещения с телефонными кабинами. Ждать пришлось недолго. Раздался звонок, и помощник жестом указал мне на ближайшую телефонную кабину.

— Ефимов, — раздался голос в трубке, — с вами говорит Поскребышев.

Это была фамилия известного помощника Сталина.

— Здравствуйте, Александр Николаевич.

— Товарищ Сталин считает, что по отношению к вам допущена ошибка. И эта ошибка будет исправлена.

— Огромное спасибо, Александр Николаевич! Огромное спасибо!

И тут я, к собственному удивлению, проявил определенную находчивость.

— Александр Николаевич! Раз уж довелось с вами говорить, то большая просьба.

— А в чем дело?

— Дело в том, что уже месяца два, как я послал в Культпроп товарищу Шепилову большой альбом своих рисунков на основе «Фальсификаторов истории». С тех пор — ни ответа, ни привета.

Поскребышев почему-то засмеялся.

— Ну, это не ко мне. Позвоните секретарю товарища Сталина — Логинову. Он разберется.

Я вернулся домой, как говорится, не чуя под собою ног — как

все чудесно обошлось!

На другой день я развернул газету, полагая, что увижу в ней дополнение к Указу о награждении сотрудников «Известий». Но ничего подобного не углядел. Не увидел я этого и на следующий день. Не увидел и через неделю.

«В чем дело? — думал я. — А как же — «ошибка будет исправлена»? Ведь этот человек зря слов не бросает. Неужели забыл?»

Но через некоторое время все стало ясно. Мне позвонил секретарь Комитета по Сталинским премиям Девишев и попросил срочно представить в Комитет свои работы.

— Алим Абдулович, — сказал я, — но сегодня я прочел в газете, что комитет закончил работу и представил в правительство свои предложения.

— Ничего, ничего, — ответил Девишев со смехом в голосе, — пусть это вас не смущает.

Нетрудно было понять — Сталинская премия в глазах Хозяина, да и всех нас, была выше и почетнее, чем любой орден… «Ошибка» была исправлена. Остается добавить, что вышедший к концу года мой альбом «За прочный мир, против поджигателей войны» (товарищ Логинов с этим делом в Культпропе «разобрался» довольно быстро) был в следующем году «по инерции» также награжден Сталинской премией.

Теперь немножко о делах семейных. Я уже говорил, что они были далеко не простые. И отнюдь не стали проще, когда Алик (Александр), мой приемный сын от второго брака, воевавший на Дальнем Востоке против японцев и оставшийся на военной службе в городе Ворошилов (Уссурийск), там и женился. Причем курьезное совпадение: он встретил там девушку — соседку по коммунальной квартире в Москве. Она окончила Второй медицинский институт и была распределена на остров Сахалин. Через год на свет Божий появился мальчик, которого назвали Витиком. Осознав себя бабушкой, моя супруга, не побоявшись почти десятидневного пути по железной дороге, помчалась в Ворошилов. И привезла с собой оттуда в Москву маленького светловолосого Витю, сразу завладевшего моим сердцем. Он быстро освоился в нашей квартире и, между прочим, тут же взял манеру будить меня по утрам простейшим способом: влезал на меня и ручонками открывал мне глаза.

Примерно через год с Дальнего Востока вернулись молодые родители и, как это нередко бывает, разошлись, причем, далеко не по-хорошему… И так получилось, что Витик остался у нас, бабушки и дедушки, на многие годы, очень редко общаясь с отцом и матерью, которые обрели свои семьи. Я и по сей день

проживаю вместе с Витей, уже пятидесятилетним, и его очаровательной супругой Верочкой.

Глава двадцать четвертая

…Идет год пятидесятый. Половина века — как и мне, его ровеснику. Дата внушительная, красивая, но для меня ни с какими торжествами не связанная. Хотя я и лауреат Сталинской премии — звание достаточно почетное, но, тем не менее, остаюсь в какой-то степени «персоной нон грата» и никаким общественным чествованиям не подлежу. Поэтому я охотно соглашаюсь на предложение Льва Романовича Шейнина поехать вместе в Кисловодск, отдохнуть и полечиться. Мне-то, откровенно говоря, лечиться было не от чего. Но Лев Романович к этому времени обзавелся болезнью, не совсем обычной и, увы, неизлечимой — ракобоязнью. Он не переставал говорить о коварстве этого недуга, который, по его словам, может возникнуть из любой родинки, бородавки, царапины. Помню, однажды он чуть не насильно поволок меня на прием к видному профессору, генералу медицинской службы.

— Уверяю вас, Боря, — настаивал он, — это необходимо. Надо время от времени проверяться. Сначала профессор посмотрит меня, а потом вас.

Так и сделали. Я подождал в приемной, куда минут через двадцать вышел Шейнин, и вошел в кабинет. Профессор осмотрел меня быстро, довольно небрежно и отпустил, сказав, что не видит оснований для беспокойства и специального обследования. Но Шейнин вцепился в меня мертвой хваткой.

— Боря! Скажите честно, что он сказал вам обо мне? Ничего от меня не скрывайте! Что он сказал?

— Левушка! Ничего он о вас не говорил.

— Нет! Говорите правду! Не сказал ли он — плохи дела у нашего Льва Романовича?

— Клянусь вам, Левушка, абсолютно ничего такого он не говорил!

Но Шейнин смотрел на меня подозрительно и долго не мог успокоиться…

Весьма любопытной фигурой остался он в моей памяти — личность своеобразная, парадоксальная, ни в какие привычные рамки не вмещающаяся. В чем же был его парадокс? В нем как бы совмещались два человека. Один — веселый, общительный, остроумный балагур, «душа общества», подкупающий редким даром рассказчика, мастер добродушных, смешных розыгрышей. С ним охотно дружили такие известные деятели культуры, как Иван Берсенев, Григорий Александров, Юрий Завадский, Василий

Гроссман, братья Тур, Фаина Раневская, Роман Кармен, Мария Миронова, Константин Симонов, многие другие. Шейнин был также одаренным литератором — его перу принадлежит книга «Записки следователя», «бестселлер» той поры, а также пьесы и киносценарии. Но был и другой, как бы остававшийся в тени Шейнин — следователь по особо важным делам Прокуратуры СССР И многие уже догадывались, что в компетенции Шейнина не только уголовники — жулики, воры и спекулянты, описываемые в «Записках следователя» весело и благодушно, но он имеет прямое касательство к страшной карательной машине сталинского режима, тем более что не была секретом его непосредственная близость к Андрею Януарьевичу Вышинскому, бессменному обвинителю на инсценированных процессах 30-х годов. Думается, что Лев Романович, будучи по должности помощником такого человека, не мог не знать, как добывается признание от «врагов народа» (согласно постулату Вышинского — «признание — царица доказательств»), хотя мне не верится, что он был непосредственно причастен к пыткам и истязаниям.

Мы дружили, что называется, домами. Я был для него — Боря, он для меня — Левчик. Помню забавный эпизод, когда Левчик пригласил нас с женой к себе домой обедать, предупредив, что будут также Александров с Орловой, пойдет разговор о планируемом кинофильме по его сценарию, оформление которого, как я догадывался, он хотел предложить мне. Моя жена, весьма щепетильная в вопросах этикета, не переставала мне напоминать, что на обед ни в коем случае не принято опаздывать и что мы должны быть у Шейниных минута в минуту к шести часам, согласно приглашению. И помню, я свято поверил жене, что можно опаздывать куда угодно, но только не к обеду. И поэтому, когда мы подошли к подъезду, где жил Шейнин и, взглянув на часы, обнаружили, что до шести остается еще семь минут, я предложил погулять на улице перед домом, чтобы позвонить в квартиру Левчика точно в срок. Так мы и сделали, но на наш звонок дверь не открылась. За ней слышались только чьи-то торопливые шаги, какие-то приглушенные голоса. Подождав пару минут, я позвонил снова. На этот раз за дверью вообще ничего не было слышно. Мы в недоумении переглянулись. Еще один звонок также не дал результатов. Мы не знали, что и думать, но дверь неожиданно отворилась и перед нами предстал Шейнин в подтяжках и в одном ботинке.

— Тамара! — закричал он в глубь квартиры. — Пришли гости.

— Я еще не готова! — послышался отдаленный голос его жены. — Попроси подождать.

Широким гостеприимным жестом, ничуть не смущаясь, Шейнин пригласил нас к себе в кабинет и куда-то исчез.

— К обеду не принято опаздывать, — прошипел я, глядя на жену.

Она молча развела руками.

Примерно минут через сорок появились Григорий Александров и Любовь Орлова, еще минут через двадцать нас пригласили к столу. Как я и ожидал, после обеда пошел разговор о задуманном Шейниным фильме «Встреча на Эльбе». Должен сказать, что от оформления этого фильма я уклонился: все-таки не мой жанр.

Шейнин продолжал преуспевать на литературно-театральном поприще. Его пьесы (некоторые в соавторстве с братьями Тур) ставились в таких театрах, как Камерный и Ленинского комсомола, выходили на экран фильмы по его сценариям, переиздавались, дополненные новыми увлекательными новеллами «Записки следователя». Надо думать, что он преуспевал и в своей ипостаси «следователя по особо важным делам». Он был, как говорится, «в полном порядке».

И вдруг… Встретив как-то на улице Сергея Михалкова, я от него услышал:

— А знаешь, Боря, этого толстяка Шейнина посадили. Говорят, упал в обморок, когда за ним пришли. Там теперь, поди, похудеет.

Я остолбенел.

— Да ты что, Сережа? Шейнина посадили? Да он сам всех сажает.

— Ну и что? — философски заметил Михалков. — Сажал, сажал и досажался…

Забегая вперед, скажу, что Шейнин года через полтора так же внезапно как и был арестован, вышел на свободу. Мы с ним встретились в Серебряном бору и, естественно, разговорились. Конечно, он не стал посвящать меня в причины своего ареста, ограничившись чисто бытовыми подробностями, и сказал, между прочим:

— Боря, спросите у Тамары, с каким олимпийским спокойствием я уходил из дома.

Я вспомнил слова Михалкова и, признаться, остался в недоумении: что было тогда — «обморок» или — «олимпийское спокойствие». Однако меня не переставали интересовать причины его ареста, и однажды, при встрече на улице, оглянувшись по сторонам и понизив голос, Шейнин произнес одно единственное слово:

— Михоэлс….

Смысл этого, более чем краткого ответа стал мне ясен только несколько лет спустя, когда после смерти Сталина люди стали более откровенны и Шейнин поведал мне, что с ним произошло. Я узнал, что он был командирован в Минск в качестве «следователя по особо важным делам» в связи с загадочной гибелью выдающегося артиста Михоэлса. И для опытного Шейнина не представило труда установить, что никакой автомобильной аварии, о которой официально было объявлено, не произошло, а имело место хорошо подготовленное циничное убийство, следы которого вели непосредственно в органы государственной безопасности и, в частности, к весьма высоким особам. Можно не сомневаться, что самая тщательная слежка велась и за «следователем по особо важным делам», от которого, видимо, ожидали, что он подтвердит факт «автомобильной аварии» и чистую случайность гибели Михоэлса. Таким образом, следовательская зоркость, опыт и умение Шейнина оказали ему в данном случае плохую услугу.

«Наверху» сочли необходимым немедленно убрать слишком дотошного следователя.

Один из руководителей Еврейского антифашистского комитета, в дни войны посещавший США и пламенно агитировавший там за поддержку Советского Союза против гитлеровского фашизма, Михоэлс не был арестован вместе с Фефером, Лозовским, Маркишем, Квитко, Зускиным, другими общественными деятелями, поэтами, артистами — членами Комитета. Для него по указанию Сталина была применена другая форма расправы…

Михоэлса провожали в последний путь с большим почетом. Мне довелось присутствовать на многолюдной панихиде в помещении ГОСЕТа (Государственного еврейского театра, вскоре по указанию свыше закрытого). Выступали друзья и почитатели великого артиста — Александр Фадеев, другие выдающиеся русские писатели, торжественно и печально звучала музыка, пел Иван Козловский. А через короткое время было официально объявлено, что Михоэлс — буржуазный еврейский националист и агент американской террористической организации «Джойнт».

Следующей еще более широко задуманной антисемитской акцией должно было стать разоблачение «убийц в белых халатах» — арест группы крупнейших врачей еврейской национальности, профессоров, работавших в лечебном управлении Кремля. Их обвиняли в злоумышленном неправильном лечении, якобы ставшем причиной смерти Жданова и других высоких партийных сановников, а также в том, что они замышляли убиение самого «Отца и Учителя». По детально разработанному сценарию они

после суда должны были быть преданы публичной казни на Лобном месте на Красной площади. И дело «убийц в белых халатах» должно было стать прелюдией к тотальной депортации их соплеменников в дальние лагеря Сибири. Осуществлению этого умело разработанного плана помешало только то, что Сталин неожиданно для самого себя отправился в мир иной.

…Казалось, что Сталин никогда не умрет. Во всяком случае, люди верили, что он, как многие кавказские долгожители, может прожить до ста лет. В глазах миллионов, думается мне, он был уже не человеком, а неким суровым и грозным явлением природы, как леденящий полярный холод или сжигающая все живое тропическая жара, как многолетняя гибельная засуха или эпидемия чумы. Но, страшно сказать, люди нашей страны привыкли жить в этой атмосфере, они так же освоились со своими условиями существования, как с ними осваиваются люди, живущие у подножия действующего вулкана под постоянной угрозой погибнуть при извержении огненной лавы. Люди жили своей повседневной жизнью, влюблялись и ревновали, вступали в браки и разводились, пели песни, сочиняли стихи и музыкальные произведения, писали романы и пьесы, строили города, фабрики, заводы, мосты, прокладывали железные дороги, воздвигали гигантские электростанции. И рядом с высоким созидательным трудом, рядом с развитием культуры и искусства существовали подлая жестокость, гнусное доносительство, низменный страх, всеобщая подозрительность. Ни для кого не было секретом, что многие «стройки века» возводятся миллионами людей, безвинно репрессированных и составляющих население огромного ГУЛАГа (десятков концентрационных лагерей) — своего рода государства в государстве.

Но Сталин не оказался кавказским долгожителем. А обстоятельства его смерти окутаны некоей тайной… О Последних предсмертных часах «Отца народов» существуют воспоминания Хрущева, Молотова и дочери Сталина Светланы, сотрудников охраны и некоторых врачей, во многом между собой не совпадающие. И мы не знаем, действительно ли, оставшись наедине со Сталиным, Берия помог ему отправиться в «мир иной». Мы не знаем, действительно ли роковую роль сыграло то, что тот же Берия нарочно задержал на несколько часов вызов врачей из Кремлевской поликлиники. Мы многого не знаем и вряд ли узнаем. Бесспорно одно, внезапная смерть Сталина ошеломила и потрясла страну и, надо признать, погрузила ее в неподдельную скорбь. Вместе с тем, можно не сомневаться, что ближайшие его «верные и преданные» соратники скорбеть скорбели, но испытывали чувство огромного облегчения —

хорошо известно, что и Молотов, и Микоян, и Ворошилов, и даже сам Берия далеко не были уверены в своем завтрашнем дне: беспощадная и неминуемая «чистка» ближайших к тирану соратников, как в свое время уничтожение Сталиным старых соратников Ленина, висела над ними дамокловым мечом. И тихо радовалось про себя немало людей, денно и нощно живших под не покидающим их страхом ареста за неведомое и несовершенное преступление.

Уход Сталина из жизни и похороны «Великого Вождя и Учителя» были вполне достойны его правления и режима. Это была настоящая Ходынка, пробная той, которая сопровождала коронацию последнего царя. Но на этот раз гибель сотен задушенных и задавленных людей произошла не на загородном Ходынском поле, а в центре Москвы на Трубной площади. Чудом спасся и мой внучек Витя, которого бабушка, к счастью, успела выхватить из толпы при выходе из детского сада.

…В воспоминаниях очевидцев последних часов Сталина, в частности, у Н. С. Хрущева и у дочери Сталина Светланы совпадают впечатления о том, как нагло и самоуверенно вел себя Лаврентий Берия. Он почти не скрывал своей радости и расчетов на то, что вскоре власть перейдет в его руки и он станет преемником Хозяина. Его коварный замысел, как впоследствии говорили, состоял в том, что на одном из будущих правительственных спектаклей в Большом театре, в ложе, где соберутся члены Политбюро, произойдет взрыв и уцелеет только он, Берия, «случайно» опоздавший на спектакль. Но нашла коса на камень — коварство и хитрость Берия, натолкнулись на крепкую мужицкую смекалку Хрущева. Хрущев быстро разобрался в сложившейся после смерти Сталина обстановке и не без труда убедил Молотова, Маленкова, Кагановича, Ворошилова и некоторых других членов Политбюро в необходимости избавиться от опасного Лаврентия. На заседании Политбюро Берия был внезапно схвачен группой военных, возглавляемых маршалом Жуковым, и надежно изолирован в бункере Генерального штаба. Далее все было в лучших советских традициях: Берию «изобличили, как английского шпиона», осудили на закрытом судебном заседании и расстреляли.

Прочтя в газетах сообщение о деле Берии, где упоминалось, между прочим, о произведенных им арестах ни в чем неповинных людей, я немедленно написал письмо Ворошилову, занявшему после смерти Сталина пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Я напоминал маршалу о его дружелюбном отношении к Михаилу Кольцову. При этом я искренно верил, что брат действительно жив и находится в дальних лагерях, как об

этом мне цинично солгал армвоенюрист Ульрих.

Я писал Ворошилову:

«…В марте 1940 года в канцелярии Военной Коллегии Верховного Суда мне сообщили, что брат осужден на 10 лет заключения в дальних лагерях без права переписки.

Прошло 15 лет. О брате ничего не известно. Никаких сведений о нем не дают и органы МВД, куда я обращался.

Я не знаю, в чем обвинили Кольцова, не знаю теперь, была ли за ним подлинная вина. Но, во всяком случае, я убежден, что он понес достаточно суровую кару не только пятнадцатилетним заключением, но еще более тем, что в расцвете творческих сил и энергии, накануне решающей схватки с гитлеризмом был вычеркнут из боевых рядов советской журналистики.

Дорогой Климент Ефремович!

Мой брат еще не стар. Он смог бы еще послужить Родине своим пером писателя-публициста. Обращаюсь к Вам с горячей просьбой уделить внимание судьбе Михаила Кольцова, помочь ему вернуться к жизни, работе, творчеству. *28 июня 1954 года. Бор. Ефимов».*

Ворошилов не оставил моего письма без внимания, и вскоре меня вызвали в Главную военную прокуратуру к военному прокурору по фамилии Аракчеев. С этого начался совсем непростой, как оказалось, процесс реабилитации. Аракчеев вызывал меня несколько раз, подробно расспрашивал о Кольцове, о деятельности которого, по молодости лет, имел довольно смутное представление. На него, в частности, произвели большое впечатление принесенные мною газетные фотоснимки, на которых Кольцов был заснят в президиуме торжественного собрания, сидящим между М. И. Калининым и Н. С. Хрущевым, встреча его на Белорусском вокзале по возвращении из Испании и другие.

— Вот как?.. — пробормотал прокурор. — Однако… я не предполагал…

— Да, — сказал я, — Кольцов был весьма популярным и видным деятелем. Возможно, кто-то был очень заинтересован в том, чтобы его убрать.

В свою очередь, я был весьма удивлен и ошеломлен, узнав от Аракчеева, что одним из обвинений против брата было то, что он организовал в редакции «Правды» подпольную антипартийную группу, в которую входили Вадим Кожевников, Владимир Луговской, Семен Кирсанов, Валентин Катаев и другие.

— Позвольте, — сказал я, — да все эти люди не были репрессированы и спокойно работают. Вадим Кожевников — редактор журнала «Знамя», Луговской и Кирсанов — известные

поэты, печатаются во многих журналах и газетах. Катаев — благополучно живет в Переделкино, недавно вышел его новый роман.

Прокурор пожал плечами.

— Да, — проговорил он, — странно, странно…

Вскоре состоялась наша заключительная встреча. И Аракчеев вручил мне официальную справку на бланке Главной военной прокуратуры следующего содержания:

«Гр-ну Ефимову Б. Е. Сообщаю, что 18 декабря 1954 года Военная Коллегия Верховного суда СССР, по заключению Прокуратуры СССР, приговор по делу Вашего брата Кольцова Михаила Ефимовича отменила и дело в отношении его прекратила за отсутствием состава преступления.

За официальной справкой о прекращении дела в отношении Кольцова М. Е. Вам надлежит обратиться в Военную Коллегию Верховного суда СССР по адресу: Москва, ул. Воровского, 13.

ЗАМ.ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ПРОКУРОРА

ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ Д. ТЕРЕХОВ»

Взяв из рук Аракчеева эту справку, я сказал:

— Товарищ подполковник! Вы мне тут задавали немало вопросов, я на них, как мог, отвечал. Теперь разрешите и вам задать один вопрос. Где сейчас находится мой брат?

При этом я не спускал глаз с двери на другом конце большого кабинета, в котором происходила беседа, почти уверенный, что прокурор улыбнется и укажет на эту дверь со словами: «А вот, пожалуйста. Мы его уже вызвали из лагеря». И в кабинет войдет Миша. Но Аракчеев посмотрел куда-то в сторону и ответил:

— А это вам скажут там, где вы получите свидетельство о реабилитации.

«Что ж, — подумал я, — может быть, такой порядок».

Простившись с Аракчеевым, я вышел на улицу Кирова и в трескучий мороз направился прямо в Дом Союзов. Там уже третий день проходил Второй Всесоюзный съезд советских писателей. Мне не терпелось, чтобы все поскорее узнали о реабилитации Михаила Кольцова. Был перерыв между заседаниями, и я сразу направился за сцену искать Фадеева. Он что-то писал. За его спиной стоял Константин Симонов.

— Здравствуйте, Александр Александрович! — сказал я. — Вот, посмотрите.

Фадеев прочел справку прокуратуры.

— Ну, что ж. Отлично, — сказал он.

И после некоторой паузы, спросил:

— Ну, а какова же его судьба?

— Не знаю, Александр Александрович, но мне не очень

нравится, что эту справку вручили мне, а не ему лично.

— Да, — задумчиво произнес Фадеев, — это внушает тревогу.

Не берусь угадывать, о чем в ту минуту думал Фадеев. Ведь по своему положению генерального секретаря Союза писателей он скреплял своей подписью постановления об аресте того или иного члена Союза. Подписал он, наверно, и арест Кольцова. И не мог он, безусловно, без внутренней горечи прочесть в этой справке об «отсутствии состава преступления».

— Александр Александрович, — сказал я, — может быть, с трибуны съезда как-то упомянуть фамилию Кольцова, которая пятнадцать лет была под запретом?

Фадеев подумал.

— Вы знаете, — возразил он, — главное не в этом. Писатель должен прийти к людям через свои произведения. Вот Симонов курирует издательство «Советский писатель». Надо срочно переиздать «Испанский дневник». Потом другие произведения.

— Да, Александр Александрович, прежде всего «Испанский дневник». И с той рецензией, которую вы написали вместе с Алексеем Толстым для «Правды» незадолго до… А вы, Константин Михайлович, были тогда еще молодой, эту рецензию, наверно, не знаете.

— Напрасно вы так думаете, — ответил Симонов. — Эту рецензию я очень хорошо помню.

Недели через три на секретариате Союза писателей было принято решение об утверждении Комиссии по литературному наследию М. Е. Кольцова в составе: Д. Заславский (председатель), Б. Агапов, К. Симонов и Б. Ефимов.

Как мне и было указано, через два дня я явился в Военную Коллегию Верховного суда СССР. Меня принял сменивший Ульриха председатель Военной Коллегии генерал Чепцов.

— Вы, собственно, напрасно побеспокоились, — любезно сказал он. — Мы бы доставили этот документ к вам домой. Но, раз вы уже пришли…

И он протянул мне внушительную бумагу с грифом Военной Коллегии. В этой бумаге было, примерно, то же самое, что в справке прокуратуры. Вручив мне эту бумагу, Чепцов как-то призадумался, вздохнул и сказал:

— Ну, а что касается… то вы сами понимаете…

— А что я должен понимать, товарищ генерал? — спросил я. — Я ничего не понимаю.

Чепцов немного замялся.

— То, что… э-э… то, что… вашего брата нет в живых. С тридцать девятого года.

Я молча на него уставился, лишившись, как говорится, дара

речи. Наконец выговорил:

— Этого не может быть.

— Почему? — спросил Чепцов.

— Да хотя бы потому, что весь тридцать девятый год до марта сорокового у меня принимали для брата денежные передачи. И, кроме того, приговор был — десять лет лагерей.

— А кто вам это сказал?

— Ваш, так сказать, предшественник — Ульрих.

— Ах, Ульрих… — проговорил Чепцов с непередаваемым иронически-презрительным выражением и махнул рукой.

— Нет, нет, — настаивал я, — этого не может быть, тем более, мне передавали, что его видели и в сорок втором году в Саратове, и позже на Воркуте, и в лагере на Дальнем Востоке, и еще где-то.

Чепцов печально покачал головой.

— Вы знаете, — сказал он, — многие принимают желаемое за действительное. У меня на днях была жена Александра Косарева, генерального секретаря ЦК комсомола. Она уверена, что он работает на какой-то шахте и скоро вернется домой. А между тем… его уже давно… Ведь как там поступали. Человека расстреляли, а сведения о нем дают — жив и где-то работает, или — наоборот: человек жив, работает в лагерях, а о нем сообщают — расстрелян. Такая была система. А с вашим братом… Пожалуйста. Мы можем еще раз проверить.

— Да, да, товарищ генерал. Я прошу проверить.

— Между прочим, — неожиданно спросил Чепцов, — вы хотите посмотреть дело вашего брата? Но, предупреждаю, читать не положено. Могу вам сказать, что вашего брата пытались сделать агентом чуть ли не пяти иностранных разведок. Этим занимался небезызвестный следователь Шварцман, который фальсифицировал и многие другие дела. Сейчас он находится под судом и строго ответит за свои действия.

Передо мной положили две объемистые папки, и я открыл верхнюю. Первое, что я увидал — это был ордер на арест. Какого-то странного вида — отпечатанный не типографским способом, а на пишущей машинке. И по диагонали, через весь лист, тонким красным карандашом была начертана подпись: Л. Берия. Испытывая невыразимое волнение, я увидел далее многие и многие страницы, исписанные хорошо знакомым мне с детства легким, летучим почерком брата. Я не стал читать дело, помня предупреждение Чепцова, и поблагодарил его. Потом сказал:

— Так я очень прошу, товарищ генерал, еще раз проверить. Когда мне снова прийти?

— Приходите через месяц.

Я пришел ровно через месяц. За это время произошло следующее: из ссылки вернулся художник Михаил Храпковский, репрессированный в свое время по так называемому «делу Аллилуевых», в котором фигурировали Анна Сергеевна, свояченица Сталина, и некоторые другие его родственники со стороны жены. Не знаю, с какого боку Храпковский был с ними связан, но над ним тяготело другое нехорошее подозрение — в редакции «Крокодила» поговаривали, что он приложил руку к аресту чудесного художника, всеобщего любимца Константина Ротова. И вот этот Храпковский мне позвонил и сказал, что имеет кое-что сообщить о моем брате. Мы встретились. Вот его рассказ:

— Дело было, Борис Ефимович, в июле сорок второго года, в Саратове. Я увидел Михаила Ефимовича в бараке пересыльной тюрьмы. Он узнал меня, сказал, что его возвращают в Москву и он не ждет от этого ничего хорошего. «Если увидите Борю, — попросил он, — передайте ему, что я ни в чем не виноват».

— А как он выглядел, Михаил Борисович? — спросил я Храпковского. — Во что был одет?

— Во что одет? Да что вы? Июль месяц, в бараке чудовищная жара. Все сидели полуголые, потные… Не можете себе представить…

Понятно, с каким тяжелым сердцем я выслушал рассказ Храпковского. Не верить ему у меня не было оснований…

Итак, я снова в Военной Коллегии. Генерал Чепцов был в отъезде, и меня принял его заместитель полковник Благонравов. Он был полностью в курсе дела и сразу мне сказал:

— К сожалению, товарищ Ефимов, все подтвердилось. Это произошло в тридцать девятом году.

— Товарищ полковник, — но я встречался с человеком, который видел брата и разговаривал с ним в сорок втором году.

— А он не мог ошибиться? — спокойно спросил Благонравов.

— Он не мог ошибиться. Он — художник Храпковский, сотрудник «Крокодила», который редактировал Кольцов. Мог ли Храпковский не узнать своего редактора?

Благонравов подумал.

— Вот что, — сказал он, — сегодня вторник? Приходите, пожалуйста, в четверг.

В четверг мне была вручена справка, в которой годом смерти Кольцова был указан 1942 год… И эта дата стала официальной до тех пор, пока в «Литературной газете» не был опубликован материал за подписью Аркадия Ваксберга, основанный на подлинных документах, где говорилось, что приговор по делу Кольцова был вынесен 1 февраля 1940 года и расстрелян он был в ночь на 2 февраля, одновременно со Всеволодом Мейерхольдом.

Тридцать девятый?… Сороковой?… Сорок второй?… Не все ли равно, в каком из этих годов была несправедливо, злодейски оборвана жизнь талантливого, умного, храброго человека. Но память о нем не умерла. Дважды выходил в свет сборник «Михаил Кольцов, каким он был», на страницах которого 37 писателей, поэтов, журналистов, военных, деятелей культуры и искусства вспоминают об этом человеке, о встречах с ним и о совместной работе. 28 июня 1972 года на здании, где помещался созданный и до последнего дня возглавляемый Кольцовым ЖУРГАЗ, установлена мемориальная доска его памяти. Трижды переиздан его неувядаемый «Испанский дневник», вышел в свет трехтомник его фельетонов и очерков, в разное время печатались сборники его произведений. Он как-то сказал: *«Я* пишу не для себя — я пишу для людей».

И он остался с людьми.

Через несколько дней после того, как я получил справку о реабилитации Кольцова, у меня дома раздался телефонный звонок. Говорил Ворошилов:

— Здравствуйте. Ну, вы больше не «враг врага народа»…

— Да, Климент Ефремович. Большое вам спасибо. Но…

— Да, да. Я знаю. К великому сожалению… Очень вам сочувствую. Ну, всего хорошего.

Я вдруг почувствовал, что этот разговор тяготит Ворошилова и ему хочется поскорее его закончить. Его не трудно было понять… Ведь реабилитированы были также «за отсутствием состава преступления» Тухачевский, Якир, Уборевич, Егоров, Блюхер, его боевые соратники по Гражданской войне, а также тысячи и тысячи других боевых командиров, к смертной казни которых он, Ворошилов, не смея перечить Сталину, приложил руку…

Разумеется, Ворошилов не мог не признавать справедливость и закономерность возвращения честного имени людям, облыжно объявленным изменниками, шпионами и злодейски уничтоженным. И я убежден, что причастность к чудовищной расправе, учиненной Сталиным, тяжелым камнем лежала на душе Климента Ефремовича. Но таков был гипноз десятилетиями взращенной фанатической преданности Хозяину, что несмотря ни на что, несмотря даже на «английского шпиона», Ворошилов оказался в числе тех руководителей партии, которые были против разоблачения Хрущевым «культа личности» в известном докладе на XX съезде КПСС. Страх перед деспотом остался и после того, как закрылись его безжалостные глаза.

…Многое способна хранить в себе человеческая память. Не случайно с давних пор огромный пласт литературы составляли во

все времена всевозможные воспоминания, мемуары, записки, жизнеописания, автобиографии. Но в человеческой памяти есть, на мой взгляд, некоторое уязвимое место. Это — ее «избирательное» свойство. Иными словами, память, как правило, хранит то, что ей сохранить хочется, и охотно расстается с фактами и событиями, почему-либо ей неугодными, неприятными, тягостными. И тут на первый план выступает факт, воплощенный в документе, в протоколе, в архивной записи, иногда в короткой, лаконичной записке.

История человечества знает и хранит немало страшных, неопровержимых документов. Один из них — так называемый «Молот ведьм», созданный средневековой инквизицией. По сути дела, это «инструкция», как с помощью пыток физических и моральных заставлять людей оговаривать себя или других.

И вот с таким-то «молотом ведьм» нам довелось познакомиться совсем недавно. По моему ходатайству мой внук Виктор получил возможность ознакомиться в архиве ФСБ (ранее — ЧК — ГПУ — НКВД — КГБ) с подлинным «делом» Михаила Кольцова. То были три объемистых тома со штампом «ХРАНИТЬ ВЕЧНО» в правом верхнем углу.

Не без волнения открыл мой внук первый том. И сразу, как и я, увидел размашистую подпись, по диагонали через весь лист — «Л. Берия». Это был еще не официальный ордер на арест, а так называемое Постановление о задержании. Далее шла справка-биография Кольцова, составленная следователем сержантом Кузминовым. (Оказалось, что «дело» брата вел он, а не Шварцман. Кстати сказать, к концу следствия Кузминов стал лейтенантом, видимо, начальство было довольно его «работой».) Так вот, в справке написано, что один брат Кольцова был расстрелян, как «враг народа», а другой, то есть, я — ярый троцкист. Далее шла анкета-автобиография, написанная рукой Кольцова, с обычными сведениями о семье, родственниках, месте жительства и т. д. Кстати, в ней было указано наличие одного-единственного родного брата — Бориса Ефимова. После анкеты — официальный ордер на арест, тоже за подписью Берии, датированный 14 декабря 1938 года.

Первый допрос Кольцова занял, видимо, буквально несколько минут. Это — стандартные, трафаретные вопросы полуграмотного следователя-сержанта, признает ли Кольцов свою антисоветскую деятельность, и краткие, твердые, решительные отрицательные ответы брата. Но как в дальнейшем меняется стиль и содержание этих допросов… Как отчетливо проступает воздействие истязаний, избиений, физических и моральных пыток. Как явно изменяется почерк Кольцова (это видно по его

подписи) — он становится дрожащим и неразборчивым. Совершенно ясно видна задача следователя — выбить из Кольцова компромат на определенных лиц: это в первую очередь — Литвинов, Эренбург, Кармен — и на многих других. Для этого, собственно говоря, и затевалось «следствие»…

Одновременно другие следователи теми же способами выбивают «компромат» на Кольцова у других арестованных. Так, например, бывший нарком Ежов показывает:

ПРОТОКОЛ допроса Ежова от 11.5.39.

«ВОПРОС: Помимо названной вами Зинаиды Гликиной, был ли кто-либо еще связан с вашей женой Ежовой Е. С. по шпионской работе?

ОТВЕТ: На это я могу высказать только более или менее точные предположения. После приезда журналиста Михаила Кольцова из Испании очень усилилась его дружба с моей женой. Эта дружба была настолько близка, что моя жена его посещала даже в больнице во время его болезни.

Кольцов тоже работал в комиссии или комитете по иностранной литературе, т. е. там, где и Гликина, и, насколько мне известно, на эту работу Гликину устроил Кольцов по рекомендации Ежовой.

Я как-то заинтересовался причинами близости жены с Кольцовым и однажды спросил ее об этом. Жена вначале отделалась общими фразами, а потом сказала, что эта близость связана с ее работой. Я спросил:

— С какой работой, литературной или другой?

Она ответила:

— И с той, и с другой.

Я понял, что Ежова связана с Кольцовым по шпионской работе в пользу Англии».

А вот еще «неопровержимые» показания измученных, замордованных пытками людей.

Из протокола допроса Сабанина Андрея Владимировича, заведующего правовым отделом НКИД, от 25.1.38. (То есть, еще до ареста Кольцова.)

«В американском посольстве, на устроенных Буллитом 1–2 больших приемах, я в числе присутствовавших видел Туполева, профессора ЦАГИ Некрасова, артистку Большого театра Шапошникову, композитора Глиэра, балерину Викторину Кригер, журналиста Михаила Кольцова. На этих приемах, как я заметил, военный атташе Файмонвиль беседовал с Туполевым,

Некрасовым, с зам. наркома Постниковым и с журналистом Михаилом Кольцовым».

Из протокола допроса Бабеля Исаака Эммануиловича от 29–30 мая 1939.

«ВОПРОС: Назовите всех известных вам лиц, связанных с Ролланом Мальро, и приведите известные вам факты его морально-бытового разложения.

ОТВЕТ: Из лиц, связанных с Ролланом Мальро по шпионской работе, мне, с его слов, известны Болеславская и Пьер Эрбар.

Мне также известно, что Роллан был близко знаком с Кольцовым и затевал с ним постановку какой-то кинокомедии. Одно время Роллан работал в киностудии «Мосфильм» в качестве консультанта картины «Гаврош», где, с его слов, был связан с кинорежиссером Лукашевич».

(Можно не сомневаться, что Бабелю было отлично известно подлинное имя Мальро — Андре, но он не счел нужным поправлять «грамотного» следователя. А имя Мальро было достаточно известным в СССР в то время.)

Некоторые «обвинения» по адресу Кольцова по своей нелепости и анекдотичности доходили до идиотизма, вроде таких, например, как «показания» некой сотрудницы «Правды» Натальи Красиной.

ПРОТОКОЛ допроса Красиной Натальи Германовны от 3.12.39.

«ВОПРОС: Что вы можете сказать о моральном облике Кольцова?

ОТВЕТ: О том, что Кольцов разложенец в бытовом отношении, говорилось достаточно в том смысле, что он не пропускает ни одной девушки и что он ухаживает по очереди за всеми машинистками машбюро «Правды».

ВОПРОС: Откуда вам это известно?

ОТВЕТ: Об этом говорилось достаточно открыто. Одними — в том плане, что Кольцов известный бабник, фамилии этих лиц я назвать затрудняюсь, а личный секретарь Кольцова, Валентина Ионова неоднократно рассказывала, что Кольцов целует у нее ручки».

(Кстати, Красина немного позднее отказалась от своих показаний.)

И вместе с тем, «следствию» удалось напасть на след и «зацепиться» за подлинный «компромат» — вышедшие из-под

пера Кольцова статьи, фельетоны и очерки, направленные против большевиков. Речь идет о том, что писал двадцатилетний Кольцов, находясь в Киеве в 1918 году, в период, когда Украина именовалась Украинской державой под главенством Гетмана всея Украины генерала Скоропадского. Эти очерки, опубликованные в киевской печати, содержали откровенные свидетельства очевидца — Кольцова, осуждающие жестокости большевиков, сопровождавшие Октябрьский переворот.

На таких «материалах», собственно, и построено обвинение Кольцова в антисоветской деятельности. Оно было предъявлено ему на заседании суда, которое состоялось 1 февраля 1940 года.

В протоколе этого заседания на двух страницах излагается обвинение Кольцова в борьбе против советской власти и участии в протроцкистской подпольной организации. Все обвинение основано на «показаниях» самого Кольцова и на таких же «показаниях» других людей (некоторые из них я привел). А затем на двух страницах идет изложение выступления Кольцова со своим последним словом. Первое, что заявил Кольцов, — что он отказывается от всех своих показаний об антисоветской деятельности, а фамилии его якобы сообщников следователь Кузминов вынудил его назвать, применяя избиения и истязания. Как сказал Кольцов: «У меня разбиты все лицо и тело». Пункт за пунктом Кольцов опровергает все обвинения. Он говорит о полной некомпетентности следствия, которое даже не удосужилось проверить, что у него есть только один родной брат, художник Борис Ефимов. Никакого расстрелянного как «враг народа» брата у него нет. Он никогда не бывал на приемах в американском посольстве. И так далее, по всем пунктам обвинения. Что касается опубликованных в 1918 году в Киеве очерков, то он признает, что такие очерки действительно писал, но после этого двадцать лет честно и преданно служил советской власти. В деле отсутствует какая-либо реакция суда на это твердое и решительное заявление Кольцова.

Суд, «посовещавшись» на месте, оглашает:

— Приговорить Кольцова Михаила Ефимовича к высшей мере социальной защиты — расстрелу.

И последний документ дела — клочок бумаги с коротким текстом:

«Приговор в отношении Кольцова М. Е. приведен в исполнение 2 февраля 1940 года».

Глава двадцать пятая

Принято говорить, что история повторяется. В первый раз то или иное событие — трагедия, во второй подобное же событие — фарс. После смерти Ленина разгоревшаяся борьба за власть между его соратниками закончилась полной победой Сталина, разгромившего и уничтожившего всех соперников и ставшего единовластным диктатором страны. После смерти Сталина возникла похожая ситуация — такая же ожесточенная борьба за власть, но можно ли ее назвать фарсом? Это была борьба достаточно серьезная и непримиримая. И если можно тут усмотреть что-либо забавное, фарсовое, как только то, что победителем в ней вышел не твердокаменный Молотов, не коварный Берия, не удачливый Маленков, не популярный в народе Ворошилов, а простоватый, мало заметный Хрущев, оказавшийся на деле волевым, достаточно хитрым и ловким политиком. И прежде всего он показал себя таковым в разоблачении культа личности Сталина. Любопытно, что он это сделал, преодолевая сопротивление других соратников усопшего Вождя. Именно он, Хрущев, который при Сталине, попросту говоря, прикидывался «дурачком». Я сам слышал, как, выступая на торжественном собрании в Большом театре после выборов в Верховный Совет по новой, «Сталинской конституции», Хозяин так начал свою речь: «Я не собирался выступать, ибо здесь уже все было сказано и пересказано в речах выступавших ораторов. Но наш уважаемый Никита Сергеевич силком притащил меня сюда: “Скажи, — говорит, — хорошую речь”».

Трудно себе представить, чтобы Сталин подобным образом выразился по адресу, скажем, Молотова или Маленкова. А в отношении Хрущева подобный несерьезный, шутовской тон никого не удивлял. Но оказалось, что именно под этой шутовской, несерьезной личиной был тот, кто единственный решился нарушить заговор молчания вокруг преступлений Сталина. Пусть его доклад на XX съезде о культе личности Сталина был неполным, непоследовательным, местами уклончивым и туманным — о многом Хрущев умолчал. Доклад был сделан на закрытом заседании. И хотя он считался секретным, но вскоре после окончания съезда содержание его стало широко известно по стране и принесло Хрущеву немалую популярность. Конечно, десятилетиями вдалбливаемая в головы непогрешимось и мудрость «Великого Вождя и Учителя» не могла сама по себе так просто исчезнуть. Многие еще находились, да и сегодня находятся под гипнозом его имени, ходят с его

портретами. Вспоминаю забавный штрих той поры. В парикмахерской Центрального дома литераторов группа ожидавших своей очереди посетителей вела оживленный разговор на злобу дня, то есть о разоблачении культа личности. Парикмахер Маргулис, популярный среди писателей своими «философскими» сентенциями, внимательно слушал эти разговоры и наконец, правя бритву на ремне, глубокомысленно произнес:

— Да. Таки был культ. Но таки была *личность!*

Оказавшись у кормила власти, «простоватый» Хрущев, допустив определенную «оттепель» общественной атмосферы, когда миллионы безвинно репрессированных людей были реабилитированы, а другие миллионы вернулись из лагерей, когда возникла некоторая свобода мнений и высказываний, когда стало возможным появление в печати произведений, о которых не могло быть и речи при Сталине, стал постепенно проявлять деспотические, диктаторские замашки. Вспоминаются знаменитые его банкеты под открытым небом для деятелей литературы и искусства, на которых Никита Сергеевич, изрядно выпив, бесцеремонно и безапелляционно, вкривь и вкось судил произведения поэзии, изобразительного искусства, кинематографии.

Среди вернувшихся в дни хрущевской «оттепели» из тюрем и лагерей был и Губерт Лосте. Да, тот самый Губерт, герой написанной Марией Остен книги «Губерт в стране чудес». В феврале 1957 года он позвонил в дверь моей квартиры. Я сразу его узнал, хотя этот взрослый мужчина был мало похож на юного пионера, каким я впервые его увидел. Он приехал в Москву с целью получить разрешение на выезд в Германию, на возвращение в Саар, в отчий дом, где, как он узнал, еще живы его мать и сестра. Мы, разумеется, приняли его у себя как близкого человека.

— А вы знаете, Губерт, — спросил я, — что Саар находится в составе Западной Германии?

— Ну и что, — ответил Губерт, — все равно это моя родина, и я хочу увидеть свою мать.

Я призадумался. Желание Губерта увидеть после долгой разлуки мать было совершенно понятно и естественно. Но не вызывало сомнения и то, что появление Губерта в Германии предоставило бы для западной прессы чудесный материал о «чудесах», увиденных и пережитых им в сталинских лагерях «Страны чудес». Будь моя воля, я бы не возражал, чтобы сын увидел свою мать. Но не я решал вопрос.

«С кем-то надо посоветоваться, — подумал я. — С кем? А кто

такой Губерт? Губерт — это литературный персонаж, герой популярной в свое время книги. Значит, им должен заняться Союз писателей».

И я направился в иностранный отдел правления Союза писателей к заведующему этим отделом Борису Изакову.

— Борис Романович, — спросил я, — вы помните книгу «Губерт в стране чудес»?

— Конечно. Как же не помнить? Это книга нашей пионерской юности.

— Так вот. Губерт приехал.

— Да? Откуда?

— Борис Романович, — сказал я многозначительно, — вы меня удивляете…

— Ах, вот оно что! Понятно, понятно… И что он собирается делать?

— Он хочет вернуться в Саар.

Изаков схватился за голову:

— Ой-ой-ой… Вот это дело серьезное. Надо позвонить в ЦК. Я вас сейчас соединю с Терешкиным в Культпропе. Расскажите ему об этом.

Изаков набрал номер и протянул мне трубку.

Я повторил Терешкину то же, что говорил Изакову, и реакция его была точно такой же.

— М-да… Хорошенькое дело, — растерянно сказал он. — Вот что. Я доложу кому следует. Позвоните мне завтра.

Выйдя от Изакова, я решил, что это дело не терпит отлагательства, поскольку Губерт, как я знал, приехал в Москву самовольно. Поразмыслив, я отправился к Юрию Жукову, известному журналисту, члену редколлегии «Правды», человеку влиятельному и решительному. Здесь повторился диалог, в точности как у Изакова.

— Юрий Александрович, — спросил я, — вы помните книгу «Губерт в стране чудес»?

— А как же. Конечно помню. А в чем дело?

— Дело в том, что приехал Губерт.

— Приехал Губерт? Откуда?

— Юрий Александрович, вы меня удивляете.

Жуков молча на меня уставился.

— Вот оно что… — медленно проговорил он. — Понятно. И чего он хочет?

— Он хочет вернуться в Саар.

Помолчав, Жуков произнес то, о чем думал и я.

— Вы представляете себе, какой там выйдет второй том книги «Губерт в стране чудес»?

Мы помолчали. Потом Жуков сказал:

— Вот что. Садитесь за тот стол и пишите заявление на имя секретаря ЦК Шепилова. Изложите всю историю Губерта и книги о нем. А дальше наши предложения в связи с его намерением вернуться в Саар.

Мне нетрудно было сформулировать такие предложения, поскольку мы уже беседовали с Губертом на эту тему. Он, надо сказать, смотрел на вещи вполне разумно и практично. Конечно, ему очень хотелось увидеть свою мать. Но он в то же время понимал, что ему, принявшему в свое время советское гражданство, не так-то просто получить разрешение на выезд в страну, далеко не дружественную Советскому Союзу. К тому же не было уверенности в том, что он там легко найдет работу по специальности, а не увеличит собой число безработных. А у него уже была семья — жена и дочь. В «местах не столь отдаленных» он, будучи вначале, до заключения в лагерь, на вольном поселении, приобрел не только профессию механика-электрика, но и верную подругу жизни, тоже немку. «Голубой мечтой» его было жить на южном берегу Крыма, где ему когда-то довелось побывать. И когда зашел разговор о том, что он сможет повидаться с матерью и в том случае, если она приедет к нему в Крым, он охотно согласился на такой вариант.

Письмо за подписью Жукова и моей было отправлено в ЦК Шепилову, и вскоре оттуда дали «добро» по всем нашим предложениям. Было дано указание трудоустроить Губерта на южном берегу Крыма, и разрешение на приезд к нему матери. Выдали единовременное денежное пособие в довольно крупной по тем временам сумме — пять тысяч рублей.

Ушли в прошлое годы тяжелых испытаний. Но если бы кто-то вздумал переиздать книгу «Губерт в стране чудес», то ее следовало бы дополнить справками, которые также, на мой взгляд, можно причислить к разряду «чудес».

Прокуратура
Союза Советских
Социалистических Республик 25 июня 1962 года
№ 13/06 — 200/71

Москва, 1-я Бородинская улица, дом 19, кв. 103/ Ефимову Борису Ефимовичу

Сообщаю, что по протесту Прокуратуры СССР, постановлением Президиума Верховного суда Казахской ССР от 22 мая 1962 года приговор лагерного суда от 29 июня 1950 года об осуждении Л0СТЕ Губерта Ивановича, 1923 года рождения, отменен и дело производством прекращено за отсутствием в

действиях Лосте Г. И. состава преступления.

Прокурор по надзору за следствием в органах госбезопасности

Старший советник юстиции (Васильев)

Рядом с этой справкой законное и логичное место принадлежит другой:

Прокуратура

Союза Советских

Социалистических Республик 14 марта 1962 года

№ 13/1 —2001—61

Москва, 1-я Бородинская улица, дом 19, кв. 103/ Ефимову Борису Ефимовичу

Сообщаю, что по протесту Прокуратуры СССР дело по обвинению ОСТЕН-ГРЕССГЕНЕР Марии Генриховны, 1909 года рождения, уроженки Германии пересмотрено.

Определением военного трибунала Московского военного округа от 22 августа 1957 года постановление от 8 августа 1942 г. об осуждении Остен-Грессгенер М. Г. отменено и дело производством прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Остен-Грессгенер Мария Генриховна полностью реабилитирована. Прокурор по надзору за следствием в органах госбезопасности

Старший советник юстиции (Васильев)

Вот так… Произошло, оказывается, маленькое недоразумение — ни Мария Остен, ни Губерт Лосте никаких преступлений не совершали. Советские органы правосудия обнаружили с некоторым опозданием, что «зазря, случайно» была на тридцать третьем году жизни расстреляна благородная, умная, добрая женщина, талантливая писательница, что зазря, безвинно провел пятнадцать лет в ссылке честный, трудолюбивый, добросовестный парень. Нельзя не вспомнить, что еще до них, в 1954 году, был посмертно реабилитирован и тоже «за отсутствием состава преступления» тот, кто эту книгу задумал и редактировал — Михаил Кольцов.

Горько и страшно представлять себе, какие могли совершаться в нашей стране «чудеса», и не совершаются ли некоторые, может быть, похожие «чудеса» в наше время…

…Закончу рассказ о Губерте. Ему, несомненно, повезло — он был реабилитирован прижизненно. В определенном смысле с ним действительно произошло чудо: после малогостеприимных степей

Казахстана — горячее солнце и лазурное море Крыма! О настроении Губерта той поры скажет его собственное письмо:

«Солнечная долина, 2 мая 1957 г.

Дорогой Борис Ефимович!

Наконец-то у меня есть возможность написать Вам — это первый день за все время пребывания здесь, когда у меня свободная минута.

В Симферополь я приехал 22 марта, и меня направили на работу в виноградарский совхоз «Солнечная долина», расположенный в пяти километрах от моря. Работаю старшим механиком. Пришлось сразу включиться в работу, чтобы заново организовать мастерские, собрать кадры и пр. Ко мне приехали жена и дочь, я встретил их в Симферополе. Мне дали квартиру из двух комнат с кухней и верандой. На первое время это меня устраивает, но директор обещал к концу года построить для нас отдельный дом в лучшем месте в саду. Мой оклад составляет 1050 рублей. Немного, конечно, но, если совхоз выполнит план по винограду и другим видам, то в октябре мне выплачивают премию. Сейчас в наш совхоз передали еще две деревни, в связи с чем значительно вырос парк машин. На моем попечении теперь находятся 14 тракторов и бульдозеров, 14 автомашин, 4 электростанции, винный завод, целый ряд других машин и механизмов. А так как заведующего мастерскими у меня нет, то приходится работать по 15–16 часов в сутки.

Матери я написал письмо, в котором приглашаю ее в гости. Если Вы, может быть, поедете в Крым, то обязательно заезжайте ко мне. Вино здесь такое, какого я никогда раньше не пробовал. Надеюсь, оно Вам понравится.

Передайте большой привет Раисе Ефимовне и всем знакомым. Пишите по адресу: Крымская область, Судакский район, село Лагерное. Если вышел «Испанский дневник» — пришлите пожалуйста. *Губерт».*

Казалось, как будто желая загладить пережитые Губертом тяжелые годы, фортуна повернулась к нему лицом — интересная, по душе, работа, хорошие отношения с окружающими, счастливая семья, отличные служебные перспективы. И вдруг пришла беда… 6 августа 1959 года я получил из Крыма телеграмму: «Товарищ Борис Ефимов Губерт умер 5 августа жду ваших советов что мне предпринять подробно опишу в письме — Лосте Амалия».

Причиной смерти Губерта был неудачно прооперированный в симферопольской больнице гнойный аппендицит.

Такова печальная повесть о Губерте Лосте и его пребывании в «Стране чудес»…

…«Хрущевская оттепель», помимо тех значительных перемен, которые она произвела в стране, имела и еще одно гораздо менёе значительное, но непосредственно коснувшееся меня последствие — в «Известия» пришел новый редактор. Это был Алексей Аджубей, человек любопытный и незаурядный. Богато одаренный от природы — и красивой наружностью, и актерскими сценическими данными, и литературными журналистскими способностями, энергичный, инициативный, пробивной. С одинаковым успехом он мог бы стать и видным артистом, и видным публицистом. Судьба направила его по второму пути.

Так случилось, что я знал его еще мальчиком. Он иногда приходил в наш дом вместе со своей мамой, известной московской портнихой Ниной Матвеевной, которая шила и для моей жены. Женщины были знакомы многие годы, дружили, и Нина Матвеевна постоянно делилась с моей супругой своими делами и заботами, охотно рассказывала о своем Алеше, который стал красивым молодым человеком, пользовался успехом, уже выступал в каком-то эстрадном ансамбле. Однажды Нина Матвеевна посетовала:

— Не знаю, что делать, Раиса Ефимовна. Алеша где-то познакомился с Радой, дочерью Хрущева. А я боюсь, Раиса Ефимовна, — сегодня Хрущев секретарь ЦК, а завтра… Знаете, какие теперь времена.

Все закончилось благополучно. После ухода Сталина в «мир иной» Никита Сергеевич пришел к власти, а про Алешу народная молва сложила поговорку: «Не имей сто друзей, а женись, как Аджубей». И надо сказать, что это был счастливый брак, не только для карьеры Алексея Ивановича, но и потому, что Рада Никитична на редкость хороший человек, скромный и порядочный, пользующийся всеобщим уважением. Она была Аджубею преданной подругой жизни, надежной опорой, когда наступили для него трудные времена.

Первым этапом журналистской деятельности Аджубея стало назначение его редактором газеты «Комсомольская правда», которая при нем сразу сделалась более живой, интересной, оперативной. А вскоре он пришел в «Известия». И тут широко развернулись его журналистская хватка, публицистический размах, редакторская инициатива. Незачем говорить, насколько всем его начинаниям способствовало то, что за его спиной стоял высокопоставленный тесть, но надо отдать должное, по справедливости, и его личным качествам. Именно он задумал выпуск «Известий» как вечерней газеты, именно он задумал и осуществил издание при «Известиях» еженедельника «Неделя», другие интересные начинания и, в частности, повторил выход в

свет такой необычной книги, как «День мира». Первый «День мира» был задуман Максимом Горьким и осуществлен Михаилом Кольцовым. В предисловии ко второй книге «День мира», вышедшей в свет в 1961 году, мы читаем: «… Читатель, взявшись за «День мира», может сначала прийти в смущение и недоумение. Как осилить этот том? И вообще — что это? Справочник, научный труд, обзор, комплект? Как надо с ним обращаться?.. Мы считаем «День мира» книгой для чтения. Перелистайте сначала ее, познакомьтесь с построением, бегло посмотрите иллюстрации, задержитесь на тех страницах, какие вас задержат. А потом, не спеша, погрузитесь в чтение, пусть с передышкой, но подряд. Вы не пожалеете. Могучая симфония человеческой жизни захватит вас и понесет с собой».

Автор этих строк, с которыми редакция «Дня мира» обратилась к современному читателю, не назван. Кто же написал их? Когда? Где?

Их написал Михаил Кольцов на двадцать пять лет раньше, в осажденном Мадриде, куда ему, одному из двух редакторов «Дня мира», из Москвы прислали на подпись гранки книги. Другого редактора — Максима Горького — уже не было в живых…

С течением времени деятельность Аджубея начала выходить за пределы редактирования «Известий», приобретать более широкие масштабы и горизонты. Он стал часто ездить за границу, и там его уже принимали, как неофициального, но весьма влиятельного представителя главы государства, своего рода «принца-консорта» или, как острили в Москве, «принца-комсорга». Его с Радой принимает в Белом доме президент Джон Кеннеди, причем американская печать, с ее пристрастием к деталям, отмечает внешнее сходство собеседников, а также то, что оба были одеты в одинаковые синие костюмы. Супружескую чету из Москвы принимает в Ватикане Папа Павел VI, и примечательно, что в заключение состоявшейся беседы святейший отец произносит: «Да благословит Господь Бог вас и всех, кто вам близок», чем, по мнению опытных комментаторов, благословил также атеиста, материалиста, коммуниста Никиту Хрущева. Алексей Иванович — уже член ЦК. Уже молва прочит его в секретари ЦК по культуре и пропаганде, а по другой версии — в министры иностранных дел. Уже он становится «притчей во языцех», предметом всяческих россказней, сплетен и анекдотов. Даже в силу алфавитного порядка его фамилия всегда привычно стоит первой в перечислениях высокопоставленных лиц партийно-государственной иерархии. Конечно, мне не приходило в голову в какой бы то ни было связи упомянуть, как он с мамой-портнихой приходил ко мне на квартиру. Но в своем величии он

относился ко мне вполне благосклонно. На различных редакционных вечерах и мероприятиях он любил усаживать рядом с собой старейших известинцев — писательницу Татьяну Тэсс, Льва Кассиля и меня. И кстати, забавно было видеть на этих вечерах, как в зал два его заместителя под руки вводили его маму Нину Матвеевну, подобно вдовствующей «императрице-матери». Что ж, она вправе была гордиться своим Алешей. А Алексей Иванович спешил ей навстречу и заботливо усаживал на почетное место. Он был примерным сыном.

Припоминаю, как он удостоил своим присутствием кабинет в ресторане «Прага», где я в относительно небольшом кругу друзей отмечал свое шестидесятилетие. Аджубей, естественно, стал центром внимания. Он говорил, как всегда, авторитетно и уверенно, а когда кто-то позволил себе шутливую реплику, то Алексей Иванович резко отреагировал в присущем ему стиле:

— Дайте и мне слово сказать! Я тоже человек!!!

Гость, позволивший себе реплику, сразу прикусил язык.

По окончании банкета мы небольшой компанией поехали ко мне на квартиру. Все мы, не скрою, как принято, выпили, и Аджубей почему-то стал придираться к скромному, интеллигентному Исаю Спектору, администратору театра Вахтангова, мужу нашей приятельницы известной актрисы Юлии Борисовой. И тут Алексей Иванович неожиданно получил непривычный для себя резкий и решительный отпор от Юлии Константиновны. Все были смущены, и мне пришлось вмешаться:

— Друзья мои! Юленька! Алексей Иванович! Не надо ссориться. Что за ерунда! Алексей Иванович, поцелуйте у Юленьки ручку, и будем считать недоразумение недоразумением…

С падением власти Хрущева в октябре 1964 года закончилась и карьера Аджубея. Любопытно, что уже наутро после рокового для Хрущева пленума ЦК в редакцию «Известий» явился Л. Ф. Ильичев с постановлением об освобождении Аджубея от должности редактора. Видимо, ни одной минуты не хотел ждать с этим Брежнев. Надо сказать, что эту катастрофу Аджубей воспринял с достоинством и самообладанием. Он обошел все отделы редакции, прощаясь с сотрудниками, благодаря их за совместную работу, приговаривая: «Ну вот. Теперь я — никто. Простите, если что было не так». Его назначили на мизерную должность — заведующим отделом в редакции ежемесячного журнала «Советский Союз», выходившего незначительным тиражом, главным образом для заграницы. Алексей Иванович Аджубей был, повторяю, незаурядной личностью. Не простой была и его судьба. Он познал и высокие взлеты, и тяжелые

времена. Был, как говорится, и «на коне, и под конем». И — таковы парадоксы жизни, что испытание блестящей карьерой и популярностью он, прямо скажем, выдержал не блестяще — обнаружил самодовольство, нескромность, а подчас неуважение к людям. А испытание тяжелой неудачей, крушением смелых замыслов и расчетов перенес мудро и мужественно.

Я уже упоминал, что, будучи редактором «Известий», Аджубей был благосклонен к старым известинцам, в частности, к Татьяне Николаевне Тэсс.

Что это означает? «Тэсс» — это аббревиатура двух букв «Т» и «С», инициалы писательницы Татьяны Сосюра. Вот надпись на ее книге «В редакцию обратился человек»: «Все то, о чем рассказано в этой книжке, было частью моей жизни, а жизнь — это столько удивительных лет, через столько сложных времен тесно связана с Вами, дорогие мои друзья. Раечке и Боре в знак нашей непревзойденной дружбы. Экзотишка. 25.6.69». А что значит — Экзотишка? Объясняю. Мы проживали с Татьяной Тэсс в соседних подъездах дома издательства газеты «Известия». Дружили, как говорится, домами. Ее мужем был научный работник Юрий Локшин, любивший, как и она, нарядно одеваться. Я как-то встретил эту элегантную супружескую пару во дворе и невольно ими залюбовался. Особенно хорош был Юра в каком-то причудливом итальянском полупальто, застегнутом вместо пуговиц металлическими крючками, как на садовых калитках.

— Ну, Юра, — сказал я, ошеломленный, — экзотичный у тебя наряд. Ты самый настоящий экзотишка.

Это слово очень рассмешило Татьяну Николаевну и с той поры вошло у нас в обиход.

Она приехала в Москву с юга во второй половине 20-х годов, везя с собой робкие, посредственные стихи и такие же робкие надежды на литературный успех в столице. Стихи не понадобились, но литературная удача ей улыбнулась. Прошло немного лет, и Татьяна Тэсс — известная писательница, популярная журналистка, с успехом выступающая на страницах такой распространенной газеты, как «Известия». Выходят в свет и отдельные ее книжки. Для писательской манеры Татьяны Николаевны очень характерна раскованная, доходчивая, почти разговорная интонация. Она как бы даже щеголяет своей наблюдательностью, зоркостью видения, умением замечать детали.

После нескольких лет неизбежных в Москве жилищных мытарств Татьяна Николаевна получила отличную двухкомнатную квартиру. Вот тогда мы и стали соседями. Она, между прочим, рассказывала мне со смехом, что при

распределении жилья были возражения:

— А зачем Татьяне Тэсс, незамужней и одинокой, двухкомнатная квартира? Хватит с нее и однокомнатной!

Но за нее энергично вступился замредактора, громогласный Яков Григорьевич Селих, человек добрый и шумный.

— Ни в коем случае! — гремел он. — Только двухкомнатную! Что с того, что она незамужняя? А завтра она выйдет замуж! Что тогда? Разве она не заслужила? Я категорически настаиваю!

Он как в воду глядел… Вскоре мужем Татьяны Николаевны стал Юрий Локшин, человек приятный, интеллигентный, общительный. Знакомство их, между прочим, началось с того, что он с каким-то сложным вопросом пришел в редакцию и его направили на прием к Татьяне Тэсс…

Свою квартирку Таня за короткое время превратила в подлинный маленький музей. Редкие книги, с большим вкусом подобранные произведения живописи и графики (нескромно похвалюсь, среди них был и мой натюрморт на китайские мотивы), очаровательные статуэтки, вазы, подсвечники, другие изделия из хрусталя, металла, керамики… Всего и не упомнишь. Таня и Юра составляли на редкость дружную, во всем между собой согласную, до смешного единомыслящую супружескую пару. А квартира их незаметно стала настоящим литературным и культурным салоном, где охотно бывали и общались друзья этого милого, гостеприимного и хлебосольного дома. Особенно весело и непринужденно проходило традиционное ежегодное застолье в Татьянин день. Неизменно присутствовали Лев Кассиль, Аркадий Райкин, Михаил Куприянов (один из Кукрыниксов), другие общие знакомые. Гости всегда восхищались редким по красоте столовым сервизом и всем убранством очаровательной квартиры.

Татьяну Николаевну окружало всеобщее признание, она пользовалась широкой популярностью, была полна интересных творческих замыслов. И вдруг… Скоротечная, неожиданная болезнь, безвременный уход из жизни.

Помню многолюдную панихиду в конференц-зале «Известий», растерянные речи друзей, ошеломленных катастрофой. Невыносимо тяжело было смотреть на бедного Юру Локшина, пребывавшего в каком-то шоке, как бы не способного понять, что произошло.

Татьяну Тэсс похоронили на Ново-Кунцевском кладбище, и месяца через три Юра воздвиг ей настоящий миниатюрный мемориал черного мрамора. В центре его высилась бронзовая, во весь рост статуя Татьяны Николаевны.

Я иногда встречал овдовевшего Юру Локшина во дворе нашего дома. Это был совсем не прежний жизнерадостный,

общительный, модно одетый, начиненный последними новостями и анекдотами Экзотишка, а — поникший, угнетенный, молчаливый человек.

Как-то он позвонил мне по телефону:

— Боря. Я должен тебе сказать… Я не могу больше жить один.

Мы помолчали.

— Что ж, Юра, — наконец сказал я. — Сделай то, что делают другие в твоем положении. Но будь осторожен. Не попадись, как попался Леня Ленч.

Я имел в виду нашего общего приятеля, известного литератора. Года полтора назад он проводил в последний путь жену, с которой они жили душа в душу. Остался безутешным вдовцом. Но вскоре некая предприимчивая дама представилась ему горячей почитательницей его писательского творчества, обнаружив при этом отличное знакомство с его произведениями и весьма угодив тем самым его авторскому самолюбию. Они быстро подружились, так сказать, на чисто литературной почве. Но как и следовало ожидать, она вскоре вошла в дом Ленча полновластной хозяйкой, и он оказался под весьма твердым каблучком. А далее как-то так получилось, что спустя непродолжительное время и сам Ленч приказал долго жить, оставив почитательнице его творчества уютно обустроенную его покойной женой квартиру, антикварную мебель и довольно доходное авторское право.

— Что ты, Боря… — недовольно сказал Локшин. — При чем тут Леня Ленч. Ты не знаешь Елену Романовну. Это исключительно порядочный, бескорыстный человек.

Речь шла, как выяснилось, о женщине, которая уже некоторое время вела домашнее хозяйство в «квартире-музее». А после того, как совершенно утративший волю к жизни Юра Локшин нашел вскоре вечное успокоение рядом с Татьяной Тэсс, весь антиквариат, букинистические редкости и произведения искусства, которые годами с увлечением и любовью собирала и над которыми буквально «дрожала» Татьяна Николаевна, перешли в руки случайного, постороннего человека.

Татьяне Николаевне Тэсс принадлежит теперь только ее литературное творчество и неоспоримое место в памяти знавших ее людей.

Не наводит ли это на философские размышления о бренности земных благ и о нетленности ценностей духовных?

Глава двадцать шестая

Прямым следствием «хрущевской оттепели» и посмертной реабилитации брата стало избрание меня в состав Академии художеств СССР, что, вероятно, произошло бы значительно раньше, если бы я 16 лет не числился в «штрафной роте» родственников «врагов народа». Но таковы причуды жизни: одновременно с этим приятным событием пришли и тяжелые семейные неурядицы. Я уже рассказывал, что мы с женой фактически усыновили маленького Витика, нашего внука, после того, как его молодые родители разошлись. Разошлись, к сожалению, не по-хорошему… И это привело к длительному, изматывающему семейному конфликту, к тяжелым драматическим переживаниям и бесконечным судебным тяжбам. Ко всему прочему, на почве этих событий у жены произошел «парез» — паралич лицевого нерва, неизлечимый до конца ее жизни. Эта беда случилась с ней, когда мать Витика, до того мало о нем беспокоившаяся, обманом увела его, уже пятилетнего мальчика, из нашего дома. Упорно желая насолить своему бывшему мужу, она, женщина волевая и настойчивая, обрушила на нас с женой судебную тяжбу, продолжавшуюся два с половиной года, с целью высудить в нашей квартире отдельную комнату. Причем ничуть не скрывая, что намерена в эту комнату немедленно поселить дворничиху нашего дома с четырьмя детьми. То была поистине «титаническая» юридическая борьба. С обеих сторон состязались опытные адвокаты. Особенной изворотливостью отличался адвокат истицы. На каждом из судебных рассмотрений, а их было много, он изощрялся в колкостях и каверзных вопросах по моему адресу. Я старался не оставаться в долгу и был уверен, что он когда-нибудь настолько зарвется, что я смогу его ущемить.

Так оно и вышло. На одном из судебных заседаний он, размахивая газетой, патетически восклицал: «Вот, смотрите! Тут описывается, как скромно жил Владимир Ильич Ленин в простой трехкомнатной квартире. А вот, извольте видеть, товарищ Ефимов не желает выделить в своих четырехкомнатных апартаментах одну комнату!»

«Ну, милый мой, ты попался», — подумал я.

И на следующий день отправился в Московскую городскую коллегию адвокатов с заявлением, что адвокат имярек позволяет себе припутывать к обыкновенной жилищной склоке имя Ленина. Адвоката вынуждены были призвать к порядку, и он в дальнейшем приутих. Пусть кто-то закричит, что то был с моей

стороны недостойный политический донос. А я считаю, что это была законная и правильная самозащита от возмутительной, дешевой демагогии адвоката. Наша тяжба прошла все мыслимые судебные инстанции — несколько раз в районном суде, затем — в городском, потом в Верховном РСФСР, оттуда опять в районном… Но не судебным порядком, а совсем другим путем завершилась вся эта эпопея. Нам сообщили, что мама Витика, повздорив с подвыпившим соседом по коммунальной квартире, попала в больницу после удара по голове. Витя остался на попечении ее матери. Я немедленно туда помчался и примерно недели две навещал их почти ежедневно. Катал Витю с бабушкой в своей машине, заезжал в магазины игрушек, где покупал мальчику все, что ему нравилось. Витя был в явном восторге, бабушка тоже. Но явившись как-то к ним, я застал вернувшуюся из больницы Витину маму. Она лежала на диване и на мое приветствие не ответила. Я как ни в чем не бывало стал расспрашивать бабушку о школьных успехах Вити. И вдруг Витина мама прервала свое ледяное молчание:

— У него по русскому письменному — пятерка.

Я понял, что произошел перелом. И прождав минуты две, сказал:

— Нина! А может быть, помиримся?

Витина мама встала с дивана и бросилась мне на шею… Так завершился почти трехлетний конфликт. Витя навсегда вернулся в наш дом, и у меня с тех пор не было более доброго и заботливого друга, чем Нина Николаевна, Витина мама.

Хочу упомянуть и об еще одном чисто личном событии — весьма приятном. В 1953 году в Москве родился мой «прямой» внук, сын Михаила — Андрей.

…Все эти мною рассказанные чисто личные дела и проблемы не могли, конечно, помешать профессиональной творческой работе. И к тому же, в моей жизни большое место занимала работа общественная. Это было принято в те годы, да и теперь в духе времени. Сегодня часто повторяют фразу: «Поэт в России — больше, чем поэт». Но разве активное участие в проблемах, сложностях, противоречиях и бедствиях общества — это привилегия поэтов? Больше, чем артист — Михаил Ульянов. Больше, чем музыкант — Мстислав Ростропович. Больше, чем ученый — был Андрей Сахаров. И больше, чем художником, должен быть художник.

Так получилось, что я имел непосредственное касательство к самым известным Домам творческой интеллигенции столицы. Я был председателем совета Дома художника, членом правления Центрального дома литераторов, членом Дома кино и Дома

ученых. Но теснее всего я связан с ЦДРИ (Центральный дом работников искусств). Он был основан в 1930 году, и мне довелось присутствовать на первом собрании его членов, о чем я уже писал. Это собрание никогда не изгладится из памяти, потому что на нем выступил Владимир Маяковский. Он там прочел свое последнее произведение — вступление к поэме «Во весь голос», которое произвело тогда неизгладимое впечатление. Помню, должен был потом выступать такой замечательный артист, как Василий Качалов, но он отказался.

— Нет, — сказал он, — после этих стихов ни с чем выступать невозможно…

За истекшие с тех пор 70 лет я из рядового посетителя ЦДРИ стал его активистом, потом — членом правления, а потом и по сей день — заместителем председателя правления.

Что же такое ЦДРИ? Учреждение? Организация? Клуб? Наверное, и то, и другое, и третье. Но мне хочется определить суть ЦДРИ несколько более приподнято и, если хотите, торжественно: это Обитель муз. И тех муз, классических, пришедших к нам из древнегреческой мифологии, и новых, современных, родившихся на наших глазах — кинематографии, радио, телевидения. Семидесятилетняя биография ЦДРИ — замечательная, яркая панорама самых разнообразных увлекательных мероприятий — юбилейных вечеров, концертов, торжественных празднований, интересных лекций и докладов, художественных выставок, новогодних встреч, капустников, «посиделок» и всего прочего, на что был великим мастером бессменный на протяжении многих лет директор Дома Борис Филиппов.

Клубная работа — это весьма своеобразная, нелегкая, требующая особого таланта область культурной деятельности. И таким талантом был щедро одарен от природы Борис Михайлович Филиппов. Его многолетняя неутомимая изобретательная деятельность прошла, по существу дела, в трех домах культуры — он начал с Кружка любителей искусства, небольшого клуба, выросшего в дальнейшем в Центральный дом работников искусств, откуда его лет через тридцать «переманили» в Центральный дом литераторов. Писатель Борис Полевой не зря прозвал его Домовым, и это прозвище за ним сохранилось, и даже одну из своих книг Борис Михайлович назвал «Записки “Домового”».

Каждый раз смеюсь, перечитывая полученное мною письмо со вложенной в него фотографией. Конечно, этот забавный розыгрыш мог придумать только Борис Филиппов, неугомонный и неистощимый выдумщик.

Письмо гласило:

«Уважаемый гражданин Ефимов! Как известно, вы не являетесь солистом балета Большого театра. Поэтому прилагаемый к сему фотоснимок вашего па де-де с замечательной Ольгой Лепешинской вызывает некоторое недоумение и, будучи показан вашей уважаемой супруге, Раисе Ефимовне, вряд ли ей понравится и может доставить вам крупные семейные неприятности. В странах капитализма, где царят бесчеловечные законы джунглей, с вас потребовали бы за этот снимок крупную сумму денег. Но пишущий эти строки — не какой-нибудь бессовестный вымогатель и готов ограничиться скромной суммой в один миллион рублей, которые прошу опустить в почтовый ящик у входа в ЦДЛ на имя директора Дома. *Ваш доброжелатель».*

В пакет была вложена фотография, снятая на каком-то веселом «капустнике» в ЦДРИ. На этом снимке я держу на руках знаменитую балерину.

Я стал обдумывать ответный удар. Найдя у себя фотоснимок, на котором Борис Михайлович в компании писателей сидит в ресторане ЦДЛ за обильно уставленным блюдами столом, заретушировав всех, кроме Филиппова, отправил ему это фото со следующим посланием:

«Директору Центрального дома литераторов

тов. Б. М. Филиппову.

В Прокуратуру Фрунзенского р-на гор. Москвы поступили сведения о систематических хищениях продовольственных продуктов, винно-водочных изделий и кондитерских товаров из ресторана ЦДЛ.

Честным советским гражданам, стоящим на страже полноценного питания и высокой упитанности советских прозаиков и поэтов, удалось заснять на месте преступления одного из расхитителей. Есть предположение, что он является одним из работников ЦДЛ.

Направляя Вам указанный фотоснимок, просим Вас, как директора ЦДЛ, принять меры к опознанию разоблаченного преступника, посягнувшего на желудки московских писателей, для последующего привлечения его к судебной и моральной ответственности.

Подписи: *И.О. секретаря прокурора Гробман, член группы содействия ОБХСС при ЦДЛ Б. Ефимов».*

Между прочим, фамилия Гробман мною не придумана, а связана с конкретным курьезным фактом. Как-то в Большом зале ЦДРИ я проводил молодежный вечер встречи художников со студентами. Как и полагалось в свое время, программа вечера

была согласована в райкоме партии — доклад о задачах молодежи в строительстве развитого социалистического общества, а затем демонстрация кинофильма. Все шло спокойно и чинно, но вот ко мне из зала поступила записка с вопросом, могут ли выступать желающие из аудитории. Не видя в этом ничего дурного, я, когда закончился доклад, легкомысленно спросил, есть ли желающие высказаться. И к микрофону сразу подошел некий субъект (видимо автор записки) и заговорил почему-то о… Маяковском, с ходу именуя поэта «приспособленцем, карьеристом, изменившим революционному футуризму». Минуты две-три я с недоумением слушал его, а потом со словами: «Э, нет, этого мы не допустим!», вскочил со своего председательского места и бросился отнимать у этого типа микрофон. Я слишком чтил творчество Маяковского и память о нем, чтобы допустить оплевывание великого поэта. Но крепко вцепившись в микрофон и отпихивая меня локтем, «оратор» продолжал что-то выкрикивать. Заместитель Филиппова Михаил Шапиро поспешил мне на помощь, получилась довольно комическая свалка на глазах опешившей аудитории. С большим трудом нам удалось стащить «оратора» с трибуны. В другое время или в другой стране — это был бы просто мелкий комичный эпизод, которому никто не придал бы ни малейшего значения, но у нас…

Из райкома партии было немедленно спущено в ЦДРИ строгое указание обсудить на экстренно созванном правлении эту «серьезную политическую ошибку». Она заключалась в том, что я, как председатель собрания, дал согласие на незапланированные (и, естественно, «не подготовленные» в соответствующем духе) выступления с мест. На правлении ЦДРИ присутствовали такие известные всей стране деятели искусств, как Валерия Барсова, Серафима Бирман, Софья Гиацинтова, Елена Гоголева, Борис Голубовский, Михаил Козаков, Борис Петкер, Леонид Утесов и многие-многие другие артисты, режиссеры, художники. И, естественно, пришли представители городского и районного комитетов КПСС. Были, конечно, и я, и Борис Филиппов, и его неизменный заместитель Михаил Шапиро. И все эти видные представители творческой интеллигенции на полном серьезе обсуждали глупейшую историю, не стоившую выеденного яйца. Но таковы были тогдашние нравы.

Как беспартийный, я отделался только «строгим указанием» от правления, но бедный Филиппов, которого, между прочим, даже не было в тот вечер в Москве, схлопотал строгий партийный выговор.

Фамилия причинившего нам столько хлопот субъекта, срочно объявленного, кстати, психически неполноценным, была —

Гробман. И с той поры эта курьезная фамилия вошла в наш с Филипповым юмористический лексикон. Мы часто говорили по тому или иному поводу: «Лишь бы не появился Гробман…» или «Как бы не узнал Гробман…» Даже под шутливыми телеграммами с очередным веселым розыгрышем, которые я иногда получал от Филиппова, стояла подпись: «Ваш Гробман».

Среди разнообразных обязанностей, ложившихся на меня в ЦДРИ как на заместителя председателя правления, которые мне помогал выполнять Филиппов, имелась и такая: я ежегодно становился председателем Новогодней комиссии, задачей которой было допущение или недопущение кого-либо встретить Новый год в ЦДРИ.

На столе в кабинете правления высилась мощная кипа заявлений. Они рассматривались одно за другим, и тут же выносился вердикт, который был весьма лаконичен и состоял из двух вариантов: «Ладно, пускай встречает» или «А зачем он нам нужен?» Правда, рассмотрение заявлений проходило не без шуток, острот и веселых замечаний, но это отнюдь не избавляло председателя комиссии, то есть меня, и директора Дома, то есть Филиппова, от последующих громов и молний на наши головы со стороны отвергнутых.

Помню, между прочим, забавную телеграмму от гастролировавшей в провинции знаменитой эстрадной пары, моих друзей Марии Мироновой и Александра Менакера: «Дорогой Боря восклицательный знак мы знаем двоеточие зачем они нам нужны запятая но просим оставить три места точка ваши Маша и Саша». Третье место, естественно, предназначалось для их сына, тогда еще начинающего Андрея Миронова. Телеграмма была зачитана под общий смех, и все взоры обратились на меня. Я сделал вид, что погрузился в серьезные размышления и потом произнес соответствующую формулу: «Ладно, пусть встречают».

Было также среди других оглашено заявление Семушкина — автора некогда популярного романа «Алитет уходит в горы».

— Вот там, в горах, вместе с Алитетом пускай и встречает, — заметил литератор Иосиф Прут.

Был и такой эпизод. Во время заседания новогодней комиссии распахнулась дверь кабинета, и на пороге появился дородный мужчина в генеральских погонах.

— Тут записывают на новогоднюю встречу? — спросил он, не здороваясь. — Мне нужен стол на восемь человек.

— Видите ли, — сказал я, — мы прежде всего предоставляем места работникам искусств, членам Дома. Но если будет возможность…

— При чем тут возможность? — сердито перебил он меня. —

Это что же получается? Генералам и собакам вход запрещается?

Тут вскочил с места маленький Филиппов. У него был вид разъяренного боевого петушка.

— Товарищ генерал! — громко отчеканил он. — Вы что себе позволяете? Подобные грубости мы не желаем слушать! Попрошу вас немедленно отсюда удалиться.

Бесцеремонный генерал, видимо, не ожидал такого отпора. Злобно посмотрев на Филиппова, он пробормотал что-то невнятное и закрыл за собой дверь.

— Ну, Борис Михайлович, ты нас всех потряс, — сказал Иосиф Прут. — Ты молодец.

Кстати сказать, Борис Филиппов во время Отечественной войны отнюдь не обретался в тылу, а вдосталь нанюхался пороха в качестве начартбрига. Правда, это звание не имеет ничего общего с артиллерией, а означает «Начальник артистической бригады», выступавшей под его руководством на различных и иногда весьма опасных участках фронта.

Нельзя не сказать и о том, что Филиппов был одаренным литератором, автором целого ряда интересных книг. С одной из них связан следующий эпизод. То был сборник очерков об известных деятелях театра. Литературные портреты были написаны живо и увлекательно, но их характеристики и мнение о них Филиппова не всегда совпадали с мнением вышестоящих партийных инстанций. И не удивительно, что в «Литературной газете» незамедлительно появилась разгромная рецензия, злобная и несправедливая. Нетрудно себе представить огорчение Бориса Михайловича. Я ему очень сочувствовал и решил объясниться с редактором «Литературной газеты», которым был в ту пору Константин Симонов.

— Как же так, Константин Михайлович, — говорил я. — Почему надо так обижать Бориса Филиппова, хорошего, талантливого человека? И книга совсем неплохая. А если он считает, что так несправедливо и так грубо отстранили Таирова от руководства Камерным театром, то это его личное мнение.

Симонов как-то странно на меня посмотрел.

— Борис Ефимович, — сказал он, — неужели я должен объяснять вам, человеку грамотному, что в наше время личное мнение лучше всего держать при себе. И еще: поверьте мне, что я два часа работал над этой рецензией, выбрасывая из нее всяческие обидные слова по адресу Филиппова. Но кое-что, естественно, осталось. А к Филиппову лично я, как и вы, отношусь с большим уважением.

И Симонов показал это на деле — когда он был избран председателем правления ЦДЛ, то немедленно обратился к

Филиппову с просьбой стать директором Дома. И ряд лет они проработали вместе в дружбе и согласии.

На полке моей домашней библиотеки — несколько книг Бориса Филиппова с добрыми авторскими надписями. Позволю себе привести одну из них на книге «Как я стал “Домовым”»:

«Дорогой Борис Ефимович! Эта книжка — от «красавца мужчины», изображенного на обложке. Он любит Вас и гордится дружбой с Вами. Б. Филиппов 17.1.75».

Хорошим, веселым, талантливым человеком был Борис Михайлович Филиппов.

Говорить о ЦДРИ — это значит рассказывать о тех замечательных талантливых людях, которые были творческой силой, активом, золотым фондом Дома. Это — Валерия Барсова, Ольга Лепешинская, Иосиф Туманов, Сергей Образцов, Иосиф Прут, Рубен Симонов, Евгений Симонов и многие другие. О некоторых из них — более подробно.

Рассказывать об Ольге Васильевне Лепешинской — и трудно, и легко. С одной стороны, как охватить, стройно и не путаясь в калейдоскопе фактов и событий, подлинно вихревую динамику ее биографии — творческой, профессиональной, общественной, личной? Не каждому это под силу. С другой стороны, именно эта «остросюжетность», отличающая всю ее жизнь, позволяет убедительно и достоверно создать образ этой удивительной личности.

Не зря утверждают, что талантливый человек — талантлив во всем. Она великая балерина? Несомненно. Она великолепный педагог танцевального искусства? Конечно. Она активнейший общественный деятель? Бесспорно. У нее выдающееся ораторское дарование, и не менее уверенно владеет она пером публициста (что называется, «говорит, как пишет»). Прибавьте к этому кипучую энергию в каждой из этих ипостасей, окрашенных к тому же веселым, чуть-чуть озорным юмором, подлинным женским обаянием. Вот такой я узнал Ольгу Лепешинскую. Председателем правления в ту пору была замечательная певица, солистка Большого театра Валерия Барсова. Все сложнейшие заботы по Дому — творческие, общественные и различные другие — с ней добросовестно разделяли два ее заместителя — Ольга Лепешинская и пишущий эти строки. В этой связи я называл Ольгу Васильевну Замша (сокращенное от «заместительница»), на что она немедленно окрестила меня другим материалом для обуви — Шевро.

Говорить о работе Лепешинской в ЦДРИ — значит перелистывать летопись культурной и творческой жизни столицы за годы и десятилетия, неизменно отражавшиеся в залах ЦДРИ

всевозможными мероприятиями, которые, как правило, давали добрые плоды, возникали новые имена, новые таланты. Так, между прочим, появился и Аркадий Райкин.

А однажды мне позвонила Лепешинская.

— Как вы смотрите, Шевро, на то, чтобы показать в ЦДРИ рисунки одного талантливого паренька, студента художественного института в Ленинграде? По-моему, это интересно.

— Студент из Ленинграда? Гм… Дорогая моя Замша, я не против, но… Как бы не возмутились в Московском Союзе художников. Там ведь месяцами и годами ждут возможности показать свои работы пожилые художники. А тут, вы говорите, Замшечка, молодой паренек… А впрочем, рискнем. В конце концов мы все-таки Центральный, а не только Московский дом. Мы вправе показывать талантливую молодежь любого города.

Выставку устроили. Она прошла с успехом, причем, как и следовало ожидать, я не избежал взбучки от председателя МОСХа Федора Богородского. И произнес он те самые слова:

— Ты с ума сошел, Боря? Не знаешь, что ли, сколько ждут у нас старые художники своей выставки?

И я тоже ответил ему готовыми словами:

— Мы — Центральный дом искусств, Федя. Почему мы не можем показывать подающую надежды молодежь?

Замша стояла рядом со мной и очаровательно улыбалась Богородскому. Он махнул рукой и тоже заулыбался. А имя молодого студента из Ленинграда стало вскоре широко известным. Это — Илья Глазунов.

Лепешинской свойственен не только удивительный талант сценического перевоплощения, делавший ее то пламенной испанкой Китри в балете «Дон Кихот», то пылкой француженкой Жанной в «Пламени Парижа», то ласковой и трогательной Парашей в «Медном всаднике», то убедительной в своей интернациональной солидарности китаянкой Тао Хоа в «Красном маке»… Так же, повторяю, уверенно и свободно она чувствует себя в любых «нетанцевальных» делах, которыми ей приходилось и по сей день приходится заниматься. И в качестве депутата Моссовета четырех созывов, и члена Антифашистского комитета советских женщин, и во многих других «ролях».

Нельзя не сказать об истинном мужестве, прямо скажем, неожиданном и удивительном в маленькой женщине, которое способна проявить Ольга Лепешинская, когда того требует ситуация.

Разве это не настоящий подвиг, не настоящее мужество, когда при внезапной серьезной травме коленного сустава при

исполнении роли Тао Хоа в балете «Красный мак», преодолевая острую боль, Лепешинская продолжала танцевать, чтобы не сорвать спектакль, не подвести товарищей, не разочаровать и не огорчить зрителей. Так случилось, что вскоре после этого драматического происшествия мы оказались одновременно с Ольгой Васильевной в доме отдыха Большого театра в Серебряном бору под Москвой. С каким юмором описывала Лепешинская этот далеко не смешной эпизод. А я даже посвятил ему бесхитростные строки:

У Сребороборья Дом зеленый.
Чудес немало в Доме том:
Там бродит часто Шток ученый
С младою Вольскою кругом.
Там с бедной поврежденной ножкой
Гуляет милая Лепешка
Иль, бодрый сохраняя вид,
У телевизора сидит.
Пускай она тут отдохнет.
Скорей коленка заживет —
Ее Большой театр ждет.
Там ждут ее Китри, Аврора
И Тао Хоа, и Одетта:
Ни для кого ведь нет секрета,
Что вклад велик ее без спора,
Ее известен подвиг сей,
Что в отношении балета
Мы впереди планеты всей.

Непременно надо рассказать и еще об одном постоянном и активном участнике почти всех мероприятий и заседаний ЦДРИ — об Иосифе Пруте.

Существует ли переселение душ? Действительно ли наши души обладают способностью менять свою телесную оболочку, вселяясь из одного человека в другого? Не знаю.

Но когда я вспоминаю Иосифа Прута (для родных и друзей просто — Оня), то начинаю думать, что это возможно. Во всяком случае, в характере, стиле, поступках, жизненном пути Они Прута мы находим если не полное совпадение, то несомненное сходство с некоторыми, весьма незаурядными личностями прошлого. Мне прежде всего приходит на ум Иосиф Флавий, древнеримский и одновременно иудейский писатель, историк, философ, человек сложной остросюжетной судьбы, о которой проникновенно рассказал Лион Фейхтвангер в романе «Иудейская война». И тут

же вспоминается колоритная фигура совсем другой эпохи, но столь же родственная Пруту душой — Сирано де Бержерак, талантливый поэт, находчивый острослов и забияка, при этом трогательный рыцарь по отношению к дамам и верный друг. Далее, говоря о возможных перевоплощениях прутовской души, нельзя не вспомнить Д'Артаньяна или, вернее, того неугомонного гасконца, послужившего Александру Дюма прототипом знаменитого мушкетера. Мне хочется упомянуть и загадочного графа Сен-Жермена, о котором мы знаем из «Пиковой дамы», что он «был не трус», когда дело касалось прекрасного пола. Он же, между прочим, знал тайну трех карт, а ведь Оня Прут отлично владел секретом карточных фокусов. Но не буду скрывать, что некоторое сродство душ, как считают иные, можно обнаружить у Они и с неувядаемым фантазером и очаровательным выдумщиком бароном Мюнхгаузеном. Нельзя упомянуть и…

— А не хватит ли этих литературно-исторических реминисценций? — прервет меня нетерпеливый читатель. — Нельзя ли просто и толком рассказать о живом, реальном Оне Пруте, каким вы его лично знали?

Иосиф Леонидович Прут был прежде всего талантливейшим, на редкость разносторонним литератором — беллетристом, драматургом, сценаристом, автором интереснейших исторических повестей и исследований, театральных инсценировок, имевших громкий успех. Достаточно вспомнить такие фильмы, как «Тринадцать», «Моя любовь», «Секретарь райкома», спектакли «Милый друг», «Катрин» и другие. Не менее активным, многогранным и вездесущим был Прут и в другой своей ипостаси — общественной деятельности. Без его энергичного участия не обходилось, как правило, ни одно сколько-нибудь значительное мероприятие в Центральном доме работников искусств, в Центральном доме литераторов, в Центральном доме кино, в любом клубе столичной творческой интеллигенции. Отсутствие Прута на собраниях было немыслимо — оно сразу же делало их вялыми и скучными. При этом Прут был желанным гостем не только на торжественных, праздничных, юбилейных вечерах, но и на строго деловых, профессиональных, производственных совещаниях. Слушать его было одно удовольствие. Говорил он ярко, образно, с юмором и, главное, всегда дельно. У него была, между прочим, забавная манера: когда после какой-нибудь его шутки аудитория покатывалась со смеху, он сохранял абсолютно серьезное, чуть-чуть удивленное выражение лица, как бы говорившее: «А что тут, собственно, смешного?»

У Прута был удивительный дар владеть аудиторией, независимо от того, был ли перед ним многолюдный зал или

один-единственный собеседник. Знаю по себе: любая встреча с ним, пусть самая кратковременная и случайная — на улице, в вестибюле клуба, в метро, — приносила что-то новое, любопытное, забавное и всегда поднимала настроение. Еще бы! У него каждый раз было, что рассказать, что вспомнить, чем рассмешить или ошеломить. Чего только этот человек не знал, чего только не видел, при чем только не присутствовал. Впрочем, с одной маленькой поправкой — он иногда давал простор своей фантазии, желая развеселить собеседника, если замечал его плохое настроение. Однажды, помню, чем-то озабоченный, я с ним встретился в ЦДЛ.

— Чем вы так расстроены, Боря? — спросил он.

— Есть причины, — неохотно ответил я.

Он внимательно на меня посмотрел.

— А я с банкета в посольстве Ирана, — сказал он. — Между прочим, там у меня за столом был забавный разговор. Я сидел рядом с очень симпатичной дамой из Тегерана. Завязался эдакий светский разговор. Я изо всех сил изображаю из себя джентльмена, чокаюсь с ней элегантно, отставляя мизинец от бокала, и между прочим, делаю ей комплимент: «Мадам, наверно, пользуется у себя в стране большим успехом?» И представьте себе, Брря, она мне отвечает, довольно печально: «Нет, вы знаете, я никаким успехом не пользуюсь». Я, Боря, изобразил крайнее удивление: «Что вы, мадам, этого не может быть!» На что она мне так же печально отвечает: «Видите ли, у нас в Иране мужчины любят у женщины большой жопф. А у меня, как видите, нет большой жопф».

Я громко расхохотался, забыв про свое плохое настроение. Прут посмотрел на меня без улыбки и добавил:

— Вот такие нравы, Боря.

Шутники утверждали, что Прут только потому не участвовал во взятии Бастилии, что случайно опоздал родиться к этому событию, а иначе был бы в первом ряду штурмующих парижскую крепость-тюрьму. А брать Зимний дворец в дни Октябрьского переворота пришлось без Иосифа Леонидовича по той уважительной причине, что он был очень занят в другом месте — в составе Русского экспедиционного корпуса воевал во Франции под Верденом, за что, кстати, был удостоен воинских наград, и русской, и французской.

Слушая Прута, я никогда не был уверен — где подлинные факты, а где — богатая и веселая фантазия. В нем было причудливое сочетание того и другого. Однажды со мной поделился Леонид Утесов — верить или не верить Оне, когда тот ему рассказал следующее: «Стою я как-то на карауле, проходит

группа офицеров. И вдруг один из них кричит мне: «Жозеф! Что ты тут делаешь?» Я вглядываюсь — принц Конде!»

— Как вы думаете? — спрашивает меня Леонид Осипович. — Это может быть? Не врет ли он?

— Не знаю, Леонид Осипович. С Прутом все возможно, — нерешительно ответил я.

И действительно, когда как-то Оня упомянул, что он в приятельских отношениях с дочерью известного греческого миллиардера Онассиса (того самого, который женился на вдове президента Джона Кеннеди Жаклин), я решил, что это чистейшая выдумка. Попросту говоря — вранье. А это оказалось чистейшей правдой. И когда дочь Онассиса приехала в Москву, чтобы выйти замуж за некоего полюбившегося ей советского гражданина, то Оня Прут, как ближайший друг, был свидетелем при регистрации брака, что стало тогда в Москве злобой дня.

Надо к этому добавить, что соответствуют действительности и военные эпизоды биографии Прута. Оня навоевался вдосталь — и в Гражданскую войну, в Первой Конной армии Буденного, и в Великую Отечественную, протопав нелегкими фронтовыми дорогами от Москвы до Праги, вернувшись домой с боевыми орденами и медалью «За отвагу».

Оню Прута окружала какая-то особая аура общительности и дружеского контакта с людьми, живого, непринужденного, веселого. Интересно, что эта добрая аура способна была проявить себя заочно, без присутствия самого Прута. Происходило это примерно так: идет вялая скучная беседа между двумя малознакомыми собеседниками. Но вот один из них случайно вспоминает какую-то шутку или анекдот Прута.

— Как?! — взвизгивает другой. — Вы знаете Оню Прута?!

— А кто же его не знает? — удивляется первый.

И вот уже скуки как не бывало. Лица засветились улыбками, и собеседники, перебивая друг друга, вспоминают различные прутовские байки, реплики, анекдоты, «случаи из жизни».

— А это вы знаете? — спрашивает кто-нибудь из них. — Председатель Дома кино Пырьев очень строго следил, чтобы на киносеансы проходили только члены Дома. Он сам становился у входа и требовал предъявления членских билетов. К двери подходит Прут. «Член Дома?» — строго спрашивает Пырьев. «Нет, с собой», — невозмутимо отвечает Оня. Общий хохот, сконфуженный Пырьев куда-то исчезает.

Собеседники разражаются веселым смехом. Сам того не зная, Оня Прут объединил и подружил их своей веселой аурой.

Мы были с Прутом почти ровесники — разницу в возрасте составляли всего три месяца. При этом «в пользу» Прута — он

был моложе. А ушел он из жизни тоже необычно, по-прутовски — сразу после яркого, интересного выступления на совещании писателей, пишущих на темы о пограничниках, созванном по его же замыслу в городе-герое Бресте.

Кто знает? Может быть, его мятежной душе предстоят новые перевоплощения.

Но для нас, современников его и друзей, он навсегда останется все тем же неугомонным, кипучим, добрым, веселым и уникальным Оней Прутом.

Теперь о другом «столпе» ЦДРИ — Сергее Образцове.

Мы, старые москвичи, хорошо помним, какой огромный успех у театрально-художественной Москвы завоевал за короткое время молодой актер МХАТа Сергей Образцов, появлявшийся на концертах и праздничных вечерах с маленькой портативной ширмой, над которой забавные куклы проделывали настоящие чудеса в его искусных руках. Аудитория буквально стонала от хохота, когда эти куклы исполняли старинные романсы, оперные арии, всевозможные пародии и интермедии. Это было необычайно смешно, остроумно, талантливо.

…Я размышляю над жизненными парадоксами: наверно, в почтенной семье крупного ученого, выдающегося деятеля науки, профессора Владимира Образцова возникло немалое огорчение и даже переполох, когда выяснилось, что любимый сын Сережа, вместо того, чтобы пойти по стопам отца по научной части, неожиданно потянулся к актерской профессии. Это было бы еще полбеды, поскольку он вышел на сцену всеми уважаемого Московского Художественного театра, но оказалось — о ужас! — что он одновременно стал эстрадным кукольником, чем-то вроде балаганного Петрушки. Чуть ли не ярмарочным скоморохом… И кто мог предвидеть, что в будущем не станут говорить: «Знаете, Сергей Образцов — это сын известного ученого профессора Образцова», а скажут: «Вы знаете, профессор Образцов — это отец знаменитого кукольника Сергея Образцова». Но Сергей Владимирович был не только кукольником — его талантов не счесть. Он был артистом, певцом, художником, музыкантом, писателем, режиссером, организатором, общественным деятелем, строителем, архитектором, публицистом.

…Я хочу вспомнить небольшое двухэтажное здание, которое выходило на площадь Маяковского. На фасаде его красовалось изображение раскрытой ладони с шариком, надетым на указательный палец — всем хорошо известная эмблема Центрального театра кукол, возглавляемого Сергеем Образцовым. Раньше в этом здании была так называемая Четвертая студия МХАТ. Когда здание перешло к Образцову, он со свойственной

ему выдумкой и изобретательностью превратил его в подлинный маленький дворец чудес, в который мы входили с каким-то особенным, приятным и радостным расположением духа. Предвкушая очередное удовольствие от встречи с искусством Образцова, мы как бы заранее настраивались на соответствующую волну и как будто немного молодели, даже если шли на взрослый, а не на детский спектакль.

Подлинно триумфальным надо назвать успех образцовского спектакля «Необыкновенный концерт». Вначале он назывался «Обыкновенный концерт». Но кто-то из высокопоставленных балбесов в органах, которым было положено осуществлять всестороннюю бдительность, усмотрел в этом недопустимое «огульное охаивание» деятельности Москонцерта, хотя в «Обыкновенном концерте» остроумно и справедливо высмеивались только концертные штампы и весьма нередкая халтура.

И «Обыкновенный концерт» было рекомендовано переименовать в «Необыкновенный», то есть нетипичный.

Популярность и успех образцовских спектаклей росли, как говорится, не по дням, а по часам. И скоро уютный, но небольшой зал на площади Маяковского уже не вмещал всех желающих увидеть их. И Сергей Владимирович совершил поистине титанический подвиг: преодолев все мыслимые и немыслимые преграды — бюрократические, организационные, финансовые и всякие прочие, он добился предоставления ему участка на Садовом кольце, на котором за рекордно короткий срок выросло монументальное здание нового театра Образцова. И только Сергей Владимирович мог придумать, чтобы на фасаде этого здания, над входом в театр были установлены, привезенные им из Чехословакии огромные чудо-часы с аллегорическими фигурами различных зверей. При этом часы играли красивые мелодии, собирая толпы прохожих. Конечно, соответственным — нарядным и оригинальным, — было и внутреннее оформление нового театра. И зрители валом пошли к «новому» Образцову.

Как-то, еще в году тридцать восьмом, Образцов мне позвонил и попросил прийти на его новую квартиру в доме по Глинищевскому переулку (потом улица Немировича-Данченко). Я при этом убедился, что он режиссер не только в театре, но и у себя дома. Квартира напоминала театральную декорацию — какие-то диковинные музыкальные инструменты, живописные панно и тому подобное.

— А столовую, — сказал он, — я пока еще не могу показать. Она еще не готова.

Я застал у него еще одного Сергея Владимировича — это был

Сергей Михалков. Оказалось, что меня пригласили не случайно. Дело было в том, что Михалков предложил Образцову сделать эстрадный номер в связи с известными событиями на Дальнем Востоке, на озере Хасан, в форме пародии на популярную тогда песенку «Все хорошо, прекрасная маркиза…» А оформить образы соответствующих кукол, то есть японских захватчиков, они решили предложить мне.

— Но позвольте, друзья мои, — сказал я, — ведь это уже сделано.

— Как? — в один голос воскликнули оба Сергея Владимировича.

— Да, к сожалению, именно о событиях на озере Хасан, именно о разгроме японцев, именно как пародия на «Все хорошо, прекрасная маркиза…» Я сам слышал, как это исполнял на вечере в ЦДРИ Илья Набатов.

Образцов был вне себя от досады.

— Ах, черт возьми! — простонал он. — Лопоухий, ушастый, губошлеп, а увел из-под носа такую тему.

И, обращаясь к Михалкову:

— Ничего не поделаешь, Сережа, надо искать другую тему, а может быть другой вариант.

Мы договорились, что Образцов мне позвонит, когда такой вариант будет найден, и мы расстались.

Но звонков больше не последовало. Дело в том, что через очень короткое время я стал персоной нон грата, как «брат врага народа».

Скажу честно — я нисколько не обиделся на Образцова, ибо таковы были неписаные законы того времени, а когда эти достопамятные времена прошли и я перестал быть персоной нон грата, наши дружеские отношения с Сергеем Владимировичем продолжились. Мы встречались и в ЦДРИ, и в ЦДЛ, не раз бывал я на спектаклях его театра.

Поговаривали, между прочим, что у Образцова крутой нрав, что с ним трудно работать. Возможно, так и было, но тут уместен такой вопрос, чисто риторический, что предпочтительней в человеке: «крутой нрав», строгость и требовательность в работе или — равнодушная снисходительность, мягкотелость, приспособленчество? А Образцов был, может быть, и крут, но тверд и принципиален в своих нравственных позициях. Я хочу привести такой пример. Я слышал об этом из уст самого Образцова. В памятный период борьбы с пресловутым космополитизмом, Образцова пригласили в некую партийную инстанцию и очень вежливо ему сказали:

— Уважаемый Сергей Владимирович! Нам известно, что у вас

в театре работает слишком много лиц определенной национальности. Как бы вам от них освободиться?

— Это очень просто сделать, — холодно ответил Образцов. — Освободите меня от должности, а потом освобождайте, сколько вам угодно, людей нужных и полезных для театра. Посмотрим, что станет с театром.

Таков был Образцов — ему был отвратителен расизм и, в частности, такая его разновидность, как антисемитизм.

До старости Сергей Владимирович щедро отдавал созданному им великолепному театру свой неугасимый талант режиссера, художника, выдумщика, организатора. Он ушел из жизни на девятом десятке счастливо и плодотворно прожитых им лет.

Трудно себе представить ЦДРИ без Сергея Образцова, но, естественно, он больше был занят проблемами своего замечательного театра. То же самое можно сказать о «Театре двух актеров», как они сами себя называли — о Марии Мироновой и Александре Менакере. Но их было не двое, а трое — отец, мать и сын.

Три талантливейших артиста, которых знала и любила вся страна — Мария Миронова, Александр Менакер и Андрей Миронов.

С Машей Мироновой и Сашей Менакером я был знаком, как говорится, с незапамятных времен. Они были обаятельной парой, интеллигентной, веселой, общительной. А Андрюшу Миронова я знал с той поры, когда о нем написал поэт-сатирик Владимир Дыховичный, друг Маши и Саши:

Мальчик есть у нас Андрюша.
Три годка всего ему.
Он на всех соседей рушит
Сотни разных «Почему?»
— Почему скворцы летают?
— Почему собаки лают?
— Почему всегда на маму папа зол?
— Почему не бреется козел?
— Или жалко бороду ему?
— Почему?

Возможно, что фраза: «Почему всегда на маму папа зол?» нуждается в пояснении. Дело в том, что крутой и волевой нрав Марии Владимировны и ее острый язык нередко создавали ей обиженных и недоброжелателей, что, конечно, огорчало ее супруга, человека добродушного и покладистого. Он часто

пытался ее в этом плане урезонить, но безуспешно. Мне как-то довелось быть свидетелем, как столкнувшись, помню, в гардеробе ЦДРИ с известным кинорежиссером, Маша, не слишком стесняясь в выражениях, высказала свое отношение к его последнему, «бездарному», как она выразилась, фильму. Рядом стоял сконфуженный и смотревший на нее умоляющими глазами Менакер. Высказавшись, Маша пошла дальше, а Менакер, разведя руками, сказал остолбеневшему кинорежиссеру:

— Не обижайтесь. Маша есть Маша…

…Близко общался я с Мироновой и Менакером во время войны, когда в страшном сорок втором году в Москве появился замечательный Театр миниатюр, возмещавший москвичам, в какой-то степени, большинство театров, эвакуированных в безопасный тыл. Я часто бывал на спектаклях этого театра. Как-то зашел за кулисы. Менакер, смывая с лица грим, мне сказал:

— Боря, а что бы вам не оформить для нас какой-нибудь номер программы.

— Да, да, — подхватила Маша. — А то все карикатуры и карикатуры.

Так я, неожиданно для себя, оказался в роли театрального художника и с большим увлечением выполнял эскизы декораций, костюмов и гримов для скетчей, интермедий, одноактных юморесок. Вот, кстати, из книги воспоминаний Менакера об одной из моих работ:

«…Была в спектакле «Коротко и ясно» и политическая миниатюра «Тихое семейство», которую оформлял Борис Ефимов, он сделал карикатуру, занимавшую все зеркало сцены, на которой были изображены Гитлер, Геббельс, Геринг и их сообщники. В отверстия просовывали головы актеры Мельников, изображавший Гитлера, Юрьев, игравший Геббельса, и я появлялся в образе самодовольного Геринга…»

Не счесть, сколько раз я смотрел в послевоенное время «Театр двух актеров» — эстрадные выступления Мироновой и Менакера. Некоторые — по нескольку раз, ведь их замечательный юмор и комизм заключался не только в сюжете, который мог быть давно знаком, айв самой игре, в никогда не приедавшихся актерских интонациях Мироновой. Ее комические реплики и монологи можно было слушать сто раз с одинаковым удовольствием и всегда с искренним смехом. Менакер оказывался обычно на втором плане, как бы в тени, но он был в этом комическом дуэте незаменимым и отличным партнером. По сценарию их сатирических диалогов его роль, по существу, заключалась в том, чтобы произносить текст, на который Миронова отвечала репликами, вызывающими в зале дружный хохот. И он выполнял

эту роль безупречно, тактично, с хорошим юмором. Казалось (а многие, наверно, так и думали), что в этом содружестве двух исполнителей он, Менакер, состоит при Мироновой, как чисто «служебный», «технический» персонаж, вроде циркового шпрехшталмейстера. Но это далеко-далеко не так. Подлинным вдохновителем, режиссером, художественным руководителем и ведущим в «Театре двух актеров», как много лет спустя рассказывала сама Мария Миронова, являлся именно Менакер. И выдвигая на первый план Миронову, предоставляя ей возможность бросать в зрительный зал самые смешные, самые «ударные», вызывающие смех и аплодисменты реплики, он как актер, несомненно, «наступал на горло собственной песне». Но это было для него естественно и закономерно. Это было по-мужски.

Примерно в это время имела место свадьба нашего сына. Конечно, мы пригласили и Машу с Сашей. Надо признаться, что на эту популярную пару гости обращали больше внимания, чем на родителей жениха. Менакер охотно сел за рояль и сыграл свадебный марш Мендельсона, а потом «Театр двух актеров», ко всеобщему удовольствию, исполнил милый миниатюрный, тут же сымпровизированный скетч в честь новобрачных.

Не раз посещали мы с женой и небольшую, уютную квартиру Маши и Саши. Видели там и их Андрюшу, скромного, вежливого, приятного юношу. Я не мог не обратить внимание, что к отцу он относится по-сыновнему нежно, ласково, но с некоторой добродушной иронией, отнюдь не позволяя себе этого по отношению к матери, как мне показалось, немного ее побаиваясь. Вскоре он начал делать свои первые шаги на сцене и «подавал надежды», но был пока только сыном знаменитых родителей. Однако через довольно короткое время роли переменились — Миронова и Менакер стали родителями знаменитого сына. Семимильными шагами шел Андрей Миронов от успеха к успеху. Его яркий талант развивался стремительно, буквально от одной роли к другой. Он был великолепен и как Хлестаков в театре Сатиры, и как Остап Бендер в кинофильме «Двенадцать стульев», и как один из главных персонажей в фильме «Бриллиантовая рука», и в десятках других разнообразнейших комических, жанровых, драматических ролей.

…Но будто кто сглазил благополучную, талантливую семью. Началось с того, что у Александра Семеновича стало пошаливать сердце. Утомительные постоянные гастрольные разъезды по огромной стране «от Москвы до самых до окраин» вряд ли способствовали укреплению здоровья. Самочувствие Менакера продолжало ухудшаться. Как-то мы с женой были на их

выступлении в Театре эстрады. В спектакле на сей раз принимал участие и третий актер — Афанасий Белов. По ходу действия они с Менакером минут пять пританцовывали, и мы невольно обратили внимание, каким свежим и легким остался после этой пляски Белов и как задыхался весь потный Менакер.

— Зря Маша это разрешает, — говорили мы.

«Театр двух актеров» продолжал гастролировать, иногда с привлечением третьего действующего лица. Помню, как-то Маша и Саша попросили меня нарисовать грим для третьего участника очередного их скетча, конферансье Федора Липскерова. Грим для роли… Бога-Отца Саваофа. Маша потом рассказывала, что они сами с трудом удерживались на сцене от смеха, глядя на важного Липскерова с длинной ватной бородой, в пенсне и с нимбом вокруг лысой головы.

Как-то я, сделал для них рисунок — дружеский шарж на улыбающуюся Миронову. Поглядев на него, Менакер задумчиво сказал:

— Наконец-то в нашем доме можно будет увидеть доброе лицо…

Но близился, увы, конец «Театра двух актеров». Сердце Менакера подвело… Совсем еще не старым Александр Семенович ушел из жизни, как-то тихо, без мучений, как говорят, смертью праведника.

Когда исполнилась круглая дата со дня рождения Менакера, мы устроили в ЦДРИ вечер его памяти. Я был председателем этого вечера, на котором, конечно, присутствовали Мария Владимировна и Андрей. Помню, аудитория и они тоже очень смеялись, когда я в своем выступлении процитировал куплеты Дыховичного о неугомонном «мальчике Андрюше» и его «почему». С трогательной теплотой говорил о своем отце Андрей Миронов. И кто мог тогда подумать, что скоро…

Театр Сатиры гастролировал в Риге. Во время спектакля Андрею стало плохо, он потерял сознание прямо на сцене. «Скорая помощь» доставила его в больницу, но спасти его врачам не удалось.

Трудно поверить, что такое безутешное, непоправимое горе, потеря двух самых близких и дорогих существ, не сломило, не согнуло, не погрузило в беспросветное отчаяние Марию Миронову. Но не зря ее в дальнейшем стали называть «железной леди». Для нее Александр Семенович и Андрей остались живыми. По вечерам она желала им «Спокойной ночи», а утром говорила «Доброе утро».

«Театр двух актеров», естественно, прекратил существование, но Мария Владимировна не рассталась со сценой. Она приняла

предложение Олега Табакова работать в его театре. Вместе с «Табакеркой», как шутливо-ласково называют этот своеобразный молодой коллектив, уже далеко не молодая Мария Миронова ездила на гастроли в США. Выступала на различных клубных мероприятиях в ЦДРИ и в Доме актера, в котором, кстати, была избрана председателем правления.

Помню, я как-то увидел ее на экране телевизора. Она говорила:

— Я знаю, что меня называют «железной». Нет, я не железная. Но я хочу жить полной жизнью во имя Александра Семеновича и Андрея. И мне кажется, что они живут вместе со мной. Вот и все.

Мария Миронова совсем недавно ушла из жизни, но Мария Миронова не ушла со сцены — она актриса одного из московских театров. Только она теперь не Мария Владимировна, а Мария Андреевна. Она — дочь Андрея Миронова, внучка Марии Мироновой. Не прекратилась династия Мироновых-Менакера в театре.

…Моя профессиональная деятельность как художника-сатирика была в основном связана с печатью — с газетами, журналами, многотиражными плакатами, но случалось, что я соприкасался и с другими жанрами: с таким, например, как театрально-декоративный. Это было не так часто, но всегда интересно и приятно для меня. Хочу рассказать об одной такой работе для театра имени Вахтангова, которым, после безвременного ухода из жизни самого Евгения Багратионовича, руководил Рубен Симонов.

Рубен Николаевич Симонов по национальному происхождению — армянин, а по месту, занимаемому им в искусстве театра, — выдающийся русский драматический и комедийный актер, непревзойденный мастер художественного слова, блестяще владеющий чистейшим русским языком.

Это артист подлинно, как говорится, Божьей милостью. Мне вспоминаются созданные им сценические образы. Какая великолепная галерея!

Азартный, неугомонный журналист в спектакле «Сенсация», веселый и находчивый Труффальдино в «Принцессе Турандот», проникновенный и трогательный Бенедикт в «Много шума из ничего», обаятельный и отважный Сирано де Бержерак, неподражаемый лгун Хлестаков — всех не перечислишь. А его режиссерское дарование нисколько не уступает его актерскому таланту. Назовем хотя бы такие замечательные постановки, как «Интервенция», «Человек с ружьем», «Шел солдат с фронта», «Заговор обреченных» и другие. Особо я хочу упомянуть спектакль «Раки», поскольку имел к этой постановке Симонова

прямое касательство. Дело было так.

На каком-то большом общественном мероприятии в Доме Союзов, во время перерыва ко мне подошел в кулуарах Рубен Симонов, протянул какую-то рукопись и сказал:

— Борис Ефимович, вы прочтете это за сорок минут. Я прошу вас взять на себя оформление этой пьесы для нашего театра. Декорации, костюмы, гримы и все прочее. Срок — неделя.

Я большой поклонник театра имени Вахтангова, и это неожиданное обращение Симонова было для меня чрезвычайно лестно. Автором «Раков» был Сергей Михалков. Я прочел пьесу, действительно, за сорок минут и с большим удовольствием взялся за дело. И, забегая вперед, скажу, что мою работу весьма одобрительно приняли и Симонов, и актеры, и автор пьесы. В процессе подготовки спектакля я часто бывал в театре, обсуждал с Симоновым различные детали постановки, присутствовал на заседаниях художественного совета, посещал репетиции и последующие их обсуждения. Симонов внимательно рассматривал предлагаемые мною эскизы, кое-что в них поправлял, кое-что похваливал. В частности, ему понравились некоторые детали оформления столовой в квартире ответственного работника Лопухова, одного из центральных действующих лиц. Помню, Рубена Николаевича очень рассмешила такая деталь: на противоположных стенах столовой Лопухова висели две одинаковые репродукции с популярной картины «Утро в сосновом бору» в роскошных позолоченных рамах. Ему понравилось также, что сам Лопухов и оба его заместителя были одеты в одинаковые стандартные костюмы, рубашки, галстуки и ботинки.

Не могу не привести такой забавный эпизод: при распределении ролей молодому Михаилу Ульянову (тому самому — будущему знаменитому актеру и художественному руководителю Вахтанговского театра) досталась крохотная ролька шофера, который входит в столовую директора со словами: «Машина подана!» И все. Кто-то сказал на репетиции, что эту роль надо чем-то оживить и предложил, чтобы шофер-Ульянов произносил эту фразу, что-то дожевывая. И на следующей репетиции Ульянов так и сделал. Но тут Симонов неожиданно заявил:

— Нет, товарищи, нехорошо получается, вроде шофер — какой-то холуй, которого подкармливают на барской кухне. Не надо этого. Наоборот — пускай входит с достоинством рабочего человека.

И на очередной репетиции Ульянов докладывал, что машина подана, с весьма независимым видом.

Главную роль в пьесе — проходимца по фамилии Ленский — михалковский вариант гоголевского Хлестакова — играл талантливейший Николай Гриценко. Помню, он очень интересовался своим сценическим обликом, внимательно рассматривал мой эскиз Ленского и просил меня обязательно сделать ему модную тогда среди актеров прическу с высоким коком на лбу. Я охотно выполнил его просьбу.

«Раки» шли у Вахтангова с большим зрительским успехом, главным образом благодаря блестящей игре Гриценко, но надолго в репертуаре театра почему-то не задержались.

Как-то после очередного заседания художественного совета мы вышли вместе с Рубеном Симоновым и Сергеем Михалковым, сели в стоявший у подъезда «Москвич». Симонов рядом с шофером, мы с Михалковым сзади. Поехали. Симонов, не оборачиваясь, спросил:

— Скажи, пожалуйста, Сережа, что представляет собой этот Нариньяни? (Речь шла о фельетонисте-сатирике Семене Нариньяни, опубликовавшем недавно пьесу «Аноним».)

— Нариньяни? — переспросил Михалков. — А-а-рмяшка.

Я укоризненно толкнул Михалкова локтем, кивнув в сторону Симонова.

— Я спрашиваю, что он собой представляет как драматург? — повторил Симонов.

— А-а-армяшка, — невозмутимо повторил, заикаясь, Михалков.

Тут Симонов, повернувшись всем телом назад, сказал:

— Сережа, я все-таки попросил бы…

На что Михалков без малейшего смущения нравоучительно сказал:

— Ты что, Рубен, не знаешь п-п-поговорку — е-е-врея грек обманет, а г-грека — армянин. А вместе всех троих — р-российский д-дворянин.

И мы трое, представлявшие, за отсутствием грека, все упомянутые в поговорке национальности, дружно рассмеялись.

Наши с Рубеном Симоновым творческие биографии шли, разумеется, в совершенно различных жанрах искусства. Не так уж часто непосредственно соприкасались между собой многокрасочный и многогранный мир театра с острой, гротескной графикой сатирической публицистики. И наша с Рубеном многолетняя, искренняя дружба была основана скорее на личной взаимной симпатии, чем на общих творческих интересах. Во всяком случае, свое участие в работе Вахтанговского театра я рассматривал как случайность, а не закономерность, но должен признать, что Симонов видел «сродство» различных жанров

искусства глубже и проницательнее, чем я. Об этом достаточно убедительно говорит его высказывание в книге «С Вахтанговым» по поводу спектакля «Свадьба» по рассказу А. П. Чехова. Вот как он сближает специфику театральной комедии и сатирической графики.

«..Работы французских художников Гаварни и Домье примерно соответствуют нужной эксцентрическому актеру степени типического обобщения и пластической точности. Смелые преувеличения в их искусстве помогают до конца воспринять образ. Искусство Гаварни и Домье — это искусство гротеска. Точно так же наши современные художники — Кукрыниксы, Борис Ефимов — лаконичными средствами добиваются исключительной силы воздействия на зрителя, дорисовывающего своей фантазией то, что дается в этом сжатом, по сравнению со станковой живописью, искусстве сатирического рисунка. Соотношения и пропорции между полотном, написанным маслом, и лаконичным рисунком графика такие же, как между драматическим актером и актером-эксцентриком».

На титульном листе этой книги Симонов написал:

«Дорогой Борис Ефимович. Я приветствую Вас как замечательного художника. В этой книге Вы найдете несколько слов и о себе. Люблю Вас. Рубен Симонов. 27 декабря 1960 года».

Глава двадцать седьмая

Так называемая хрущевская оттепель и ослабление «холодной войны» положили конец политике «железного занавеса», которая наглухо лишала возможности рядовых советских граждан пересекать границы нашей Советской Родины. И это сказалось прежде всего в появлении так называемых «круизов».

Загадочное слово «круиз» отнюдь не входит в основной фонд богатейшего русского языка. Вместе с тем оно привилось и даже обросло целым семейством производных понятий: «круизный», «круизник», «по-круизному» и т. п. Практически короткий термин «круиз» (от английского крейсировать, совершать рейсы) заменяет собой целое сложное понятие, которое можно изложить следующими словами: многодневное путешествие вокруг Европы большой и жизнерадостной ватаги советских туристов различного пола, возраста, семейного положения и самых разнообразных профессий, специальностей, темпераментов, характеров и вкусов.

Под круизы был отведен единственный большой комфортабельный теплоход «Победа». Попасть в число круизников было совсем не так просто, установилась даже некоторая очередь, поэтому мы с женой получили эту возможность не сразу, не в первый или второй, а, примерно, в пятый по счету круиз. Это было в 1959 году Вместе с нами путешествовали многие наши знакомые и друзья. Среди них молодой художник Давид Дубинский со своей женой Таней, дочерью известного писателя Всеволода Иванова. О Дубинском хочу рассказать несколько подробнее.

Его имя впервые было упомянуто в печати в 1936 году в газете «Известия», на страницах которой опубликовали заметку о выставке карикатуристов-любителей. Были названы наиболее удачные работы этой выставки и среди них рисунки шестнадцатилетнего Дубинского. Автором этой заметки был я.

Вскоре я познакомился и с самим Дубинским — высоким, красивым, темноволосым юношей, державшим себя очень скромно и даже застенчиво, но с большим чувством собственного достоинства. В нем чувствовалась хорошая уверенность в себе и спокойная внутренняя сила. Дубинский не раз приходил ко мне и очень внимательно прислушивался к замечаниям и дружеским советам, которые я высказывал по поводу его первых опытов в карикатуре. Мне думалось тогда, что наша сатирическая графика приобретает талантливого и многообещающего рисовальщика.

Однако Дубинский не стал карикатуристом, хотя присущее ему чувство юмора носило ярко выраженную сатирическую

окраску. Другие струны — романтическая и лирическая — звучали в его душе сильнее, и именно они определили дальнейший путь молодого художника. Его привлек к себе огромный, многообразный и неисчерпаемый в своем богатстве мир литературных образов: Дубинский решительно и навсегда вошел в интересный и увлекательный графический жанр, тесно связанный с художественной литературой — он целиком посвятил себя книжной иллюстрации.

Надо сказать, что в словах «иллюстрация», «иллюстратор» звучит иногда интонация порицания или упрека, когда имеют в виду тех художников, которые не поднимаются в своих работах выше, может быть, и добросовестного, но пассивного следования сюжету. Вместе с тем, мы хорошо знаем и высоко ценим творчество замечательных мастеров иллюстрации, обладавших чудесной способностью создать яркое пластическое перевоплощение литературных образов, окрасить их своим личным отношением и тем самым придать им качество нового, самостоятельно существующего произведения искусства. Вспомним хотя бы иллюстрации Доре к Сервантесу, Домье к Бальзаку, Врубеля к Лермонтову, Шмаринова к Толстому, Кибрика к Роллану, Кукрыниксов к Лескову и Чехову.

Такой полноценный творческий «перевод» с литературного языка на язык изобразительный по плечу только художникам с яркой фантазией, способным к глубокому раскрытию идейного замысла писателя, к проникновению в сущность общественного и психологического облика его персонажей.

И Давид Дубинский, бесспорно, стал одним из таких художников. Это, естественно, пришло не сразу. Уже в первых своих опытах в этой области — рисунках к произведениям Теккерея, Диккенса, Гюго — он показал себя вдумчивым и серьезным художником. Но в полную силу расцвело и возмужало его замечательное дарование, когда он обратился к произведениям родной русской беллетристики. Работа над литературными образами английских и французских классиков была только преддверием (очень плодотворным и, вероятно, необходимым) к важнейшему этапу в творчестве Дубинского — циклу иллюстраций к повестям Аркадия Гайдара. Появление в 1950 году рисунков к трогательной повести о маленьких братьях Чуке и Геке стало настоящим праздником советской книжной графики. Эта работа восхитила свежестью и поэтичностью художественного языка, жизненной наблюдательностью, доброй взволнованностью чувств, умным теплым юмором — драгоценными качествами, говорившими о том, что в ряды советских художников-иллюстраторов пришел настоящий

большой мастер, живой, горячий, с острым чувством современности. Иллюстрации к повести Гайдара завоевали всенародное признание. Молодому художнику была присуждена высокая награда — Сталинская премия.

В этой связи я припоминаю, как незадолго до опубликования списка лауреатов в печати появилась статья президента Академии художеств Бориса Иогансона. В ней содержался краткий обзор произведений изобразительного искусства, представленных на соискание этой, весьма и весьма существенной в ту пору, награды. Среди прочих имен фигурировали также Б. Ефимов и Д. Дубинский. При этом ни единым словом не упоминалось о премиях. Но по неписаному уставу той поры все понимали, что Иогансон, как член Комитета по присуждению Сталинских премий, уже в курсе принятых решений. Помню, мне позвонил радостно возбужденный Дубинский и поделился этими соображениями. И мы действительно оказались в списке лауреатов, под которым стояла подпись самого Сталина. А это в ту страшную пору было ох как важно.

Природа щедро одарила Давида Дубинского — незаурядным талантом художника, энергией и волей, тонким умным юмором, красивой внешностью, редким личным обаянием. Но то ли по оплошности, то ли из непонятного коварства, она, природа, упустила немаловажную для человека деталь — здоровье. Уже в молодые годы Давид, статный, атлетически сложенный, стал испытывать частое, непонятное недомогание. Он старался не обращать на него внимания, продолжал работать неустанно, неутомимо, вдохновенно, плодотворно. Изредка обращался к врачам, но они ничего определенного у него не находили. Помню, однажды Ольга Григорьевна, его мать, с которой мы дружили, поделилась со мной своей тревогой:

— Знаете, Борис Ефимович, недавно Давид меня спрашивает: «Мама, сколько лет было отцу, когда он умер?» Я ответила: «Сорок лет». Он задумался, а потом сказал: «Мне тоже скоро будет сорок лет, мама…»

Дубинский отнюдь не «почил на лаврах», как это нередко бывает с теми, кто быстро добился успеха. Напротив — упорным, творческим вдохновенным трудом, взыскательным и требовательным отношением к каждому своему замыслу художник добивается новых замечательных достижений. Он идет от успеха к успеху, радуя читателей и зрителей зрелостью мастерства, искренностью и задушевностью художнического видения. Из-под кисти Дубинского выходят такие тонкие, овеянные лирикой трудовых будней работы, как иллюстрации к рассказу «Дожди» С. Антонова, прелестные рисунки к «Тоне»

Ильфа и Петрова. Художник снова возвращается к Гайдару, иллюстрируя повести «РВС», «Дальние страны», «Голубая чашка».

Вершиной творчества Дубинского явилась большая сюита акварелей на темы «Поединка» А. Куприна. В этой работе его строгая черно-белая графика впервые стала цветной, окрасилась и засияла тонким колоритом. В этой работе во всем блеске развернулось дарование художника, удивительный артистизм в передаче тончайших жизненных и психологических ситуаций.

Я радовался успехам Дубинского, любил вспоминать и даже напоминать другим, что первый отметил его в печати. Давид был мне глубоко симпатичен и он, как будто, отвечал мне искренней взаимностью. Жизнь ему улыбалась. Но увы, он был обречен…

…Среди разнообразных, веселых и интересных впечатлений круиза я сначала не замечал ухудшавшегося настроения Давида и обратил на это внимание только в Риме, при следующих обстоятельствах. По программе дня нам предстояло посетить собор Святого Петра, где предполагалось выступление Папы Римского Пия VI, но, когда все уже садились в автобусы, ко мне подошла встревоженная Таня и сказала, что Давид не намерен ехать с нами и остается в гостинице. Я пошел к нему.

— В чем дело, Давид? Быть в Риме и не увидеть Папу — это, вы знаете, не положено. Вставайте, поедем.

— А пошел он, этот Папа, к… — сумрачно ответил Дубинский.

— Ну, Давид, так не годится. Здесь вы говорите «А пошел он, этот Папа…» Тогда в Париже не пойдете смотреть Лувр и скажете: «А пошел он, этот Лувр…» А в Лондоне скажете: «А пошел он, этот Тауэр…» Зачем же тогда круиз?

Дубинский посмотрел на меня каким-то отсутствующим взглядом.

— Мне скоро сорок лет, — мрачно сказал он.

— Ну и что? — не понял я. — А мне скоро шестьдесят.

В собор Святого Петра Давид не поехал. Правда, впоследствии, чтобы не огорчать Таню, он принимал участие в туристической программе, но до конца круиза был задумчив и неразговорчив. И я начал понимать, что его одолевает тяжелое предчувствие — неотступно преследует мысль о злом роке, погубившем отца, а теперь витающем над ним.

И предчувствие, увы, его не обмануло. Недолго прожил он после возвращения из круиза. Он только-только приступил к работе, о которой давно мечтал, к которой с увлечением готовился — к «Маленьким трагедиям» Пушкина…

По воле судьбы мне довелось приветствовать первые шаги Давида Дубинского на его так безжалостно оборванном

творческом пути и мне же было суждено провожать его в последний путь в числе других многочисленных друзей и почитателей его обаятельного таланта.

Надо ли доказывать, насколько приятным было после целого десятилетия невыездного режима (последний раз за пределами Советского Союза я был в связи с поездкой на Нюрнбергский процесс) посещение девяти европейских столиц благодаря круизу. И, естественно, желание увидеть чужие страны меня не оставляло. Различные были намерения и планы, но меньше всего я при этом думал о Китае. И предложение поехать в эту далекую загадочную страну было для меня полной неожиданностью.

…*Я* бывал не раз за границей, видывал разные страны. Но поездка в Китай оказалась чем-то совершенно особым — я увидел не другую страну, не другой континент, я увидел — другой мир.

Посещение Китая было связано с организацией в Пекине выставки советской политической сатиры. Моим спутником оказался лично мне до той поры незнакомый украинский художник Валентин Литвиненко, талантливый мастер сатирического рисунка и станковой гравюры, симпатичный добрый человек. Впечатления этой поездки требуют целой книги, и поэтому я ограничусь только немногими эпизодами, отказавшись от описания природных, архитектурных, исторических, культурных, художественных и многих-многих достопримечательностей удивительной страны, которую мы с Литвиненко пересекли от Пекина до Гуанчжоу (Кантон), от зимнего, леденящего холода — до палящей тропической жары. Мы проезжали и через большие шумные города, как Шанхай, Ханчжоу, Нанкин, тот же Кантон, плыли на пароходе по полноводной Жемчужной реке, бывали в маленьких прибрежных захолустных деревеньках.

Открытие нашей выставки произошло на достаточно престижном уровне в одном из больших павильонов знаменитого «Запретного города» — неописуемой по красоте резиденции китайских императоров, именуемой Гугун. Выставку открыл кратким приветственным словом пожилой председатель Комитета дружбы и культурных связей с зарубежными странами, после чего трибуна была предоставлена мне. И к своим обязанностям приступил приставленный к нам переводчик Пу Вейчин, очень милый паренек, вполне прилично владевший русским языком. Я заранее решил, что произнести всего несколько слов будет с моей стороны не совсем уважительно по отношению к гостеприимным хозяевам и потому разразился довольно обстоятельным докладом, в котором коснулся и прошлого советской сатиры, и ее

сегодняшних актуальных задач в борьбе за мир и против англо-американских империалистов в едином строю с китайскими карикатуристами, творчество которых мы хорошо знаем и высоко ценим. Кстати сказать, мне действительно очень нравились своим остроумием и изяществом рисунки китайских мастеров сатирической графики. Через пару дней после открытия выставки мы встретились с коллективом сатирического журнала «Маньхуа», где я снова рассуждал о принципах и задачах политической сатиры в борьбе против поджигателей войны. В этом плане Валентин Гаврилович оказался мне плохим помощником — человек застенчивый и робкий, не приспособленный для публичных выступлений, он целиком предоставлял их мне и обычно молча сидел в стороне, как он сам выражался, «с видом испуганной индюшки».

Наступивший Новый 1960 год мы встречали в большом, празднично украшенном зале отеля «Пекин», где нас поселили в отдельных просторных номерах. На этой встрече мы были представлены премьер-министру Чжоу Эньлаю, одному из, как их именовали, «четырех любимых вождей» коммунистического Китая. Чжоу Эньлай сказал нам несколько любезных слов о дружбе китайского и советского народов и пожелал успеха нашей выставке.

Мы постепенно свыкались с новой для нас обстановкой, с китайскими нравами, не без труда — с китайской кухней. Ее особенность состоит в том, что, если не считать обыкновенного и понятного для нас риса, все остальное, что подается к столу, представляет полную загадку. Вы никогда не знаете, что за блюдо едите. Доходило до смешного. Как-то за обедом, мне понравилось какое-то кушанье, и я спросил у Пу Вейчина:

— Пу-тунджи (товарищ Пу), что это мы едим?

Пу Вейчин внимательно посмотрел в мою тарелку, потом в свою, подумал и сказал:

— Это кулиса (курица).

— Что вы, Пу-тунджи, — возразил я. — По-моему, это рыба.

Он задумался, потом предложил:

— Давайте спросим официанта.

Официант поглядел на мою тарелку и пожал плечами:

— Не знаю.

— Позвольте, — настаивал я. — Как же так? Интересно все-таки узнать…

— Одну минуту, — сказал Пу Вейчин. — Мы спросим на кухне у повара.

Через минуту они с официантом вернулись, и Пу Вейчин твердо заявил:

— Это свинина.

А еще как-то за обедом, после таких же вкусных и непонятных блюд, я заметил на столе нечто вроде шоколадного торта и попросил ломтик на десерт. Мне отрезали изрядный кусок. Это было вкусно, но ничего общего с шоколадом не имело. Оказалось, что это «свинина су данпо», приготовленная по рецепту жившего триста лет тому назад весьма почитаемого китайского философа.

…Мы с Литвиненко в Шанхае, куда прибыли на пароходе «Цзинь Хань» из Ухани после почти трехсуточного плавания по многоводной Янцзы. Мною сразу овладели воспоминания более чем тридцатилетней давности.

1927 год… Весна… Гражданская война в Китае… Известие о взятии Шанхая, встреченное всенародным ликованием… Мой рисунок в «Известиях»…

Вряд ли кто предвидел тогда последующие мрачные события — измену Чан Кайши, предательство военной клики, контрреволюционный террор и многие другие испытания, уготовленные историей… Естественно, что эти воспоминания и ассоциации переполняли меня, когда я очутился в Шанхае в 1959 году.

В большом комфортабельном номере отеля «Цзинь Цзян» я проснулся с противным сухим кашлем и прескверным самочувствием, сразу сообразив, что вчерашний бодрый ветерок на крыше отеля «Шанхай», куда мы поднимались, чтобы полюбоваться панорамой города, не пошел мне на пользу. Знобило, побаливала голова, а главное, не хотелось вставать с постели и отправляться на запланированное посещение пригородной сельской коммуны. Однако ровно в 9 часов утра появился наш симпатичный и жизнерадостный переводчик с напоминанием о программе сегодняшнего дня.

— Дорогой Пу Вейчин, — сказал я. — Что-то я неважно себя чувствую. Может быть, лучше мне не выходить на улицу, а посидеть в номере? А как вы считаете, Валентин Гаврилович? — обратился я к Литвиненко. — Как бы, знаете, здесь не разболеться.

Литвиненко посмотрел на меня растерянно.

— То верно. Да вот, удобно ли… Наверно, нас ждут там, в колхозе..

— А может, вы без меня поедете? — нерешительно спросил я, сам не веря в успех своего предложения.

Так оно и было. Литвиненко только руками замахал.

— Знаете что, — сказал он, — давайте померим температуру. Если не очень высокая…

Спичкообразный китайский термометр показал 37 и одну

десятую. Я призадумался. Действительно, срывать запланированную и, видимо, заботливо подготовленную поездку было не совсем приятно.

— Пу-тунджи, — обратился я к переводчику, — а можно сделать так, чтобы мы пробыли в колхозе недолго, часика два, посмотрели работы художников и к двум часам вернулись обратно? Я приму какие-нибудь таблетки и завтра буду здоров.

— О, да-да, — ослепительно улыбаясь, отвечал Пу Вейчин, — очень хорошо! Все будет согласно вашего желания.

Последние слова меня немного насторожили, так как я уже не раз имел возможность заметить, что фраза «все будет согласно вашего желания» практически реализуется только тогда, когда «ваше желание» совпадает с планами любезных хозяев. Так, увы, было и на сей раз. Конечно, мы не вернулись обратно в отель к двум часам по той простой причине, что только к часу дня добрались до колхоза в сопровождении целой свиты руководителей Союза художников, репортеров и фотокорреспондентов. Проведение в жизнь лозунга о «связи искусства с народом» осуществлялось здесь таким путем: художники жили в коммуне в тех же условиях, что и все крестьяне, принимали наравне с ними участие в сельскохозяйственном труде, а после полудня работали творчески — писали портреты, пейзажи, плакаты, оформляли стенгазеты и т. п.

В коммуне нам с дружеским гостеприимством показывают рисунки и гравюры работающих здесь художников, попутно демонстрируют колхозное хозяйство, водят по огородам и свинофермам, картофельным и кукурузным участкам. Мы посещаем колхозный клуб, общественную столовую и детский сад. Уморительные черноглазые и черноволосые малыши встречают нас уже знакомыми возгласами: «Сульен шушу хао!» («Здравствуй, советский дядя!») и хором исполняют приветственную песенку. Все это очень любопытно и занимательно, я добросовестно разглядываю работы художников, высказываю свое мнение, расспрашиваю о творческих замыслах, рассказываю о культурной жизни Советского Союза. Но это стоит мне больших усилий: трясет озноб, ломит все суставы. Не удается согреться и за обедом в правлении колхоза. В помещении с земляным полом царит собачий холод. Все сидят за столом, не сняв пальто и шапок — раздеться немыслимо. Не согревает организма и жиденькое фруктовое вино, видимо, самодельное. Я окончательно промерз, стучу зубами, и меня поддерживает только мысль о том, что после обеда мы дружески распрощаемся и двинемся в обратный путь. Я тихонько спрашиваю об этом Пу

Вейчина.

— Да-да, — отвечает он, но, как мне показалось, без должной уверенности в голосе. — После обеда мы возвращаемся согласно вашего желания.

А вскоре, о чем-то поговорив с китайскими товарищами, он подошел ко мне и радостно подтвердил:

— Сейчас мы будем возвращаться в Шанхай. После посещения дома для престарелых колхозников.

Я молча заскрипел зубами. Мы довольно долго шли до приюта для ветеранов, который разместился в большом доме раскулаченного деревенского богатея. Во внутреннем дворике чинно сидели, покуривая трубки, древние старички, сновали взад и вперед старушки в ватных штанах и стеганках. Старикам объяснили, кто мы такие, я произнес небольшую речугу, пожелав им здоровья и бодрости от имени советских людей и, считая, что испытания подходят к концу, стал потихонечку отступать к выходу, увлекая за собой Литвиненко. Но тут Пу Вейчин, как всегда широко улыбаясь, сообщил, что гостеприимные хозяева просят советских друзей оставить рисунок на память о посещении их сельскохозяйственной коммуны.

— Ну, что ж, давайте скорее лист бумаги и цветной карандаш, — сказал я, приготовившись быстренько изобразить две руки, соединившиеся в братском рукопожатии.

— Пожалуйста, просим сюда, — ответил Пу Вейчин, — вот здесь, на этой стене.

В прилегающем к внутреннему дворику помещении возле большой чисто выбеленной стены стояла лестница и уже были приготовлены ведерки с красками и малярные кисти разных размеров… Озноб мой сразу усилился. Мы с Литвиненко молча посмотрели друг на друга.

«Так-с, — подумал я, — тоже неплохо, как говорится… Согласно вашего желания…»

— Валентин Гаврилович, — сказал я вслух, — вам приходилось когда-нибудь заниматься стенной росписью?

— Та никогда в жизни! — ответил Литвиненко, испуганно моргая глазами.

— Понятно… Мне тоже. Ну, что ж, отступать некуда. Придется заняться.

Мы мужественно взялись за кисти. Необычная работа даже увлекла меня, и я как-то забыл о своем недомогании. Не прошло и двух часов, как на белой стене возникло огромное символическое панно, посвященное дружбе советского и китайского народов. В левом нижнем углу фрески я сделал памятную надпись, и мы с Литвиненко расписались. (В том, что

наше произведение сохранилось и после «культурной революции», я, конечно, не уверен…)

На обратном пути я уже ни на что не реагировал, мечтая только об одном: поскорее улечься в постель и потеплее укрыться. В отель мы вернулись не в два часа («согласно вашего желания»…), а в восемь вечера. И начиная с этого дня в течение целой недели меня не выпускал из когтей тяжелый, поистине азиатский грипп. При этом, кроме изнуряющей, скачущей температуры, невыносимой ломоты во всем теле, полубредового состояния, меня изводила дикая досада: добраться до Шанхая для того, чтобы здесь болеть!.. Хотелось рвать и метать.

На другой день Пу Вейчин пришел с молоденькой симпатичной девушкой в белом халатике. Она остановилась в дверях моего номера, выслушала рассказ о моем самочувствии и, не сделав ни единого шага в мою сторону, там же на пороге прописала какие-то крупинки двух сортов, за которыми Пу немедленно побежал в аптеку.

Прошел день. Я глотал крупинки. Лучше не стало. Проведя еще одну отвратительную ночь, я утром сказал переводчику:

— Пу-тунджи! А нельзя ли вызвать настоящего врача, который бы подошел ко мне поближе, пощупал пульс, выслушал, выстукал? Может быть, требуется какое-то другое лечение, кроме этих крупинок?

В конце дня явился немолодой солидный мужчина в белом халате с марлевой маской на лице. Он внимательно меня осмотрел, выслушал, заглянул в горло, измерил давление, словом, проделал все положенные процедуры, после чего заявил, что болезнь протекает нормально, никаких осложнений, столь опасных в моем пожилом возрасте, он пока не находит, прописал микстуру, таблетки, капли и постельный режим.

«Вот это уже похоже на настоящее лечение, — подумал я, несколько успокоенный. — Может быть, я в самом деле через пару дней поднимусь?»

Однако следующие два дня никакого улучшения не принесли.

— Куме, — обратился я к Литвиненко, — а не съездить ли в советское консульство? Там, наверно, есть свой врач. Что-то я усомнился в местной медицине.

— Та отчего же не поехать, куме, — ответил Валентин Гаврилович, — поехали.

Я надел на себя все теплые вещи, какие у меня были, Пу Вейчин вызвал машину. И мы поехали в наше консульство, занимавшее великолепный особняк на набережной Вампу.

— Братцы, — сказал я консульским товарищам, — не дайте погибнуть на чужбине гриппозному соотечественнику. Где у вас

тут врач?

Консульские развели руками.

— Нет у нас никакого врача.

— Позвольте, а если кто заболевает?

— А если кто заболевает, то лечится в китайском городском госпитале. Сейчас мы туда позвоним и попросим принять вас вне очереди.

Шанхайский городской госпиталь представлял собой огромное здание красного кирпича, приемные покои и коридоры которого переполняла густая толпа людей. Нас очень любезно встретили две медсестры, одна из них владеющая русским языком. Предварительно измерив температуру (спичкообразный термометр положили мне в рот), девушки ввели меня в просторный врачебный кабинет. Врач, мывший руки над умывальником, повернулся ко мне, и… можно представить мое смущение, когда, несмотря на закрывающую пол-лица марлевую маску, я сразу узнал доктора, который навестил меня в гостинице. Я готов был провалиться сквозь землю — ведь получалось, что я не доверился его лечению, решил обратиться к другому врачу, а попал к нему же. Китаец, конечно, тоже меня узнал. Мы оба сделали вид, что встретились в первый раз. Он невозмутимо выслушал мой очень короткий рассказ, внимательно меня осмотрел, выстукал, заглянул в горло, измерил давление. Потом, глядя в сторону, высказал мнение, что болезнь протекает нормально, осложнений нет, а они весьма нежелательны в связи с моим «старым возрастом» (как простодушно перевела медсестра), велел принимать те же лекарства, не выходить на улицу и добавил, что, по его мнению, дня через два все пройдет. Так оно и вышло.

Два дня спустя мы возобновили прерванную моим гриппом шанхайскую программу, а еще через четыре дня вылетели в Кантон. Этот, не менее знаменитый, чем Шанхай, город, встретил нас тропической жарой, цветением бананов и бамбука, благоуханием экзотических растений, сверканием солнечных зайчиков на поверхности теплой Жемчужной реки.

Возвращение из Кантона в Пекин было, соответственно, возвращением из палящей жары в леденящий зимний холод. Но в смысле переносном, нас окружала самая теплая, приветливая, гостеприимная атмосфера. Так было и на различных многолюдных собраниях, так было и дома у известных китайских художников. Конечно, и тут присутствовало некоторое китайское своеобразие. Мне вспоминается, например, дружеский визит на квартиру генерального секретаря Всекитайского Союза художников профессора Хуа Цзинью. Думаю, что генеральные

секретари наших творческих союзов живут несколько комфортнее. В частности, когда перед обедом я высказал намерение помыть руки, меня отвели в довольно просторное помещение с различным сантехническим оборудованием. В обычный умывальник была налита из ведра вода, в которой я и помыл руки. Но к некоторому моему удивлению, эта вода осталась в раковине и в ней любезно был приглашен помыть руки Литвиненко, а после него в той же воде и остальные, менее почетные гости. Обед, впрочем, был очень вкусным, а пельмени, которые собственноручно приготовила жена генсека, просто великолепными.

Еще пару слов на гастрономическую тему. Начну с того, что по просьбе государственного издательства в Пекине мы с Литвиненко нарисовали большой красочный плакат, символизирующий советско-китайскую дружбу, использовав сюжет нашей «настенной росписи» в доме престарелых колхозников — мчащиеся плечом к плечу советский рабочий верхом на ракете и китайский — на крылатом коне. За этот плакат нам неожиданно отвалили довольно крупную сумму — 300 юаней. Зная порядки, я позвонил в наше посольство и спросил у старшего советника Сударикова, что делать с этими деньгами.

— Их полагается сдать в бухгалтерию посольства, — сказал Судариков, — но есть и другой выход. Скажите вашим друзьям художникам, что в благодарность за гостеприимство вы хотите дать им прощальный обед. Этих денег, думаю, вполне хватит.

Я спросил у Пу Вейчина:

— Пу-тунджи, я хочу устроить прощальный обед для всех друзей-художников, человек на двадцать — двадцать пять, сколько это может стоить?

Пу Вейчин стал советоваться с присутствовавшим при этом разговоре коллегой-переводчиком.

— Не меньше, чем пятьдесят — пятьдесят пять юаней.

— Пу-тунджи, вы меня не поняли. Не просто где-то перекусить, а настоящий и хороший обед с различными блюдами, вином… Как следует.

Переводчики опять долго советовались. Наконец Пу Вейчин сказал:

— Тогда — не меньше, чем семьдесят пять юаней.

Я передал этот разговор Сударикову.

— Да бросьте, — сказал он, — это все ерунда. Внесите все триста юаней в бухгалтерию посольства, и вам закажут обед в ресторане «Москва». Не первый раз.

Так, конечно, и сделали. И вместо веселого, уютного,

праздничного застолья с загадочными и вкусными китайскими блюдами, состоялся скучный официальный обед за длиннейшим столом в лучших советских традициях — не выбирали, как на китайском застолье, из стоявших на круглом столе кушаний то, которое тебе нравится, а уныло глядели, как строгий официант ставил перед нами тарелку с очередным блюдом стандартного меню. Гости вяло переговаривались друг с другом, главным образом те, кто сидел рядом. Литвиненко не произносил ни слова «с видом испуганной индюшки». И мне пришлось взять на себя миссию внести хоть какое-нибудь оживление. И то и дело, огибая длиннющий стол, я подбегал поочередно к каждому из гостей, провозглашая различные шуточные персональные тосты. Но прощальный обед был дан, и триста юаней использованы в законном порядке.

Перед самым отъездом я подумал, что международный этикет требует от отъезжающей стороны официальной благодарности стороне принимающей и, посоветовавшись с Литвиненко, сел и настрочил соответствующие письма Чжоу Эньлаю и председателю Комитета по дружбе с зарубежными странами. И тут «черт меня дернул», и я, желая сделать доброе дело для нашего симпатичного Пу-тунджи, написал в конце письма о том, что особенно благодарен за сопровождавшего нас работника комитета Пу Вейчина, который был для нас не только отличным переводчиком, но и настоящим другом, помогавшим в ознакомлении с культурой и искусством Китая.

Результаты этой моей благодарности, как я узнал впоследствии, сказались: бедный Пу Вейчин был отправлен на три года в деревню на «перевоспитание», когда пришла «культурная революция».

Уже тогда, сквозь толщу приветственных речей и гостеприимных обедов, проскакивали отдельные зловещие симптомы будущего охлаждения и конфронтации между двумя великими странами. Но кто мог предположить, что всего года через два такая конфронтация достигнет невиданного накала. Центральные Комитеты обеих партий обменивались открытыми посланиями и обращениями самого непримиримого и резкого характера, обвиняя друг друга во всех смертных грехах. Из Китая были высланы все работавшие там советские специалисты, а из Советского Союза — все учившиеся здесь китайские студенты. Какие бы то ни было нормальные отношения и контакты между двумя странами были оборваны. И можно себе представить мое удивление, когда в 1964 году, при прочно установившихся непримиримо-враждебных отношениях между двумя государствами, мне пришлось… поехать в Китай снова. Как же это

произошло? Совершенно случайно, в коридоре Союза художников СССР меня остановила референт нашего отдела международных культурных связей.

— Борис Ефимович, вы бы не поехали сейчас в Китай?

Я решил, что она шутит, и ответил, решив тоже пошутить:

— А что? Поехал бы. Теперь это даже интересно.

Она буквально просияла. Оказалось, что с этим вопросом она уже обращалась к нескольким известным художникам, не раз бывавшим в Китае, и получала стандартный ответ:

— Для этого надо быть идиотом.

— Так я сообщу куда надо, что вы согласны, — сказала она и, радостная, умчалась.

Я растерянно посмотрел ей вслед. Мои домашние и близкие друзья действительно обозвали меня идиотом.

— На кой черт это тебе понадобилось? — говорили мне. — Разве ты не знаешь, что там творится? Свирепствуют фанатики, догматики и тому подобные «хунвейбины». В лучшем случае набьют морду, а то, может быть, и похуже.

Откровенно говоря, я тоже зачесал в затылке.

«Действительно, — подумал я, — на кой черт мне это нужно? Китай я уже видел. А тут еще вляпаешься в какую-нибудь историю».

И я дал «задний ход». Сообщил в Союз художников, что по состоянию здоровья поехать, к сожалению, не смогу. Через день меня вызвали в ЦК в соответствующий отдел к соответствующему товарищу, ведавшему китайскими делами.

— Вот какое дело, товарищ Ефимов, — сказал мне «соответствующий товарищ». — Если вы не поедете в Китай, то сильно подведете Советский Союз.

И он обстоятельно обрисовал мне сложившуюся ситуацию. Оказалось следующее. В давнем договоре о «Дружбе и сотрудничестве» между СССР и КНР существует малозаметный и доселе не привлекавший к себе особого внимания пункт 18/а, гласивший, что Китайская Народная Республика направляет в Советский Союз в порядке культурного обмена одного художника на один месяц. Советский Союз со своей стороны делает то же самое. Китайский художник тихонько приехал в Москву, спокойненько писал свои пейзажи в Доме творчества Союза художников на озере Сенеж и так же тихонько уехал домой. А советский художник до сих пор в Пекине не появлялся. И китайская сторона со страшной силой вцепилась в невыполнение советской стороной злополучного пункта 18/а. Пекинские газеты под хлесткими заголовками, не вдаваясь в подробности, вопят, будто СССР не выполняет своих договорных обязательств, что

является показателем его пренебрежительного и презрительного отношения к великому китайскому народу и т. д. и т. п.

— И нас предупредили товарищи из нашего посольства в Пекине, чтобы мы не вздумали посылать какого-нибудь случайного человека, а приехать должен художник именитый, уже посещавший Китай. Вы подходите по всем статьям.

— Все понятно, — сказал я со вздохом. — Подводить Советский Союз я не стану. Поеду.

…Охотников ехать в поезде Москва — Пекин оказалось немного. Сначала я был один в купе спального вагона, после Свердловска, где сошла супружеская пара, — единственные попутчики, — я остался один в вагоне, после Читы — один во всем поезде, а по прибытии в пограничный с Китаем Забайкальск — один на всем вокзале. И не мог не вспомнить, какое здесь царило оживление в первую мою поездку — многочисленные группы туристов, веселый галдеж, музыка, песни. Теперь — мрачное безлюдье, полная тишина. Часа через два подали поезд на Пекин, и я снова один в вагоне, один во всем поезде. Поезд пересекает границу. Это уже станция Манчжули. Тоже — полное безлюдье и тишина, но зато две статуи — Сталин и Мао, соединенные красным транспарантом. На стендах множество брошюр с текстами, разоблачающими советских ревизионистов. Снова часа два в тоскливом одиночестве, пока не подается сигнал к отходу поезда. И тут являются четверо китайских пограничников, щеголеватых, вежливо улыбающихся. Я протягиваю свой заграничный паспорт.

— А зачем вы едете в Пекин?

— Я еду в Пекин по приглашению Всекитайского Союза художников.

— А у вас есть документ, что вы едете по приглашению Всекитайского Союза художников?

Этот диалог сопровождается широкими дружелюбными улыбками с обеих сторон.

— Нет, такого документа у меня не имеется.

И снова тот же вопрос с широкой улыбкой:

— А у вас есть справка, что вы приглашены Всекитайским Союзом художников?

С еще более широкой улыбкой я отвечаю:

— Такой справки у меня нет.

И снова с широчайшей улыбкой:

— А у вас есть…

— Товарищи! — прерываю я вереницу улыбок. — Поезжайте вместе со мной до Пекина, и вы убедитесь в том, что меня будут встречать представители Всекитайского Союза художников.

Это, видимо, их удовлетворило. Мы еще улыбнулись друг другу и расстались…

…Забыл сказать, что перед отъездом из Москвы я счел нужным зайти к редактору «Известий» Аджубею.

— Алексей Иванович, такое дело: меня посылают в Китай.

— О! — встрепенулся Аджубей. — Это замечательно, вы можете сделать большое дело. Вы должны пробиваться в большие аудитории, рассказывать правду о Советском Союзе, опровергать всяческую их клевету.

— Конечно, — бодро сказал я, — буду пробиваться, буду опровергать.

Забегая вперед, скажу, что самая большая аудитория, к которой я смог пробиться в Китае, была в шанхайском Союзе художников — тринадцать человек, считая сопровождавшего меня переводчика и фотографа. Другие «аудитории» были и того меньше: по шесть, по пять, а в городе Сучжоу — трое. Но я взял себе за правило с этим не считаться. При любом количестве слушателей я разглагольствовал, как будто передо мной переполненный зал.

…Вообще, странной и парадоксальной была атмосфера моего второго пребывания в Китае. Оно проходило как бы в двух соприкасающихся измерениях — открытого резко враждебного отношения к советским руководителям и одновременно безукоризненно дружелюбного и гостеприимного отношения ко мне лично. Думаю, что на то было специальное указание руководящих китайских инстанций, и китайцы, как народ весьма дисциплинированный, этому указанию охотно следовали. Моим высказываниям о культуре в Советском Союзе, об идейных принципах советского искусства никто нигде не возражал и в полемику не вдавался. Помню, на встрече в Шанхае, закончив свой доклад, я спросил, нет ли у товарищей вопросов, на которые я охотно отвечу. После довольно длительной паузы председательствовавший спросил:

— А как здоровье вашей жены?

— Спасибо, она здорова.

Тогда был задан следующий вопрос:

— А как поживает Калявсенко?

Я понял, что речь идет о Ксении Кравченко, нашем маститом искусствоведе, недавно побывавшей в Китае.

— Спасибо. Она хорошо поживает, — ответил я.

На этом вопросы были исчерпаны.

Впрочем, помню и такой эпизод. В Пекине, на правлении Союза художников я рассказывал о работе нашего Союза, причем коснулся системы закупки у художников произведений через

специальную закупочную комиссию, также состоящую из художников. И тут один из присутствующих крикнул:

— А китайские художники работают не за деньги, а за идею!

Это прозвучало явным вызовом и упреком. И меня это задело.

— Советские художники, — возразил я, — тоже создают свои произведения не для того, чтобы набивать карманы. Они вкладывают в свои картины, скульптуры, рисунки чувства, мысли, идеи. Но при этом, художники такие же люди, как все. Им нужны средства к существованию, они должны кормить свои семьи и, наконец, должны приобретать необходимые для работы краски, холсты, другие материалы. На все это нужны деньги. Что же позорного в том, что они принимают оплату за свой труд?

Хуа Цзинью, председатель Союза, встал со своего места, подошел к ревнителю «идейного искусства» и вышел с ним за дверь. Минуты через две они вернулись, и Хуа Цзинью сказал, что я не совсем правильно понял выступление коллеги и с моей точкой зрения все абсолютно согласны.

Несмотря на все эти и им подобные отрицательные моменты, обусловленные политической ситуацией, вторая моя поездка в Китай была не менее интересна, занимательна и богата впечатлениями, чем первая, в плане знакомства с новыми достопримечательностями, новыми большими и малыми городами, сельскими коммунами. Из поездки по стране я вернулся в Пекин, полный разнообразных и, в общем, неплохих впечатлений. В Пекине меня спросил наш посол С. Червоненко:

— Каковы ваши впечатления? Нам очень интересно их знать, потому что за пределы посольства нас не выпускают.

— Впечатления мои самые разнообразные, но основное — это то, что, на мой взгляд, пока еще не удалось восстановить массы китайцев против советских людей, создать из русских не «старших братьев», как это долго было, а заклятых врагов.

— Так-то так, — задумчиво сказал Червоненко, — но вы почитайте, какую возмутительную, грубую антисоветскую статью сегодня опубликовала «Женьминьжибао». Было бы неплохо, если бы вы дали понять сопровождающим вас, что вы возмущены.

Следуя этому дипломатическому указанию, я на другой день в ресторане «Пекинская утка», где давали по случаю моего отъезда прощальный обед, сидел надутый, как индюк.

— Вам нездоровится? — спросил меня художник Ин Тао, сопровождавший меня в поездке по стране.

— Нет, я здоров, — мрачно ответил я, — но кое-что меня сегодня возмущает.

Ин Тао промолчал, и на этом мой дипломатический демарш иссяк.

Приехав второй раз в Китай, я, разумеется, сразу осведомился и о симпатичном Пу-тунджи, рассчитывая снова получить его в переводчики. Но о нем никто ничего не знал. И я не мог не почувствовать определенные угрызения совести, что подвел его под «перевоспитание в деревне». И вот что произошло дальше. В 1995 году, то есть спустя тридцать пять лет, я получил из китайского посольства в Москве приглашение на открытие выставки произведений известного китайского художника, профессора… Пу Вейчина. Это был тот самый симпатичный и скромный Пу-тунджи, которого я не сразу узнал в солидном, респектабельном профессоре. Мы встретились радостно и сердечно. После вернисажа я пригласил почтенного профессора с супругой к себе домой. И на веселом застолье мы делились воспоминаниями почти сорокалетней давности. И тут я поведал Пу Вейчину, как болезненно переживал, что своим благодарственным письмом невольно способствовал ссылке его на «перевоспитание» в деревню.

— Борис Ефимович, — серьезно ответил Пу Вейчин, — эта ссылка меня спасла от худшей участи. Несколько позднее за такую дружбу с советскими «старшими братьями» уже сажали в тюрьму, а то и расстреливали. К тому же, мое пребывание в деревне принесло мне огромную пользу: я занялся там рисованием. А возникло это влечение у меня, знаете, когда? Когда вы с Литвиненко рисовали фреску.

Вернувшись после ссылки в Пекин, Пу Вейчин стал профессиональным художником, интересным и своеобразным. Выставки его произведений прошли с успехом не только в Китае, но и во Франции, Германии, Испании. И вот теперь — выставка в Москве. Удивительный и чуть-чуть загадочный, зачарованный и чарующий мир раскрывается в многочисленных графических листах этой экспозиции, мир, созданный высоким мастерством и неисчерпаемой фантазией художника. Творчеству Пу Вейчина абсолютно чужд плоский натурализм, шаблон, хождение по давно исхоженным тропам. Искусство его, тонкое и артистичное, поэтизирует действительность. Оно придает неожиданную отстраненность и новое эмоциональное звучание таким, казалось бы, давно знакомым и привычным для нас явлениям, как облака, деревья, течение рек. Гравюры, созданные его резцом, — это настоящие новеллы, поэмы о жизни, о времени, о радости бытия.

Рассказ о Пу Вейчине приходится, увы, закончить на самой печальной ноте. Спустя несколько месяцев после нашей встречи в Москве он скоропостижно скончался в Пекине.

…В летопись Московского Союза художников несомненно

входит «знаменитое» посещение Хрущевым выставки московских художников в Манеже, посвященной 30-летию МОСХа, в 1962 году. К этому времени Никита Сергеевич закончил с «оттепелью», которую сменили ощутимые «заморозки». Как я уже упоминал, он безапелляционно судил обо всем, от кукурузы до живописи и поэзии. На выставке в Манеже он разгромил не пришедшиеся ему по вкусу картины Фалька, Никонова, других художников, а потом добрался и до скульптурных работ Эрнста Неизвестного. Правда, его заинтересовали не столько их художественные качества, сколько то, откуда автор достает бронзу для их воплощения… Неизвестный держался при этом довольно твердо и независимо и даже прозрачно намекнул, что быть главой правительства еще не значит уметь разбираться в искусстве. Стоявший неподалеку председатель КГБ Шелепин посмотрел на Неизвестного весьма недобрым взглядом. Но его не тронули, видимо, Хрущеву понравилась его смелость. После отставки Хрущева говорили, что Неизвестный бывает у него на даче и они подружились. А после кончины Никиты Сергеевича Неизвестный стал автором весьма оригинального и впечатляющего надгробия на его могиле, которое по сей день привлекает внимание посетителей Новодевичьего кладбища.

Еще о Неизвестном. Через несколько лет, когда я исполнял обязанности председателя МОСХа, мне позвонили из Московского горкома партии:

— Борис Ефимович, вы знаете, что Эрнсту Неизвестному разрешено выехать за границу?

— Ну, что ж, пускай едет.

— Нам бы хотелось, чтобы вы с ним встретились.

— А зачем?

— Понимаете, надо как-то с ним поговорить, чтобы он уезжал не с такой обидой.

— А вы уверены, что он захочет со мной разговаривать?

— С вами он не откажется. Вот его телефон.

Я не был в восторге от такого поручения, но уклониться было неудобно. И я позвонил Неизвестному, представился и сказал, что хотел бы с ним встретиться.

— А зачем? — спросил он.

— Только не для того, чтобы уговаривать вас остаться. Поезжайте с Богом, поскольку вам дано разрешение. Но как говорится, расстанемся по-хорошему. Поговорим по душам.

Неизвестный подумал и сказал:

— Хорошо, я согласен.

Мы встретились в тот же вечер в МОСХе. Третьим в нашей беседе молчаливо присутствовал парторг горкома КПСС при

МОСХе Евгений Васильев.

— Эрнст Яковлевич, — сказал я, — повторяю, что не собираюсь ни в чем вас убеждать и ни от чего отговаривать. Хотелось бы просто, по-человечески поговорить. Понять, чем вызвано ваше решение уехать из страны.

— Очень просто — мне не дают здесь работать. Я лишен средств к существованию.

— Простите, но мне всегда казалось, что вы один из самых преуспевающих у нас скульпторов. И, простите, один из самых богатых.

— Да, так оно было одно время. Но теперь ни одна моя работа не принимается. У меня отобрали мастерскую, все работы, бывшие там, вышвырнули во двор, в снег, а некоторые изуродовали. Вот, посмотрите на этот фотоснимок… Мое искусство стало неприемлемым и нежелательным. Что прикажете делать?

— А от кого исходит такое отношение?

— Главным образом от руководителей секции скульптуры МОСХа. Они меня ненавидят и работать не дадут.

И Неизвестный во всех подробностях стал рассказывать о притеснениях, нападках, враждебных выходках. Чувствовалось, что у человека «наболело». Я слушал его с искренним сочувствием.

— Мне пятьдесят лет, — продолжал скульптор. — И я могу еще многое сделать. И хочу работать свободно, не завися от людей, которым не нравится все, что бы я ни сделал.

— Я вас вполне понимаю, — сказал я, — но слышал, что вы оставляете здесь семью — жену и дочь. Не слишком ли это дорогая цена за возможность делать то, что вам нравится?

— Может быть, может быть… Но жена со мной согласна. И, возможно, это не навсегда.

Мы помолчали.

— Эрнст Яковлевич, — снова заговорил я, — вы человек популярный. Ваш отъезд из страны будет, несомненно, замечен и у нас, и за рубежом. Там на вас набросятся репортеры. Как вы им объясните свою эмиграцию?

— Я скажу, что уехал из СССР не по политическим, а по творческим причинам.

— Мне кажется, их в данном случае трудно разделить… Ну, что ж. Счастливого пути. Успеха вам. Но… Позвольте вам сказать. У англичан есть поговорка: «Права или не права, но это моя страна», и я надеюсь…

— Я хорошо вас понял, — прервал меня Неизвестный, — можете не сомневаться, что ни единого враждебного слова против

Советской страны я не произнесу.

Насколько я знаю, Неизвестный сдержал свое слово. А жизнь доказала его правоту — через несколько лет он приехал на Родину всемирно прославленным мастером монументальной скульптуры, соединился с семьей, стал автором впечатляющих мемориалов.

Полагающийся отчет о беседе с Неизвестным я, разумеется, представил в горком партии и не скрыл в нем своего мнения, что по отношению к талантливому скульптору была допущена несправедливая дискриминация, которая и привела его к решению уехать за границу. Это не совсем понравилось нашему парторгу, и он со своей стороны, правда, очень осторожно, осудил поступок Неизвестного, как непатриотический.

…В числе Домов творческой интеллигенции, с которыми была связана моя общественная деятельность, следует непременно назвать еще один, весьма популярный и престижный — это Дом дружбы с зарубежными странами, занимающий хорошо известный, нарядный и вычурный особняк миллионера Саввы Морозова на Воздвиженке. Я был причастен, прежде всего, к секции изобразительных искусств — к выставкам, вернисажам, встречам с зарубежными художниками, деятелями искусств, но бывал, разумеется, и на других «международно-культурно-дружественных» встречах и мероприятиях Дома. И систематически планово сидел на заседаниях правления и съездах Общества дружбы СССР — Камбоджа, членом которого я стал после поездки в эту экзотическую страну.

Не скрою, когда мне предложили войти в состав культурной делегации в Камбоджу, я, по невежеству, спросил:

— А где она находится? В Африке, что ли? И не едят ли там приезжих гостей?

Мне ответили традиционной шуткой:

— Если вас там съедят, то мы здесь в порядке адекватной меры съедим ихнего посла. А находится эта страна в Юго-Восточной Азии.

И мы летим в Камбоджу. Наша культурная делегация — это ректор ИВАНа (Институт востоковедения Академии наук), академик Евгений Жуков, директор Дома дружбы Мария Ермолаева и я. Перед нами поставлена задача получить в Камбодже согласие на учреждение Общества дружбы Камбоджа — СССР.

Наш первый визит, естественно, к советскому послу. Он, конечно, осведомлен о цели нашей поездки, но предупреждает, что она будет нелегкой:

— Про принца Сианука кто-то сказал, что он, «как кошка на комоде» — никогда не знаешь, в какую сторону прыгнет.

Дальше зашел разговор об условиях местной жизни, и кто-то из нас спросил, где и как нам повстречаться с пномпеньской общественностью. Посол посмотрел на нас с удивлением.

— Какая общественность? О чем вы говорите? Вся общественность сосредоточена здесь в одном лице.

И мы скоро поняли, что принц Сианук здесь и глава государства, и глава правительства, и верховный главнокомандующий, и глава камбоджийского буддизма, и глава всех спортивных организаций и, как мы уже знаем, воплощает в себе всю общественность. Кстати говоря, формально государство возглавляет королева — его мать.

Правительство Камбоджи пригласило представителей Союза обществ дружбы присутствовать на традиционном национальном празднике кхмерского народа, носящем поэтическое название — «Праздник возвращения вод и приветствия луне».

…Жизнерадостная, по-южному темпераментная и красочная толпа (как говорится, яблоку негде упасть) заполняет широкую набережную. Я смотрю на необозримую ширь реки Меконг и думаю:

«Если это называется «возвращением», то есть спадом вод, то что же здесь происходит в половодье?»

В шесть часов вечера при жгучем солнце начинается торжественное празднование, состоящее главным образом из спортивных водных состязаний, самое эффектное из которых — гребная регата, которую мы наблюдаем с устланной коврами палубы пришвартованного к пристани плавучего «королевского дома», нарядно убранного флагами, гирляндами цветов и позолоченными вензелями.

Там же на палубе королевской яхты произошла наша встреча с принцем Сианук. Посол представил ему нас. Принц был в обыкновенном сером штатском костюме, без всяких знаков отличия, в голубой рубашке с синим галстуком в полоску. Удостоив нас довольно равнодушным наклоном головы, Сианук сказал, что весьма рад приезду на национальный праздник кхмерского народа гостей из Москвы.

Посол был весьма озабочен нашим предстоящим разговором с Сианук, скептически рассматривая успех нашей миссии. Между прочим, он предупредил нас, что обращаться к принцу следует с французским словом «сир», положенным в обращении к царствующим особам.

— Ваше высочество, — обратился к Сианук по-французски Евгений Жуков, видимо, позабыв совет посла о слове «сир», — мы

привезли с собой наилучшие пожелания советских людей и предполагаем также благоприятные переговоры об учреждении Обществ дружбы между нашими странами.

— Благодарю вас, — сказал Сианук, — я высоко ценю дружеские отношения с такой великой страной, как Советский Союз, но учреждение Обществ дружбы — не простой вопрос. Ведь, учредив Общество дружбы с вами, мы должны сделать то же самое и в отношениях с некоторыми другими государствами, в частности, и прежде всего, с Соединенными Штатами Америки, а мы к этому не готовы.

Тут я тоже вступил в разговор.

— Сир, — сказал я, — мы понимаем, что вопрос не простой, но мы оптимисты и надеемся, что все трудности будут благополучно преодолены.

Сианук посмотрел на меня, по его лицу скользнуло некое подобие улыбки.

— Это хорошо, что вы оптимисты. Я тоже оптимист. — И наклонил голову, давая тем понять, что аудиенция окончена.

Мы встретились с принцем Сиануком еще раз — в посольство пришло официальное приглашение в правительственную ложу на футбольный матч между сборной Камбоджи и советской командой «Торпедо», прилетевшей в Пномпень одновременно с нами. На этот раз принц был гораздо приветливее и даже обратился ко мне с улыбкой:

— Ну вы, как оптимист, наверно, рассчитываете на победу вашей команды.

— Сир, — ответил я тоже с улыбкой, — это естественно.

— Ну а я, как оптимист, уверен в нашей победе.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу торпедовцев. Сианук, несомненно, был огорчен, тем не менее, нам были выданы подарки — серебряные изделия, которыми так славится Камбоджа. Мне досталось изящное небольшое серебряное блюдо, которым мой внук по сей день пользуется как пепельницей.

Но самое большое и незабываемое впечатление от Камбоджи — это, конечно, Ангкор, великолепный комплекс храмов, сооруженный в IX–XIII вв. В последующие века подвергался нашествиям иноземных завоевателей, постепенно приходил в упадок, разрушался и в конце концов был заброшен камбоджийцами. Опустевшие храмы и дворцы стали резиденцией диких зверей и гигантских змей, заросли непроходимой тропической растительностью, на многие десятилетия скрывшей Ангкор от людских глаз. Лишь постепенно мир стал узнавать о существовании древних кхмерских сооружений, о них стали появляться упоминания в рассказах путешественников.

И вот мне доводится увидеть своими глазами эти чудеса. Они прежде всего ошеломляют масштабами: достаточно сказать, что только один Ангкор-Ват, один из комплексов Ангкора, занимает полтора километра в длину и километр в ширину. (Вспомним, что длина римского Колизея около двухсот, а ширина полтораста метров.) Потрясают не только размеры сооружения, не только пластическое богатство его архитектурных форм и скульптурных деталей — барельефов, статуй, фронтонов, наддверий. Пять высоких храмовых башен буквально сверху донизу покрыты каменной резьбой, создающей богатую и контрастную игру света и тени. Здесь нет камня, которого не коснулся бы резец ваятеля. Не найти гладкой поверхности стены, не найти кирпича, не украшенного каким-нибудь изображением. Внутренняя отделка храмов прекрасна не менее, чем наружная. С восхищением рассматриваем мы барельефы, покрывающие длинные галереи Ангкор-Вата сплошным каменным гобеленом, на котором искусные и терпеливые руки неведомых умельцев прошлого как бы «выткали» картины быта и жизни древней Камбоджи. Ритмически повторяясь, подобно изысканному художественному орнаменту, движутся по стенам четкие шеренги воинов, вереницы загадочно улыбающихся девушек-танцовщиц — «апсар». Целые армии, оснащенные боевыми колесницами, слонами, многовесельными галерами, сталкиваются в жестоких сражениях, сухопутных и морских. Придворные церемонии и народные празднества, уличные сценки и семейные события, шахматные состязания и петушиные бои — все это продолжает жить в изумительных, вырезанных в мраморно твердом песчанике фресках, еще сохранивших кое-где следы яркой древней раскраски.

Неумолкаемый звон цикад стоит в ушах с такой силой, что иногда приходится повышать голос, чтобы услышать друг друга. То бодро шагая по раскаленным тропическим солнцем плитам, то осторожно ступая по скользкой зелени бархатного мха, покрывающего ступени темных портиков, где под высокими прохладными сводами шуршат летучие мыши, мы идем сквозь лабиринт руин Ангкора, густо заросших разнообразной и экзотической растительностью джунглей. Подобно гигантским удавам, извиваются корни деревьев по дорожкам и лестницам, взбираются на арки ворот, тянутся по перилам, проникают сквозь кладку стен и куполов, расшатывают и дробят древние камни. Местами эти корни похожи на щупальца чудовищных спрутов, местами — на хоботы слонов.

Растительность, окружающая седые памятники старины, обычно приятна. Она трогает и радует глаз ощущением жизни,

бессмертием вечной природы. Но здесь почему-то появляется обратное чувство: становится жалко и больно за созданную трудолюбивыми и талантливыми людьми прекрасную архитектуру. Джунгли завладели святилищами, галереями, башнями, окружили их непроходимой стеной дикой чащи, через которую с большим трудом пробились исследователи и путешественники, проложив путь для археологов, ученых и туристов.

После двухдневного пребывания в Ангкоре мы возвращаемся в Пномпень…

Поездка в Камбоджу позади, я снова в Москве. Надо, кстати, сказать, что наш визит в эту экзотическую страну принес свои результаты — Общество дружбы СССР — Камбоджа и одновременно Общество дружбы Камбоджа — СССР благополучно возникли, и мне, между прочим, оказали честь: я был избран вице-президентом нашего Общества.

Глава двадцать восьмая

… Среди заграничных поездок, о которых стоит рассказать, я хочу вспомнить и поездку в Грузию — ведь Грузия теперь тоже заграница. Связана была эта поездка, если память не изменяет, с пятидесятилетием тбилисской Академии художеств. И от

Академии художеств СССР на этот юбилей направилась целая мощная делегация — президент Н. Томский, вице-президенты В. Кеменов и Е. Вучетич, академики Д. Налбандян, Д. Мочальский, Ф. Решетников и другие. А от Союза художников СССР, как-то так получилось, послали меня одного. При этом я почему-то поехал не вместе с группой академии, а только через два дня — один. Поездка была тяжелая, неприятная. Вагон немилосердно трясло, и я, недавно перенесший операцию по поводу отслойки сетчатки глаза, испугался за второй глаз. Но все обошлось. И вот торжественное заседание в переполненном до отказа зале театра имени Руставели. Представители Академии художеств СССР один за другим выступают с речами, поздравляют, приветствуют, преподносят великолепные подарки — роскошные альбомы с репродукциями Рембрандта, Рубенса, Брюллова… А я начинаю беспокоиться — как после такого пышного парада будет выглядеть моя одинокая фигура. Кстати, и подарок у меня довольно скромный — пустая палехская шкатулка. Хоть бы догадались положить в нее, для смеха, бутылку московской водки.

Я тихо подошел к Мочальскому.

— Дмитрий Константинович, вы ведь, по-моему, тоже секретарь Союза художников. Давайте выйдем хоть вдвоем. Вы держите в руках шкатулку, а я буду произносить приветственное слово. Все-таки не один.

Так мы и сделали. Когда я заканчивал свое краткое приветствие, Мочальский вынул из картонки яркую шкатулку и начал ее открывать, но я успел ее выхватить.

— Товарищи! — возгласил я. — Мы просим вас принять дар от Союза художников СССР. На первый взгляд может показаться, что шкатулка пуста. Но это не так. В этой шкатулке находится воздух Гоголевского бульвара, где расположен Союз художников СССР, — воздух искусства.

И, открыв шкатулку, я завопил:

— Воздух Москвы соединился с воздухом Тбилиси!

Эти слова были покрыты бурными аплодисментами и даже криками «Ура!»

…Вечером, на банкете, Владимир Семенович Кеменов сказал

мне, язвительно улыбаясь:

— Ну, Борис Ефимович, подносить в подарок воздух еще никто не додумался. Вы — первый.

И он был прав.

…Встречался я в Тбилиси и с Эдуардом Шеварднадзе. Был он тогда молодым и еще не президентом Грузии, но лицом весьма значительным — Первым секретарем ЦК грузинской компартии. И его появление на пленуме правления Союза художников Грузии, на который приехала наша делегация из Москвы, было весьма престижно. Держался он очень просто и демократично и даже, помню, по-дружески расцеловался с Церетели, Джапаридзе, другими руководителями Союза. Он заразительно смеялся, когда я в своем выступлении вспомнил по какому-то поводу старый анекдот — как правительство Турции направило Наркоминделу Г. В. Чичерину официальный протест в связи с тем, что на государственном гербе Армянской советской республики изображена гора Арарат, которая находится на территории Турции и не принадлежит Армении. На что Чичерин ответил, что на турецком гербе изображен полумесяц, а между тем, Луна не принадлежит Турции и не находится на ее территории…

Потом Шеварднадзе вместе со мной и Николаем Пономаревым запросто спустился в подземный переход, без всякой охраны. Перешли на другую сторону проспекта, вошли в зал, где была развернута художественная выставка, и Шеварднадзе, рядом с другими посетителями, с интересом рассматривал произведения художников.

Мне трудно перечислить, сколько раз я бывал в ГДР. Это — и посещения, связанные с периодическими выставками международной публицистической графики («Интерграфика»), это — и командировки Союза художников СССР на различные совместные советско-германские мероприятия — критические симпозиумы, искусствоведческие совещания, творческие встречи и обсуждения. (Как-то, помню, я даже выступал с докладом на немецком языке в Академии искусств ГДР о задачах и проблемах политического плаката.) Наконец, просто туристические поездки, посещение Дрезденской галереи с ее художественными сокровищами. Все это привело, естественно, к установлению добрых, дружеских взаимоотношений и с замечательным художником Вернером Клемке, и с председательницей Союза художников ГДР, удивительной женщиной Леа Грундиг, и с карикатуристами Луисом Раувольфом, Эриком Шмидтом, другими и, больше всего, с чудесным, на редкость гостеприимным художником-плакатистом Зигфридом Кранлем, у

которого я чувствовал себя, как в родном доме.

…22 июня 1971 года — ровно 30 лет после вторжения гитлеровских орд в Советский Союз. Этот «юбилей» мне доводится встретить на германской земле, в ФРГ, в городе Киле. Я с интересом раскрываю утренние газеты. И сразу вижу передовую статью под крупным заголовком «Черный день 30 лет назад. К нападению на Россию».

«Еще в два часа ночи 22 июня 1941 года, — гласят первые строки этой статьи, — советский товарный поезд пересек Буг из Брест-Литовска, следуя в западном направлении, а спустя 75 минут двинулась в восточном направлении военная машина великогерманского рейха». Заканчивалась эта статья так: «Обращаясь к урокам прошлого, мы прежде всего должны сказать: это не должно повториться!»

А как и по какому случаю я попал в город Киль?

В Киле проходила традиционная парусная регата — «Кильская неделя». В дни этой «недели» проводились обычно и другие культурные мероприятия. Среди них — обязательная художественная выставка. В этом году — это выставка советской графики, на открытие которой приехали из Москвы мы с художником Рубеном Вардзигулянцем.

…Вместе мы проделываем довольно сложный воздушный путь. Сначала Москва — Амстердам. На этом оживленном авиаперекрестке Европы проводим больше трех часов, не уставая глазеть на немыслимо пеструю, карнавально причудливую толпу пассажиров, нескончаемыми потоками движущихся по горизонтальным и вертикальным эскалаторам вокзала.

…В Гамбурге нас никто не встретил, и мы, постояв некоторое время в ожидании, двинулись к выходу в город. Но тут нас остановил молодой человек с модно опущенными вниз, как у древнего викинга, усами.

— Господин Ефимов? — обратился он ко мне.

— Да, — несколько удивленно ответил я, — а каким образом…

— О, я вас тотчас узнал по описанию господина Вернера Истеля, который недавно познакомился с вами в Москве. Меня зовут Брандт. Ганс Петер Брандт. Мне поручено встретить вас и доставить в Киль.

Обменявшись приветствиями, мы направились к выходу из аэровокзала. По дороге я спросил:

— Если не секрет, дорогой господин Брандт, то мне интересно знать, как именно описал меня господин Истель. Что-нибудь вроде того, что вы увидите лысого старикашку, похожего на лягушку?

— О нет! — рассмеявшись ответил Брандт. — Он сказал, что я встречу пожилого господина, очень живого и подвижного в свои восемьдесят два года.

— Восемьдесят два? — переспросил я.

— Да. А что?

— Нет, нет, ничего. Господин Истель весьма любезен. Мы с ним подружились в Москве, и я буду рад снова встретиться с ним в Киле.

Но мой спутник Вардзигулянц не утерпел:

— Господин Истель немножко ошибся — всего на двенадцать лет. Господин Ефимов — ровесник века, ему идет семьдесят первый год.

Описание всех спортивных, культурных, увеселительных и разных других мероприятий «Кильской недели» заняло бы слишком много места. Но я хочу упомянуть приезд в Киль президента ФРГ Густава Хейнеманна. В кильской ратуше очередной торжественный прием. В числе прочих гостей президенту представили и нас.

Президент очень одобрительно отозвался о выставке советской графики в Киле и о благодарностью принял нашу просьбу отобрать для себя на память любое из экспонированных произведений. Ему пришелся по душе лирический русский пейзаж ленинградского графика Бориса Ермолаева.

Мы провели в Киле еще несколько дней, окруженные неизменным вниманием и дружелюбием. Накануне отъезда нас пригласили на прощальный завтрак к обер-бургомистру Киля господину Бантцлеру. Во время беседы я вспомнил свою поездку на Нюрнбергский процесс.

— Интересно было бы взглянуть, как теперь выглядит этот замечательный город, который был так страшно разрушен.

— Так это легко сделать! — сразу отозвался обер-бургомистр. — Мы вас завтра же отправим самолетом в Нюрнберг, а потом обратно в Киль.

Я только развел руками от такой любезности, но, естественно, не стал отказываться.

И мы с Вардзигулянцем летим в Нюрнберг.

Оставив чемоданы в номерах гостиницы, мы устремляемся на улицу. Облицованный керамической плиткой туннель приводит нас к площади главного вокзала, а дальше мне уже все хорошо знакомо… Импозантный «Гранд-отель» нисколько не изменил своего тяжеловесно пышного облика, если не считать того, что тогда, в 45-м, он был расколот пополам глубокой трещиной от прямого попадания бомбы. Вот из этого подъезда мы ежедневно утром и вечером выходили в город на заседание Международного

военного трибунала.

Где обгорелые развалины средневекового Нюрнберга? Где страшные каменные джунгли, через которые мы пробирались к зданию, в котором проходил процесс? От них не осталось и следа. Разрушенные дома полностью реставрированы, точнее говоря, заново построены по старым образцам и лоснятся чистеньким камнем, розовым и блестящим, как затянувшийся свежей кожей рубец. Это, если можно так сказать, новехонький «Старый город», в котором благородную седину и патину столетий, художественную неповторимость искусства старины заменили глянец и лакировка строительного модерна.

Даже к чудом уцелевшему подлинному дому Альбрехта Дюрера впритык пристроен модный бетонный куб новейшего выставочного зала, вход в который прорублен прямо из вестибюля дюреровского дома-музея. Таким образом, осмотрев старинные, отделанные потемневшим дубом комнаты, где все проникнуто духом великого мастера, вы получаете возможность (за ту же плату) познакомиться с опусами некоего художника-абстракциониста, фамилию которого я не помню.

Уличная толпа, естественно, тоже мало напоминает пришибленных и потертых нюрнбергцев сорок пятого года — это причудливая смесь респектабельных бюргеров, и степенных фрау в старомодных шляпках, карнавально пестрых юношей и девиц в курточках, джинсах и шортиках. Оба поколения не обращают друг на друга ни малейшего внимания. Блестящие лысины и гладко выбритые лица пожилых мирно сочетаются с апостольскими шевелюрами до плеч и бородками молодежи.

Проливной дождь загоняет нас в простую и недорогую закусочную, где мы отдаем должное знаменитым нюрнбергским жареным колбаскам и светлому пиву.

Наступил вечер. Уже в полную силу полыхают, переливаются, угасают и снова вспыхивают неоновые рекламы всех цветов радуги, а главный пункт нашей программы еще не выполнен.

Широкая и прямая Фюртерштрассе ярко освещена фонарями и витринами заново отстроенных домов, среди которых темной массой выделяется громада Ландесгерихта — Баварского областного суда. Мы пересекаем вымощенный брусчаткой двор, входим под тяжелые гранитные аркады. Вот у этого подъезда двадцать пять лет назад каждые четыре дня несли караульную службу советские гвардейцы, на груди которых символически сочетались медали «За оборону Сталинграда» и «За взятие Берлина». Советских часовых сменяли американские, английские и французские. Бесконечные коридоры огромного здания кишели сотрудниками трибунала, адвокатами, журналистами,

экспертами, фотокорреспондентами. Сейчас здесь пусто и темно. Впрочем, в просторном вестибюле горит свет. Мы входим внутрь. Навстречу нам устремляется вахтер в форменной фуражке и со скрещенными золотыми ключиками в петлицах мундира.

— Что вам угодно?

— Нам угодно посмотреть это здание.

— А кто вы такие?

— Мы туристы.

— А, тогда все понятно! Вы хотите увидеть зал, где происходил процесс над военными преступниками?

— Совершенно правильно.

— Но это, к сожалению, невозможно. Уже поздно, и все закрыто.

— О, какая жалость. А мы приехали издалека специально, чтобы посетить это здание. Нельзя ли что-нибудь сделать? Мы будем вам очень благодарны.

— Я очень сожалею, но… Кстати, из какой вы страны?

— Мы из Советского Союза.

— Что? — он смотрит на нас, и лицо его одновременно выражает удивление, недоверие и интерес. — Из Советского Союза? Прямо из Москвы?

— Да, прямо из Москвы.

— Тогда идите за мной.

Мы выходим из вестибюля, и вахтер ведет нас по двору, подробно рассказывая, где находились представительства союзных стран, где размещались караулы, где были расположены тюремные камеры и т. д. Мы подходим к правому крылу здания, и он показывает три больших неосвещенных окна на третьем этаже — окна того самого зала.

— Все это очень интересно, — говорю я, — но нам хотелось бы войти в зал.

Вахтер явно огорчен.

— Ничего не могу сделать. У меня просто нет этих ключей. Но вот что я придумал. Дело в том, что в этот зал туристы не допускаются. Туда можно пройти только по делу, назвав фамилию определенного судебного деятеля — адвоката или прокурора. Я сейчас скажу вам, кто будет завтра присутствовать в суде, и, если вы придете к десяти часам утра…

— Спасибо за любезность, — отвечаю я, — но завтра в десять часов мы уже будем в воздухе по пути в Москву. А сейчас разрешите спросить: сколько вам было лет в сорок пятом году?

— Десять лет.

— А что вы думаете об этом процессе?

Немного помолчав, страж Ландесгерихта говорит:

— Это были очень плохие люди. Они сделали много зла, и дай Бог, чтобы это никогда больше не повторилось. Пусть никогда больше не будет войны между нашими народами.

Наше полное согласие с таким мнением закрепляется московскими сигаретами «Тройка», которые наш собеседник охотно принимает в дар, и, пожав друг другу руки, мы расстаемся.

…В своих воспоминаниях я рассказал о шести разных Германиях, в которых мне довелось побывать: это — кайзеровская Германия, Веймарская Республика, гитлеровская Германия, Германия 1945 года («Бизония»), ГДР и, наконец, ФРГ. Рассказал и призадумался: как обобщить все эти сложные, пестрые, во многом друг другу противоречащие, а иногда и опровергающие впечатления и наблюдения? Как привести их к какому-то «общему знаменателю»? Ведь все-таки речь идет об одной конкретной стране, об одном народе.

Немного досадно, что я ничего не могу сказать о седьмой, нынешней Германии. Я ее не видел. Это не мешает мне отдать должное и, не боюсь сказать, восхищаться страной, которая после двух страшных проигранных мировых войн, в которых народ понес неслыханные материальные и людские потери, сумела всего за три десятилетия стать одной из самых богатых, экономически развитых, благоустроенных и авторитетных держав в Европе. И горько, и обидно, и с трудом объяснимо сравнение ее со страной-победительницей, ставшей после победы над Германией одной из двух мировых «сверхдержав», а теперь не вылезающей из экономического, финансового, политического, нравственного и всяких других кризисов. Какой страшный парадокс…

…А вот о другом европейском государстве. Стране суровой средневековой романтики и высокой проникновенной поэзии, мрачных кровавых придворных тайн и жизнерадостных народных карнавалов. Стране безжалостных мракобесов и благородных гуманистов. Стране бессердечных тиранов и самоотверженных борцов за человеческое достоинство. Стране, о которой вдохновенно писали Шиллер и Пушкин, а в наше время — Лион Фейхтвангер, Эрнест Хемингуэй, Михаил Кольцов. Стране, изощренно соединившей в себе культуру мусульманского, мавританского Востока со строгой, аскетической культурой христианского мира и эклектикой современной цивилизации.

Она раскинулась на равнинах и предгорьях Пиренейского полуострова. Это, конечно, Испания.

Кто из нас не мечтал побывать в Испании, увидеть ее своими

глазами, прикоснуться своими руками к древним, овеянным незабываемыми историческими событиями и легендами камням Толедо, Кордовы, Эскориала, Альгамбры, увидеть гордую красоту Мадрида и Барселоны?

Я дождался этого только на склоне лет, в 77-летнем возрасте, выйдя из самолета в мадридском аэропорту. Я — в Испании! Со всех сторон меня обступают настойчивые и неизбежные ассоциации — литературные, исторические, политические и… личные, о которых я еще скажу. И неизбежно возникают образы великих испанцев, знакомые еще со школьной скамьи — это и Сервантес с его бессмертными Дон Кихотом и Санчо Пансой, это Веласкес и Гойя, Пикассо и Эль Греко. Это, если хотите, и зловещие, но неотделимые от истории страны фигуры короля-изувера Филиппа II и даже мятежного генерала-фашиста Франко. Это, несомненно, и Пасионария — Долорес Ибаррури, и лидер немало испытавшей бед испанской компартии, трагически погибший Хосе Диас. Все это — ИСПАНИЯ.

Рассказ о всех моих испанских впечатлениях занял бы слишком много места, и я ограничусь отдельными впечатлениями.

…Наш туристический автобус остановился на специальной смотровой площадке у дороги, чтобы мы могли полюбоваться неповторимо прекрасной панорамой легендарного города-музея, древней столицы Испании. С этого самого места прославленный Эль Греко написал свой знаменитый «Вид Толедо» — необыкновенной красоты и выразительности полотно, буквально завораживающее зловеще-тревожным колоритом. Но глядя на залитое ярким солнцем Толедо и сверкающую громаду замка Алькасар на высоком холме в центре города, нельзя было не вспомнить печально-знаменитое: «Над всей Испанией безоблачное небо» — условный радиосигнал к началу фашистского мятежа против Республики.

Нельзя было не вспомнить и это: «Толедо было видно издали, замок Алькасар курился на высокой горе дымом двух разбитых башен, фиолетовая лента реки Тахо круто опоясывала город… Пушка стреляла по Алькасару каждые три минуты, из четырех снарядов в среднем разрывался один…» Эти строки из «Испанского дневника» Кольцова датированы 6 сентября 1936 года. Разумеется, сегодня, четыре десятилетия спустя никакие пушки по Алькасару не били, его башни не дымились, а возвышались над городом в высокомерной неприкосновенности. Между прочим, еще по пути в Толедо, в автобусе возникла тень достопамятного тридцать шестого, когда из уст нашего любезного гида мы услышали весьма драматический рассказ о неслыханном

мужестве горстки защитников осажденного превосходящими силами республиканцев Алькасара и его коменданта полковника Москардо, впоследствии произведенного в генералы и причисленного к лику национальных героев. Оказывается, свирепые республиканцы потребовали, чтобы Москардо выдал им в качестве заложника своего восемнадцатилетнего сына, который и был ими коварно расстрелян. Я не мог скрыть своего изумления и когда мы вышли из автобуса, сказал гиду:

— Насколько я знаю, уважаемый дон Паскуаль, именно засевшие в Алькасаре вооруженные до зубов офицеры и кадеты Военной академии захватили заложниками несколько сот жен и детей толедских рабочих, рассчитывая, что народные дружины не станут обстреливать крепость, опасаясь за жизнь безвинных людей.

— Позвольте узнать, — сухо спросил гид, — откуда у вас такие сведения?

— Из вполне достоверного источника, — ответил я. — Дело в том, что очевидцем осады Алькасара был мой родной брат, корреспондент газеты «Правда», рассказавший об этих событиях в довольно широко известной книге «Испанский дневник».

— К сожалению, я не имел возможности с ней познакомиться.

— Разделяю ваше сожаление и думаю, что вы прочли бы ее не без интереса.

Этот разговор мы продолжать не стали и, как говорится, остались каждый при своем мнении.

Через монументальные ворота, увенчанные огромным, высеченным из камня гербом королей Кастилии, мы въезжаем на мост через Тахо, ведущий в город. Мы в Толедо. Само грозное средневековье во всем его жестоком величии смотрит на нас из узких крутых улиц, из тесно прижатых друг к другу раскаленных солнцем домов с редкими зарешеченными окнами и балконами. Невольно вспоминаются герои романа Фейхтвангера «Испанская баллада» — пылкий король Альфонсо, его любимая красавица Ракель, ее отец, мудрый дон Иегуда, свирепый рыцарь де Кастро, мстительная королева Леонора… Где-то здесь, в лабиринте домов, сохранился, вероятно, и кастильо — родовой замок, предмет непримиримого спора между доном Иегудой и де Кастро, сыгравший столь трагическую роль в судьбе Ракели и ее отца.

Прежде всего, мы посещаем дом, где жил и работал великий Эль Греко, оттуда заходим в примыкающую к нему маленькую церковь Санто-Томе, где останавливаемся, как зачарованные, перед картиной «Погребение графа Оргаса». Велико чудодейство искусства! Ведь средневековый вельможа, один из толедских грандов, граф Оргас умер за двести лет до того, как на сюжет

легенды, связанной с его погребением, городские власти Толедо заказали не так давно поселившемуся в их городе художнику-греку Доменико Теотокопули картину соответствующего содержания для местной церкви. А мы здесь через добрых четыреста лет после того, как это полотно было написано. Но до чего же могуче мастерство художника, если так глубоко и властно захватили нас сила и выразительность образов, среди которых — Мигель Сервантес, сам Эль Греко и другие известные люди той поры.

Мы у кафедрального собора Толедо. Его принято сравнивать с гордым его собратом — кафедральным собором Севильи. Один из этих храмов-гигантов считается самым большим в Испании, другой — самым почитаемым. Каюсь, я запамятовал, который из них больше, который святее. Но могу засвидетельствовать, что оба они равно потрясают масштабами, импозантностью архитектурного облика, сочетающего готический и мавританский стили. Оба равно ошеломляют подлинно католической пышностью внутреннего убранства — великолепием золотых орнаментов и утвари, драгоценных камней, мозаик, фресок, резьбы, росписи стен и плафонов. Вся эта немыслимая храмовая роскошь, мне думается, призвана не столько радовать и внушать возвышенное христианское смирение, любовь к ближнему и другие нравственные заповеди Нагорной проповеди, сколько подавлять и устрашать души верующих, вселять в них робость и преклонение перед неизменным величием Бога на небе и его наместников на грешной земле.

Мы измотаны нестерпимой жарой и чрезвычайно устали. Взглянув на часы, я подхожу к нашему гиду.

— Ивините, дон Паскуаль. У нас остается не так уж много времени. Когда мы поднимемся к Алькасару?

— Это программой не предусмотрено, — равнодушно отвечает он. — Да и смотреть там, собственно, нечего. Площадь как площадь. А Алькасар прекрасно виден отсюда.

«Ну нет, — подумал я, — для меня это больше, чем “площадь, как площадь”».

— Сколько еще времени до отъезда в Мадрид? — спросил я.

— Часа полтора, — ответил гид.

— А сколько нужно, чтобы подняться к Алькасару?

— Минут тридцать-сорок, если быстрым ходом.

Прервав на полуслове этот разговор, я ринулся вверх по крутым улицам, то и дело превращавшимся в не менее крутые лестницы. И вот я на площади Сокодовер. Быстро осматриваюсь вокруг, чтобы сообразить, где склон холма, на котором «мексиканский коммунист Мигель Мартинес» (он же — советский

журналист Михаил Кольцов) в группе республиканских бойцов поднимался к стенам замка, где на этих склонах он с пистолетом в руке пытался остановить их отступление под огнем фашистов, где ворота монастыря, в который они скатились, чтобы начать новый штурм. Ничего этого я не нашел… С тяжелым чувством посмотрел на помпезный мемориал, воздвигнутый на этом месте во славу торжествующего фашизма, и бегом пустился в обратный путь. Я поспел вовремя. Все уже сидели в автобусе. Ждали только меня. Дон Паскуаль посмотрел на меня с непередаваемо-ироническим выражением лица и дал сигнал к отъезду.

…Отправляя нашу группу в поездку по Испании, вице-президент Академии художеств Владимир Кеменов, незадолго до того сам там побывавший, провел с нами руководящую и наставительную беседу. Он подчеркнул при этом необходимость с нашей стороны высокой бдительности в общении с безыдейным, формалистическим, декадентским западным искусством, а пуще всего рекомендовал опасаться пагубного влияния скандально-сенсационного творчества сюрреалиста Сальвадора Дали. Он не скрыл при этом, что наше неосторожное поведение в этом плане может поставить под угрозу наличие у него партийного билета. Мы, как могли, заверили его в нашей верности социалистическому реализму. В пути даже родились куплеты, которые мы распевали в автобусе на мотив «Не кочегары мы, не плотники…»:

Важна в искусстве точность терминов,
Нам надо знать, куда идти.
Но мы спокойны — с нами Кеменов
И не собьемся мы с пути!

Естественно, нашим воззрениям в изобразительном искусстве нисколько не противоречило восхищение в мадридской галерее «Прадо» полотнами Веласкеса, Гойи, Мурильо, других великих мастеров. Мы не «сбились с пути», даже посетив в Барселоне музей-выставку такого сложного, противоречивого и одиозного для мэтров нашей Академии художника, как Пикассо. Этот музей находится на улице Монкада, узкой, тенистой и несмотря на жару, приятно прохладной. Здесь в одном из самых горделивых, мрачноватых снаружи особняков, которые некогда занимали знатные патрицианские фамилии города, и находятся произведения великого испанца, в основном жившего во Франции. Этот факт сам собой красноречиво свидетельствует о знаменательных переменах в политическом климате Испании: пришло время, когда стало невозможно и нелепо игнорировать

имя всемирно прославленного художника-коммуниста, непримиримого противника франкистского режима. Бесчисленные картины, этюды, рисунки с трудом вмещаются в рамки громадной экспозиции. Но здесь отсутствует произведение, несомненно, в биографии Пикассо главное и самое известное — картина «Герника». Весьма необычна и парадоксальна история этого полотна. Напомню, что Герника — это название маленького испанского городка, варварски уничтоженного в дни гражданской войны налетом германской, гитлеровской авиации. Отказавшись от малейших элементов натурализма в трактовке этого события, Пикассо смог в предельно условных метафорических образах сконцентрировать страшную нечеловеческую сущность фашизма, его апокалипсически жуткое лицо.

Еще в разгар гражданской войны республиканское правительство обратилось к Пикассо с просьбой написать картину о трагедии Герники для павильона Испании на всемирной выставке 1937 года в Париже. Всего несколько недель напряженной, вдохновенной, неистовой работы понадобилось художнику для создания «Герники», и она была с огромным успехом показана в Париже. После поражения Республики картину переправили в Нью-Йорк и поместили в музее Гуггенхейма, где она привлекала огромный интерес. А дальше произошло неожиданное: картиной, проникнутой непримиримой ненавистью к фашизму, заинтересовался сам испанский диктатор Франко. Он официально потребовал возвращения ее в Испанию, как «собственности Испанского государства, на средства испанского народа оплаченной». Узнав об этом, Пикассо опубликовал завещательное распоряжение, в котором объявил, что никакой оплаты за «Гернику» он не получал, что картина таким образом является его личной собственностью и он завещает ее Испании, когда в стране «будут восстановлены демократические порядки и общественные свободы». «Герника» осталась в Нью-Йорке, но после смерти Франко разгорелся ожесточенный спор между музеями и городами, претендующими на обладание «Герникой». Спорили в основном мадридский «Прадо» и барселонский музей, каждый весьма убедительно доказывал свои права. Тут в спор вступила третья сторона, утверждавшая, что, по справедливости, «Герника» должна принадлежать… самой Гернике — городу, заново отстроенному. Насколько я знаю, победил в этом споре почетный и престижный музей «Прадо».

…К распеваемой нами в автобусе песне прибавился вскоре еще один куплет:

И все же мы не стали бяками
От Академии вдали,
Хоть навидались много всякого —
Вплоть до Сальвадора Дали…

Да, да… Несмотря на заботливое предостережение Кеменова и с риском для его партбилета, мы имели встречу с «пресловутым» Сальвадором Дали. Правда, не с ним лично, но с местом, непосредственно с ним связанным и чрезвычайно любопытным, в родном его городке Фигерас у самой границы с Францией. Еще в Барселоне нам сказал дон Паскуаль, что, если мы пожелаем, то представляется возможность посетить в дополнение к программе и «Театро-музео» Сальвадора Дали. Мы несколько растерянно переглянулись. Что за штука такая «Театро-музео», мы не поняли, но, посоветовавшись, согласились. И вот мы в Фигерасе, где в начале века родился гений сюрреализма, скромно поведавший на вернисаже одной из своих выставок, что во все времена истории человечества мир живописи не знал ничего подобного его творчеству. Дали купил местный театр и превратил его в прижизненный мемориал своей собственной персоны. Здание «Театро-музео» сразу же огорошило нас своим фасадом, щедро украшенным безголовыми манекенами из магазинов готового платья и предметами сантехнического оборудования — унитазами, умывальниками, писсуарами. Открытия «музео» уже дожидалась длиннющая очередь посетителей и среди них множество детей, которые, как я потом убедился, получали в «Театро-музео» особое и искреннее удовольствие, носясь по залам и со смехом разглядывая многочисленные диковинки. И неудивительно — здесь столько курьезных экспонатов, которые заняли бы достойное место в любой кунсткамере или увеселительном парке аттракционов. Вот, например, овальный зал, в центре которого — нечто вроде диванчика с блестящей ярко-пунцовой обивкой. На некотором расстоянии от диванчика висят пышные драпировки из рыжевато-золотистых веревок. Между драпировками симметрично расположены два сильно увеличенных кинокадра беспредметного содержания. Для того, чтобы понять, что все это означает, надо включиться в очередь, подняться по специальной лесенке и взглянуть сверху с лестничной площадки. И тогда окажется, что диванчик — это накрашенные женские губы, рыжие веревки — это прическа, кинокадры — сильно подведенные глаза, а все вместе — портрет знаменитой американской кинозвезды Мэрилин Монро.

Дальше — больше. Вы входите в зал, оснащенный какими-то сложными оптическими приборами, где к вашим услугам целый ассортимент оригинальных зрительных фокусов. У одного аппарата ритмически сменяются портреты самого Сальвадора Дали с лихо подкрученными позолоченными усиками, а также его супруги; у другого телеэкрана вы можете полюбоваться тем, как из картины Веласкеса «Менины» вырастает уставленный банками кока-колы стол, за которым играют в карты известные американские космонавты. Время от времени сам великий Диего Веласкес отделяется от искони занятого им места у мольберта и оказывается у стола среди космонавтов. Правда, в карточной игре он участия не принимает. Чувствуя, что уже перестаю чему бы то ни было удивляться, вхожу во внутренний дворик «музео», где некогда, видимо, находился зрительный зал театра. Здесь тоже, как на фасаде здания, щедро использована в качестве декоративного оформления сантехника: наверху, под самым небом, по всей центральной окружности дворика прикреплены белые фаянсовые умывальники. В центре дворика — большой, довольно потрепанный черный автомобиль устаревшей марки, за рулем которого сидит розовощекий манекен-блондин в соломенной шляпе-канотье. Из-под заднего сиденья внутри автомобиля непрерывно бьет фонтанчик воды, образующий вокруг колес небольшой прудик, а на крыше машины установлена фигура чудовищно толстой, похожей на индийскую богиню обнаженной женщины с золотыми украшениями на различных частях тела.

Мы, конечно, успели познакомиться далеко не со всеми экспонатами, которые Дали предлагает вниманию зрителей, но, к сожалению, нам надо было торопиться в Барселону. Согласно программе, через несколько часов мы отбывали в Мадрид, к тому же с нас было достаточно того, что мы успели увидеть в забавном и гротескном «Театро-музео», того, что мы восприняли как своего рода «причуду гения» — мастера такого огромного таланта и неиссякаемой творческой фантазии, как Сальвадор Дали. Но Владимир Кеменов мог быть спокоен за свой партбилет — мы остались на позициях «соцреализма».

…Много, очень много впечатлений об Испании осталось за пределами моих записок. Но еще об одном я не могу не рассказать. Это — о посещении грандиозного мемориала генерала Франко. Он находится в так называемой Долине павших. Его подземная часть — базилика, напоминающая огромную станцию метро, богато украшена изваяниями мадонн, апостолов и ангелов, мраморных, бронзовых, мозаичных и всяких прочих. Под раззолоченным куполом два надгробия — генералиссимуса

Франко и идеолога националистической «фаланги» Хосе Антонио.

Посещение этого внушительного, монументального мавзолея заставило меня глубоко задуматься: со времен гражданской войны в Испании прошли десятки лет. И Время — этот строгий и самый беспристрастный судья, ставит все на свое место, вносит свои неоспоримые поправки и оценки. То, что казалось абсолютно правильным и не подлежащим сомнению тогда, выглядело в моих глазах совсем по-иному теперь. В те годы мы не уставали в своих карикатурах изображать Франко жалким прихвостнем Гитлера и Муссолини. Но как разительно отличается судьба Франко от его тогда могущественных покровителей. Гитлер, которому предназначено было судьбой увидеть позорный крах своего Третьего рейха, покончил жизнь самоубийством в бункере разгромленной рейхсканцелярии. Муссолини, пытавшийся скрыться, был расстрелян партизанами, а затем повешен вниз головой на фонарном столбе. А Франко достойно ушел из жизни, окруженный почетом и уважением своей страны, как мудрый и прозорливый правитель. Выиграв упорную трехлетнюю гражданскую войну, он не дал Испании стать сателлитом Советского Союза на уровне последних вассалов СССР. Установив свою личную диктатуру после победы, Франко, однако, не создал в стране террористического режима, подобного режиму Гитлера или Сталина. Свидетельством такой умеренной политики является сооружение гигантского креста, по перекладине которого, как говорили, могли разминуться два легковых автомобиля, символизирующего примирение испанцев, воевавших друг против друга в гражданской войне. Франко проявил государственную мудрость и тем, что завещал после своей смерти возродить в Испании монархию в лице наследника королевской династии Хуана Карлоса, оказавшегося разумным и прогрессивным правителем, при котором Испания стала подлинно демократическим, правовым государством. Таковы уроки истории.

Глава двадцать девятая

В 70-е годы так называемая общественная деятельность стала отнимать у меня, пожалуй, больше времени и сил, чем профессиональная, творческая. Съезды, конференции, пленумы, правления, секретариаты непреодолимо вовлекали в свою «карусель». Правда, все это было достаточно интересно и даже увлекательно. В частности, очень интересно стало участвовать в работе Правления ЦДЛ, когда его председателем пришел Константин Симонов. Мне хочется вспомнить добрым словом его — умного и проницательного поэта, талантливого прозаика и драматурга. Мы познакомились с ним в первые месяцы Великой Отечественной войны, и добрые отношения между нами сохранились до конца его жизни. Он, безусловно, не был ангелом с белыми крылышками (а кто им был!), но он честный и порядочный человек. Вместе с тем, в то сложное время, выдвигаемый на ответственные редакторские, секретарские и другие руководящие посты, он не мог не считаться с реалиями политической обстановки и установками власти предержащей. И, не всегда способный соблюдать эти установки, не всегда угождая этим требованиям, он не раз и не два впадал в немилость, подвергался опале. Но незачем скрывать, были у него ошибки и поступки, которых он, по собственному признанию, не совершил бы, если бы мог начать жизнь сначала.

У меня хранятся дома два тома фронтовых дневников Симонова с такой авторской надписью:

«Дорогому Борису Ефимовичу, одинаково мужественному и в дни войны и в дни мира, и на фронте и в ЦДЛ. Ваш Константин Симонов. 24.5.77».

О чем тут речь? Какое «мужество» в ЦДЛ имеет в виду Симонов?

Дело в следующем. Интересы и инициативы Симонова не раз выходили за пределы чисто литературных. Ему, как говорится, до всего было дело. Он как-то заинтересовался одной из любопытнейших личностей 20-х годов — Владимиром Татлиным — художником, скульптором, изобретателем, футуристом, бунтарем. И задумал устроить выставку в ЦДЛ, посвященную многогранной творческой деятельности Татлина, его смелым замыслам и затеям, в том числе знаменитому «Летатлину» — фантастическому летательному аппарату, найденному после смерти Татлина на каком-то чердаке. Однако замысел такой выставки натолкнулся на яростное сопротивление некоторых маститых академиков Академии художеств СССР, поднявших крик

о недопустимости «рекламирования» этого формалистического «штукарства», безыдейного космополитического упаднического «эпатажа», противопоставляемого партийному искусству социалистического реализма. Вот тут-то я и проявил то самое «мужество», которое так запомнилось Симонову. Я открыто поддержал его замысел и нашел понимание у председателя Союза художников СССР Николая Пономарева, человека умного, здравомыслящего, чуждого тупоумию и казенщине в искусстве. Выставка Татлина прошла в ЦДЛ с большим успехом. И под потолком знаменитого Дубового зала благополучно реял легендарный «Летатлин». Больше всех был доволен, конечно, Константин Симонов.

Уже неизлечимо больной, лежа в клинике, он, превозмогая тяжелый недуг, написал или, вернее, продиктовал книгу «Глазами человека моего поколения» — самое главное, может быть, из своих произведений. Эта книга как бы подводит итог впечатлениям и наблюдениям его жизни, дает углубленную характеристику его времени. В ней содержится также умная и зоркая характеристика личности Сталина. Надо при этом заметить, что во всем обширном поэтическом творчестве Симонова вы вряд ли найдете и десяток строк во славу «Великого Отца и Учителя». А ведь многие десятки подобных строк можно отыскать даже у такого большого, гордого поэта, как Александр Твардовский. Я не литературовед, но беру на себя смелость утверждать, что в свое время после смерти Сталина ни один писатель не написал о нем так точно и безошибочно, как Симонов.

Болезнь Симонова, увы, оказалась неизлечимой.

Прах его, согласно желанию писателя, был рассеян на бывших полях сражений под Могилевом.

…Немало любой из нас может назвать выдающихся женщин всех времен и народов, прославивших свои имена в самых различных сферах науки, культуры, искусства — замечательных ученых, актрис, поэтесс. Немало знает история человечества достойных женских имен: вспомним хотя бы Сару Бернар, Жорж Санд, Веру Холодную, Веру Мухину, Анну Ахматову, Галину Уланову. Вошли в историю человечества и женщины-революционерки, воительницы против угнетения и порабощения — такие, как Роза Люксембург, Софья Перовская, Вера Засулич. Прославили себя женщины и как крупные государственные деятели, вершившие большими политическими событиями, влиявшими на судьбы целых народов и стран. Это Жанна д’ Арк, а до нее — Клеопатра. Это — английская королева Виктория, это и

царевна Софья, достойная соперница Петра. Это и, несомненно, императрица Екатерина Вторая.

А из более близкого к нам времени назову «железную леди» Маргарет Тэтчер и без колебаний поставлю рядом с ней нашу «ткачиху» Екатерину Фурцеву. Екатерина Алексеевна, действительно, начала свой жизненный путь скромной ткачихой на фабрике «Большевичка» в городе Вышнем Волочке. И этой волевой, целеустремленной, обладавшей недюжинным умом и властным мужским характером молодой женщине понадобилось всего двадцать лет, чтобы в нашей сложной партийной иерархии достичь самых высоких постов вплоть до члена Президиума ЦК КПСС и секретаря ЦК КПСС. Поразительно!

Нельзя не рассказать о событиях, когда Фурцева проявила себя подлинной «железной леди», решительным и волевым политическим бойцом. Группа влиятельных членов ЦК — Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним секретарь ЦК Шепилов, раздраженная властными замашками Хрущева, провела решение Президиума об освобождении Никиты Сергеевича от обязанностей Первого секретаря ЦК. Особенное их возмущение вызвал доклад Хрущева «О преодолении культа личности и его последствий». Казалось, что политическая карьера Хрущева закончена раз и навсегда. Но спасла его не кто иной, как Екатерина Фурцева. В течение одних суток при помощи маршала Георгия Жукова она вызвала в Москву на самолетах военно-воздушного флота всех членов ЦК со всех концов страны. И состоявшийся внеочередной Пленум отменил решение Президиума, а зачинщики «заговора» были отправлены в «почетные» ссылки — Молотов послом в Монголию, Маленков и Каганович — директорами отдаленных предприятий, а «примкнувший к ним Шепилов» — в полную отставку.

Но при этом, надо сказать, будучи весьма высокопоставленным деятелем партийной номенклатуры, Екатерина Алексеевна не была похожа на угрюмую «парттетю», она представляла собой строго, но элегантно одетую даму, от которой всегда приятно пахло хорошими французскими духами. Заняв пост первого секретаря Московского городского комитета партии, она практически стала хозяйкой столицы и управляла городскими делами решительно и безапелляционно. Никто не решался ей возражать. Мне случайно довелось быть свидетелем такого маленького эпизода. При реконструкции одной из улиц возникли сомнения в необходимости сноса отличного комфортабельного особняка. У проектировщиков как-то не поднималась рука разрушить это красивое здание. Никто не решался сделать это без согласия Фурцевой. Шли горячие споры.

И вот она приехала. Внимательно выслушав обе стороны, ознакомившись с планами и проектами, подумала минуты две и, произнеся только одно слово: «Сносить!», села в машину и уехала. Вопрос был решен незамедлительно и полностью в стиле «железной леди».

А вот эпизод, рисующий ее в совсем другом плане. Пятидесятилетие Константина Симонова отмечалось торжественно и весело в Большом зале ЦДЛ. Сменяли друг друга официальные, дружеские и шутливые поздравления, вручались подарки. Я лично, возглавляя делегацию ЦДРИ, преподнес ему красивую курительную трубку, не забыв при этом упомянуть, что трубка для Симонова так же неотъемлема, как и для другого известного человека. А кто-то из фронтовых друзей Симонова надумал оформить юбилейный подарок в виде походной военной сумки, где находились всем известные «наркомовские сто грамм» (в пятикратном количестве), с этикеткой времен Великой Отечественной войны, жестяная кружка и скромная закуска в виде ломтя черного хлеба. После своего приветствия я уселся где-то сзади в президиуме, рядом с Иваном Козловским и Робертом Рождественским. Тут же сидел и мой внук Виктор, которого я «протащил» на этот интересный вечер. Далее произошло следующее. Обладатель упомянутой сумки куда-то отлучился, а Козловский и Рождественский как-то вмиг «учуяли» ее содержимое. И, недолго думая, извлекли бутылку, кружку и черный хлеб.

— Ив-ван С-семенович, — сказал Рождественский, откупорив бутылку, — н-не в-выпить ли нам з-за з-здоровье ю-юбиля-ра?

Козловский задумался.

— Вообще-то перед выступлением не рекомендуется. Но за здоровье Кости — готов.

Предложили и мне. Я воздержался, а они выпили и закусили. В этот момент произошло нечто неожиданное: Екатерина Фурцева, сидевшая в первом ряду президиума, обернулась, потянула носом, встала и подошла к ним вплотную.

— Пьете? — лаконично спросила она.

— Да, выпиваем, Екатерина Алексеевна, за здоровье юбиляра, — с достоинством ответил Козловский.

— А кто этот мальчик? — поинтересовалась Фурцева.

— Мой внук Витя, — пояснил я.

— А не рановато ли вашему внуку поднимать заздравные чаши, хотя бы и в честь уважаемого поэта? — строго сказала Екатерина Алексеевна.

— А я и не пью, — робко пролепетал Витя.

— И не рекомендую, — улыбнулась Фурцева и добавила: — А

вот мне налейте.

Рождественский осторожно нацедил в кружку несколько капель водки. Фурцева молча наклонила бутылку и наполнила кружку до половины, пригнувшись, выпила, отломила кусочек хлеба, понюхала и, кивнув головой, вернулась на свое место. Разинув рты, все мы смотрели ей вслед. Нельзя было не заметить, что выпила она полкружки водки спокойно и равнодушно, как выпивают стакан воды.

Незачем скрывать, что в ту пору любили посплетничать насчет пристрастия Фурцевой к крепким напиткам. Но этого, на мой взгляд, не было. Была, скорее, необходимая разрядка от бесчисленных обступавших ее проблем, забот и интриг. Возможно, что иногда и требовалась несколько повышенная доза.

Помню юбилейный вечер известного в свое время скульптора Екатерины Белашовой. К этому времени Фурцевой, должно быть, основательно приелась административно-командная, руководящая партийная деятельность, и она охотно приняла на себя более интересные и многообразные обязанности министра культуры, дававшие ей возможность живого и близкого общения с людьми театра, изобразительного искусства, литературы, кинематографа. На вечере Белашовой она была, видимо, в хорошем, приподнятом настроении и, поднявшись на возвышение, где сидели многие видные деятели культуры, произнесла по адресу скульптора теплые, нестандартные приветственные слова. Затем, повернувшись к стоявшему рядом Ивану Семеновичу Козловскому, сказала, мило улыбаясь:

— Иван Семенович! Помогите-ка мне спуститься вниз.

Недолго думая, знаменитый певец подхватил министра на руки и передал ее… мне, стоявшему внизу. Я бережно принял эту ответственную ношу и осторожно поставил ее на ноги. Тут к моему уху наклонился главный ученый секретарь Академии художеств Петр Сысоев и озабоченно шепнул:

— Не надо больше ей наливать водки.

Но водка была тут ни при чем — Екатерина Алексеевна просто находилась в хорошем настроении.

Ко мне она, в общем, относилась благосклонно и доброжелательно. Помню наш визит к ней в министерство в обществе Валерии Барсовой и Веры Марецкой. Мы пришли просить ее согласия на присвоение директору ЦДРИ Борису Филиппову почетного звания Заслуженного деятеля искусств. В полной уверенности, что возражений с ее стороны не будет. Однако Фурцева как-то призадумалась.

— Я знаю Бориса Михайловича. Он прекрасный администратор, отличный директор Дома. Но поймите, речь идет

об искусстве. Я что-то не помню созданных им крупных произведений искусства. Тут может идти речь о звании Заслуженного работника культуры.

— Екатерина Алексеевна! Но Филиппов много пишет о людях искусства, интересно рассказывает о творческих встречах с ними, — попробовал я возразить.

— Писать о людях искусства — это еще не значит творить искусство. Вот поделитесь с ним своим искусством художника, тогда посмотрим.

Мы с Барсовой разочарованно переглянулись и вышли из кабинета министра. А Марецкая осталась, сказав:

— Подождите меня минутку.

Вышла она не через минутку, а минут через десять и объявила:

— Ну, все в порядке. Скоро поздравим Бориса Михайловича со званием.

Только позже я узнал, что Фурцева и Марецкая были давними подругами.

Свои воспоминания об Екатерине Алексеевне Фурцевой я позволю себе закончить ее собственной телеграммой от 10 ноября 1972 года:

«От имени Коллегии Минкультуры Союза и себя лично сердечно поздравляю вас с присуждением Государственной премии СССР. Созданные вами на протяжении многих лет творческой деятельности произведения сатиры, политической карикатуры, агитационного плаката получили заслуженное признание советского народа. Желаю вам, дорогой Борис Ефимович, здоровья и новых творческих достижений. *Министр культуры Союза Фурцева».*

Поскольку зашел разговор о выдающихся женщинах, как тут не вспомнить Фаину Раневскую.

Удивительна была ее популярность. Из уст в уста передавались ее забавные словечки, смешные реплики из ролей. Припоминаю, как мы однажды стояли с ней возле дома отдыха «Серебряный бор», где одновременно отдыхали. И откуда-то маршировала группа солдат. Проходя мимо нас, они приветственно замахали руками. Я вообразил, не скрою, что это относится ко мне, и собрался порадоваться своей известности. Но тут раздалось дружное: «Муля, не нервируй меня!» Фаина устало помахала солдатам рукой и сказала мне:

— Боже, как мне надоело это «Муля, не нервируй меня!»

Эта реплика из фильма «Подкидыш» стала настолько крылатой, что преследовала Раневскую на каждом шагу. Слышал от нее самой: как-то ее на улице окружила группа ребят с

криками: «Муля, не нервируй меня!» Выйдя из себя, Раневская им скомандовала: «Пионеры! Стройтесь попарно и идите в задницу!» Любопытно, что сама Раневская считала эту роль из «Подкидыша» одной из самых незначительных, а после неожиданной популярности буквально ее возненавидела. И можно себе представить ее злость, когда вручая ей орден за творческую деятельность, Л. Брежнев, как она мне рассказывала, произнес осточертевшее ей: «Муля…» и т. д.

Поразителен сценический диапазон Раневской — от поистине трагических ролей, таких, как в спектаклях «Странная миссис Сэвидж» или «Дальше — тишина», трогавших зрителей буквально до слез, до комических образов, таких, как Спекулянтка в «Шторме» или мать невесты в чеховской «Свадьбе», вызывавшие гомерический хохот. Надо сказать, что нелегко давались Раневской эти сложнейшие психологические перевоплощения. Помню, как-то после спектакля «Дальше — тишина» мы с женой и внуком Витей зашли за кулисы с цветами для Фаины Георгиевны. Я захватил с собой и незадолго до того вышедшую книгу своих воспоминаний.

— Спасибо вам, Фаиночка, огромное. Вы играли потрясающе.

— А вы думаете, это легко дается? — спросила Раневская и вдруг заплакала. — Ах, как я устала… От всего, от всех и от себя тоже.

Я растерянно смотрел на нее, не зная, что сказать, и решил поменять тему разговора:

— А это, Фаиночка, наш внук, Витя. А есть еще внук поменьше, Андрюша, которого мы называем Поросюкевич.

Фаина Георгиевна улыбнулась сквозь слезы.

— Поросюкевич? Это очаровательно. А почему?

— А он с рождения был толстенький, как поросенок.

С тех пор, где и когда бы мы ни встречались, Раневская неизменно спрашивала:

— А как поживает ваш очаровательный Собакевич?

— Не Собакевич, а Поросюкевич, — обиженно поправлял я.

— Да, да. Простите, дорогой. Конечно Поросюкевич.

Но при следующей встрече все повторялось.

— Как поживает, Борис Ефимович, ваш очаровательный Собакевич? — спрашивала Раневская, лукаво улыбаясь.

— Фаиночка!!! — вопил я. — Не Собакевич, а Поросюкевич!

Мы оба хохотали. И это стало своего рода традицией при наших встречах.

Прочитав подаренную мною книгу, Раневская прислала мне следующее письмо:

«Милый, милый, дорогой, дорогой Борис Ефимович. Вы не

представляете, какое глубокое волнение вызвала во мне ваша книга. Читала ее с интересом особым, она очень интересна, очень талантлива. Спасибо за чудесный подарок мне и всем нам. Ваша книга очень нужна и над многими строчками я горестно плакала… Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу «сильно выражаться». Вижу, что мне не удается сказать вам в этой записке всего, что хотела. Боюсь лишних слов. Но поверьте, что взволнована я глубоко и полюбила вас еще больше и нежнее. Крепко, крепко обнимаю. *Душевно ваша Ф. Раневская.*

P.S. Подарите мне и другие ваши книги».

Раневская находилась в дружбе с Татьяной Тэсс, хотя трудно себе представить более разные характеры — экспансивная, эмоциональная, не слишком воздержанная на язык Фаина и сугубо практичная, деловитая, скуповатая Татьяна.

Помню, мы с Татьяной Тэсс были на премьере спектакля «Странная миссис Сэвидж». Как всегда, игра Раневской произвела огромное впечатление, и мы на другой день послали ей общую телеграмму, высказывая свое восхищение. Вскоре я получил от Раневской ответную телеграмму с трогательными словами благодарности. Мы жили с Татьяной Тэсс в соседних подъездах и, встретив ее на следующий день во дворе, я спросил:

— Таня, вы получили телеграмму от Раневской?

— Никакой телеграммы я не получала, видно, начхала она на меня. Наверно, надулась почему-то. За что — не пойму.

Через пару дней мы сидели с Раневской рядом в Доме кино на просмотре итальянского фильма со знаменитой Клаудией Кардинале.

— Фаиночка, — спросил я, — что у вас произошло с Таней Тэсс? Она обижена, что вы ответили только мне на нашу общую телеграмму.

— А пошла она в ж… Посудите сами, Боря. Мне надо было срочно перекрутиться с деньгами. Вы знаете, что Танечка достаточно состоятельная дама. И я попросила ее выручить меня на пару дней. И вы знаете, как элегантно она мне ответила? «Фаиночка — вам будет трудно их вернуть». Какая изобретательная форма отказа… По-моему, это большое свинство. Да Бог с ней. Скажите лучше, как поживает ваш очаровательный Собакевич?

Когда мы выходили из зала после просмотра картины, сюжетом которой была довольно мутная история о кровосмесительной связи между братом и сестрой, кто-то спросил:

— Какое у вас мнение, Фаина Георгиевна?

На что последовал ответ, целиком в духе Раневской:

— Впечатление, как будто наелась кошачьего дерьма.

Надо сказать, что подобные и еще более сочные выражения в устах Раневской воспринимались отнюдь не как неприличная брань, а как абсолютно органично присущая ей манера разговора, ни для кого не оскорбительная, а только забавная. Ведь это была — Фаина Раневская! Но умела она шутить и обходясь без всяких непечатных словечек, а с простодушным веселым озорством. Я был свидетелем, когда к ней домой позвонила одна надоедливая дама, завела с ней длинный, скучный разговор. Раневская некоторое время терпеливо слушала, а потом прервала ее:

— Ой, простите, голубушка. Я разговариваю с вами из автомата, а тут уже большая очередь, стучат мне в дверь.

Она положила трубку и весело рассмеялась. И это тоже была — Фаина Раневская!

В день своего восьмидесятилетия я получил от Фаины Георгиевны такое письмо:

«Мой дорогой, очень любимый человек, очень любимый художник, мой друг, позвольте Вас так назвать. В день Вашего рождения мне так хотелось Вам сказать о моей любви, пожелать Вам только хорошего и много хорошего, но я не знала адреса, а сейчас меня навестила Таня Тэсс и дала мне слово, что мою любовь опустит в Ваш почтовый ящик.

Обнимаю крепко, нежно!!! *Ваша Раневская — не безызвестная артистка!»*

Фаина Георгиевна Раневская ушла из жизни в 1984 году. Обидно и горько, что эта уникальная актриса была так мало востребована в театре и в кино в достойных ее ролях. В этом непростительно повинны близорукость и недоброжелательство, и не в последнюю очередь, интриганство тех, кто в ту пору делал погоду в искусстве.

…Непостижимы и даже, пожалуй, загадочны бывают ассоциации, управляющие нашими воспоминаниями. Кто, к примеру, возьмется объяснить, по какой неожиданной ассоциации яркий, своеобразный облик Фаины Раневской без всякой логической связи сменяется воспоминанием, как я совершенно неожиданно для себя очутился в далекой причудливой Японии. Кому из нас не хотелось увидеть Японию? Побывавший в ней с восторгом рассказывал об этой удивительной стране, о красотах ее древней, бережно сохраненной цивилизации прошлых веков, сочетающейся с чудесами технического прогресса, как бы переносящими нас в век двадцать первый.

И вот мне неожиданно предоставляется возможность увидеть Страну восходящего солнца — в Москву приезжает постоянный

карикатурист газеты «Асахи» Тойсо Иокойяма по приглашению «Известий» и, в порядке обмена, я по приглашению «Асахи» лечу в Японию.

Время перелета прошло почти незаметно, тем более, моим попутчиком оказался общительный и веселый человек — кинорежиссер Марк Донской. Надо сказать, что неиссякаемый темперамент Марка Семеновича не позволил ему ограничиться беседой со мной одним. Он скоро обратил внимание на маленькую девочку примерно трех лет, напуганную необычной обстановкой и хныкавшую, несмотря на увещания мамы. Донской немедленно наладил с девочкой личный контакт, стал ей строить уморительные гримасы, показывать какие-то нехитрые фокусы и настолько в этом преуспел, что девочка начала заливаться звонким смехом и вскоре полностью перебралась от мамы к столь веселому дяде. Через полчаса Марк Семенович уже был сам не рад своему бурному успеху: ни читать, ни дремать, ни разговаривать со мной он уже не мог. Девочка непрерывно требовала новых развлечений и вконец затаскала бедного Донского, который немного отдышался только когда маме удалось уложить дочку спать.

Самолет пошел на снижение и вдруг устремился в открытое море. Можно было подумать, что наш дальнейший путь лежит через Тихий океан. Но, сделав плавный разворот над водой, наш лайнер совершил посадку в аэропорту Ханеда. Сошли мыс самолета по старинке — по трапу, а не посредством гибкого коридора-присоски, как это теперь делается во всех современных аэропортах. И встречали нас тоже по старинке — тут же у трапа на летном поле. Среди встречающих были представители «Асахи» и первый секретарь советского посольства (по случайному совпадению, мой собственный сын).

Так курьезно сложились обстоятельства, что тем же самолетом, которым я прилетел в Токио, моя сноха, Ирина Ефимова, улетала в Москву. Тем самым проводы и встреча слились в единое мероприятие, которое и было дружески отмечено в затейливо оформленном баре аэровокзала Ханеды. Только представители «Асахи» были несколько озадачены: они прибыли для официальной встречи, а попали на какое-то семейное торжество. Пошептавшись между собой, они заявили, что приедут в аэропорт через два часа и встретят меня еще раз по всей форме, как гостя их газеты. Так они и сделали. Уже в качестве представителя «Известий» я отбыл из аэропорта в автомашине под флагом газеты «Асахи» с изображением красного солнца с расходящимися лучами. Кстати сказать, слово «асахи» означает по-японски — «восходящее солнце».

Кабинет главного редактора «Асахи» облицован прямоугольными пластинками из какого-то темного металла. При ближайшем рассмотрении это оказались типографские матрицы самых распространных газет мира, издающихся в странах Европы, Азии, Америки. Мы садимся за низенький длинный японский столик, а напротив нас за таким же столиком — руководители «Асахи». Завязывается любезная дружеская беседа. С интересом выслушивается, как мне кажется, мое изложение принципов советской политической сатиры.

— Мы слышали, что в вашей стране усиливаются меры по борьбе с алкоголизмом, — говорит редактор «Асахи». — Скажите, пожалуйста, какое участие принимают в этом художники-сатирики?

— Самое активное, — отвечаю я. — При этом они борются не только оружием сатиры, но и непосредственным уничтожением спиртных напитков.

Японцы смеются. Я начинаю развивать мысль об огромной роли смеха как психологического, физиологического и публицистического фактора, но первый секретарь посольства тихонько толкает меня в бок.

— Тут не любят долгих речей, — говорит он вполголоса, — скажи просто: я сюда приехал и очень этому рад.

Поперхнувшись, я быстро закругляюсь и вручаю редакторам «Асахи» памятные подарки от редакции «Известий». Среди них — точная копия самовара, из которого пил чай в Ясной Поляне Лев Николаевич Толстой, о чем я не забываю упомянуть.

Мы помним бессмертные строки Федора Тютчева:

> Умом Россию не понять,
> Аршином общим не измерить:
> У ней особенная стать…

Мне думается, что это целиком применимо и к Японии — умом ее не понять. Многое из того, что приходится увидеть в этой стране, с чем приходится столкнуться в быту, искусстве, нравах, обычаях — может понять только японец.

…Поджав под себя по-японски ноги, люди сидят на широких ступенях деревянной галереи, опоясывающей древний императорский дворец в Киото. Взоры всех устремлены на примыкающий к галерее прямоугольный дворик, покрытый мелким светлым гравием, среди которого там и сям торчат несколько изъеденных временем и непогодой камней разной величины, лежащих на маленьких островках травы. Гравий расчесан аккуратными параллельными бороздками,

завихряющимися вокруг островков концентрическими кругами. Среди зрителей, сидящих на террасе и лестнице, царит сосредоточенное молчание.

— Что тут происходит? — шепотом спрашиваю я у первого секретаря посольства.

— Мм… Как бы тебе объяснить… — говорит мой сын. — Люди смотрят на эти камни и отрешаются от всего мелкого, будничного, повседневного. Углубляются в собственные мысли, возвышенные раздумья…

— Углубляются, чтобы возвыситься? Что ж, допустим… А при чем тут камни?

— При чем тут камни, может понять только японец. Во всяком случае факт таков, что в этот Сад камней на протяжении сотен лет люди приезжают со всех концов Японии, садятся на эти самые доски, часами созерцают эти самые камни и размышляют о жизни, о вечности, о своей судьбе.

Я призадумался.

— А ну-ка, давай и мы посидим немного, — сказал я, — посмотрим на камни. Попробую и я уйти в себя, поразмышлять о смысле жизни, о бренности существования.

Однако как я ни старался настроить себя на возвышенный лад, в голову лезли все какие-то суетные мысли и текущие заботы, связанные с программой поездки и даже с домашними поручениями. Я быстро понял, что воспринять японский образ мышления мне не удастся, и покинул «Сад камней».

Павильоны ЭКСПО-70… О них даже трудно рассказать. Состязаясь в фантасмагорической причудливости архитектурных решений, в оригинальности оформления, расцветки, структуры, строительного материала, они громоздятся вокруг, наступая друг на друга и как бы отпихивая локтями соседей. Здесь нашло себе применение и воплощение решительно все, что только могла изобрести изощренная фантазия десятков конструкторов, художников и строителей, оснащенных самыми последними новинками техники, электроники, кибернетики. Исчерпав, пожалуй, все известные геометрические формы — кубы, призмы, пирамиды, шары, конусы, октаэдры, додекаэдры и прочие — архитекторы взялись за растительный и животный мир: возникли павильоны, напоминающие морские раковины, глубоководных голотурий, актиний, медуз, грибы, кактусы, павильоны, похожие на что угодно и ни на что не похожие. Всеми основными и дополнительными цветами спектра переливаются эти хитроумнейшие сооружения из стекла, алюминия, хлорвиниловых и пластических материалов, газосветных трубок, сферических зеркал и бурлящих водяных струй. Каким-то неправдоподобным

марсианским городом смотрится скопление вертикальных и наклонных, винтообразных и спиральных конструкций, вращающихся, вертящихся, сверкающих и подмигивающих, беснующихся в усилиях ошеломить зрителя и одновременно утереть нос конкурентам. Девиз этой выставки — «За прогресс и гармонию человечества».

…Накануне отъезда из Токио я снова посетил редакцию «Асахи». На этот раз меня принимал президент компании «Асахи симбун» господин Хироока, который, оказывается, еще главней, чем главный редактор. Действительно, на этот раз главный редактор сидел сбоку низенького столика, президент компании в центре. Господин Хироока выразил сожаление, что не смог встретиться со мной раньше, поскольку был в отъезде и только вчера вернулся из Пекина. Он выразил надежду, что моя поездка по Японии была для меня интересной и приятной.

В этот момент в кабинет внесли большой картонный ящик.

«Не иначе, как цветной телевизор», — мелькнуло у меня в голове.

— Мы просим вас, — продолжал господин Хироока, — принять этот скромный подарок на добрую память о нашей встрече — шлем самурая…

— Позвольте мне, уважаемый господин президент компании, — начал я, откашлявшись, — подчеркнуть прежде всего те искренние и дружеские чувства, которые…

Первый секретарь посольства тихонько толкнул меня в бок.

— Не надо длинных речей, — сказал он вполголоса, — скажи просто: я побывал в вашей стране и очень рад.

«А ведь верно, — подумал я. — В этом вся суть…»

Ну, вот я опять дома, в Москве. Дни, недели и месяцы 1970 года текли налаженной, устоявшейся чередой необходимых дел — творческих, общественных, бытовых, семейных, личных. В сентябре этого памятного года я вынужден был отметить свое семидесятилетие. (Ровесник века — ничего не поделаешь…) При какой-то врожденной аллергической неохоте отмечать свои дни рождения, именины, любые юбилейные даты, я попытался ускользнуть от этого торжества и заблаговременно приобрел для себя и жены две индивидуальные туристические путевки в Германскую Демократическую Республику. И, помню, в прославленном городе Веймаре, купив в киоске «Правду» и «Известия» и обнаружив в них заметки обо мне соответственно Кукрыниксов и Сергея Михалкова, подумал не без наивного злорадства: «А меня-то и нет в Москве!»

Но я был действительно наивен — по возвращении в Москву увернуться от чествования не удалось…

Оно состоялось в Дубовом зале Центрального Дома литераторов. Мой добрый друг, директор Дома Борис Филиппов позаботился о том, чтобы были полностью соблюдены все положенные традиционные ритуалы: и огромный торт с 70 свечками, которые я в два приема задувал, и большая цифра «70», и световые эффекты, и круглый стол, за которым уселось около 80 родных, друзей и знакомых. Было по-настоящему весело, дружески, сердечно.

Но… Видно, кто-то «сглазил»… И в конце года произошло пренеприятное событие — я попал в больницу. А надо сказать, что до той поры я бывал в больницах, только кого-нибудь навещая. Случилось это, как гром с ясного неба, а еще вернее, как удар молнии, причем черной. Это произошло на общем собрании Московского союза художников, которого я тогда был первым зампредом. Сидя в президиуме, я зачем-то оглянулся и в этот миг перед левым моим глазом молниеносно пронеслась какая-то черная полоса. В перерыве я подошел к одному приятелю.

— Миша, — сказал я, — у вас бывает, чтобы перед глазами прыгали черные пятна?

— Сколько угодно. Это ерунда. Купите в аптеке капли. Они называются «Желтые капли». Стоят две копейки. Покапайте дня два, и все пройдет.

Я успокоился, но, когда после «желтых капель» черная полоса не исчезла, я, по настоянию жены, направился в поликлинику. Мой постоянный офтальмолог, посмотрев глаз, явно закручинилась.

— Ну, Борис Ефимович, не ожидала я, что вы придете ко мне с такой гадостью. Вам немедленно надо ложиться в больницу.

— А что случилось, Валентина Наумовна?

— Самое плохое, что может случиться с глазом — отслойка сетчатки.

И вот я на приеме у тогдашнего светила офтальмологии, молодого, но уже знаменитого окулиста, профессора, члена-корреспондента Академии медицинских наук Михаила Михайловича Краснова. У него подчеркнуто светские манеры, он остряк и балагур.

— Давайте говорить как мужчина с мужчиной, — объявляет Михаил Михайлович, осмотрев мой глаз, — и как членкор с членкором, — добавляет он, показывая, что осведомлен и о моем академическом звании.

— Давайте, — соглашаюсь я.

— Так вот. Мировая статистика устанавливает в этих операциях семьдесят процентов удачных и тридцать процентов неудачных. Вас это устраивает?

— Вполне устраивает, Михал Михалыч.

— Отлично. Я вижу, с вами легко иметь дело. Приезжайте завтра ко мне в пятьдесят вторую больницу.

Но назавтра в своей клинике, еще раз осмотрев мой глаз, он воскликнул:

— Э-э, батенька! Да у вас тут не один разрыв, а целых три!

— Так что же получается, Михал Михалыч? Надо семьдесят процентов разделить на три? Двадцать три с чем-то?

— Я вижу — вы не забыли правила арифметики, — благодушно шутит Краснов. — Именно так. Но… Будем надеяться.

Оперировал меня Краснов вечером 31 декабря и, видимо, рассчитывал не опоздать на новогоднюю встречу, но делал все неторопливо и размеренно. Чувствовалась рука уверенная и опытная.

— Не удивляйтесь, — сказал он, — что операцию вашего глаза я начну с уха. Так иногда бывает в жизни.

И действительно, он начал что-то резать за моим левым ухом. И это может показаться неправдоподобным, но на операционном столе я начал рассказывать хирургу анекдот, кстати, о Боге, который в свое время слышал от Аджубея:

— Когда Гагарин вернулся из космоса, в Кремле был по этому случаю торжественный прием, на котором присутствовал и патриарх Сергий. Он отвел Гагарина в сторону и спросил: «Сын мой, ты был там, на небеси. Скажи правду — Бог есть?» «Бога нет, Ваше Святейшество», — ответил Гагарин. «Я так и думал, — сказал патриарх. — Но ты об этом никому не говори». Потом Гагарина отвел в сторону Хрущев. «Слышь, Гагарин, — сказал Никита Сергеевич. — Ты был там наверху. Скажи правду — Бог есть?» — «Есть, Никита Сергеевич» — ответил Гагарин. Хрущев покачал головой: «Я так и думал. Но ты об этом никому не говори».

Краснов засмеялся и сказал:

— Хороший анекдот. Надо его запомнить.

Операция началась. Видеть я, естественно, ничего не мог, но с любопытством слушал приглушенный разговор Краснова с его ассистентом, молодым врачом Сапрыкиным. Тот высказывал какие-то соображения, на которые профессор реагировал весьма иронически. Примерно так:

— Вы серьезно, Сапрыкин? А я, серый человек, и не догадывался.

Или:

— Не может быть! Открыл Америку!

Или:

— Конечно, конечно, — Волга впадает в Каспийское море.

Операция закончилась. Краснов уехал встречать Новый год,

Сапрыкин тоже, и я тоже… в свою палату. Об этом я потом написал в поэме, которую назвал «Отслойкиада». Вот отрывок из нее.

…Стенных часов напомнил ход,
Что наступает Новый год.
И я, хирургом очарован,
Как Невидимка забинтован,
В свою палату привезен,
Где рядом верная жена,
Со мной всю ночь была она.
Бутылку мы тайком открыли
И на двоих сообразили.
На этот счет в больнице строго,
Не выдавайте, ради Бога…
Таинственно мерцал светильник.
И за счастливый Новый год
И операции исход,
За то, чтоб я, как пациент,
Попал в желательный процент,
Жена стакан, а я поильник,
Без громких обойдяся фраз,
С шампанским подняли мы враз…

В восторге от Краснова, воспев его в своей «Отслойкиаде», экземпляр которой вместе с дружеским шаржем я ему преподнес, с восстановленной сетчаткой, радостный, я вернулся домой.

Но… Ровно через две недели утром я обнаружил на левом глазу зловещее черное пятно и немедленно помчался к Краснову.

— Все сначала, — кратко сказал он, посмотрев глаз. — Немедленно в больницу. Сейчас же, не заезжая домой.

Должно быть, у меня было соответствующее выражение лица, потому что, поглядев на меня, он прибавил:

— Дать вам коньяк?

Я только махнул рукой…

И снова я на операционном столе. На сей раз хирург орудует не скальпелем, а лазерным лучом. Иными словами, короткими вспышками лазера вокруг глазного яблока как бы «припаивает» сетчатку на положенное ей место. После операции он говорит:

— Ну, вы, однако… Другие во время этой операции орут на всю больницу.

— Михал Михалыч, — отвечаю я, — я просто не знал, что

можно орать. Думал, что у вас тут не положено. А то бы задал ору.

Далее дело пошло таким образом: тяжело заболела и вскоре скончалась мать Краснова, и он отсутствовал дней двенадцать. Его ассистенты мною не занимались. Наконец он появился, меня вызвали к нему в кабинет, и он меня осмотрел. Затем подумал и сказал в своей манере:

— Вы знаете, что такое жизнь? Жизнь — это слоеный пирог: слой повидла, слой дерьма. Слой повидла, слой дерьма. Так вот, сегодня у вас — слой повидла. Я вас отпускаю из больницы.

— А как же глаз?

— С глазом ничего нельзя сделать, потому что ничего нельзя увидеть. Все закрыто кровоизлиянием.

— Кровоизлиянием? А откуда вдруг взялось кровоизлияние?

На этот наивный вопрос я получил четкий и строго научный ответ:

— А ч-черт его знает.

На этом, по сути дела, можно и закончить мою «Отслойкиаду» — которую я определил бы по жанру как драматически-фатально-юмористическую и, одновременно, клинически-офтальмологическую. А если серьезно, то я так и остался на всю жизнь и по сей день после четырех, великолепно сделанных операций без левого глаза на все сто процентов.

Итак, потеряв один глаз, я продолжал рисовать, писать статьи, книги и, естественно, участвовать в общественной жизни. Основная моя общественная работа была, разумеется, связана с Союзом художников и домами художника — Московским и Центральным. Не могу не вспомнить поистине трагикомическую эпопею с выборами председателя МОСХа. Я состоял в нем в качестве заместителя председателя. Это тоже произошло довольно комично. Вернувшись из клиники Краснова, я обнаружил дома повестку на перевыборы руководства МОСХа и на другой день туда отправился. Я немного опоздал и вошел в зал в момент, когда раздались дружные аплодисменты. Не зная, по какому поводу собрание аплодирует, я, шутя, на ходу, тоже присоединился. И тут оказалось, что этими аплодисментами одобрили предложение о переизбрании меня первым заместителем председателя.

— Дорогие друзья! — возопил я. — Подождите! Что вы делаете? Вы покупаете кота в мешке. Я только что из больницы, где потерял один глаз. Какой из меня первый заместитель?

Тут поднялся уже избранный председателем Дементий Шмаринов.

— Товарищи! — сказал он. — Я думаю, мы своего решения

относительно Бориса Ефимовича менять не будем.

Снова дружные аплодисменты.

— Ну, что ж, — сказал я, — пожалуйста. Но предупреждаю, что быть заместителем при таком председателе, как Дементий Алексеевич, это значит — ни во что не вмешиваться и не мешать ему работать. Это я вам обещаю.

Однако на деле вышло не совсем так. Мне иногда приходилось председательствовать вместо Шмаринова на заседаниях правления. Правда, мне в этом помогал ответственный секретарь МОСХа Эльбрус Гутнов, человек опытный и дотошный. И вот на одном из таких заседаний Гутнов показал мне послание от Шмаринова. Я прочел его с некоторым удивлением. В нем Дементий Алексеевич извещал, что у него в последнее время бывают спазмы головных сосудов и это не дает ему возможности исполнять обязанности председателя. Просьбы об освобождении его от этих обязанностей в послании не содержалось, и было не совсем понятно, что надо делать дальше. Брать на себя всю тяжелую обузу руководства такой сложной махиной, как Московский Союз художников, у меня не было ни малейшего желания, а объявлять выборы нового председателя не имелось, вроде, оснований. Но практически на меня свалились «руководящие» проблемы, в которых я, откровенно говоря, плохо разбирался. И ощутил это на ближайшем заседании правления. Когда мы уселись за председательский стол, Гутнов сказал мне вполголоса:

— Борис Ефимович, раньше всего надо принять решение об исключении из МОСХа художника Каневского.

Мне не понравился безапелляционный тон Гутнова, и я сухо заметил:

— Я не вижу этого вопроса в повестке дня, Эльбрус Александрович.

— Это не важно, — тем же безапелляционным тоном сказал Гутнов. — Вот заявления художников, давших ему рекомендации при вступлении в МОСХ. Они отказываются от своих рекомендаций.

— Ну и что? Мне кажется, что отказ от рекомендаций не влечет за собой автоматического исключения из членов Союза. Ведь его принимали по всем правилам — с показом работ и тайным голосованием. Не так ли?

— Все равно! Его надо гнать из МОСХа.

Повелительный тон Гутнова начал меня раздражать.

— А товарищ Каневский здесь? — спросил я. — Он отсутствует? Как же мы можем решать судьбу человека в его отсутствие, не поговорив с ним?

Гутнов был явно весьма недоволен. Его с места поддержал один из членов правления, крикнув:

— Это проходимец! Он разъезжает по Союзу, заключает какие-то договора на издание плакатов, гребет кучи денег.

— Позвольте вам заметить, — возразил я, — даже если бы этот Каневский, по вашим сведениям, к тому же зарезал семью из пяти человек, то, все равно, в его отсутствие я не считаю возможным решать вопрос о нем. Я предлагаю, чтобы председатель плакатной секции Соловьев вызвал Каневского, обстоятельно с ним поговорил и представил свои соображения на следующее правление. Нет возражений?

Возражений не было, на том и порешили, а я остался доволен, что показал Гутнову и некоторым другим — вертеть собою, как марионеткой, не дам.

А вот и еще один любопытный эпизод из моей «председательской» практики. Дело происходит на Всесоюзном съезде советских художников, собравшемся в Кремле, как это тогда было положено для творческих Союзов.

Надо, между прочим, заметить, что великолепные интерьеры старинного Кремлевского дворца, такие, как беломраморно-золотой Георгиевский, Владимирский, Екатерининский и другие залы, бывшие царские покои — создавали определенное настроение и как-то даже придавали делегатам Съезда некую значительность в их собственных глазах. После первых дней докладов и прений, принятия резолюций, наступил наиболее острый этап — выборы.

На должность председателя Союза художников практически претендовали двое — Николай Пономарев и Евгений Вучетич, известный скульптор, отличавшийся, помимо своих монументальных произведений, еще и крутым, сварливым нравом. Мои симпатии, как и многих других, были целиком на стороне Пономарева. Но тут и сказалась сложность моего положения — ведь формально я стоял во главе МОСХа. Приходилось считаться не только с личными симпатиями, но и с мнением «директивных инстанций», курировавших МОСХ. В день выборов, как это было положено в ту пору, партгруппы всех делегаций собрались в разных местах для выдвижения кандидатов.

Партгруппа МОСХа, как самая многочисленная, расселась в главном зале. Ко мне подошел секретарь Московского горкома партии по культуре Ягодкин, деятель энергичный и волевой.

— Борис Ефимович, я вас попрошу провести заседание партгруппы.

— Но я не член партии, Владимир Николаевич.

— Не имеет значения. Вы выполняете обязанности председателя МОСХа, вас знают и уважают.

— Но, Владимир Николаевич, получается очень странно…

Он решительно меня прервал:

— Борис Ефимович! Вопрос решенный. Мы будем сидеть рядом.

И вот такая картина: на делегатских местах — двести с лишним художников-коммунистов. Перед ними маленький столик, за которым сижу я, по правую и левую руки от меня — Ягодкин и парторг МОСХа Аввакумов.

Начинается процедура выдвижения кандидатов. Называется фамилия, потом высказываются: один — «за», другой — «против». Потом голосуют простым поднятием рук. Все идет довольно гладко и спокойно, пока я не называю фамилию Вучетича. В атмосфере возникает некоторое напряжение. Слова просит президент Академии художеств Николай Томский. Он дает Вучетичу высокую характеристику как художнику и общественному деятелю. После него скульптор Шаховской, дающий резко отрицательную оценку Вучетичу, который, по его словам, никогда не бывает в МОСХе, не интересуется его делами и непонятно, почему МОСХ должен выдвигать эту кандидатуру. Высказались «за» и «против». Но вдруг, не прося слова, поднимается председатель художественного фонда Каратеев с горячей тирадой в пользу Вучетича. И тут же стремительно выбегает художница Фаворская:

— Борис Ефимович! Это неправильно! «За» — высказались двое, а «против» — только один. Я — тоже против!

Чувствуется по всему что дела Вучетича, который, кстати сказать, сидит в первом ряду, весьма плохи. Он угрюмо смотрит на Ягодкина, а тот то и дело обращает на меня одновременно вопрошающий, предостерегающий и умоляющий взгляд. Не трудно было догадаться, что где-то «наверху» ему поручено обеспечить избрание Вучетича. Я понял, что наступил критический момент.

— Товарищи! — обратился я к залу. — Высказались двое «за» и двое «против». Ни у кого теперь претензий нет?

— Голосовать! Голосовать! — раздались голоса.

В результатах голосования — против Вучетича — не оставалось сомнений.

— Товарищи! — сказал я. — Одну минуточку. За мной, как за председательствующим, остается право подвести итог. И мое мнение таково: деятельность Евгения Викторовича выходит далеко за пределы МОСХа. Тут уже говорили, что он там никогда не бывает, и мне думается, что московская делегация не вправе

узурпировать права всего съезда. Только весь съезд, а не одни делегаты МОСХа, может решить вопрос о том, войдет ли Вучетич в правление Союза художников СССР. Я предлагаю голосования не проводить и оставить Евгения Викторовича в числе выдвигаемых кандидатур.

— Правильно! Правильно! — раздались многочисленные голоса.

Спустя полчаса я столкнулся с Вучетичем нос к носу, когда он выходил из дверей президиума. Надо было что-то сказать, и я спросил:

— Ну, Евгений Викторович, что скажешь?

— А на хрена попу гармонь? — ответил он.

Остается добавить, что при тайном голосовании всего съезда кандидатура Вучетича была провалена огромным большинством голосов. А это уже нельзя было поставить в вину ни Ягодкину, ни мне. И кому-то пришлось примириться с тем, что председателем Союза художников СССР на многие годы стал беспартийный Николай Пономарев.

Глава тридцатая

Я много раз в своих воспоминаниях рассказывал о выходе в свет различных сборников карикатур. Но еще ни разу не рассказал о самой карикатуре.

Что же такое карикатура?

Предвижу простой ответ: это веселый, забавный рисунок, цель которого — представить в смешном виде какую-то личность или явление. Пусть так. Но ведь этот смешной рисунок кого-то не смешит, а возмущает, кого-то не веселит, а злит, кого-то не забавляет, а приводит в ярость. И тут мы сразу сталкиваемся с двояким свойством этого причудливого, острого и обаятельного искусства. Карикатура существует как бы в двух ипостасях. Во-первых, она высмеивает и разоблачает все плохое, безнравственное, уродливое. Это карикатура сатирическая: она является оружием в политической борьбе. А есть карикатура и юмористическая, развлекательная, ее цель — позабавить, доставить удовольствие. При этом, однако, в карикатуре сатирической, разящей, неизбежно присутствует элемент юмора, а в юмористическом рисунке — мы всегда найдем некую сатирическую колючку.

Слово «карикатура» происходит от итальянского «caricare», что означает — нагружать, преувеличивать. Имеется в виду, что художник-карикатурист обязательно выделяет и преувеличивает какие-то отдельные черты человека или обстановки.

А когда появилась на свет первая карикатура? Несомненно — одновременно с первыми наскальными изображениями каменного века. Иными словами — вместе с изобразительным искусством вообще. Наверно, уже первобытные люди получали удовольствие, когда изображали своего недруга или соперника в смешном виде. Это лежит в самой человеческой природе.

Шли годы и века. Вместе с цивилизацией человеческого общества развивалось и совершенствовалось изобразительное искусство, а вместе с ним, естественно, и искусство карикатуры. Сатирические изображения находили место уже не на стенах пещер, а на древнеегипетских папирусах, на вазах древней Греции, на фресках древнего Рима, в химерах средневекового собора Парижской Богоматери. А древнейшая из дошедших до нас карикатур — это египетский папирус, на котором художник, живший более трех тысяч лет назад, высмеял ни больше ни меньше как фараона Рамсеса III, изобразив его в виде льва, играющего в шашки с антилопой. Карикатурист метко уловил самодовольно-горделивое выражение львиной морды и

кокетливую робость партнерши. Эту пра-пра-пра-карикатуру мне довелось видеть своими глазами в Британском музее. В огромном Египетском зале музея сначала я долго разглядывал знаменитый Розеттский камень, находка которого, как известно, дала возможность ученым расшифровать наконец долго остававшуюся загадочной иероглифическую письменность, поэтому не сразу обратил внимание на скромную застекленную витрину с какими-то выцветшими полосками папируса. А когда взглянул и узнал знакомую по репродукциям сатиру на Рамсеса III, стал внимательно и жадно рассматривать каждую линию, каждую черточку этого легкого листка папируса, оказавшегося не менее долговечным, чем построенные фараонами мощные пирамиды. И мне подумалось: а проявил ли Рамсес III достаточное чувство юмора? Может быть, он, взглянув на свое карикатурное изображение, добродушно улыбнулся? А может быть, разгневался и подверг дерзкого карикатуриста суровой каре? Этого мы не знаем. Но нам достоверно известно, как отреагировал в аналогичном случае другой могущественный властелин — Наполеон I. Это исторический факт: император Франции потребовал внести в текст Амьенского мирного договора между Англией и Францией специальный пункт, гласивший: «Карикатуристы, осмеливающиеся осуждать персону или политику императора Франции, должны быть приравнены к убийцам и фальшивомонетчикам». Наполеон имел в виду английского карикатуриста Гилрея, язвительные рисунки которого систематически появлялись в английской печати. Причем Гилрей довольно лихо касался и не совсем безупречной биографии императрицы Жозефины.

Вернемся, однако, к истории карикатуры. Интересным трудом в этом плане является вышедшая в начале XX века, ставшая библиографической редкостью книга А. Швырова и С. Трубачева. В предисловии к ней мы читаем: «Если мы захотим восстановить в памяти какое-нибудь событие, давно уже канувшее в вечность, нам стоит только взять современные карикатуры, и оно предстанет перед нами во всей своей силе и яркости.

Карикатуру можно сравнить с янтарем, который в своей золотистой массе тысячелетия хранит мельчайшие организмы во всей их целости и неприкосновенности… Как велико значение карикатуры в жизни народов, читатель лучше всего поймет, когда сам войдет в это чудесное и странное царство…»

До нас дошли, например, на античных вазах Греции и Этрурии забавные и дерзкие графические эпиграммы на богов и героев. Среди них можно увидеть и пародию на миф о суде Париса, и довольно непочтительные шаржи на Геракла, Энея и

самого Зевса.

Существовала карикатура и в Древнем Риме. В сюжетах для нее не было недостатка. Некоторые сохранившиеся до наших дней изображения саркастически заклеймили контраст между божественными атрибутами и почестями, которыми щедро оделяли себя такие императоры, как Калигула, Нерон или Каракалла, и отвратительными пороками этих властителей.

Характерный отпечаток своего времени и нравов носит карикатура средних веков с ее бесчисленными насмешками над духовными особами — всевозможными прелатами и монахами, обличением ханжества, корыстолюбия, обжорства и разврата. Большинство этих злых и колких листов сделаны неизвестными художниками, но следует вспомнить, что сатирические рисунки выходили и из-под карандаша таких выдающихся мастеров, как Леонардо да Винчи и Микеланджело. Наряду с анонимной карикатурой до нас дошли листы, подписанные великими именами — Тициана, Гольбейна Младшего, Дюрера, Брейгеля Старшего… Самые выдающиеся художники всех времен и народов не пренебрегали своеобразием, остротой и комическим эффектом карикатуры.

Период Реформации и религиозных войн оставил нам многочисленные наивно-аллегорические, густо приперченные грубоватым народным сарказмом карикатуры, направленные против римской церкви, и легко можно представить себе ярость пап и кардиналов, когда в пышные покои Ватикана доходили эти хлесткие изображения.

Так, во все времена и при всех режимах, при императорах и папах, при королях и президентах, при диктатурах и демократиях — карикатура сохраняла свои двоякие качества: одних она смешила и радовала, других — раздражала и бесила. Сохраняла она и обе упомянутые мною ипостаси — сатирическую и юмористическую. Но нельзя не сказать и о третьей ее ипостаси — гневно-трагической, примерами которой являются работы Гойи, Домье, Хогарта, а у нас — Моора, Пророкова.

Еще и еще хочется мне подчеркнуть необычайную сложность, многозначность и во многом противоречивость искусства карикатуры, сочетающего в себе и гневный сарказм, и добрую улыбку, и беспощадное разоблачение, и незлобивую пародию, и грозное осуждение, и многие-многие другие оттенки человеческих эмоций. Следует иметь в виду, что от художников-карикатуристов требовалось порою немалое мужество, когда они своими произведениями затрагивали «сильных мира сего», а также остроумная, не боюсь этого слова, неиссякаемая изворотливость в борьбе против цензуры. То была мужественная,

но как правило, неравная борьба. Угрозы, штрафы, всевозможные преследования щедро сыпались на головы дерзких, вольнодумствующих сатириков. Вспомнить хотя бы стойкость и изобретательность, которые проявили французские карикатуристы Шарль Филипон, Оноре Домье и их друзья, сражаясь против жестокой королевской цензуры. Об этом стоит рассказать подробнее.

В 1830 году, через два месяца после того, как Июльская революция завершилась провозглашением герцога Луи Филиппа Орлеанского королем Франции, революционно настроенный литератор и рисовальщик Шарль Филипон основал оппозиционный журнал «Карикатура», быстро завоевавший популярность своей независимой антиправительственной направленностью. Филипон был прекрасным организатором, инициативным и талантливым редактором, в голове которого непрерывно рождались остроумные идеи. Изобретая всевозможные сатирические приемы для осмеяния и разоблачения правящей клики и выискивая, в частности, возможность уязвить, несмотря на цензурные рогатки, самого Луи Филиппа, Филипон сделал открытие, что голова короля имеет сходство с… грушей. С этого момента груша стала условным, но общепонятным обозначением персоны короля и не сходила со страниц «Карикатуры». Груша сидела на троне, груша принимала парады, груша заменила статую Наполеона на Вандомской колонне, груша красовалась на ордене Почетного легиона и т. д. Каждый из художников журнала придумывал свой вариант груши, к восторгу читателей и бессильной злобе властей. Вся Франция потешалась над коронованной грушей, отдавая должное остроумию и находчивости карикатуристов. К тому же неугомонный Филипон надумал издавать наряду с еженедельной «Карикатурой» и ежедневную сатирическую газету «Шаривари», на страницы которой переселилась и груша. Рассказывали, что парижане уже не спрашивали друг друга: «Читал ли ты последний номер “Шаривари”?», а просто осведомлялись: «Видел ли ты последнюю грушу?» Многие номера филипоновской газеты расхватывались мгновенно.

Следует сказать, что, помимо изобретательности Филипона, огромную роль в успехе обоих сатирических изданий сыграл замечательный талант тогда еще начинающего Оноре Домье — выдающегося художника-карикатуриста, о котором позже сказал Бальзак: «В нем есть что-то от Микеланджело».

Именно Филипон первый увидел блестящее дарование Домье в довольно посредственной карикатуре «Гаргантюа», в которой аллегорически высмеивалось правление Луи Филиппа и за

которую молодой художник поплатился шестимесячным тюремным заключением. Филипон привлек Домье к сотрудничеству в двух своих журналах, на страницах которых и развернулось во всем блеске мощное и грозное сатирическое творчество Домье, завоевавшее ему мировую славу и первое место в истории карикатуры.

Между тем королевская цензура решила перейти в наступление: Филипон был привлечен к судебной ответственности за систематические оскорбительные нападки на монарха. Но карикатурист и тут остался верен себе. На заседании суда он заявил, что официально может доказать сходство короля с грушей и, как говорится, не сходя с места, изобразил в четырех рисунках последовательное превращение физиономии Луи Филиппа в грушу. Художественная выразительность этой карикатуры, естественно, только подлила масла в огонь: судьи оштрафовали «Шаривари» на 5000 франков и обязали напечатать в одном из ближайших номеров газеты мотивированное решение суда. Филипон гениально воспользовался этим для блестящей по остроумию и находчивости сатирической реплики. Он действительно перепечатал в «Шаривари» решение суда, но при этом сверстал печатный текст его в форме… груши, предпослав ему следующее краткое вступление от редакции:

«Мы печатаем здесь, согласно решению наших судей, приговор последней инстанции относительно «Шаривари». Приговор наших последних судей абсолютно тождествен с приговором судей второй инстанции, который, в свою очередь, был буквальным воспроизведением решения наших первых судей. Так оправдывается пословица, что великие умы сходятся. Однако поскольку это решение, как бы оно ни было остроумно, может быть мало приятно нашим читателям, мы решили по крайней мере подходящей формой компенсировать его крайнюю нелепость».

Эпопея филипоновской груши является блестящим примером применения в карикатуре так называемого эзопова языка — зашифрованного, но всем понятного иносказания. Этот прием, вызывая бессильную злобу противников, придает оппозиционной карикатуре особую остроту и привлекательность в глазах читателей, делает ее еще смешнее и язвительней.

Кстати, об «эзоповом языке» карикатуры. Если во Франции для обозначения коронованной особы в карикатуре применялась груша, то в России, несколько забегая вперед, для этой же цели пошла в ход… еловая шишка. Возникло это так: наследник царского престола Николай Александрович в сопровождении греческого королевича совершал туристическую поездку по

Японии. И в городе Отсу, посещая местный храм, они повели себя, видимо, настолько бесцеремонно, что полицейский, бывший при храме, призвал их к порядку ножнами своей сабли, от чего у российского наследника вскочила на голове порядочная шишка. Это имело довольно печальные последствия и прежде всего то, что всю Россию облетела озорная эпиграмма поэта Минаева (по другой версии — Гиляровского):

Происшествием в Отсу
Опечален царь с царицею:
Каково читать отцу,
Что сынок побит полицией.
Цесаревич Николай!
Если царствовать придется,
Никогда не забывай,
Что полиция дерется…

А вторым последствием явилось то, что в недалеком будущем еловая шишка стала обозначать на эзоповом языке карикатуры «священную особу самодержца». Это произошло так: конечно, по цензурным условиям о карикатурах на царя и речи не могло быть, даже в дни революции 1905 года, пока художник Сергей Чехонин, сотрудник сатирического журнала «Зритель», не вспомнил о пресловутой шишке и не использовал ее в качестве аллегории. Шишка быстро замелькала в карикатурах и выполняла свои функции не менее удачно, чем груша Филипона. Подобно груше во Франции, шишка в России сидела на троне, принимала парады и т. д. Когда, скажем, тот же «Зритель» печатал на всю страницу рисунок с окруженной почтительной жандармской охраной еловой шишкой, то не было надобности в каком-либо пояснительном тексте.

Однако история карикатуры в России начинается отнюдь не с «шишки», а гораздо раньше — с народных лубков XVII и XVIII веков, носивших не только бытовой и религиозный, но и сатирический характер. Эти лубочные листы, может быть, наивно, но искренно и выразительно высмеивали жадность и грубость дворянства, лихоимство чиновничества, крючкотворство и продажность судебных властей. Среди этих широко распространенных произведений народного юмора были знаменитые картинки-карикатуры «Как мыши кота хоронили», «Шемякин суд» и многие другие. Естественно, что эти лубки, при всем их бесспорном значении, были только ростками настоящей профессиональной карикатуры, которой еще предстояло появиться в России.

Первые шаги на пути развития такой карикатуры связаны с именем выдающегося русского живописца Алексея Гавриловича Венецианова (1780–1847). Не берусь объяснить, почему этого удивительного мастера мягкого и лиричного русского пейзажа, создателя проникновенных образов простых людей крепостной деревни заинтересовала карикатура, но факт остается фактом — именно А. Г. Венецианов создал первое в нашей стране сатирическое издание, назвав его «Журнал карикатур на 1808 год в лицах». Цензурные архивы сохранили нам письмо министра внутренних дел князя Куракина министру народного просвещения графу Завадовскому. Столь знатные титулованные особы вели переписку о… карикатуре. Князь извещал графа о том, что «государь император Александр I повелел дальнейшее издание «Журнала карикатур» запретить». Сам «Журнал карикатур» не сохранился, но «высочайшая резолюция» до нас дошла. Она предписывала князю Куракину не только прекратить издание, но и «притом заметить: 1) самому издателю, что он дарование свое мог бы обратить на гораздо лучший предмет и временем мог воспользоваться с большею выгодой к приучению себя к службе, в коей находится; 2) цензуре, чтобы она в позволениях на такие издания была разборчивее».

Так «отцвело, не успевши расцвесть», первое в России сатирическое издание. Второго номера «Журнала карикатур на 1808 год» читатель так и не увидел.

Правда, прошло немногим более трех лет, и патриотический подъем, вызванный всенародной войной против наполеоновского нашествия, возродил карикатуру в форме сатирических лубков того же А. Г. Венецианова, И. И. Теребенева, И. А. Иванова и других русских художников, зло высмеивавших поражения иноземных захватчиков, дерзнувших захватить русские земли.

Но окончилась Отечественная война, и снова надолго захирела общественная сатира, исчезла карикатура. Во времена Аракчеева и в леденящей атмосфере царствования Николая I было не до смеха. Если в эти годы и появлялись какие-то юмористические рисунки, так только более чем невинные, безобидные шаржи на известных литераторов — Н. А. Полевого, Ф. В. Булгарина, И. И. Панаева и других.

Некоторое оживление сатиры наблюдается в период Крымской войны 1853–1856 годов в виде патриотических карикатур, направленных против Наполеона III и ярого врага России британского премьер-министра лорда Пальмерстона. Некоторые, наиболее удачные из этих рисунков принадлежали Николаю Александровичу Степанову, юмористический талант которого ярко проявился во второй половине XIX века.

Именно художник Н. А. Степанов вместе с литератором В. С. Курочкиным основали в 1859 году журнал «Искра», ставший наиболее заметным и ярким явлением сатирической публицистики той эпохи. На страницах «Искры» из номера в номер публиковались карикатуры Степанова и других художников, довольно смело обличавших взяточничество и казнокрадство чиновников, отдельные проявления полицейского произвола. В этом отношении «Искра» выгодно отличалась от остальных журналов той же эпохи — «Арлекина», «Весельчака», «Будильника», «Шута» и других, карикатуры которых редко поднимались над уровнем мелкотравчатого обывательского зубоскальства.

Шли годы, о которых горько сказано в строках поэта:

Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла.

То было время свирепой цензуры, до предела обескровившей русскую общественную сатиру и, в частности, карикатуру.

И — сразу, после многолетнего штиля и затишья — небывалой силы шторм! Близилась первая русская революция 1905 года. Грозные события: волнения, забастовки, демонстрации — сотрясали страну. Вместе с революцией пошли в наступление на самодержавие и карикатуристы. Достаточно сказать, что в России за год вышло в свет в десятки раз больше сатирических журналов, чем за все предыдущие столетия. Точное количество сатирических изданий периода первой русской революции установить невозможно, но оно примерно составляет около четырехсот названий. И всюду — карикатуры, карикатуры, карикатуры, среди которых блестящие сатирические работы таких выдающихся художников, как В. Серов, Б. Кустодиев, И. Билибин, М. Добужинский, И. Бродский, Д. Митрохин и другие.

Журналы быстро появлялись и, преследуемые цензурой и полицией, так же быстро исчезали: выходило иногда не более одного-двух номеров. Штрафы, репрессии, аресты непрерывно обрушивались царскими властями на головы редакторов и художников, не выпускавших, однако, из рук сатирического оружия, проявлявших в борьбе против цензурных притеснений чудеса находчивости и остроумия. Отдельные эпизоды этой борьбы прочно вошли в историю русской публицистики. Здесь прежде всего следует вспомнить имя Юрия Константиновича Арцебушева, художника и редактора одного из самых боевых изданий того периода — журнала «Зритель».

Как не подивиться мужеству и стойкости Арцебушева,

выпустившего в свет двадцать семь номеров «Зрителя» в условиях, когда против строптивого редактора и представляемых им карикатур была приведена в действие чуть ли не вся тяжеловесная государственная машина.

Но в конце концов общими усилиями высших государственных учреждений царской России карикатуры «Зрителя» были обезврежены. Самому Арцебушеву каким-то чудом удалось избежать тюремного заключения, к которому он был присужден Особым присутствием Петербургской судебной палаты, но журнал был закрыт. Цензура торжествовала победу…

Первая русская революция потерпела поражение. Из сотен сатирических журналов, ярким фейерверком рассыпавшихся в 1905–1906 годах, остались единицы, вернувшиеся к безобидной, с точки зрения цензуры, бытовой тематике, почти лишенной общественной значимости. Карикатура оппозиционная, обличающая фактически прекратила свое существование… до лучших времен.

А эти времена неумолимо приближались. Подлинным событием в истории русской карикатуры, и тем самым в истории русской культуры вообще, является, на мой взгляд, возникновение незабываемого «Сатирикона». Подобно тому, как великолепная бабочка рождается из скромной, неуклюжей гусеницы, так блистательный «Сатирикон» (впоследствии — «Новый Сатирикон») родился из весьма заурядного юмористического журнальчика «Стрекоза», когда пришел туда редактором талантливейший писатель-юморист Аркадий Аверченко и с ним такие карикатуристы, как Николай Ремизов (Ре-ми), Алексей Радаков, Александр Яковлев, Николай Радлов и другие — плеяда замечательных мастеров сатирического рисунка, поднявших русскую карикатуру на уровень лучших, старейших сатирических еженедельников Европы. Находчиво преодолевая цензурные рогатки, «Сатирикон» смело и остроумно вторгся в общественную и политическую жизнь страны, карикатурами, фельетонами, сатирическими стихами громил всяческую пошлость, подхалимство, самодурство, черносотенство. Своей прогрессивной направленностью журнал завоевал широкую популярность и авторитет у творческой интеллигенции страны. Печататься в «Сатириконе» честью для себя считали такие поэты, как Владимир Маяковский и Саша Черный. «Сатирикон» выходил вплоть до 1918 года, когда был закрыт за оппозицию к большевистскому перевороту. Аверченко, Ре-ми и Тэффи эмигрировали за границу, Радаков, Радлов, Антоновский и еще некоторые авторы стали сотрудниками «Крокодила», других советских сатирических изданий. Кстати сказать, в годы

советской власти иметь свой журнал политической сатиры было положено каждой союзной республике. Борьба оружием сатиры против «отдельных недостатков» и их «конкретных носителей» была признаком хорошего советского тона, показателем высокого уровня критики и самокритики. И в этом, по справедливости, было немало полезного — бюрократы, волокитчики, бракоделы, чиновные хамы, ханжи получали от карикатуристов и фельетонистов по заслугам. Но имелась четкая «номенклатурная грань», переступать которую сатирикам не рекомендовалось — это было сопряжено с крупными неприятностями.

Сотни и тысячи карикатур выходят из-под карандашей художников-сатириков, появляются на страницах журналов, приносят одним удовольствие, а другим — совсем наоборот, являются неотъемлемым элементом культуры и политической жизни.

…Если бы какой-нибудь искусствовед, вернее — карикатуровед, пожелал написать диссертацию об отношении к карикатуре «сильных мира сего» — царей, королей, диктаторов, то я бы мог помочь ему несколькими историческими фактами. Об отношении к карикатуре Наполеона I и короля Луи Филиппа я уже писал — они явно не проявили чувства юмора. Больше юмора проявил царь Николай II. Он очень спокойно и снисходительно отнесся к тому, что одно время карикатуристы изображали его в виде еловой шишки.

Ленин относился к карикатуре весьма одобрительно, по своему характеру усматривая в ней прежде всего политическую сущность. Он искренно хохотал, рассматривая еще в эмиграции, рисунки Петра Лепешинского на темы внутрипартийной борьбы. Такой, например, как известный «Как мыши кота хоронили», где сам Ленин изображен в виде кота, а Мартов, Троцкий, Плеханов и другие меньшевики в виде сначала ликующих, а потом в панике разбегающихся мышей.

К карикатурам на самого себя Ленин относился абсолютно безразлично и даже благодушно. А их было достаточно много перед Октябрьским переворотом, особенно изощрялся журнал «Бич», где работал карикатурист Виктор Дени, впоследствии постоянный художник «Правды», один из корифеев советской сатиры. И был такой любопытный эпизод. Уже в начале 20-х годов злую карикатуру на Ленина из «Бича» перепечатал выходивший в Москве сатирический журнал «Красный перец» с такой «загадкой» для читателя: «Кто нарисовал? Когда нарисовал? Кого нарисовал?» Перепуганный Дени всполошился и прибежал искать защиты у Марии Ильиничны, сестры Ленина. Как она потом рассказывала в редакции, когда она показала номер «Красного

перца» Владимиру Ильичу и начала говорить о том, как хорошо работает Дени в «Правде», Ленин только махнул рукой и сказал:

— Боже, какими пустяками занимаются люди! Передай, пожалуйста, от моего имени в «Красный перец», чтобы оставили этого Дени в покое.

Что касается Сталина, то, хотя карикатуры он любил и внимательно их рассматривал, но по отношению к себе никаких шуточек не допускал. Я уже рассказывал, как в 1925 году нарисовал на него дружеский шарж, который вернулся ко мне с краткой резолюцией: «Не печатать!»

В начале 30-х годов, когда Гитлер еще только пробивался к власти, он собрал и издал целый альбом карикатур на самого себя, демонстрируя этим, с одной стороны, что он выше того, чтобы на них обижаться, а с другой стороны — что на Западе обилие карикатур на какого-нибудь политического деятеля есть показатель его популярности. Однако когда он стал могущественным диктатором, карикатуры на себя, особенно советские, ему перестали нравиться. Поэтому с началом войны против СССР мои коллеги Кукрыниксы и я были внесены, как я уже упоминал, в известный «черный» список гестапо — «Найти и повесить!»

Карикатур на Хрущева было мало. Две из них нарисованы мною и, судя по тому, что обе напечатаны на первой странице «Правды», они пришлись Никите Сергеевичу по вкусу. Это и неудивительно, поскольку они были по сути не карикатуры, а, должен признаться, весьма слащавые и лестные, чтобы не сказать льстивые, дружеские шаржи. Один изображал Хрущева в виде известной статуи Вучетича «Перекуем мечи на орала», а другой — под названием «По-шахтерски» — в виде молодцеватого горняка, разрушающего своим отбойным молотком фигуру «Холодной войны». Не удивительно, что столь приятные сверхдружеские шаржи очень нравились Никите Сергеевичу. Но вряд ли его обрадовали бы такие грубые и оскорбительные карикатуры, какие во множестве печатались в свое время на отстраненных от власти, не без участия Хрущева, главарей оппозиции — Троцкого, Бухарина, Каменева и других.

Карикатур на Брежнева я не помню, но отношение его к этому искусству было вполне благожелательным, о чем говорит такое далеко не обыденное событие, как посещение им выставки «Сатира в борьбе за мир» в окружении членов Политбюро. Эта выставка была развернута в залах Академии художеств.

Прежде чем стать кумиром и объектом достаточно подхалимажного «культа личности», Леонид Ильич Брежнев состоял значительное время малозаметной и второстепенной

фигурой в тени громогласного, непреодолимо-волевого, вездесущего и всеведущего, безудержно сокрушающего все, что ему приходилось не по вкусу, Никиты Хрущева. На его фоне Брежнев привлекал симпатии своей относительной молодостью, скромностью и приветливостью. Забавно отличали его и необыкновенной величины брови.

Мне лично он очень понравился, когда в качестве председателя Верховного Совета СССР, вручая мне орден Трудового Красного Знамени и любезно улыбаясь, приветливо сказал:

— Ну, вы их, империалистов зловредных, покрепче, покрепче!

Извещенное о предстоящем визите генсека, руководство Академии разработало сценарий приема и было решено, что сопровождать Брежнева по залам и давать необходимые пояснения должен я, как председатель Оргкомитета выставки и к тому же старейший по возрасту. Ситуация несколько усложнялась тем, что в эти дни я должен был отправиться в Будапешт в связи с каким-то ответственным советско-венгерским культурным мероприятием. Отменить поездку в Венгрию представлялось нежелательным, и мы рассчитали, что, если я уеду из Будапешта на день раньше, то успею к посещению высоких гостей. Однако, как известно, человек только предполагает, а располагают наравне с Богом, железнодорожные и воздушные расписания. Короче говоря, совершенно взмыленный, я примчался в Академию буквально за двадцать минут до приезда генсека.

Знатных гостей встречал весь президиум Академии во главе с президентом Н. В. Томским. Брежнев сразу попал в мощные объятия художника Дмитрия Налбандяна, незадолго до того удостоенного звания Героя Социалистического Труда. Отдышавшись от его жарких поцелуев, Леонид Ильич спросил:

— А вы кто?

— Я — Налбандян.

— А, — сказал Брежнев, — так вот он какой, Налбандян.

И хотел пройти дальше, но Налбандян преградил ему путь:

— Леонид Ильич! Мы хотим просить вас, чтобы Академии передали здание Провиантских складов, которые возле Крымского моста. Они нам очень пригодятся для архивов и художественных мастерских.

— Но там, любезный Налбандян, находятся многолетние архивы военного ведомства. Вот можете спросить у министра обороны Устинова, согласен ли он отдать вам эти склады?

— Леонид Ильич! — приставал Налбандян. — Мы, художники, считаем…

Я почувствовал, что нахрапистость Налбандяна начинает

раздражать Генерального секретаря, а поскольку на меня была возложена миссия сопровождать Брежнева по выставке и давать необходимые пояснения, то я вмешался:

— Дмитрий Аркадьевич! Может быть, об этом потом? Ведь Леонид Ильич приехал смотреть работы сатириков.

Налбандян отступил, и все вошли в президентский кабинет.

— А я ведь тут в первый раз, — сказал Брежнев, — никогда до сих пор не бывал в вашей Академии. Но вот захотелось посмотреть международную сатиру. Как вы этих империалистов по кумполу бьете, по кумполу. А между прочим, я в юности такими рисуночками баловался. Вам бы показать — такой бы тут хохот стоял!

Должен сказать, что Брежнев выглядел абсолютно здоровым, крепким, жизнерадостным человеком, и не было у него ни малейших признаков той скованности речи, которую впоследствии так смешно, но не очень гуманно пародировали эстрадники.

Сопровождая Брежнева, все мы многочисленной свитой двинулись по залам экспозиции. Она была достаточно внушительной: около 600 произведений карикатуристов из 25 стран. Возле некоторых работ Брежнев останавливался ненадолго, одобрительно кивал головой и шел дальше. Задержался он несколько дольше возле большого рисунка японского карикатуриста, изобразившего американских империалистов в виде свирепых, клыкастых кабанов. В нем, видимо, заговорил охотник.

— А что, неплохо подстрелить такого кабанчика, — сказал он, обращаясь к стоявшему рядом Черненко.

— Уж вы, Леонид Ильич, не промахнулись бы! — расплылся тот в улыбке.

Осмотр продолжался, но Брежнев стал посматривать на часы — у него, видимо, были и другие дела. Заметив это и как бы подводя итог, я сказал:

— Леонид Ильич, карикатуристы, вроде, выполняют ваш наказ — бить поджигателей войны по кумполу в борьбе за мир, знаменосцем которой вы являетесь. Но не станем ли мы скоро безработными?

Он несколько секунд смотрел на меня с удивлением, как бы не понимая вопроса, потом спохватился:

— Карикатуристы — безработными? Э, нет! До этого еще ой как далеко, продолжайте работать!

Посещение Брежневым и членами Политбюро нашей выставки было подано в печати как значительное политическое событие. Достаточно привести выдержку из официального

сообщения ТАСС с его характерной для той поры партийно-казенной фразеологией:

«…Руководителей Коммунистической партии сердечно приветствовал президент Академии художеств СССР Н. В. Томский. При осмотре экспозиции были видные мастера советского изобразительного искусства М. В. Куприянов, П. Н. Крылов, Н. А. Соколов, Б. Е. Ефимов, Д. А. Налбандян, Ф. П. Решетников.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, другие советские руководители дали высокую оценку экспозиции и пожелали художникам, посвятившим свой благородный труд делу защиты мира, новых творческих успехов в широкой пропаганде темы международной разрядки и сотрудничества».

«Высокая оценка» и «пожелания успехов» звучит весьма красиво и проникновенно, хотя я могу засвидетельствовать, что они были сформулированы Генеральным секретарем как — «бить по кумполу».

Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать о самой карикатуре. Но карикатура неотделима от ее создателей — художников-карикатуристов. И я хочу дать несколько портретов, с моей точки зрения, интересных представителей этой профессии, у которых я учился или с которыми мне посчастливилось вместе работать в печати.

Звездой первой величины был в журнале «Сатирикон», бесспорно, Николай Владимирович Ремизов, подписывавший свои рисунки Н. Ре-ми. Имя это вряд ли знакомо нашему читателю. А между тем речь идет о выдающемся художнике-сатирике, творчество которого является, без всякого преувеличения, одной из самых блестящих страниц отечественной и мировой карикатуры. Во всяком случае, я лично не знаю ни одного художника-сатирика, ни у нас, ни за рубежом, ни раньше, ни позже, мастерство которого можно было бы поставить выше мастерства Ре-ми.

В искусстве Ре-ми поражает зоркость видения, необычная широта кругозора, разнообразие сюжетов, многогранность художественных приемов. Одни его рисунки, проникнутые едкой, уничтожающей иронией, направлены против упоенной собой пошлости, самодовольного воинствующего мещанства, тупой и дремучей обывательщины. Другие — глубоко раскрывают темные и жестокие черты быта, показывают беспросветное существование обездоленных общественных «низов», беспощадно разоблачают наглый произвол полицейского государства, бичуют бездарность и продажность царской бюрократии. Во многих таких карикатурах больше горечи и боли, чем смеха, но это только

усиливает их сатирическое звучание и действенность.

Давным-давно сметены и исчезли с исторической сцены те явления и персонажи, что высмеивал Ре-ми. Но в его рисунках навсегда остались живыми и запечатлены для истории политические деятели той поры — черносотенцы и «октябристы», «кадеты» и министры-временщики. Сохранились в великолепных портретных шаржах Столыпин, Родзянко, Гучков, Милюков, Марков 2-й, Распутин…

В 1918 году в числе других органов печати «Новый Сатирикон» был закрыт. Большинство сатириконцев стали работать в советской печати. Что касается Ре-ми, то он, к сожалению, последовал примеру своего друга редактора Аркадия Аверченко и эмигрировал за границу. Какая потеря для отечественного искусства! Позволим себе представить, какие яркие, талантливые рисунки и плакаты мог бы создать Ре-ми. Но этого, увы, не произошло.

Следует добавить, что на чужбине деятельность Ре-ми как карикатуриста полностью прекратилась. Он всецело посвятил себя декоративно-оформительской работе в театре и кино. До конца жизни он болезненно переживал потерю родины, но, увы, не нашел в себе мужества, подобно, например, А. И. Куприну или сатириконцу-фельетонисту А. Бухову, возвратиться из эмиграции. А, может быть, ему повезло, что он не вернулся на родину. Ведь вернувшийся его коллега по «Сатирикону» Аркадий Бухов был в 1937 году репрессирован и погиб.

Другой художник-сатириконец — Николай Эрнестович Радлов. Он остался в России, «признал» советскую власть и стал весьма активным деятелем отечественной культуры. Когда думаешь и вспоминаешь о нем, то прежде всего изумляешься разносторонней талантливости этого человека. Веселый, озорной карикатурист и серьезный, вдумчивый искусствовед. Отличный тонкий живописец (пейзажист и портретист) и неподражаемый мастер смешных картинок для малышей. Превосходный педагог-воспитатель и рисовальщик уморительных «технических изобретений», высмеивающих лентяев и халтурщиков… Автор ценных и глубоких критических исследований, острый и эрудированный рецензент, блестящий оратор, остроумный и находчивый полемист, интереснейший лектор, активный и инициативный общественный деятель… Всего и не перечислишь.

И в любом проявлении этой многогранной и неутомимой деятельности Радлова сказывались характерные черты его особой, «радловской» индивидуальности: самостоятельный и оригинальный склад ума, своеобразный юмор, элегантность в поведении, разговоре, какое-то особое личное обаяние, которому

не мог не поддаться каждый, кому приходилось общаться с Николаем Эрнестовичем, кому доводилось слушать его спокойные неторопливые высказывания, расцвеченные меткими, подчас парадоксальными, но всегда остроумными и интересными подробностями.

Рисункам Радлова, конечно, не хватало мощи, сочности, разнообразия художественной манеры Ре-ми. Его искусство было скромнее и, если можно так сказать, деликатнее, но пронизано неподражаемым комизмом. Впрочем, Радлову были под силу и острые, бичующие сатирические плакаты, что он показал своей работой в «Окнах ТАСС», за которую в первый год войны стал лауреатом Сталинской премии.

Под стать внутренней значимости Радлова был и его внешний облик — высокая, всегда подтянутая фигура, подчеркнуто корректная манера держать себя, лишенная малейших признаков важной маститости и вместе с тем не допускающая никакой фамильярности.

Узнав, что Николай Эрнестович пострадал при взрыве фашистской бомбы, упавшей возле дома, где он жил и работал, я пришел его проведать. Он был очень доволен моим приходом, угостил чаем, мы заговорили о последних военных событиях, о роли сатиры в эту суровую военную пору. Потом вспомнили Николая Ре-ми. Невесело пошутили, что он, так резко критикующий в своих письмах Америку, вряд ли сожалеет, что в настоящий момент находится в недоступном для фашистских бомб Чикаго.

Контузия Радлова оказалась, увы, далеко не легкой и через несколько месяцев привела его к роковому исходу.

…Дмитрий Моор. Книгу своих воспоминаний Дмитрий Стахиевич Моор назвал демонстративно и даже вызывающе: «Я — большевик». И это характерно для его запальчивого, воинственного, бескомпромиссного нрава. Сколько раз на редакционных совещаниях в «Крокодиле» я видел, как он настойчиво и гневно отстаивал свою точку зрения, иногда по самому незначительному поводу. И не удивительно — ведь он происходил из боевого донского казачьего рода. Откуда же у него, урожденного казака, фамилия героев шиллеровской трагедии «Разбойники»? Этот псевдоним возник очень просто: когда он стал художником и в печати начали появляться его рисунки, то он надумал подписывать их аббревиатурой своего имени и фамилии. Получалось — «Дм(итрий) Ор(лов)». После прибавления для благозвучности еще одного «о» и получился вошедший в историю карикатуры Д. Моор. Такое созвучие с именем шиллеровского героя — конечно случайность, но я берусь

утверждать, что некая шиллеровская приподнятость, патетичность, даже драматичность характера была Дмитрию Орлову свойственна.

Увидел я впервые Дмитрия Стахиевича в Москве в 1922 году. Помню, как меня несколько удивило неожиданное несоответствие между его творческим и бытовым обликом. По его произведениям я представлял себе Моора человеком сурово-величественным с грозно нахмуренным челом, а он оказался удивительно простым и общительным. Мне довелось работать рядом с ним в только что возникшем журнале «Крокодил» и видеть, как благожелателен и по-дружески расположен был этот большой прославленный мастер к молодым начинающим художникам.

Я смотрел на Дмитрия Стахиевича с особым интересом и с особым чувством. Когда в годы Гражданской войны я работал в Киеве одним из секретарей Политического управления Народного комиссариата по военным делам Украины, в мои обязанности входило получение и расклеивание по городу агитационных плакатов из Москвы. И особое впечатление производили на меня яркие листы со странной подписью латинскими буквами — «Moor». (Кстати сказать, только он один безбоязненно ставил на плакатах свою подпись. В то тревожное время другие художники предпочитали этого не делать.) Помню среди плакатов с подписью Д. Моор и знаменитый «Ты записался добровольцем?», на котором, между прочим, монументальному образу воина Красной армии художник придал сходство с самим собой. И вот я воочию вижу перед собой этого Д. Моора на очередном заседании редколлегии «Крокодила». И вдруг замечаю, что он тоже поглядывает в мою сторону и, не прекращая разговор, что-то чертит на листке бумаги. Когда заседание закончилось, он подозвал меня к себе:

— Вот вам, молодой человек, на память. У вас неплохие рисунки. Продолжайте в том же духе.

И он протянул мне листок бумаги, на котором изобразил меня в дружеском шарже.

И так случилось, что некоторое время спустя я ответил Моору тем же: его и себя самого я изобразил в карикатуре, напечатанной в «Известиях». Этот рисунок сопровождался информацией о том, что в китайском городе Харбине полиция конфисковала номера «Правды» и «Известий» с нашими карикатурами. Дмитрий Стахиевич и я были изображены с надетой на нас колодкой. Рядом стоит полицейский с дубинкой в руках.

По поводу этой карикатуры Моор мне при встрече сказал:

— Ну, по линии шаржей мы с вами расквитались. Но за что вы меня в колодку посадили?

— Так мы же вместе там, Дмитрий Стахиевич, — смеясь, оправдывался я.

…Глубоко уважительно и тепло я относился к Моору как к человеку, хотя не разделял его творческой манеры. Должен сказать, что и его отношение ко мне всегда было дружелюбным, благосклонным, пожалуй, чуть-чуть отеческим. Хочу привести без всяких комментариев «Протокол», весьма характерный для неподражаемого стиля Дмитрия Стахиевича:

«ПРОТОКОЛ

небольшого по количеству присутствовавших заседания 8 марта. Присутствовали Д. Моор, Дени, К. Урбетис, А. Сенькин и другие. Предметом обсуждения был альбом Бориса Ефимова «Фашизм — враг народов».

Смотрели: …Фельетоны в рисунках, проникнутые большим волнением политического борца. После споров и обмена мнений, после всяких высказываний «за» и «против»…

Постановили: Признать альбом «Фашизм — враг народов» боевым художественным оружием в борьбе с фашизмом… Рисунки Ефимова бьют в цель, верно передают чувства советских граждан.

Были и возражения. Сводились они к следующему: несколько однообразен штрих. Подчас несколько схематично разрешаются Ефимовым темы, иногда художественно не дорабатывает свои рисунки.

Когда время подошло к резолюции, вынесли ее единогласно:

Приветствовать нашего Бориса Ефимова как графика и рисовальщика, как заслуженного газетчика, как борца, который в совершенстве владеет своим оружием.

Секретарь Д. Моор

(«Советское искусство», 2 марта 1937)

Кто, кроме Моора, додумался бы обычную, по существу, рецензию на вышедший из печати альбом карикатур облечь в такую экстравагантную и, к слову сказать, весьма доходчивую и убедительную форму?

И таким он был во всем — непредсказуемым, склонным к причудам и неожиданным замыслам, начиная от того, что завел дома ручного ворона, которого научил разговаривать, как попугая, и вплоть до того, что неожиданно забросил политическую тематику и целиком посвятил свое творчество антирелигиозной пропаганде. Он затеял и успешно осуществил издание сатирического журнала «Безбожник у станка», на страницах которого из номера в номер фигурировали его карикатуры на небожителей главных религиозных конфессий. Это, прежде всего, православный Бог-Отец — тучный старик с

окладистой седой бородой и нимбом вокруг лысой головы. Неизменно рядом с ним его возлюбленный Сын Христос, трактованный как утонченный интеллигент в пенсне. Тут же — носатый и чернобородый Аллах в чалме и иудейский Иегова, почему-то одноглазый (единственный глаз у него, как у мифического древнегреческого Полифема, посреди лба). Божественная четверка неизменно фигурировала почти в каждом номере «Безбожника», а также на рекламных плакатах и календарях, издаваемых журналом. Это было довольно забавно и смешно, но нельзя забывать, что в то же время разрушались и сносились великолепные старинные церкви, мечети, синагоги, а священнослужители отправлялись в «места не столь отдаленные» или расстреливались. Оскорблялись чувства миллионов верующих людей, уничтожалось духовное и культурное наследие народа. Думаю, однако, что Дмитрия Моора это мало тревожило и смущало — разве он не сказал сам о себе: «Я — большевик»…

В быту Моор отличался поистине спартанским безразличием к жизненным благам и неудобствам. Летом он носил простой полотняный китель — «толстовку», зимой ходил в суконной куртке-френче и неизменном крестьянском кожухе, раскрытом на могучей груди, в высокой казачьей папахе. В зубах его обычно дымилась душистая «козья ножка» огромных размеров.

К сожалению, здоровье этого крепко сшитого коренастого человека слишком рано стало сдавать. Начало пошаливать сердце, появилась одышка. Его своеобразный, почти беззвучный, но всегда заразительный смех все чаще переходил в тяжелый мучительный кашель. Однако творческий дух Моора не терял своей окрыленности. Художник продолжал работать жадно, увлеченно, молодо. Он не ограничивался сатирической тематикой, а ставил себе новые, на первый взгляд неожиданные, художественные задачи.

В один из осенних дней сорок пятого года у меня зазвонил телефон.

— Это вы, Борис? Говорит Моор. Приходите ко мне, хочу вам кое-что показать.

Это «кое-что» оказалось серией иллюстраций к «Слову о полку Игореве».

Я был поражен силой и выразительностью замечательных рисунков. Совершенно неожиданным было и их цветовое решение — белые с золотом. Я разглядывал их, как зачарованный.

— Потрясающе, Дмитрий Стахиевич… — только и мог я выговорить.

— Ну, не спешите потрясаться. Подождите. Скоро покажу вам «Руслана и Людмилу».

Недолго посидев, я стал прощаться.

— Всего доброго, Дмитрий Стахиевич. Через неделю улетаю на Нюрнбергский процесс.

— Улетаете в Нюрнберг? Я вам завидую, хотел бы я поглядеть, как выглядят эти мерзавцы на скамье подсудимых.

Но последнюю свою работу — иллюстрации к поэме «Руслан и Людмила» Моору не суждено было закончить. Мужественно сопротивляясь жестокой болезни, работая до самого последнего дня, он ушел из жизни всего шестидесяти трех лет от роду в 1946 году, успев увидеть великую победу советского народа над фашизмом, в которую он внес свою долю оружием сатирика.

…Ни в своей преданности революционному искусству, ни в своей верности большевистским принципам неотделимы друг от друга Дмитрий Моор и Михаил Черемных. Характерна такая подробность: известно, что до революции «главные часы» в государстве — куранты на Спасской башне Кремля вызванивали мелодию гимна «Боже, царя храни». Естественно, что это никак не могло устроить пришедших к власти большевиков. И Ленин, глава «рабоче-крестьянского» правительства дает указание перестроить часы на мелодию «Интернационала». Музыкально-идеологическую процедуру осуществляет старый чудаковатый часовщик. Так изображен этот эпизод в пьесе Николая Погодина «Кремлевские куранты», прошедшей, пожалуй, по всем театрам страны.

В действительности было совсем не так. Кремлевские куранты научил играть «Интернационал» отнюдь не старый часовщик, а молодой художник-карикатурист по фамилии Черемных. Он отлично справился со своей задачей, хотя все его познания в музыкальной инструментовке сводились к тому, что он неплохо играл на гитаре. Но такова была характерная черта этого талантливого самородка, что он решительно и смело брался за любое дело, которое вызывало у него интерес. Таким он был и в быту, и в искусстве. Во всем его выручала удивительная природная смекалка, находчивость и, как говорится, «золотые руки».

Все в нем, начиная от характерной «сибиряцкой» фамилии (он родился в Томске в многодетной семье отставного военного), до неторопливой солидной поступи, было кряжистое, крепкое, если можно так сказать, медвежатистое, под стать и звали его — Михал Михалыч.

Как-то, будучи в гостях у Черемныха и его милой супруги Нины Александровны, я обратился к нему:

— Михал Михалыч! На днях я смотрел во МХАТе «Кремлевские куранты». Там по просьбе Ленина часы на Спасской

башне настраивает на музыку «Интернационала» какой-то старый часовщик. Но говорят, что это сделали вы. А как на самом деле?

Черемных рассмеялся.

— Откуда взялся часовщик, я не знаю, это надо спросить у Погодина. А дело было так. В восемнадцатом году я жил на квартире у своего хорошего знакомого Виноградова, работавшего в аппарате Совнаркома. Будучи на докладе у Ленина, он услышал пожелание Владимира Ильича настроить часы Спасской башни на мелодию «Интернационала». За эту настройку какая-то иностранная фирма заломила огромную сумму. Виноградов, не раз слушавший, как я играю на гитаре и, видимо, уверовавший в мои музыкальные способности, спросил: «Миша, вы не смогли бы настроить часы?» — «Смогу», — ответил я решительно. Это оказалось непросто, но я справился. Вот и все.

— Да будет вам о часах, — вмешалась Нина Александровна. — Давайте перекусим. Пельмени уже сварились.

— А вы умеете кушать пельмени? — спросил меня Черемных.

— Случалось, — с некоторым удивлением ответил я. — Нужно, как будто, поддеть пельмень на вилку и положить в рот.

— Э, нет! — серьезно сказал Михал Михалыч. — У нас в Сибири их едят так: подаются на стол пельмени в прозрачном бульоне. Такие жирные, что даже пар от них не идет. У вас уже приготовлены водочка и стакан холодного сырого молока. Налита верхом тарелка с пельменями. Пельменей больше, чем бульона. Поперчены, посолены. Выпиваете водку, сейчас же берете в левую руку стакан с молоком, правой захватываете ложкой пельмени. Отправляете их в рот, и сразу же глаза лезут на лоб. Во рту — ад! Вы быстро делаете большой глоток молока, и во рту… рай! Затем всю процедуру повторяете. Не забудьте! Раз — водка, раз — пельмени, раз — молоко! И все это быстро, особенно в начале, когда пельмени еще очень горячи.

Об этой забавной «инструкции» рассказывает в своей книге воспоминаний и Нина Александровна.

Между прочим, я не сомневаюсь, что эта «система» поедания пельменей целиком придумана самим Михал Михалычем, который свою самобытность, стремление, чтобы было непохоже, всегда вносил в любое дело и в любую область. Например, начав работать в РОСТА в качестве художника-плакатиста, он сразу придумал показывать свои плакаты в пустующих витринах магазинов, тем более в них за отсутствием товаров в ту пору нечего было выставлять. И с этого начались знаменитые «Окна РОСТА».

Живая, остроумная затея имела явный успех, хотя вряд ли кто-нибудь мог предвидеть, что эта интересная выдумка

художника-сатирика вырастет в принципиально новую, плодотворную форму боевой революционной агитации, станет большим явлением советской художественной культуры. Однако именно так и произошло.

Самобытность и непохожесть характерна и для изобразительной манеры Черемныха-плакатиста, резко отличающейся и от манеры таких классиков плаката, как Дмитрий Моор и Виктор Дени (Денисов), и от других художников-плакатистов.

Яркая и доходчивая, идущая в темпе событий форма плакатной агитации, созданная по мысли Черемныха, получила свое второе рождение через два десятилетия и была принята на вооружение в другую великую и суровую годину — в дни гитлеровского нападения на нашу Родину. «Окна РОСТА» теперь назывались «Окнами ТАСС». И вновь на боевом посту художника-агитатора — Михаил Черемных. Первый плакат, появившийся в витрине на Кузнецком мосту, принадлежал его кисти. Один из первых сатирических листов — «Окно ТАСС» № 5 под названием «Чего Гитлер хочет и что он получит» по теме и композиции перекликался с «Окном РОСТА», нарисованным рукой того же художника в 1919 году и называвшимся тогда — «Чего Деникин хочет и что он получит». Так в творческой биографии Черемныха символически сомкнулись две незабываемые эпохи. Агитационное искусство художника прозвучало со свежей, грозной патриотической силой.

Нельзя не сказать, что диапазон его художественных приемов был весьма широк и разнообразен. Художник мог быть в своих изобразительных решениях строгим, скупым, лаконичным, но мог быть щедрым на яркое красочное воплощение образов, реалистическую, почти натуралистическую живопись.

Я вспоминаю серию рисунков гуашью на темы произведений Салтыкова-Щедрина, сделанные Черемныхом в 1939 году к годовщине смерти великого писателя-сатирика. Когда эти работы были представлены выставочной комиссии, то вначале воцарилось молчание. А затем, не приступая к обсуждению, члены комиссии разразились единодушными аплодисментами. Это было естественно вырвавшееся, подобно электрическому разряду, восхищение великолепным мастерством художника, глубоко понявшего смысл и дух щедринской сатиры, блеснувшего точной и выразительной лепкой сатирических образов, ярким и звонким колоритом красок.

Творческий облик Черемныха неотделим от его человеческих качеств и черточек. На протяжении сорока лет знал я Ми-хайла Михайловича и ни разу не видел его раздраженным, нервным, с

кем-нибудь повздорившим. Я не помню, чтобы Черемных вышел из себя, повысил голос, раскипятился… Он был не словоохотлив. На совещаниях и обсуждениях обычно хранил невозмутимое молчание и, только уступая настойчивым приглашениям, немногословно и как-то застенчиво высказывал свое мнение. Говорил он густым басом, короткими лаконичными фразами, произнося их своеобразной, характерной для него скороговоркой.

Помню, однажды ему пришлось выступать докладчиком на очередном критическом обсуждении в «Крокодиле». Черемных не любил и обычно не соглашался выступать публично, но на сей раз не счел возможным отказаться, хотя и с крайней неохотой. Разложив перед собой несколько листов исписанной бумаги, Михал Михалыч сделал очень обстоятельный обзор работ крокодильских художников, высказал много интересных и метких замечаний.

— Превосходный доклад написали вы, Михал Михалыч, — сказал я ему по окончании обсуждения.

— А я не написал доклад. Я его нарисовал, — серьезно ответил Черемных.

— Как так? — удивился я.

— А вот, пожалуйста, — и Михал Михалыч протянул мне свои листки.

И действительно, все, о чем говорил Черемных, было им предварительно изображено на бумаге при помощи условных схематических рисуночков и каких-то иероглифических фигурок. Листы были сверху донизу густо испещрены всевозможными значками, закорючками, стрелками. Карикатуры, о которых шла речь в докладе, были обозначены лаконичной схемой их композиции. Их легко можно было узнать. Разнообразными графическими значками (мне трудно их теперь вспомнить) были также запечатлены критические оценки тех или иных рисунков, удачи или неудачи художников.

Такой чудной «текст» доклада был чрезвычайно характерен для оригинального черемныховского склада, для его изобретательного и находчивого ума, который посещали самые неожиданные, подчас курьезные, а большей частью интересные и плодотворные идеи.

Ему была присуща высокая скромность человека, твердо в себе уверенного, знающего себе цену, не считающего нужным себя афишировать, но без колебаний поступающего и в жизни и в искусстве так, как он считал это нужным. Таким он и остался в моей памяти.

…Константин Ротов. Много лет назад меня попросили написать для одного журнала очерк о его творчестве. Я написал.

Желая дать представление об изяществе, артистизме, обаянии творчества Ротова, я назвал его Моцартом от карикатуры, подчеркнув, как легко, вдохновенно, без видимого напряжения, по-моцартовски Ротов создает свои замечательные работы. Потом, по естественной ассоциации, вспомнив бессмертную «маленькую трагедию» Пушкина «Моцарт и Сальери», добавил, что между нами, коллегами и товарищами Ротова, не было ни одного «Сальери», завистника и недоброжелателя. Мы все слишком любили Костю Ротова, доброго, веселого, общительного, порядочного. И искренно восхищались его талантом. Но я ошибся — жизнь показала, что там, где творит Моцарт, неизбежно появляется и Сальери. Впрочем, об этом позже.

Я с детства любил карикатуры, всегда с интересом рассматривал их в сатирических журналах. И от моего внимания не ускользнул маленький рисунок, напечатанный летом 1917 года в петроградском сатирическом журнале «Бич». Рисуночек изображал летучий уличный митинг и поразил меня необычайной живостью и выразительностью человеческих фигурок, очерченных точным уверенным контуром. Была указана фамилия художника — К. Ротов. Еще раз рассмотрев рисунок, я вырезал его из журнала и приобщил к своему собранию карикатур. Так началось мое, пока еще заочное, знакомство с Константином Павловичем. Я не знал, что понравившийся мне рисуночек в «Биче» был первой его карикатурой, появившейся в печати. Ротову было тогда 15 лет.

Личная наша встреча произошла значительно позже — пять лет спустя. Мы уже были оба профессионалами-карикатуристами, печатались в «Крокодиле», «Прожекторе», других сатирических журналах, рядом с такими мастерами, как Моор, Черемных, Малютин, Ганф, Кукрыниксы и другими. Но даже на фоне такого созвездия талантов искрилось и восхищало изумительное дарование Ротова.

Оно расцветало от рисунка к рисунку, покоряя неистощимой изобретательностью художника, щедростью его веселой и озорной фантазии, совершенно необыкновенной способностью подмечать смешные детали и черточки в выражении лиц, поведении, манерах, жестах, одежде людей. Впрочем, Ротов умел видеть смешное не только в людях. С неподражаемым юмором и находчивостью изображал он животных, насекомых, предметы, здания, деревья — все, что привлекало его внимательный, зоркий, улыбчивый взгляд. Я не знаю художника, который был бы равен Ротову в богатстве юмористической выдумки и в умении придать ей изящную, отточенную, я не боюсь сказать, виртуозную графическую форму. Работал он всегда со страстью, не зная

усталости и скуки, по-детски простодушно радуясь тому, что выходило из-под его карандаша, сам первый сердечно и заразительно смеясь своим рисункам.

Ему весело работалось. И весело было смотреть на его работу. Удивительный природный вкус и художественный такт уберегали Ротова от чрезмерного сатирического пересола или пережима, которые подчас вредят работам и очень талантливых художников. Ротов никогда не уродовал людей, не окарикатуривал их до кретиноподобного обличья, а очень точно, с неопровержимой и веселой наблюдательностью подчеркивал и как бы брал под увеличительное стекло их смешные стороны. Наблюдательность и зрительная память его были изумительны. Ротову достаточно было внимательно поглядеть на любой предмет, чтобы безошибочно перенести его потом в рисунок и притом не натуралистически копируя, а в забавном стилизованном обобщении. Ему было в высокой степени свойственно острое чувство современности, и поэтому в ротовских рисунках так щедро рассыпаны приметы времени, что придает им своеобразную юмористическую «документальность».

Вернемся, однако, к теме «Моцарта и Сальери», к теме злобной зависти усердного, но заурядного ремесленника от искусства, «поверяющего алгеброй гармонию», к окрыленному, вдохновенному таланту. Вспомните у Пушкина вопль возмущенного Сальери: «Где ж правота, когда священный дар… озаряет голову безумца, гуляки праздного?…»

Для Сальери нашего времени не было необходимости собственноручно вливать яд в стакан с вином. Они заменили яд листком бумаги, на котором писали «куда следует» или «там, где следует» устно давали показания о враждебной деятельности «Моцарта» как врага народа.

Ротов был арестован в конце 30-х годов. Он провел в лагерях и ссылке около двадцати лет. Его оклеветал коллега, тоже художник-карикатурист, кстати сказать, тоже попавший под тяжелое колесо зловещей 58-й статьи, по которой, как «враг народа», был осужден ни в чем не повинный Ротов. Впоследствии этот злополучный «Сальери» покаялся, в прямом смысле слова валялся в ногах у Ротова, просил прощения. И добрейший Костя Ротов его простил.

Судьба была относительно милосердна к Константину Павловичу — он выжил в лагерях, вернулся в Москву к родным и близким. Он вернулся к любимой работе, причем оказалось, что за пережитые тяжелые годы нисколько не потускнел, ни в малейшей степени не потерял в силе, блеске и обаянии замечательный ротовский талант. Разумеется, годы, проведенные

в лагерях, не могли не отразиться на его здоровье, и он безвременно ушел из жизни.

Среди зарубежных коллег подлинная дружба сложилась у меня с двумя замечательными художниками — с французом Жаном Эффелем и датчанином Херлуфом Бидструпом. Сначала расскажу о Бидструпе.

Разглядывая уморительные комические серии Бидструпа, его юмористические жанровые рисунки, я уверен, не удержится от хохота самый мрачный человек. А самого Бидструпа за много лет знакомства я не видел громко смеющимся, ему свойственна была только очень сдержанная, чуть-чуть ироническая улыбка. Я думаю, тут не могло не сказаться то, что всемирно прославленному датскому карикатуристу труднее всего и не очень весело жилось именно в Дании, его родной стране. Трудно поверить, но именно в Дании Херлуф был окружен холодным недоброжелательством, почти бойкотом со стороны влиятельных общественных кругов. Впрочем, не удивительно — он был членом коммунистической партии Дании, его карикатуры, острые и меткие, изо дня в день печатались на страницах органа компартии Дании газеты «Ланд ог фольк». Удивительно другое — определенное отчуждение Бидструп испытывал и со стороны партийного руководства. Не берусь судить, что служило причиной таких взаимоотношений, возможно — жесткая принципиальность Бидструпа, его непримиримость ко всяческим компромиссам и политическому лавированию, которые он иногда усматривал в позиции газеты.

Зато как хорошо и тепло чувствовал он себя, приезжая в Советский Союз, всегда окруженный здесь самым искренним вниманием и почетом. Альбомы его карикатур раскупались мгновенно. В магазине иностранной литературы в Москве пришлось даже вывесить лаконичный, но не слишком грамотный плакат: «Бидструпа в продаже нет!» Я как-то в одном своем очерке о Бидструпе написал, что в этом курьезном плакате есть некоторое символическое звучание — Бидструп действительно не продажен. Ведь в Копенгагене ему не раз предлагали бросить свою «Ланд ог фольк» и перейти на несравненно более выгодных условиях в одну из крупных буржуазных газет. Все такие предложения он решительно отвергал.

В 1972 году мне посчастливилось присутствовать в Дании на праздновании шестидесятилетия со дня рождения Бидструпа. Чествование знаменитого художника происходило отнюдь не в конференц-зале датской Академии художеств. Для проведения юбилейного собрания арендовали весьма скромное, хотя и достаточно просторное помещение в одной из окраинных

городских школ. И люди пришли сюда как-то попросту, целыми семьями, захватив с собой и малых ребят, которые подчас нарушали чинный порядок торжественных выступлений, весело резвясь в непосредственной близости от ораторской трибуны. Кстати сказать, одна из таких шалунишек сидела на коленях своей молодой мамы как раз за моей спиной и, еле удерживаясь от смеха, время от времени толкала меня ножками. Я строго оборачивался и даже грозил ей пальцем, не подозревая, что у девочки имеются здесь особые права: озорница оказалась родной внучкой Херлуфа Бидструпа.

Программа чествования началась не с появления многочисленного президиума и не с полуторачасового утомительного доклада о жизни и деятельности юбиляра, который снисходительно расселся бы на сцене в мягком кресле. Нет, этого ничего не было. Просто вышла на сцену молодая девушка и под аккомпанемент рояля исполнила песни и стихи Бертольта Брехта. Потом заговорили о Бидструпе — он находился в зале, сидел рядом с женой. Говорили просто и задушевно, без шаблонного красноречия и юбилейных трафаретов. Никто не пытался многословно пересказать своими словами заранее написанный адрес в дерматиновой папке. Говорили без малейшей официальности и в то же время по-серьезному, но не без юмора, в зале то и дело вспыхивал смех. Саркастическим духом было пронизано выступление выдающегося датского писателя Ханса Шерфига, который остроумно высмеял правящие круги Дании, бойкотирующие Бидструпа, делающие вид, что они абсолютно не замечают прославленного художника, любимого миллионами людей. Потом выступил посол Советского Союза. Он огласил Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Херлуфа Бидструпа орденом Трудового Красного Знамени.

Чествование продолжалось. Был показан веселый мультипликационный фильм, сделанный в Москве по рисункам Бидструпа, после чего наступила очередь выступать нашей маленькой делегации. Народный художник СССР Таир Салахов и я принесли юбиляру самые сердечные поздравления и пожелания от Союза художников СССР, Академии художеств, от редакций «Правды» и «Крокодила», от миллионов почитателей таланта Бидструпа в нашей стране.

Не скрою, что особенно веселое оживление в зале вызвала поднесенная юбиляру бутылка коньяка только что выпущенной новой марки «Херлуф Бидструп» с автошаржем на этикетке. Впрочем, все быстро догадались, что бутылка эта существует в единственном экземпляре и оформлена специально для данного случая.

В заключение выступил сам Бидструп. Как-то странно и непривычно было видеть его, всегда невозмутимого и спокойного, смущенным и взволнованным. И ему явно было не по себе в темном вечернем костюме с галстуком вместо обычной спортивной рубашки с расстегнутым воротом. Негромко и немногословно поблагодарив за оказанное ему внимание, он перешел к краткому отчету о своей творческой деятельности. Это было сделано в довольно оригинальной форме: вооружившись большим угольным карандашом, Бидструп подошел к развернутому на сцене пятиметровому листу бумаги и стал быстро набрасывать изображения персонажей своих политических карикатур в хронологическом порядке. Он начал с бесноватого фюрера, затем изображал все новые и новые персонажи и, наконец, закончил карикатурами на сегодняшних приверженцев «холодной войны». Появление каждого нового шаржа из-под опытной руки карикатуриста зал встречал взрывом смеха. «Героев» сатиры Бидструпа узнавали сразу же после первых нескольких штрихов.

Торжественное собрание закончилось, но юбилейное веселье продолжалось — сначала в отличном клубе профсоюза рабочих-строителей, а потом до позднего вечера в уютном крестьянском домике семьи Бидструпов в селении Аллеред. Мы с Салаховым были там еще накануне, видели предельно скромную и вместе с тем отмеченную благородным вкусом обстановку, в которой живет и работает знаменитый художник. После обеда в деревенской таверне Бидструп сел за руль своего маленького автомобиля и повез нас в знаменитый Эльсинор, где на берегу моря высится величественный и грозный замок-дворец Кронборг. Там, поднимаясь и спускаясь по крутым каменным лестницам, мы переходили из одного рыцарского зала в другой, и вокруг нас, казалось, возникали тени печального принца Гамлета, коварного короля Клавдия, несчастной Офелии и других, обитавших здесь, по свидетельству Уильяма Шекспира, героев бессмертной трагедии.

Уже смеркалось, когда мы вошли во внутренний двор замка и открыв массивную железную решетку, спустились в так называемые казематы — извилистые и мрачные подземелья, скупо освещенные редкими, тускло мерцающими лампами. Мы остановились возле каменного изваяния. То был спящий крепким сном Хольгер-Датчанин — легендарный герой, просыпающийся, согласно древнему поверью, когда Дании грозит опасность. Я не знаю, проснулся ли Хольгер-Датчанин в час, когда на датскую землю обрушилось гитлеровское нашествие. Но хорошо известно, что другой, в ту пору еще молодой — Херлуф-Датчанин — в это

страшное для его родины время бодрствовал, а его сатирические рисунки, бичевавшие захватчиков и их приспешников, заняли потом почетное место в музее датского Сопротивления.

Там же, в Дании, несколько лет спустя, была у нас еще одна встреча с Бидструпом, сопровождавшаяся забавным эпизодом.

С председателем Всесоюзного общества дружбы с зарубежными странами Зинаидой Кругловой мы прилетели в Копенгаген на торжественное открытие Дома датско-советской дружбы. На этом торжестве был, разумеется, и Бидструп. Мы с ним тепло встретились, и он пригласил нас приехать через день в его маленькую усадьбу. Через день, утром нам в гостиницу позвонил из нашего посольства встревоженный атташе по культуре и сообщил Кругловой следующее: он позвонил в Аллеред Бидструпу, что мы предполагаем быть у него к 10 часам, а Бидструп ответил, что будет ждать нас между часом и двумя.

— Понимаете, Зинаида Михайловна, ломается вся программа. Ведь к двум часам мы должны быть на выставке греческих древностей.

— Странно, очень странно, — с неудовольствием сказала Круглова. — Что это ему вздумалось? Это даже невежливо.

Чем-то заняв ближайшие два часа, мы наконец двинулись в Аллеред. Въехав во двор, мы увидели Бидструпа с супругой, сидевших на скамейке у входа в их уютный одноэтажный домик. Объясняться уже не было времени, и вместе с супругами Бидструп мы поехали на выставку древностей. В удобный момент Бидструп отвел меня в сторону и сказал:

— Послушай, у вашего атташе по культуре нет ни малейшего чувства юмора. Он позвонил мне утром, что вы собираетесь приехать к десяти часам. А я, зная ваши советские обычаи, пошутил, что, если вы собираетесь к десяти, то я буду вас ждать к часу. Оказывается, он понял это буквально.

Я тут же подошел к Кругловой.

— Зинаида Михайловна, оказывается, было чистое недоразумение. Бидструп вовсе не ломал программу. Он просто пошутил, зная советскую манеру, что если уславливаются к десяти, то приезжают к часу.

— Пошутил, пошутил… Вот вам и результат этих шуток. Надо знать, с кем шутишь, — проворчала Круглова и сердито посмотрела на Бидструпа.

…Приезжая в Москву, Бидструп был здесь, пожалуй, больше «как дома», чем в родном Копенгагене. Неизменный и почетный участник всех мероприятий, выставок, собраний, связанных с сатирическим искусством. Он всюду — «персона грата», неизменный председатель жюри на всех международных

выставках «Сатира в борьбе за мир». Ему вручается второй советский орден — «Дружба народов». Одновременно растет и крепнет наша личная дружба. Помню, как-то будучи у меня в доме, он очень заинтересовался красивыми разноцветными солдатиками, которые искусно мастерил из пластилина мой десятилетний внук Витя и — надо это себе представить! — расположившись вместе с внуком на полу, стал играть с ним в солдатики.

… Последние наши встречи с Бидструпом были, увы, омрачены трагическими переживаниями, выпавшими на его долю.

Он откровенно со мной ими делился. То недружелюбие, которое почему-то давно окружало его в родной стране, постепенно превратилось в подлинную травлю. С горечью поведал он мне, что не брезгуют и прямой клеветой. Вплоть до того, что объявляют его виновником нелепой смерти жены, погибшей в результате несчастного случая.

…Как не задуматься над горьким парадоксом — почему в биографии талантливого, доброго, достойного человека, чье чудесное творчество дарило миллионам людей радость искреннего смеха и веселого настроения, оказалось столько тяжелых, драматических личных переживаний.

И я думаю об этом, перелистывая проникнутые обаятельным добрым юмором страницы альбомов с его неподражаемыми комическими сценками. Почти на всех этих альбомах теплые дружеские надписи их автора. Они мне очень, очень дороги.

Жан Эффель не уступал Херлуфу Бидструпу ни в таланте, ни в остроумии, ни в мастерстве. Но по характеру и стилю они были друг другу полной противоположностью. Степенный, неторопливый, сдержанно-сосредоточенный Бидструп и по-французски горячий, экспансивный, говорливый, неугомонный Эффель.

Стремительно, ярко, весело, азартно вошел Жан Эффель в сатирическое искусство нашей планеты. С тех пор прошло больше полувека, а я и сегодня отлично помню радостное впечатление от первого знакомства с опубликованными в советской печати рисунками молодого Эффеля, подкупавшими своей милой непосредственностью и простотой, свежим, неожиданным и озорным восприятием окружающего мира. Нельзя было не поддаться очарованию этих уморительных, чуть-чуть стилизованных под наивную инфантильность, остроумно придуманных комических сценок с их оригинальным графическим почерком — твердой и упругой линией, замыкающей каждую фигуру в лаконичный и четкий контур, живо и выразительно передающий динамику и характер персонажей.

Забавно было и то, что буквально на каждом рисунке, независимо от сюжета, неизменно фигурировали, подобно неким геральдическим знакам, обязательные атрибуты: маргаритки, бабочки, улитки, паучки и птички. Забавно была сделана даже подпись художника в виде круглого цветочка — маргаритки — из букв, составляющих имя и фамилию автора.

Помню, как много лет спустя за дружеским застольем (это было во время нашей встречи с Жаном Эффелем в Москве), я шутя сказал:

— А тебе, Жан, очень повезло, что жену твою зовут Маргаритой — этот цветок так легко рисовать. А что если бы ее имя было Роза или Лилия?

— Что ты! — смеясь, воскликнул Эффель. — Я только потому и женился на ней, что она Маргарита! На Лилии или Розе я бы не женился!

А был как-то и такой разговор.

— Когда будешь в Париже, Борис, обязательно приходи ко мне. Мой адрес — дом семь, улица Бонапарта.

Я рассмеялся.

— Что тут смешного? — удивился Эффель.

— Смешное совпадение: мой адрес в Москве — дом семь, проспект Кутузова.

Из года в год рос успех Эффеля. Вскоре творчество его завоевало популярность во всем мире. Но если вначале он казался художником «чистого юмора», этаким, как писали, симпатичным, безобидным «светлячком», то очень скоро обнаружилось, что молодой карикатурист-самоучка обладает не только добродушным и обаятельным юмористическим дарованием, но и не в меньшей степени вооружен едкой и злой иронией, владеет точным и неотразимым сатирическим ударом. Оказалось, что в лице Эффеля прогрессивная политическая карикатура приобрела первоклассного, не знающего устали и промаха бойца, беспощадно бичующего фашистов, реакционеров, мракобесов, расистов.

В этом маленьком хрупком человеке жил несокрушимый мужественный дух, проявлявший себя не только в художественном творчестве Эффеля, но и в событиях его жизни. Смелым солдатом был младший лейтенант разведки Франсуа Лежен (подлинные его имя и фамилия, а псевдоним Эффель — это сочетание его инициалов Ф и Л во время Второй мировой войны — в те дни, когда пресловутая «странная война» между Францией и Германией превратилась в настоящую. Именно тогда за выполнение опасного задания, порученного командиром полка, Эффель получил боевую награду — орден «Военный

крест».

Позднее, в тяжелой, гнетущей атмосфере гитлеровской оккупации, Эффель стоически продолжает свою художественную деятельность, организует передвижные выставки бытового юмористического рисунка, цель которых — противопоставить тупому фашистскому варварству несгибаемость и оптимизм французского национального характера. В специальном буклете, выпущенном Эффелем, говорилось: «Конечно, мы переживаем страшное, тяжелое, трагическое время, но французское остроумие не должно исчезнуть. Фейерверк шуток, вселяя в нас надежду, поможет и в преодолении наших трудностей». В это тяжелое время Жан Эффель не только шутил. Известны факты его мужественного поведения как гражданина и патриота. Известно его активное участие в движении Сопротивления в условиях смертельной опасности, когда по следам художника шли гестаповские ищейки.

Поразительно широк и разнообразен диапазон художественных интересов этого непостижимо плодотворного и неугомонного рисовальщика. Это и политическая карикатура на темы крупнейших международных событий, и бытовая юмореска, и всемирно известная серия рисунков на библейские сюжеты — «Сотворение мира» и «Сотворение человека», и превосходные иллюстрации к классическим басням, и боевые альбомы-памфлеты. Это десятки всевозможных сатирических изданий и сборников. Наряду с этим — огромная работа в области промышленной графики, торговой рекламы, туристического и коммерческого плаката… Оформление витрин, выставок, праздничных стендов, изготовление сувениров.

Уже в первые годы своей творческой деятельности Эффель любил рисовать смешные сценки на библейские сюжеты, где главными действующими лицами были симпатичный Бог-старик, работяга и хлопотун, со своими помощниками-ангелочками и зловредный его антипод — лохматый сатана, интриган и пакостник. Эти отдельные рисунки постепенно составили целый цикл, огромную серию карикатур «Сотворение мира», а потом и «Сотворение человека».

Основной прием, на котором Эффель строит свое повествование, состоит в том, что, как бы всерьез принимая библейскую концепцию о первых шести днях творения, художник юмористически опрокидывает в эти допотопные времена наши современные научные, астрономические, геологические, математические и прочие познания, весело сталкивая их с традиционными ветхозаветными толкованиями. Так, например, извлечение ребра у Адама в целях сотворения Евы Бог совершает

по всем правилам современной хирургии — на операционном столе, под общим наркозом, в резиновых перчатках… Придавая земному шару вращательное движение, Бог тщательно смазывает земную ось машинным маслом из огромной масленки… А созданную радугу раскрашивает при помощи набора акварельных красок…

Мне посчастливилось дружить с Жаном Эффелем. Вначале как-то получилось, что хорошо зная друг друга по работам, мы никак не могли встретиться: когда Эффель приезжал в Москву, я, как назло, бывал в отъезде. Наконец наша встреча состоялась. И Эффель, подарив мне только что вышедший альбом своих карикатур, сделал на нем забавную надпись: «Дорогому Борису Ефимову, другу на протяжении 20 лет, которого я, к сожалению, за все 20 лет ни разу не видел».

Нельзя не упомянуть о том, что творчество Эффеля было отмечено высокой наградой — присуждением Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Получая в Кремле золотую медаль, Эффель в краткой и остроумной ответной речи дал меткую характеристику сатирическому искусству:

— Сатира, — сказал он, — это ненависть с улыбкой.

Красиво сказано. Но откровенно говоря, в сатире Эффеля (да и любого другого карикатуриста) мне больше, чем примитивная лобовая ненависть, нравится тонкая ирония, язвительная насмешка, изящный сарказм. И именно эти черты, на мой взляд, больше всего характеризуют сатиру самого Эффеля.

Глава тридцать первая

Мы часто говорим: история повторяется. И она, действительно, повторяется, как мне думается, не только в политических событиях крупного масштаба, но и в менее значительных вещах. Вот одно из таких повторений. В годы Гражданской войны возникла дотоле неизвестная форма изобразительной пропаганды — «Окна РОСТА», которые Маяковский характеризовал как протокольную запись труднейшего трехлетия революционной борьбы, переданную пятнами красок и звоном лозунгов.

В другую лихую годину «Окна» возродились. Теперь они, разумеется, назывались уже «Окна ТАСС». И четырехлетие Отечественной войны, как и трехлетие Гражданской изо дня в день сопровождалось более чем десятью тысячами «Окон» художников-плакатистов.

А потом возникает третье поколение «Окон РОСТА» — «Агитплакат». Правда, на сей раз, слава Богу, для войны не кровопролитной и разрушительной, а так называемой «холодной». Но возник «Агитплакат», как в свое время «Окна РОСТА», из одного-единственного плакатного листа, выставленного в окне на улице Горького. Его нарисовали художники Константин Иванов и Вениамин Брискин. И, как это уже было раньше, такое плакатное «зерно» проросло за относительно короткое время в большое художественно-производственное объединение «Агитплакат» при Союзе художников СССР.) Уже не ручным, трафаретным способом тиражировались плакаты — «Агитплакат» оснащен самыми современными шведскими шелкографскими машинами и станками, он занимает отдельное одноэтажное здание, у него своя дирекция, бухгалтерия, подписчики по всей стране, довольно многочисленный коллектив художников и поэтов, авторитетная редакционная коллегия и, разумеется, главный редактор. Первое время им был упомянутый Вениамин Брискин. Но оказалось, что и творческие коллективы не застрахованы от склок. В результате долгих и не очень чистых интриг пост главного редактора остался вакантным. А всем хотелось видеть на этом месте человека объективного, не интригана, не склочника. Все как-то сошлись на моей персоне… И кресло главного редактора в «Агитплакате» я занял почти на 30 лет.

Тематика «Агитплаката» была весьма широкой — тут и сатирические, и чисто юмористические плакаты, и юбилейные, познавательно-просветительские. Плакаты разоблачали

поджигателей войны, высмеивали бюрократов, бракоделов, очковтирателей, пьяниц и, конечно, постоянное внимание уделяли главному делу — «пропаганде решений партии и правительства», Склок больше не было, хотя, не скрою, стычки на редколлегии не раз возникали. Тому причиной чаще всего бывал горячий темперамент художника Николая Денисовского и поэта Александра Жарова. Зато редколлегия вместе с коллективом не раз собирались на дружеские, веселые застолья по случаю чьего-нибудь дня рождения, на которых я работал неизменным тамадой. Никогда никакой конфронтации между главным редактором и директором не возникало — на эту должность, по случайной рекомендации, я пригласил Павла Алексеевича Киселева, оказавшегося исключительно порядочным, деловым и преданным интересам дела работником. Киселев прекрасно организовал не только производство агитплакатов, но и распространение их по всей стране вплоть до погранзастав Дальнего Востока, отлично вел финансовые дела Объединения. Он также наладил показ отдельных экспозиционных плакатов в витринах магазинов в разных концах Москвы. С одной из таких экспозиций получился изрядный скандал. На плакате была изображена лидер британской консервативной партии Маргарет Тэтчер в виде сидящей на помеле ведьмы. Плакат привлек сугубое внимание некоторых иностранных корреспондентов. Они начали его фотографировать, а один из них примчался в «Агитплакат» и стал предлагать за этот лист солидную сумму денег. Перепуганный Киселев ответил, что агитплакаты не продаются, и приказал немедленно его снять. Но фотоснимок с миссис Тэтчер в виде ведьмы успел появиться в одной из английских газет. К счастью, миссис Тэтчер проявила чувство юмора и официального протеста с ее стороны не последовало. К счастью для «Агитплаката» и для меня, который был автором этого плаката.

…В повседневной работе над сатирическими рисунками и плакатами, в заседаниях секретариатов и редколлегий, в клубных и юбилейных мероприятиях, в текущих заботах, проблемах, неприятностях, а иногда и радостях, мчались годы, и как-то незаметно подкралось восьмидесятилетие. Дата — серьезная, ответственная, которую не скроешь. Со стороны государства она была отмечена вторым орденом Ленина, со стороны Союза художников — устройством моей персональной выставки, первой и единственной. Банкета я, в отличие от своего семидесятилетия, не устраивал. Но в Академии художеств имело место довольно скромное мое чествование, на котором меня поздравлял и приветствовал вице-президент Академии Федор Решетников.

Мне не раз приходилось видеть Федора Павловича

Решетникова на всевозможных творческих встречах, вечерах, сессиях и других, как принято говорить, мероприятиях, где обсуждаются вопросы искусства, сталкиваются мнения, завязываются жаркие споры. Решетников, насколько я заметил, не большой любитель ораторствовать с трибуны и обычно располагался где-то возле нее. Но в руках у него — неизменные блокнот и карандаш. Зоркий глаз художника всегда нацелен на кого-нибудь из выступающих или слушающих. А я, в свою очередь, незаметно наблюдаю за Решетниковым. Это очень интересно: он бросает быстрый взгляд на «объект» и делает неторопливое движение карандашом в блокноте. Быстрый взгляд — неторопливый штрих. Взгляд — штрих, взгляд — штрих… Глядя на Решетникова, я понимал, что зарисовки эти носят характер юмористический — об этом достаточно красноречиво говорили его чуть-чуть прищуренный лукавый взгляд и легкая скользящая улыбка, — но никак не подозревал, что присутствую при начале большой и интересной работы — целого цикла сатирических портретов, с которыми Решетников неожиданно для многих выступил потом на двух очередных академических выставках и снова показал на своей персональной выставке.

Я вспоминаю впечатление, которое произвели эти работы на зрителя, и не погрешу против истины, если скажу, что решетниковские шаржи дерзко оттеснили тогда на задний план многие серьезные портретные работы. Должен оговориться, что неожиданность такого яркого выступления Решетникова-сатирика была только кажущейся. Ведь уже самые первые страницы творческой биографии художника были связаны с карикатурой и плакатом: еще юношей принимал он деятельное участие в осуществлении сатирических агитационных росписей железнодорожного клуба на станции Гришино, а впоследствии систематически печатался в «Крокодиле», «Безбожнике у станка» и других сатирических изданиях 20-х годов.

Чувство юмора — драгоценное свойство человеческого характера. Но мне думается, что это качество становится во сто крат дороже, если проявляется в ситуации, когда людям совсем-совсем не до смеха, когда оно способно вселить в окружающих бодрость, поднять настроение, прогнать уныние. Именно такую великолепную проверку действием прошел решетниковский юмор в экстремальной ситуации — на легендарной челюскинской льдине, когда веселые, бесхитростные и чуть-чуть озорные рисунки Решетникова в знаменитой стенгазете полярного лагеря О. Ю. Шмидта «Не сдадимся!» стали для участников экспедиции, пожалуй, не менее нужными и ценными, чем любой витамин, подкрепляющий человеческий организм. Энергичный студент

Федя Решетников пробрался «зайцем» на ледокол «Сибиряков» и стал потом полноправным членом экипажа этого ледокола, а затем и легендарного «Челюскина».

Один из участников челюскинской эпопеи вспоминал впоследствии:

«Свои рисунки Решетников выполнял в поистине нечеловеческих условиях. Ему приходилось рисовать или сидя на корточках, сгорбившись, или лежа на животе. Несмотря на это, они были хорошо исполнены. Лагерь Шмидта восторженно реагировал на рисунки и карикатуры».

Замечательно, что заряд остроумия и веселости сохранился в этих рисунках Решетникова и по сей день. И сегодня, больше чем шестьдесят лет спустя, мы смеемся от всей души, разглядывая такие сделанные в обстановке серьезной опасности зарисовки, как «Отто Юльевич проводит беседу», «После ухода челюскинцев», «Страшная встреча» и другие. Такова неувядаемая сила юмора, меткой и умной шутки.

Помню, как по поручению Московского союза художников мы выехали навстречу поезду с возвращавшимися челюскинцами, на какой-то станции нашли в вагоне Федю Решетникова и торжественно вручили ему ордер на отдельную творческую мастерскую, которой он тщетно до того добивался.

Однако Решетников умеет не только добродушно шутить, но и беспощадно разить врага гневной, обличающей сатирой. Он проявил эти качества в годы Великой Отечественной войны: будучи военным корреспондентом — художником севастопольской газеты «Красный черноморец», неутомимо создавал метко бьющие по гитлеровцам карикатуры, плакаты, листовки. Сатира Решетникова, как и многих других художников-фронтовиков, сражалась на переднем крае нашего изобразительного искусства, внося свой вклад в великое дело Победы.

И все же Решетников не стал карикатуристом-профессионалом. Им владели другие творческие интересы, влекли к себе безграничные художественные горизонты живописи — ее колористические и композиционные возможности, эстетика цвета и пространства, отражение красоты окружающего мира ее специфическими средствами. И художник, обратившись сначала к пейзажу, портрету, натюрморту, приходит затем в ту творческую область, которая принесла ему всенародную славу — в жанровую живопись.

Вряд ли есть необходимость напоминать о таких созданных художником жанровых полотнах, как «Прибыл на каникулы», «Опять двойка», явившихся прекрасным свидетельством

глубокого проникновения в каждодневные события будничной жизни людей, тонкого и безошибочного раскрытия душевного мира нашей детворы. Детский цикл произведений Решетникова по праву вошел в число любимейших картин народа, радуя уже не одно поколение зрителей. Здесь во всей силе сказалось тяготение художника к той светлой и задушевной тематике, которую я назвал бы словами замечательного нашего детского писателя Льва Кассиля: «Дорогие мои мальчишки». Вихрастые и озорные, неугомонные и обаятельные, веселой шумной гурьбой ворвались они в творчество Решетникова и, встреченные им с добрым гостеприимством, расположились в его картинах уверенно, по-хозяйски, со всеми своими ребячьими затеями и играми, радостями и огорчениями.

Решетников стал знаменитостью. Из года в год продолжалось его возвышение, его избирали в правление Союза, его избирали в Академию художеств, где впоследствии он стал вице-президентом. Конечно, он был мало заметен и оставался в тени другого вице-президента, громогласного, величественного и самоуверенного Владимира Кеменова, но Федю Решетникова все любили. Ему охотно прощали и присущий ему маленький недостаток — талантливый, находчивый, уверенно целеустремленный в своем творчестве, он был до смешного беспомощен, когда надо было публично сказать несколько слов. В красноречии природа ему начисто отказала. Иногда это доходило до курьеза. Начав, бывало, о чем-то по необходимости говорить на собрании и долго путаясь в бесконечных «так сказать», «значит» и «э-э-э…», он, в конце концов, сконфуженно умолкал, безнадежно махнув рукой.

С именем Решетникова связана и, по-моему, не совсем справедливо, история с так называемой Бульдозерной выставкой в Измайлове, когда работы группы живописцев-авангардистов были разгромлены милицией и одетыми в штатское людьми при содействии бульдозеров. Эта неприличная и, прямо сказать, варварская акция наделала немало шума и отнюдь не способствовала престижу нашей страны за рубежом. По поводу выставки в Измайлово в одной из московских газет появилась статейка, резко и недоброжелательно критиковавшая деятельность художников-авангардистов, обвиняемых в посягательстве на высочайше утвержденный «соцреализм». Под этим стояла подпись вице-президента Академии художеств Решетникова.

Зная широкие взгляды Федора Павловича в искусстве, отсутствие у него узколобой казенщины, его уважение к подлинно творческим исканиям новых форм и решений, я не

думаю, что он был автором этой статьи. Но понимаю, что как член партии и вице-президент, уклониться от «рекомендации» вышестоящих партийных органов поставить свою подпись под этой статьей он не смог.

Однако вернусь к моей персональной выставке, приуроченной к восьмидесятилетию.

Валентин Катаев написал о ней так:

«Откровенно говоря, мне все равно, сколько ему лет: пятьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто… Хоть сто! Для меня он всегда Боря Ефимов, спутник нашей юности, молодости, зрелости. А для меня и старости. Говоря “нашей”, я имею в виду нашу старую, ныне уже, к сожалению, не существующую компанию: Ильф, Петров, Олеша, конечно, Михаил Кольцов, Зощенко, отчасти Булгаков, конечно, Маяковский. Наверное, я кого-то забыл, но это не имеет значения. В сущности, мы, должно быть, только и остались одни от нашей компании.

Борис Ефимов — непреходящая принадлежность двадцатых, тридцатых, сороковых военных, пятидесятых послевоенных и всех прочих годов бурного двадцатого века. Без него я не представляю себе разнообразной армии наших искусств.

Борис Ефимов остросовременен. Он всегда на острие событий. Кого он только не рисовал из врагов Советской власти, начиная с Керенского. Помню его сатирические изображения Пилсудского, Махно, Петлюры. В особенности запомнился Петлюра, нарисованный, кажется, с натуры в Киеве.

Неутомимый карандаш и перо Ефимова воевали за Советскую власть на фронтах Гражданской войны, в Великую Отечественную, когда от Ефимова здорово доставалось Гитлеру, Герингу, Геббельсу — всех не перечислишь. Это, так сказать, послужной список сатирика Ефимова.

Но есть еще человек Боря Ефимов, глубоко интеллигентный, что встречается не каждый день, остроумный, пронзительно тонкий, веселый, любящий и понимающий юмор. Мы видимся с ним нечасто, но когда видимся, это всегда радость. Мы дорожим своей дружбой. Борис Ефимов — карикатурист реалистической школы с ее высокими традициями, последователь Федотова. В этом его сила. Крепко жму руку и обнимаю. Боря, не сдавайтесь, так держать!»

Академия художеств заняла значительное место в моей творческой биографии. Я был избран в нее членом-корреспондентом сразу после реабилитации брата. Но избрания в действительные члены мне пришлось дожидаться ни много ни мало — двадцать лет. На очередных выборных сессиях меня

неизменно проваливали живописцы и скульпторы, не очень жаловавшие публицистическую карикатуру. На моих глазах прошли все президенты Академии. Они были, по Маяковскому, — «хорошие и разные», — высокомерный и крутой Александр Герасимов, высококультурный и «светский» Борис Иогансон, волевой и напористый Владимир Серов, отзывчивый и добродушный Николай Томский, общительный и обаятельный Борис Угаров и дорогой мой друг Николай Пономарев, о котором мне хочется сказать несколько подробнее.

Давным-давно на выставке работ молодых художников я обратил внимание и похвально отозвался в своей опубликованной в печати рецензии о жанровом плакате, очень живо и правдиво изображавшем мальчика, примерявшего перед зеркалом шахтерскую шапку своего отца. Отзыв об этой работе я закончил словами: «Это талантливая работа. У молодого Пономарева, несомненно, большое будущее». И я, оказалось, «как в воду глядел». Вскоре выпускник Суриковского института Николай Пономарев был удостоен Сталинской премии за серию станковых рисунков «Донбасс восстанавливается». Это первый большой шаг на творческом пути Пономарева. Им были созданы отличные графические серии о людях Индии, Вьетнама и, конечно, России.

Нельзя не сказать о замечательном эпизоде его биографии — участии в спасении шедевров Дрезденской картинной галереи, заброшенных отступающими гитлеровцами, чтобы не достались большевикам, в сырые забои и шахты. Среди них была и бесценная «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Самым неутомимым в группе, занимавшейся спасением художественных сокровищ, был студент института имени В. И. Сурикова — в наспех присвоенном ему по этому случаю звании старшего лейтенанта — Николай Пономарев.

Он продолжал успешно работать в станковой графике, принимал участие во всесоюзных и международных выставках. Как-то встретились мы с ним, тоже в связи с международной выставкой «Интерграфика», в Берлине. Вернувшись в свой отдельный номер в гостинице, я с удивлением застал там спокойно покуривавшего молодого человека.

— Позвольте. Кто вы? — спросил я.

— Я — Пономарев, Борис Ефимович, — был ответ. — Неужели не узнали? Меня к вам подселили.

— Да, да. Конечно, Коля. Простите. Ну, если подселили, то и живите. Только курите поменьше.

Мы подружились. Он был очень смешливым, я ему в этом не уступал, и мы всегда весело проводили время, бывали в гостях у немецких друзей. Случалось, что обменивались дружескими

услугами: я был его переводчиком в магазинах, когда он приобретал какие-нибудь вещи для жены и дочери, а он в свою очередь примерял на себя в обувном магазине «мокасины» для моего взрослого внука Виктора (у них оказался одинаковый размер ноги).

…Природа щедро одарила Николая Афанасьевича — незаурядным талантом художника и отличными способностями организатора и руководителя. И эта двойственность сильно осложнила всю его жизнь. Сначала оба Пономарева мирно уживались, но чем дальше, тем больше Пономарев-руководитель стал немилосердно теснить Пономарева-художника. Чем дальше, тем меньше времени Николай Афанасьевич проводил в своей творческой мастерской и тем больше — на заседаниях всевозможных съездов, президиумов, секретариатов, выставкомов, комиссий, художественных советов, международных конференций, в приемных и кабинетах вышестоящих инстанций, где надо было «пробивать» дела и проблемы многотысячного коллектива художников. Кто может подсчитать, сколько интересных художественных замыслов, сколько замечательных графических серий, сколько портретов и пейзажей остались неосуществленными, незаконченными, а то и неначатыми по той причине, что Пономарев — председатель Союза художников или потом Пономарев — президент Академии художеств был по горло занят своими руководящими делами и обязанностями. Год от года растет его авторитет, а главное, убежденность художников в его незаменимости, как руководителя. В самом деле, кто еще, по общему мнению, мог бы, подобно Пономареву, управлять этим сложнейшим, многотысячным, многонациональным, многожанровым и многовозрастным конгломератом мастеров изобразительного искусства, о котором, перефразируя Пушкина, можно было бы сказать: «Какая смесь племен и лиц, проблем, амбиций, интересов…» Кто бы тут не растерялся перед этой лавиной ежедневно, ежечасно возникающих дел и вопросов — творческих, производственных, финансовых, персональных, требующих быстро и оперативно проявить — когда безапелляционную твердость характера, а когда мягкую разумную уступчивость, строгую хозяйственную рачительность или широкую благосклонную щедрость, жесткую принципиальную непримиримость или гибкую дипломатическую снисходительность. Проявить умение в каждом отдельном случае отделить главное от второстепенного и принять решение, правильное с точки зрения руководителя, если даже оно вызывает чье-то сомнение и неудовольствие. Такое умение дано было Пономареву, как говорится, от Бога. И нес он этот свой, подчас

неблагодарный, «руководящий» груз мужественно и без видимого напряжения. В этом ему, несомненно, помогало чувство юмора, никогда его не покидавшее. Я, во всяком случае, не упомню такого собрания или заседания с участием Пономарева, которое не огласилось бы дружным смехом после какого-нибудь его шутливого замечания или веселой реплики. Но он, конечно, не был ангел во плоти, бывал и раздраженным, сердитым, резким. Такая, как говорится, работа…

К шестидесятилетию Пономарева в газете «Советская культура» был напечатан мой очерк о нем под названием «Художник-гражданин». И с тех пор это стало в нашем общении его шутливым «титулом». На одном из подаренных мне им альбомов он написал: «Дорогому, уважаемому Борису Ефимовичу! Всегда с уважением. Всегда с восторгом. Всегда с любовью. Ваш Н. Пономарев, “художник-гражданин”».

В гуще всяческих дел, при его огромной занятости, да и моей тоже, мы не упускали случая пошутить, побалагурить, посмеяться. Припоминаю, как однажды, когда он отправлялся в Японию, я попросил его передать моему сыну связку сушеных грибов. А потом в шутку сочинил обвинение, что грибы переданы сыну с крупной недостачей. И Пономарев, хохоча, «признался», что четыре гриба были дома сварены в супе в день его отъезда.

Вообще я любил слышать его жизнерадостный смех и нередко звонил на квартиру к нему без всякого дела, а только для того, чтобы рассказать какой-нибудь анекдот и вместе с ним посмеяться. Обычно телефонную трубку поднимала его жена Нина Семеновна Буденная — дочь легендарного маршала. Происходил обычно такой диалог:

— Ниночка Семеновна? Беспокоит некто Ефимов. Как самочувствие «художника-гражданина»?

— Здравствуйте, Борис Ефимович. Я вас сразу узнала. Сейчас посмотрю, не дрыхнет ли он.

«Художник-гражданин» брал трубку, и мы начинали, смеясь, «трепаться».

К сожалению, все чаще Нина Семеновна, взяв трубку, отвечала: «Коля спит», «Коля отдыхает», «Коля себя плохо чувствует».

А «художник-гражданин» больше не брал трубку, и я больше не слышал его жизнерадостного смеха.

Серьезное заболевание, с которым не смогли справиться врачи, свело его в могилу.

Много общего с Пономаревым у его преемника в Академии художеств Зураба Константиновича Церетели, которого сам Пономарев незадолго до своей безвременной кончины выдвинул

на пост вице-президента. То же органичное сочетание двух тесно связанных ипостасей — художественно-творческой и хозяйственно-организаторской. Уроженец Кавказа, Церетели органично вошел в жизнь Москвы неотъемлемой и чрезвычайно популярной фигурой. И он сам, и его произведения стали предметом неутихающих горячих споров, диаметрально противоположных суждений, непримиримых «за» и «против». Мне довелось побывать в его творческой мастерской, и о своих впечатлениях я рассказал в статье, которую назвал «О спорном и бесспорном». Спорными, несомненно, являются некоторые произведения Зураба Константиновича. Но так испокон веков происходит в искусстве — одним нравится, другим не нравится, одни принимают, другие отвергают, одни восхищаются, другие негодуют. Судьей и арбитром в этих спорах является только Время — оно выносит окончательный приговор. И тому традиционный и классический пример — Эйфелева башня. Возведение ее в свое время вызвало резкое возмущение и протерты культурнейших людей Франции. А Время сделало ее символом Парижа. Очень многие были против восстановления Храма Христа Спасителя, взорванного по приказу Сталина, считая, что эти огромные средства лучше использовать для постройки жилых домов. Но благодаря инициативе и настойчивости мэра Москвы Юрия Лужкова, Храм восстал во всем своем великолепии и становится, несомненно, одним из главных архитектурных и эстетических символов столицы. Конечно, москвичи, которым придется подождать с въездом в новые квартиры, недовольны. Но таково извечное противоречие между сиюминутно-житейскими потребностями людей и великими созданиями зодчества, устремленными в века. (Вероятно, средства и силы, потраченные на возведение Храма Нотр-Дам в Париже, тоже можно было бы использовать для постройки домишек для парижан…)

Вернемся, однако, к тому, что, на мой взгляд, является бесспорным в творчестве и деятельности Зураба Церетели. Это — исключительный размах, широчайшие масштабы, неукротимая энергия, с какими он осуществляет свои скульптурные, зодческие, живописные и иные неиссякаемо возникающие у него замыслы. Он — и дизайнер, и график, и керамист. Он удивительный мастер мозаики, эмали, стекла, бронзы, пластика, дерева, мрамора, всяких других неожиданных и непредсказуемых материалов. При этом у него хватает энергии быть собственным управляющим делами, проектировщиком, прорабом, экономистом, финансистом и юристом. Будучи единогласно избранным президентом Российской Академии художеств, он сразу же взялся за коренную

ее перестройку и в прямом, и в переносном смысле. По его инициативе рождаются планы новых интересных мероприятий, экспозиций, зарубежных выставок, приходят новые люди, к заново отремонтированному зданию Академии присоединяются новые дома, помещения, выставочные залы. Все это благодаря неиссякаемой инициативе и энергии Зураба Церетели. И это — то, что бесспорно.

Глава тридцать вторая

…И опять, оставив в прошлом восьмидесятилетие, помчались годы, как всегда, незаметно подкрался год 85-й. И он принес мне большое горе — ушла из жизни Раиса Ефимовна, моя жена. Мы поженились с ней в 1930 году, то есть на пять лет превысили право на «золотую свадьбу». Но честно сказать, не всегда безоблачными были наши супружеские отношения. И причина тому всегда одна и та же — моя постоянная и незыблемая забота о первой своей жене и сыне, которых я не переставал любить. Назовите это, как хотите — двоеженством, двоесемейственностью, двоепривязанностью, двуличием или двусердечием, благородством или подлостью, но факт таков, что на протяжении более полувека для меня были одинаково дороги оба дома, обе семьи. Нелегко это было — что и говорить… Раза два или три мы с Раисой Ефимовной на этой почве разводились, а потом снова «сводились»… Но время — этот великий целитель и успокоитель (по-научному — «транквилизатор») — все уладило, все поставило на свои места, всех примирило и успокоило. Во многом благодаря появлению с обеих сторон внуков — сначала в 1949 году Витика, а в 1953 году Андрюши. Есть в русском языке выражение «усыновил», «удочерил», а я могу прибавить к ним — «увнуковил», что я проделал по отношению к Витику. И сегодня 50-летний Витя дружит с 46-летним Андрюшей, как с родным братом, а их жены — как родные сестры.

Рузя Борисовна, первая моя жена, ушла из жизни в 1969 году, и наш сын Миша прилетел на похороны из Японии через Аляску, США и Атлантику. Мы проводили Рузю Борисовну в последний путь, а жившего вместе с бабушкой Андрюшу с готовностью взяла на свое попечение Раиса Ефимовна, бабушка Вити. Прошу прощения у читателя, что запутал его в своих семейных сложностях. Но вряд ли многие могут похвалиться их простотой и однозначностью…

Последние годы своей жизни Раиса Ефимовна тяжко болела какой-то сложной и мудреной аномалией нервной системы. Это отражалось на всем. Особенно трудно приходилось нам в туристических поездках — в то время, как вся группа весело отправлялась на очередную экскурсию или на прогулку, мы уныло оставались в номере гостиницы, потому что жена себя неожиданно плохо почувствовала. И почти все блюда, что подавались в ресторанах, были ей противопоказаны.

В Москве приходилось систематически хлопотать о помещении ее в ЦКБ (Центральную клиническую больницу

Четвертого управления Минздрава, так называемую «Кремлевку»), Делалось это почему-то через… отдел культуры ЦК КПСС и всегда с большими трудностями. Я решился попытаться оформить постоянное прикрепление к клинике и обратился за содействием к министру культуры Петру Ниловичу Демичеву. Он выслушал меня очень сочувственно (возможно, сам хорошо знал, что такое часто болеющая жена) и, подумав, сказал:

— Я вас очень хорошо понимаю. Но сейчас крайне неудачный момент. Там как раз идет большое сокращение контингента.

— Петр Нилыч, — попытался я пошутить, — говорят, самое лучшее время поступить в какое-нибудь учреждение — это когда там идет сокращение штатов.

Демичев улыбнулся.

— Возможно, возможно. Но вот что я вам посоветую. Напишите-ка письмо с этой просьбой Михаилу Андреевичу Суслову. Он человек отзывчивый. Думаю, он для вас сделает.

Я выслушал этот совет с некоторым удивлением и даже недоверием. Суслов, член Политбюро и секретарь ЦК по идеологии, «серый кардинал» брежневского руководства, слыл человеком жестким и непреклонным, которому очень мало подходило определение «отзывчивый».

А может быть, Демичеву лучше знать? Чем я рискую?

Представьте же мое приятное удивление, когда через несколько дней мне позвонили и сообщили, что мы с женой прикреплены к Четвертому управлению. Позже я узнал, что на моем письме Суслов написал: «Прикрепить по категории персональных пенсионеров. Очень важно». Сусловская резолюция меня, не скрою, повергла в ошеломление… Правда, я, по состоянию здоровья, годами не беспокоил врачей ЦКБ, но зато с лечением жены стало несравненно проще, и я не могу не быть искренно признателен «серому кардиналу».

Жена была родом из Екатеринослава (Днепропетровска) на Украине, из весьма небогатой многодетной семьи — три брата и три сестры. Высокая, стройная, красивая, она уже в юности привлекала к себе внимание. Ею был увлечен сам приехавший в Екатеринослав Александр Вертинский, приметив на своем концерте хорошенькую гимназистку. Неизвестно, насколько серьезны были намерения «печального Пьеро», собирался ли он взять с собой за границу екатеринославскую красотку, но Шура, старший брат ее, заметив вовремя этот начавшийся флирт, надавал сестре пощечин, а Вертинского, явившегося в очередной раз с букетом цветов, образно говоря, спустил с лестницы.

Все три брата жены были убежденными и преданными членами коммунистической партии. А старший брат —

человеком, которому здорово везло. Я имею в виду Бориса Михайловича Волина — за семьдесят лет, прожитых им на белом свете, он не раз и не два попадал в ситуации, которые у других, как правило, добром не кончались. Трудно сказать, было ли это следствием простого везения, благоприятным для него расположением звезд или знаков зодиака — я не берусь судить. Более вероятно, что это следствие умения Бориса Михайловича разбираться в обстановке, понимать суть происходящих событий, чувствовать, куда и откуда дует ветер, а также — интуиция, позволяющая во время «перестроиться». Так, например, в начале 20-х годов в своей книжке «12 биографий» он писал о Троцком, что «благодаря его гениальному руководству, Красная армия разгромила белогвардейцев и вышвырнула из страны иностранных интервентов», а уже в 1925 году круто изменил свою точку зрения и на деятельность Троцкого смотрел другими глазами. Мне запомнилось торжественное собрание в Большом театре, посвященное двадцатилетию революции 1905 года. Мы оказались с Борисом Михайловичем в одной ложе. С докладом о событиях 1905 года выступал Троцкий, как всегда ярко, образно. Закончив речь, он уходил со сцены под аплодисменты зала. И тогда Волин очень громко сказал:

— Приветствуют уход Троцкого. И правильно делают.

Можно предположить с полным основанием, что такая «перестройка» во взглядах Бориса Волина, известного партийного публициста, большевика с 1904 года, пришлась по вкусу товарищу Сталину. Тем более, что в своем вышедшем громадным тиражом учебнике «Политграмота» Волин уже с абсолютной уверенностью сообщает, что подлинным организатором Красной армии является товарищ Сталин, под руководством которого Советская Россия отстояла свою свободу и независимость. Из «Политграмоты» Бориса Михайловича Волина мы узнаем:

«…Сталин — общепризнанный вождь нашей большевистской партии. …Сталин — самый близкий, самый лучший ученик Ленина, наиболее опытный пролетарский революционер, лучший теоретик нашей партии. Сталин усвоил глубочайшие основы учения Маркса — Ленина и развил его дальше. Сталина любят, Сталиным гордятся, к Сталину прислушивается весь международный пролетариат и угнетенные массы мира».

Разумеется, не один Волин патетически восхвалял Сталина как великого и мудрого «Вождя и Учителя», продолжателя дела Ленина и тому подобное. Должны были об этом писать поневоле многие старые большевики, в том числе и раскаявшиеся оппозиционеры, что редко кого из них спасало от ареста, ссылки или расстрела. Но Бориса Михайловича эти беды не коснулись,

ему выпал счастливый жребий. Хотя в страшном тридцать седьмом году у него, как и у многих деятелей партии, стояла наготове сумка с теплыми вещами на случай прихода незваных ночных гостей…

…Я впервые увидел Бориса Михайловича в 1920 году в Харькове на многолюдном митинге в цирке «Миссури». Он был в то время председателем харьковского Губревкома. Волин поразил меня своей яркой, сильной речью, призывавшей к отпору врагам, защите Советской Республики. Я не раз встречал его и в последующие годы в Москве, где он стал личностью весьма известной и популярной. Он умело сочетал в себе отличного литератора-публициста, деловитого и компетентного редактора, деятельного и энергичного администратора.

Мое личное знакомство с Волиным началось, когда он пришел в редакцию «Известий» в качестве заместителя нового редактора И. И. Скворцова-Степанова. Не раз Борис Михайлович принимал и утверждал к печати мои рисунки, но более близких отношений у меня с ним не было до тех пор, пока…

Как-то мы с женой в театре в антракте увидели Бориса Волина с супругой. К моему удивлению, он поздоровался с Раисой Ефимовной и с какой-то шутливой интонацией спросил:

— Как поживает твоя мама?

— Спасибо, — сухо ответила моя жена. — Здорова.

На этом их разговор окончился, супруги Волины отошли, и я с интересом задал вопрос:

— Ты, оказывается, знакома с Борисом Волиным?

— Да. Знакома. Это мой родной брат, — и жена сердито повторила — Как поживает твоя мама?! Какая свинья! Еще спрашивает… А сам месяцами не удосуживается заехать ее проведать!

Возможно, что Борис Михайлович был не слишком внимательным сыном, но братом в свое время он показал себя достаточно заботливым. Его хорошо знал Ленин, о чем, между прочим, свидетельствует известная фотография, на которой Волин стоит рядом с Лениным и Свердловым на открытии временного памятника Марксу и Энгельсу на Театральной площади Москвы 7 ноября 1918 года. Так вот, по просьбе Бориса Михайловича его сестра была принята на работу в секретариат Совнаркома одним из технических секретарей. Кстати сказать, не раз Раисе Ефимовне доводилось печатать на машинке под диктовку Владимира Ильича. Сам Волин в это время был направлен на Украину, где занимал, главным образом, административные посты — был председателем губисполкомов в нескольких городах. Вернувшись в Москву в 1921 году, перешел

на партийно-публицистическую деятельность, в частности, стал редактором столичной газеты «Рабочая Москва», журнала «На посту». Это дало мне повод изобразить его в дружеском шарже, в виде часового, стоящего «на посту» с игрушечным ружьем на плече. Шарж позабавил Волина, но он не преминул мне сказать:

— Что это вы нарисовали меня каким-то толстым буржуем?

В 1924 году Волин был направлен на дипломатическую работу. Он занял пост секретаря советского полпредства (посольства) в Париже. И тут тоже дала себя знать его братская забота — моя будущая жена поехала в Париж одним из сотрудников советского торгпредства. Во Франции Борис Михайлович пробыл недолго. Темпераментный, боевой характер его сказался в том, что он выступил с яркой пропагандистской речью на рабочем митинге, организованном Французской коммунистической партией. Это никак не соответствовало его дипломатическому статусу, разразился крупный скандал, Волин был объявлен «персоной нон грата», и ему пришлось, естественно, расстаться с Парижем.

Вернувшись в Москву, Волин занимает ряд ответственных постов. Я уже упоминал его приход в «Известия» в качестве заместителя главного редактора. Потом снова заграничная работа: заведующий отделением ТАСС в Вене. Четыре года он в должности заведующего отделом печати Наркоминдела. Несколько лет начальник Главлита. На этом посту он проявляет строгую партийную бдительность, вплоть до того, что не дает разрешение на выпуск в свет известного романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», о котором он отозвался, как «о похождениях жулика в стране дураков». С точки зрения своей должности главного партийно-литературного цензора он правильно уловил смысл романа, как беспощадную и острую сатиру на советский быт и нравы, на всю советскую систему. Тем не менее, роман со многими купюрами вышел в свет, и по сей день — это любимейшее произведение нашей сатиры, а его главный герой — Остап Бендер — стал нарицательной фигурой наряду с такими классическими персонажами, как Хлестаков или Чичиков.

После Главлита Борис Михайлович занимал пост первого заместителя народного комиссара просвещения Андрея Бубнова. Он и здесь проявил свой крутой нрав. К примеру, дал строгое указание, чтобы его подпись на официальных бумагах — первый заместитель — обозначалась обязательно римской цифрой, что и привело к тому, что за ним прочно установилось прозвище Первый Римский.

Волину и тут не изменило везение: в 1937 году была

арестована вся коллегия Наркомпроса, не исключая и самого Андрея Бубнова. Избежали ареста только вдова Ленина Крупская и Борис Волин.

Счастливая звезда Бориса Михайловича проявила себя и в суровых событиях Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года он был направлен на фронт с чтением лекций, и в районе города Дорогобужа воинская часть, в которой он находился, попала в окружение. Дорогобуж был занят немецкими войсками, и Волину, как советскому пропагандисту и видному члену партии, грозила смертельная опасность. Но Борис Михайлович проявил незаурядное самообладание и находчивость. Он выдал себя за профессора МГУ Новицкого, проводившего отпуск в деревне под Дорогобужем. Этому способствовал его пожилой возраст и отрощенная им седая борода. Свой партийный билет он где-то закопал. Немцы его не тронули, а он вскоре смог наладить связь с местными партизанами и организовал подпольную партгруппу. Военные действия на этом участке фронта продолжались, наши войска на короткое время освободили Дорогобуж, и Волин получил возможность вернуться в Москву, к счастью, до того, как в Дорогобуже появились гестаповцы, которые, несомненно, быстро разоблачили бы мнимого «профессора Новицкого» и его связь с партизанами. Но Борису Михайловичу повезло не только в этом. Хорошо известно, что люди, вернувшиеся из окружения или из плена, неизменно вызывали к себе подозрение и зачастую отправлялись за колючую проволоку. Волин не только избежал подобной участи, но получил новый партбилет и даже почетную награду — Партизанскую медаль 1-й степени.

После войны Борис Михайлович полностью посвятил себя партийно-исторической работе, стал научным сотрудником Института Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. В эти годы мы с женой часто бывали в огромной квартире Волиных, которую Борис Михайлович получил в престижном Доме на набережной, любовались собранной им огромной библиотекой редких книг. Помню, какой радостью было для него рождение внучки Катеньки, которую он буквально обожал. Я присутствовал как-то при забавной сцене, когда Борис Михайлович, держа на руках крохотную Катеньку, с умилением протягивал ее деду со стороны отца, известному художнику Василию Яковлеву, со словами:

— Василий Николаевич! Хотите подержать эту прелесть?

А Яковлев с испугом отмахивался со словами:

— Нет, нет. Ради Бога, Борис Михайлович, не надо! Я их боюсь…

Борис Михайлович посмотрел на Яковлева с искренним

недоумением. Подобное прохладное отношение деда к внучке казалось Волину, видимо, чем-то противоестественным. Он был настоящий, искренний, любящий семьянин. И можно себе представить, каким ударом явилась для него неожиданная кончина Дины Давыдовны, его жены. Он недолго прожил после нее.

…Сложной, богатой событиями, и радостными и суровыми испытаниями была жизнь Бориса Михайловича Волина. Как и многие другие, он человек своего времени. И я лично поминаю его добром.

Менее счастливо сложилась судьба второго брата моей жены, Александра. Военный летчик в годы Гражданской войны, в последующие годы он стал активным деятелем советского воздушного флота, работал в коллективе А. Н. Туполева, был на ответственной работе в США, связанной с деятельностью нашей военной разведки. Естественно, наряду с другими нашими разведчиками был обвинен в передаче военных секретов, отозван в Москву и расстрелян как «враг народа». После смерти Сталина был, разумеется, реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

Третий брат — Герман, тоже правоверный коммунист, был направлен райкомом на работу в органы НКВД. Проявил себя толковым следователем, но после ареста брата его немедленно изгнали. В первые дни Великой Отечественной войны вступил в народное ополчение, участвовал в боях под Москвой. Но соответствующие бдительные органы, обнаружив, что у Германа имеется репрессированный брат, сочли его участие в обороне страны опасным и уволили из армии, чем, по сути дела, спасли ему жизнь, поскольку, как известно, народное ополчение почти целиком полегло в первые же месяцы войны. В мирное время Герман увлекся кинематографией. Написал несколько сценариев для документального кино — такие как «Рукописи Ленина», «Плюс электрификация» и другие. Был отмечен Государственной премией СССР и другими наградами.

Старшая сестра жены Ася была в большой дружбе с Борисом, который вовлек ее в революционное движение. В годы Гражданской войны она стала членом большевистской партии и погибла в дни известного григорьевского мятежа.

Самая младшая в семье — Софья. Ее жизнь сложилась тоже достаточно сложно. Тут, очевидно, сыграл свою роль и неудачный брак… Ее мужа звали Леонид Черток… Кто такой? Вряд ли кто сможет ответить. Но вот что пишет о нем известный писатель Анатолий Рыбаков, романы которого, и это все знают, основаны на достоверных фактах:

«…Черток, самый страшный следователь в аппарате НКВД, садист и палач, держал арестованного на «конвейере» — по сорок восемь часов без сна и пищи, избивал нещадно, подписывал в его присутствии ордер на арест жены и детей…»

…Сестра моей жены Соня как-то на катке познакомилась с высоким, дюжим молодым человеком, который стал проявлять к ней большое внимание. Вскоре после первого знакомства он заявил Соне о своих серьезных намерениях и, как говорится, предложил ей руку и сердце. Соня согласилась. Черток отрекомендовался сотрудником НКВД, поэтому, прежде чем пожениться, необходимо было пройти своего рода смотрины — то есть надо, чтобы избранница Чертока пришлась по вкусу в доме грозного шефа НКВД Генриха Ягоды, где, как оказалось, Черток был своим человеком. При этом, решающее значение имело мнение супруги Ягоды, Иды Леонтьевны. Смотрины прошли благополучно — хорошенькая, бойкая на язык, Соня понравилась высокопоставленным супругам. Таким образом, женившись на сестре моей жены, Леонид Черток стал моим свояком.

За довольно короткое время наша милая скромная Соня преобразилась в самоуверенную светскую даму, она теперь вращалась в обществе высоких чинов НКВД. Молодые супруги получили большую комфортабельную квартиру в огромном жилом доме НКВД на Кузнецком мосту. Мы с женой там бывали, захаживал туда и Борис Волин, в ту пору начальник Главлита. Мы, естественно, мало что знали и, тем более, не расспрашивали о служебной деятельности Леонида и воспринимали его только как общительного и гостеприимного родственника, хотя между собой частенько посмеивались над его грубоватостью, дешевыми остротами.

Черток вскоре счел необходимым, чтобы его жена тоже стала сотрудником НКВД. И ему, несомненно, не стоило большого труда устроить ее на работу в ЭКУ (Экономическое управление НКВД). Теперь летний отпуск Соня проводила на престижных дачах своего учреждения, иногда милостиво приглашая пожить там своего племянника, сына старшей сестры.

Но время шло, и над благополучием супругов Черток начали сгущаться тучи, а затем грянула гроза: Генрих Ягода утратил доверие и благосклонность Сталина, поскольку, по мнению Хозяина, слишком много знал, в частности, об обстоятельствах убийства Кирова, а также был уличен в связях с Бухариным и Рыковым. На руководство НКВД Сталин назначил Ежова, первой задачей которого была чистка аппарата НКВД, людей, близких к Ягоде. Попали за решетку все его заместители, начальники отделов, следователи. А вскоре арестовали и самого Ягоду.

Зловещая тревога воцарилась и в доме Чертока. Навещая в эти дни старшую сестру, Соня рассказывала, как Черток в совершенно невменяемом состоянии мечется по квартире, приговаривая: «Вот тебе и Генрих Ягода… Вот тебе и сталинский нарком…»

А приходя со службы, Черток с ужасом рассказывал, как он встречает в коридоре обросших бородами своих вчерашних коллег по работе, которых под конвоем ведут на допрос. И понимает, что то же самое в ближайшее время ожидает его самого.

Мы слушали бледную перепуганную Соню и по-человечески ей сочувствовали, хотя уже кое-что знали о характере работы самого Чертока: тетя Лиза (тетка моей жены и Сони) была хорошо знакома с мужем племянницы, однажды супруги Черток даже были у нее в гостях. И так случилось, что муж тети Лизы, инженер-путеец, был арестован среди тысяч других ни в чем не повинных людей. Но ему повезло — через несколько месяцев он вышел на свободу. И оказалось, что первым следователем по его делу был не кто иной, как муж племянницы — Леонид Черток, который на первом же допросе стал нещадно бить его по лицу. А муж Лизы, совершенно ошеломленный, только бессмысленно повторял: «Леня, что вы делаете? Леня, что вы делаете?..»

Но это только усиливало следовательскую ярость Чертока…

Все это тетя Лиза рассказала нам со слезами на глазах, под большим секретом.

…За Чертоком пришли, вопреки обыкновению, не ночью, а среди бела дня. Когда Соня, услышав звонок, спокойно открыла входную дверь и Черток увидел сумрачные лица своих коллег по работе, он на глазах у всех ринулся к двери на балкон, рванул ее и выбросился на улицу с восьмого этажа. Пришедшие чекисты в растерянности ретировались, а через несколько минут примчался один из высших чинов НКВД комкор Фриновский.

— В чем дело? — допытывался он у Сони. — Почему он это сделал? Он что-то такое знал?

(Между прочим, и сам Фриновский был арестован через несколько дней.)

Поступок Чертока, как ни странно, был весьма редким в ту страшную пору. Не покончили самоубийством ни сам Ягода, ни его заместители Агранов и Прокофьев, ни десятки и сотни других сотрудников НКВД — испытанных кадров «железного» Феликса Дзержинского и не менее «железного» Генриха Ягоды. Когда Ежов начал порученную ему Сталиным чистку аппарата НКВД, они отлично понимали, какая участь их ждет, но шли на заклание покорно, как овцы.

Я вспоминаю, забегая вперед всего на несколько месяцев, как мне довелось присутствовать на процессе «правотроцкистского блока», где на скамье подсудимых в числе других сидел и Генрих Ягода. Я слышал своими ушами и последнее слово подсудимого, которое он произнес. Ягода полностью признан свою вину, раскаивался в своих преступлениях и буквально молил сохранить ему жизнь. Предполагая (возможно, и правильно), что все происходящее на процессе слушает по специальному проводу сам Сталин, Ягода плачущим голосом говорил:

— …Пусть сквозь решетку тюрьмы, но я хотел бы увидеть своими глазами, как под гениальным руководством товарища Сталина растет и ширится строительство социализма в нашей стране!

Этот жалкий лепет был, конечно, мало похож на прыжок с восьмого этажа, который, видимо, произвел некоторое впечатление даже на новое, «ежовское» руководство НКВД. И вероятно, только этим можно объяснить, что Соню сразу не тронули, как жен других арестованных. И она, быстро собравшись, уехала с двухлетней дочкой из Москвы — «с глаз долой» и тем, по всей вероятности, избежала ареста.

…На какое-то короткое время Черток стал предметом разговоров и пересудов, но скоро его забыли — время было богато более значительными событиями.

Шли годы, Соня вновь вышла замуж, и брак ее был более счастливым. Потом и ее не стало, а дочка от Чертока выросла, обзавелась своей семьей, в которой вряд ли вспоминали малоприятного предка.

Трудовая биография Раисы Ефимовны (как я уже упоминал) начинается не совсем обычно — в 1920–1921 годах она работает в Москве в секретариате Ленина, под начальством строгой и жесткой Лидии Фотиевой в качестве секретаря-машинистки. Повседневно, не испытывая особых эмоций, видит она приходящих на прием к Ленину членов правительства — Троцкого, Рыкова, Луначарского, Каменева, Сталина… Кстати, в секретариате работала и Надежда Аллилуева, и девушки-сотрудницы сплетничали между собой — «зачем это Наде, такой милой и привлекательной, понадобилось выходить замуж за этого угрюмого рябого грузина, который, говорят, уходя из дома, из ревности запирает ее на замок». Жена рассказывала, что Ленин, когда работа затягивалась до позднего вечера, неизменно просил кого-нибудь из своих соратников, чаще всего Феликса Дзержинского, развезти девушек по домам.

В дальнейшем, после смерти Ленина, жена работала в секретариате Чичерина, наркома иностранных дел, затем в

Наркомвнешторге, долгое время в так называемом Остехбюро, занимавшемся реактивной и ракетной техникой, других учреждениях, не менее серьезных, и только к 60 годам стала домашней хозяйкой. И с этого времени начались ее недуги. Прошло еще несколько лет, и исчезла былая стать и красота, чему немало способствовала борьба за внука, о которой я уже упоминал, принесшая Раисе Ефимовне неизлечимый паралич лицевого нерва.

…Мы пришли в больницу втроем. Это было 29 сентября 1985 года. Точная дата осталась в памяти потому, что в этот день я в последний раз видел в живых свою жену, сын — свою мать, внук — свою бабушку. Раиса Ефимовна была в забытьи, никак не реагировала на наш приход. Мы молча сидели возле ее постели. И вдруг она открыла глаза и посмотрела на нас совершенно ясным, разумным взглядом.

— Боря… Алик… Витенька… — отчетливо произнесла она.

Мы обрадовались: это явное улучшение! Она выздоравливает!

— Да, да, Раинька, — сказал я, — это мы пришли тебя проведать.

Она закрыла глаза. Вошедшая сестра напомнила, что время посещения закончено. Больной нужен покой. И сказала при этом, что в последние дни состояние у Раисы Ефимовны стало гораздо лучше.

А наутро из больницы позвонили, что жена умерла. Оказалось — не улучшение, а прощание…

…В том году было, разумеется, не только это печальное событие. Хочу вспомнить и о событиях приятных, соседствующих (такова жизнь…) с бедами. Я второй раз гостил у сына в Японии. После двух- или трехгодичного перерыва, он снова занимал должность заведующего представительством Агентства печати новости в Токио, и я пятнадцать лет спустя опять получил возможность увидеть и древнюю экзотику, и современные чудеса этой удивительной и безгранично удивляющей страны. Я был приветливо принят в редакциях некоторых газет и даже кое-что для них нарисовал. В дружеской беседе в одной из редакций кто-то из японцев спросил:

— Скажите, Ефимов-сан, в чем секрет, что вы, в вашем возрасте, совершаете столь далекие путешествия и еще способны работать? Поделитесь секретом.

Японцы отнюдь не лишены чувства юмора, и я ответил на этот вопрос шуткой:

— Видите ли, секрет — потому и секрет, что он не подлежит разглашению. Поэтому я не имею права им поделиться. Но могу, если хотите, рассказать вам кавказский анекдот. Как-то

торжественно чествовали одного долгожителя. И, как водится, спрашивали, что он делал, чтобы достичь такого возраста. Долгожитель очень охотно поведал, что он сроду не пил ничего спиртного, не курил, очень умеренно ел, не увлекался женщинами, рано вставал и рано ложился спать. Все слушали очень внимательно, как вдруг тишина в зале была нарушена каким-то шумом, хохотом, неприличными ругательствами. Раздались крики: «Что за безобразие! Хамство! Уберите хулигана!» Но долгожитель обратился к аудитории: «Товарищи! Успокойтесь! Не обращайте внимания! Этот пьяница, курильщик, бабник, обжора, гуляка — мой старший брат».

Анекдот очень понравился, и о «секрете» больше не было речи.

Более значительные события происходили, естественно, в большой политике — внутренней и международной! Нелишне напомнить, что управление нашей огромной страной и решение ее повседневных проблем и судеб находилось в руках небольшой группы членов Политбюро и генерального секретаря ЦК КПСС — товарищей преклонного возраста. С точки зрения геронтологии — это, несомненно, было весьма любопытно и поучительно, но среди масс начинало вызывать тревогу. Однако незыблемые законы природы стали брать свое. И первым ушел в мир иной Михаил Суслов. По этому поводу родилась мрачная острота — «Великий почин»… И действительно, августейшие долгожители стали покидать мир один за другим. Ушел впавший в полный маразм, весь усыпанный золотыми звездами, орденами, медалями и непочтительными анекдотами Леонид Брежнев. Следующие генсеки — Юрий Андропов и Константин Черненко — продержались в высочайшем кресле каждый по году и тоже «почили в бозе». По логике вещей, к власти должен был прийти Виктор Гришин, соответственно переваливший за семьдесят, но тут, неожиданно для многих, произошло событие, оказавшееся, безусловно, всемирно-историческим по масштабу и последствиям — генеральным секретарем ЦК КПСС, то есть лицом, принимавшим в свои руки огромную, почти неограниченную власть, был избран молодой (сравнительно), но уже приобретавший определенную популярность, недавний первый секретарь крайкома из Ставрополя, а в настоящий момент занимавший относительно скромный пост секретаря ЦК по сельскому хозяйству, Михаил Горбачев. И он быстро стал фигурой мирового масштаба. Надо сказать, что и до избрания генсеком Горбачев бывал за рубежом, общался там с видными политическими деятелями и производил очень хорошее впечатление своей общительностью, раскованностью, умением

складно и живо говорить «без бумажки», что резко отличало его от ранее бывавших на Западе советских руководителей. Говорили, что такая авторитетная на Западе личность, как Маргарет Тэтчер, лидер консервативной партии и премьер-министр Англии, сказала после встречи с Горбачевым: «С этим можно иметь дело». Это были предвестники окончания нелепой и изнурительной для нас «холодной войны», тянувшейся десятки лет. Но главное было впереди — Горбачев, на мой взгляд, вошел в историю тем, что избавил людей, если не навсегда, то надолго, от леденящего страха перед ядерной войной, тяжелым кошмаром нависшей в ту пору над человечеством. Вспомним, как тогда по любому поводу, при любой неприятности или огорчении звучала, как заклинание, фраза: «…Пусть так, но лишь бы не было войны». Вспомним кинокадры, на которых мы видели, как толпы молодежи в Америке, во Франции, в Германии окружали автомобиль Михаила Горбачева с восторженными криками: «Горби! Горби! Горби!» Как было нам не гордиться своим генсеком.

Но приход Горбачева к руководству принес радикальный перелом не только во внешней политике Советского Союза и, тем самым, в международных делах мирового масштаба, он вызвал также коренные, важные и принципиальные перемены в общественной жизни нашей страны. Стало возможным то, что годами и десятилетиями было немыслимо и влекло за собой крупнейшие неприятности — высказывать собственное мнение, не совпадающее с официальным. Стало возможным упоминание таких имен, на которых лежало свинцовое табу, закрылись «психушки», в которые упрятывались инакомыслящие, стали возможными откровенные, самостоятельные, смелые выступления на заседаниях Верховного Совета, где раньше допускались только единодушное «одобрямс» и чтение по бумажке утвержденных начальством речей, а также «бурные, долго не смолкающие аплодисменты». Заседания Верховного Совета, в прошлые годы нагонявшие скуку своей казенщиной, стали живыми и интересными. По инициативе Горбачева в Москву был возвращен инакомыслящий номер один — академик Андрей Сахаров, попавший при Брежневе в жестокую опалу. Теперь он был избран в Верховный Совет.

К сожалению, Горбачев не удержался на этой высоте, начал проявлять политическую близорукость и делать крупные ошибки. Он удалял от себя людей порядочных и разумных, к нему стали втираться в доверие карьеристы, интриганы, проходимцы. Отсутствие продуманной экономической программы, проведение сомнительных кампаний, вроде антиалкогольной, возникновение тотального дефицита продуктов и товаров тоже не

способствовали популярности Михаила Сергеевича. Очень повредили репутации Горбачева и кровавые события в Баку, Тбилиси, Вильнюсе и других местах, а также непонятная история с пресловутым «путчем» 1991 года.

Но он достойно и мужественно ушел со своего президентского поста во избежание опасного обострения конфронтации, грозившей перейти в гражданскую войну, оставшись в истории первым и единственным президентом Советского Союза.

Видел и слышал Горбачева я только на экране телевизора, пока не оказался с ним лицом к лицу в Кремлевском зале, когда он вручал награды большой группе деятелей искусства. Было это в ноябре 1990 года.

…Я сижу в первом ряду расположившейся амфитеатром группы награжденных, рядом с моей давней и доброй приятельницей Марией Мироновой, удостоенной на склоне лет звания народной артистки Советского Союза, по всеобщему мнению, заслуженного ею значительно раньше. В этом же ряду — знаменитый клоун и киноактер Юрий Никулин, которого, как и меня, ожидает золотая звездочка Героя. Перед нами стол, на котором приготовлены соответствующие дипломы и нагрудные знаки. Минуты напряженного ожидания, и в зал входит Михаил Горбачев. Мы, стоя, приветствуем его дружными аплодисментами. Президент, как водится, ответно аплодирует нам. Горбачев произносит несколько любезных вступительных слов о высоком значении искусства, о том, что в нашей стране народ ценит и уважает его деятелей. Потом начинается церемония награждения. Помощник президента выкликает по списку фамилии, передавая Горбачеву соответствующий диплом и футлярчик с нагрудным знаком. Горбачев с приветливой улыбкой вручает их награжденному. Некоторым он при этом говорит два-три любезных слова. Дошла очередь и до меня. Кое-кто из моих знакомых, смотревших все это в передаче по телевидению, утверждал, что, когда назвали мою фамилию, я буквально сорвался с места и побежал к президенту крупной рысью. Конечно, это преувеличение — я не бежал, но, действительно, шел очень быстро, возможно, несоответственно своему возрасту. А знакомым я шутя отвечал: дескать, торопился потому, что «опасался, как бы не передумали». Горбачев вручил мне диплом и два футлярчика — с Золотой Звездой и орденом Ленина, положенным в данном случае, и, пожимая мне руку, сказал, улыбаясь, что, будучи еще школьником, вырезал из газет и журналов мои карикатуры и вклеивал их в особую общую тетрадь.

— Спасибо, Михаил Сергеевич. Мне очень приятно это слышать, — ответил я и прибавил: — И мне очень приятно впервые видеть вас воочию, своими глазами. А то только по телевизору…

Горбачев засмеялся и снова пожал мне руку, полагая, видимо, что разговор окончен. Но я вдруг, неожиданно для себя самого, сказал:

— Позвольте, Михаил Сергеевич, несколько слов.

— Пожалуйста. — Горбачев не без легкого удивления подвинул ко мне микрофон.

Откровенно говоря, я не готовил никакого выступления, но мне показалось, что просто повернуться и пойти на свое место как-то недостойно в такой необычной и, в своем роде, «исторической» для меня ситуации.

— Дорогой Михаил Сергеевич, дорогие друзья, — начал я. — Я принадлежу к поколению, которое называют «ровесниками века». Это те, кому сегодня за девяносто. И я хотел бы сказать здесь несколько слов от имени очевидцев и в какой-то мере участников многих событий прошлого. К этому прошлому сегодня относятся не всегда справедливо и не всегда уважительно. А между тем, в нем бывало и кое-что хорошее. Недавно в одном из своих выступлений Михаил Сергеевич упомянул своего деда, говорил о его честной, добросовестной трудовой жизни. И мне было очень приятно читать эти добрые слова о нашем старшем поколении. Ведь тем самым признается, что высокие награды, полученные нами сегодня, мы заслужили своей работой в те давние, прошлые года. И это для нас весьма радостно и важно.

Мою небольшую речь присутствовавшие выслушали вполне благосклонно и даже похлопали в ладоши, а Горбачев одобрительно кивнул.

Но прошло всего несколько месяцев — и почетные звания «Народный артист СССР», и «Народный художник СССР», и «Герой Социалистического труда», столь гордо звучавшие в тот день, превратились в пустой звук, поскольку перестал существовать этот самый СССР и сам его президент Михаил Горбачев всенародно отказался от своего поста.

Девяносто первый год принес немаловажное историческое событие — на месте мировой сверхдержавы, мощной Советской империи, возникло нечто малопонятное и аморфное под названием Содружество независимых государств (СНГ). В чем состояло это содружество и от кого эти государства были независимы — никто не брался объяснить. Вместо единой, суровой, но твердой власти, и горизонтальной, и вертикальной, на огромных пространствах бывшего Советского Союза

воцарились полнейшая дестабилизация, сепаратизм, началась открытая и непримиримая борьба за власть между различными партиями, группировками и отдельными личностями. С огромной силой вспыхнули националистические настроения в бывших советских республиках, подогреваемые горе-политиками. А крупнейшую из них — Российскую Федерацию — раздирала открытая, на глазах у всей страны, я сказал бы, неприличная драка за власть между президентом и Верховным Советом, возглавлявшимся искусным и ловким политиком. Миллионы людей следили за этой борьбой по телевизору, как за захватывающими спортивными состязаниями. Но тут речь шла не о почетных кубках или чемпионских титулах, а о судьбах страны. Эта борьба с каждым днем обострялась, ожесточалась, накалялась и наконец достигла своей кульминации. И, как где-нибудь в Латинской Америке, заговорили автоматы и танки: Войска, которые в поддержку президенту Борису Ельцину привел ставший на его сторону «лучший министр обороны всех времен и народов» Грачев, открыли ураганный огонь по «Белому дому», который занимали Верховный Совет во главе с Русланом Хасбулатовым и вице-президентом Александром Руцким и поддерживающие их вооруженные отряды.

Наша семья имела возможность видеть своими глазами это зрелище, напоминающее военный переворот где-нибудь в Мексике, Колумбии или Чили, из окон нашей квартиры, расположенной как раз напротив «Белого дома» на другом берегу Москвы-реки. Мы видели, как прямой наводкой били стоявшие у нашего дома танки и как черными пятнами разрывов покрывался нарядный «Белый дом». От грохота орудий весь наш дом содрогался. Вспомнив опыт Великой Отечественной войны, я предложил заклеить стекла окон полосками бумаги, и стекла уцелели. Некоторые жильцы нашего дома спустились в подвал, а моя молодая сноха Верочка, жена внука, не на шутку испуганная, предложила добраться до Киевского вокзала и уехать на дачу.

— Поезжайте, поезжайте, — сказал я, — а я, пожалуй, останусь. Я это уже проходил в свое время, в Киеве.

Но канонада скоро утихла. «Белый дом» — капитулировал: И мы видели, как из него выводили «пленных» депутатов Верховного Совета. Среди них были Хасбулатов и Руцкой. Будь это в Мексике или в Парагвае, их, наверно, поставили бы к стенке. Но в нашей цивилизованной стране их вежливо отправили в тюрьму.

Борьбу выиграл Ельцин.

Остается добавить, что в эти драматические события вплелось весьма приятное семейное обстоятельство. Раздался

звонок из Японии. Старший советник нашего посольства в Токио Андрей Ефимов извещал меня, что у него родился сын, а у меня — правнук.

— Спасибо! — закричал я. — Наконец-то давно желанный продолжатель моего рода. А то одни девочки.

— А что это там за грохот? — спросил Андрей.

— Это салют в честь его рождения, — пошутил я.

Какой же строй установился в стране после блестящей победы Ельцина? Подлинно демократическая республика? Долгожданное народовластие? Президентская республика? Ни то, ни другое, ни третье. Возникло нечто, не имеющее аналогов в цивилизованном мире. Больше всего это похоже на самодержавную монархию, где страной правит придворная камарилья. Словно при дворе средневекового монарха, Кремль кишит интригами, закулисными комбинациями. Неожиданные, непредсказуемые отстранения и возвышения, министерская чехарда… В занятии многих высоких государственных постов имеет решающее значение игра с президентом в теннис или другое умение ему угодить. Временщики приходят и уходят, и никто не может понять, почему воссияла или почему погасла та или иная карьера. И рядом с этой псевдодемократической монархо-президентской властью страной правит реальная, теневая олигархия — власть денег. Неведомо откуда взявшиеся, вчера никому не известные личности неведомо какими путями стали обладателями несметных капиталов — сотен миллионов и миллиардов долларов! И у них аппетиты побольше, чем у тоже внезапно разбогатевших, простоватых «новых русских», довольствующихся покупкой поместий где-нибудь в Испании или Греции, а также приобретением многоместных «мерседесов». Долларовые магнаты, ставшие самой настоящей мафией, тянутся к политической власти в стране. Или, по крайней мере, к слиянию с придворной президентской камарильей. Эта мафиозная олигархия уже наложила лапу на прессу и телевидение. Читая ту или иную газету, знакомясь с тем или иным мнением ее обозревателей, теперь полезно знать, каким концерном, фондом, банком или акционерным предприятием она закуплена.

Мне думается, что во всех этих темных прискорбных явлениях нельзя винить лично Ельцина. В свое время он показал себя принципиальным и честным борцом против привилегий, коррупции, партийно-командного режима. И помним, какую всенародную популярность он завоевал своими выступлениями и каким он подвергался тогда гонениям. Мы помним, как он, стоя на танке, мужественно призывал сопротивляться путчу 1991 года, как он, по сути дела, выручал блокированного в Форосе

Горбачева. Мы помним, как он решительно и дельно начал экономическую реформу в стране. Но… времена меняются и вместе с ними меняются, видимо, и люди. Оказалось, что у яростного борца против привилегий личных и семейных резиденций больше, чем их было у царя Николая II и у Сталина, вместе взятых. Подобно Горбачеву, он стал ошибаться в людях, доверяя проходимцам, подхалимам, карьеристам. Нельзя отказать уважаемому Борису Николаевичу в решительности и твердости характера, однако эти ценные для руководителя качества иногда были направлены, увы, не туда, куда следует. Но так или иначе, личность Ельцина и период его правления так же войдут в историю нашей страны, как в нее вошли «хрущевская оттепель», «брежневский застой», «горбачевская перестройка».

…Перебираю в мыслях все, что мною написано для этой книги. Вернее, не написано, а продиктовано. За машинкой сидит мой внук Витя. Но он не просто печатает под мою диктовку — мы работаем с ним в тесном соавторстве, внимательно и придирчиво обсуждая каждую фразу, каждое определение, каждое слово и эпитет. По воспоминаниям Евгения Петрова мы знаем, какой сложной и трудной была их совместная работа с Ильфом. Да, писать вдвоем — непросто. Мнения, суждения, точки зрения и, наконец, просто литературные вкусы далеко не всегда совпадают. И неизбежно возникают разногласия, споры, препирательства и даже ссоры. Просто удивительно, что в этих условиях наша работа близится к благополучному концу.

Так вот, мысленно перелистывая то что написано (напечатано на машинке), я вижу, как много, ох, как много событий, переживаний, наблюдений, интересных встреч, драматических и комических эпизодов остается за пределами этой книги. И это естественно — мыслимо ли охватить все, что пережито за почти десять десятилетий. И притом — далеко не все стоит вспоминать, хочется вспоминать, надо вспоминать…

Большую часть этих строк я продиктовал в марте 1998 года. Чуть больше двух лет отделяло меня от столетия. Оно неминуемо придет для меня, если не в этом мире, то в ином, но, оставаясь пока что здесь, на грешной земле, я должен поторапливаться не только с воспоминаниями о прошлом, но и рассказать о своем настоящем.

Я отнюдь не «лежу на печи». Мои очерки, воспоминания, интервью со мной систематически печатаются в газетах и журналах. Беседы со мной передает телевидение, их можно услышать по радио. Я выступаю на заседаниях и юбилейных вечерах в Академии художеств, Центральном доме работников

искусств, Доме журналиста, Центральном доме литераторов. Произношу вступительные речи на вернисажах художественных выставок, принимаю участие, когда это нужно, в хождениях по высоким инстанциям, на семейных и дружеских застольях «работаю» тамадой, читаю стихи, исполняю романсы и частушки, запеваю хоровые песни. Что это в моем возрасте? Чудачество? Нелепость? Бравада? Не знаю. Может быть, эта активность не по годам является инстинктивным стремлением уйти от того безрадостного факта, что я остался один от своего поколения. Может быть, где-то есть мои ровесники, но я их не знаю. Самым близким мне по возрасту был Николай Соколов, последний из знаменитой тройки художников КУКРЫНИКСОВ.

…Стали крылатыми строчки Роберта Рождественского — «Не только груз — мои года, мои года — мое богатство». Я мог бы перефразировать эту поэтическую сентенцию так: «Не только богатство мои года, мои года — тяжкий груз». В самом деле, разве не тяжелым грузом лежит на душе сознание, что никто-никто не остался на белом свете из многочисленных друзей, хороших знакомых, добрых приятелей, товарищей и коллег по работе в газетах и журналах, спутников по фронтовым путям-дорогам, туристическим поездкам. За редкими исключениями, все они ушли в «мир иной», оставив меня своим представителем в этом мире. Не страшно ли, что, рассказывая о событиях прошлого, я не могу на кого-то сослаться: «А вы спросите такого-то. Не даст соврать — ведь он при этом был». И я имею полную возможность «соврать» — ведь проверить или опровергнуть некому…

Заканчивая это автобиографическое повествование, я позволю себе сказать несколько слов о своем житье-бытье. Кто сегодня моя семья? В каких условиях я живу? Кто обо мне заботится?

Моя семья сегодня — это Витя, мой внук. Витя по профессии — кинооператор. Его жена Вера, которая «автоматически» стала моей внучкой — актриса театра имени Пушкина. Членами семьи мы считаем также черного-пречерного ньюфаундленда Филимона и рыжего-прерыжего кота Бомбасика. Живем мы, в общем, мирно. Почти не ссоримся. Если спросить, кто глава нашей семьи, отвечу без малейших колебаний — Верочка. Неутомимая работяга и трудяга, на все руки мастерица, ничего не забывающая и все замечающая, терпеливая и заботливая, непреклонный авторитет и арбитр во всех наших домашних, бытовых и литературных проблемах.

Отдельными домами, семьями, интересами и заботами живут мой сын Михаил и внук Андрей. Так распорядилась жизнь, что ни

с тем, ни с другим мне почти не довелось жить вместе. Но искренние, сердечные связи никогда не прерывались. Мы душевно близки и теперь, но, если можно так выразиться, — заочно. Перезваниваемся ежедневно, а видимся редко. Их профессиональные пути оказались далекими от изобразительного искусства. Оба по образованию — японисты, и их деятельность целиком в сфере дипломатии, информации, печати…

Мне очень хочется представить себе читателя этой книги. Кто он?

Это может быть и молодой, иронически взирающий на все окружающее скептик. Это может быть и сварливый желчный пенсионер, недовольный тем, что я мало уделил места вкладам в сбербанки. Это может быть и дотошный кандидат исторических наук, подвергающий сомнению достоверность отдельных событий прошлого. Это может быть любитель легкого чтения, разочарованный недостаточным, с его точки зрения, количеством анекдотов и сплетен. Читатель, как известно, многолик, загадочен и непогрешим в своих суждениях. Но я приветствую каждого читателя своей книги, благодарю, если он дочитал ее до конца. А если он почерпнул для себя что-то новое и интересное, если он разделяет какие-то мнения автора и даже в чем-то ему сочувствует, то я считаю, что мы с Витей не зря написали эту книгу.

Иллюстрации

Старший брат Миша всегда брал надо мной верх: и ружье ему досталось, и место на моих плечах...

1908 г.
Вся семья в сборе.

Р. С. Ф. С. Р.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА XII АРМИИ.

РЕДИЗДАТ.

17/III 1920 г.

№ 1107

Действительно с 17/III по 17/IV

Удостоверение.

Предъявитель сего т. Ефимов Бор

состоит сотр. газ. „Кр. Армия" Редиздата Политуправления Реввоенсовета XII армии на действительной военной службе, что подписью и приложением печати удостоверяется.

Начальник Политуправления 12 армии

Редиздатом

Секретарь

На Керенского я нарисовал шарж....

...зато у этих личностей добился, можно сказать, портретного сходства!

Москва 20-х годов. Видите, как много с тех пор изменилось! Пушкина переставили, Страстной монастырь снесли... А вот «Известия» как стояли, так и стоят.

Карл Радек и Николай Бухарин. Оба этих ярких, незаурядных человека погибли в страшные годы репрессий. Поистине, «революция пожирает своих детей»...

В начале 20-х еще можно было без опаски подшучивать и над тем, как «нянчится» с рабкорами Мария Ильинична Ульянова, и над «новыми святыми» — Троцким и Дзержинским.

А за эту карикатуру британский премьер сэр Остин Чемберлен (крайний слева) направил Советскому правительству ноту.

В моих шаржах — цвет русской литературы.
Владимир Маяковский, Александр Блок, Максим Горький.

Мы с Ильей Ильфом и Евгением Петровым любуемся красотами Неаполя,
а Михаил Зощенко покупает яблоки в родном Ленинграде...
И все мы – из дружной и веселой семьи «крокодильцев».

А это родоначальник нашего шумного «семейства»,
основатель журнала «Крокодил»
К.С. Еремеев – наш «дядя Костя».

Вступили. Начались процессы «вредителей».
Присутствую на одном из таких процессов. Рядом со мной – Лев Эльберт.

И Сталина, и Гитлера я рисовал с натуры.

А вот «ежовые рукавицы»,
к счастью, только по воображению.

Мы с Михаилом Кольцовым на больших военных маневрах под Киевом. 1935 г.

Тоже большие маневры, но уже в Белоруссии и без меня. Зато с Мишей – а еще с Я. Гамарником и К. Ворошиловым.

1937 г. 25-летие газеты «Правда».
В президиуме – справа налево: Н. Хрущев, М. Кольцов, Л. Мехлис.

Михаил в Испании –
каким я его представлял.

1937 г. М. Кольцов вернулся из Испании для доклада Сталину.
Его торжественно встречают на Белорусском вокзале.
Арестуют его только в декабре 1938-го...

Этот мой рисунок появился на обложке «Огонька» 24 июля 1941 года. Четыре года я воевал. Моим оружием был не автомат, а карандаш – но недаром, наверное, вместе с Кукрыниксами я попал в «черный список» гестапо «Найти и повесить».

Прифронтовое Подмосковье. 1942 г.
Актриса В. Серова, редактор «Красной звезды» Д. Ортенберг,
поэт К. Симонов. Крайний справа – я.

1944 г. Вот так мы встретились на фронтовых дорогах Польши
с поэтом Евгением Долматовским (если не узнали – я в «виллисе»).

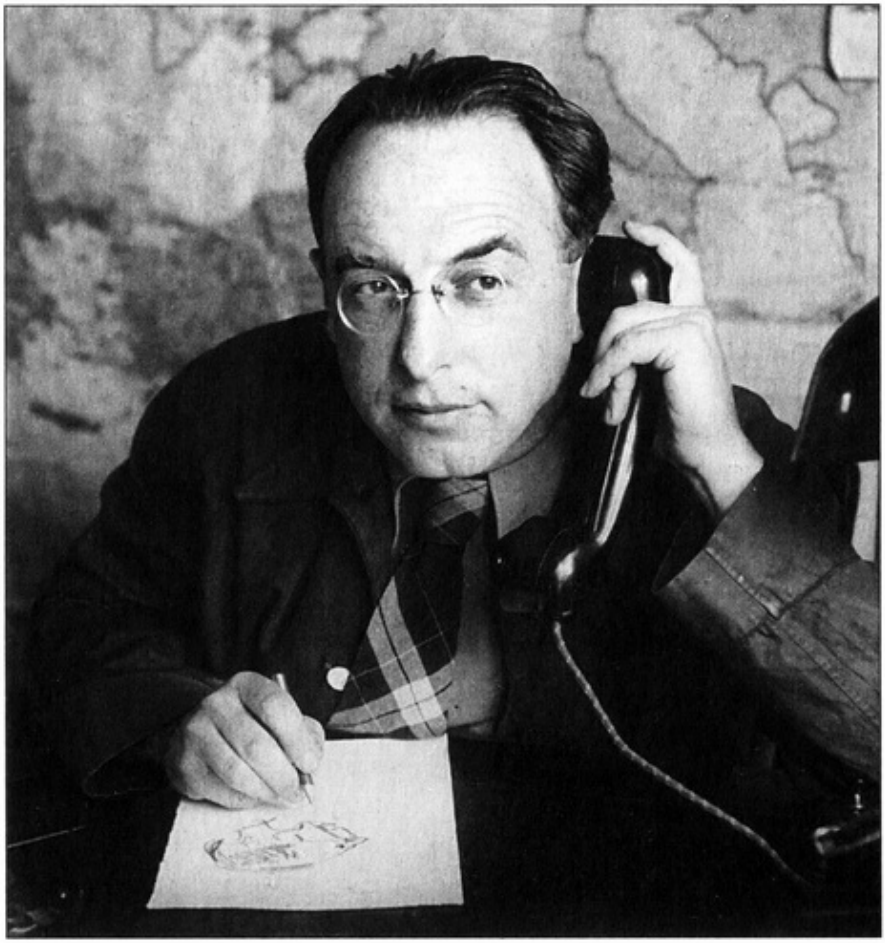
Шарж на Льва Шейнина
(разумеется, дружеский!)

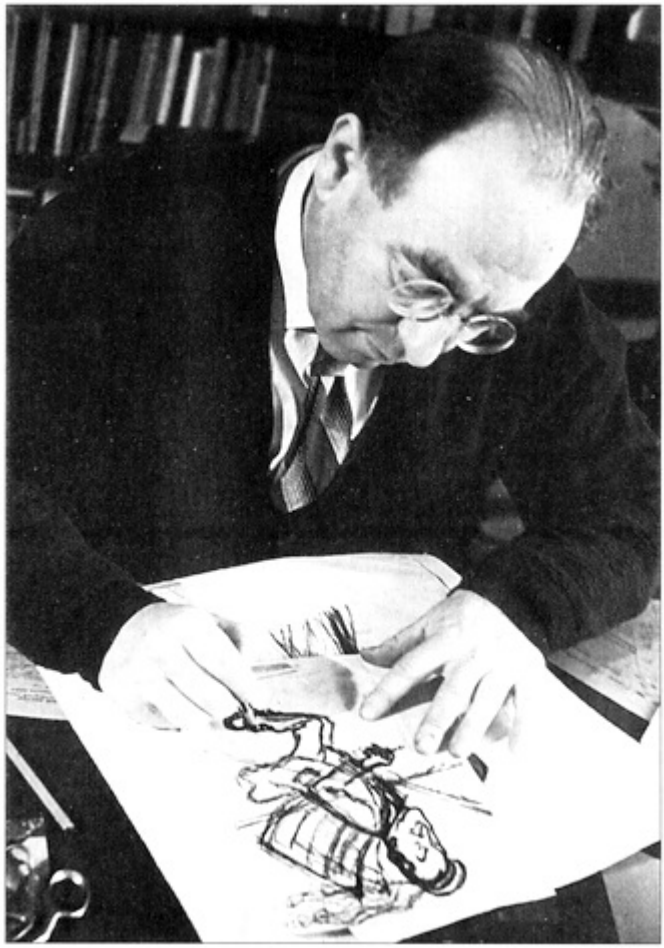
1945 г. Карикатуристы на Нюрнбергском процессе. Мы еще союзники, хотя «холодная война» уже не за горами. Слева направо: П. Крылов, я, англичанин Д. Лоу, Н. Соколов, М. Куприянов.

В зале заседаний. Крайний слева в последнем ряду – Л. Шейнин, рядом с ним П. Крылов и Н. Соколов. Перед ними, второй слева – я.

Подсудимые, сами того не подозревая, старательно мне позировали...

...и групповой портрет не заставил себя ждать.





1954 г.
Заместители председателя правления ЦДРИ О. Лепешинская и Б. Ефимов обсуждают план работы на очередной сезон. (Именно эту фотографию мой друг Б. Филиппов использовал в качестве «компромата».)

1956 г. ЦДРИ. Встречаем Новый год. Четыре родственные супружеские пары. Со мной рядом моя жена Раиса Ефимовна.

На 1-м съезде художников СССР.
Сергей Михалков мне что-то читает. Вероятно, новую басню.

Но ни одна басня не рассмешит так, как «петрушки» Леонида Утесова!
Громче всех смеялся мой сын Миша – крайний справа.

В спешке рождается очередная карикатура против «поджигателей войны».

А вот и мои «герои» – Тито, Черчилль... Кстати, Тито потом опять стал нам другом, а вот Черчилль так и остался врагом...

Редкий случай – «положительные» карикатуры.

Мои зарубежные друзья и коллеги – Жан Эффель и Херлуф Бидструп.

А такие они на самом деле – правда, похожи?

С замечательной троицей Кукрыниксов я дружил,
можно смело сказать, всю жизнь.

Мемуары я пишу не впервые. В 1962 г. даже презентовал свою книгу министру культуры СССР Е. Фурцевой.

1965 г. С космонавтом Алексеем Леоновым – первым человеком, вышедшим в открытый космос.

Москва. 60-е годы. Открытие выставки Пикассо. Наше примирение с Ильей Эренбургом после длительного конфликта фотограф запечатлел случайно. Хотя, конечно, факт исторический.

1977 г. Л. Брежнев на международной выставке «Сатира в борьбе за мир». Я даю генсеку соответствующие пояснения. Обратите внимание: у него на груди пока еще три золотые звезды...

На кремлевских банкетах угощение иногда приходится брать с бою...

«Давайте тянуть дружно!» – назвал я этот рисунок.
Как хотелось верить, что так и будет!

Новые времена – новые проблемы.
Во всяком случае, безработица мне пока не грозит!

1980 г. 50 лет со дня смерти Владимира Маяковского.
Открытие легендарной выставки «20 лет работы». Красную ленточку совместно разрезают современники поэта: В. Катаев, Н. Соколов и Б. Ефимов.

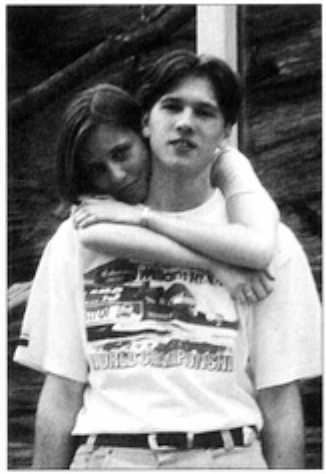
1999 г. Академия художеств отмечает мое 99-летие.
Зураб Церетели: – Думаю, нам с вами хватит...
Борис Ефимов: – Не уверен!

Никогда не боялся смеяться над собой.
И вообще люблю смеяться.
И стараюсь, чтобы смеялись другие.

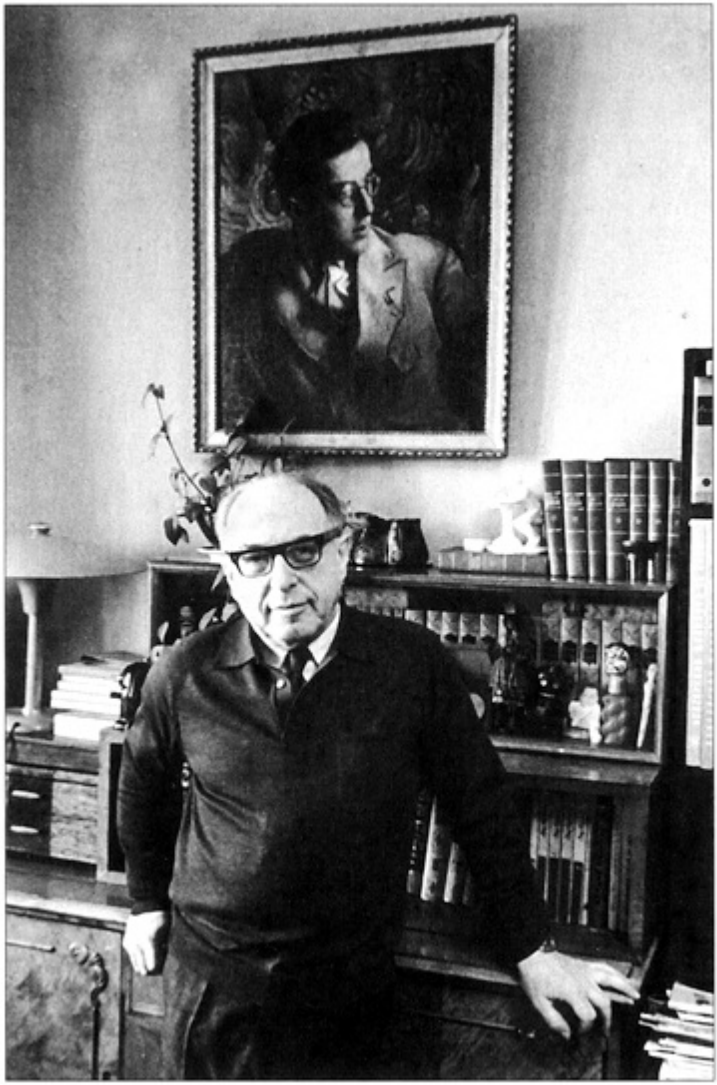
У себя дома
я первый заводила.
Здесь, например,
исполняю куплеты
из оперетты
«Перикола».

Мой правнук Андрей,
славный продолжатель
рода Ефимовых.

Эта милая пара –
моя правнучка Катя и ее муж Сережа.



Ньюфаундленд Филимон и кот Бомбасик –
полноправные члены нашей семьи.



notes

Примечания

1

Международная организация помощи борцам революции *(Примеч. ред.)*

2

Книга уже готовилась к печати, когда (в апреле 2000 г.) Николай Александрович Соколов скончался. *(Примеч. ред.)*